Библиотека
всемирной литературы

Серия третья ✲ ✲ ✲

Литература XX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бээкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Кербабаев Б. М.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р
Реизов Б. Г.
Сомов В. С.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б
Черноуцан И. С
Шамота Н. З.

ЛУИ АРАГОН

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ

РОМАН

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1976

Вступительная статья
Т. Балашовой

И (Фр)
А 79

Перевод
Н. Жарковой, Н. Касаткиной,
Н. Немчиновой и И. Татариновой

Иллюстрации
М. Майофиса

А 70304-013
028 (01)-76 подписное

© Издательство «Художественная литература», 1976 г.

ИСТОРИЯ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

«Выбирать свойственно человеку» — эти слова были вынесены на рекламную ленту, сопровождавшую экземпляры первого тиража «Страстной недели». Автор словно предчувствовал, что неожиданный бросок от романа «Коммунисты» к началу XIX века введет в заблуждение не очень проницательных критиков. Действительно, Арагона похвалили сразу и за «ослепительный блеск стиля», и за «прощание с актуальными проблемами». Но самые внимательные поняли, что призыв — искать, выбирать — обращен непосредственно к современникам.

1815 год пришел в творчество Арагона не «на смену» 1940-му, воссозданному в «Коммунистах». 1815-й заставил размышлять и о 1940-м и о 1958-м, когда «Страстная неделя» появилась на стендах книжных магазинов. «Я не знаю,— писал Арагон,— может быть, эта книга, родившаяся на 61-м году моей жизни... и вдруг искусственно, чисто внешне обратившаяся в прошлое,— может быть, она является для меня самым важным вопросом к будущему... И, может быть, поэтому, по мере того как продвигаюсь я от вербного воскресенья к пасхе, в прозе моей все отчетливее, словно далекое, глухое подземное гудение слышится это беспрерывно повторяемое, то громкое, как удар барабана, то скрывающееся, то вновь возникающее слово — «будущее».

В романе всего одна мартовская неделя 1815 года, но по существу в нем полтора столетия; читателю рассказано о последующих судьбах всех исторических персонажей — Фредерика Дежоржа, участника восстания 1830 года, генерала Фавье, сражавшегося за освобождение Греции вместе с лордом Байроном, маршала Бертье, трагически метавшегося между враждующими лагерями до последнего своего часа — часа самоубийства. Сквозь «Страстную неделю» просвечивают и эпизоды истории XX века — финал первой мировой войны и знакомство юного Арагона с шахтерами Саарбрюкена, забастовка шоферов такси эпохи Народного фронта, горестное отступление французских армий перед лавиной фашистского вермахта.

«Позор, позор...» — ноет душа Жерико, присутствующего при паническом бегстве короля. А перед взором автора разворачивается картина другого отступления: тысяча девятьсот сороковой, мужество армейских батальонов на реке Маас, предательство генералов, тайно подписанная капитуляция... Романист использует «стереоскопический» эффект: мгновение освещено прожекторами нескольких эпох, герой виден одновременно с разных исторических горизонтов.

Почти каждый герой «Страстной недели» стоит перед выбором, ищет верного пути к грядущему.

В этом плане Теодор Жерико не составляет исключения. И все-таки его встреча с историческими противоречиями имеет особые параметры: история здесь увидена глазами художника.

Арагон прав, напоминая, что жанр исторического романа не случаен в его творчестве; столь же не случаен его интерес к фигуре художника. Ребенком сам Арагон любил рисовать, водил дружбу с внуком Клода Моне, считал праздником вернисажи. Потом он участвовал в спасении шедевров испанской живописи от франкистского варварства и первый раз ввел образ художника в свой роман — мятежный Блез д'Амберье из «Пассажиров императора». В 1941-м начата книга о Матиссе, рядом с которым Арагон провел трудные годы оккупации. Но раньше, чем эта книга (фундаментальное двухтомное исследование) была завершена («Анри Матисс — роман», 1971), Арагон написал множество статей о Пабло Пикассо и Фернане Леже, Шагале и Пиросманишвили, Ж. Руо и Анри Риу. Исследователи живописи высоко ценят книгу Арагона «Пример Курбе». Поэтому, когда в январе 1956 года пресса предложила вниманию читателей «отрывок из готовящегося романа», героем которого должен был стать художник и скульптор Давид д'Анже, подобный выбор был уже подготовлен. Но в процессе конкретизации замысла автор перенес внимание на эпоху более раннюю — к истокам реалистической живописи. «Без Жерико не было бы Делакруа,— объяснял Арагон.— Да и где получил бы тогда первый урок реализма Курбе?» [1]

Так Жерико становится героем художественного повествования. Центром исторического романа избрана личность, которая сумеет передать свою концепцию истории грядущим поколениям: на бессмертных полотнах Т. Жерико сохранена для нас целая эпоха.

Как возникли они? Что предшествовало моменту прикосновения к кисти, чем болела душа художника? Арагон пустил нас в его творческую лабораторию, только лаборатория эта под открытым небом, оглашаемая цоканьем копыт, ворчливой руганью солдат, разноголосьем мастерового люда, заполнившего лес под Пуа. Может показаться странной эта причуда — выбрать из жизни художника дни, когда он ничего не писал, дни, которые все биографы Жерико укладывают в несколько кратких фраз: «Поддавшись уго-

[1] Aragon. J'abats mon jeu. P., 1959, p. 95.

ворам друзей, Теодор вступил в королевскую гвардию», или: «Сломленный провалом своего «Раненого кирасира» на выставке 1814 года, Жерико решил стать мушкетером» и т. п.

Но именно кризисные моменты истории формируют личность. Все, что прокричат пять лет спустя еле живые люди с «Плота Медузы» (1819), их гнев, их отчаяние — копились в душе Жерико исподволь.

С героями своих будущих картин, теми, что расплачиваются жизнью за авантюризм сильных мира, он знакомится на раскисших от дождя дорогах, на окутанных туманом торфяных полях, в освещенных пламенем горна кузницах. Замысел картины — это не просто композиция и выбор красок; сначала это концепция жизни, критерии добра и зла, перспективы нравственного идеала.

Неделя 1815 года предопределила замыслы грядущих полотен Жерико. Она пуста с точки зрения искусствоведов и полнозначна с точки зрения психолога, которым всегда чувствует себя истинный писатель.

За плечами Жерико, героя романа,— полоса успехов и поражений.

«Никогда еще французское искусство не испытывало таких внутренних противоречий и не пребывало в столь запутанном и сложном положении, как в современную Жерико эпоху» [1],— свидетельствуют специалисты. Жерико суждено было разрушить академическое спокойствие, царившее на полотнах. К началу XIX века Жак-Луи Давид приглушил пафос бунтарства, царивший в раннем его творчестве. Доминик Энгр отвратительному мещанству, утверждавшему себя в реальности, противопоставлял идеальную гармонию и безмятежную нежность своих портретов. Жироде и Герен сумели выразить трагизм эпохи только признанием иррациональной жестокости судьбы.

Искусство ждало художника, который бы заговорил о трагизме истории, а не рока, который бы увидел обыкновенных людей, страдающих здесь, рядом. Уже в мастерскую, где надо было просто рисовать с натуры, Жерико принес необузданный темперамент,— даже линии конских грив и крупов (к животным юноша был неравнодушен с детства) поражали. «Одна моя лошадь съела бы шесть его лошадей»,— шутил Жерико по поводу строгих эскизов своего первого учителя — Карла Верне. Если кисть Жерико копировала торс натурщика, то обязательно в напряженной, «кризисной» позе: вот он, подавшись вперед, держит каску; вот он круто отвернулся от зрителя, опершись на копье; вот он чем-то возбужден или испуган: взвихрены волосы, диковатый взгляд, нервно трепещут мышцы, необычно освещение, резко очертившее мускулатуру (картина «Натурщик», хранящаяся в Музее изобразительных искусств в Москве). Когда Наполеон был в Москве и положено было славить победы французского оружия, Жерико кончил свое первое большое полотно «Офицер конных егерей»: вместо статично царственной личности генерала или маршала — один из рядовых бонапартовской армии;

---

[1] В. Н. Прокофьев. Теодор Жерико. 1791—1824. М., «Искусство», 1963, с. 6.

романтический порыв в неизвестность, на горизонте — полоса огня и дыма. Картина скорее тревожила, чем успокаивала. История подтвердила, что оснований для тревоги действительно было больше. «Раненый кирасир» — уже откровенно горестный итог наполеоновских безумств. Империя, предав идеалы революции, сама себя убила. Прежде чем согласиться на участие в ноябрьском Салоне 1814 года — совсем незадолго до решения, которое привело его в Гренельскую казарму и бросило на нары,— Т. Жерико колебался; Жак-Луи Давид, протестуя против реставрации, ответил отказом; большинство же коллег по кисти спешно писали портреты Людовика XVIII, самые хитроумные поступали так же, как Луи-Леопольд Буальи,— забелив трехцветное знамя и пририсовав лилию, он скопировал свою картину 1792 года «Портрет актера Шенара на патриотическом празднике» и сделал гравюру под названием «Знаменосец на общественном празднике, данном 3 мая по случаю возвращения Его Величества Людовика XVIII в свою столицу». Жерико не хотел ни молчать, ни подобострастно улыбаться. Он принес на выставку «Раненого кирасира» вместе с «Офицером конных егерей». И, конечно, поплатился за дерзость. Траурные ноты в Салоне, где надо было ликовать, подобны раскату грома. Продажные писаки хорошо знали свое ремесло,— умолчав о содержании, они начали критиковать художественное исполнение и бросили невинно-наивный вопрос: «Да можно ли вообще считать автора «Кирасира» художником?» Болезненное неверие Жерико в свои силы, подогретое такими «оценками», заставило его поклясться, что с живописью покончено навсегда. А отец-роялист предложил красивую форму мушкетера и даже помог купить отличного коня. «Как радовался Теодор, с каким ребяческим восторгом ходил он заказывать себе форму — красный мундир, две пары рейтуз — белые и серые, кашемировые брюки, плащ с алой оторочкой. Он часами мог забавляться, примеряя серебряную с золотом каску, увенчанную позолоченным гребнем и кисточкой из конского волоса, любовно проводил пальцем по черному бархату, которым был подбит подбородник». Косые взгляды друзей-республиканцев, например, Ораса Верне, не очень беспокоили Жерико: он никому не собирался служить, просто хотел отвлечься от горестных мыслей да погарцевать. Но история всегда смеется над подобными надеждами — «никому не служить». Не успел Жерико объездить своего любимца Трика, как Наполеон покинул остров Эльбу, королевских мушкетеров согнали в казармы.

Такова предыстория героя. Автор не развертывает ее подробно. Детали прошедших лет вкраплены как бы случайно, по ходу повествования. «Не думать о минувшем, даже о том, что было накануне. О том, что не оправдались мечты»,— внушает себе Теодор, заглушая боль прощания с живописью; потом вздыхает украдкой, что не успеет повидаться с Орасом Верне и «объясниться с ним»; с нежностью вспоминает мастерскую Карла Верне и чердак на улице Мучеников, где был написан «Раненый кирасир». О картинах Жерико читатель узнает попутно, когда юноша бродит по отцовскому дому, мельком бросая взор на свои эскизы. Скучая по Роберу

Дьедонне или встречаясь в казармах с Марком Антуаном д'Обиньи, Теодор — тоже как бы невзначай — восстанавливает в памяти процесс работы над «Офицером конных егерей»: «Голову егерского офицера с жесткими белокурыми усами он списал с Дьедонне, а для торса моделью послужил Марк-Антуан». Теодор без всякого умысла объединил в одной фигуре республиканца Дьедонне с роялистом д'Обиньи — просто он любил их обоих, и «только два года спустя он смутно почувствовал, что создал некий гибрид, чудовищную смесь из республиканца и гренадера, служившего под знаменем Ларошжаклена».

Постепенно сплетается довольно прочная нить предыстории. Но способ ее плетения — брошенные мельком имена, случайно вспомнившиеся факты — отнюдь не прихоть авторского пера.

У Жерико нет особой, исключительной судьбы — эта убежденность помешала Арагону развернуть обстоятельный рассказ о том, что предшествовало в жизни Жерико мартовской неделе 1815 года.

Действительно, получив внушительную «биографию», Теодор обязательно показался бы «выше» своих собратьев по казарме, исключительной личностью, на время смешавшейся с массой. Способ же, избранный автором, помогает растворить судьбу Теодора среди сотен других судеб — не менее интересных, не менее трагичных. Отброшен даже намек на исключительность. Человек становится великим, когда не думает о величии; его ждет слава, если к славе он не готовится. Роман нарочито децентрализован по композиции. Теодор появляется по ходу действия как бы случайно, среди прочих. Это положение — «среди прочих» — бесспорно акцентировано автором.

«...местные, парижане, как, например, Теодор, ночевали у себя дома»... «В помещении сублейтенантов, можно было встретить... также лейтенантов, бывших всего лишь мушкетерами. Например, Теодора». В доме маленькой мечтательницы Денизы или у кузнеца Мюллера Теодор тоже появляется случайно — просто один из вероятных постояльцев; читатель, захваченный семейными коллизиями, столкновением характеров, невольно смотрит на Теодора глазами хозяев, видящих его впервые.

Разгораются роковые страсти в скромном обиталище Мюллера, здесь совсем не ждут гостей, но вдруг «при свете угасавшего пламени на пороге кузницы показался мушкетер. Он вел на поводу захромавшую лошадь» — так, опять случайно, появляется Теодор.

Подобными сюжетными скрещениями достигается особый эффект; отброшена всякая (даже чисто внешняя) «эгоцентричность» композиции: новые сюжетные линии ведут начало вовсе не от главной, они возникают вполне самостоятельно, герой лишь случайно пересекает их.

Арагона потому, собственно, и привлекает момент перелома, кризиса, что тут каждый вынужден задуматься о судьбах родины.

Подлинно революционные преобразования, убежден Арагон, возможны лишь, если все начинают осознавать свою ответственность. Вот почему вле-

чет автора пора смятения, «арена унижений, место, где перерождаются души»,— март 1815 и май 1940-го. «Оба раза это был день, когда умирали боги... а высокие идеалы обернулись фарсом. Момент, когда мы все сразу, не сговариваясь, поняли, что судьба наша в наших руках... перестали быть людьми, за которых решают другие, а им самим остается только повиноваться и идти куда прикажут». Кризис предвещает общенациональный перелом.

Если Теодор чем-то отличается, то, конечно, врожденной остротой зрения, особым восприятием цвета, объема, пространства. С этим связан другой художественный принцип романа: в нем все «смотрится», предложена не череда сцен, а как бы череда картин. Некоторые главы даже названы, как вариации сюжетов у импрессионистов: «Четыре взгляда на Париж», «Пале-Ройяль при вечернем освещении». Ведь для Жерико все увиденное — эскизы будущих полотен, написанных или ненаписанных: безвкусно-крикливая лента радуги над Тюильри, гармония фасада отцовского дома, раздражающая «давидовская торжественность оратора», контраст «между темной площадью и бледным светом факелов под сводами арки». Взгляд Жерико-художника совмещается со взглядом Арагона-поэта, и на этих страницах сразу чувствуется автор «Глаз Эльзы», интимно высказавший боль общенациональной трагедии. Бетюн открывается Теодору как «большущий серый артишок с ощипанными листьями», а «деревья с перепутанной гривой тонких ветвей стоят, словно растрепанные мальчишки и клонят тихонько голову на плечо нежно-серого неба». И при встрече с «дезертирами на последнем рубеже мрака и позора», и возле кузницы, где человек сильнее железа,— везде Жерико чувствует себя художником; «Теодор разглядел и запомнил широкий разворот его плеч, огромные мускулы голых рук... хромоногий Вулкан... С двух сторон торса выступали мышцы, обхватывающие ребра, фантастически четко обрисованные и зубчатые, словно когти из человеческой плоти, подчеркнутые игрой теней и света, падавшего от горна... Стальная полоса закруглялась, на внутренней стороне изгиба образовалась выпуклая закраина, словно воспаленная стальная плоть болезненно вздувалась при каждом ударе молота по внешнему краю подковы».

Арагон, подробно описывая позу и движения кузнеца, освещение в кузнице и т. д., соединил разные полотна Жерико: «ребра, фантастически четко обрисованные и зубчатые, словно когти из человеческой плоти» — это как бы портрет «Натурщика»; «широкий разворот плеч» и игра теней при плавке металла — это уже от серии литографий Жерико «Английский кузнец», «Французский кузнец», «Фламандский кузнец», особенно от последней: мощная спина скакуна; величественная фигура кузнеца — широко расставленные ноги, напряженный (как во всех зарисовках Жерико с натуры) поворот тела, сильные руки, сжавшие щипцы, яркое световое пятно от горна и, для контраста, изнеженно-сутулая, вся обмякшая мужская фигура,— очевидно, того, кто ждет свою лошадь. Внутренняя идея этой пре-

красной литографии, выполненной в 1822 году, абсолютно точно передана Арагоном: красота физического труда, власть человека над огнем и металлом.

Жерико — герой романа — не просто смотрит, он впитывает в себя «картины жизни», он мыслит с помощью схваченных глазом линий и цветовых контрастов. Контрасты французской истории тоже застывают для Жерико в зрительных образах — ярких, почти символических. Символичен для него «Офицер конных егерей»: смешавший бонапартиста с роялистом Жерико ценил те линии их судеб, которые совсем не враждебны, которые одинаково устремлены к грядущим дням Франции — без короля, без императора. Символичен цвет ранней зелени, повисшей дымкой над Пуа, и дождливая серость, провожающая короля. Зрительные ассоциации подстегивают мысль: Марк Антуан похож на маршала Нея. Теодор «вспомнил об измене маршала... Что все сие означает?»

Нахлынули раздумья о смысле слова «измена». Рядом с ним — восторженные юнцы-роялисты, но «главная их заслуга заключалась в том, что по возрасту они не могли служить и не служили Узурпатору». Вся королевская армия — недавние солдаты Бонапарта. «С каких же чинов начинается измена? Стало быть, вчерашние солдаты, увешанные медалями, инвалиды, заполнившие улицы Парижа, те, что брали приступом города, похищали устрашенную Европу, а теперь ходят оборванцами,— значит, они изменники?»

«Измена? Когда, в сущности, изменил Ней — сейчас или в прошлом году? Полная неразбериха...» Прояснить хаос Теодору помогает живопись — это его, особенный, способ познавать мир. Бонапарт для Жерико — человек, «которого запечатлела кисть Гро, Жерара, Давида», который требовал убирать с картин фигуры генералов, расчищая в центре место для себя». Постепенно в сознании Жерико оба столкнувшихся лагеря оттеснены в тень недоверия. Луч доверия все чаще выхватывает из тьмы исторических противоречий «тех, кому нечего терять». «Те, что везут тачки из каменоломни в обжиговую печь, чистят скребницей лошадей, на которых ездят другие, носят воду, в которой купаются другие; те, у кого ребятишки всегда без присмотра, бегают куда не надо и попадают под колеса экипажей; те, что гибнут на войне и срываются с крыш».

Доверие это, созревшее в мартовские дни 1815 года, предопределит дальнейшую творческую судьбу Жерико.

В середине 1815 года, покинув армию, Жерико писал пессимистические этюды к «Отступлению из России». Оживали воспоминания о пережитом им самим отступлении-бегстве, и он запечатлел обобщающий образ тех, кто расплачивается за кровавые безумства других. Вандальский разгул реакции и горечь личных переживаний (баронесса Лаллеман после полосы ссор покинула в 1819 году Жерико, оставив ему ребенка, которого взял на воспитание отец художника) погнали Жерико в Италию. Письма, отправленные из Рима, переполнены отчаянием. Но в эскизах сквозь чудовищное («Пыт-

ка») пробивается мысль о сопротивлении («Леда», «Бег свободных лошадей»). Возвращение в Париж совпало с кульминацией страстей, разгоревшихся вокруг конфискованной правительством книги «Кораблекрушение фрегата «Медуза»: фрегат, плывший в Сенегал, сел на мель; несколько пассажиров (колониальная администрация) предательски бежали на шлюпках, не пытаясь спасти оставшихся. Из сорока девяти человек после одиннадцати дней скитаний без пищи и пресной воды выжило только десять. Когда монументальное полотно Жерико «Плот Медузы» появилось в Салоне 1819 года, роялистская пресса продолжила травлю: «Конгломерат варварских образов, не имеющих ничего общего с искусством» [1]. Но теперь Жерико знает цену подобной объективности и с мудрой уравновешенностью замечает в письмах к другу:

«Несчастные, пишущие подобные глупости, конечно, не голодали в течение двух недель, иначе они знали бы, что ни поэзия, ни живопись не способны передать во всей полноте ужас страданий, пережитых людьми на плоту» [2].

Решение, принятое Жерико, героем романа,— «рисовать обычных людей, солдат, возчиков, нищих»,— самозабвенно выполнялось реальным Жерико: гордый профиль натурщика-негра (1819), «Пахота», «Нищий у дверей булочной» и «Фургон угольщиков» из литографий «Большой английской сюиты» (1821); гуашь, запечатлевшая расстрел участников заговора карбонариев (1822), и серия рисунков, посвященная сражению бедноты Мадрида с инквизицией (1822),— поистине дни, проведенные в королевском эскорте, не пропали для художника даром.

«Страстная неделя», обращенная к яркой творческой личности, характерна для целого направления реалистического искусства современности. «Доктор Фаустус» Томаса Манна, «Летопись хутора Бреккукот» Лакснесса — писатели охотно ставят между собой и действительностью фигуру посредника, который может — как и они сами — смотреть на окружающее глазами художника.

Для Арагона такая фигура первый раз стала главной, центром романического повествования. Но это отличие только определеннее выделило, пожалуй, нити, связывающие «Страстную неделю» с другими произведениями писателя.

Герои всех романов Арагона, составивших цикл «Реальный мир», стояли перед выбором. С симпатией и внутренней болью рисовал автор искания Катерины Симонидзе («Базельские колокола», 1934) — порывистой и страстной, непримиримой к лицемерию. Ее бунт индивидуалистичен, и Арагон — мазок за мазком — затушевывал героический ореол, которым окружила интеллигента-индивидуалиста буржуазная литература XX века. Катерина видит расстрел забастовщиков — часовщиков селения Клюз. Мучимая неясным

---

[1] В. Н. Прокофьев. Теодор Жерико, с. 144.
[2] «Жерико о себе и современники о нем». М., 1962, с. 31.

чувством вины, она бросается к сраженному пулей рабочему, идет к его матери в убогую хижину. Но скоро среди засаленных рабочих комбинезонов ей становится не по себе, и она убегает. Поиск идеала сближает ее с Виктором Дегененом, одним из инициаторов стачки шоферов парижских такси. Но и тут к судьбе бастующих она равнодушна, а работа в бюро профсоюза кажется ей слишком прозаической. Чтобы совершить настоящий выбор, требуется больше, чем стихийное индивидуалистическое бунтарство против лицемерия буржуазного общества. Катерина своего пути не находит. Арману Барбентану («Богатые кварталы», 1936) история сумела подсказать верное решение. «В «Богатых кварталах»,— пояснял Арагон,— я попытался обрисовать противоречия провинциальной буржуазной семьи, противоречия между двумя братьями... один из которых становится настоящим паразитом... а другой — Арман,— отходя от брата, воплощающего паразитизм, обретает в рабочем классе смысл существования человека» [1]. В чужом, неприветливом Париже, куда Арман бежал от семьи, ему некогда философствовать о «прозаичности» физического труда. Труд предстает суровой необходимостью, спасением от бродяжничества и голода. Поступив на завод, Арман не просто признал моральную правоту эксплуатируемых, но сам стал крупицей «громады по имени класс». Потом — участие в забастовке, путь в партию. В «Коммунистах» Арман появляется уже ведущим сотрудником газеты «Юманите».

Жизнь много раз ставила перед выбором и Пьера Меркадье («Пассажиры империала», 1941. Первое издание в США под заглавием «Когда век был молод»). Но Меркадье — в отличие от Армана — не желал бороться за прекрасное, пассивно ожидая, когда же оно восторжествует. Тактика непротивления, избранная Пьером, разъедает душу изнутри. Бесславный конец подготовлен всей жизнью, проведенной впустую, без борьбы, без ненависти, без любви. Утверждая ответственность личности за ход истории, художник сурово судит «наблюдателя».

Созданный в дни оккупации «Орельен» (1944) продолжал осуждение невмешательства. От главы к главе вырисовывалась линия поведения индивидуума, решившего жить, никому не причиняя зла, но и не беспокоя себя ради других. Из-за равнодушия он теряет сначала любимую женщину, потом — родину. Ведь Орельен-солдат, участник «странной войны», повторяет Орельена-мужчину: борьбе он предпочитает капитуляцию.

Выбрать между капитуляцией и борьбой должны и герои «Коммунистов». Первые листки, которым суждено было стать зачином этого — пятого — романа серии «Реальный мир», легли в походный чемоданчик Арагона осенью 1941 года: очерковые наброски о территориальных полках, куда собрали, как в тюрьму, коммунистов; об отступлении армии, об эвакуации Парижа. Листки вместе с писателем кочевали из дома в дом, из города в город, автор не раз зарывал их в землю, прячась от гестапо. Ясные контуры

[1] «Nouvelle critique», 1949, août, p. 81.

замысел обрел в атмосфере «холодной войны», когда буржуазные идеологи начали без удержу фальсифицировать историю французской коммунистической партии.

Опубликовав роман (1949—1951), Арагон убедительно показал, что первой сделала выбор, вступила в сражение с фашистскими оккупантами именно компартия — «партия расстрелянных». Без громких фраз, буднично и целеустремленно включились в подпольную борьбу герои романа Рауль Бланшар, Маргарита Корвизар, Лебек, Сесброн. Другим ясность дается не просто. Они мечутся, ошибаются, впадают в отчаяние. Жан Монсэ повторил многие из ошибок и юного Барбентана, и Теодора Жерико. Но направить свою судьбу к истине он все-таки сумел, как сумели раньше его и при других обстоятельствах Арман и Теодор.

«Выбирать — свойственно человеку» — этим девизом передана, конечно, суть не только «Страстной недели», но и оконченного чуть раньше цикла «Реальный мир».

Отчетливы и другие линии, подчеркивающие единство: антивоенный пафос; гневный протест против бессмысленного уничтожения жизни и красоты; интерес к массовым сценам, когда действует не одиночка, а людское множество; четкость социальных контрастов; напряженный лиризм авторских отступлений. Порой романы как бы «переливаются» один в другой: «Тут были те, что дробят камни на дорогах, те, что разгружают вагоны, те, чьи руки в занозах, те, чьи глаза постоянно страдают от жара кузниц, те, чьи плечи искривились под тяжестью ноши... те, что строят, те, что разрушают, чье тело сохранило что-то от стен, воздвигнутых ими, от сгибаемого ими железа» — читаем в «Богатых кварталах». И потом, двадцать лет спустя, в «Страстной неделе»: «Те, кому нечего терять... те, что везут тачки из каменоломни в обжиговую печь, чистят скребницей лошадей, на которых ездят другие; носят воду, в которой купаются другие...»

Некоторым критикам хотелось найти в стиле автора «Страстной недели» аморфность «нового романа».

В качестве аргумента приводили те страницы внутренних монологов, где смутное ощущение сильнее ясной мысли.

Но само обращение к подсознанию — не есть еще торжество хаоса. Важен метод исследования подсознательного.

Действительно, много раз автор «Страстной недели» приоткрывает область, лежащую на границе мысли и чувства. Возникает не цепь логических выводов, а поток едва осознанных настроений, смутных наблюдений, исследуется та сфера взаимоотношений человеческого мозга с материальным миром, через которую проходят все впечатления, прежде чем станут чеканной мыслью. Арагон смело касается самых сложных явлений человеческой психики (сон Армана-Селеста де Дюрфора; его мучительные воспоминания о друге, пропавшем без вести на русском фронте; кошмарные видения Жерико, ожидающего мести Фирмена; бред тяжело раненного Марк-Антуана д'Обиньи).

Норовистый скакун, которого Жерико отыскал для своего товарища д'Обиньи, сыграл с новым хозяином злую шутку. Выстрел, раздавшийся в момент встречи императорского и королевского авангарда, сорвал скакуна с места. Д'Обиньи не смог удержаться в седле. Полчаса спустя его нашли посреди торфяного поля, окровавленного, с переломанными костями. Судьбе угодно было, чтобы спасителем оказался наполеоновский капитан Робер Дьедонне. Дьедонне и д'Обиньи, слитые фантазией художника в единой фигуре, не могли освободиться от наваждения, казались друг другу двойниками. В тот трагический час, когда история сделала их врагами, «положительный ум» Дьедонне «пришел в смятение, ему казалось, что это он сам лежит тут без сознания, это его собственное тело упало с лошади, написанной Жерико...».

Первый раз ему почудилось, что, воюя за Наполеона, он воюет против себя.

В те же мгновения Марк-Антуану бессмысленность этого столкновения между своими, трагическая абсурдность войны предстали в еще более фантастической форме. Хватаясь за бредовые ассоциации, почти умирающий Антуан д'Обиньи упорно пытается выплыть к свету, ясности.

«О чем они говорят? Так хочется расслышать слова, чтобы слова были для меня словами и нанизывались бы, как кольца на веревочку... О-ох! веревочкой закручивает мне ногу, ох, больно! Саднит! Веревка сдирает кожу, врезалась в живое мясо... Да нет... нет никакой веревки, нет ноги и слов нет, просто гудит чей-то голос... мужской голос... Сколько мучилась со мной мать, и школа, и конюх, обучавший меня верховой езде,— и все для того, чтобы я очутился вот тут, где очутился, и лежал бы, ничего не зная, ровно ничего, и все искал бы слова, как шарики, закатившиеся под кровать. Вдруг в том месте, где голову разрывает боль, свирепая боль (в ноге она как будто уснула), звезда растопорщила свои лучи, бледная, как октябрьское утро, белая на черном фоне, на черном лбу вороного коня...» «Король. Мы следовали за королем. Так это что же, король удирает? А если король удирает, разве это король? А мы? Раз мы вместе с ним удираем, значит, мы уже не мы?» Много страниц подряд тянется этот тяжелый кошмарный бред, то прорезаемый всполохами мыслей, то снова влекущий в тьму неведомого,— картины, внешне напоминающие отдельные ситуации модернистского романа.

Таких причудливых наплывов, совместивших реально происходящее с воспоминанием, предчувствием или просто галлюцинацией, мы немало встретим у представителей например «нового романа». Один из его теоретиков — Ален Роб-Грийе — почти одновременно со «Страстной неделей» опубликовал роман «В лабиринте» (1959), где тоже есть раненый, который сквозь боль и муки пытается связать обрывки воспоминаний с тем, что видит. Раненый солдат Алена Роб-Грийе тоже бесконечно блуждает по лабиринтам собственной памяти, выхватывая лихорадочным взглядом то тяжелую пыльную штору, то темную пелеринку мальчишки, то крупные хлопья

снега, то железную спинку больничной кровати. В глубинах его «я» тоже рождается ощущение бессмысленности всего увиденного на фронте, но автор не дает герою думать, нарочито обрезает нити, которые могли бы тянуться от мелькающих бытовых деталей к мысли. Его цель противоположна той, которая ведет Арагона. Картины сна и бреда в «Страстной неделе» обнаруживают явственную полемику с той трактовкой, какую они получают в модернистском искусстве.

Исследовать можно и ясную мысль, и импульсы подсознания. Весь вопрос в том — как? Автор специального труда «Ирреалистический роман», Кристина Морроу, нехотя констатирует: «Чем в большей степени подсознательное оказывается объектом точного изучения, тем все более реалистической становится его картина» [1].

Значит, беда модернистского «ирреалистического» романа не в обращении к подсознанию, а в нежелании «изучать», в отказе видеть движение: от неосознанного импульса — к мысли, от мысли — к действию.

В одном из интервью, отвечая на вопрос, чем отличаются его поиски в области формы от поисков Алена Роб-Грийе, Арагон прямо противопоставил психологический натурализм реализму, когда художник, поднимаясь над бесстрастной регистрацией, отыскивает реально существующие, но глубоко скрытые связи явлений. «Вот здесь и вступает в силу,— добавил Арагон,— социалистический аспект моего реализма» [2].

Личное участие автора в полемике, вскрывшей весьма противоречивые толкования исторического романа Арагона, помогло увидеть, как многое и в композиции «Страстной недели», и в рисунке образов, и в самой стилевой манере роднит книгу с предшествующими произведениями писателя. Это единство сам Арагон настойчиво акцентировал. Тем, кто пытался иронизировать по поводу его неумения быть объективным, писатель запальчиво отвечал: «Скорее именно критики, нашедшие кричащие противоречия между «Коммунистами» и «Страстной неделей», потеряли всякую способность быть объективными» [3]. Если начинали сомневаться в идейной определенности авторского голоса в «Страстной неделе», Арагон полемично ставил все точки над «i»:

«Придется, к сожалению, огорчить некоторых критиков, но они, право же, ошиблись. «Страстная неделя» отнюдь не порывает с методом социалистического реализма; напротив, она является его развитием. Я, во всяком случае, в этом убежден». «Я не написал бы «Страстную неделю», если бы не был коммунистом...» [4]

Разрыва действительно не было, и это подтверждено появлением в 1966—1967 годах второго издания романа «Коммунисты».

---

[1] Ch. Morrow. Le roman irréaliste. P., 1941, p. 321.
[2] «Arts», 1960, 12—18 octobre.
[3] J'abats mon jeu, p. 79.
[4] Ibidem, p. 80, 89.

Направление проведенной писателем редактуры говорило о его верности основным идеям книги, о его желании еще резче приблизить коллизии «Коммунистов» к нашим дням, к тому, чем живут граждане середины XX века.

Так, все изложение переведено из прошедшего времени в настоящее,— во всяком случае, во всех ключевых сценах, в каждом из кульминационных моментов.

Перемена эта отразилась, конечно, не только на динамичности стиля, но и на законах художественного восприятия: эпоха войны и Сопротивления — это наша живая память; уходя от нее все дальше, мы лишь яснее осознаем ее значимость для нашей, сегодняшней истории.

Во втором издании расширены лирические отступления — здесь можно, конечно, заметить влияние тех книг, которые были написаны автором между первой и второй редакциями,—самой «Страстной недели» и психологического романа «Гибель всерьез» (1965). Но роль этих новых лирических отступлений, как и прежних,—субъективный комментарий к происходящему, прояснение психологической реакции личности на события истории. В них есть эмоциональное напряжение и лиризм, но нет извращающего субъективизма. Проблема истории и личности остается главной и для двух редакций «Коммунистов», и для предыдущих романов «Реального мира», и для «Страстной недели». Здесь отчетливо и бесспорно идейно-эстетическое единство.

Вместе с тем книги, создававшиеся Арагоном параллельно с работой над второй редакцией «Коммунистов», то есть после «Страстной недели», принесли в творчество писателя новые ноты, дисгармонирующие с основным пафосом «Реального мира» и «Страстной недели». Главным становится герой, которого автор наделяет рядом неприятных, отталкивающих черт. Характер двоится, теряет иногда определенность.

Все герои романов, написанных Арагоном после «Страстной недели», имеют, как и Жерико, самое непосредственное отношение к миру искусства. Они тоже мучительно ищут и тоже встают перед частоколом из «зачем» и «почему». Они снова и снова ставят вопросы, на которые уже ответил — хотя бы вчерне — Т. Жерико.

С кем же я на самом деле? Кто я? Как понять другого? Что такое — говорить правду о реальности?» — спрашивает себя писатель Антуан, герой романа «Гибель всерьез. Бывает ли «чужим» горе, если это горе тысяч? Как сломать барьер некоммуникабельности, отделяющий тебя даже от самого близкого человека,— вот что хочет понять ученый, лингвист и психолог Жоффруа Гефье из романа «Бланш, или Забвение» (1967).

Но в этих персонажах много холодной рассудочности. По сравнению с ними Теодор Жерико — фигура гораздо более яркая, цельная (при всех метаниях), по-человечески более теплая. Для примера можно поставить Жерико рядом с героем последней книги Арагона «Театр-роман» (1974) [1].

---

[1] Aragon. Théâtre-Roman. Paris, Gallimard, 1974.

Ромэн Рафаэль — актер, привыкший играть и на сцене и в жизни, «быть всегда не собой, брать напрокат чужую душу, не узнавать себя в зеркалах, смотреть на себя со стороны». Сильные страсти обходят его стороной. Он меняет роли, меняет женщин, ни к одной не привязавшись по-настоящему. Была маленькая Мари и очаровательная Терез-Виолетт, была непостижимая Эрианта и странноватая Аврора, жадная на мужчин, но покончившая самоубийством при вести о смерти мужа. Были роли в пьесах Чехова и Ибсена, Стриндберга и Метерлинка, Шоу и Пиранделло, Бекетта и Фейдо. Для Дени, принявшего на сцене имя Ромэна Рафаэля, такая гамма «общений» с разными людьми и эпохами оказалась достаточной, чтобы не найти себя (как нашел Жерико), а потерять. Он перестал чувствовать, кто же он на самом деле. Повсюду чудятся ему двойники: астматический Старик («Я — тот, кем вы скоро будете... Я — это ты через тридцать лет») все о нем знает и говорит его словами; Даниэль готов заменить его на сцене; писатель Пьер Удри пишет о нем роман и потому сам придумывает его жизнь; Авроре кажется, что он похож на ее мужа, другая женщина находит в нем сходство со своим братом, погибшим во Вьетнаме.

«У меня дурная привычка — мыслить себя во множественном числе»,— вздыхает Рафаэль. Даже с садистом, мучающим его во сне, Ромэн Рафаэль однажды меняется местами: ему приснилось наконец, что насильник — он сам. В отличие от Жерико, Рафаэлю сходство с другими людьми (или призраками снов) не помогает ни проявить свою индивидуальность, ни пережить чувство ответственности за чужое горе. Лишь изредка пробивается комплекс вины перед молодежью, перед «кварталами Сорбонны, затерроризованными» полицией в 1968 году. Если время действия «Театра-романа» обозначено четко (1966 г., актеру Рафаэлю недавно исполнилось сорок), то место действия поистине, как признается сам автор,— «различные уголки помутившегося сознания». Поэтому и книга похожа на машинально «тасуемую колоду карт», «книга расброшюрована, растерзана, многие листы потеряны, вырваны, бумага помята, в дырках и пятнах... нечитабельная книга, книга, существующая для того, чтобы в ней потеряться... Книга — как разбитое зеркало».

Каждый жест Ромэна Рафаэля сценичен, подобно тому как у Жерико каждый взгляд — взгляд художника. Но что для Жерико — гармония таланта, то для Ромэна Рафаэля — утомительный тик привычки. Он пытается показать в лицах свою жизнь, повернуть к свету рампы «каждый уголок своей души» («душа как вставная челюсть на столике»), но психологическая глубина оказывается просто мелью, с которой не так просто сойти, если потерял личность.

Автор то полностью отождествляет себя с героем, то смотрит на него холодно и отчужденно, призывая читателя верить любви — «вот мой антитеатр, где я возрождаюсь, становлюсь просто человеком» — и яростно «трясти дерево жизни обеими руками, чтобы в тебе самом зажглись звезды». Автору больно и временами неприятно присутствовать при душевном эксги-

бицинизме стареющего человека, почти гордящегося тем, что он потерял себя. Что ж, седина — не паспорт мудрости.

Двадцатилетний Жерико ближе к точке истины, чем сорокалетний Рафаэль, слышащий отчетливее стон собственной эгоистичной души, чем призывы о помощи, раздающиеся вокруг. Жерико понял: прежде чем подойти к подрамнику или рампе, надо узнать, полюбить тех, кого ты покажешь; он понял, что произведение искусства может само стать элементом живой жизни, если, закрывая книгу или отходя от полотна, человек встревожится горем незнакомых ему людей.

«Страстная неделя» принадлежит именно к таким произведениям; не пытаясь морализировать или давать готовые рецепты, она учит высокому чувству ответственности — за отблеск радости в глазах друга, за верность законам Истории, за яркий талант, который — как и сам язык — дарован человеку для общения с современниками и потомками.

Т. БАЛАШОВА

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ

Эта книга не является историческим романом. Любое сходство персонажей романа с подлинными историческими личностями, равно как и совпадение имен, географических названий, деталей, по сути дела лишь чистая игра случая, и автор вправе снять с себя всякую за это ответственность во имя неписаных законов воображения.

А.

I

УТРО ВЕРБНОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ

Помещение, которое отвели сублейтенантам, освещалось единственной свечой на столе, и огромные тени игроков вползали на стены, переламываясь в пояснице на потолке. Уже начинали бледнеть в предрассветном сумраке давно не мытые оконные стекла.

Помещение сублейтенантов... вернее сказать, Пантемонская казарма; здесь еще два месяца назад были расквартированы части королевского конвоя, отряженные ныне в провинцию, здесь не только сублейтенанты, но и лейтенанты не имели своих коек,— не хватало коек даже мушкетерам, которые, как и другие королевские гвардейцы, в армии фактически носили чин лейтенанта,— поэтому местные, парижане, как, например, Теодор, ночевали у себя дома, а большинство провинциалов снимали номер в гостинице. Но, с тех пор как была объявлена тревога, все сбились в казарму, и поскольку сюда свели только офицеров, чины особых преимуществ не давали. В помещении сублейтенантов (сублейтенантов, которые в действительности были подполковниками) можно было встретить, что объяснялось личными связями, наряду с этими сублейтенантами-подполковниками также лейтенантов, бывших всего лишь мушкетерами. Например, Теодора... Поэтому-то казарма скорее походила на училище, где старички берут новеньких под свое покровительство. Теодора, во всяком случае, офицеры приняли радушно, прежде всего потому, что он имел репутацию классного наездника, из тех, что бывают у Франкони. Десять тревожных дней... Десять дней, в течение которых спали вповалку чуть ли не друг на друге — и старички и новенькие. Само собой разумеется, наш Теодор спал ближе к дверям, потому

что у дверей нашлась свободная койка, зато на верхнем этаже мушкетеры разложили тюфяки прямо на полу. Десять дней...

Десять тревожных дней, иными словами, десять дней не снимая сапог. Где-нибудь в походе еще куда ни шло, но в Париже, в Гренельской казарме! Конечно, спали, но как спали... В конце концов все эти россказни начинали действовать на нервы. Было еще полбеды, пока их назначали в караул в Тюильри, но с четырнадцатого числа караульную службу несла только Национальная гвардия. Томительно тревожное бездействие. Ложились, забывались сном, вдруг просыпались, одним прыжком вскакивали с постели. Не говоря уже о дурацком цукании... Потому что с этими желторотыми юнцами... Вдоль тюфяков еще ползли запоздалые предутренние сновидения, лентяи понурившись сидели в темноте — и дневальные, и те, что просто перебрасывались словами от койки к койке. Смятение, смятение, что бы там ни писали газеты!

— Вы читали вчерашний номер «Котидьен»?

Серый мушкетер сердито обернулся и увидел Альфреда. Молодой человек присел на край койки, где Теодор валялся прямо в сапогах, чуть ли не в полном облачении, в расстегнутом красном доломане,— снял он только васильковый супервест, на котором был вышит белый крест с лилиями, да поставил в проходе между койками кирасу, подперев нагрудник спинкой, так что она походила на две молитвенно сложенные руки. Только о чем молиться-то?

Альфред пришел поболтать со своим приятелем, столь же юным мушкетером Монкором, стоявшим возле постели и уважительно поглядывавшим на еще не совсем проснувшегося Теодора. Альфред и Монкор учились в одном пансионе, оба попали в Гренельскую казарму, правда в разные роты, но роты их были размещены на одном этаже. Несмотря на свой мальчишески тонкий стан, Монкор все же казался более взрослым, чем его бывший соученик по пансиону Гикса: Альфред, весь в белокурых легких кудряшках, выглядел совсем ребенком и, даже в темном плаще, накинутом на плечи, в доломане с высоким стоячим воротником, подпиравшим подбородок, в сапогах со шпорами, казался переодетой девочкой; свою черную с золотом высокую каску он держал на коленях, рассеянно гладя ее по-юношески тонкой рукой. Эх, хочешь не хочешь — приходится вставать! В помещении мушкетеров царил невообразимый беспорядок, за столом посередине комнаты, вокруг свечи, разливавшей тусклый свет, сидели Крийон, Тюренн и граф Галифе, игравшие с маркизом де Ганэ, который был при Бонапарте депутатом от Соны-и-Луары, успел поседеть в свои сорок пять лет и не очень-то подходил для чина «сублейтенанта». Все четверо — растерзанные, в облаках табачного дыма.

Шевалье де Масильян, устроившись за стулом де Ганэ, нагнулся, чтобы лучше следить за игрой, и его атлетические плечи отбрасывали на потолок неестественно вытянутую над головами игроков тень. В глубине комнаты у перегородки все еще храпел Удето, и в полумраке можно было различить лишь огромные подогнутые ножищи и жирный зад, казавшийся особенно могучим из-за белых лосин. Подумать только, и это бывший императорский паж! Удето держал себя покровительственно в отношении Теодора, которого уважал как наездника: тот мог справиться с любой лошадью и самую заведомо норовистую объезжал без седла; к тому же кузен Удето, тот, что писал стихи, восторженно отзывался о Теодоре.

— Который час? — обратился Теодор к безусому Альфреду.

— Пять,— ответил за него Монкор.

Хотя горнист уже проиграл на плацу зорю, было так же темно, как ночью,— небо заволокло тучами, со вчерашнего дня не прекращался дождь. Лежавшие зашевелились, три-четыре мушкетера сели, зевая, на кровати, машинально оправляя растрепавшуюся за ночь шевелюру,— кто обтягивал доломан, кто надевал кирасу. Со звоном упала на пол чья-то сабля. Вдруг пляшущий свет заполнил комнату, исполосовал лучами полумрак: кто-то, взобравшись на скамью рядом с Галифе, зажег масляную висячую лампу под жестяным абажуром. В коридоре послышался торопливый топот, в спальню шумно возвращались мушкетеры с покрасневшими от холодной воды ушами и шеей, с блестевшими после бритья щеками; швырнув скомканное полотенце в ноги койки, они в спешке хватались за доломаны и кирасы. Все это скорее напоминало дортуар где-нибудь в лицее, чем казарму. За исключением разве того, что каждый кавалерист имел росту самое меньшее пять футов шесть дюймов и соответственный торс. И что на таких юнцов, как Альфред и Монкор, приходилось втрое больше сорокалетних, вроде Ганэ, старичков из армии Конде и повес времен Империи. Начался невообразимый гвалт, и, легко перекрывая его, молодой голос самозабвенно распевал: «Красотка Габриэль».

Оба соседа Теодора по койке вернулись в комнату, продолжая начатый разговор:

— Мой кузен де Шуазель-Бопрэ,— как известно, он в личном королевском конвое,— так вот он мне подтвердил, что позавчера, прибыв в Орсейскую казарму, Кларк им сказал, как вы сами, очевидно, прочли позавчера в «Деба»... мол, сегодня вечером сможете снять сапоги и спать спокойно и все такое прочее...

— А пока что,— не вынимая изо рта трубки, отозвался его собеседник, высокий брюнет,— а пока что ноги совсем запрели!

Шевалье де Масильян повернулся к ним.

— Я тоже вчера слышал Кларка, он повторил эти слова в приемной короля... Ничего, рано или поздно снимем сапоги. Новости вообще-то хорошие, к тому же нынче вечером испанское посольство ужинает в Тюильри, и весь дипломатический корпус во вторник приглашен туда на прием с балом... послезавтра то есть.

«Что это — потребность в самоуспокоении или просто так?» — думал Теодор, который был уже на ногах и кончал свой туалет. Юный жандарм, которому, надо полагать, было уже восемнадцать, а на вид казалось пятнадцать, с восхищением смотрел на своего кумира. В Гренеле были расквартированы одновременно четыре «красные» роты королевской гвардии — серые мушкетеры, легкая кавалерия, гвардейские жандармы и конные гренадеры. Альфред, частенько заходивший сюда повидаться со своим товарищем по пансиону, проникся самыми дружественными чувствами к этому серому мушкетеру, который высмеивал его манеру садиться в седло и научил правильной посадке. Теодор — лихой кавалерист! А какой у него конь — серый, черноголовый, по кличке Трик, и похоже, что этому Трику Теодор отдал всю свою сердечную привязанность... Ему Альфред ни за что на свете не решился бы, как Монкору, показать свои стихи, которые он писал втайне от всех. Ну, пора идти к себе в роту.

Тут с порога кто-то окликнул Теодора и заговорщическим жестом приподнял флягу, приглашая выпить, пока еще не дан сигнал седлать. Младенец Альфред чуточку ревновал Теодора к Жюлю Марк-Антуану виконту д'Обиньи, сублейтенанту роты конных гренадеров Ларошжаклена, с которым Теодор охотно ездил кататься верхом к Версалю и которому было, как и Теодору, не меньше двадцати четырех лет. Да и ездил-то он на чистокровном английском скакуне темно-рыжей масти (Трик за ним едва поспевал) и великолепно брал препятствия. С тех пор как этот гренадер появился в казарме, Альфред перестал существовать для Теодора.

Марк-Антуан уже с самого утра был в полном параде, с волочившейся по земле саблей, в медвежьей шапке на голове, с золотой перевязью поверх красного доломана, отделанного золотым шнуром, в серых рейтузах с золотым кантом, несколько излишне подчеркивавших линию мускулистых ног, которые, привыкнув сжимать конские бока, как бы не совсем уверенно ступали по земле. Очевидно, при входе он услышал слова шевалье де Масильяна и двух соседей Теодора, потому что вдруг громко и грубовато вмешался в разговор с решительным видом человека, которого природа, наделив такими мускулами, тем самым наделила и отвагой:

— Подумаешь, кузен не снимал сапог... А королевский конвой простоял ночь на Елисейских полях. И волонтеры господина де Вьомениль... Под таким-то ливнем! Хорош, должно быть, у них

вид. Зато господин де Круа д'Аврэ ночевал в Тюильри, а князь де Пуа — в предместье Сент-Онорэ!

Шарль де Ганэ, поднявшись наконец со скамьи, сгреб со стола карты и выигрыш, подтянул рейтузы и молча пожал плечами. Он мог бы сказать многое: этот юноша, этот новоявленный француз еще при Карле VII был Стюартом! Но разве мог он, Ганэ, служивший Бонапарту, понять жертвенный порыв, охвативший всю эту молодежь, всех этих мальчиков, сбежавшихся из родного угла в Тюильри, к королю, кричавших графу д'Артуа, когда тот проезжал мимо них в своей карете, что они немедленно желают двинуться на Гренобль, преградить путь Узурпатору?.. Ну за что виконт ополчился на князя де Пуа? Потому что самому не удалось переночевать у своего отца барона в особняке, построенном Вобаном?

Мушкетеры с грохотом ссыпались с лестницы. Кто-то в темном уголке раскуривал от огнива трубку. Во дворе гулял шальной ветер. Моросило. Но дождь теперь шел вперемежку со снегом. Холод пробирал до костей, ноги расползались по грязи, еще спал в этот предрассветный час окутанный тишиной город, а во дворе стоял шум и гам, нетерпеливо ржали кони, в пляшущем свете факелов виднелся строй серых лошадиных крупов — мушкетерских верных коняг. Хотя под влиянием винных паров Теодор чувствовал, как по жилам его бежит живительное тепло, он все же плотнее закутался в плащ, спасаясь от предутреннего свежего ветерка. Кавалеристы — кто в каске, кто в меховой шапке — расходились по своим взводам. И весь двор наполнился, закишел темными силуэтами. Казалось, занимавшийся день еще медлит соскользнуть с гребней крыш на дно этого унылого колодца. Кавалеристы, державшие под уздцы коней, в своих длинных, чуть топорщившихся у плечей плащах, напоминали хищных птиц. То и дело из-под лошадиных копыт сыпались искры, сквозь сапог нога ощущала острые камни.

Туманную зарю рассекли слова команды. Учение в воскресный день? Что они, совсем рехнулись, что ли? Как долго это будет тянуться? Вчера газеты сообщали, что королевские войска отошли в Гренобль и Лион. Так-то оно так, но зачем же держать кавалеристов в боевой готовности? Вчера смотр, нынче учение. К этому королевская гвардия не привыкла, пусть даже подтвердится слух и нас действительно присоединят к Меленской армии, которой командуют герцог Беррийский и маршал Макдональд, но это еще не резон, чтобы в воскресенье чуть свет месить грязь на Марсовом поле. Вряд ли это остановит армию перебежчиков, идущую от Лиона на Париж...

Стоит только Макдональду последовать примеру Нея...

* * *

— Все-таки,— поворачиваясь в седле и сдерживая своего чистокровного скакуна, сказал Марк-Антуан, в то время как мушкетеры по окончании ученья собирались кучками,— все-таки,— сказал он, обращаясь к Теодору, который пристроил в ожидании своей очереди вышеупомянутого серого Трика поближе к легкой кавалерии,— хоть в вербное воскресенье они могли бы оставить нас в покое! Праздник, а нас на учение выгнали, ведь еще только вчера герцог Рагузский делал смотр войскам! И что это еще за новая выдумка — сегодняшний смотр?

Артиллерийская повозка, запряженная парой лошадей, выбралась из канавы,— казалось, ее вот-вот разнесет в щепы от грохота колес и негодующих криков, но она благополучно проложила себе путь, отрезав гренадеров от мушкетеров. Гвардейцы маленькими группками возвращались в Гренельскую казарму. За исключением одних лишь черных мушкетёров, проехавших вперед по направлению к Селестенским казармам. Дождь все не унимался. С коней и всадников стекала вода, и плащи казались совсем черными по сравнению с пурпуровыми седлами. Что за дурацкая мысль в такую непогоду таскать их с места на место? Коренастый виконт д'Обиньи сидел в седле скорчившись, шею он втянул в воротник, надвинул на лоб медвежью шапку, и, хотя был ростом не ниже Теодора, выглядел совсем коротышкой; сквозь прорези плаща виднелись рукава красного доломана, который, казалось, вот-вот лопнет на его могучих плечах; он пыхтел, как бык, и был очень похож на Нея своей круглой физиономией с россыпью рыжих веснушек. Теодор не успел ему ответить. Он уже выезжал за ворота. Но именно благодаря физиономии Марк-Антуана он вспомнил об измене маршала... Что все сие означает?

Всего два месяца назад кавалеристов разместили в Пантемонской казарме, которая в просторечье звалась Гренельской, ибо помещалась на углу Бургундской улицы и улицы Гренель. Сначала казарму оборудовали только для солдат королевского конвоя, потом расквартировали там и другие подразделения, несшие караульную службу в Тюильри,— и в этой тесноте ютились теперь четыреста шестьдесят серых мушкетеров, две сотни гренадеров и около пятисот жандармов, не говоря уже о том, что в конюшнях едва хватало места для лошадей. Да и легкая кавалерия, недавно расквартированная в Версале, тоже переправила в Париж два эскадрона в здание Военного училища и два сюда, в Гренельскую казарму. Черные мушкетеры стояли у Капуцинов. Королевскому конвою отвели Орсейскую казарму, но ведь их было ни мало ни много три тысячи человек. Правда и то, что далеко еще не все ка-

валеристы получили коней. Многие даже жили вне Парижа и только в самые последние дни перекочевали в Гренельскую казарму. Гвардейцам, сплошь офицерскому составу, разрешалось, по желанию, ночевать дома. Как, например, Теодору. Он отводил своего Трика в Новые Афины к своему отцу. В маленьком дворике, позади кухонь, прилегавшем к их флигелю, имелся специальный денник, куда и поместили Трика, а ухаживал за ним привратник из бывших кирасир Эйлау. Сам Теодор ночевал дома, если только не проводил ночь где-нибудь на стороне.

Вот под этим-то предлогом Теодор и выпросил у своего командира Лористона увольнение хотя бы до двух часов: надо же привести Трика в приличный вид, коль скоро сегодня во второй половине дня его величество проведет на Марсовом поле смотр «красным» и «белым» ротам. Эстафета с этим известием прибыла от маршала Мармона, когда разъезд уже начался; черные мушкетеры вообще отбыли, без малого девять часов проторчав на плацу, и никто не знал, удастся ли собрать к назначенному часу роты в полном составе. Серых мушкетеров, на их беду, успели предупредить. И Теодору хотелось попрощаться с отцом, ибо так или иначе было очевидно, что придется покинуть столицу. Надо полагать, все же не нынче вечером, особенно, если учесть, что после утренних маневров на Гренельском плацу предстоял еще королевский смотр: неужели кому-нибудь придет в голову выступать ночью, гнать коней в темноте? Этого только недоставало. А главное, что все сие значит?

Родичи Ло де Лористона, командовавшего ротой серых мушкетеров, ровесника де Ганэ, перестали быть англичанами не во времена Карла VII, но в царствование Людовика XV, ибо Лористон приходился внуком знаменитому финансисту Ло; родился он в колонии и, приехав во Францию, вступил в самый разгар террора в революционную армию... Это он привез Наполеону из Лондона весть о мире, а Кутузову — весть о войне, это он фактически решил исход победоносного сражения под Ваграмом... Вот о чем думал Теодор, глядя на своего командира, стоявшего возле таможни Гренель, у Стены Откупщиков, вдоль которой были аккуратно высажены деревья. Господин де Лористон, в свою очередь, благосклонно взирал на бравого мушкетера — красивый малый, сложен как бог, сидит в седле как влитой, огромные глаза и светло-рыжая бородка... единственный или почти единственный разночинец в его роте...

— Хорошо, хорошо, лейтенант, только смотрите возвращайтесь ровно в два...

Как укладывались все события сегодняшнего дня в голове этого солдата девяносто третьего года, сына разорившегося отца,

который нюхнул пороха, дурманящего пороха бонапартовских побед, даже дал при крещении одному из своих сыновей имя тирана, а сейчас командовал ротой серых мушкетеров, личным эскортом Людовика Желанного? Вдруг Теодор заметил, что их командир стоит как раз возле того дерева, на которое ему как-то указал д'Обиньи, присовокупив, что именно здесь погиб в 1812 году генерал Лагори. Теодор отдал честь саблей, круто повернул коня и поскакал в город. Завтракать. Скорее завтракать! С самого утра он был голоден как волк. Дождь утихал, но грязь стояла непролазная.

* * *

Ну и март! После бурных ливней окончательно раскисли поля и дороги, и хотя солнце временами проглядывало сквозь черные заплаты, затягивавшие все небо, эти передышки были слишком коротки, чтобы успел просохнуть Гренельский плац. Кавалеристы совсем загоняли на маневрах коней, увязавших чуть ли не по бабки в цепкой грязи. Да и самим гвардейцам явно не хватало закалки, многие из них, если не большинство, находились в армии всего два-три месяца, правда, в штабе были и бывшие соратники принцев-эмигрантов, и даже офицеры Бонапарта, как Ло де Лористон и маркиз де Лагранж, командовавший черными мушкетерами, и Бертье, князь Ваграмский, командир королевского конвоя, а в роте герцога Граммона имелся даже генерал де Рейзе, который восемнадцати лет от роду убежал из родительского дома, дабы сражаться под знаменами Клебера. Создавалось довольнотаки странное положение: людям в конце концов уже немолодым, вроде маркиза де Ганэ, давали чин сублейтенанта, военных, вернувшихся во Францию в период Консульства и присоединившихся к Бонапарту после 18 брюмера, при Реставрации мариновали без толку... в королевской гвардии можно было встретить не только полковников, но и генералов, имевших один или в лучшем случае два галуна... Но вообще-то гренадеры, мушкетеры, жандармы и другие гвардейцы, купившие себе офицерский чин, были по большей части младшие в семье, и главная их заслуга заключалась в том, что по возрасту они не могли служить и не служили Узурпатору. Тем, у кого не было лошадей, в случае если разыграется бой, выдадут на худой конец ружья: славная пехота получится из таких вот молодцов, никогда не проходивших военного обучения.

Приходилось топтаться на месте, пережидать, пока не схлынет поток кавалеристов, которых собралось тут не меньше трех тысяч.

Послезавтра — весна. Теодор погладил круп своего Трика, своего верного серого коня. Ему ужасно нравилось, что мушкетеры рознятся друг от друга не по той или иной детали военной формы — у всех были красные доломаны,— а по масти лошадей, серых или черных. Пусть даже ему пришлось немало побегать зимой, чтобы раздобыть себе лошадь непременно серой масти, как то полагалось, и притом отвечавшую всем тем требованиям, какие предъявляют к истинно кавалерийским коням. Само собой разумеется, он мечтал раздобыть себе чистокровного английского скакуна, но оказалось, что достать такового немыслимо даже с помощью дяди, проживающего в Версале. Пришлось отправиться в Кальвадос, где покупателю подсовывали жутких одров, непригодных к бранным трудам. А Теодор хотел приобрести настоящего кавалерийского коня, который не тяготился бы своим седоком, был бы выносливым, способен мужественно нести службу — и сегодня, и завтра, и послезавтра. Теодору повезло: ему достался этот конь, сильный и изящный; происходил он от арабского скакуна Годольфена — одного из лучших производителей вороной масти нормандских заводов, в него Трик пошел способностью не жиреть, мощностью костяка и на редкость строгим аллюром — весь он был словно вырезан из дерева рукою мастера. Вообще-то говорят, что черноголовые рысаки не крепки на ногу, но Трик блистательно опровергал это распространенное мнение. Его Трик! Теодор был просто без ума от своего Трика, и вся рота завидовала Теодору. Сейчас шерсть Трика была покрыта каплями дождя и лоснилась от пота.

— А ну, живее, дружок, вот уже квартал Лоретт; для такого скакуна, как ты, это пустяковое дело, а дома ты отдохнешь, Батист приберег для тебя гарнец овса, он тебя хорошенько почистит, ты ведь любишь, шалун, когда тебя чистят скребницей, а?

Трик вместо ответа вытянул шею. Теодор глядел на расстилавшийся перед ним Париж, Париж шиферных кровель. Вон Сен-Жерменское предместье и слева купол Дворца инвалидов, ослепительно золотой в своей новизне. Теодор чувствовал приятную разбитость во всем теле. Весеннее утро сняло усталость еще одной ночи, которую он проспал, не раздеваясь, на тюфяке в Гренельской казарме, ему по душе была верховая езда, лошади, учение. Но в общем-то состояние его можно было сравнить с этим небом: даже солнечный свет не разгонял туч; вот уже двенадцать дней, как над всей их жизнью нависло что-то, придавило. Хоть бы они знали толком, что происходит в действительности... Сначала казалось, что все это выдумки, что все эти слухи ползут только по казарме, но потом они имели не один случай убедиться, что во всем Париже говорят то же самое. В кофейнях мушкетеры и другие

гвардейцы все чаще и чаще слышали дерзкие речи, и все чаще и чаще происходили поединки: на то ты и солдат, чтобы драться.

До лета 1814 года, когда в столице стояли союзные войска, вызывали на дуэль чаще всего иностранцев. Особенно отличались бывшие бонапартовские офицеры — за здорово живешь рубились на саблях с молоденькими немцами или русскими. Но когда французы остались одни, тут уж начала рваться в бой молодежь. Вечерами пили вместе с победителями в «Кафе Ройяль» на улице Роган. До чего же нелепы все эти истории! Ну, допустим даже, корсиканец высадился в Антибах, у него тысяча молодцов, а дальше что? Очередная авантюра!.. А у самих в глазах мелькал насмешливый огонек. Что ж, разумеется, наш Париж остался роялистским Парижем. Но Теодор не мог не видеть, как, заметив его в мушкетерской форме верхом на коне, прохожие подмигивали друг другу, подталкивали соседа локтем и переговаривались вполголоса, глядя ему вслед. До сих пор он не забыл, что сказала ему одна девица в тот вечер, когда он напился, как сапожник: «Какая жалость, что ты мушкетер!» Вокруг Тюильри в тревоге сновали люди. А потом вдруг волонтеров сменили вызванными из отпуска кадровыми военными. И вот с девятого числа объявили тревогу. И как радовался еще в январе Теодор, с каким ребяческим восторгом ходил он заказывать себе форму — красный мундир, две пары рейтуз — белые и серые, кашемировые брюки, плащ с алой оторочкой... Он часами мог забавляться, примеряя серебряную с золотом каску, увенчанную позолоченным гребнем и кисточкой из конского волоса, любовно проводил пальцем по черному бархату, которым был подбит подбородник. Нежно поглаживал ладонью белый плюмаж, выходивший из венчика черных, мелко курчавившихся перьев. Особенно же гордились мушкетеры черными развевающимися хвостами, шедшими назад от кисточки... Такое обмундирование стоило бешеных денег, и хотя Теодору от покойной матери достались не только миндалевидные глаза, но и десять тысяч ливров ренты, отец сам оплатил все расходы по шитью формы, даже купил сыну уйму необходимых в военной жизни мелочей, французское седло и пурпуровый чепрак для Трика. Больше всего Тео, как называл его папочка, радовался сбруе, лядунке, сабле, ружью. «Quo ruit et lethum...» «Куда устремляется — сеет смерть...» Великолепная надпись, начертанная на знамени серых мушкетеров, была выгравирована также на касках, на золотой гранате, украшавшей передок нашлемника... и Теодор любил повторять про себя этот девиз: «Quo ruit et lethum», так, словно слова эти стали и его собственным девизом, девизом его жизни, судьбы, и, пьянея от конского галопа, он испытывал такое чувство, будто устремлялся навстречу смерти... Но не только это

безудержное легкомыслие, отвлекавшее Теодора от его раздумий, было причиной безумного решения сделаться королевским мушкетером.

Без сомнения, это-то и создавало известную дистанцию между ним и его друзьями, числившимися либералами. Или еще хуже того. Как, например, Робер. Или Орас. Не без горечи думал он об Орасе, о друге своей юности. Перед отъездом он с ним не повидается. И не объяснится с ним. И не придется Луизе выступать посредницей между своим мужем и нашим мушкетером. Кроткая Луиза, тезка матери Теодора, скончавшейся, когда ему было десять лет... И офицеры других частей тоже недолюбливали королевскую гвардию, достаточно было вспомнить, какой прием оказали на той неделе герцогу Беррийскому, посетившему Вавилонскую казарму,— более чем холодный прием. Когда его высочество — низенький толстячок, грубоватый в обращении и несдержанный на язык,— проходил по казарме с эскортом мушкетеров, в числе каковых был и Теодор, позади слышался ропот. Что ж, в конце концов этих малых можно понять: ведь под предлогом экономии многих спе́шили, и они еще должны опасаться, что не сегодня-завтра их могут заменить любым молокососом, приобретшим офицерское свидетельство, мальчишками, только соскочившими со школьной скамьи, кисейными барышнями, как тот же Альфред, младенцами, не нюхавшими ни Аустерлица, ни Березины, и заменить только потому, что родители последних на хорошем счету, известны своей преданностью королевской династии... И вдобавок папаше с мамашей приходится раскошеливаться, король не особенно-то тратился на содержание своей гвардии: офицерам полагалось приобретать обмундирование за свой собственный счет. Кавалеристы получали восемьсот франков, но родные должны были приплачивать им на содержание еще франков шестьсот.

Казармы сейчас опустели, войска отправили в Мелен. Стало быть, приходит их черёд? Ба, в Мелен так в Мелен, или еще куданибудь, не все ли равно... Quo ruit... Ему-то, Теодору, что за дело? Главное — забыть, отвязаться от назойливых мыслей. А для этой цели нет ничего лучше, чем физические упражнения. Особенно, если у тебя есть конь... Когда сидишь в седле, ты уже отчасти иной, чем раньше, ты и одинок, и уже не так одинок, как обычно, ты не можешь думать только о себе,— любая перемена настроения трепетом передается верному коню. Ах, если бы могла существовать такая же передача мыслей и чувств между тобой и женщиной, покоящейся в твоих объятиях! Ты принадлежишь не только себе и в то же время чувствуешь себя хозяином. Поездки верхом, воинская дисциплина — все вплоть до тех помех, какие не дают вам распоряжаться собственным временем, все что угодно, лишь бы до-

вести себя до одури, изнеможения, заснуть без снов. Не думать о минувшем, даже о том, что было накануне. О том, что не оправдались мечты. Солдат! Он всегда был солдатом, только не сразу осознал свое призвание. Прав был в свое время Робер Дьедонне, только Теодор не хотел слушать его тогда. Солдат — это вечера в кофейнях, всей ротой. Орут хором песни, горланят. Затевают споры, бегают за девицами.

Воспользовавшись тем, что ряды мушкетеров разомкнулись, Теодор перевел коня на тихую рысь; следуя за мерно колыхающимися, как морская волна, серыми лошадиными крупами и за алыми всадниками, он добрался до Сен-Жерменского предместья, миновав Дворец инвалидов, где уже делали остановку; дальше роты, в полном порядке и соблюдая очередность, поворачивали к Гренельской казарме. На Бургундской улице Теодор обогнал своих товарищей, разъезжавшихся по подразделениям, и теперь путь перед ним был открыт, свободен. Он снова пустил Трика шагом.

Ну ладно, все эти истории... удовольствие, с каким носишь форму, эта странная армия, где полковники получали чин лейтенанта, это смешение каст, чувство затерянности... все это забавляло, развлекало его, по крайней мере еще в начале марта; даже людская неприязнь, ну, взять хотя бы эти враждебные взгляды прохожих, их злобные шуточки вслед его Трику — все это придавало жизни известную пряность, смак. Впрочем, среди офицеров на половинном содержании, рядовых республиканцев, равно как и перед лицом роялистского Парижа, Теодор втайне испытывал пьянящую гордость от того, что позволял себе думать отлично от всех прочих, не воплощать собой ни того, что воплощала его форма, ни того, что было ее отрицанием. Да, по совету Марк-Антуана он, не внимавший доводам Робера, вступил в серые мушкетеры, был великолепно одет, щеголял лосинами в обтяжку, умел носить каску, колет, саблю... Ничем он не отличался от, скажем, Клермон-Тоннера или, например, Крийона, а манерами мог затмить любого графа Удето, бывшего пажа, с виду обыкновенного мужлана, или даже герцога Беррийского, бесшеего коротышку... да и кто бы подумал, что такой молодец, пяти футов шести дюймов росту, как и полагается мушкетеру,— обыкновенный разночинец? А галуны на обшлагах и на отворотах!

Внезапно Теодор заметил перед собой чуть-чуть правее, на фоне грязно-серого неба, над гребнями крыш арку радуги, которая одним своим концом уходила вниз и скрывалась между домами, касаясь земли где-то неподалеку от Сены, возможно на площади Карусель, в том странном и причудливом квартале, где были дворец и сад Тюильри... «Что за безвкусица!» — вдруг подумал Тео-

дор. И хохотнул. Впрочем, давным-давно известно, что слишком яркие тона не по душе живописцам... Вот уже много месяцев, как он не посещал выставок, не заглядывал даже в мастерские художников. Не бывал в галерее Лувра, над которым сейчас нависла радуга. Хотя он каждый день отправлялся в Тюильри, но место его было в том дворе, куда уходила другим своим концом радуга, где были кони и пустоголовые юнцы в алой, богато расшитой форме. Ах да, ведь как раз нынче закрывается Салон 1814 года, там, позади Сен-Жермен-л'Оксеруа... Нынче вечером или завтра начнут снимать со стен полотна.

От резкого порыва ветра защелкали, застучали ставни. Все вдруг снова стало мрачным. Трик, пройдя по набережной, вступал на мост Людовика XVI. Площадь по ту сторону реки, катившей желто-серые воды, была, несмотря на непогоду, забита людьми. Со стороны Елисейских полей расположились войска, составив ружья в козлы, и на них глазели зеваки, вышедшие погулять в воскресный день. Со стороны дворца выстроились зеленые и красные егеря. И угрюмо тревожная толпа вливалась в сады Тюильри... Всадник на мгновенье попридержал на мосту Трика и, полюбовавшись каменными копями работы Кусту, перевел взгляд на коней Куазевокса. Но, услышав предостерегающие крики кучера проезжавшей мимо почтовой кареты, поспешно посторонился.

Что за славный малый наш Теодор, высокий, плечи чуть покатые, овал лица удлиненный, но голова небольшая, негустая бородка, переходящая в бакенбарды, усы значительно светлее волос, скорее рыжеватого оттенка, огромные глаза под неестественно прямыми надбровными дугами и ресницы — совсем девичьи, что так не вяжется с его внешним обликом,— длинные-длинные ресницы, когда он их опускает,— словом, удивительная смесь буйства и нежности. И конечно, англоман, как считали себя англоманами все его сверстники из неприязни к Империи. Англоманы во всем — завзятые любители английских трубок, английских тканей, английского бокса с грузчиками и конюхами. Хотя мать и не передала ему английскую кровь, он, как и Орас, товарищ его первых прогулок верхом, сын старого любителя-лошадника, научившего Теодора понимать красоту коня, он, как и Орас, был истинным денди, и один бог знает, какие мечты унаследовал он от своей матери, часами грезившей у окна их руанского дома на улице Аваласс и так и не принявшей сердцем Парижа, где она скончалась в первых числах нового века, когда семья перебралась на жительство в столицу. Истинный денди, и сейчас весь его дендизм был направлен на верховую езду. Быть может, даже больше, чем от отца Ораса, юркого южанина, жокея, старавшегося казаться хоть на дюйм выше, Теодор перенял эту свою страсть от дяди Каррюэля де Сен-Мартен,

брата покойной матери, который имел в Версале прехорошенький домик, и с чьей помощью юноше удалось проникнуть в дворцовые конюшни. Дядя прекрасно понимал своего племянника. Оба они отличались высоким ростом, оба не были чужды самых аристократических мечтаний, хотя Каррюэль был просто-напросто негоциантом, получившим на откуп сбор соляного налога. Уж не потому ли создавалось впечатление, что Теодор воспитывался у какого-нибудь принца, среди конюших и наездников? И подобно тому как в боксе он славился ударом ногой, такую же ловкость проявлял он, орудуя саблей и шпагой. И, однако же, был он всего-навсего воспитанником Императорского лицея, где и рос, заброшенный, в грязи, в пропахшем мочой доме на улице Сен-Жак, затем долгое время был интерном в школе на Вавилонской улице, куда поместил его отец, наживавшийся на сделках с национальным имуществом. Правда, каникулы он проводил в Нормандии у своего дяди-цареубийцы.

Проезжая через площадь Людовика XV и ловко направляя Трика среди пешеходов: «Эй! Эй, глядеть надо!» — Теодор подумал, что утреннее учение в воскресный день, очевидно, подтверждает правильность последних слухов. Неужели их в самом деле ушлют в Меленский лагерь? Впрочем, в том не приходилось сомневаться, ведь Бонапарт продвигался в глубь Франции, и никто не знал, сколько у него под ружьем людей. Тысяча, как утверждали в первые дни, наверняка уже обросла еще сотнями: на сторону «врага рода человеческого», как звали Бонапарта приятели Теодора, переходили по мере его продвижения королевские войска с оружием и обозами. Сначала тревога охватила районы Нора и Эны. Потом затрепетал от ужаса Париж, когда стало известно, что Друэ д'Эрлон, Лефевр-Денуэтт, братья Лаллеман направляются к столице. Заговор не удался: жандармы посадили братьев Лаллеман в тюрьму в Фертэ-Милоне. Ладно, измена этих генералов очевидна. Повсюду собирали войска для герцога Беррийского и направляли их в Меленский лагерь... меж тем как граф Артуа, отец герцога и родной брат короля, двигался навстречу тому, другому. Но когда семнадцатого числа в Париж дошла и распространилась в народе весть о предательстве Нея, правда, еще не окончательно удостоверенная... Произошло это через день после заседания Палат, куда Людовик XVIII прибыл в сопровождении гвардии и под восторженные крики толпы: «Да здравствует король!», «Жизни не пощадим!» — в тот день имя Нея, князя Московского, еще было залогом того, что дальше Лиона Людоеда не пустят. Хотя Ней и был приверженцем Наполеона. В Лувре удвоили караулы. А на место швейцарцев, отправленных в Мелен, поставили Национальную гвардию. Почему же имя Нея так поразило людей? Город был про-

сто ошеломлен. Да и двор, кажется, тоже. Хотя и с запозданием: от короля новость скрывали до вечера. Просто немыслимо. Почему именно маршала Нея считали надежнейшей опорой монархии? Приверженец Наполеона. Ну, а маркиз де Лагранж или Ло де Лористон? Или возьмем вновь назначенного военного министра, ибо в начале марта Людовик XVIII снял прежнего министра Сульта, герцога Далматского, заподозренного без особых оснований в приверженности своему бывшему повелителю и в соучастии в Энском мятеже, и на его место назначили Кларка, герцога Фельтрского, другую креатуру Бонапарта, того самого Кларка, что семнадцатого марта посулил королевскому конвою спокойную ночь и разрешил снять сапоги!.. Семнадцатого марта, когда ему, несомненно, стало уже известно о предательстве Нея от барона Клуэ, прибывшего из Лиона.

И однако же... Ней изменил. Людоед вечером спал в Оксере. Обутый или разутый — не важно. Изменил, как Друэ д'Эрлон, как братья Лаллеман... Впрочем, они ведь вместе были в Испании? Кавалеристы. Слово «кавалерист» для Теодора означало — такой же человек, как и он сам. Он не раз видел генерала Лефевр-Денуэтта, возвращавшегося верхом в свой особняк на улице Победы, что в двух шагах от их дома. На чистокровном арабском скакуне...

Измена? Когда, в сущности, изменил Ней,— сейчас или в прошлом году? Полная неразбериха, как, впрочем, и во всем: того, кого накануне величали героем, назавтра клеймили как предателя. И те, кто переходил в другой стан, действительно ли они были предатели? В прошлом году они, быть может, просто выполняли волю народа, старались удовлетворить его жажду мира после изнурительных военных лет... А теперь вот Ней. Что ж, значит, он выбирает войну? Так ли уж он отличается от тех людей, которые гогочут вслед «красным» ротам, от старых вояк, готовых вызвать на дуэль любого за одну неосторожную фразу, от большинства обывателей, читающих «Желтого карлика»? Столько изменников разом, да этого просто не может быть! С каких чинов начинается измена? Стало быть, вчерашние солдаты, увешанные медалями, инвалиды, заполнившие улицы Парижа, те, что брали приступом города, похищали устрашенную штыками Европу, а теперь ходят оборванцами,— значит, они изменники? Отсюда, с улицы Риволи, Теодор увидел сквозь решетку на террасе «Кафе фельянов», как собирались кучками люди и вдруг расходились, взволнованно размахивая руками. О чем они говорят? Все еще о маршале Нее?

Теодору вдруг припомнилась одна история, которую ему недавно рассказали. Когда император был еще в России, в Париже случилось из ряда вон выходящее происшествие — генералы Мале и Лагори устроили заговор... Утверждали положительно, что заго-

ворщики были связаны с «Великой армией»: там было немало республиканцев, которых привела к Наполеону своего рода верность воинскому долгу, которые видели в победоносном марше наполеоновских орлов не столько честолюбивые притязания одного человека, сколько возможность разнести во все концы света революционные идеи... Однако, если бы Мале добился успеха... стали бы они ниспровергать Наполеона? Говорили, что один из маршалов, находившихся там, под Москвой, на занесенном снегом биваке, был связан с заговорщиками и ждал только знака, чтобы захватить корсиканца... Возможно, Ней... Тогда говорили, что это как раз и был Ней. Но ведь заговор-то был республиканский... Однако Лагори считался монархистом. Кто же тогда прав? И что лучше: совершить этот акт где-нибудь там, в далекой России, или у ворот Парижа, как то пытался сделать спустя два года Мармон? Или в Ла-Фере, как братья Лаллеман? А теперь Мармон командует королевской гвардией, Лефевр-Денуэтт — в бегах, Лаллеманы — в тюрьме... Чего хотели все эти люди? Республики... Террора, что ли? Робеспьер!.. В эпоху якобинцев Теодору было два-три года; он мог знать, да и знал о них только то, что рассказывали ему взрослые. Отец — умеренный роялист, благоразумно переждавший грозу,— воспитал сына в своих идеях. Правда, имелся еще дядя Симеон, цареубийца... Но с Теодором он всегда говорил языком умиротворения. Никто не спросил совета у дяди Симеона, когда его племянника определяли в мушкетеры. Экипировка, мушкетерское снаряжение — на все это отец не поскупился, лишь бы сын не корпел над тем, что, в сущности, не стоит труда. Он предпочел, чтобы его красавец мальчик гарцевал среди королевской гвардии. Кроме того, это был лучший способ раз навсегда предать забвению те годы, когда тому, кто хотел выжить, не приходилось особенно щепетильничать. Тем более что с той поры, как Теодор стал мушкетером, все, казалось, успокоилось, определилось. Но Лион в руках Бонапарта! На плацу Гренель Марк-Антуан улучил минуту и, поставив своего коня рядом с Триком, шепнул Теодору, что Санс, да, да, Санс сдался без сопротивления... Между авантюристом и Парижем не было больше ни одного полка, ни тени войск, он шел на Фонтенбло...

Да и сейчас, когда Теодор разговаривал со своим командиром Лористоном, он узнал то самое дерево, у подножия которого был расстрелян Лагори... А Лагори тоже был изменником или нет? Ну, хотя бы с точки зрения Ло де Лористона? Тогда... А теперь? Только подумать, что юный Бонапарт и Жак Ло де Лористон были вместе в Военном училище и вели себя в отношении друг друга, как эти два юнца в Гренельской казарме возле его койки — Мон-

кор и виконт де Виньи... Значит, командир серых мушкетеров изменил также и своей молодости?

Увольнения отменены, дан приказ явиться ровно к двум часам в Гренельскую казарму... Марсово поле... Может быть, все это только для вида, а на самом деле их собирают для выступления. Раз королю угодно сделать им смотр, почему он не сделал его нынче утром? А эти войска, стоявшие лагерем на Елисейских полях, Национальная гвардия, согнанная в Тюильри?.. Во всяком случае, привратник на улице Мучеников непременно как следует протрет его Трика соломенным жгутом; главное, содержать коня в чистоте, а там пускай будет смотр или не будет. Надо надеяться, все же не прикажут выступать на ночь глядя, не могут же лошади после учения на размокшем плацу скакать в темноте. Хотя, вернее всего, просто преувеличивают: ну, Лион еще куда ни шло, но Сапс! Ведь от Лиона до Санса не ближний путь, конечно, для светового телеграфа не такая уж даль: сигналами можно быстро передать новости на это расстояние, но для пехоты! Подумав о пехоте, Теодор брезгливо поморщился. Он дал Трику шенкеля и, повернув на улицу Дофина, перевел его на тихую рысь. А некоторые уже говорят о Фонтенбло! Паникеры!

До улицы Мучеников можно было добраться несколькими путями. Не особенно раздумывая, он поехал улицей Дофина, а не через бульвары, прилегавшие к площади Людовика XV; ведь для него это была улица тысячи и одного воспоминания.

Коль скоро от Лиона до Парижа более ста лье, то покрыть это расстояние можно дней за шесть, если не менять коня, зато на перекладных в почтовой карете проделать этот путь можно в три дня и две ночи. Потому что даже для кавалерии походный марш — это не скачки. А там ведь пехтура... Два дня тому назад они были в Лионе и, если уже достигли Макона,— хорошенькое будет дело!

И все же как странно: вот он в парадном обмундировании, в кирасе, в супервесте, в плаще, с мушкетоном, висящим прикладом вниз и наискось, так что он упирается в правое бедро, и все время сквозь лосины чувствуешь эту тяжесть, как чье-то постороннее присутствие... вот он, офицер его величества Людовика XVIII, едет по улице Нев-Сен-Рок и подсчитывает, сколько Узурпатору потребуется времени, чтобы дойти до Парижа, до Тюильри, куда сейчас после смотра возвратится король... Положим, что Бонапарт появится у ворот Парижа, на кого можно рассчитывать? В Париже — королевская гвардия: пять тысяч офицеров, одних офицеров, без солдат, причем не у всех даже есть лошади; что же касается пехоты, то дело ограничивается швейцарцами и дворцовой стражей. А сколько их? Вряд ли наберется четыреста. Да еще за вычетом швейцарцев, отправленных в Мелен. Части, расквартированные

в Париже... Уж кто-кто, а серые мушкетеры знают цену этим людям: окончательно ненадежный сброд, еще не износивший лохмотьев Империи, офицеры открыто ненавидят королевскую гвардию, а большинство солдат прошли всю Европу под трехцветными знаменами. Можно ли рассчитывать здесь, в Париже, спешно привести в действие еще и другие силы? Были, конечно, слушатели Школы правоведения, которые выкрикивали: «Да здравствует король!» — выстроившись под деревьями перед колоннадой Елисейских полей. Вот уже десять дней, как была открыта запись в королевский корпус волонтеров, и явились записываться только эти самые правоведы; в прихожих Тюильри листы были сплошь покрыты их подписями, Теодор сам видел. Но в Венсене, говорят, старый хрыч Вьомениль зря сидит и поджидает этих волонтеров, бесплодно теряя дни, которых ему и так осталось немного. Что же касается «стихийных» проявлений преданности на улицах Парижа, столь явно роялистского Парижа, то проявляли обычно свои верноподданнические чувства лишь небольшие группки энтузиастов, а вокруг было пусто, жители поспешно захлопывали ставни, выглядывая в щелочку одним глазом. Когда же это было — дай бог памяти! — кажется, во вторник, в саду Пале-Ройяля Теодор видел, как такая вот группа шла напролом, вопя во всю глотку, переворачивая стулья; девушки убегали от них в Деревянную галерею, а рядом стеною стоял народ, храня упорное молчание, не пряча неприязненных взглядов, хорошо знакомых мушкетеру по собственному опыту. Было это во вторник, а сегодня воскресенье. А вчера, в субботу, не где-нибудь, а в Тюильри, неподалеку от «Кафе фельянов» на крики: «Да здравствует король!» — какой-то молодой человек в длинном рединготе взял да и ответил криком: «Да здравствует император!» Правда, он за это здорово поплатился: даже женщины орудовали зонтиками. Ведь вчера тоже шел дождь. Не особенно-то приятно было смотреть, как юношу, ровесника Теодора или, может быть, чуть-чуть постарше, повалили на песок аллеи, и он лежал в разодранном рединготе, с рассеченным в кровь ртом, а глаз... Теодор старался не вспоминать об этом глазе! До прихода пикета, за которым пошли на пост к Пон-Турнан, надо было унести тело. И вот эта скотина, сублейтенант Удето, заметив проходившего мимо военного, резко его окликнул, но потом узнал Теодора, известного всем кавалеристам своей лихой ездой, тем паче что в Гренельской казарме они ночевали в одной комнате.

— Я возьму его под мышки, а вы, мушкетер, берите за ноги...

И до чего же может быть тяжел труп юноши, просто даже не верится...

Отнесли его в какой-то двор и оставили там преспокойно гнить, такого же человека, как и Теодор, который мог, как и Тео-

дор... который, вероятно, ощутил волнение сердца одновременно с Теодором или чуть раньше... И как знать, может быть, в этом квартале и у него были первые любовные приключения... Кавалерист приближался к родным местам, где прожил свои юные годы, а это настраивало на сентиментальный лад.

Вдруг Теодору подумалось: «Я-то зачем во все это влез? Зачем, какого черта, какого дьявола? Зачем я послушал Марк-Аптуана? Разве это мое ремесло? Конечно, я стал сомневаться в себе, но все же, все же!» Само собой разумеется, и отец толкнул его на этот шаг. Сам Тео только забавлялся — портные, оружейники, да еще с такой посадкой, да еще такие лошади... А теперь тяни лямку, как бурлак: ну, что ему Бурбоны? Ведь ему следовало бы стать солдатом еще в 1810 году. Тогда люди шли, чтобы сражаться... То была великая эпоха, победоносная. Как убеждал Теодора его друг Дьедонне пойти в императорский эскорт. Теодор тогда и слушать его не хотел. Он ненавидел войну. Сражаться, ему... да во имя чего? Родина — она была тут, с тобой, а вовсе не в Австрии или в России. С легкой руки отца он привык смотреть на императора как на республиканца, а республика... Дьедонне был республиканцем. Это уж у них фамильное. Все слова, одни слова. В Париже находилось все, что влекло его, удерживало... Для людей такого склада, как он, все происходит только в Париже.

У него болезненно защемило сердце: он вспомнил свою раннюю юность, напрасный свой энтузиазм, разбитые чаяния... вспомнил все, что он бросил, разуверившись в себе. Вот где, быть может, она, причина его бездумного легкомыслия, этой тяги к щегольству, побрякушкам, страсти к лошадям, вот откуда его «Quo ruit et lethum»...— его собственный девиз! Он пересек улицу Аржантейль; здесь, на другом ее конце, как раз все и случилось.

* * *

Когда в одиннадцатом году отец предложил Теодору нанять вместо него рекрута, сын счел это более чем естественным. Он вытащил несчастливый номер. Ему вовсе не улыбалось уезжать, и поэтому он сказал «да». Впрочем, это «да» скорее было условным, ибо он не знал, как все устроится. Где отец отыщет нужного человека? И вот в один прекрасный день они встретились в этой кофейне на улице Аржантейль, в двух шагах от Павильона Марсан; как все это произошло? Владелец кофейни, здоровенный, кривой на один глаз мошенник с неизменной трубкой во рту и в зеленом переднике, свел их с нужным человеком, с человеком, давшим свое согласие. Парень лет двадцати пяти, он уже отслужил, будучи призван в 1806 году, но за известную сумму готов был снова идти

в армию, держался он совсем как тот натурщик у Герена, который позировал обнаженным и безропотно сносил шуточки учеников, и, совсем как тот, видимо, был согласен на все, лишь бы заработать кусок хлеба. Странно все-таки: человек продает себя. Ресторатор говорил и говорил, не давал вставить ни слова и, еще немного, наверняка потребовал бы от нас: «Да вы только пощупайте!» — словно нам так уж необходимо было поставить императорской армии именно богатыря. Несчастный парень, грязная одежда, заскорузлая от пота...

А если они все-таки в Сансе... Но ведь есть же все-таки в Париже армия, которой командуют маршал Макдональд и герцог Беррийский! Есть все-таки...

«Как вспомню того мальчика, которого мы несли с Удето,— блондинчик в разорванном рединготе, весь распухший, из угла рта у него что-то сочилось, а нос забавный, короткий, широкий, лицо тоже широкое, как у того рекрута. Только, пожалуй, чуточку ниже ростом. Одна подробность тогдашней сделки: сколько и кому платить, если он умрет. На этот пункт соглашения я пытался указать отцу... Он меня оборвал: «Да оставь, уже сговорились». Он обязался выделить ему участок из наших владений в Мортене. Однако, когда год спустя мы узнали, что этот человек действительно умер, как тот в саду Тюпльри... пусть он умер от болезни на лазаретной койке где-нибудь в завоеванных областях, скажем в Рёре, пусть не от ядра, не от пули и не при падении с лошади... а все-таки... В конце концов, если я не желал быть солдатом Наполеона, чего ради я сунулся в мушкетеры Людовика XVIII? И куда нас теперь пошлют? Говорят, на высоты Мелена, чтобы преградить путь Бонапарту. Не хотел воевать в чужих странах, воюй теперь в своей собственной. И почему это обязательно мы будем защищаться более стойко, чем те, что оборонялн Гренобль, Лион, Санс? А вдруг войска герцога Беррийского перейдут на сторону Узурпатора! Нас будет там три-четыре тысячи офицеров, в сущности все мальчишки, легкая кавалерия, гренадеры, жандармы и мы, черные и серые мушкетеры, с мушкетонами наперевес, ну, а еще кто? Предположим даже, мы удержим Меленскую высоту, что помешает им обойти нас справа или слева? При содействии населения... И ведь из меня выйдет такой же мертвец, как из любого другого, и тоже потечет розовая слюна вот здесь...» Теодор провел сверху вниз большим пальцем правой руки по подбородку. «Кто же в конце концов получил те деньги, когда наш рекрут в Везеле отдал богу душу? Скорее всего ресторатор... удивляюсь, как он тогда не оттянул ему губу, чтобы показать нам его нижние резцы. А какой вид был у генерала Лагори там, под деревом, когда в него всадили двенадцать пуль? Только что сейчас Ло де Лористон... сам-то он об

этом не думал, а я вот глядел на него... ведь это было на том самом месте. На том самом месте».

Проезжая улицей Нев-де-Пти-Шан, Теодор чуть было не свернул налево, благо улица Антэн находилась в двух шагах,— а что, если заглянуть к Жозефу, перебросится с ним словечком? Жозефом он звал своего лучшего друга, Пьера Дедрё-Дорси... нельзя же покинуть Париж, не попрощавшись с Жозефом. Но Трик, не дожидаясь решения хозяина, уже повернул на улицу Гайон,— знает, где его ждет овес. Ничего не поделаешь! Впрочем, тогда пришлось бы задержаться и на улице Людовика Великого, чтобы повидаться с Жамаром... так и конца не будет!

Удивительное дело, но погода начала по-настоящему разгуливаться. Хотя над Парижем все еще проносились черные тучи, которые пригнал с востока ветер,— будто мало нам грозных туч, идущих с юга. Какой-то водонос остановился у фонтана Гайон, утер потный лоб, точно в самый разгар жаркого лета. Кожаный картуз, грязный фартук; полные ведра с коромыслом поставил перед собой. Он молча глядел на гарцевавшего мушкетера ничего не выражающим взглядом. Берлина, запряженная четверкой лошадей, неожиданно выкатила из ворот особняка на улице Нев-Сент-Огюстен,— к крыше были приторочены какие-то пожитки, баулы, тюфяки; экипаж круто свернул на перекрестке, и водоносу пришлось посторониться. Видя, что и карета и мушкетер держат путь на запад, мчатся навстречу буре, водонос ухмыльнулся и крикнул им вслед:

— Не туда едете! Кобленц-то, он в другой стороне!

* * *

Дом номер восемь по улице Мишодьер, построенный в минувшем веке на месте бывшей гостиницы «У двух мостов», был разделен на отдельные квартиры, и до 1813 года господин Жерико снимал здесь весь бельэтаж — квартиру в глубине двора и оба крыла, где жил некогда господин д'Арменонвиль. Хотя бельэтаж, где скончалась в 1801 году супруга господина Жерико, его Луиза, был достаточно просторен, отцу Теодора он казался одинокой холостяцкой квартирой. Объяснялось это тем, что большую часть времени господин Жерико прожил здесь один, без сына, отданного в пансион. А с тех пор как домой вернулся Теодор, совсем, по-видимому, помешавшийся на живописи, две комнаты пришлось отвести для его занятий; да еще когда этому желторотому юнцу припала охота писать свои махины, он взял и нанял себе помещение на бульваре Монмартр — комнату за лавкой... было это как раз в то время, когда генералов Мале и Лагори расстреляли у степы

Гренельской казармы. Между прочим, Лагори в возрасте Теодора тоже служил в мушкетерах... А кстати, в их доме на улице Мишодьер почти все комнаты были парадные.

Проехав дом, Теодор повернул обратно, осадил коня и заглянул во двор поверх высокой арки ворот. С седла он мог видеть лишь каменные наличники окон желтой гостиной. Кто-то живет здесь теперь? Как-то выглядит их желтая гостиная, высокая комната с внутренними ставнями? Во времена Жерико там были белые панели, тяжелая мебель грушевого и красного дерева. Вытянутая в длину гостиная соединяла оба крыла и выходила окнами во двор и в глубину сада. Теодор представил себе, как за оконными стеклами клонятся деревья, идущие к северу до самого бульвара, и вспомнил, что в это время года их корявые черные пальцы особенно четко вырисовываются на фоне белесого неба. В южном крыле имелось два этажа... и окно комнаты Тео, куда взбирались по внутренней лестнице, выходило на конюшни дома номер четыре. Обогнув дом номер шесть, они вплотную подходили к дому Жерико. Раздвинув голубые занавески, Тео мог видеть из окна своей компаты денник, смотрел, как конюхи убирают навоз, как выводят коней и как, очутившись во дворе, кони подымаются на дыбы. Правда, была видна лишь часть картины, потому что кусок двора заслонял дом номер шесть — особняк Лонгвилей.

Возможно, то обстоятельство, что сын за неимением настоящей мастерской уходил из дому рисовать, и побудило господина Жоржа Жерико принять некое решение. Было это как раз в те дни, когда французы жили под гнетом мрачных слухов о неудачном походе в Россию, а незадолго перед этим были расстреляны Мале и Лагори. Тео возвращался после верховой езды только к самому обеду, вваливался в комнаты, как был, в сапогах, потный, едва успев вымыть руки и пригладить непокорные кудри. Вечно этот мальчишка наследит на ковре.

— Мадемуазель Мелани, снимите с ребенка сапоги. Садись, голубчик, садись поудобнее...

Мадемуазель Мелани жила у Жерико в экономках, и, без сомнения, это при ее благосклонном участии хозяин избежал хлопот, связанных с вступлением во второй брак. В 1813 году ей стукнуло сорок; только она и вносила нотку серьезности и представляла религиозное начало в семействе господина Жерико,— степенная и внушительная, в длинном черном платье с высокой талией, спадавшем тяжелыми негнущимися складками до самого пола, с большим гофрированным воротником, белыми манжетками, в крохотном кружевном чепчике на гладко прилизанных волосах, разделенных прямым пробором.

Теодор не удержался: ударом шенкеля он повернул Трика во двор. Здесь воспоминания его ожили, стали четче, яснее. Прошло ведь только два года, а казалось — прошла целая жизнь. Как прекрасно расположил зодчий по фасаду оконные проемы...

Ему припомнился один тогдашний разговор с отцом. Вообще-то сыновья обычно плохо знают своих отцов. Мог ли вообразить тогда Теодор, что если его престарелый родитель усаживал сына именно в их большое кресло, а не в какое-нибудь другое, то лишь потому, что в таком ракурсе ему, старику, был одновременно виден и этот красивый малый (господин Жерико-старший до сих пор не переставал удивляться, как это он произвел на свет божий такого молодца) и портрет Луизы, кисти Буайи, его покойной Луизы, у которой были такие же огромные мечтательные глаза, как у сына, и которая скончалась в 1801 году вот здесь, в соседней комнате. Отец был бы весьма не прочь узнать о сыне что-нибудь сверх того, что сообщал о себе он сам. У такого красавца наверняка есть что порассказать... но на сей счет Тео молчал как убитый.

Тогдашний их разговор... Начать с того, что разглагольствовал только Жерико-старший. Он стоял перед сыном в своем обычном костюме красновато-бурого цвета, откинув голову, как будто желая прибавить себе росту (отец был ниже Тео), подбородок он уткнул в высокий белый галстук, длинный нос — единственное, что унаследовал от него сын,— делал его похожим на этакого испанца, обширную лысину прикрывала лишь прядь волос, спущенная на лоб,— старик, к всеобщему удивлению, отказывался носить парик.

— В смутные времена, ты понимаешь, сынок, что я подразумеваю под смутными временами, а? Так вот, в смутные времена деньги имеют тенденцию прятаться... И отсюда логически вытекает, что тот, кто имеет спешную нужду — понятно? — безотлагательную нужду, говорю я, не находит наличных, вот именно наличных. Попробуйте, сбудьте что-нибудь. Но безотлагальные потребности от этого не перестают существовать...

— И даже становятся еще более безотлагательными,— прервал отца Тео.

— Более безотлагательными. А? Что? Смеяться ты надо мной вздумал? Да, да, становятся еще более безотлагательными... то, что предлагалось без всякой надежды на сбыт, теперь предлагается по более дешевой цене. Однако и это никого не устраивает. Тогда вновь снижают цену. И вот тут-то и кроется разница между теми, кто понимает современный мир, и теми, которые его не понимают... разница...

Теодор, Теодор 1815 года потихоньку рассмеялся, вспомнив родительские наставления. Он круто повернул коня и поскакал по улице Мишодьер, по направлению к бульварам. Снова зарядил

дождь, хотя в небе по-прежнему переливалась радуга. Сейчас уже ничему нельзя было больше верить.

На углу улицы, выходившей на бульвар, помещались Китайские бани и та самая кофейня, о которой с дрожью в голосе отец Жерико поведал сыну, как о месте сборища участников Заговора Равных. Ничего не поделаешь: этим вербным воскресеньем все наталкивало Теодора на мысль о заговорах, о военных переворотах... «Сторонники Бабёфа, приходившие сюда послушать песни, в один прекрасный день на Гренельском плацу, откуда я как раз еду... Как повернулась бы судьба мира, если бы Заговор Равных удался? Если бы к власти пришли люди вроде отца Робера Дьедонне? Бонапарт не стал бы Наполеоном, если бы войска, взбунтовавшиеся в Гренельской казарме... не было бы побед и славы, не было бы стольких смертей». С каким наслаждением Теодор принял бы ванну сейчас, вот тут, в банях. Но по случаю воскресенья бани закрыты. Все закрыто по случаю воскресенья. Теодор про себя чертыхнулся по адресу попов.

— Те самые люди, которые, припрятывая свои экю, способствовали иссяканию наличности,— говорил тогда отец,— и привели к понижению биржевого курса, они упорствуют и упускают, видишь ли, свой единственный шанс, в то время как другие, обладающие более тонким чутьем, более ясно разбирающиеся во всем этом механизме, понимают, что цены, столь смехотворно низкие, долго не удержатся, и как только подвернется случай, покупают без дальних слов. Задаром покупают, за краюху хлеба. Само собой разумеется, что при этом рассчитывают на благоприятное развитие событий, на новое повышение цен, которое происходит по мере того, как припрятанные денежки выходят из тайников, ибо необходимо, чтобы они циркулировали.

А пока что на Итальянском бульваре циркуляции движения мешали войска, скопившиеся под высокими, еще голыми деревьями: сюда свели кавалеристов, драгун, очевидно, прибывших из казармы в предместье Пуассоньер и двигавшихся к Елисейским полям. В противоположном направлении шла пехота, возвращавшаяся в казарму предместья Тампль. Шли хмурые... Четко печатая шаг. Довольно жиденькая толпа приветствовала бурбонские лилии нестройным возгласом: «Да здравствует король!» Солдаты не отвечали. Конные офицеры с саблями наголо проезжали вдоль колонн и оглядывались, идут ли еще за ними. Войскам полагалось печатать шаг, идя вдоль садов перед особняками улицы Нев-Сент-Огюстен, опоясывающих бульвары справа, сразу же за Китайскими банями.

Там, дальше, за этим кварталом особняков и садов, виднелись поля, мягко подымающиеся кверху, к Монмартрскому холму с его ветряными мельницами, и все это напоминало задний фон фла-

мандского пейзажа... брейгелевский дальний план в дождливый день... Хватит, довольно думать о живописи!

Короче, старик Жерико утверждал тогда, что начиная с декабря,— лишь только во Франции узнали о провале похода в Россию,— деньги ушли как под землю. Не то чтобы для этого появились какие-нибудь новые причины. Но когда видишь на карте, где находятся французы... потом в апреле бои под Люценом... смерть Дюрока, смерть Бессьера... в октябре Лейпциг. В тот год трудно было разобраться в непрерывном передвижении войск. Совсем не так, как во времена Аустерлица. А тут дело шло о продаже наследственного имущества после кончины законного владельца. И не важно, слухи ли, факты ли сыграли свою роль — важно, каково было их психологическое воздействие.

— Я,— говорил отец,— не придаю этому никакого значения. Пойми ты меня, об императоре можно думать, как угодно, но эта игра затрагивает слишком крупные интересы. Ты только вообрази, что будет, если придется перераспределять земли, пересматривать сделки? Вот почему Наполеон не может, не может потерпеть поражение...

Так-то оно так, но у наследников оказались слишком большие аппетиты, несоразмерные с общей ситуацией, или, если угодно, с распространившимися слухами, с паническими настроениями на рынке. Господин Жерико-старший предложил им сразу столь низкую цену, что сам заранее понимал: непременно откажутся. А раз так — риска никакого: если будет одержана блистательная победа, покупать не обязательно...

— Но после Лейпцига, после того, как нас предали саксонцы, как двадцать тысяч французов попали в плен, Понятовский утонул, а Макдональд откатился к Рейну, я еще понизил цену. И так каждый день один и тот же разговор. Вести из Голландии их окончательно доконали. А теперь я купил за половину той цены, что предлагал раньше...

Старик из лукавства не сказал, что́ именно он купил,— эти недомолвки доставляли ему явное удовольствие. Купил же он участок земли в квартале, которому, по его мнению, предстояло блестящее будущее. На нижних уступах Монмартрского холма, почти в центре города, за кварталом Лоретт.

— Чуть подальше, чем сад Руджиери... помнишь, там есть театр марионеток?.. Так вот, у нас общая стена... И я переезжаю с улицы Мишодьер.

— На незастроенный участок? — спросил Теодор.

— Там есть кое-какие строения. Это как бы маленький поселочек с отдельными флигельками. И мастерские... Знаешь: Новые Афины?

Этой фразой старик выдал себя: наличие мастерских и побудило его совершить эту, правда весьма выгодную, покупку. Теперь уже не к чему снимать помещение где-то за лавкой. Сынок может работать при старике отце... Откровенно говоря, переселиться туда сразу не удалось. Потому что военные неудачи полезны не во всех отношениях. Первого января союзники перешли Рейн, потом вступили во Францию. Невозможно было найти людей для необходимых переделок в доме. Армия пожирала тысячи рабочих. Выходило, что отец приобрел участок все-таки слишком рано. Так что к концу лета, когда Тео писал своего «Раненого кирасира», у него еще не было мастерской на улице Мучеников и, хотя дом был уже готов и переезд состоялся, пришлось ютиться на чердаке.

Теодор нервно ерзал в седле, Трик ржал в спину солдатам. Оба они — и всадник и конь — не были созданы для медлительно-мечтательных прогулок, и только сегодняшние мысли вынудили Тео к этому аллюру. Вообще-то для него существовало лишь два аллюра — шаг или же сразу, даже в Париже, бешеный скок. С бульвара, где ему пришлось бы по-прежнему плестись в хвосте солдат, он свернул возле Фраскати на улицу Гранж-Бательер, дал Трику шпоры, поднял его в галоп и понесся как вихрь; люди испуганно шарахались, торговки хватались за ручки тележек, как будто опасались, что от этой бешеной скачки разметет по тротуару их фрукты и цветы. На том же аллюре он проскакал улицу Монмартрского предместья. Он не желал думать о живописи. Он скачкой разгонял свой позор. На галопе забывалась картина, провал. Когда он мчался по улице Сен-Жан, люди кричали ему вслед: «Сумасшедший!» Он даже не оглянулся, на всем скаку пронесся через перекресток улиц Кокенар и Сен-Лазар, возле особняка Лагранжа, на всем скаку промчался мимо «Храброго петушка», потом вниз по улице мимо палисадников, садов, лавчонок и, резко свернув, прилег на холку коня, чтобы не зацепить каской за арку ворот, и въехал во двор, сопровождаемый целой свитой бегущих сзади мальчишек.

* * *

Как и когда задел его конь при въезде в ворота молодую женщину, Теодор, пригнувшийся к холке, не заметил,— он только услышал крик и успел увидеть темно-зеленый салоп с белой оторочкой, черную бархатную шляпку с перьями,— и вдруг что-то скользнуло где-то слева и упало на землю, будто подстреленная птичка.

Всадник соскочил с коня, поднял лежавшее на поросших травой плитах двора юное, гибкое, длинное и такое легкое тело, что

оно казалось невесомым в сильных мужских руках. Незнакомка не открывала глаз, с ее губ срывались стоны, голова бессильно клонилась набок, белокурые кудри волной упали на плечо... На крик Теодора из сторожки выбежали Батист с женой, а вокруг звонко щебетала любопытная детвора.

— Кто она? — спросил Теодор.

И привратник ответил:

— Дама, которая живет на Рон-Пуанс...

Мушкетер бросил поводья Батисту и зашагал к дому с милой своей ношей, на полдороге он остановился и крикнул:

— Займись Триком...

Вдруг тоненькая шейка судорожно дернулась среди вышитых оборок гофрированного воротника, и женщина, в забытьи прижимавшаяся щекой к груди Теодора, глубоко вздохнула, открыла глаза, с испугом уставилась на незнакомого мужчину, державшего ее в объятиях, на мгновение застыла, затем забилась на руках своего похитителя и яростно заколотила кулачком по его груди.

— Сударь! Сударь! Я вас не знаю, сейчас же отпустите меня, поставьте меня на землю.

Теодор повиновался не без сожаления и, чуть помедлив, разжал объятия. Как же прелестна эта незнакомка! Тоненькая-тоненькая, почти худышка, очаровательный очерк губ, свежие краски лица, с которого еще не сошел золотистый детский пушок. Но совсем иным веяло от ее длинного бархатного салопа с белой оторочкой, такой же белоснежно-белой, как полоска кожи, видневшаяся над перчаткой. Ему почудилось, что он держит в своих объятиях обнаженное тело. Мушкетер почувствовал, что он, должно быть, ужасно покраснел. Но незнакомка, очутившись на земле, пошатнулась — очевидно, у нее закружилась голова — и невольно приникла к Теодору.

— Разрешите, сударыня, предложить вам руку... Если не ошибаюсь, вы живете рядом с майором Браком?

Знакомое имя, казалось, успокоило молодую красавицу, она смело оперлась о локоть Теодора, но, словно тут только заметив его мушкетерскую форму, отшатнулась и воскликнула:

— О боже, этот мундир!

— Вам не по душе моя форма? — спросил он.

— У меня, сударь, достаточно оснований не любить такие мундиры,— ответила дама, и они молча пошли вперед.

Двор перегораживали разномастные строения; справа стояла небольшая конюшня и кухни господина Жерико. Здесь большей частью ютился бедный люд, занимавшийся разведением кроликов и кур. Сад, где похожие на скелеты деревья тянули к небу свои еще голые ветви, был отгорожен от двора решеткой в виде длин-

ных металлических пик, а посередине возвышался каменный фонтан с колонной в центре. Слева стояло одноэтажное здание, где собирались надстроить мастерскую для Теодора, которая, однако, пока еще помещалась с другой стороны, на чердаке родительского дома, стоявшего напротив. В общем, это был довольно просторный, выкрашенный в белую краску флигель с черепичной крышей. Если заглянуть через стену, вдоль которой росли деревья, можно было увидеть крышу дома в деревенском стиле, длинного и низкого, а рядом, на другом флигеле, полускрытом огромной липой,— высокую трубу с коньком. Обогнув владения Жерико, прохожий сразу же выходил на аллею, где стояли в живописном беспорядке домики самых различных архитектурных стилей: одни одноэтажные, другие высокие, вытянутые вверх, с треугольным фронтоном или плоскими миниатюрными колоннами, одни с террасами, другие с башенками. Все это поселенье ползло вверх по правому склону холма, но не очень высоко, в отличие от уходивших к вершине полей, тогда как слева между двух рядов деревьев у садов, тянувшихся вплоть до улицы Сен-Лазар, спускалась вниз более или менее ухоженная аллея. На полпути находилась круглая площадь, где напротив жилища Фортюне Брака стоял пустовавший до последнего времени домик, что-то вроде игрушечного греческого храма, перед ним был разбит маленький садик с шарообразно подстриженными тисами. Здесь-то и остановилась незнакомка. Молодые люди не обмолвились за дорогу ни словом, и разговор их ограничился только теми двумя фразами о мундире. Воздух дрожал от птичьего гомона. Дождь уже несколько минут как перестал, но вокруг все было мокро. Теодор склонился перед дамой:

— Хочу надеяться, сударыня, что вы на меня не гневаетесь...

Она улыбнулась и молча кивнула ему на прощанье.

На обратном пути Теодор не мог отделаться от какого-то смутного волнения, и причиной его была не так эта женщина, краткое ее пребывание в его объятиях, как то, что она сказала... «Мундир!» Он произнес это слово вслух и вздрогнул. Его красный доломан вдруг стал ему столь же ненавистен, как и незнакомке. А почему, в сущности? Прежде чем зайти домой, он загляпул в денник, стоявший позади их флигеля: надо же было удостовериться, что Батист привязал Трика к кольцу, вделанному в стену, и засыпал ему овса.

— А давно эта дама там поселилась? — осведомился он у Батиста.

— Дней пять-шесть, господин лейтенант,— отозвался Батист и вдруг спросил: — А правду говорят, что император завтра войдет в Париж?

Батист так и не перестал величать Бонапарта императором,— удивляться тут было нечему. Но Теодор, скидывая свой промокший плащ, почувствовал, как под кирасой и супервестом, точно бешеное, бьется сердце. Что тому виной: император или незнакомка? Он ничего не ответил Батисту и зашагал к дому.

* * *

По сути дела их теперешний разговор был продолжением того, другого, что состоялся в 1813 году. Лакея отпустили по случаю праздника. Мадемуазель Мелани, в вышедшем из моды платье с неизменным воротничком, манжетами и чепчиком на макушке, старалась навести порядок, нарушенный вторжением Теодора. Теперь портрет работы Буайи висел в столовой мещанского вида, и их мебель с улицы Мишодьер казалась тут слишком громоздкой и неуместной. Откровенно говоря, они чувствовали себя гораздо свободнее в теперешнем своем жилище, чем в прежнем роскошном бельэтаже с резными лилиями и венками на панелях. Весь второй этаж был отведен под жилые комнаты, а пищу подавали снизу специальным подъемником.

— Слава богу, малыш пришел! Мадемуазель Мелани, снимите с него сапоги...

Но мадемуазель Мелани разбирала веточки вербы, принесенные из церкви св. Иоанна; она извинилась: ей некогда, надо пойти поставить пучок освященной вербы к распятью, в спальне Теодора. Впрочем, Теодор успел достаточно наследить на коврах, и теперь уже опасаться нечего. Отец заворчал было, но потом рассмеялся. Мадемуазель права, малыш, видно, принимает их дом за конюшню. Грязный, мокрый. Плащ, пропитанный водой, как губка, бросил на банкетку в прихожей, саблю и пояс нацепил на спинку стула в столовой, каску поставил на буфет. А теперь взялся за супервест и кирасу,— интересно, куда он их пристроит? Столовая скоро превратится просто в казарму! Господин Жерико не уставал любоваться сыном Луизы, который стоял перед ним в красном своем доломане, в рейтузах из чертовой кожи, медленно хлопая длинными ресницами... Тонкие прекрасные пальцы, белые руки... Слегка расставив длинные ноги, Теодор с нескрываемым удовольствием потирал ладони: он только что вымыл руки,— этого он не забыл сделать, входя в дом. Он побывал на кухне, обнюхал все горшки и выслушал сообщение мадемуазель Мелани: «Сегодня у нас цикорный салат... Доволен?» Для мадемуазель Тео был одновременно и господином Жерико номер два, и тем крошкой, которому она еще недавно утирала нос большим в клетку платком.

— А в своей комнате ты еще не был?

Его комната помещалась под крышей и была выгорожена из мастерской. Попросту говоря, чердак. На стенах — деревянные панели, окно угловое, выходит на север, под окном липа. Теодору пришлось бы проходить мимо своего эскиза к «Офицеру конных егерей», мимо версальских «Коней», мимо этюда для «Кирасира», мимо поясного портрета карабинера... мимо пейзажей, лошадей и снова лошадей. Нет, он не заглядывал в свою комнату. Отец поджидал его внизу. «Значит, мальчик ухитрился улизнуть из казармы, чтобы повидаться со своим стареньким папочкой. И все-таки, должен же быть у него роман... Такая стать, и к тому же молчалив, как могила! А что, если какая-нибудь кокетка или светская дама его у меня похитит? Куда он отправляется в те вечера, когда по его просьбе ко мне приходят посидеть Жамар или Дедрё-Дорси? Королевский мушкетер, это вам не пустяки. Да еще такой красавец...»

— Ты был на учении?

— Да,— ответил Теодор.— Трик немного притомился. Я поручил его Батисту, ведь он холит его и бережет как зеницу ока. Знаешь, какие слухи ходят в городе?

Старик моргнул несколько раз подряд. Он знал. К тому же нынче рано утром, в надежде найти Тео, к нему заходил Жамар, и чего только он не рассказывал! Чистая сорока!

— Но чему из всей этой болтовни можно верить? Все-таки французский народ не отречется так вот просто от своего короля, от королевских лилий. Слишком многие поставили на эту карту. Нет, ты только вообрази, что Буонапарте вернется; это значит — полный застой в делах, все повиснет в воздухе, поместья...

— Когда вернулись Бурбоны,— отозвался Теодор,— тоже легче не стало...

Отец боязливо покосился на дверь.

— Безумный мальчишка, ты говоришь, как заядлый якобинец, хорошо еще, что я тебя знаю! Так вот, хотя я ни на минуту, слышишь, ни на минуту не сомневаюсь в прочности трона, в привязанности французов к королевскому дому, мы не имеем права после всего, на что нагляделись в этой несчастной стране, не имеем права, повторяю, рисковать, слышишь? Даже в малейшей степени рисковать... рента и без того упала с начала месяца на двенадцать франков...

Теодору плевать было на ренту. Он рассеянно слушал сетования отца. Кто же она, эта женщина? Подруга госпожи Брак?.. До последнего времени домик, похожий на греческий храм, пустовал. На столе в вазе с мифологическими фигурами работы Персье-Фонтена лежали яблоки. Теодор взял яблоко и аппетитно захрустел. Когда-то еще будет завтрак! В доме господина Жерико завтракали

ровно в полдень. До тех пор можно с голоду подохнуть. О чем это распространяется папаша?

— Значит... значит, значит, надо предусмотреть любые случайности, пусть даже произойдет самое невероятное, пусть даже вернется Людоед. Вот оно как.

— Ого! Самое невероятное... По словам Марк-Антуана, Людоед-то уже в Фонтенбло.

— Не мели вздора. Если бы он был в Фонтенбло, все бы знали. Но я не сидел сложа руки. Я имею в виду наличный капитал. Вообрази на минуту, что произойдет с французскими деньгами, если Буонапарте засядет в Тюильри,— вся Европа в гневе на нас урежет кредиты! Не забывай о превратностях войны: ведь вторгнись на нашу землю пруссаки или казаки, не говоря уже об англичанах, не особенно-то они будут печься о наших интересах!

— Папа,— пробормотал Теодор с набитым ртом,— по-моему, ты хочешь сообщить мне о покупке всего Монмартрского холма.

— Положи яблоко, хватит тебе жевать: в это время года фрукты никуда не годятся. Только аппетит себе отобьешь. Что ты сказал? Ах да. На сей раз дело действительно идет о моих капиталах. В конце концов у меня есть сын...

— Как будто есть.

— Так вот, есть сын... Ты носишь форму, которая может тебе напортить...

Теодор вздрогнул. Он уже не слушал отца. Он ощутил в своих объятиях ее, светлокудрую незнакомку, и только она одна занимала его помыслы. И в ее глазах его форма тоже...

— Заметь, мальчик, я в твои дела не вмешиваюсь. Когда речь шла о... о... Разве я хоть когда-нибудь допытывался у тебя, как зовут твоих любезных? А? Пока речь идет только о неосторожных увлечениях...

— Не бойся, я не собираюсь жениться...

— Да нет, я о верховой езде говорю. И коль скоро я уговаривал тебя вступить в королевскую гвардию...

— Знаешь что, не будем об этом,— внезапно помрачнев, прервал отца Тео.— Ты тут вовсе ни при чем, я сам...

— Но ведь я тебя и не отговаривал. Заметь, всем этим слухам я особого значения не придаю. Но если мне в один прекрасный день говорят: а знаете, кто в Гренобле? А завтра называют другой город, послезавтра — третий... Вот когда я узнал об измене Нея, не скрою, тут я призадумался. Как, по-твоему, станет такой человек изменять, не имея на то веских оснований?

Лишь только разговор уходил от живописи, Теодор... Он расхохотался, обнажив в смехе все тридцать два великолепных зуба.

— Значит, папа, если Людоед завтра будет в Тюильри...

— Тут придется хорошенько поразмыслить. Но хоть ты-то этому, надеюсь, не веришь?

— Кто знает! Если нам не удастся удержать Мелен, то все возможно...

— Вот что, уважаемый сынок, такие шутки неуместны для офицера королевской гвардии. Если Буонапарте... стало быть, его величество может улизнуть потихоньку? Да ведь это просто немыслимо, ты же сам понимаешь! Еще в прошлый четверг в Палате король... Ах, до чего же он трогательно говорил! «Я, говорит, трудился для блага моего народа. И может ли ждать меня, шестидесятилетнего старца, более славный конец, чем гибель при его защите...» Незабываемые слова! Его величество ни за что не оставит столицы. Скорее уж даст себя убить.

— Поживем — увидим, папа.

— Ты читал сегодня «Деба»?

— Признаться...

— А там очень, очень важные вещи. Если хочешь знать, па меня это произвело не меньшее впечатление, чем измена маршала Нея. Только, к счастью, в ином смысле, в ином смысле. Да о чем они думают, ваши начальники, почему не показывают таких статей вам, мушкетерам? Значит, ты не читал статьи Бенжамена Констана? Куда же я девал газету? Вот она. Почитай-ка, почитай...

Номер «Журналь де Деба» был основательно скомкан, очевидно, его измяла нервическая рука Жерико-старшего. Теодор принялся читать. И впрямь, статья господина Бенжамена Констана отнюдь не походила на статьи тех, кто ждет прихода Узурпатора в столицу.

— Ну как, подбавило духу? — осведомился отец, самодовольно потирая руки.— И все-таки принять меры предосторожности никогда не мешает...

Мадемуазель Мелани оправила скатерть и стала расставлять тарелки. Она неодобрительно взглянула на вазу с фруктами, где явно недоставало двух, а то и трех яблок. Господин Жерико, в свою очередь, посмотрел на нее. Только люди, долгое время прожившие под одной кровлей, давно привыкшие друг к другу, умеют вести столь выразительный в своем молчании диалог. Мадемуазель Мелани пожала плечами: господин Жерико все спускает господину Теодору с рук.

— Но если Людоед все-таки вернется, то как ни храни верность королевскому дому...

Тео пропустил эту фразу мимо ушей. Мыслью он был не здесь, а в том садике, где среди шарообразно подстриженных тисов стоит домик, похожий на маленький греческий храм. Эта женщина действительно слишком худа. Как девочка... Вдруг его внимание при-

влекла отцовская фраза... О чем это он бишь говорил? Когда упустишь нить разговора, потом...

— Перебежчик перебежчику рознь. Я же тебе говорю, что измена маршала Нея... тут есть о чем призадуматься. Ведь он не такой ветрогон, как супруг этой дамочки, что скрывается в доме напротив майора Брака...

Как, неужели Теодор не знает, что маленький домик — ну, тот греческий храм — сняла одна особа, прибывшая инкогнито... недурненькая... очень недурненькая, только, пожалуй, чересчур худощава... даже ключицы торчат... Кто она? Имя ее в последнее время наделало немало шуму...

— Нет, она не приятельница Браков, а понимаешь ли, креолка: барон Лаллеман вывез свою Каролину из Сан-Доминго... было это в самом начале века.

— Как так креолка? — воскликнул Теодор.— Да ведь она блондинка, совсем светлая.

— Уж не путаешь ли ты креолок с негритянками? Да ты разве встретил ее?

И этот вопрос мушкетер пропустил мимо ушей.

— А сколько лет Каролине?

— Да уж тридцать наверняка есть. К нам ее привела, само собой разумеется, супруга генерала Лефевр-Денуэтта. У себя на улице Победы она побоялась держать ее дольше из-за полиции, сам понимаешь... Все они друг у друга прячутся: возьми, к примеру, герцогиню Сен-Лэ, так она исчезла уже больше недели из своей квартиры на улице д'Артуа... Заметь, отваги барона никто не отрицает,— он доказал ее на поле битвы... Но зачем понадобилось ему вмешиваться в эту авантюру вместе с Лефевр-Денуэттом? А с другой стороны, зачем было его величеству назначать барона префектом в Эне? Это же значит искушать дьявола. Среди командиров оказалось, будто бы случайно, слишком много приверженцев Буонапарте. Говорят, что Фуше, опять этот Фуше, сбил барона с толку... Ты знаешь, что когда на этих днях пришли арестовывать Фуше, он перелез через стенку, явился к своей соседке герцогине, а она уже упорхнула... теперь иди ищи ветра в поле... Во всяком случае, Лаллеман мог бы спокойно подождать неделю, прежде чем выказывать свое молодечество. Ведь тогда их Маленький Капрал еще не был в Гренобле, а генерал Лаллеман и Друэ д'Эрлон уже поспешили... Говорят, маршал Сульт тоже принимал участие в заговоре... Так или иначе, король лишил его поста военного министра... Ты ведь, должно быть, знаешь всю эту историю: заговорщики решили идти на Париж, а добрались только до Компьена. Вот уже неделя, как генерал Лаллеман содержится в Лаонской тюрьме, и его ждет военный суд, расстрел...

— Но эта дама, папа...

— Какая еще дама? Ах да, баронесса Каролина! Ее, бедняжку, можно понять. Она ведь ни в чем не виновата, но неужели ты воображаешь, что она могла оставаться в Лаонской префектуре? Вот она и скрылась от излишней опеки тамошней полиции. В Париже человека отыщешь не сразу. Как же она, по-твоему, может вернуться к родным, когда родные ее живут в Сан-Доминго? Она хотела припасть к стопам его величества. Только припасть к его стопам не так-то просто, ведь теперь ни госпожа Лефевр-Денуэтт, ни герцогиня Сен-Лэ представить ее ко двору не могут. И скажи на милость, какой это француз согласится представить жену осужденного его величеству королю Людовику...

— Я! — воскликнул Теодор.

Отец удивленно взглянул на сына и пожал плечами. О чем это он бишь говорил? Ах да...

— Так вот, нашелся один англичанин, который взял эту миссию на себя... Он свой человек у герцогов Орлеанских и на улице Шантрен... зовут его Киннард.

— Лорд Чарльз? — осведомился Теодор.— Любитель искусств?

— Как, и ты его знаешь? Ты им интересуешься? Возможно, именно он подал ей эту мысль... Тут ведь столько мастерских. Она и укрылась здесь. В Новых Афинах человек может затеряться, как иголка в стоге сена... А так как Фортюне Брак служил когда-то офицером под началом Лефевр-Денуэтта, выходит — все они одним миром мазаны... Вот они и помогают друг другу...

Лефевр-Денуэтт, Фортюне Брак! И при чем тут Фуше? Все эти имена смешались в голове Теодора. Странный это был квартал; здесь в течение последнего года все события, сама жизнь пошли для него дорогой горечи и разочарования. На углу улицы Сен-Лазар, где он только что пронесся галопом, находился особняк маркиза Лагранжа, командира черных мушкетеров; Теодор не раз видел там гвардейских офицеров, являвшихся по начальству, а вечерами — вереницу колясок, откуда выходили разряженные гости и следовали к дому, сопровождаемые лакеями, освещенные светом хрустальных люстр, падавшим из открытых окон. Маркиз Лагранж так же, как и Ло де Лористон, был героем наполеоновских войн. Их кумир ныне повержен, но они сохранили свои особняки, свои эполеты, свои капиталы в этом хороводе битв и празднеств, в котором закружило Империю. Буквально в трех шагах отсюда, рядом с улицей Сен-Жорж, на улице Победы, которую местные обыватели по-прежнему именовали улицей Шантрен, стоял особняк Лефевр-Денуэтта, принадлежавший ранее Жозефине Богарнэ и после 18 брюмера поднесенный Наполеоном в дар своему соратнику по государственному перевороту; и в особняке Лагранжа, и

в особняке генерала Лефевр-Денуэтта жизнь текла на один лад, и хотя сам генерал находился на казарменном положении, супруга его устраивала пышные приемы, и местный люд, собираясь у ворот, с неодобрительным любопытством глазел на великосветскую публику, выходившую из экипажей, и среди все тех же дам в роскошных туалетах, среди господ офицеров все в той же форме толпа не без волнения узнавала госпожу Сен-Лэ, которая в глазах парижан по-прежнему была королевой Гортензией. А красавец щеголь, сопровождавший ее,— это Шарль де Флаго, ее любовник и, по утверждению молвы, побочный сын Талейрана. Лейтенант Дьедонне, школьный товарищ Теодора, послуживший моделью для картины, написанной в 1812 году, тот, что заставил художника поверить в свой талант, в свою грядущую славу... так вот Дьедонне, до отбытия 1-го егерского полка в январе месяце в Бетюн, бывал у генеральши вместе со своим приятелем Амедеем, сыном Реньо де Сен-Жан-д'Анжели... последний тоже был офицером и служил под командованием Лефевр-Денуэтта, а с ними и юный Депан де Кюбьер... Фортюне Брак с гордостью рассказывал Дьедонне, как Амедей и Депан представили его госпоже Сен-Лэ, и больше нежели бранными делами гордился он успехами в этом обществе, чем обязан был своему прекрасному голосу. Теодор чуть-чуть завидовал этим брюмеровским аристократам и их сыновьям, сам он уж никак не мог считаться ровней этим людям, овеянным воинской славой, отмеченным крестами и увечьями.

По недовольному лицу господина Жерико чувствовалось, что господин Жерико не расположен откровенничать с сыном в присутствии мадемуазель Мелани. Он увел Тео в библиотеку якобы затем, чтобы не мешать экономке спокойно накрывать на стол. Библиотека — огромная комната — выходила на противоположную сторону двора. Если слегка высунуться в окно, видны черные деревья, выстроившиеся парами, как солдаты в строю, а за ними угадывались очертания греческого храма... О чем это толкует отец, чего добивается? Чтобы он, Теодор, дезертировал?

Они, эти воины, ровесники Теодора, чувствовали себя на равной ноге с хозяевами салонов, куда для него был закрыт доступ, они, его ровесники или те, что старше Теодора на два-три года, с которыми он встречается у Фраскати, как, например, с Шарлем де Флаго или лейтенантом де Лавестин. А вот Марк-Антуан был бы им ровней: он, виконт д'Обиньи, мог принимать их у себя в родительском доме на улице Сент-Онорэ,— ведь их разделяли только политические взгляды. Это был особый мир аристократических особняков. Это был мир, который он, Теодор, пытался запечатлеть на полотне. В его героях, в его моделях люди видели лишь офицера конных егерей где-нибудь под Экмюлем или Тильзитом... гар-

цующего, как на картине, написанной в 1812 году, или солдата, упавшего возле раненого коня на французскую землю где-нибудь под Лонгви или Денэном, его «Кирасира 1814 года», выбитого из седла отступлением Великой армии. Но он-то, Теодор, отлично знал, что голову егерского офицера с жесткими белокурыми висячими усами он списал с Дьедонне, а для торса моделью послужил Марк-Антуан. Просто два императорских воина,— и все тут. Только два года спустя он смутно почувствовал, что создал некоего гибрида, чудовищную смесь из республиканца и гренадера, служившего под знаменем Ларошжаклена... так же, как ощутил и раздиравшие его самого противоречия. Так или иначе, это его ошибка, что, выставляя в Салоне картину, он дал ей название «Портрет господина Д., офицера конных егерей», когда нужно было пустить ее как некое анонимное изображение воина, заслужившего свои нашивки в пороховом дыму, ценою собственной крови...

Интересно, каков из себя этот барон Лаллеман, назначенный по распоряжению Людовика XVIII префектом Эны, который в двадцать лет сражался в Сан-Доминго, в тридцать — в Испании и получил чин генерала, когда союзники захватили Францию? Это о нем думает она в своем домике, сложенном из крашеного кирпича, среди обнаженных деревьев укромного садика этой поддельной деревни, это о нем думает она, креолка, вывезенная с Антильских островов, похожая на трепещущую и слабую пичужку, та, которую Теодор с минуту держал в своих объятиях. «Вполне представляю себе, что говорила ей генеральша Лефевр-Денуэтт, убеждая переехать сюда. «Здесь, милочка, совсем особенный уголок, ну кто станет искать вас среди этих бараков, где живут люди весьма скромного достатка, все их богатство — это кролики и утки да несколько горшков с цветами, есть тут огородники и ремесленники, а кругом наши, надеюсь, вы меня понимаете, люди нашего положения, например, Фортюне, который был адъютантом у славного генерала Кольбера, впрочем, они все простые солдаты, как, например, этот милейший Мобер, что ковыляет на своей деревяшке, и только вообразите: бродит по всему кварталу и вступает в разговоры с торговками... Словом, разные ремесленники, натурщики, живописцы, они тут понастроили бог знает из чего мастерских, вечерами через забор виден фейерверк в саду Руджиери, слышно пение, музыка...»

— О чем это ты задумался? — вдруг нетерпеливо воскликнул отец.— Я тут разглагольствую целый час, а он — держу пари — ни слова не слышал! А ну, пойдем завтракать! Неудобно заставлять ждать мадемуазель Мелани.

Цикорный салат удался на славу. Нет нужды спрашивать, чьих рук он творение. По праздникам на кухне оставалась лишь

судомойка. А когда мадемуазель Мелани берется сама за стряпню, пальчики оближешь.

Так вот по каким, оказывается, причинам эта дама не переносит его формы. Теодор тоже начинал ненавидеть свой красный мундир. Не то чтобы он одобрял намерения генерала Лаллемана, решившего повернуть свои войска против короля. Но стоит ли, вообще говоря, отправляться в Мелен? Драться против своих же французов... Так или иначе, для нее муж-узник стал сейчас подлинным героем. Он же, Теодор, хоть и просил прощения за свой поступок, однако недостаточно просил, а вдруг ей сделалось по-настоящему худо... ведь из-за пустяка в обморок не падают...

— Ты вполне можешь укрыться здесь, время само покажет, как следует поступать; я же тебе говорю, что Новые Афины — самое идеальное место для того, кто хочет ускользнуть от полиции. Проходишь через наш двор, пересекаешь поля, и ты на Монмартре или, наоборот, спустишься по аллее к улице Сен-Лазар; скажем, за тобой бегут, ты петляешь и тропинками добираешься до Клиши... или поворачиваешь в противоположную сторону к улице Турде-Дам... заходишь в сад Руджиери и среди тамошней ослепляющей роскоши проскользнешь между столиками, тогда ищи тебя, свищи... или же смешаешься с публикой, пирующей где-нибудь в кабачке на улице Мучеников! Или еще где...

Теодор не почувствовал негодования. Даже не удивился тому обстоятельству, что отец заранее считает их, мушкетеров, объявленными вне закона. Он рассеянно слушал господина Жерико. Он думал: «Баронесса Лаллеман... Каролина... ее зовут Каролина... значит, если я останусь, я могу видеть ее каждый день... ну, а дальше что? Все это несуразица». Он думал еще: «Я могу написать ее портрет». И еще: «Она ненавидит меня за то, что я служу в королевской гвардии». Так проходил семейный обед у господина Жерико.

— Возьмешь ты сыру, сударь мой, или нет? — спросила мадемуазель Мелани.

Оказывается, она уже с минуту держит перед ним тарелку с сыром. Он извинился.

II

ЧЕТЫРЕ ВЗГЛЯДА НА ПАРИЖ

Площадь Людовика XV — самое прекрасное место во всем свете, даже при дожде, от которого здесь положительно негде скрыться. Таково было искреннейшее убеждение Робера Дьедонне. Первый королевский егерский полк еще с утра составил на площади ружья в козлы. Четыреста пятьдесят спешившихся

всадников, стоя у коней, покрытых красными суконными чепраками и бараньими арчаками, белыми у рядовых и черными — у офицеров, выстроились вдоль стены Тюильри, заполнив все пространство, отделяющее каменные балконы от садовой ограды. Площадь, где расположились лагерем солдаты в своих бутылочно-зеленых мундирах, стала похожа на огромный луг; ярко-красные панталоны были заправлены в сапоги, на головах кивера из твердой кожи со шнуром из конского волоса и белым плюмажем, на правом плече белый аксельбант. Робер Дьедонне нетерпеливо покусывал свои жесткие усы мелкими кривыми зубами, так не вязавшимися с его молодцеватой статью; рыжая прядь волос спадала ему на лоб. После последнего перехода — десять лье под порывами злого ветра, под дождем, настигшим их у Сен-Дени,— он спал как убитый. Они выступили из Бетюна еще в пятницу. Никто из них, впрочем, не жалел о Бетюне. Ни солдаты, в большинстве своем парижане, которые с ворчанием отправлялись в Бетюн, тем паче что по возвращении Бурбонов они одновременно с новым наименованием получили торжественное заверение, что будут бессменно состоять в парижском гарнизоне, и теперь им не так-то легко вбить в голову, что военный министр Сульт за их счет хотел сыграть скверную шутку с губернатором Парижа генералом Мезоном, туда их всех!.. ни офицеры, в подавляющем числе разночинцы, среди которых, с тех пор как прошел слух о возвращении Бонапарта, началось брожение умов. На беду лейтенанта Дьедонне, командир роты, бретонец родом, по имени Буэксик де Гишен, был один из немногих верных слуг короля, настоящий шуан. Среди лейтенантов шло волнение. Арнавон, Рошетт, Ростан, в основном аррасцы, начали устраивать по харчевням тайные сборища, на которые, как бывший офицер императорского эскорта, был допущен и Дьедонне. Военный врач Денуа, находившийся, кстати сказать, в 1813 году после Лейпцига в плену вместе с полковником, утверждал, что даже штабные отвернулись от графа Сен-Шаман. На каждые десять солдат в полку приходилось не менее одного офицера, но и эта предосторожность оказалась недостаточной. Стоило посмотреть, как встретили солдаты спич полковника в Камбрэ, на сборном пункте, накануне отправки в Сен-Кентэн. Пусть газеты, случайно попадавшиеся в пути, даже многое привирают, но ведь не все же подряд ложь. И кавалеристы стали открыто провозглашать в тавернах пламенные тосты в честь Маленького Капрала. Только один полковник не знал ничего. В воскресенье в Сен-Кентэне люди на улицах спрашивали егерей, будут ли они сражаться против Наполеона или же присоединятся к частям Лефевр-Денуэтта, идущего на Париж вместе с гвардейскими егерями, гренадерами и артиллерией. Вечером в помеще-

нии, размалеванном картинами в стиле «Возвращения из Египта», собралась половина офицеров, во всяком случае человек двадцать, обсудить, что же следует предпринять, коль скоро мятежные войска находятся всего в четырех лье от Сен-Кентэна, в Гаме. Присоединиться к гвардейским егерям? Снова ли встать под трехцветное знамя? Господа офицеры только что узнали, что в Гренобле полковник Лабедуайер перешел вместе с 7-м линейным полком на сторону императора.

На площади, несмотря на дождь, как муравьи, кишели парижане; они, казалось, выползали из невидимых щелей, пользуясь каждой минутой затишья, сновали среди расположившихся биваком солдат, и эта неспокойная толпа, обрывки разговоров, противоречивые вести, женщины всех сортов, спускавшие шарфы с плеч вполне непринужденным движением, в котором уже чувствовалась близость весны, степенные буржуа, увещевавшие егерей и без того готовых не моргнув глазом умереть за королевский дом,— все это придавало картине какую-то нереальную реальность. Что мы тут торчим? Если верить слухам, король намерен в полдень делать смотр войскам. «А где король-то, разве что у меня в заду»,— сказал этот грубиян Денуа. Кто-то принес лейтенанту Арнавону сегодняшний номер «Деба»: статья Бенжамена Констана... Словом, ровно ничего не поймешь.

Да, конечно, дерзкая затея Лефевр-Денуэтта провалилась. Между Сен-Кентэном и Гамом их полк встретился с гвардейскими егерями, направлявшимися к северу. Что за форма у гвардейцев — шапки меховые с зелено-красным плюмажем и золотой кисточкой, пурпуровый ментик с опушкой из черного меха, зеленый доломан и желтые рейтузы,— и в каком же плачевном все это было состоянии. Жалко даже глядеть. Всех «подстрекателей» арестовали. Сам Лефевр-Денуэтт спасся бегством... Но Маленький Капрал, в Лионе он или нет? Да отвечайте, прах вас всех возьми! Прошла неделя. И вот теперь они на площади Людовика XV между Тюильри, откуда никак не желает появляться король, где ржут кони, и Елисейскими полями, с ярмарочными балаганами по всем четырем углам; деревья еще по-весеннему голые, у Вдовьей аллеи скопление гвардейцев, а ближе к Сене — студенты в костюмах а-ля Генрих IV, в фетровых шляпах с перьями,— настоящий маскарад! Другими словами, отряды волонтеров Вьомениля, студенты Высшей медицинской школы и Школы правоведения, неистово распевающие роялистские песни! Надо было послушать, что говорят о них солдаты, уцелевшие после русского похода, ветераны Аустерлица и Ваграма, любой из них задал бы хорошенькую трепку этим мальчишкам, только что соскочившим со школьной скамьи.

И ко всему еще поток экипажей, поспешно кативших на запад и даже не пытавшихся скрыть своей спешки,— кареты, берлины, наемные кабриолеты с выкрашенными в желтый или красный цвет спицами; все это нагружено, забито до отказа — целые семьи, баулы, разномастные пожитки, неизвестно как и к чему приторочeнные... Время от времени вдоль колонны проезжал верхом генерал, как бы затем, чтобы умерить нетерпение войск. По обе стороны моста Людовика XVI стояла пехота, а кирасир отвели на улицу Ройяль-Сент-Онорэ.

Может быть, его величество надеялся, что дождь поутихнет. А пока что около десяти тысяч человек мокли в бездействии на Марсовом поле. Но даже в непогоду площадь Людовика XV... особенно если сравнить ее с Бетюном!..

— Да, никак, ты загрустил о Бетюне, скучаешь без бильярда в «Северной гостинице», и, видно, не достает тебе перезвона колоколов на башне на тамошней площади — динь-дон, динь-дон, и эти «динь-дон» упорно напоминают тебе, как тянется время!

Рошетт зубоскалил со Шмальцем и Делаэ,— двумя сублейтенантами, вид у которых был такой, будто маменька до сих пор водит их за ручку, хотя оба отличились в 1814 году при защите заставы Клиши, за что на них нынче косились в штабе. И потом, где же это видано: покормили с утра в казарме, а теперь у всех животы подвело.

— Тише ты, дубовая башка! — прикрикнул Рошетт на Шмальца. Он еще издали заметил подъезжавшего к ним полковника на гнедом в яблоках иноходце. Сидел полковник в седле неплохо, хотя плечи, особенно под тяжелыми серебряными эполетами, казались неестественно узкими. Было ему не больше тридцати четырех лет, и если он все время вздергивал кверху свое маленькое кукольное личико с выпуклыми, чересчур большими, наивными глазами и белокурыми усиками, то виной тому был слишком высокий и жесткий красный воротник мундира, повязанный черным галстуком, из-под которого выглядывали кончики туго накрахмаленного воротничка, подпиравшего ему подбородок. Волосы, уложенные на лбу замысловатыми колечками, на манер литер в акростихах, казалось, были нарочно подобраны к масти коня, даже лоснились так же. С тех пор как король пожаловал полковника в кавалеры ордена св. Людовика, он перестал носить крестик Почетного легиона. Он приблизился как раз к той группе офицеров, среди которых находился Робер, и спросил, как дела, как переносят солдаты слишком затянувшееся ожидание...

В его по-детски светлых глазах проглядывала тревога, отчего они казались еще более выпуклыми. По-видимому, он считал не особенно-то разумной мысль обречь людей на многочасовое стоя-

ние. Тем паче что среди егерей имелось немало коренных парижан, которых так и подмывало сбегать на минутку домой. И так уже было ошибкой, что их выдворили в Бетюн... Полковник в сопровождении своего ординарца отъехал прочь. Шмальц хохотнул:

— Это он после утренней сцены никак не успокоится!

Как бишь зовут того генерала, который допекал их своими нелепейшими речами? Офицеры проявляли выдержку, не рассуждали, но что за дурацкая идея пришла полковнику объявить капитанам Рикэ и Бувару, что они должны вернуться в Бетюн, где их посадят на гауптвахту?

— Наверно, пронюхал об их вылазке в Сен-Кентэн,— сказал Арнавон.

Роберу было известно, что Рикэ и Бувар, решив, что люди Лефевр-Денуэтта бунтуют не на шутку, отправились ночью в Гам к генералу Лиону и предложили ему сместить полковника и присоединить полк королевских егерей к своим частям. Но оказывается, этот генерал ретировался под Камбрэ и предал Лефевр-Денуэтта и братьев Лаллеман. И, вероятно, донес на капитанов Рикэ и Бувара. И это Лион, которому так безоговорочно верил Бонапарт! Совсем уж ничего не поймешь. А тут еще Кларк зачитал в Палате донесение этого самого генерала Лиона и объявил, что за свои заслуги перед королем тот назначается инспектором кавалерии! Во всяком случае, на площади Людовика XV Рикэ и Бувар не дали себя в обиду. Егери отлично слышали их слова, они ведь разговаривали в повышенном тоне со злосчастным графом де Сен-Шаман — тем самым, что ездил на пугливой лошади и поэтому походил в седле на танцора, а в щекотливых случаях сразу же превращался в провинившегося школьника. Раздались крики: «Да здравствует император!» — и полковник, грациозно покачиваясь в седле, удалился. Скапитулировал, что называется, перед Буваром и Рикэ!

— Из дворца возвращается,— заметил Арнавон, провожая полковника взглядом.

А Шмальц добавил:

— Что он такое затевает? Смотрите-ка, смотрите, собирает эскадронных командиров!

К ним подскакал, отъехав от этого импровизированного штаба, знаменщик, некто Годар-Демарэ, которого господа офицеры терпеть не могли, главным образом за его шашни с бетюнскими дамами.

— А ну-ка, признавайся, Ролле, на месте Рикэ ты бы небось уже давно мчался в Бетюн, чтобы повидать крошку Марселину?

Трубы проиграли сигнал. По коням! По коням! Что это еще означает? А как же смотр? Видать, толстяк решил не беспокоить

ради нас свою драгоценную персону. Фельдъегери понеслись с приказами. Волонтеры с противоположной стороны площади смотрели, как маневрирует 1-й полк королевских егерей. Полк строился к маршу. Капитан Массон с саблей наголо проехал было мимо, затем придержал коня и, нагнувшись, чтобы его не слышал Буэксик де Гишен, шепнул садившемуся в седло лейтенанту Дьедонне:

— Нас угоняют. Пункт назначения: Эссон... Говорят, герцог Беррийский боится армии. В Париже оставляют только эту сволочную королевскую гвардию и студентишек с их дурацкими перьями.

Эссон! Как много говорило это слово Роберу. Ведь в Эссоне год тому назад разыгралась чудовищная комедия, которая поставила под удар Фонтенбло и отдала императора на милость союзников. Ту чреватую событиями ночь Дьедонне провел в седле, он был тогда адъютантом полковника Фавье и скакал за ним без отдыха до самого утра. Они возвращались из Фонтенбло, где у полковника было свидание с императором. Они пронеслись через ту апрельскую ночь, прижатую к земле тяжелым небом, затянутым черными тучами, в разрыве среди мрака проглядывала луна, они пронеслись через лес мимо причудливых фантастических утесов. Должно быть, Фавье окончательно потерял душевное равновесие, раз он заговорил с Робером о женщине, которую он любил и которая никогда не будет ни его женой, ни его любовницей. Он смешивал воедино несчастья, постигшие Францию, и свои собственные неудачи. Он поверял заветные тайны этому голубоглазому лейтенанту, как поверяют их в минуту кораблекрушения. Кто же была эта женщина? А как он о ней говорил! «Совершенное создание»,— твердил он. Познакомился он с ней в 1805 году...

Они выехали на голую равнину, и небо окончательно потемнело. На всю жизнь запомнит Робер узенькую змейку дороги, молоденькие деревца, бегущие им навстречу. В Эссоне было темно и спокойно. Никто бы не подумал, что здесь расквартирован 6-й корпус. Разве что какой-нибудь из полков переместили... Фавье решил добраться до передовых постов. Мармон собирался отправиться в Париж, надо было вручить ему распоряжение императора. Где-то там, неподалеку от Орсэ, стояли австрийцы. «Совершенное создание»,— говорил Фавье. Внезапно на перекрестке дорог они услышали грохот, похожий на неторопливые раскаты грома. Эссон остался позади, должно быть, неподалеку был Куркурон, на предрассветном небе уже начинали смутно вырисовываться силуэты людей и коней. А что, если это австрийцы? Увы... Это был 6-й корпус, направлявшийся в Версаль.

— Как так? Да вы с ума сошли! Немедленно возвращайтесь в Эссон! Кругом марш!

— Господин полковник, видите ли, господин полковник... мы действуем согласно приказу генерала...

— Какого еще генерала?

Оказывается, это был приказ генерала Сугама, который по сговору с неприятелем отступал к Версалю, покинув свой пост, испугавшись, что императору может стать известно о вчерашних переговорах Мармона, его самого и некоторых других с австрийцами; неожиданное появление полковника Гурго, адъютанта его императорского величества, побудило генерала решиться на этот крайний шаг. Свой вызов в Фонтенбло он считал просто ловушкой. Стоя на берегу какого-то ручейка, Фавье выкрикивал что-то (что именно — Робер так и не разобрал), а генерал Сугам, сидевший на коне, монотонно твердил: «Он меня расстреляет!» Вот как была предана Франция, и император, и двадцать лет славы. Всю жизнь будет с горечью вспоминать лейтенант Дьедонне название этого ручейка. Он нарочно осведомился об этом у какого-то крестьянина, который, услышав конский топот, высунулся, полуголый, из окошка поглядеть на солдат. Странное название оказалось у этого ручейка. Он назывался «Булькай в дождь»...

С тех пор прошло меньше года, и вот Робер Дьедонне вновь направляется верхом в Эссон... Там его ждет ночлег. А быть может, встреча с Бонапартом. Дождь снова усилился. Как ни странно, но больше и настойчивее, чем об императоре, Дьедонне думал о «совершенном создании», о Фавье, влюбленном в эту женщину с 1805 года... уже целых десять лет... о, это, конечно, прекрасно, ничего не скажешь, но он, Робер, не создан для подобных чувств. Его молодость прошла в мимолетных и случайных романах. Интересно, кто такая эта женщина?

* * *

Третий раз в течение одного дня полковнику барону Шарлю Фавье, сублейтенанту 6-й роты герцога Рагузского, которую солдаты именовали для простоты «Иудиной ротой», пришлось побывать во дворце. Этот тридцатитрехлетний гигант шести футов роста, с крупным и тяжелым лицом, черноусый, с уже поредевшими спереди волосами, отчего лоб казался еще выше, с огромными глазами и длинными, загнутыми вверх ресницами, в третий раз в течение одного дня спускался с лестницы Павильона Флоры в полной парадной форме: плащ скреплен у горла пряжкой, левая пола закинута на могучее плечо, под мышкой видна блестящая каска с изображенным на ней солнцем, васильковый

мундир с пурпуровыми отворотами, подбитые пурпуром полы; сверкая серебряным шитьем, спускался он по лестнице в полном смятении чувств, с отвращением пробираясь сквозь толпу сгрудившихся на ступеньках соглядатаев из полиции.

Казалось, повальное бегство придворных, покинувших этим воскресеньем Тюильри, в чем можно было убедиться хотя бы во время королевской мессы, благоприятствовало вторжению этих штафирок с тяжелыми тростями, в долгополых зеленых, черных или коричневых рединготах и в высоких темных цилиндрах,— словом, в классической своей форме, по которой их узнавали за сотню шагов. Были тут шпики из полиции господина Андрэ и новенькие, служившие под началом Бурьена, доброхоты из приватной полиции графа Артуа; и те и другие подозрительно поглядывали на соседей. Приходилось прокладывать себе дорогу среди этих шпиков, добрая половина которых наверняка состояла из людей Фуше, готовых в случае прихода Бонапарта к самым решительным действиям. В то же время присутствие их означало, что со времени измены Нея военные лишились доверия. Достаточно было посмотреть, как у себя наверху особы королевского дома подозрительно вглядывались в лицо каждого, даже маршалов. Кто-то изменит завтра?

Было примерно около трех часов пополудни, когда маршал Мармон, герцог Рагузский, отсиживавшийся в Военном училище, пока не без труда собранная королевская гвардия мокла на Марсовом поле в ожидании его королевского величества, велел позвать к себе своего бывшего адъютанта, с тем чтобы направить его в Тюильри. Это же бессмыслица: король пожелал провести смотр, пришлось носиться по всему Парижу и собирать людей, которые после утренней поверки, естественно, разбрелись кто куда, затем построили их под дождем, и теперь они ждут, ждут, а никто и не думает являться.

Хотя маршалу был уже сорок один год, он все еще сохранял юношескую стать. Правда, немного раздался, но высокий рост и красивое лицо, обрамленное темными кудрями, говорили об его аристократическом происхождении. Только вот подбородок слегка отяжелел. В расшитом мундире, с голубой лентой через плечо и с крестом на шее, он как был, так и остался самовлюбленным говорупом и жадным до развлечений ловеласом, каким Фавье знавал его еще по Испании, вечно одержимым желанием оправдаться, будь то на следующий день после Арапильской битвы, будь то сейчас; он нет-нет да и возвращался в разговоре к обвинениям, которыми Бонапарт, едва высадившись в Канне, заочно осыпал его. Сколько раз в эти последние дни маршал то и дело начинал гневаться, разговаривая со своим бывшим адъютантом, с

которым он расходился во взглядах чуть ли не по всем вопросам. «Ах,— восклицал он,— *ваша* хартия!» Как будто Фавье самолично ее составил, как будто только он один был повинен во всем, что происходило, в этом грубом маневре Людовика XVIII, с помощью которого король надеялся привязать к себе людей императора, а потом — нате вам, измена маршала Нея! Мармон держал сторону графа Артуа и герцога Беррийского. Хотя последний возмущал его своей манерой подражать Маленькому Капралу... по любому случаю тянется ущипнуть за ухо... и он туда же! Слава богу, ростом не вышел.

— Отправляйтесь-ка во дворец, Фавье,— сказал Мармон,— не знаю, о чем только думает его величество... войска окончательно потеряют терпение.

И вдруг он выложил все. Стало быть, отвергли план, который уже давно разработал полковник Фавье, а маршал выдал за свой собственный? Значит, король действительно собирается навострить лыжи? Еще в четверг он обещал Палате погибнуть, но не пропустить врага, а в воскресенье удирает, как заяц! Подумать только, две ночи Фавье провел без сна, составляя план укрепления Лувра, вся диспозиция уже была подготовлена: герцог Ангулемский удерживает юго-запад, герцог Бурбонский — запад, королевская гвардия и войска охраняют подступы к Парижу под командованием Макдональда, герцог Беррийский...

— Ну, хватит об этом рассуждать: господин де Блакас-д'Оп, бывший сначала на нашей стороне, вдруг потерял голову, и когда он сказал королю, что нужно бежать, король, как всегда, согласился с мнением этого дурака! А ведь, черт возьми, внушительная могла бы получиться картина: король Франции наперекор всему — предательству армии, непостоянству толпы — остается в столице, восседает в кресле у порога своего Лувра, дожидается того, Узурпатора, и говорит ему: «Ну, чего вы добиваетесь? Хотите разрушить Париж? Стрелять по дворцу? Сжечь Тюильри? Если вы меня убьете, будете просто цареубийцей, и все равно моя кончина не даст вам права на престол, ибо за мной идут в порядке очереди граф Артуа, герцог Беррийский, герцог Ангулемский... Так что много на этом деле не выиграете!»

Но чтобы он раздумал прибыть на смотр! Вы же сами понимаете, дражайший, смотр тоже его идея, идея короля: он приезжает на Марсово поле, обращается с краткой речью к своей гвардии, разъясняет ей ее долг и объявляет, что она идет к Эссону, дабы перерезать дорогу на Париж... А сам удирает по секретному маршруту... Застава Этуаль, военная дорога...

Эссон! Бывший адъютант маршала, услышав слово Эссон, уже не слышал больше ничего. Эссон! Он взглянул на Мармона, коман-

дира королевского конвоя, ныне командующего королевской гвардией. Как мог он, Мармон, без дрожи произносить слово Эссон? Какое ему, Фавье, дело до того, что смотр задуман как военная хитрость, позволяющая Людовику XVIII под благовидным предлогом покинуть Лувр и отбыть к заставе Этуаль? А оттуда куда? Нынче утром еще никто ничего не знал. Некоторые требовали, чтобы король отбыл в Вандею и встал во главе шуанов, куда заранее был послан герцог Бурбонский. Чудесный способ приобрести популярность в народе! Другие стояли за Нормандию. Например, Гранвиль, откуда на худой конец можно перебраться на острова. В Гавре королевская гвардия может продержаться долго, а в случае необходимости, что ж, переправимся в Англию. Самое главное узнать, будет ли флот хранить верность престолу... Со вчерашнего дня герцог Орлеанский, которому удалось выбраться из Лиона, находился на Севере. Лично Мармон не верил, что король действительно намерен присоединиться к нему: отправка герцога в Лилль была скорее всего актом недоверия в отношении сына Филиппа-Эгалите... лишний жест в дополнение к отставке Сульта, который в Павильоне Марсан считался не столько бонапартистом, сколько приспешником Орлеанского дома, и было даже приказано не давать лошадей герцогине, буде та вздумает покинуть Париж... Герцог Беррийский рвет и мечет: зачем его величество держит его при себе и тем мешает разделаться с захватчиком. Как видно, нерешителен король только в распоряжениях касательно солдат. Доверительно понизив голос, Мармон сообщил Фавье нечто весьма симптоматичное: даже прежде, чем было официально объявлено об измене Нея, то есть еще в пятницу, через сутки после торжественного заседания в Палате, королевские бриллианты были отправлены из столицы. Куда? В Кале, а оттуда в Англию...

— Отправили в ночь с пятницы на субботу, и повез их камергер его величества. Конечно, почему бы не отослать бриллианты в надежное место, а самому остаться в Париже и принять там доблестную кончину, хотя между нами говоря...

Итак, Фавье снова пришлось отправиться во дворец. Короля повидать ему не удалось. Но король все еще был тут. Через Блакаса — пренеприятнейшего господина Блакаса, с вытянутой, до невозможности постной физиономией под блекло-рыжим париком, этакого коротконожки с неестественно длинным туловищем — так вот, через этого господина ему передали, что король не оставил своего намерения делать смотр гвардии, но пока что... Чистая фантасмагория!

Фавье попросили обождать в Маршальском зале.

С тех пор как придворными овладел неукротимый страх, Тюильри превратился в какой-то караван-сарай. Пропускали бес-

препятственно всех военных,— лишь бы в форме, люди приходили сюда, как в кофейню, встречались здесь и дамы, и все часами поджидали Бурьена, дабы принести лично ему на кого-нибудь донос. Уже целую неделю при дворе не было видно госпожи Дюрá: она была причастна к заговору, а ее супруг, несчастный герцог Дюра, находился неотлучно при короле...

В прихожей набилось множество людей. Священники, генералы, министры. В королевских покоях шло непрерывное снование. К каждому, кто выходил оттуда, будь то господин де Жокур или лакей, будь то низенький толстяк Бертье с бледным, расстроенным лицом, на котором читалось явное волнение, будь то отец Элизе, хирург его величества, весьма странный «святой отец», тощий, с маслеными глазками и великий охотник до грязных шуточек,— к каждому бросалась вся эта свора и с притворно скромным видом шептала что-то, хотя шепот походил скорее всего на откровенный вой. Ну что? Уезжает? Куда? Люди забыли всякое приличие. Все эти посетители прочно уселись на банкетки, боясь потерять занятое спозаранку место, боясь упустить момент, когда станут известны последние новости; они предусмотрительно плотно позавтракали с утра или же принесли с собой в бумажном кульке холодные котлеты и селедки. Зрелище мерзкое, тем паче что даже воняло здесь, как в самой захудалой кофейне. Впрочем, в Павильоне Флоры всегда пахло кухней... Надо было послушать, как старички придворные умильно рассказывали соседям, что его величество изволили скушать за завтраком четыре жареных голубя с зеленым горошком... Потомки Людовика Святого умеют покушать!

Уже выйдя на набережную, полковник столкнулся с офицером Национальной гвардии в традиционной меховой шапке с золотым шнуром. Секунду он колебался. Неужели это тот самый Александр де Лаборд, которого он знавал еще в Испании? Род занятий Лаборда был тогда не совсем ясен. Позже Фавье встретился с графом в 1814 году,— оба были членами комиссии, ведшей с союзниками переговоры о капитуляции Парижа. Как-то вечером у них произошел весьма и весьма занятный разговор. С прошлого года граф де Лаборд охотно стал вспоминать своего отца, гильотинированного в 1793 году. Хотя всем было известно, что мать прижила Александра от некоего австрийского принца... До Термидора Александр служил в австрийской армии. Но тогда, в тот вечер, когда в Париже ожидали вступления союзников и они оба находились у заставы Клиши, неподалеку от долговой тюрьмы, куда сносили трупы и где стояли со своими повозками беженцы-крестьяне, кто тянул тогда Александра де Лаборд за язык рассказывать полковнику Фавье о том, как он во времена Директории, возвратившись моло-

дым человеком во Францию, стал заниматься живописью и, представьте себе, у самого Давида... сейчас у Давида занимается сестра Александра — Натали, герцогиня Муши... так вот тогда он увлекался опасными идеями и вступил в группу необыкновенных людей, их звали «Равными», да, да, дорогой мой, вы, должно быть, помните имена Дартэ, Бабёфа? Бывают такие апокалиптические минуты, когда все мешается и когда доверяешь первому встречному самое свое заветное.

Итак, сему Лаборду, бывшему бабувисту, ныне, в вербное воскресенье 1815 года, поручили охранять королевскую особу. Правда и то, что сестра его приходится невесткой князю Пуа, командиру национальных гвардейцев, приданных королевской гвардии. Совсем недавно генерал Дессоль назначил Лаборда начальником охраны, и сейчас Александр возвращался во дворец для обхода караулов, которые он поставил еще в полдень. Александр вежливо козырнул в ответ на приветствие полковника, в котором он в первую минуту не признал Фавье, а затем приблизился к нему и произнес, понизив голос:

— Дорогой друг, мне хотелось бы поговорить с вами...

Откровенно говоря «дорогой друг» не так-то уж обрадовался этой новоявленной дружбе, но как было отказать? Они поднялись во второй этаж. Пост Национальной гвардии как наиболее важный во дворце разместили в одном из покоев королевской фамилии, и странно было видеть прихожую и столовую ее высочества герцогини Ангулемской, находившейся сейчас в Бордо, забитую людьми,— сюда согнали человек пятьдесят в форме Национальной гвардии: гетры, белые штаны, перекрещенная портупея с прицепленной к ней короткой шпагой и лядункой; кто в медвежьей шапке, кто вовсе без головного убора, кто стоит, кто сидит на любом предмете, который можно превратить в сиденье, вокруг стола и маленького столика для посуды, кто крутит цигарку, кто дымит трубкой,— все в самых вольных позах, однако при появлении офицеров солдаты вскочили. Лаборд сказал им что-то, и они ответили криком: «Да здравствует король!» И по говору их слышно было, что все они из простонародья. Большинство небриты.

— Это гренадеры Одиннадцатого и Двенадцатого легионов,— шепнул Лаборд на ухо Фавье.— Выбор пал на них потому, что их командиры — люди вполне надежные.

У командиров был суетливо заискивающий вид, как у мелких чиновников при появлении начальства.

— Мне сделали выговор,— все тем же полушепотом продолжал Александр,— за то, что в карауле у Пон-Турнан у меня были люди из Сент-Антуанского предместья. Как вам это понравится... Это подразделение Третьего легиона, а легионом больше года

командует знаменитый Ришар-Ленуар,— говорят, он тесть брата Лабедуайера, что вполне вероятно. Но подумайте только сами: здесь, во дворце, и как раз в окружении графа Артуа есть люди буквально неисправимые. Надо все-таки доверять парижскому народу; предместье, о котором они говорят, я, слава богу, знаю. Эти национальные гвардейцы готовы лечь костьми за королевский дом,— вот и все. Что касается Ришар-Ленуара, король не пожелал его сместить: ведь он сделал для блага королевства куда больше, чем все наши крайние роялисты, вместе взятые! А что до Лабедуайера, он родня Шарля де Дама́, командира легкой кавалерии. Пусть нас не учат, дурачье этакое! — Он отвел полковника в сторону.— Я хотел вас вот о чем спросить... Мне известно, что план обороны Лувра разработан не без вашего участия... мы тоже приняли свои меры: удвоили караулы у Пон-Турнапа, в картинную галерею нагнали без счета солдат, а внутренняя охрана готова в любую минуту к отходу и прикрытию королевской особы... Но все-таки душа болит за искусство. Вы представляете себе, а вдруг повредят «Брак в Кане Галилейской»? Но что поделаешь? Скажите-ка, вы ведь идете от господина де Блакас? К этому спесивцу нынче и не подступишься, но не за него же мы в самом деле идем в бой... Так вот, мне кажется, что в первоначальные планы внесены кое-какие изменения. Известно, что сам де Блакас уже отправил свою супругу и, говорят, заодно целую повозку с медалями,— он, видите ли, коллекционирует медали! А дамы Дюра, де Лаферронэ, де Жокур, княгини Ваграмская и Талейран вообще покинули пределы Франции! Да и наше присутствие в этих покоях лишь подчеркивает отсутствие ее королевского высочества... Мои парижские друзья сообщили мне...

К чему он клонит? В кулуарах дворца шептались, что раз король не является на Марсово поле, значит, он готовится улизнуть среди бела дня... Господин де Витроль говорит, что солнцу вовсе не так уж необходимо присутствовать при этом позоре...

Фавье повернул свою массивную голову к начальнику охраны и прочел на его физиономии выражение злорадного беспокойства,— впрочем, и на лицах всех визитеров, толпившихся в королевской приемной, застыло то же выражение. И те и другие взвешивали шансы Людовика XVIII. Сколько среди них уже готовятся провозгласить: «Да здравствует император!» Черт побери, в 1814 году мы видели обратную картину.

— Вот что, господин граф,— сказал Фавье, по своему обыкновению называя полным титулом людей старого режима, и в этом чувствовалась известная нарочитость,— могу сообщить вам, что его величество проведет смотр «белых» и «красных» рот на Марсовом поле через полчаса или через три четверти часа...

Казалось, это известие успокоило бывшего бабувиста. Он осведомился, успел ли позавтракать полковник: дело в том, что у караула есть кое-какие запасы и они охотно поделятся с дорогим гостем. И здесь, в покоях герцогини Ангулемской, тоже воняло обжоркой. Фавье поблагодарил и отказался. Его ждут в Военном училище.

Выбраться наружу оказалось труднее, чем при первом посещении дворца: вся лестница была забита древними старцами, которые явились предложить свои услуги королю и имели просто маскарадный вид в допотопных доспехах, извлеченных на свет божий из недр гардеробов. Глядя на этого дряхлого майора в белом мундире с небесно-голубыми отворотами и предлинной шпагой, подвешенной по английской моде на двух шелковых шнурках, можно было подумать, что перед нами участник битвы при Фонтенуа. А из какого шутовского хоровода мертвых притащился этот рыцарь в малиновом мундире под серым плащом, в коротких сапожках, из которых торчали острые коленки в обтянутых лосинах? Вокруг слышались довольно бесцеремонные смешки, а Бурьеновы соглядатаи подталкивали друг друга локтем и делали не очень-то лестные замечания по адресу этих чучел. Фавье врезался в эту толпу, как корабль, появившийся на реке, забитой дремлющими рыбачьими суденышками. Он был на две головы выше любого из этих просителей, от которых разило чесноком и пивом — дарами какой-то оборотистой матроны, которая пробралась к парадной лестнице и торговала там улитками, распространявшими зловоние. Незаметно, бочком, сюда проскользнули и нищие калеки: один старался привлечь внимание видом своей культи, другой, слепец, еле поспевал за тащившей его собакой.

Набережная заполнилась людьми, небо внезапно просветлело, и гвардейцы, охранявшие подступы к дверям Павильона Флоры, теперь уже с трудом сдерживали напор толпы. Лихорадочное беспокойство охватывало парижан, видевших, что королевские кареты дежурят у дворца; попробуй убедить этих людей, что кареты дожидаются Людовика со свитой, поскольку король изволит делать смотр собственной его величества гвардии,— никто не верил! Девицы выспрашивали у кучеров, куда им приказано ехать. Слышались названия Ла-Рошели и Булони. Парижане не замечали вновь начавшегося дождя: должно быть, уже притерпелись. Хотя весна стояла у порога, женщины не решались надеть соломенные шляпки. Уж очень переменчивый выдался март. Однако они щеголяли в светлых платьях и мантильях, где преобладали желто-зеленые тона, а шляпки из гроденапля были нежно-изумрудные, как первые весенние почки. По тротуарам двигались целые семьи, и степенные обыватели старались отвести своих супруг и дочек по-

дальше от слишком острых на язык солдат; ребятишки сновали под ногами у взрослых, шарлатаны и торговцы предлагали дамам притирания и румяна. Было достаточно холодно, дабы модницы могли покрасоваться в мехах, но среди этих щеголих то и дело попадались девицы, имевшие неосторожность нарядиться в легкие перкалевые платьица, и носы их лиловели совсем под стать фиолетовым лентам, которыми в ту пору, следуя моде, убирали желтые платья. Через толпу пробирались бойкие молодые люди, не менее опасные для мужей, чем военные,— кто в высоких сапожках, кто в чулках и туфлях, но все в одинаковых трикотовых панталонах, столь откровенно облегающих формы, что молодым девицам было лучше вовсе не подымать глаз, особенно если такому моднику приходило в голову нацепить панталоны из телесно-розовой вигони, хотя и кашемир мало чем отличался в этом отношении от вязаных тканей.

Фавье поставил свою лошадь в конюшне по ту сторону площади Карусель, прошел под аркой, где расположились кавалеристы, и выбрался на огромную замощенную площадь, лежавшую между Триумфальной аркой и полуразрушенным кварталом,— где стояла часовня Дуайеннэ и старинный особняк Лонгвилей, уже давно лишившийся крыши. Эти руины под самым носом королей Франции не переставали удивлять иностранцев. Улицы, начинавшиеся у Пале-Ройяля или поблизости от него и выводившие окольным путем к большой галерее музея, отделяли Тюильри от старого Лувра, еле различимого за лачугами, сараями, нищенскими домишками; отсюда десятого августа народ пошел против Тюильрийского дворца, и хотя Наполеон, которому требовалось для разгона свободное пространство, велел снести ряд сооружений до того, как сюда нахлынула чернь, все же за улицей Сен-Никэз, где взорвалась знаменитая адская машина, остался в неприкосновенности целый квартал, и в этом причудливом квартале старьевщиков, куртизанок и челяди сегодня слышался довольно неуместный гомон, ибо в кофейнях и ресторациях посетители уже сильно навеселе распевали во всю глотку песенки Беранже и «Мы на страже Империи!».

Конюшни с гладким фасадом и сдвоенными колоннами стояли как раз напротив моста Святых отцов, как некий обломок общественного здания, затерявшегося волей судеб среди нагромождения высоких домов, принадлежащих частным владельцам, и так как вслед за последней парой колонн шла полуразрушенная стена, казалось, что перед вами декоративный цоколь. Впереди, как солдат, вышедший из рядов, вздымался огромный шестиэтажный куб, с кофейней в нижнем этаже, а на антресолях одиноко, на отшибе, расположилась «Нантская гостиница», возле которой обычно оста-

навливались почтовые кареты, что лишь усугубляло впечатление общего беспорядка; но в тот день у гостиницы грудами валялись тюки, лошадей не было ни одной — их разобрали с бою беглецы, а за почтой, как и за посылками, никто и не являлся. Здесь было не так людно, к тому же из окон кофейни доносились звуки музыки, и прохожие с улицы заглядывали в окна. Среди туч образовался широкий бледный просвет, обманчиво напоминавший солнце.

Внезапно Фавье вздрогнул всем телом. Навстречу ему шла пара, кавалер с дамой, надо прямо сказать, мало подходившие друг другу; и при виде этой пары сердце заколотилось у него в груди. Причиной тому был не мужчина, неизвестный ему, одетый не без изысканности, с тросточкой в руке и в дорожном плаще; он, видимо, носил парик, и этот парик, очки, а также мышиносерая фетровая шляпа не позволяли судить о личности незнакомца. Одну руку, согнутую калачиком, он подставил даме, просунувшей под его локоть только самые кончики пальцев, а другой держал за ручку ребенка, девочку лет четырех-пяти. Нет, это немыслимо! Конечно, полковник обознался. Ведь он был как одержимый, ему повсюду мерещился милый силуэт. Впрочем, он ни разу не видел ее в этой серой бархатной шляпке с аграфом на боку, украшенной перьями и пышным бантом, из-под которого спускались ленты, завязанные под подбородком, а край шляпки был оторочен гофрированными блондами, ни разу не видел и в этом куньем палантине, подбитом лиловым шелком, накинутом на мериносовое платье с бархатной отделкой того же цвета, что и шляпка. Пусть он почти не разглядел ее лица, зато он сразу признал девочку в черном спенсере и коротенькой белой юбочке — тут уж не могло быть ошибки. Эта девочка с длинными черными волосами, распущенными по плечам, и с крупными локонами, начесанными на уши, была живым воплощением того полутраура, который им предстояло снять только двадцать третьего мая. Она казалась, пожалуй, слишком полненькой для своих лет, во взгляде ее было что-то страдальческое. Хотя полковник Фавье сначала подошел к крошке Гортензии, но про себя он подумал: «Как попала сюда наша Мария Ангелица?» Он поднял на нее глаза, даже не взглянув на ее спутника.

— Бог мой, сударыня, вы здесь? В такой день? Так ли уж это благоразумно с вашей стороны?

Дама подала ему ручку, облитую перчаткой, и в ту же минуту почувствовала, что рука, на которую она опиралась, уже не поддерживает ее. Спутник ее деликатно отступил на несколько шагов. Дама улыбнулась, показав ровные маленькие зубки. Черные волосы падали прихотливой челкой из-под выступавшего углом края

шляпки. В двадцать семь лет — ее выдали замуж четырнадцати — она была во всем блеске женственности. Она снова улыбнулась склонившемуся к ней гиганту и произнесла:

— Шарль, друг мой дорогой, до чего же я счастлива вас видеть, даже странно...

Всякий раз, при каждой встрече он открывал ее заново: так нынче он впервые, казалось ему, заметил изящество ее тоненького прямого носика с раздувающимися ноздрями. И его пронзил ее певучий голос, произносивший слова с легким испанским акцентом, от которого ее не сумели отучить даже в пансионе госпожи Кампан.

Он повторил:

— Вы поступаете весьма неосмотрительно, сударыня, вас могут узнать...

Она засмеялась в ответ, взмахнув рукой таким жестом, словно трясла браслетами.

— Что ж тут такого? Пусть узнают!

Но он ответил все так же серьезно:

— Политические страсти сейчас разгорелись, во дворе Лувра полным-полно людей из тайной полиции; вообразите, что кто-нибудь из них захочет выслужиться и заявит, что он сам застиг герцогиню Фриульскую за весьма странным разговором... Я слышал в Тюильри всего три дня назад ваше имя в устах одного из этих доброхотов, которые, к сожалению, вечно вьются вокруг принцев.

— Ну и что же сказал ваш доброхот? — спросила герцогиня.

— Достаточно того, что он произнес ваше имя в связи с именем госпожи де Сен-Лэ...

— Велика беда! Всем известно, что мы с Гортензией подруги и она даже крестила мою дочку.

— Но сейчас, сударыня, могут вспомнить, что она была королевой... и когда Буонапарте уже в Фонтебло...

— Так, значит, вы думаете, что он еще только в Фонтенбло? Вот поэтому-то мне и не терпелось пойти посмотреть, что делается в Тюильри. Господин де Лилль по-прежнему еще сидит на троне и рассказывает своим министрам сальные анекдоты?

— Его величество, сударыня, скоро будет производить смотр войскам, а я солдат... но, молю вас, будьте осторожны, следите за своими словами, умы сейчас слишком возбуждены...

— Ни за какие сокровища мира, Шарль, я не пропущу этого зрелища! Ведь я смотрю не только за себя, но и за Дюрока. Будь он жив, он сегодня был бы не на площади Карусель, а там, на дороге в Фонтенбло...

От нее Фавье мог принять любое. Но только не то, что последовало вслед за этим.

— Если уж говорить о неосторожности,— добавила она, слегка повернувшись к старику, скромно отошедшему в сторону в первый момент их встречи,— господин Фуше охраняет меня...

Услышал ли ее слова человек в дорожном плаще? Он поправил очки, будто старался скрыть за их стеклами свои глаза. Фуше! Значит, вот этот худощавый, чуточку согбенный господин, столь старорежимный с виду, значит, он и есть Фуше? Фуше, которого хотел арестовать Бурьен и который сумел ускользнуть из рук полиции... Уж не потеряла ли рассудок Мария де лос-Анхелес?

— Не думаю,— сказал он,— чтобы воздух Тюильри был особенно благоприятен для герцога Отрантского...

Так как при последних словах полковник слегка повысил голос, старик вежливо поклонился и, приблизившись к говорившему, произнес:

— Отчасти это зависит от барона Фавье, и от того, какое употребление он изволит сделать из моего имени...

Он выпрямил сутулую спину, и тут только Фавье заметил, что Фуше с умыслом разыгрывает роль старика и что на самом деле выглядит он значительно моложе, чем при первом взгляде. В 1815 году Фуше было пятьдесят два года, но какая-то юношеская живость все еще сохранилась в его движениях.

Шарль не без презрения взглянул на Фуше сверху вниз:

— Вам нечего бояться, сударь, хотя бы потому, что ваше имя, произнесенное этими устами, стало тем самым для меня священным...

Он склонился перед герцогиней, кровь гудела в ушах. Он взял на руки дочь Дюрока и приподнял ее.

— Малютка,— сказал он,— в тебе я вижу твоего отца и твою мать, их неразрывно слитый образ... да будет жизнь твоя легка!

Он произнес эти слова столь несвойственным ему торжественным тоном, что герцогиня выхватила из его рук дочку и прижала к себе. Она потеряла сына, своего первенца, и жила в непрерывной тревоге за эту болезненную девчушку.

— Да хранит вас бог, Шарль, дорогой,— сказала она тихо, чтобы Фуше не расслышал,— какой бы путь вы себе ни избрали!

Когда Фавье выехал из конюшни на своем рысаке, он не нашел уже на площади Марии де лос-Анхелес. Он дал хлыста коню и скрылся в воротах справа от моста.

* * *

Как бы тщательно маршал Макдональд, герцог Тарентский, ни обряжался по приказу короля в штатское платье — черный фрак без карманов, оливковые панталоны, рыжие ботинки, даже

взял в руки складную трость-зонтик, а на голову надел цилиндр,— все равно в нем чувствовалась военная косточка. Правда, он раздобрел, и курносый нос, задорно торчавший посреди широкой костистой физиономии и придававший ему в прежние годы ухарски отважный вид, выглядел теперь совсем иначе среди складок нездорового жира, появившегося к пятидесяти годам. Но, как и прежде, он безуспешно старался обуздать белокурые волосы, немножко потемневшие с годами: они упорно падали прямыми, правда, не столь густыми, как раньше, прядями. На худой конец, он мог сойти еще за банкира, но кто бы, подметив взгляд его карих глаз, слишком легко принимавших восторженное выражение, решился доверить ему свои капиталы? Ибо во всем его облике самым причудливым образом сочетались черты авантюризма, роднившие между собой людей Империи — недаром же в двадцать девять лет он был уже генералом,— и своего рода мещанской усталости, более чем натуральное следствие бурно прожитой жизни, как, впрочем, и боль в суставах, которая особенно мучила его при этих бесконечных дождях.

— Ну и погодка, чисто брюмеровская,— буркнул он и взглянул в окно на совсем еще голые ветви.

Он вспомнил утро VIII года, Версаль, он шел тогда под проливным дождем закрывать клуб якобинцев, в то время как его соратник поставил все на карту в Сен-Клу. С давних пор он был другом Жозефины, своим человеком на улице Шантрен. С тех пор прошло шестнадцать лет, даже меньше... прошла целая вечность, целая шквальная жизнь, и вот теперь его дожидается король Франции.

Да, король приказал ему явиться во дворец пешком и в штатском платье, дабы не привлекать ничьего внимания. Похоже, что Людовик оказывает ему такое доверие именно потому, что мало его знает. Герцог Тарентский прибыл в Париж всего шесть дней назад, даже пять с половиной. Первые их прошлогодние встречи оставили у него скорее дурной осадок. Людовик XVIII недолюбливал маршала за то, что тот слишком всерьез принимал его либерализм; к тому же резкий характер Жак-Этьена и сейчас сослужил ему плохую службу в отношениях с новым государем, равно как и прежде в отношениях с императором; до его отъезда в свой округ ничто не предвещало внезапного монаршего благоволения — скорее уж наоборот. С лета 1814 года он жил в Бурже, центре военного округа, где была расквартирована его дивизия, или в своем поместье Курсель, в двух шагах от Бурже; в начале марта его отозвали в Ним, но, так и не дав добраться до новой резиденции, завернули с полдороги по приказу герцога Орлеанского, призывавшего маршала в Лион, откуда ему самому пришлось спасаться

бегством перед приходом Наполеона, по причине солдатских бунтов. Парижский особняк Макдональда стоял пустой: маленькая Сидони осталась в Курселе с теткой Софи, и с тех пор, как вслед за старшей дочерью вышла замуж средняя дочка маршала, Адель — она повенчалась в 1813 году с Альфонсом Перрего,— особняк на Университетской улице почти все время пустовал, оставленный на попечение многодетной четы привратника. В полутемной бильярдной Жак-Этьен обнаружил в футляре, подбитом голубым бархатом, свою скрипку, как некое полузабытое воспоминание. Уже очень давно он не прикасался к ней. Он отнюдь не считал себя виртуозом, но унаследовал страсть к музыке от отца якобинца, передавшего ему также свои романтические, чисто шотландские глаза; отец был в свое время без ума от Генделя, с которым сблизился, когда композитор уже ослеп.

Прежде чем отправиться в Павильон Флоры, маршал помузицировал в своем огромном пустынном жилище. Если Макдональд слыл в молодости неотразимым, то во многом был обязан этим скрипке. После первой помолвки (было это в Сен-Жермен-ан-Лэ), во время жениховства Мари-Констанс аккомпанировала ему на клавесине. Тогда, быть может в первый и в последний раз в жизни, он любил беззаветно, не внося в свои чувства расчета. Потом, когда он женился вторично, новая жена, мать Сидони, высмеивала мужа всякий раз, как тот брался за скрипку, и называла его игру «пиликаньем». Она умерла через два года после свадьбы, и он, вдовец с двумя дочерьми на руках, меньше всего собирался вступать в третий брак. О, не только из-за скрипки! Теперь скрипка стала для Макдональда своего рода средством ухода от будней. Весьма жаль, что ему не удалось более серьезно заняться музыкой... В это вербное воскресенье он разбирал Гайдна. И сразу же прошли ревматические боли. Он думал о странной своей судьбе и о внезапном — до нелепости — доверии короля... Удивительная все-таки выдалась неделя.

Приехал в понедельник вечером, и уже во вторник его назначили в корпус, который создавался при особе герцога Беррийского, тот самый корпус, что должен был формироваться в Мелене и прикрыть подступы к столице. Однако до субботы его старались держать как можно дальше от этого великолепного замысла, и, несмотря на то, что маршала обласкал сам король, его целых четыре дня мытарили по прихожим, пересылали от одного лица к другому, заставили побегать по всем закоулкам дворца, словно враг и не стоял у ворот Парижа. Для всякого, кто в четверг слушал в Палате речь его величества, было очевидно, что король не отдает себе ни малейшего отчета в грозящей опасности. Наконец только в субботу маршал был принят своим непосредственным

начальником, его высочеством герцогом Беррийским. Его высочество был решительно невыносим и еще более груб, чем обычно,— должно быть, совсем потерял голову, свою мерзкую пустую башку: казалось, он вот-вот заплачет и злится оттого, что это могут заметить; маршал послал королю свою отставку, которую пришлось взять обратно в тот же вечер. Было это накануне; тогда король собирался ретироваться в Вандею. Или в Бордо. Макдональд первый посоветовал ему отправиться во Фландрию, в Лилль или Дюнкерк. Идея эта показалась монарху просто блестящей, но вместе с тем он находил, что еще успеет над ней подумать. И вот нате вам: в воскресенье утром, то есть сегодня, в семь часов утра у герцога Беррийского, откуда за Макдональдом послали гонца, он из собственных уст его высочества услышал об измене Нея. Весь город знал об этом еще накануне, но двор (хотя многие чиновные люди, не особенно веря слухам, все же отправили своих жен за границу), двор продолжал не верить вплоть до ночи с субботы на воскресенье, пока в Париже не появились генералы, покинувшие князя Московского. Взволнованный донельзя рассказ барона Клуэ. Накануне, по крайней мере, еще притворялись, делали друг перед другом вид, что не верят таким слухам. Может быть, этим и объяснялась вчерашняя нервозность его высочества. Утром Макдональд застал герцога в совсем ином расположении духа,— тот так и бросился к нему навстречу, словно желая загладить вчерашнюю некрасивую сцену. И только тогда Макдональд вдруг заметил, что у его высочества глаза цвета небесной лазури, и это, пожалуй, искупало непривлекательность топорной физиономии Шарль-Фердинанда. Жак-Этьен отложил смычок... В саду, окружавшем его особняк, на разные голоса заливались птицы... «Они поют лучше меня!» — подумалось ему.

«Ней! Многого я навидался на своем веку. Дюмурье, Моро, Пишегрю... но Ней! Вот бы никогда не подумал». В 1814 году Макдональд оставался до самого конца верен Бонапарту. Друзья всей его жизни, лучшие друзья, как, скажем, де Бернонвиль, член временного правительства, созданного в Париже в 1814 году, поспешили заранее выйти из игры, и, что уже было серьезнее, Мармон и Сугам, в сущности, предали императора в военном отношении, тогда-то Ней и бросился в объятия Бурбонов... Все это не помешало герцогу Тарентскому явиться в Фонтенбло, и таким образом он стал последним козырем в руках побитого Бонапарта. Император никого не просил продолжать бесполезную отныне игру. То обстоятельство, что позже, да, все-таки позже, восемь дней спустя, герцог Тарентский перешел на сторону Бурбонов, было не столько актом вероломства, сколько вполне закономерным поступком солдата. Присоединился Макдональд к королю в Компьене

в конце апреля. Он сопровождал Людовика XVIII во дворец Сент-Уэн, где король дождался конца церемониального прохождения войск. Его, Макдональда, появление было отнюдь не неуместным, коль скоро там присутствовали все, или почти все, маршалы. Бертье, конечно, пока еще не появлялся... но, скажем, Удино был уже тут. Во всяком случае, королевская фамилия делала все, что могла. Правда и то, что если третьего мая охрану королевской особы поручили — мысль довольно странная — маршалу Удино, то произошло это более или менее случайно: сначала король подписал приказ, назначавший начальником караула его племянника, герцога Беррийского. Но тот помчался веселиться в Париж и передал свои полномочия Удино. Таким образом уже с первой минуты маршалы превратились в стражей монархии. Когда партия проиграна, когда становится безумием продолжать бессмысленную войну, как может такой вот Макдональд клеймить Мармона, Сугама или Нея,— он просто следует их примеру. Другое дело сейчас, в 1815 году: король послал Нея преградить Бонапарту путь к Парижу, а Ней перешел на сторону Бонапарта, не выполнив своего долга; вот это измена, это уже грех непростительный, воинская честь с такими вещами не может мириться. Вы скажете: а почему же ваша воинская честь преспокойно молчала 18 брюмера? Да ведь 18 брюмера мы предавали лишь штатских, а Бонапарт — это же армия.

«Кажется, действительно придется расстаться со скрипкой,— подумал он,— и зрение портится... скоро для игры по нотам мне понадобятся очки...»

Решено было послать все находящиеся в запасе войска на обе дороги, ведущие к Фонтенбло. Потом вместе с герцогом Беррийским и графом Артуа они отправились к королю. Вот тогда-то король и решил выехать в Лилль, но не желал, чтобы об этом стало известно. Поэтому и изобрели для отвода глаз всю эту историю со смотром войск на Марсовом поле. Мармон, который командовал королевской гвардией, положил немало труда, чтобы помешать этому: ведь он был одним из сторонников плана защиты Лувра как центра обороны. Безумие! Весь день отдавали, а потом отменяли приказы. Итак, призванный во дворец Макдональд нарядился в черный фрак и оливковые панталоны. Пусть в качестве камердинера привратник ровно никуда не годен, зато жена его, к счастью, умеет орудовать утюгом. А дождь все лил. Жак-Этьен раскрыл зонтик-трость и медленно побрел по набережным под серым шелковым балдахином, нацепив крючок трости на запястье. Никто бы не узнал в этом прохожем командующего Меленским лагерем. Никто, за исключением бурьеновского эмиссара, который шел на некотором расстоянии за маршалом и готовил в уме об-

стоятельный доклад начальству по поводу этого загадочного маскарада. Шпик попался с самолюбием: он, как и все прочие, считал, что раз ты маршал, так уж наверняка изменник, на что он и рассчитывал, выслеживая Макдональда. Ему мерещился очередной заговор, который он с блеском разоблачит, но кому завтра донести о заговоре — вот в чем вопрос. И как устроить, чтобы ему утвердили расходы по слежке.

Жак-Этьен шагал под дождем, он совсем забыл, что нынче вербное воскресенье 1815 года, что Бонапарт в Фонтенбло. Всю жизнь прослужив в армии, он видел, как сдает свои позиции человек, видел, как ненависть и личные интересы толкают даже наиболее дельных офицеров на постоянные распри, он по собственному опыту знает цену этому соперничеству, этим мизерным интригам. Всю свою жизнь. Но ничто не могло изменить его натуру. Он служил Революции, служил честно, хотя в силу аристократического происхождения был на подозрении, служил честно, хотя считалось почему-то, что он участвовал в заговоре Дюмурье, хотя комиссары Конвента десятки раз грозились его арестовать, арестовывали, выпускали на волю... даже чин генерала, внезапно пожалованный ему в 1793 году, принес не только радость, но и уверенность, что за этим кроется какая-то ловушка... Он служил Бонапарту, был одним из участников переворота 18 брюмера, а потом на пять лет его сдали в архив... Ничего, тогда он был еще молод, кровь у него была горячая, и генеральша Леклерк помыкала им как хотела. На пять лет, не считая тех трех, что просидел он в Копенгагене посланником, это он-то, он-то! Для такой должности требовался женатый человек; вот почему он и вступил во второй брак с вдовой Жубера, той самой, что называла его игру «пиликаньем». Но даже этот брак не умилостивил императора... А потом, потом, поскольку он был на подозрении, то и решил заживо похоронить себя в Курселе. А сколько раз сам Наполеон отстранял его... Между ними всегда стояла тень Полины. Ну что же, Макдональд теперь служит Людовику XVIII, чье благоволение к маршалу насчитывает ровно пять дней. Он ни от кого не зависит. У него есть свой дом, свои земли. Он сберег субсидии, которые получал в Неаполитанском королевстве у Мюрата... Реставрация тут ничего не изменила...

Надо понять, что все это казалось ему совершенно в порядке вещей: честолюбцем он был лишь в девятнадцать лет, еще в заведении Поуле, где воображал себя этаким Ахиллесом... Но лейтенант в 1791 году, полковник в начале 1793 года и генерал летом того же года, он слишком быстро поднялся по иерархической лестнице, и юношеское честолюбие исчезло с возрастом, как дым. Он жаждал теперь спокойной жизни. Столько раз он глядел в глаза

смерти. Ему вспомнился один июньский вечер — было это в конце прошлого столетия. Часть разбитых австрийских улан засела за поворотом дороги между Болоньей и Моденой, и, прежде чем он успел их заметить, его уже выбили из седла. И вот он, раненный в голову, лежал на дороге, в горькой дорожной пыли, задыхаясь от зноя, не в силах подняться, а перепуганные кони без всадников повернули вспять и пронеслись по его телу — он тогда лишился чувств. В те времена он не боялся смерти; он только что потерял свою Мари-Констанс, свою молодость. А возвращение на родину в тряских каретах, когда каждый поворот колеса болезненно отдается в искалеченной груди! Или взять хотя бы вечер Ваграмской битвы, после того как Ло де Лористон — нынче он командует серыми мушкетерами — атаковал врага, открыв огонь из сотни орудий и его части благодаря умелому маневру смяли центр армии эрцгерцога Карла; от того вечера остался в памяти дом, еще дымящийся после наспех потушенного пожара, крышу снесло ядром, сам он лежал на полу, на охапке сена, с разбитым коленом: его лягнула лошадь,— невыносимая боль в ноге, а над головой — безоглядное июльское небо со всею щедрой россыпью своих звезд... А эта звездная, бесконечно долгая ночь, когда ему так хотелось взять в руки смычок и скрипку, чтобы забыть раненое колено! Эта ни с чем не сравнимая ночь, когда столько было передумано... и все казалось — таково уж свойство славы — возможным, легкоосуществимым, даже вопреки боли, даже вопреки сомнениям... например, излюбленная его мысль о великом всеобщем мире, о красоте Италии, античном искусстве, немецкой музыке, Неаполе, Вене, обо всем, что жило в нем неразделимо, воскресало неподалеку от тех мест, где творил Бетховен... и когда утром император, войдя в разрушенный дом, поздравил его и сказал: «Жалую вас маршалом Франции...» — слова эти прозвучали будто финальный аккорд, как разрешающая фраза долгой ночной мелодии.

Дворец был окружен громко галдевшей толпой, люди беспокойно сновали вокруг королевского поезда. С улыбнувшегося вдруг неба тихо сыпались легчайшие пылинки дождя. В непрерывной беготне офицеров чувствовалась предотъездная лихорадка, и, подойдя вплотную к окнам, можно было видеть, как в королевских покоях суетятся вокруг открытых и уже опустошенных шкафов придворные, священники, дамы, на полу валяются упакованные тюки, все укладываются, толкаются. Зрелище целой вереницы карет, поданных к крыльцу уже несколько часов тому назад, лишь усугубляло страхи парижан.

— Его величество вас ждет,— обратился к Макдональду господин д'Альбиньяк, помощник командира королевского конвоя и комендант Тюильри. Был он неестественно бледен и возбужден.

«Вот кому тоже не мешало бы поиграть немножко на скрипке»,— подумал Жак-Этьен. Он взглянул на часы: без четверти четыре.

Человек, вышедший из личных апартаментов короля, вежливо посторонился, пропуская маршала,— тот мельком взглянул на него и узнал отца Элизе, который массажировал и врачевал Людовика XVIII. «Слава богу, я пока еще не нуждаюсь в услугах иезуита с его мятными лепешечками»,— подумал Макдональд.

У короля находился неизменный господин Блакас, а также князь Ваграмский, он же Бертье, старый соратник Макдональда по 18 брюмера. Он яростно грыз ногти. Бертье еще больше располнел, постарел. Ему, должно быть, сейчас шестьдесят два, шестьдесят три года... непосильное бремя ответственности, трое малолетних детей, молодая жена и старая любовница, особняк на бульваре Капуцинок, Шамбор и земли в Гро-Буа... Увидев в его глазах испуганно-тоскливое выражение, а на лбу крупные капли пота, Макдональд вдруг почувствовал себя юным, легким, бодрым. В ушах его настойчиво звучала Гайднова фраза — все снова и снова... Как там дальше у Гайдна? И что говорит его величество?

— Нет ничего хуже для ревматизма, чем мартовская погода,— говорил Людовик XVIII,— а вы представьте себе только, каково-то будет в пути! Скажите-ка, господин маршал, если не ошибаюсь, ведь в Бовэ живет ваш зять?

* * *

Из окон Военного училища, стоявшего на самом берегу Сены, Марсово поле казалось огромной вольерой, затянутой со всех сторон частой сеткой дождя. Таким, по крайней мере, видел его Сезар де Шастеллюкс, помощник командира легкой кавалерии, возможно еще и потому, что слово «вольера» приводило ему на память детские годы, протекшие во дворце Бельвю, у теток короля Людовика XVI,— мадам Виктуар, мадам Аделаиды и мадам Софи, среди пестрого идиллического мирка попугаев, в этой теплице, словно сошедшей со страниц романов господина Сен-Пьера, заставленной пальмами и экзотическими цветами, вокруг которых порхали пестрые птички.

А здесь пестроту создавала многоцветная гамма мундиров, впрочем, преобладали белые плащи гвардейцев — на Марсовом поле скопилось более трех тысяч человек, а рядом стояли тысячи полторы коней под пурпуровыми чепраками; мозаичный ковер мундиров расцвечивали треуголки, конские хвосты, каскадом ниспадавшие с касок, медвежьи шапки, плюмажи, эполеты, лядунки,

галуны, темляки, кисти, начищенные до блеска пуговицы с королевскими лилиями, с изображенными на них солнцем и гранатами, перевязи, знамена, орденские ленты, пряжки, аксельбанты, шпаги и сабли, ружья и мушкеты... словом, вся королевская гвардия, битых два часа простоявшая «смирно» под проливным дождем, роты, похожие сверху на разноцветный газон; в глазах буквально рябило от смеси одежд и самых различных видов оружия, и не удивительно, ибо все это войско удалось собрать только случайно: людей хватали направо и налево, когда большинство уже разошлось после утренней поверки; исключение составляли подразделения, участвовавшие в учении на плацу Гренель; гвардейцы были кто в парадном мундире, кто в обычной форме, и, как всегда, беспорядок вносили спешившиеся кавалеристы, стоявшие впереди эскадронов; Сезар де Шастеллюкс, проходя мимо штаба королевских жандармов, которыми командовал его двоюродный брат Этьен де Дюрфор, приветствовал начальство, высоко подняв саблю.

По рядам королевского конвоя прошел ропот нетерпения, и от этого еще острее нахлынули воспоминания о Бельвю; как раз среди гвардейцев конвоя смешение видов одежды достигло своего апогея, и так как они преобладали, то, глядя на всю эту массу пешей гвардии, хотелось воскликнуть: «Хоть этих-то чучел не пускайте на смотр!» Рота герцога Граммона, которой командовал Тони де Рейзе, в данный момент целиком поглощенный рассказом своего зятя, барона Клуэ, о событиях в Лионе, как ни странно, сумела перещеголять все прочие части вопиющей разномастностью одеяний, хотя она справедливо считалась наиболее старой и лучше всех экипированной; однако в последнее время сюда устремились дворянские сынки, которые сочли бы для себя бесчестьем служить в ротах князя Ваграмского или герцога Рагузского, существовавших без году неделю! Синие мундиры, шитые золотом; черные треуголки, вкрапленные среди касок с бронзовыми и медными бляхами и черными или красными султанами; плащи с золотыми шнурами,— в этой пестроте трудно было разобраться, однако же Сезару показалось, что он попал на скучное семейное торжество. Тут повсюду были свойственники Шастеллюксов, Дамá, Ларошжакленов, Ноайлей, Лоржей... Смесь поколений и чинов; многие вернулись из Польши или Италии, из Англии или Австрии, где они проживали в качестве эмигрантов, но большинство — молодежь, та, что где-нибудь в медвежьих углах, в своих разоренных поместьях, среди лесов и садов, долгие годы мечтала под сенью орлиных крыл о возвращении Бурбонов. А также и те аристократические юнцы, которые служили под знаменами Узурпатора, потому что не было для них жизни, кроме службы, и другого ремес-

ла, кроме военного. И впрямь это была огромная вольера, где мокли под дождем в тревожном ожидании огненноперые птицы, а расшитые золотом, с латинскими девизами знамена хлопали по ветру, как птичьи крылья. Утверждали, что слух об измене Нея опровергнут...

— Вот видите! Я же говорил...

— Поживем — увидим! — У Тони де Рейзе все еще звучал в ушах рассказ барона Клуэ...

Сезар де Шастеллюкс наконец добрался до своей роты. В Военном училище вместе с маршалом Мармоном, чей приказ он вез, остался и его тесть, граф Шарль де Дама́, командир легкой кавалерии,— Сезар был его заместителем. Итак, вот чем все кончилось. И взор полковника обратился к высотам Шайо на том берегу Сены... «Двигаться на Сен-Дени...» В течение дня из Парижа постепенно отводили войска, одни части направляли в Вильнёв-Сен-Жорж или в Эссон, другие — на север. Но королевская гвардия... Значит ли это, что его величество не прибудет на смотр, подготовленный с таким трудом? Почему именно на Сен-Дени? Для того чтобы стоять там или идти вперед, но куда? Как намерены поступить принцы? Пока что речь шла не о том, чтобы немедленно идти на Сен-Дени,— просто требовалось подготовиться и ждать сигнала, по которому и начнется маневр на Сен-Дени... Значит, покидать Париж? Покинуть короля? Легкая кавалерия стояла вдоль Сены, позади всех, между черными и серыми мушкетерами.

Старший в роде Шастеллюксов твердил про себя: «Конец, это конец...» В его воображении вставали картины давно минувших дней: возвращение из Версаля в Париж в октябре 89 года в одной карете с королевской семьей под крики черни — ему, Сезару, шел тогда десятый год; и дети короля, с которыми до последнего часа играли сестры Сезара и сам Сезар; и изгнание, Неаполь, где он служил вплоть до прихода Мюрата... Потом возвращение во Францию, ставшую Империей, их старинное родовое поместье Тиль близ Жизора, где Жоржина как раз и познакомилась с Шарлем... Сезар натянул поводья и остановил коня. Что это такое происходит? Похоже, что мушкетеры и легкая кавалерия строятся к походному маршу. Если говорить откровенно, то в этом браке повинен он, Сезар, полковник тридцати пяти лет, отказавшийся служить Узурпатору. Ведь это он уговорил родных. Разве не он сломил упорство отца, который никак не мог решиться на разлуку с младшей дочкой и выдвигал одно препятствие за другим? Но сам-то Сезар действовал так лишь потому, что догадался о любви своей сестры к Шарлю Лабедуайеру, подметив в глазах ее влюбленный блеск, и хотел только одного — счастья Жоржины. А возможно, и он сам был покорен Шарлем, как и все, поддался его

очарованию... Жоржина... бедная сестренка... Ну конечно, его рота уже двинулась. Он пришпорил коня и что-то крикнул шевалье де Ламаршэ, который, по-видимому, тоже решил двинуться вместе со всеми, но тот в ответ только отрицательно помахал рукой. Командир роты граф де Люссак обернулся и подъехал к де Шастеллюксу. Как? Вы покидаете Марсово поле? Не они одни — дан общий приказ. Но ведь он, полковник де Шастеллюкс, привез приказ маршала Мармона: приготовиться к отправке в Сен-Дени, а приготовиться — это значит ждать приказа.

— Но приказ получен.

— Да где же он? От кого? Кто командует последние три дня гвардией, маршал или нет, я вас спрашиваю?

— Откуда пришел приказ — неизвестно, но приказ пришел. Возможно, прямо из дворца. От графа д'Альбиньяк, помощника командира королевского конвоя, коменданта Тюильри... или же от графа Мезона, под чьим началом состоит первый военный округ, другими словами, город Париж и его окрестности. Или от королевского секретаря господина Блакас-д'Оп, а следовательно от самого короля... или же от герцога Беррийского, который руководит операциями по обороне столицы... если только не от маршала Макдональда, заместителя герцога Беррийского, а может быть, от герцога Фельтрского.

— Кларк не имеет права давать приказы по армии! Этого еще только недоставало! С каких это пор войска передвигаются по повелению военного министра?

Но движение охватило уже все Марсово поле, останавливать войска было поздно. А потом, может быть, приказ передали через его светлость принца Конде, ведь он обер-гофмейстер... или через его высочество герцога Бурбонского. Сезар нетерпеливо передернул плечами. Во-первых, герцог Бурбонский уехал в Вандею. А во-вторых, если командуют все вместе, значит, никто не командует. Что ж, тем хуже! Он подъехал к графу де Люссак и встал во главе колонны.

Сейчас вся вольера устремилась в одном направлении, словно попугайчики, которые спешат к руке, крошащей булку. Кавалеристы разворачивали коней, бил барабан, ветер крутил знамена, пехтура,— язык не поворачивается назвать ее пехотой,— строилась с покорностью школяров.

Сезар де Шастеллюкс твердил: «Конец, конец...» И снова ему увиделось залитое слезами личико сестры, и снова он упрекнул себя за эти слезы: разве не он устроил ее брак вопреки родительской воле, разве не он в прошлом году уговорил Шарля де Лабедуайер, находившегося в отставке, вступить в армию и по протекции герцога Орлеанского, которому поручился Роже де Дама́,

муж Полины, Шарлю дали под командование 7-й линейный полк. Дядя Лорж молол вчера по этому поводу просто чепуху. Сезар отогнал от себя назойливую мысль, но дело от этого не менялось: не введи он Шарля в королевскую армию, его зять в Гренобле не перешел бы со своими людьми на сторону Бонапарта... Сезар подумал о своих родных и близких, погибших под ножом гильотины, о тех, кто сложил голову в Вандее... А ведь он сам вместе с братом уговорил Шарля идти служить королю. Предатель в семействе Шастеллюксов! Стыдно бояться слов. А Сезар панически боялся слов. Он не мог взять в толк, как это Лабедуайер, свойственник Шастеллюксов, мог удалиться от дел, когда возвращается законный государь. Тогда во главе конногвардейцев Сезар выехал навстречу графу Артуа, под командованием которого он состоял, как сегодня состоит под командованием своего тестя, графа Дамá. Он сопровождал его к мессе в собор Парижской богоматери... И все, что кипело у него на сердце против зятя, было бессильно даже сегодня убить ту любовь, которую он к нему питал. Разве можно было сомневаться, что Жоржина любила Шарля де Лабедуайер? Так он был хорош собой, так отважен, так победителен; да, он служил офицером при Империи, но он об этом так славно говорил: «Я сражаюсь не за императора, а за Францию...» А сам, и трех недель не прослужив королю, перешел со своим полком на сторону Узурпатора... И это в нашем семействе! Самое ужасное для него, для Сезара де Шастеллюкс, что даже отвращение к предательству не могло заставить его возненавидеть зятя. Накануне он зашел к Жоржине, которая безвыходно, не отпирая ставень, сидела в своей спальне на улице Бак... вся в черном, переходя от слез к молитве и от молитвы к слезам... с ужасом глядя на свое дитя, прижитое от Шарля... но Зефирина тихонько увела Сезара прочь.

Войска производили маневр почти механически. Эти неопытные юнцы, должно быть, с молоком матери всосали умение держать строй, и только поэтому роты не сбились в кашу. Следовало признать, что рота князя Ваграмского, только накануне вернувшаяся из Мо, прошла на прекрасном аллюре... Сезар видел все это как сквозь туман. Шарль! Шарль!.. «Стой!» Пришлось пропустить вперед гренадеров.

В эту минуту вдоль набережной прокатился гул: послали вестового посмотреть, что происходит. Движение королевской гвардии прекратилось само собой, войска отхлынули. Что случилось? Приказы офицеров не имели никакого действия. Дождь полил с новой силой. Лошадиные крупы налезали на гренадеров. Кто-то отмахивался от них саблей. В мгновение ока весь великолепный порядок нарушился. Никто уже не знал, что делать, всадники на-

езжали на пехоту, раздались крики, через две-три секунды образовался затор. А посреди с проклятьем прокладывала себе дорогу группа штабных: Мармон и рядом с ним полковник Фавье, ехавший из Военного училища со стороны Сены.

— Вы-то хоть знаете, полковник, что происходит? — крикнул маршал Мармон Шастеллюксу. Но ответа слушать не стал.

Его рота вступила на мост, и авангард уже поравнялся с началом Вдовьей аллеи. Гренадеры, узнав маршала, расступились, и Шастеллюкс следил за ним взором, пока тот не достиг противоположного берега реки.

Вдруг раздался рокот голосов... Что это они говорят? Король... король... Как король? Шастеллюкс махнул рукой графу де Люссак, и они вместе обогнали гренадеров, которые, пропустив Мармона, снова смыкали ряды. Что они говорят о короле? И вдруг оба поняли. Выбравшись на набережную, они увидели проезжавшую мимо карету: карета, запряженная шестеркой лошадей, приближалась по Орсейской набережной; и все узнавали ее с первого взгляда, равно как и примелькавшийся силуэт главного форейтора, скакавшего впереди... На глазах войск, двигавшихся походным маршем, среди полного смятения придворных, карета на рысях катила от Тюильри, и в окошко ее можно было разглядеть крупную голову и седые волосы его величества. Людовик XVIII крикнул что-то форейтору, карета, не замедляя хода, развернулась в самой гуще роты герцога Рагузского, которая не без труда пыталась посторониться, и устремилась на мост вслед за Мармоном. По обыкновению, ни на кого не обращая внимания, пусть, мол, сами сторонятся!

Что же сейчас делать? Продолжать маневр, прекратить его? Ведь был дан приказ идти на Сен-Дени... Покидал ли король свою столицу? Была уже ночь. Карета достигла Вдовьей аллеи. Гвардейцы конвоя, успевшие сгрудиться в аллее, взяли на караул. Маршал приблизился, салютуя королю. И издали было видно, как король что-то крикнул ему в окно кареты. Тотчас же полковник Фавье поскакал обратно к мосту.

Он привез отмену приказа:

— В Сен-Дени не идти. Король возвращается в Лувр, а мы — в казармы.

— А как же смотр?

— Какой еще смотр, кто вам о смотре говорил?

Это уж было чересчур. Сезар попросил у тестя увольнения; не может же Зефирина все время сидеть одна с бедняжкой Жоржиной, тем паче что та не перестает рыдать.

— Что ж,— ответил Шарль де Дама́,— отправляйтесь к вашей супруге, полковник! Поцелуй ее от меня... и Жоржину тоже.

И все-таки граф де Дама́ — прекрасный наездник, какая посадка! И подумать только, что он на три или даже четыре года старше Людовика XVIII... До чего же любит его величество пронестись в карете на рысях; видно, быстрой ездой хочет возместить свои немощи! Сезару говорили, что отец Элизе внушил королю, будто быстрая езда в карете оживляет организм.

III

ПАЛЕ-РОЙЯЛЬ ПРИ ВЕЧЕРНЕМ ОСВЕЩЕНИИ

Этим вечером Теодор ничему больше не верит.

В окна Тюильри он видит, как хлопочут, суетятся слуги, готовясь к празднеству. Сегодня во дворце прием — на вечер зван посланник его католического величества его святейшество де Пералада,— карета испанского посла уже стоит во дворе, по королевским апартаментам разгуливают очаровательные дамы, офицеры и вельможи; все смеются, перебрасываются словами, громко разговаривают. В полосах света, падающего из окон, движутся всадники, чуть не задевая друг друга. Уже спустилась ночь, и разномастный люд воровски жмется к дворцу поглазеть на празднество, насколько позволяют огромные оконные проемы.

Дворец охраняется Национальной гвардией; королевские гвардейцы, прикомандированные к Павильону Флоры, оставили своих коней под арками Лувра. Дождь все льет и льет, но зеваки, не замечая его, окружают дворец, словно слетаются на падаль мухи. К семи часам, когда кому-то пришла в голову счастливая мысль отослать кареты, волнение толпы немного улеглось. Все равно до девяти часов ничего нового не произойдет; на страже остается небольшой отряд мушкетеров и конвоя, а все прочие могут при желании пойти закусить в соседние ресторации. «Только, смотрите, ни в коем случае не удаляйтесь от дворца,— ведь мы тоже выступаем нынче вечером».

Тем самым вечером, когда Теодор уже ни во что больше не верит. Приглашение испанского посольства на ужин во дворец наделало много шуму. Видно, празднество затеяли именно с целью сказать народу: вы же сами теперь видите — все идет своим обычным порядком, разве может такое зрелище предшествовать бегству? Но где же король? Где принцы? Прибыли министры, правда, они не принимают участия в банкете, а спешно подымаются по лестнице: это Жокур, Бурьен, аббат де Монтескью.

Хотя еще совсем недавно баулы и чемоданы выносили из дворца и грузили в экипажи, все по-прежнему утверждают, что король до сих пор не принял окончательного решения. Вообще много чего

говорят. Болтают все кому не лень. Царит лихорадочная атмосфера, и голоса звучат слишком громко, как бы для того, чтобы заглушить фальшь интонации. Теперь, к вечеру, утренняя статья Бенжамена Констана успела безнадежно устареть, и при упоминании о ней люди досадливо пожимают плечами.

Где сейчас решается судьба страны? Там, на дорогах, где солдаты срывают белые кокарды и переходят на сторону корсиканца? Говорят, что гарнизон Вильжюива с криками: «Да здравствует император!» — прогнал своих офицеров. И будто чей-то авангард уже на Шарантонском мосту, который удерживают студенты Школы правоведения. Или, может быть, судьбы Франции решаются в Вене, где Талейран ведет большую игру с европейскими посланниками? Уже давно в кулуарах дворца открыто говорят, что нельзя рассчитывать ни на французский народ, ни на армию, которая охвачена бунтами; единственное спасение — это иностранная интервенция. Чего в самом деле ждут, почему не зовут на подмогу пруссаков и русских? Вот увидите, как полетит вверх тормашками Людоед, когда к Парижу подойдут три-четыре австрийские дивизии!

Теодор не верит более ничему и никому.

Он явился сюда как солдат, принесший присягу защищать королевский дом, не потому, чтобы королевский дом был ему так уж дорог, но потому, что он повинуется чувству долга, элементарному представлению о долге. А кроме того, Наполеон, Наполеон — это синоним поражения, это тот, кто завел французскую армию в русские снега, это тот, кто затеял коварную и грязную войну в Испании. Это Наполеон требовал, чтобы художник Гро убирал со своих картин фигуры тех генералов, успехам и популярности которых он завидовал, а в центре помещал его самого. Теодор относился к Гро с великим уважением, возможно, любил его больше всех современных французских художников. И подумать только, что какой-нибудь барон Денон мог приказывать от имени императора художнику такого таланта, такого размаха, создателю крупных композиций... А какие у Гро эскизы к «Чумным в Яффе»! Но разве этого могло быть достаточно для прославления человека, который в момент коронации велел возить по всему Парижу на колеснице свою статую огромных размеров, изображавшую императора обнаженным и увенчанным лаврами. Ибо императору требовалась не только воепная слава, но и слава, даруемая совершенством мышц, красотою телосложения,— это ему-то, низкорослому желтолицему человечку, разжиревшему, обрюзгшему за годы власти, отрастившему себе брюшко... И повсюду его инициалы, огромное «Н», точно он желал припечатать своим именем и статуи, и людей, и самую историю. Человек, имя которого означало войну. Рассказывают, что Дюрок, один из наиболее преданных ему командиров, в утро своей

смерти произнес пророчески безнадежные слова: «Он убьет всех нас... ни один из нас не вернется...» А Жюно, произведенный Наполеоном в маршалы и сошедший впоследствии с ума,— разве не написал он в 1813 году, в минуту просветления: «Я, я боготворил Вас, как дикарь обожествляет солнце, но я не желаю больше! Не хочу этой вечной войны, которую надо вести ради Вас, не хочу!» Это рассказал Теодору его друг д'Обиньи, со слов юного Реньо де Сен-Жан-д'Анжели. В особняке на улице Прованс, где проживала мать Реньо, на сей счет были весьма и весьма осведомлены: маркиз де Белленкур, бывший тогда любовником госпожи Жюно, рассказывал об этом с почти непристойной откровенностью, видимо, желая отличиться перед хозяйкой дома.

Да, но сейчас, в эти дни, тот самый Бонапарт, которого запечатлела кисть Гро, Жерара, Давида... сейчас он был тем человеком, который по дорогам Франции с горсткой людей рвался к Парижу, встречаемый неожиданно для всех ликованием народа. Так и вижу эти привалы в горных тавернах, деревушки, города, куда он входит вечером при свете факелов. Сейчас ему пятьдесят или около того, и, как обычно, на нем серый расстегнутый сюртук, сапоги, белые лосины... А люди, забыв все, помнят лишь знамена, императорских орлов, солнце Аустерлица, и они радостно встречают этого человека, который идет почти один, ибо видят в нем как бы живое отрицание всего, что обрушилось на них в 1814 году вместе со знатью, вернувшейся из изгнания, с владельцами замков, которые вновь вынырнули из мрака и предаются охотничьим забавам,— чудовищный паразитизм в пудреных буклях, дурацкий реванш и целые потоки унижения. Они забыли процветавшее при императоре разнузданное лихоимство, раздаваемые щедрой рукой дары, привилегии, пенсии. И Теодор широко открывает глаза свои и видит происки и ложь, обманутые иллюзии, слышит мерный топот вновь собираемой армии и стук молотка, забивающего крышки все новых и новых гробов, жадно ждущих, зияющих. Но предпочесть Наполеону Людовика XVIII! Однако именно эта альтернатива и стоит перед ним. Неужели третий претендент? Или республика?

Для него истина лишь в одном — в бешеной скачке, когда человек целиком расходует себя, доводит себя до изнеможения; конь — вот он стоит в темном деннике конюшни, он светлым пятном выделяется на фоне окружающего полумрака, он переступает с ноги на ногу, ржет, закусывает удила, бьет копытом о дощатый пол! Никогда Теодору колорит не казался достаточно темным, ибо жизнь подобна застигнутому врасплох преступлению, и это он мечтает воплотить. Между тем *другим,* что идет форсированным маршем и что положительно свел с ума как неимущих, так и пере-

бежчиков маршалов, сохранивших свои расшитые золотом мундиры только по милости короля,— и этим королем со своим герцогом Блакасом, со своими придворными священниками, своими баррасами в качестве советников,— да, да, советников, ибо в Париже ходят слухи, что в последние дни Людовик XVIII призвал Барраса,—между теми и другими Жерико подобен художнику между двух картин; ему же хочется только одного: бросить наземь кисти, ибо ничто не способно вдохновить его, и к горлу подступает горечь. Значит, так ему и суждено остаться одним из тех молодых людей его поколения, чей пыл поглотила катастрофа, постигшая Империю, значит, он сам и есть тот сраженный кирасир на смертельно раненном коне, которого он написал... А теперь вот эта трагикомедия, где одна камарилья выгоняет другую, где в великолепных парижских особняках меняются жильцы и придется вновь присутствовать при раздаче местечек,— нет уж, увольте от этого суматошного зрелища, которое не подчинишь никакой разумной организующей идее! Теодор не станет писать завтра возвращение с Эльбы, где все должно выстраиваться сообразно с театральным жестом императора, не будет писать ни его, ни всей той гнили, что еще цепляется за Тюильри. О, какой свинцово-мрачный взгляд обращает нынче вечером к будущему юный Жерико, какую необъятную, ничем не заполняемую пустоту ощущает он в сердце, какими бесполезными кажутся эти руки!

Глубокое раздумье завело его на улицу Монпансье, где слева внизу светятся огни кофеен, а справа возвышаются громады Пале-Ройяля. Здесь средоточие всепожирающих страстей, политики, политических противников, пристукивающих кулаком по столу среди шпиков и девок. Теодор, он один. Он не вынес общества своих товарищей по роте, вот он и забрел сюда, есть ему не хочется, но выпить он не прочь. Мрачно-черное, под стать его мыслям, кафе. Как раз то самое «Кафе де Фуа», где Орас Вернэ ребенком нарисовал на потолке птичку, которую и сейчас еще можно рассмотреть. Ему было всего семь лет. Жерико хочется присесть в уголке кафе, задрать голову и грезить, глядя на птичку. Но завсегдатаи этого кафе — республиканцы и офицеры на половинном содержании; появиться там в мушкетерском мундире неблагоразумно. Жерико останавливается в нерешительности, потом машет рукой — чем хуже, тем лучше! Он презирал бы себя за этот минутный страх. Что это за жизнь, которая зависит от того, вошел ты в это кафе или в соседнее? Он вспоминает юношу, растерзанного толпой в саду Тюильри. И одного из своих приятелей мушкетеров, убитого каким-то полковником Империи: мушкетера нашли за Пале-Ройялем, распростертого на земле, бездыханного... А этот жест, которым убийца обтер со шпаги кровь носовым платком! Вот это, по-

жалуй, годилось бы для картины, если бы только найти хорошую модель. Поверьте мне, картина лишь выигрывает от темного колорита.

Кстати, о моделях... если бы кому-то не пришла в голову дурацкая мысль отправить в Бетюн полк Робера Дьедонне, он мог бы оказаться здесь, в этом самом кафе, дверь которого приоткрыл Теодор... в этом кафе или еще в каком-нибудь, куда с января повадился ходить Жерико со своими приятелями мушкетерами, возможно тогда бы именно Робер подвергся оскорблениям... или, может быть, поднялся бы из-за стола...

Кафе, где гуляют клубы дыма, полно народу, люди стоят между столиками, девицы кокетливо спускают с голого плеча шаль, но здесь собрались не обычные завсегдатаи; посетители не разбились на отдельные группки,— наоборот: всех их объединяет шумная тревога, каждый говорит не совсем то, что думает, трехцветные кокарды и букетики фиалок, воткнутые в петлицу,— все это дышит явным, почти наглым вызовом. Мундир Теодора сразу же произвел свое действие, какие-то громилы подталкивают друг друга локтем, и вокруг сыплются — несомненно, в его адрес — преувеличенно громкие и малолестные замечания. Теодор присел за маленький столик, из-за которого только что встал, расплатившись по счету, старичок с двумя местными девицами. Теодор решил не обращать внимания на вызывающее поведение публики. Вытащил длинную трубку, спокойно закурил. За соседним столиком сидел, тоже в одиночестве, молодой человек в коричневом фраке с черным воротником и в очках, он что-то строчил, покрывая мелким убористым почерком листки бумаги, затем откладывал их в сторону.

Однако в голове у Теодора... Как сделать выбор? Кого выбрать? Человека, ради которого приходится вести непрерывные войны, или того, кто надеется продержаться на троне лишь с помощью иностранных штыков? Впрочем, вопрос этот для Теодора формулируется не совсем так: он колеблется в выборе между Марк-Антуаном д'Обиньи и Робером Дьедонне. Голова или торс... эта мысль никогда не приходит к логическому своему завершению. А кругом угрожающие взгляды, с вызовом впивающиеся в него глаза, пропитанное алкоголем дыхание юнцов... Ничего не знает сегодняшним вечером Теодор: будет ли он сопровождать улепетывающего из столицы короля или немедленно сцепится вот с тем юношей, который мерит взглядом мушкетера, не стесняясь, вслух высказывает свои соображения по поводу «красных мундиров». В нем неудержимо нарастает желание вступить в драку, он чувствует, что ноги у него крепкие, не подведут, он расправляет плечи, напружинивает мускулы рук,— еще минута, и он бросится на

обидчика. Впрочем, почему бы и не подраться? Лучше уж сразу покончить все расчеты с этим миром на здешних улочках по примеру того дурачка, который прожил бы такую посредственную жизнь, а принял минувшей ночью вполне пристойную смерть... Где же все-таки он видел своего соседа, этого мальчика лет двадцати, строчившего что-то с таким восторженно старательным видом?

Но вдруг кто-то присел за его столик. Старик с седой бородой и всклокоченной гривой, в старом разодранном каррике,— этакий величественный нищий; великолепно гордым жестом он остановил молодых людей, двинувшихся было к мушкетеру.

— Не узнаешь? — спрашивает старик.— Выпить здорово охота. Угости, а?

Это Кадамур, натурщик. Им подают пиво. Сколько же ему лет? Сколько бы ни было,— в обнаженном виде он может не бояться сравнения с Наполеоном. Впрочем, и он тоже участвовал во всех боях, запечатленных на полотне, во всех сценах из греческой жизни, созданных школой Давида. Он позировал для Жироде и для Прюдона. Несколько поколений художников корпели, воспроизводя его дельтовидные мышцы. Он был среди трупов на кладбище под Эйлау, равно как и при Фермопилах, которые втайне ото всех писал Давид. Всю жизнь он торговал своей физической красотой,— и, надо сказать, на ней не разжился.

— А ну-ка, дайте мне побеседовать с этим господином,— скомандовал он, обращаясь к наседавшим юнцам,— он художник, а в плюмажах он или нет...

Здесь Кадамура знали. Он был республиканец и однажды приходил сюда с Дюпле Деревянной Ногой, племянником столяра, у которого жил Робеспьер, а этого было достаточно для всех и в том числе для самого Кадамура. Ибо никто не знал, что Деревянная Нога служит в полиции. Конечно, в полиции, руководимой Фуше. Но все-таки в полиции. Он доносил на рабочие объединения. Зато все видели его деревяшку, заработанную под Вальми. Показываться в квартале Пале-Ройяля с патриотом, раненным под Вальми,— это уже своего рода рекомендация. Итак, Теодора и Кадамура оставляют в покое. Кстати, какая-то девица, взгромоздившись на стол, запевает: «Уезжая в Сирию...» — песню, которую сочинила королева Гортензия, вы только подумайте!

— Я,— говорит Кадамур,— я вовсе не за Бонапарта, он приказал стрелять в народ из пушек с паперти собора святого Рока.

Но это больше так, для красного словца, для затравки. Все мысли Кадамура нынешним вечером вертятся вокруг искусства, не говоря уже о том, что и табак у него кончился. Такова жизнь!

Громко произнесенное имя Бонапарта заставило молодого человека, сидевшего по соседству, поднять глаза, укрытые за стекла-

ми очков,— он даже бросил писать. Кадамур заметил это, наморщил нос и сразу переменил тон:

— Видите ли, господин Жерико...

Он обращался к Жерико то на «вы», то на «ты», с непостижимой быстротой заменяя одно местоимение другим.

— За то что вы нацепили красный мундир, я лично вас упрекать не стану. Та ли на тебе мишура, другая — один черт. Но вот чего я никак в толк не возьму, почему ты бросил живопись, малыш, до чего же это глупо, да и не хорошо...

Сведения эти он почерпнул у Дедрё-Дорси, которому позировал для статуи Эпаминонда. Вселенная в представлении старика Кадамура замыкалась мирком живописцев и скульпторов. Все прочее вращалось вокруг него. Революция, войны... Кто знает, уж не потому ли он ополчился против Реставрации, что сейчас в моду вошли картины из жизни Генриха IV и вытеснили голую натуру, а он, Кадамур, никак не годился для роли ловеласов, да и кому он был нужен в качестве одетой модели? Эти соображения сами собой срывались с его языка вперемежку с не идущими к делу замечаниями, и при этом глаза его смотрели мечтательно и наивно, а сколько еще мыслей теснилось в голове старого натурщика — только выразить их словами он не умел.

— Видишь ли, сынок,— говорил он,— я, слава те господи, немало потаскался на своем веку по мастерским... то у одного позируешь, то у другого, а люди смотрят на тебя отчасти как на собаку или, скажем, как на кошку... стой и не шевелись, замри в красивой позе, устреми взор в пространство, а больше они о тебе ничего знать не желают... ведь меня они зовут потому, что бедра стройны, а не ради того, что́ у меня в башке есть... эти господа распускают при мне язык без всякого стеснения, ну, словно перед ними шкаф какой. Наслушался я всякого. Так вот, если не говорить о разных подвохах, я-то, поверь, знаю, когда они кого-нибудь ценят. Не жди, чтобы они об этом на всех углах кричали! Конкуренция не позволяет, заказы.

К чему он клонит? Клубы табачного дыма примешивались к густому пивному духу, окутывали посетителей, сидевших чуть ли не на головах друг у друга. Теодору невольно вспомнилось прошлое: мастерская Герена, неудачи, унизительные замечания, все то, от чего хотелось умереть, вскочить на своего коня, пустить его бешеным галопом к заставе Мучеников, по внешним бульварам, огибая Монмартр, туда, за город, умчаться на простор, в Сен-Дени или Монморанси... Бог мой, как колотилось у него сердце после безумной скачки! Казалось, вот-вот разорвется грудная клетка. Но зато он забывал кислые взоры товарищей, их шепот за спиной, презрительные советы метра.

— Чего вы не знаете, господин Жерико, это того, что они за твоей спиной говорили... Неужто не понимаешь, что ты им как бельмо на глазу? Ведь твои штуковины ни на что не похожи. А главное — ни на кого. Вот в чем твоя вина... вот что их всех гложет. Уж поверь мне, я сорок лет без малого слушаю их стрекотню. С молодых ногтей. И понимаю, что значит, когда они таким особенным голоском говорят, чтобы ты их не понял. А ты-то воображаешь, что они осуждают тебя, презирают. Дурак вы, господин Жерико,— восхищаются они вами, вот что. Только у них уж такая манера восхищаться, ничего не поделаешь.

Этим вечером Теодор не верит ни во что и никому. И не Кадамуру дано поднять его дух! Нынче вечером... да разве о живописи идет речь нынче вечером, когда в Павильоне Флоры рвутся нити, рвется сама основа истории, когда во мраке звучит нестройный хор голосов всеми забытого народа, признавшего вновь — и, казалось, навсегда — белый стяг с королевскими лилиями. Но этот народ сейчас под дождем, заливающим улицы, где царит непонятное глухое волнение, вдруг затягивает песни. Этим вечером, когда закрывается Салон и снимают со стены «Офицера конных егерей», чей торс списан с королевского гренадера, а голова — с республиканца.

О чем это бишь говорит Кадамур? Обо всем разом. Он издавна питает к господину Давиду слабость. Если он в чем и мог бы упрекнуть Теодора, то лишь в том, что его живопись выдвигают в качестве так сказать боевого коня против живописи Давида.

— Я был в Салоне тысяча восемьсот двенадцатого года; когда он туда явился,— как встал против вашей махины, так и стоит, а кругом целая толпа: там и господин Дроллинг, и господин Жерар, и господин Шинар, целая куча, словом... Слышали бы вы, как он сказал: «Что же это такое, а?» Я-то знаю, что это такое, когда от какой-нибудь штуковины у человека прямо-таки глотку перехватывает... в животе отдает... Он пришел, идет себе спокойно от картины к картине, посмотрит на одну и уже знает, что́ на следующей, и вдруг, поди ж ты: какой-то парень, и откуда он взялся — неизвестно, и все разом вверх ногами переворачивает... мимо такой картины так просто не пройдешь... не пожмешь плечами. Ему сообщили твое имя, да, видно, ничего оно ему не сказало. Он приблизился, чтобы получше фактуру разглядеть. Потом отступил и говорит: «Странное дело, но это не похоже ни на что, с чем я до сих пор встречался!» Только там напротив висело полотно Гро, ну, его и подвели туда под локоток... Прекрасное полотно, а он, знаешь ли, этак рассеянно на него поглядел... Помнишь ту картину — неаполитанский король на коне, а?

Боже правый! Что-то они там, в Тюильри, порешат? Когда испанский посол удалится к себе, когда потухнет в окнах свет и

рассеются запахи жаркого... И по такой погоде, при таком дожде и ветре, от порывов которого щелкает, как бич, белый флаг на Павильоне Часов. Собачья погода. А завтра-послезавтра весна.

Рослая чернокудрая девушка, видимо, из обычных посетительниц заведения, сидевшая через несколько столиков от них, вдруг замахала рукой, приглашая к себе Кадамура, у запястья ее громко звякнули браслеты. Натурщик ответил ей легким наклонением своей великолепной головы, потом обернулся к собеседнику.

— Уж вы меня простите, господин Жерико... тут меня одна особа зовет...

— Что ж, Кадамур, полагаю...— с улыбкой отозвался Жерико.— Ничего не скажешь, красавица... не стесняйтесь...

— Да что ты, что ты! Вот с мамашей ее не отрицаю,— было дело лет двадцать с лишним тому назад, когда вы еще с меня благородных отцов не писали... Может, и впрямь, Зели — моя дочь... так или иначе, мне это на пользу идет, то есть, что не все тут ясно. Например, есть вот у нее лишний гостинец...

Когда натурщик отошел прочь, Теодор случайно поймал на себе взгляд юноши за соседним столиком. Это и в самом деле был совсем молодой человек, и его манера пялить на людей глаза весьма не понравилась королевскому мушкетеру. Он только что собрался пройтись насчет назойливости некоторых господ, как юноша вдруг тихонько поднялся со стула, отодвинул свои бумаги, покрытые неразборчивыми закорючками, похожими скорее на следы мушиных лапок, снял очки, положил их на стол и, вежливо подняв плечи, произнес:

— Вы меня не узнаете, господин Жерико?

— Нет, признаться нет.

Впрочем, кажется, их действительно как-то представил друг другу Жамар.

— Помните, в прошлом году сразу после... после...

Он, видимо, хотел сказать «сразу после возвращения короля в Париж», но застеснялся, точно речь шла о прямой непристойности, и замолк. Господин Жерико не припоминает? Было это в Монморанси в прошлом году, когда цвел боярышник. Их было трое молодых людей. Трое ровесников, окончивших один и тот же лицей в Блуа: Жамар, Франсуа Тушар (его отец, как известно, управляющий Почт) и он, Тьерри. В гостинице «Старый олень», у госпожи Дюток...

Да, Теодор вспомнил, как радостно встретил его Жамар, когда он неожиданно для всех подскакал на взмыленном, тяжело дышащем Трике к гостинице и вошел в зал, где молодые люди лакомились слоеными пирожками. И разговор о политике, в который юноши старались втянуть Теодора. Но он отказался обсуждать такие

темы... Так что Жамару не повезло... Вся троица, как ему показалось, склонялась к республиканским идеям. Возможно, с кое-какими нюансами...

— Как же, как же, вспомнил! — воскликнул Теодор.— Так это вы — ученик Сен-Симона! Жамар давал мне читать ваше краткое эссе о переустройстве европейского общества; вы видите, если не ошибаюсь, в сближении Франции с Англией единственное средство избежать у нас второй революции! Весьма интересные мысли, но не кажется ли вам, что нынче вечером они, пожалуй, несколько устарели?

Юноша вспыхнул. Если его учитель Сен-Симон,— пояснил Тьерри,— обращался в 1813 году к императору с просьбой произвести необходимые для прогресса рода человеческого реформы, то в октябре 1814 года он уже боролся, он писал, милостиво привлекши к работе своего ученика, но не для того чтобы выбирать между Бонапартом и Бурбонами... И если бы Людовик XVIII внял голосу разума... Было это неделю назад, но нынче вечером, бесспорно, нынче вечером уже неизвестно, к кому придется обращаться завтра, кого просить перестраивать Европу... Ведь самое главное — это институты, а не та или иная форма правления, разве не так?

— Вы только послушайте,— добавил он с тем же пылом, какой вкладывал до того в свое писание,— послушайте этих горлопанов,— все они, все без изъятия, предались Маленькому Капралу! А я пари готов держать, что добрая половина их — искренние республиканцы. Неужели они не знают, что их кумир презирает республику? Ведь он, подражая королям, превращал выскочек в аристократов, вступил в союз с австрийским императором... в то время как англичане... сами видите, у англичан король больший республиканец, нежели Кромвель, и живут они вот уже два века с хартией, которой можно только позавидовать...

— Я в этом ничего не понимаю,— прервал его Теодор.— Вы, господин Тьерри, валите все в одну кучу, а вопросы, которые волнуют меня лично, весьма несложны. Самое главное для меня — знать, перенесет ли мой конь сегодняшний ночной марш или нет.

Молодой человек стал нервически собирать бумаги. Отповедь господина Жерико была вдвойне тяжела для Тьерри: ведь от Жамара он знал, что такой тон не в привычках художника. Он славился уважительным вниманием к собеседнику и исключительной сдержанностью в разговорах. Очевидно, этим вечером произошло нечто, нарушившее его обычное равновесие. Огюстен схватил свои очки и стал укладывать их в футляр шагреневой кожи, обдумывая, как загладить свой поступок, который можно было счесть прямой нетактичностью с его стороны: вдруг взял и ни с того ни с сего пре-

рвал своей болтовней раздумье соседа, желавшего побыть в одиночестве.

— Бог мой, я отнюдь не хотел вас рассердить, господин Жерико, или досаждать вам своими политическими взглядами... но я заслуживаю извинения: я писал и весь еще был во власти своих мыслей, ничего не поделаешь, такой уж я тяжелодум...

Теодор невольно улыбнулся, глядя на растерянную физиономию говорившего.

— Да бросьте вы,— сказал он,— сегодня я, очевидно, не совсем владею собой, и мне огорчительна даже мысль, что у вас могло создаться впечатление...

К счастью, молодых людей не приходится долго подбадривать, и Огюстен уже глядел на Теодора взором пылкого восхищения. Да и кто бы, впрочем, мог устоять против любезности Жерико, под обаяние которого подпадали все окружающие.

— И все-таки я настоящий тяжелодум... ведь я вам совсем другое хотел сказать... Вот сейчас... извините меня великодушно... я ничего не мог с собой поделать... я услышал... словом, слышал ваш разговор с этим... этим господином: верно, что вы оставили живопись?

Теодор внимательнее пригляделся к своему собеседнику: молоденький, почти мальчик, шатен, ростом невысок, полноват для своих лет, совсем некрасивый, еще нет и двадцати, черты лица уже огрубели, и в этом, должно быть, сказывается крестьянское происхождение, волнистая прядь волос падает на левый висок, он то и дело щурится, очевидно, привычка эта связана с преждевременным ношением очков для чтения, а глаза светло-карие. Что это Жамар о нем рассказывал? Кажется, что-то насчет танцовщицы из Оперы... впрочем, нет, про танцовщицу он говорил в связи с сыном управляющего Почт, с тем смазливеньким мальчиком...

— Вы интересовались моей живописью?

Вполне возможно, что как раз Жамар и заразил этого мальчугана своими восторгами. Юный Огюстен разгорячился и теперь говорил не останавливаясь. Говорил не так, как критик искусства, и не так, как любитель, пусть даже самый просвещенный. Понимал ли он сам, что говорит? Все преображалось у него в мозгу, как то бывает во сне, словно ему только приснились картины Теодора: «Офицер эскорта» 1812 года, «Раненый кирасир» 1814 года...

— Мне было семнадцать лет, сударь, понимаете, всего семнадцать, когда я впервые увидел вашего «Егеря». Я еще учился в Высшей нормальной школе. Нам так хотелось верить тогда, верить любому. Император был в Москве, из Испании шли мрачные вести. Но как знать? Ведь все еще могло образоваться... Ах, если бы Наполеон, разгромив царскую империю, отдал землю крестьянам,

уничтожил рабство! Ужаснее всего получилось с испанцами... они приезжали в Париж — и чего только не рассказывали! Какая ненависть к Франции! Неужели мы делали революцию для того, чтобы возбуждать ненависть других народов? Или для того, чтобы Жюно мог пускать пыль в глаза жителям Лиссабона, а Мармон... Но возможно, все это только казалось таким, и противоречие было лишь кажущимся... Ведь в конечном счете наши армии несли с собой идеи прогресса. Но вот что вызывало в нас самые горшие сомнения — это придворная жизнь, все эти празднества и парады, эти ненасытные господа и дамы! А сама эпопея... о, конечно же, официальная живопись была не в состоянии дать пищу нашей беспокойной юности с ее сомнениями и бунтами, с солдатскими нашивками в перспективе. Когда я увидел вашего «Егеря» — просто человека, а не некоего декоративного героя, просто человека в бою, не позирующего перед художником, и опрокинутую пушку на первом плане, и блеклый пороховой дымок вокруг, а главное коня, коня! Где, черт побери, вы разыскали такого коня?

— В Сен-Клу,— ответил Жерико.

— В Сен-Клу?

На сей раз Теодор промолчал. Перед его внутренним взором возникли склоны Сен-Клу, огромная повозка, где важно восседали лавочники, и могучий конь, серый, в яблоках, уж никак не созданный для выпавшего на его долю жребия — развозить лавочников, для этого воскресного гаерства, для этой мещанской упряжки. Грива, грудь... и почему вдруг он заиграл, встал на дыбы, ломая оглобли, под жалобные вопли седоков? Может быть, причиной тому была гроза, внезапно разразившаяся в сентябре, а возможно, это вдруг взбунтовалась порабощенная сила, сказался подспудный протест против жалкого удела... Огневой конь... И долго еще его образ преследовал Теодора. Но вдруг он понял, что Огюстен, очевидно, уже давно говорит совсем о другом.

— Знаете ли вы, какими глазами мы смотрели на «Кирасира», вашего кирасира 1814 года? Мы... я имею в виду таких, как Жамар, Тушар, ну, словом, все мы, неповинные в драме Империи, понимаете? Слишком юные, чтобы успеть запятнать свои руки кровью Европы и носить на себе рубцы славы! Но достаточно взрослые, чтобы не дать оглушить себя грохотом пушек, чтобы стремиться найти смысл происходящего, всей бойни, понимаете?

Он-то, Теодор, слишком хорошо знал, откуда взялся его кирасир и что тут ни при чем ни Сен-Клу, ни Сюренн! Просто он тогда не мог больше писать весело гарцующих героев, ему нужен был самый обыкновенный человек, будь то Дьедонне или д'Обиньи! Его «Раненого кирасира» могла сразить пуля при отступлении из Рос-

сии или в Люцене, подобно Дюроку и Бессьеру, впрочем, нет,— его ранило на равнинах Франции, под Шанпобером, где не было одержано блистательной победы, в честь которой какой-нибудь герцог или принц мог бы присоединить к своим титулам еще титул Шанпоберский, или просто на равнине к северу от Парижа, не важно где, со стороны Бомона или Ноайля, или у заставы Клиши... Человек спустился с небес на землю, и легенда вместе с ним. Он держит под уздцы своего коня, сжимает в руке саблю. И лошадь его — не скакун, гордо поднявшийся на дыбы, как тот серый конь из Сен-Клу, а самый обыкновенный гнедой, такой, какие бывают у побежденных. Да и сам он, хоть и гигант, но раненый гигант. Он бредет с поля битвы, грохочущей там, вдали, бредет среди клубов дыма к мосту, который уже бесполезно защищать.

— Самое страшное,— продолжал Огюстен,— это взгляд. Поднятые вверх глаза кирасира. Глаза, ищущие неба. Пустые глаза. Если бы вы только знали, кем вы были для нас, для моих ровесников, разве вы разочаровались бы в своем искусстве, господин Жерико, разве бросили бы живопись? И из-за чего, из-за чего, господи боже мой?

Теодор слушает и не верит. Он не верит ничему в это вербное воскресенье. Его кирасир для него не символ. А некий человек. Человек вообще. Трагический удел человека. В конечном итоге есть только поражение. Пусть другие в мысли о возвращении императора вновь черпают восторги перед знаменами, залпами, победами. Только не он. Наполеон возвращается, но это уже изживший себя миф, человек, выдохшийся к концу бега, и куда бежит, куда стремится он? К новой бездне? А для Жерико эта ночь станет ночью заранее предугаданного бегства королевской фамилии: в ночи проскачет черная кавалькада, и это будет похоже на поспешное бегство воров под дождем, по незнакомым дорогам. В самом первом наброске он придал своему «Раненому кирасиру» позу «Мыслителя» Микеланджело. Весь свет, сияющий над миром, последние остатки этого сияния сосредоточились в затуманенных кровью и лихорадкой глазах, даже те блики, что лежат на носках сапог и на стали кирасы... А впрочем, к чертям все это и вас тоже!

— Вам, должно быть, известно, какой прием оказали двум моим полотнам в закрывшемся сегодня Салоне. Завтра их отнесут к моему отцу, и он повесит их лицом к стене... Настоящий провал...

Маленький Тьерри воздел к потолку руки. Он был и трогателен и смешон. Неудача! Провал! Это слово причиняло ему физическую боль, он и слышать этого не желает. Какой двадцатилетний юнец может хладнокровно перенести мысль о провале, поражении, даже если он только что окончил Высшую нормальную школу и

уже представил вместе со своим учителем графом Анри де Сен-Симоном важные сообщения в Институт?

— Поражение! Провал? — воскликнул он.— Да как вы могли ожидать, что разномастное общество, да еще находящееся в процессе преобразования, состоящее, с одной стороны, из вчерашних избранников, и с другой — из тех, кого изгнали двадцать лет тому назад, сумеет перенести этот страшный диптих славы и поражения, этих близнецов, посланных вами в Салон восемьсот четырнадцатого года, я имею в виду «Офицера конных егерей» и «Раненого кирасира»? Посмотрите-ка, что выставил в Салоне Гро? Почему вы не написали «Красотку Габриэль» или «Курицу в горшке»? Вас бы до небес превозносили! А вы стали Кассандрой, зловещей птицей, пошли наперекор всем. О каком же поражении может идти речь? Неужели вы не понимаете, что нынче ночью восторжествовали вы?

Жерико покачал головой.

— Беды, обрушившиеся на королевскую фамилию... снова война. Торжествовать вроде бы и не от чего. А вы, выходит, бонапартист?

Огюстен не сразу ответил, от волнения он стал даже заикаться:

— Но... но... вы же отлично знаете, что нет. Король! Будто тут в короле дело! Но он — король, давший хартию. Я же не людей защищаю, а институты. И речь идет вовсе не о королевской фамилии, но дело ее защиты в данный момент,— заметьте, в данный момент! — совпадает с делом защиты нации. Другими словами, защиты наших прав и нашей свободы!

— Вот послушайте-ка их,— посоветовал Теодор.

Все посетители кофейни — и женщины, и штафирки, и солдаты,— словно поддавшись какой-то невидимой заразе, пели хором: «Мы на страже Империи!»

— Нет, вы только посмотрите на Кадамура,— добавил Теодор,— на нашего республиканца Кадамура.

Стоя рядом со своей богоданной дочкой, старый натурщик в расстегнутом каррике во всю глотку орал песню, театрально взмахивая руками.

— Я слышал, как он только что повторял вам давным-давно навязшую в зубах легенду о том, что Бонапарт-де приказал стрелять в народ из пушек с паперти собора святого Рока,— смущенно признался Огюстен.— И подумать только, что так пишется история! Ведь вовсе не Бонапарт, а Баррас велел стрелять в народ, да, кстати, никакого народа там и не было, а было два десятка заговорщиков монархистов... И все же, как видите, Кадамур — бонапартист...

— Давайте выйдем,— предложил художник,— а то дальнейшее сидение здесь может повредить и вам, голубчик, и мне, а под аркадами галереи свежий ветер прочистит нам мозги, тем более что промокнуть там-мы с вами не рискуем...

* * *

И верно, в окружающих дворец галереях, освещенных масляными лампами системы господина Кинкета, порывы влажного ветра не досаждали прохожим; зато сами галереи этим вечером были забиты толпой взволнованных людей, по виду военных, вперемежку с девицами, одетыми слишком нарядно для столь скромного места и столь позднего часа,— то и дело мелькали шляпки со страусовыми перьями, расшитые бархатные платья, нелепая смесь зеленояично-желтых и вишневых тонов, и, как бы назло холодной, сырой погоде, сияли обнаженные плечи и шеи, украшенные ожерельями из настоящих или поддельных, так называемых театральных, бриллиантов... Этим вечером сюда набилась тьма народу, среди степенных буржуа толкались оборванцы, бок о бок с захмелевшими офицерами гуляли чужеземцы, торговцы чернилами явились со своими тележками, шныряли зазывалы, важно прохаживались лавочники и приказчики, пришедшие сюда поразвлечься, фокусник в дикарском головном уборе глотал огонь, а рядом с ним устроилась женщина в лавровом венке и заштопанной накидке, гадавшая по картам, которые она раскладывала на раскрытом и перевернутом зонтике,— словом, непереносимо шумная зубоскалящая толпа, где политика и угроза соседствовали с проституцией, где мужчины шепотом предлагали вам посетить ближайшее злачное место, а местные феи заявляли во всеуслышанье: «Скажи на милость, что это нынче вечером с мужчинами стряслось? Меня и трех раз не пригласили, как это тебе понравится?»

— Пройдем в Деревянную галерею,— предложил Теодор Огюстену.

Здесь кинкеты висели на большем расстоянии друг от друга, однако в полумраке, благоприятствовавшем дальнейшим атакам кавалеров, бродила менее густая толпа. Это, очевидно, объяснялось тем, что капли дождя беспрепятственно сыпались сквозь порванный местами холст, служивший крышей длинному ряду бараков, которые, казалось, увязали в размокшей земле. Деревянная галерея, со стороны «Кафе де Фуа» называвшаяся «Жерло», а с противоположной стороны именовавшаяся в просторечии «Татарский стан», перерезала надвое темный сад непрочным мостом лавчонок, магазинов и строений, вторые этажи которых напоминали не то меблированные комнаты, не то дом свиданий, не то полицей-

ский участок. Здесь красный мундир Теодора не столь бросался в глаза, и так как почти все встречные девицы уже успели обзавестись кавалерами, молодые люди могли, не боясь игривых предложений, продолжить свою беседу, будто вокруг них никого и не было.

Занятную пару представляли собой эти двое: высокий, худощавый и крепкий мушкетер в плаще и каске и его юный собеседник, приземистый, коротконогий,— с виду настоящий крестьянский парень откуда-нибудь из Блезуа, коренастый, сутуловатый, с волнистой прядью на левом виске и, несмотря на свои двадцать лет, уже начинавший лысеть, чего не могла скрыть сбитая набок фетровая шляпа. Теперь говорил Теодор. Говорил так, как никогда раньше, говорил, словно одинокий бродяга в глухом лесу. Даже с теми, кого он хорошо знал, даже с ближайшими своими друзьями, Жозефом или Орасом, даже с юным Жамаром он не мог бы говорить так. А этот Огюстен, точно с неба свалившийся, представлялся ему не реальным существом, но тенью, отсветом; вот началась эта ночь, и совершенно неожиданно все, что накипело на сердце, вылилось в словах. Два случайно встретившихся человека шагали взад и вперед по Деревянной галерее под протекающей холщовой крышей, поддерживаемой балками, не обращая внимания на толкавших их людей, не глазея на витрины, за которыми молоденькие модистки, сидя на высоких табуретах лицом к публике, заканчивали в этот поздний час срочные заказы: их необходимо было сдать к утру, ибо независимо от того, улизнет король или нет, не могут же парижские щеголихи остаться без весенних шляпок.

Теодор говорил, говорил, говорил.

О чем говорил он? Хотя юный Тьерри внимал ему затаив дыхание, трудно утверждать, что он действительно понимал то, что слышал, мог связать мысли Жерико в единое целое, полностью улавливая их смысл. Примерно то же самое происходило с ним, когда он впервые ребенком попал в театр. Тогда ему минуло всего восемь лет, и приятель его отца, господин Метивье, владелец театра в Блуа, не имевшего постоянной труппы, пригласил как-то в свою ложу семейство Тьерри на оперу, которую разыгрывали странствующие актеры. Было это при Первом консуле, сразу же после нашего разрыва с Англией. Давали «Кастора и Поллукса» Кандейля; композитору в ту пору было под шестьдесят, и он не побрезговал стариком Рамо, снисходительно позаимствовав из его оперы две-три арии. Все казалось чудом, там были леса и скалы, актрисы в кринолинах с подборами пели трогательные песенки, а на актерах, с перьями на голове и копьем в руках, блестели золотые перевязи, украшенные огненными солнцами. Ни на одну минуту у мальчика не было ощущения, будто он не понимает того, что происходит на

сцене,— все при свете плошек складывалось в единое и стройное целое; на первом плане там была дама, и господин Метивье объяснил, что она — вроде Дюгазон. Что это означало? И почему владелец театра назвал этого красавца странным словом «Тенорок»? Впрочем, на вкус господина Метивье, Эльвю был гораздо лучше. Огюстен так и не мог разобраться, кто из этих полуголых господ в перьях был Эльвю. Но какое это имело значение? Щеки у него горели огнем, голова кружилась, и под звуки музыки на глаза навертывались сладкие слезы. Ибо скрипки — это нечто невообразимо прекрасное.

Этим вечером в «Татарском стане» речь Жерико была полна для юного сенсимониста своими эльвю и дюгазон. Теодор говорил о живописи, как живописец, и упоминаемые им картины сменяли друг друга подобно картинам оперы, когда для слушателя логическая связь подменяется музыкой и он переходит от одной бравурной арии к другой, не успевая сообразить, что связывает их, о чем, в сущности, толкует либретто. Огюстен слушал имена художников — вехи вдохновенного рассказа Теодора,— как некогда в детстве слушал восторженные речи господина Метивье, рассказывавшего Тьерри-старшему о мадемуазель Арну или госпоже Сент-Юберти. Он вспоминал, что мадемуазель Арну, по словам Метивье, была обязана своей карьерой тому, что принцесса услышала на страстной неделе, как она пела литанию в одном из парижских соборов. И, слушая Теодора, Огюстен не мог не думать, даже не вникая в подлинный смысл его слов, что он тоже слушает литанию, и ему казалось, что вокруг чела рассказчика встает темный нимб.

О ком говорил Жерико? О себе или об одном из тех признанных метров, которых он скрепя сердце копировал без устали, как будто долго что-то о них выведывал, а потом в течение десяти — двенадцати дней писал в своей собственной манере картину, которую обзывали топорной, грубой? Все то плохое, что думал он о Наполеоне, об этом самовлюбленном тиране, повинном в стольких смертях, меркло, по сути дела, перед чувством благодарности за создание Лувра и за картины, вывезенные из Италии. Что поделаешь, если это награбленное добро! Но тот художник, о котором он говорил сейчас, был похож на него, Теодора, как огромная тень походит на человека, чьи затаенные трагические мысли она выдает, превращая обычный жест руки в некий театральный взмах дланью. Вдруг перед внимательно слушавшим Тьерри слова художника предстали с особой отчетливостью, как будто переменился источник света.

— Разве можно верить критикам? — говорил Теодор.— Както, роясь в старых бумагах у моего дяди, живущего в Нормандии, я наткнулся на несколько поэм одного поэта, о котором не упоми-

нают из-за постигшей его судьбы. Это брат Мари-Жозефа Шенье. На мой взгляд, у нас нет никого, кроме этого бедняги, посланного якобинцами на гильотину,— я охотно верю, что он затевал против них заговоры,— нет никого, кто бы так глубоко и смело проник в таинственное царство поэзии... Что же говорят о нем люди искусства? Можно было надеяться, что, несмотря на весь тот хлам, в который обрядили наши писаки восстановление королевского дома, они все же найдут по справедливости местечко для Андре Шенье. Как бы не так, полнейшее молчание. Наши рифмоплеты, представители традиции, торжествующие ныне, начинают испуганно вопить при малейшем упоминании о Шенье, которого считают повинным в излишних вольностях и, хоть сами они заядлые роялисты, предпочитают ему Мари-Жозефа. Бедный Андре, жертва гильотины и критиков мракобесов, они травят его даже в могиле за те вольности, которые он позволял себе в стихах, дабы сказать то, что хотел сказать. А вы только послушайте, что они говорят о нас, художниках: тут и «непростительные ошибки», имеющиеся в наших картинах, и недостатки отделки, и небрежность в написании дальнего плана, да и картина, по их мнению, не картина, а набросок, и то, что́ мы писали с упоением, с восторгом, для них — рыночный товар...

Огюстен вполне понимал горечь, звучавшую в словах Теодора: ведь он и сам с гневом и яростью прочел в «Салоне» 1814 года статью, где утверждалось, что «Раненый кирасир» всего-навсего лишь эскиз, и где автору рекомендовалась умеренность и бо́льшая тщательность отделки. Но Теодор уже унесся мыслями в Италию, где он обнаружил того художника, о котором начал говорить.

— И его,— говорил он,— и его тоже разве мало упрекали за недостаточность отделки, за порывы, за тяжеловесность, обыденность? И разве без конца не твердили, что он пишет только эскизики? Что его таланту — в этом они не могли ему отказать — недостает корректности? Художника поносили за его мрачный нрав: мол, потому-то он и перегружает фигуры и предметы тенями, почти не освещает их или освещает только сверху, из духа противоречия пишет темные фоны, лишает своих персонажей нюансов, не дает гаммы тонов и размещает их всех как бы в одном плане, на фоне беспросветного мрака. Аббат Ланци говорил, что его персонажи заключены в тюрьму, что нет у него ни четкости рисунка, ни умения отличать прекрасное... Но ведь художнику вполне хватало правды, и по этой причине он меньше всего заботился о приукрашивании своих картин, потому-то и обходился без всяких драпировок, без нарочитого подражания греческим статуям! Не слишком ли черно,— твердили ему,— жизнь не такова. В Лувре висит одно замечательное полотно этого великого художника «Успение бого-

родицы», помните? Никогда ему не простят, что он изобразил не какую-нибудь принцессу на ложе под балдахином, с кокетливо откинутым пологом, и вокруг нее служанок в почти прозрачных одеяниях, а написал на смертном одре женщину из народа, и мы видим на ее лице все муки долгой агонии — тут и капли пота, никем не осушаемого, и сероватый оттенок кожи, и восковая бледность ноздрей, и следы страданий, изуродованное болезнью тело. У нее вздутый живот, и священники отказались поместить картину в Санта-Мария-делла-Скала, в алтаре, украшение которого затем поручили Франческо Манчини: над дарохранительницей из драгоценных каменьев да еще с колонками из восточной яшмы, грешно помещать картину Караваджо, изобразившего, по их уверениям, какую-то раздутую водянкой бабу, и лучше уж, твердили они, не думать о том, где он искал для нее натуру! А я вам скажу, где искал: искал в больнице, где оканчивает свою жизнь большинство людей, или в морге — именно здесь можно узнать всю правду о человеке, а вовсе не на подмостках, где парадно и в полном благолепии испускают дух благородные господа. Слишком, видите ли, черно! И говорят это по поводу смоляно-черного фона, непроглядного мрака, а что без него, я вас спрашиваю, что без него цвет, освещение, да и не только в живописи, а во всем, что может быть передано красками? Ибо священникам хотелось, чтобы уж если святая дева преставляется, то пусть в ее кончине непременно будет заключена идея «преображения», пусть в самом трупе ее чувствуется легкость грядущего «вознесения». Вот чего они ждут от нас, художников, и упрекают нас, если мы на это не идем. Нам вменяют в обязанность быть преображателями. То ли богородицы, то ли Наполеона — не важно. Ах, придет же наконец такое время, когда нам руки будут целовать за то, что мы сумели увидеть где-нибудь на ярмарке, в толпе, в трущобах человеческую правду, площадную правду! Тогда нас не будут изгонять из храмов или из тех мест, что заменят храмы, за буйство наших чувств, богатство формы, голые страсти, за искусство, которому плевать на все существующие условности, ибо единственная цель — это человечество! Тогда от нас не потребуют, чтобы, видя страждущего, истекающего кровью человека, мы изображали рай, якобы открывающийся взору умирающего, или бога, или трианонские идиллии, или блага Наполеоновского кодекса!

Сейчас Огюстен, слушая Теодора, напоминал человека, который прохаживается по галереям Лувра, преисполненный чувства глубочайшего уважения к живописи и ко всем этим голландским или итальянским мастерам, но с трудом отличает одну от другой все эти картины, одинаково блестящие от лака, в одинаково богатых тяжелых рамах. Он не помнил «Успения богородицы», даже

имя Караваджо услышал впервые. Ему вдруг захотелось узнать о художнике побольше. И он сказал об этом своему спутнику.

А Жерико продолжал говорить в полумраке Пале-Ройяля, где все, что окружало их, было до карикатурности пошлым, и извлечь отсюда прекрасное не всякому дано. Огюстен видел заношенное до дыр платье, лицемерие, написанное на лицах, следы пороков и преступлений, наложивших свою печать на этих людей, видел разжиревшие от обжорства или иссохшие тела, приметы серенького существования во всем облике прохожих: отсутствие свежего воздуха в тесных жилищах, воды для ежедневных омовений, усталость, накопленную днями и неделями изнурительного труда, страшную цену каждой вещи. Он видел сложный сплав социальных условий, в силу коих смешались в одну кучу продажные подражатели свергнутой аристократии и солдаты, разочарованные эпопеей, от которой остались лишь раны да вот эти залоснившиеся мундиры; они были во дворце, принадлежащем принцам, из которых предпоследний голосовал за смертный приговор своему кузену королю, на том самом месте, где стояли когда-то конюшни Орлеанского дома, и каким-то ноевым ковчегом представала эта Деревянная галерея, тянувшаяся через сад от крыла Монпансье до крыла Валуа, где все смешалось в эту дождливую ночь: жалкий сброд, и полиция, и поруганная слава, и революция, и похоть, и нестройные мысли, рожденные этой сумасбродной ночью марта 1815 года.

Жерико говорил о Караваджо и о его трудной жизни. О том, как этот художник, поднявшийся из низов, писал, приноравливаясь ко вкусам своего времени, и как Арпино, дававший ему работу, использовал его в качестве подмастерья, заставляя рисовать на картинах, которые подписывал своим именем, орнаменты и цветы. В Санта-Мария-делла-Скала посреди хоров висит богоматерь работы Арпино, и в ней есть все то, чего недоставало богоматери Караваджо. Кто знает, не работал ли он, изгнанный впоследствии из храма, потихоньку на своего нанимателя? Но когда он писал для себя, он, который с гордостью именовал себя Naturalista [1],— новое в те времена слово, полное ярости и вызова,— он отрекался от венецианской сладости, какой проникнуты его первые картины; и, взяв от Джорджоне только его изумительные тени, он влюбился в контрасты и видел в них основной принцип искусства и самую плоть живописи.

— В восемьсот одиннадцатом году я копировал «Положение во гроб»,— говорил Теодор,— и благодаря этому сумел проникнуть в душу Караваджо. Но не знаю даже сам, что больше восхищает меня в его уроках: закон ли противопоставлений, или же самый

[1] Натуралист *(итал.)*.

выбор сюжетов. Все у него прямо противоположно тем женщинам, высший идеал каковых слой румян на щеках. Красота — это нечто тайное, а отнюдь не назойливость. Он писал убийства, ночные злодейства, пьянство, таверны, распутников на углу улицы, он не придумывал пышных одежд своим персонажам из народа, не превращал их в ангелов или в королев, и жизнь его была подобна его живописи, вихревая жизнь. На каждом шагу к этому вихрю примешивался вихрь опасности, потому что он изображал жизнь дна и сам вторгался в эту жизнь. Чего только о нем не наплели! Кто знает, с какими шайками проводил он на самом деле свои ночи на земле, он, создавший ночи на полотне, из мрака которых торчат волчьи зубы его забубенных дружков, и свет ночных факелов кладет блики на голое человеческое тело? Рим не сохранил ничего из этих прóклятых картин, созданных его блудным сыном. Он покинул столицу Италии после того, как во время игры в мяч убил в приступе запальчивости одного из игроков: он не терпел плутовства. В Неаполе, где он встретил мальчика Рибейру, своего ученика, царила в ту пору живопись Велизария Коренцо, грека, вдохновлявшего, по слухам, Арпино в дни его юности. Но ему пришлось уехать из этого испанского города, где господствовала мода на «красивость» и где даже Рибейра предал учителя ради «рафаэлизирования». Слишком черно, слишком черно, бедный мой Караваджо! Что ж, садись на корабль, который доставит тебя на остров, ибо художник там — чистая находка, до того осточертело островитянам зевать и глядеть на море, поджидая редкого паруса, да и то в кои веки. В удивительном поселился он краю... Представляю себе остров Мальту в шестнадцатом веке под владычеством странствующих рыцарей, осевших здесь, по соседству с испанцами и турками,— случайные властители народа, не особенно-то обожавшего своих господ, но все же предпочитавшего их оттоманским захватчикам. Ко времени приезда Караваджо на Мальту рыцари совсем истомились от безделья, ибо вот уже тридцать лет Турция не предпринимала вылазок. А народ еще больше к ним остыл. Сначала рыцари привязались к изгнаннику и даже подарили ему несколько рабов мусульман. Во время какой игры повздорил на сей раз Караваджо с тамплиером? Если, как утверждали, свет на его картинах подобен тюремному, то теперь он имел случай проверить это на личном опыте. А это не шутка — попасть в узилище на острове Мальте около тысяча шестисотого года! Говорят, что Караваджо обладал недюжинной силой и был так же смугл кожей и черен волосами, как его картины. Каким образом попал он в Сицилию? Вряд ли ему могло там понравиться, и, насколько мне известно, в Сицилии нет и следа его живописи. Рим был слишком близок, и ни Палермо, ни Мессина, ни Сиракузы не могли его удержать. Но когда

он высадился из фелюги на берег где-то около Порто-Эрколе, испанская стража схватила его, правда, по ошибке, приняв за кого-то другого. Снова он высокомерно встретил тюремный мрак. Когда же его наконец выпустили и он, полуголый, ринулся на берег, надеясь разыскать фелюгу, где оставалась вся его одежда и пожитки, лихорадка, косившая в те времена жителей Неаполитанского королевства, уже подкралась к своей жертве. На берегу не было ни капли тени, и одинокий, полураздетый человек стоял под палящими лучами беспощадно жгучего южного солнца, от которых никуда не скроешься... Пылая в лихорадке, не видя ниоткуда помощи, он упал на песок, и в горячечном бреду наконец-то ему открылся тот залитый светом мир, изображения которого требовали от него люди с тонким вкусом; умер он вскоре после того, как его подобрали...

Можно было подумать, что дождь нарочно льет как из ведра. Суматоха в Пале-Ройяле была особенно нелепой и подчеркнуто смешной хотя бы потому, что люди, вбегавшие под аркады и галереи, были насквозь мокры, волосы прилипли ко лбу и щекам, платье измялось, и каждый переходил от страха перед завтрашним днем к надежде. Обрывки доносившихся до Теодора разговоров сливались в немыслимую смесь из воздушных замков и кошмаров,— наступал день сведения счетов. Тут были те, кто не совсем еще уверился, что уже пора менять шкуру, кто больше всего боялся, что не сумеет этого сделать. Были тут и охотники ловить рыбу в мутной воде, и люди, которые при всех случаях считали необходимым взять реванш, и мужчины под хмельком, и простой люд в том особо веселом настроении, которое овладевает им, когда он видит вековечную и кровавую игру сильных мира сего и их взаимоистребление.

— Что вы все-таки собираетесь делать, господин Жерико? — спросил Огюстен.— Если король решит бежать, вы последуете за ним?

Вместе с порывами ветра в саду кружилась ночь и раскачивались висевшие под аркадами кинкеты. Завтра утром в Новые Афины отнесут «Офицера конных егерей» и «Раненого кирасира», которых как раз сейчас снимают со стены Салона. Когда перестанет дождь, Орас Вернэ, быть может, заглянет к приятелю, не скрывая ликования по поводу возвращения своего корсиканского кумира, но также и затем, чтобы послушать рассуждения Теодора о живописи. А там, в аллее, когда он пойдет провожать Ораса, кто знает, не покажется ли в дверях греческого храма молодая креолка, просто выйдет подышать воздухом и увидит их. Каролина...

— Нет,— ответил Теодор.— Людовик Восемнадцатый может отправляться, куда ему угодно. Я лично остаюсь.

IV

ПРОЩАНИЕ В ПОЛНОЧЬ

Вошедший слуга снял нагар со свечей, горевших в огромной люстре с подвесками, а также с лампы под разрисованным абажуром, отбрасывавшей неяркий свет на ломберный стол. Господа игроки даже не оглянулись. Ничего удивительного: недаром же они имели репутацию заядлых любителей бульота. Однако дамы отметили это обстоятельство сдержанным хихиканьем: при них оставался лишь один представитель сильного пола, друг мадемуазель Госселен, которого она повсюду таскала за собой, вполне бессловесный персонаж в щегольском оливковом фраке. Круто завитая шевелюра и бакенбарды котлетками, подпертые плоеным жабо, заправленным, как и полагалось, под белый пикейный жилет. Он взглянул на свои часы-луковицу с репетицией.

— Уже половина двенадцатого,— вздохнул он.

Главная его заслуга заключалась в том, что в двадцать пять лет он содержал танцовщицу, как будто ему уже стукнуло шестьдесят.

Конечно, не так шикарно, как содержали Виржини. Бедняжка Виржини, ей давно было пора подняться в спальню и лечь. Она чуть-чуть кокетничала своим новым положением и была удивительно мила в капоте специального фасона, изобретенного для кормящих мамаш, но молоко ужасно распирало ей груди. К тому же было уже поздно. Старики Орейли — родители Виржини — привыкли заменять ее при приеме гостей: пусть чувствуют, что хозяева — они; кроме того, это придает известное достоинство. Как ни было скромно амплуа Виржини в качестве балерины, все-таки она считалась настоящей артисткой, равно как и ее папаша, в течение двадцати лет состоявший главным куафером при Опере. Виржини еще не достигла шестнадцати лет, когда ее, как принято говорить, заметил маршал Бессьер. Блистательный содержатель был вскоре убит под Люценом, и родители Орейли переселились к дочке, носившей по покойнику траур. Перед смертью маршал успел облагодетельствовать Виржини: ей достался особняк, который можно было смело назвать одним из прелестнейших в Париже, рядом с холмами Монсо, засеянными люцерной, в двух шагах от огромного парка, возвращенного Камбасерэсом императору, ибо содержание парка обходилось слишком дорого, а затем возвращенного королем герцогу Орлеанскому.

До чего же был кокетливо убран этот салон, где игроки в бульот восседали вокруг ломберного стола из наборного розового дерева, доставленного сюда ни более ни менее, как из Версаля: Шарль-Фердинанд просто велел отнести его на дом к Виржини,— совсем

так же, как по его распоряжению, опять-таки для ее особняка сняли картины со стен Павильона Марсан или нагрузили ее карету серебряными сервизами, позаимствованными в Тюильри! За исключением деревянных панелей во вкусе старого режима и барельефов с изображением персонажей греческой мифологии, помещенных между дверями, весь салон буквально утопал в драпировках, даже потолок был обтянут сборчатой желтой тканью, по карнизу шли бледно-голубые, просто очаровательные шелковые фестоны, точно такие же портьеры висели на дверях, а на окнах красовались занавеси соломенного цвета, подбитые голубым шелком, падавшие непостижимо мягкими складками до самого ковра в цветах.

Отец Элизе был единственным черным пятном на этом желто-голубом фоне. Он никогда особенно не дружил с семейством Орейлей, и появление его в столь поздний час у танцовщицы Оперы могло вызвать вполне законное недоумение. Но все объяснялось более чем просто: в 1792 году он скрывался у бабушки Виржини на улице Сен-Рок, еще в ту пору, когда Мари-Луиза, родившая впоследствии Виржини, была почти ребенком, а святой отец выжидал случая удрать в Англию. В те времена гражданин Торлашон, как его тогда называли, изучавший сначала хирургию в Братстве милосердых, потом в 89-м году сбросивший сутану и немало потершийся за кулисами, еще не имел ни теперешнего веса, ни положения, приобретенного после возвращения королевской фамилии: ведь он весьма успешно лечил Людовика XVIII во время пребывания в Хартуэллском дворце. А тогда в течение двух-трех лет он вел разгульную жизнь, афишировал свои связи с девицами легкого поведения,— надо полагать для вящего утверждения новых идей. Откуда брал он средства, чтобы так швырять деньгами? Однако при терроре ему пришлось прятаться, а потом и эмигрировать.

— Слаба плоть человеческая! — вздохнул преподобный отец, запуская пальцы в табакерку, протянутую ему уважаемым господином Орейлем. Его хитрая физиономия лоснилась, а вульгарность манер не очень-то вязалась со священническим одеянием.

Хотя было уже совсем поздно, но игроки — на то они и игроки! — не обращали на это ни малейшего внимания: тут были оба Александра, завсегдатаи дома, и дядя Ахилл, служивший у детей госпожи Сен-Лэ,— они обычно составляли партию для господина Орейля. Иезуит, сидевший за стулом хозяина дома, казался еще более щуплым рядом с куафером, чей мощный торс и поднятые плечи были туго обтянуты васильковым фраком, а пудреный по старой моде парик чуть сбился на ухо. Преподобный отец внимательно следил за игрой и время от времени делал глубокомысленные замечания господину Мопэну, старшему из двух Александров, от которого изрядно припахивало бакалейными товарами, ибо гос-

подин Мопэн держал лавку; но бакалейщик пропускал их мимо ушей, видимо, недооценивая всей меткости и всей соли этих замечаний.

Дамы сидели кружком возле прекрасной печи из белых фаянсовых изразцов, увенчанной коленопреклоненным амуром; бабка Бургиньон вязала распашонку, а дочь ее, Мари-Луиза Орейль, приятно располневшая к сорока годам, искоса следила за игроками, с сожалением думая о том, что лучше было бы играть не на деньги, а на бобы, и не прерывала ни на минуту беседы с мадемуазель Госселен-младшей, тоже, как и ее сестра, танцовщицей Оперы,— ныне вечером младшая Госселен была чудо как хороша в розово-лиловом шотландском тюрбане, украшенном перьями райской птицы, и в белом перкалевом платьице, отделанном по подолу лентами, собранными в виде розочек. Одновременно Мари-Луиза то и дело поворачивалась в сторону госпожи Персюи, говорившей с сильным воклюзским акцентом и находившейся в состоянии непрерывного восхищения своей новой желтой шляпкой с серыми букетами,— она не только не пожелала ее снять, но даже ленты, завязанные под подбородком, не распустила. Возле нее на пуфике, скрестив ножки в виде буквы «икс», сидела мадемуазель Подевен — ровесница Виржини, и поскольку она служила фигуранткой, то не переставала ребячиться и только краем уха прислушивалась к разговору взрослых.

Хотя госпожа Персюи, одногодка или почти одногодка госпожи Орейль, уже пригляделась к роскоши особнячка, подаренного Виржини покойным маршалом, она и на сей раз не могла удержаться от несколько провинциальных комплиментов по адресу архитектора, сумевшего так украсить и расположить дом.

— Нет, решительно Белланже — самый шикарный архитектор на свете! Правда, квартал Руль расположен далековато, зато какая здесь тишина, разве сравнишь с Парижем! А покой!

— Вы совершенно правы,— подтвердила Мари-Луиза,— у нас здесь настоящий деревенский уголок...

Таково было любимое ее выражение: особняк она именовала «наш Фоли», несомненно по случаю ближнего соседства с «Фоли де Шартр», а про все, что подавалось к столу: яйца, молоко, кур,— говорила, что это «с их фермы», как будто ферма Монсо была ее собственностью, а не принадлежала герцогам Орлеанским.

— А я вот все думаю, что было бы с Виржини, если б маршал остался в живых,— мечтательно произнесла мадемуазель Госселен.

Хотя бабушка Бургиньон уже почти окончательно оглохла, она все-таки расслышала имя маршала Бессьера. Она лично очень и очень сожалела о смерти этого бравого вояки и велела повторить ей погромче слова мадемуазель Госселен. Но ее дочь не переноси-

ла разговоров на эту тему и попыталась перевести беседу на заслуги иезуита.

— Знаете,— доверительно прошептала она на ухо госпоже Персюи,— если бы не святой отец, его величество не смог бы присутствовать в четверг на заседании Палаты...

Поскольку для госпожи Персюи роль преподобного отца при королевской персоне была тайной, она удивленно захлопала глазами... Но раз уж бабушка вступила на путь воспоминаний, не так-то легко было ее сбить.

— До сих пор я не пойму, что произошло,— заявила она,— как это так, ни с того ни с сего взяли и убили маршала.

— Но, маменька,— прервала ее госпожа Орейль,— ядра не разбирают, кто маршал, а кто не маршал!

— Между нами говоря,— произнесла своим милым авиньонским говорком госпожа Персюи,— возможно, этому ядру наша Виржини обязана всем своим счастьем.

Таково, очевидно, было и мнение мадемуазель Подевен, ибо разве можно даже отдаленно сравнивать маршала Империи и его королевское высочество? Мадемуазель Госселен деликатно кашлянула. Эта крошка Подевен на редкость вульгарна. Но госпожа Персюи не желала расставаться с такой благодарнейшей темой и пошла напролом:

— Он умер как герой... но если бы наша милочка Виржини не овдовела к моменту прихода союзников, что бы она теперь делала, я вас спрашиваю? О, конечно, маршал стал бы верным слугой королевской фамилии! Он не из тех, что отправились с Узурпатором на остров...

Мадемуазель Госселен поспешила на помощь госпоже Орейль. И заговорила о театре. Надо полагать, мадемуазель Подевен не будет отрицать, что от возвышения Виржини девицы только выиграли. Скромная, никаких претензий, ей даже в голову не приходило просить себе роли, соответствующие ее новому положению... наоборот, она всегда заботилась о других — такой верный друг.

— Видите ли, госпожа Персюи, пусть ваш супруг, господин Персюи, прекрасно отбивает такт, но если бы нам, танцовщицам, не покровительствовал его королевское высочество, что бы с нами сталось? Я говорю, конечно, о молодых: когда выступает Биготтини, тут ничего не скажешь, талант он и есть талант. Но ведь распределение ролей зависит от Гарделя, и поэтому все роли достаются его собственной супруге, госпоже Миллер, и в придачу еще этой Мальфлеруа, которая, клянусь, всех нас просто задушила своими духами, насквозь ими пропиталась... а почему ей дают роли? Потому что она, видите ли, жена Бойелье. Господин Персюи не смог даже ввести кого хотел в свою «Сельскую добродетель», в свой собствен-

ный балет, который репетируют для будущего месяца. Его вынуждали отдать госпоже Гардель обещанную мне роль Мартоны,— и, чтобы отбиться, ему пришлось уступить роль Биготтини... Да что там! Когда возобновили «Кастора и Поллукса», мне посулили выходную роль... Как бы не так... разве наши завистливые старухи допустят молодую! А вы видели Миллер в па-де-де? Жалости достойно!

— Как раз тогда Виржини в последний раз была в театре,— неосторожно брякнула мадемуазель Подевен,— ее беременность была так заметна, когда она поднялась в ложе, чтобы поклониться.

Эта тема была, пожалуй, под еще бóльшим запретом, нежели разговор о покойном маршале: весь Париж обхохотался, и не зря — в театр прибыла королевская фамилия, а Виржини, услышав аплодисменты, решила, что это рукоплещут ей, и стала раскланиваться из ложи публике, это со своим-то пузом, это на седьмом-то месяце беременности... Желая спасти положение, мадемуазель Госселен снова обрушилась на балетмейстера Гарделя и заверила присутствующих дам, что Мальфлеруа неспроста так сильно душится: рассчитывает перебить свой собственный скверный запах. Но госпожа Персюи теперь очень заинтересовалась иезуитом.

— Значит, его величество... что, в сущности, с ним делает святой отец? Ведь не молитвами же в конце концов лечат ревматизм...

Госпожа Орейль снисходительно улыбалась. Все, положительно все знают, что святой отец не только искуснейший хирург, но и несравненный массажист.

— Судя по виду, вы ни за что не поверите, однако при такой худобе у него руки,— вы только взгляните, какие у него руки! Ручищи, милочка, а не руки... Как он возьмет вас вот этими своими руками, как начнет мять, поворачивать, шлепать... В Тюильри без него и дня не могут прожить! И вообще весьма интересная личность. В курсе всех дел. А какие он рассказывает истории! Уж такие небылицы!

Александр Лоннрэ открыл карты. Игроки заохали. Смотрите-ка, все загреб! Везет, по обыкновению!

— Сколько ты проиграл? — крикнула с места госпожа Орейль мужу.

Открылась дверь, вошел новый гость — Филипп-Франсуа Тушар, и первым долгом весьма галантно раскланялся с дамами. В свои пятьдесят пять лет управляющий Почт был еще, что называется, видный мужчина, и с 1814 года, с тех пор как батюшка Виржини бросил свою куаферскую деятельность, их связывали многие интересы. Злые языки утверждали, что сын Тушара, который весьма похож на отца и при этом не отягощен грузом пятидесяти пяти лет, приглянулся Виржини. Рассказывали даже, что его

высочество... Надо сказать, что у герцога имелись кое-какие интрижки в придворном кругу. В частности, он интересовался некоей придворной дамой герцогини Ангулемской. Так что по нему обмирали не только одни оперные танцовщицы. Но он был ревнив и велел поэтому следить за своей придворной дамой. Однако же, когда ему доставили из полиции рапорт, он прочел (дело в том, что агент, которому дали поручение выяснить: «Верна ли герцогу его любовница?» — стал следить за мадемуазель Виржини: ошибка вполне естественная, ибо эта связь была более чем явной)... прочел в рапорте, что мадемуазель Орейль благоволит к некоему мальчику, ее ровеснику, как две капли воды похожему на управляющего Почт, ибо Франсуа был действительно похож на своего отца. Воображаете, что из этого вышло, поскольку в таких случаях герцог рвал и метал, как безумный! Но Виржини сумела все повернуть себе на пользу: несчастного шпика из полиции господина Андре прогнали в три шеи. В конце концов ясно, что все это наболтали оперные фигурантки и старые сплетницы. Люди злы, и к тому же в Королевской академии музыки засели явные бонапартисты! Слухи же в основном пошли оттого, что господин Орейль вложил все свои сбережения в почтовых лошадей и кареты. О, вовсе не с целью наживы! За весьма сходную цену он одалживал и то и другое своим добрым знакомым. Вообразите, у кого-нибудь вдруг начинается роман, а где сразу возьмешь тильбюри, чтобы отвезти даму куда-нибудь на бережок, или же вдруг вам понадобилась берлина, чтобы потихоньку прокатиться в Нормандию... Экипажи Орейля стояли в конюшнях Почт.

— Уступаю вам место,— обратился выигравший к новому гостю,— я хочу немножко поболтать с дамами.

Ох, уж этот Александр! Ну, пусть ему повезло, нельзя же корчить из себя Карла Великого! Филипп-Франсуа сел на освободившееся место и поклонился иезуиту. Друг мадемуазель Госселен с тоской взглянул на него: господи, когда же наконец кончится эта партия? Танцовщица полагала, что хороший тон требует от гостей сидеть до тех пор, пока хозяин дома не поднимется из-за карточного стола. После этого можно объявить, что ей хочется спать.

— Скверные новости,— начал господин Тушар,— говорят, что сегодня вечером королевская фамилия...

Тут он понизил голос до полушепота, обращаясь только к мужчинам, чтобы не потревожить прекрасный пол. Тугой на ухо иезуит попросил повторить, и тут же запротестовал: как же так! Он провел во дворце целый день... в шесть часов он накладывал повязку его величеству, и в восемь еще ничего не было решено! Как же это так могли без него уехать! Смешно даже слушать!

— Хотите доказательств? Пожалуйста,— добавил он.— Как раз сегодня я одолжил свою карету, вернее дормез, вполне комфортабельный, одному духовному лицу... дело в том, что архиепископ не пожелал воспользоваться обычным дилижансом... и, заехав ненадолго в Париж, отправился в один из наших монастырей в Испании. Неужели вы думаете, что я мог бы проявить такую крайнюю неосмотрительность и собственными руками отдал свой экипаж, будь на горизонте хоть тень какой-нибудь опасности?

Но госпожа Орейль поднялась с места: на больших стенных часах только что пробило полночь, пора кормить, сейчас Виржини принесут ребенка.

— О, непременно покажите нам младенчика!

Мадемуазель Госселен и мадемуазель Подевен умоляюще сложили руки таким очаровательным ребяческим жестом. Прямо сцена из «Каравана», да и только! Отец Элизе, шепча про себя молитвы, перебирал четки, но вид у него был крайне озадаченный. Все же слова этого болвана Тушара немало его встревожили. Нет, это немыслимо, вдруг такая измена со стороны его величества! Да и почему, в сущности, его величество станет отделываться от своего целителя? Людовик XVIII просто обожает непристойные истории, а по этой части святой отец не знает соперников.

Мари-Луиза принесла маленького. Среди груды пеленок и кружев ничего нельзя было разглядеть. Послышались восторженные возгласы, смех. Особенно старались обе танцовщицы и госпожа Персюи.

— Какое крошечное существо!

— Нет, вы просто не поверите, какой он большой для своего возраста!

— А сколько ему?

— Сегодня, подумать только, сегодня ему исполнилось ровно пятнадцать дней.

Госпожа Персюи вся так и зашлась от восхищения:

— Вылитый отец, вылитый!

А иезуит, втиснув свою черную сутану в круг светлых дамских платьев, вздохнул:

— Чадо Людовика Святого, возрадуйся!

Восьмое чудо света унесли в спальню, расположенную на втором этаже. Дамы устремились вслед за ним. Там дремала Виржини, утопая в подушках...

Госпожа Персюи осталась с бабушкой Бургиньон.

— Приятно все-таки думать, что сын вашей внучки в конце концов прямой наследник престола. Единственный отпрыск мужского пола во всей королевской фамилии...

Мадам Бургиньон, сложив руку трубочкой, подставила ухо. Она ничего не слышала. Хозяин дома приблизился к жене капельмейстера и доверительно произнес:

— Да, вы правы,— он первый сын Франции... нельзя же рассчитывать на герцога Ангулемского, верно ведь? Между нами говоря, мой зять...— В интимных беседах куафер любил, говоря о герцоге Беррийском, именовать его просто зятем.— ...так вот для моего зятя не безразлично, что родился мальчик! Вы же знаете, это ни для кого не тайна — в Англии у герцога были дочери!.. Но я — человек широких взглядов. И потом — принц это принц. Так вот мой зять, если говорить откровенно, уже с конца октября начал беспокоиться. Он часто об этом заговаривал. Говорит мне: «Тестюшка...» Он, видите ли, иногда зовет меня просто «тестюшка». «Тестюшка, говорит, все-таки чертовски обидно, что у моей кузины есть маленький Немур...» Видите ли, Орлеанские — да, да, Орлеанские, наши соседи,— имеют отпрыска мужского пола, младенец появился на свет двадцать пятого октября, и это обстоятельство сильно досаждало Шарлю, я хочу сказать, его королевскому высочеству, сильно досаждало... все-таки, знаете, угроза для старшей ветви...

— Что это вам сообщил господин Тушар? — осведомилась госпожа Персюи.— Он так тихо говорил...

— Да так, разные глупости, как и положено по его почтовому чину! Ему уже мерещится Буонапарте в Париже!

— Буонапарте? Какой ужас! Что же с нами будет?

— Надеюсь, вы не сомневаетесь, что меня предупредили бы одним из первых. И отца Элизе тоже. Просто чепуха! А говорит он так потому, что ему запретили давать лошадей частным лицам, желающим покинуть Париж... Давно пора положить конец всей этой идиотской панике, которой мы обязаны нашим сплетникам.

Вошел лакей Пикар и приблизился к хозяину. Кто-то спрашивает господина Орейля. Тот вышел из салона. В прихожей его ждал высокий человек в коричневом макферлане и серых ботинках, промокший с головы до пят. В ставни до сих пор барабанил дождь. Человек прибыл от госпожи Шатобриан: ей нужны лошади. Карета у нее есть, нужны только лошади.

— Послушайте, дружок,— высокомерно сказал господин Орейль и, заметив свое изображение в маленьком зеркальце, висевшем в прихожей, поправил сбившийся набок парик и приосанился.— За кого это вы меня принимаете, а? Я не барышник, да было бы вам известно. Правда, лошади у меня есть, и я их при случае одалживаю. Из любезности. И притом только друзьям. Я, конечно, слышал имя госпожи Шатобриан,— он поклонился,— однако в такое время...

— Но госпоже Шатобриан немедленно требуются лошади.

Господин Орейль начал гневаться.

— В конце концов мы сидим тут, у себя дома, в своей семье... моя дочь только что оправилась от родов... а мой внук...

Но пришедший становился все настойчивее. Бывают же такие люди, просто даже не верится!

— Предположим, что я не прочь сделать одолжение госпоже Шатобриан,— промямлил бывший куафер,— предположим... Но мои лошади находятся в распоряжении управляющего Почт, и господин Тушар как раз у меня, он один из моих друзей... он мне говорил... короче, существует королевский приказ: не давать лошадей частным лицам!

Но пришельца не интересовали никакие приказы.

— У вас, сударь, есть свои собственные лошади — на конюшне, что в конце сада... это я прекрасно знаю...

— Но это лошади моей дочери,— воскликнул господин Орейль.

— Ого,— дерзко возразил его собеседник,— у вашей дочери, стало быть, двенадцать лошадей? Или еще больше?

Сразу видно маловоспитанного человека. Все равно дальнейшие пререкания ни к чему бы не привели. Лучше заломить хорошую цену и отвязаться. Но пришедший тут же согласился. Ах так, ну, тогда пеняй на себя!

— Пикар!

Пикар подошел к хозяину.

— Проводите этого господина в конюшню, ему требуется четверка лошадей... Надеюсь, вы меня поняли?

Через открытые на крыльцо двери видно было, как сыплется дождь. С минуту господин Орейль постоял на пороге, высоко подняв канделябр и освещая путь двум мужчинам, которые вышли и сразу же скрылись за деревьями сада.

* * *

Во мраке, под дождем, всадники покинули Лувр вскоре после отъезда короля; сзади на почтительном расстоянии ехали слуги, а впереди бок о бок принц и его адъютант. Адъютант господин де Лаферронэ всю дорогу бурчал сквозь зубы: неблагоразумно уезжать так, даже факелов не взяли, а в Париже неспокойно, несмотря на непогоду толкутся какие-то подозрительные личности, недаром на улице Сент-Онорэ даже пели «Карманьолу», их могут узнать, расправиться с его высочеством.

— Ваше высочество должны понять...

— Отстаньте вы от меня...

Его высочество пришпорил коня и обогнал своего адъютанта. Он не был расположен болтать. Его высочество, как и все Бурбоны, отличался низким ростом и был грузен, если не просто жирен. Но, как прирожденный наездник, он умел держаться в седле, и посадка у него была вполне пристойная. Он придержал плащ, развевавшийся у бедер. Чертова погода, чертов холод! Герцога Беррийского раздирали слишком противоречивые чувства, чтобы он мог спокойно выслушивать наставления своего адъютанта де Лаферронэ. А чувства эти были: гнев, боль, стыд, сожаление, страх. Как все это бесконечно глупо! И в первую очередь сам король, на короля-то он больше всего и сердился. То, что Людовик XVIII не любит его, как он не любит своего брата, отца герцога, это он отлично знал. И не со вчерашнего дня. Между ними происходили бурные сцены, ссоры. Когда его величество начинал орать, голос его был слышен в каждом уголке Тюильрийского сада. Их, иначе говоря герцога и его отца, графа Артуа, загнали в Павильон Марсан, а в Павильоне Флоры велась своя политика, глупейшая, глупейшая политика! Без всякого учета того, что думают за дворцовыми стенами! Глупейшая! «Еще года нет, а до чего мы дошли, и все из-за него, из-за этого толстяка Людовика, из-за этого подагрика. Его хартия — воистину блестящая идея, под стать той, что возымел он в Митаве, помиловав сына Филиппа-Эгалите! А сейчас вот улепетываем, как зайцы, не попытавшись даже драться, и как только нас унесет ко всем чертям, вернется Буонапарте!» Как молил он Людовика, как молил он дать ему командование, позволить пойти против Людоеда. Куда там, кроме ревматизма, король ничем не интересуется. Еще бы! Все тут яснее ясного: дядюшка просто завидует племяннику, возможному претенденту на французский престол, единственному отпрыску Бурбонов, способному продлить королевский род. И поэтому он предпочел послать в Лион вместе с графом Артуа герцога Орлеанского, который, того и гляди, по своему обыкновению, затеет заговор... А своего родного племянника не послал — не желает, видите ли, чтобы тот завоевал себе авторитет и отличился на поле боя. Кроме того, он, бессильный старец, ненавидит его, герцога Беррийского, за успехи у женщин, ибо ему-то женщины... А сцены, которые закатывает уважаемый дядюшка, получив очередное донесение от полиции! Но ведь он, герцог, живой человек!.. Разве король попрекал любовницей князя Ваграмского, а тот, как известно, женат, да еще женат не на ком-нибудь, а на баварской принцессе, которую он, чтобы от нее избавиться, отправляет на воды. Но особенно противен ему, Шарль-Фердинанду, его сиятельный дядюшка, Людовик XVIII, когда тот игривым тоном начинает пересказывать разные похабные историйки, вычитанные из старых книг, и выдает

их за похождения своей собственной юности. Экий врун! И потом где это видано: король, не встающий с кресел. То его катят, то его несут! Ну и красивое зрелище получается, когда его тащат по лестницам! Не говоря уже об этом его иезуите-массажисте: сквернослов, каких свет не видывал. Вот ему тоже дядя все спускает с рук. В номере двадцать семь Павильона Флоры, где живет этот иезуит, устраиваются интимные обеды, различные увеселения,— можно только удивляться, как не краснеет от их сальностей Иисус Христос, висящий на самом видном месте. В Лувре постоянно живет какая-нибудь особа, преимущественно в возрасте семнадцати лет, потом другая, третья, но всех их подряд величают «матушка Элизе»... Впрочем, по словам Андре, интересы старого негодяя этим не ограничиваются. Утверждают даже, что и девиц-то берут во дворец и держат их там на виду лишь за тем, чтобы король не особенно верил идущим по городу слухам. Одним, видите ли, можно, а другим нельзя,— Людовик XVIII требует благопристойности только от своего племянника. И все оттого, что этой сволочи-иезуиту известно о королевской слабости к Медонскому кюре... Шарль-Фердинанд превыше всего на свете почитает священнослужителей, но ведь иезуит — он же чистый еврей. Более чем сомнительная личность: раньше давал в рост деньги королевской армии, был на острове Йё вместе с графом Артуа... Для Шарль-Фердинанда не секрет та лютая ненависть, которую питает его родитель к хирургу: должно быть, там, на острове, у них вышла какая-нибудь история... К тому же все, так или иначе имеющее касательство к Вандейской войне, неприятно графу Артуа. И, однако ж, иезуита он терпит: можно даже подумать — боится. Недаром преподобный отец врачевал его прежде, чем стал официальным целителем короля! Правда и то, что сначала он состоял при особе английского принца-регента и не без тщеславного удовольствия до сих пор показывает всем и каждому табакерку, усыпанную бриллиантами,— дар принца, и граф Артуа сильно подозревал, что иезуит занимается шпионажем в пользу Букингемского дворца... Впрочем, даже трудно себе представить, чтобы господа Монруж подсунули его королевскому величеству обыкновенного хирурга, а не шпиона, не соглядатая. Разве не застигли его у дверей русского посольства, если верить Бурьену, а ведь вовсе не доказано, что господину Бутягину так уж необходим массаж! Отец Элизе втерся в доверие к дяде еще до их пребывания в Хартуэлле. Но когда именно? Одно верно: он уже был при нем ко времени похорон графини Прованской. Шарль-Фердинанд ясно припомнил его силуэт рядом с красавцем герцогом д'Аварэ, впереди, у катафалка, в часовне на Кингстрит. Странные слухи ходили по Лондону в связи с этим более чем подозрительным хирургом: разве не состоял он долгие годы

при особе шевалье д'Эона, который так вовремя скончался? И разве он до последней минуты не притворялся, будто считает шевалье женщиной? Но одного никак не мог простить герцог Беррийский «массажеру», как он именовал про себя иезуита: он оказался у короля, когда герцог самолично явился к своему августейшему дяде умолять, чтобы его в начале месяца отпустили вместе с отцом в Лион. В присутствии этого святого отца ему, герцогу Беррийскому, устроили сцену и заявили, что он-де мастер одерживать победы только в кордебалете Оперы, а это (заметим в скобках) даже не соответствует истине, ибо, когда Виржини была на сносях, он спал с Бургуен из «Комеди франсез»... чувства его к Виржини остались прежними: он всегда испытывал величайшую нежность в отношении девиц, которых изволил обрюхатить. А Бургуен, которой шел тридцать пятый год, была просто так, для приятного времяпрепровождения, хотя сложена она чертовски хорошо, просто богиня. Округлая шея, как у голубки! Одни глаза чего стоят, а голос... Надо было видеть ее в «Баязете»! Не говоря уже о том, что она состояла в близких отношениях с Люсьеном Бонапартом. Но так уж повелось: от этих людей к вам переходят и женщины и дворцы. Теперь же, когда все рушилось, когда ему отпущено всего несколько минут свободы, вовсе не к Бургуен поскачет Шарль-Фердинанд во мраке, под проливным дождем. Он даже не успел поцеловать ни своих малюток, своих незаконных дочек, которых просто обожал, ни самое миссис Браун, их мать,— пришлось ограничиться посылкой на набережную Вольтера адъютанта Лаферронэ, он отнес им деньги, необходимые для проезда в Англию, и записку, которая должна была убедить миссис Браун, что герцог намерен последовать за ней,— простое проявление доброты по отношению к Эми. Но сейчас он спешил в квартал Руль: королевский кортеж он нагонит у заставы Этуаль; так или иначе, отец его, граф Артуа, тронется в путь не раньше часу ночи. Он спешил к особняку, возведенному строителем «Багатели»; и то обстоятельство, что его любовнице особняк этот был подарен маршалом Наполеона, позволяло герцогу считать себя любимым бескорыстно. Мысль, что он не увидит нынче вечером Виржини, была ему непереносима, и он почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы, горючие, крупные, аккуратные капли, как у его прабабки Анны Австрийской,— дождь под дождем.

Он внезапно вспомнил, как навернулись слезы ему на глаза в тот день, когда он неожиданно явился к королю, и как унизил его дядя в присутствии своего хирурга, этого иезуита. Он даже заметил, как подмигнул дядюшка отцу Элизе, когда тот с лицемерно постной миной собрался было выйти из спальни: «Подожди, мол, побудь здесь». Хотел ли Людовик XVIII вести разговор при

свидетелях, или это получилось случайно? «У нас нет секретов от нашего любезного племянника, продолжайте, святой отец...» Гнусное зрелище! Можно подумать, что король с умыслом велит пользовать себя публично, обнажает при посторонних свое мерзкое, покрытое язвами, тело. Святой отец расставил мази, наложил одну повязку на руку, другую на ягодицы. У короля от постоянного сидения в кресле образовались струпья. В спальне стоял удушающий запах медикаментов и гноя...

За улицей Ройяль-Сент-Онорэ начиналась улица Монмартрского предместья. Здесь особняки стояли на большем расстоянии друг от друга, сады, омытые дождем, уже по-весеннему благоухали во мраке. На бывшем каретном дворе и вокруг него чувствовалось какое-то волнение. Кучера и не подумали посторониться, чтобы пропустить кортеж, а этого герцог Беррийский уж никак не мог перенести в теперешнем своем состоянии духа. Шарль-Фердинанд занес было хлыст, и дело могло принять плохой оборот, если бы факельщик не осветил гневное лицо герцога и его не узнали. У ворот мужчины и женщины с громкими воплями нанимали кареты. Все это скорее походило на аукцион. «Даю сто франков!», «Сто и сверх еще сто!», «Потише, господа, и тысячи не возьму!» Это был ажиотаж панического бегства. Маленький кортеж построился по двое и исчез во мраке. Лаферронэ пробурчал что-то насчет безопасности герцога. Но тот не слушал.

Итак, его разлучают с Виржини. Все прочее не имело никакого значения. Разлучают с новорожденным младенцем, его первым и единственным сыном. Шарль-Фердинанд настоял на том, чтобы присутствовать при родах. Впервые он видел роды. Миссис Браун произвела на свет дочек в его отсутствие. Но когда рожала Виржини, все показалось ему и страшным и великолепным. Он страдал за эту девочку-мать, и когда показалась головка, он даже вскрикнул... Какой ужас, когда проходят воды, и все прочее тоже ужас, но, бог мой, как же была восхитительна Виржини — такая усталая, усталая, вся в поту, словно изнемогший от бега зверек! Пусть говорят, что у его высочества, герцога Беррийского, низменные вкусы, он и сам это за собой знает, но, скажите на милость, какая герцогиня, какая королева стоит этой девчушки из Оперы, этой маленькой балерины, которая не столько танцует, сколько красуется на сцене! Ее волосы, тяжелая масса черных блестящих волос, вьющихся от природы, ореолом окружали маленькую аккуратную головку, не умещались ни под одной шляпкой, и когда в спальне она распускала их, падали, точно все заволакивающий причудливый каскад. Какой беленькой казалась бедняжка Виржини по сравнению с рассыпавшимися по подушке прядями волос, крошка Виржини с ее тоненькой талией, которую он легко охва-

тывал своими широкими ладопями,— тоненькой сверх меры, как выдумка художника! Его разлучают с Виржини! Навсегда!

Когда кортеж проехал по улицам Сен-Филипп и Сен-Жак и свернул в конце улицы Пепиньер на улицу Курсель, герцог вспомнил первый вечер, а этот, сегодняшний вечер был, несомненно, последним. В минувшем году, когда все шло в обратном порядке, все было лишь опьянением возврата. Шарль-Фердинанд тогда явился к королю во дворец Сент-Уэн. Вступление в столицу было назначено на завтра. Весь день прошел в лихорадочных переговорах с представителями союзников, с русскими офицерами, с австрийскими эмиссарами, с делегациями из Парижа. И выдумал же дядя назначить его на этот вечер начальником охраны дворца! Это его-то, только что, словно в волшебной сказке, перенесшегося из Лондона в Париж, его, старавшегося наверстать безрадостную юность, его, отторгнутого от Парижа, которого он не знал, но горел желанием открыть для себя! Ах, да ну вас к такому-то богу! Он передоверил командование Удино — маршалу, только что перешедшему на сторону короля,— раз перешел, пусть и несет такую повинность! Коня, коня! До сих пор он помнит, какую ему тогда подали лошадь: настоящего арабского скакуна, достойного нести на себе принца крови, и как он помчался прямо, прямо по улице Ришелье в Оперу. Сколько мечтал он там, на Друри-Лейн, о Парижской Опере! Эмигранты, словно сговорившись, твердили об Опере, как о каком-то потерянном рае. Парижская Опера! Как будто она была главным магнитом всей жизни Шарль-Фердинанда; отвоеванная Франция для него была прежде всего Парижской Оперой. Он возвращался во Францию как завоеватель, как победитель, а что же бывает первой наградой победителю? Юная красотка! Разве не так? Зал был переполнен, сплошь белые кокарды. Музыка. Ложи. Толпа. Кто же предложил ему свой бинокль? Кажется, дама, сидевшая в соседней ложе вместе с австрийцем. И сразу же в кругу танцовщиц он увидел ее, козочку, отмеченную среди прочих, эту девочку, которая вместе со всеми фигурантками делала на сцене какие-то неопределенные движения. Что же давали в тот вечер? «Свадьбу Гамаша», конечно,— балет, решивший его судьбу. Виржини! Это было его победой, возвращением из изгнания, торжеством его фамилии. И какая выдалась тогда весна, благоуханная весна 1814 года, как пышно расцветала сирень в саду его любовницы, окружавшем маленький особнячок, подаренный ей маршалом Наполеона, как прекрасна была тогда курсельская сирень! Они разыгрывали в жизни продолжение «Свадьбы Гамаша», перепробовали все старомодные утехи, которых он не испытал юношей по милости этого народа, этих санкюлотов: в Монсо они возродили трианонские игры Марии-Антуанетты.

Виржини звала его «мой пастушок», а когда наступило лето, они гонялись друг за дружкой по люцерновым лугам, творили любовь под вольным небом.

Шарль-Фердинанд забыл все на свете — двор, охоты, политику. В этот час, когда ему вновь предстояло отправиться в изгнание, Виржини олицетворяла для него торжество королевской власти, Францию; он забыл всех на свете, забыл Бургуен... и старого короля в язвах, который, лежа в постели, приподнимает рубашку и подставляет свои недужные ягодицы костлявым, скользким от белесой мази пальцам иезуита.

* * *

— Послушай, Франсуа, ты совсем с ума сошел, зачем я только разрешила тебя впустить... Разве ты сам не понимаешь, как нужно обращаться с женщиной, только что оправившейся после родов? Оставь меня в покое! Нет, ты только вообрази, а вдруг кто-нибудь войдет!

И впрямь она была прелестна, еще более, чем всегда, прелестью молодого материнства, с синевой усталости под черными глазами, а эта белизна рук, плеч, маленькой трепещущей груди, набухшей от прилива молока. Виржини лежала, откинувшись на смятые подушки, по которым рассыпались пряди ее чудесных черных волос, в спальне было полутемно — светильники возле тускло поблескивавшего трюмо погасили, и только одна свеча окрашивала в золото сгущавшуюся по углам тень и белизну обнаженных плеч... И ей еще не было полных двадцати лет — двадцать ей исполнится только в июле. Долговязый Франсуа, веселый и глупый, как щенок, родился в декабре 1795 года. Виржини всегда смотрела на него как на ребенка... Когда в тот раз его высочество герцог Беррийский устроил ей жестокую сцену, она с чистым сердцем ответила: «Франсуа? Да ведь он же не мужчина!» Однако нынче вечером ей почему-то было боязно.

Она глядела на него, на своего Франсуа. А все-таки он прехорошенький. Блондинчик, и вид у него до того свежий, будто его только что вынули из футляра. Взрослый мальчик, еще не отдающий себе отчета в своей силе. И слава богу, ничем, буквально ничем не похож ни на Бессьера, ни на Шарль-Фердинанда! Они были знакомы давным-давно, с самого детства. Внимания она на него не обращала, но ей ужасно, просто ужасно недоставало бы его, если бы он... Нет, конечно, всерьез она его не принимала. Само собой разумелось, что Франсуа ее любит, ну и что из этого?

Так шло вплоть до того дня, когда ей рассказали, что его встретили у Фраскати с какой-то девицей. Даже странно, как это

известие на нее подействовало. Почему вдруг на нее налетело безумие? Тогда она была уже в тягости,— возможно, это обстоятельство и толкнуло ее на безрассудный шаг... Произошло это в саду, она вдруг поцеловала его на балконе, что над конюшнями. Там особенно хороши деревья. А с улицы доносились крики торговца вафлями.

— Франсуа... я же говорю, что в любую минуту могут войти...

— Да брось,— ответил Франсуа,— я подкупил Пикара и осыпал подарками Лизу... В случае чего, если кто-нибудь будет подниматься по лестнице, она кашлянет, а я спрячусь в уборной и буду ждать.

Да, он был прекрасен, как сама юность, это вам не Бессьер, грубый рубака с багровым затылком, не герцог — маленький толстяк с выпученными рачьими глазами. «Странные все-таки существа мужчины,— достаточно просто прикоснуться к руке, и, того гляди, его удар хватит. Вот Франсуа — совсем другое дело. Ласковый мальчик. До чего же мне нравится, что между передними верхними зубами у него такая милая щербинка». Пробрался он в ее спальню тайком, едва только унесли крошку. Хорошо запомнил часы кормления!

— Нет, Нини, так больше продолжаться не может... Ты должна быть моей, только моей...

О господи, все одно и то же! Что он, совсем с ума сошел? А кто будет оплачивать дом, хозяйство, расходы семьи, туалеты?

— Стало быть, ты предлагаешь мне шалаш и любящее сердце? Но ведь я твой шалаш отлично знаю! Нет, скажи, можно вообразить меня в квартире твоего папаши на улице Сен-Дени? И потом, ты же отлично понимаешь, я люблю его, да, люблю моего Шарля! Пожалуйста, не строй такой похоронной физиономии. Тебя я тоже очень люблю... Но пойми, это совсем разные вещи. Ах нет, только не плачь!

Когда разговор принимал такой оборот, он всякий раз прибегал к последнему и, как ему казалось, наиболее вескому аргументу: предлагал ей руку. Ребенка он усыновит. У них будут еще дети, свои... Эта песенка давным-давно была ей знакома. Безумец! Вступить в брак! До чего же он все-таки буржуа! Члены королевской фамилии — это совсем другое... Тут уж не важно, брак или не брак. Женился же в конце концов Людовик XV на госпоже Помпадур.

— Кстати, когда я родилась, папа тоже не был обвенчан с мамой... Ну и что из-за этого переменилось? Сначала рожают детей, а там будь что будет!

Тут он пустился в политические рассуждения. Разразился филиппикой против Бурбонов. Но и за Наполеона он не стоял: за-

чем его маршалы соблазняли молоденьких, невинных девочек с помощью уговоров, посулов и особняков. Хорошо еще, что не всех они оставляли с ребенком на руках, как Дюрок оставил Биготтини... Нет, только Республика! Необходимо отдать дворцы народу, открыть двери Оперы для неимущих; ты сама увидишь, как они будут рукоплескать актерам. Короли — это чужеземцы на нашей земле, а Наполеон — это война. Нам же нужно только одно — мир и Республика. Тогда можно будет сказать всему свету: живите с миром в ваших собственных странах. Никто больше не будет жечь ваши города, никто не опустошит ваших нив. Испанцы станут хозяевами Испании, а пруссаки — хозяевами Пруссии. Аристократы пусть снова убираются в Англию,— их там любят. Бог их храни! Не надо нам больше ни войны, ни императора, ни короля! Знаешь, что говорит Огюстен... Что власти дворян, священников и военных пришел конец: наступило то время, когда государство должно перейти в руки класса, производящего ценности... пусть те, кто мостит дороги, роет канавы, выделывает шелк и железо...

— Не говори глупостей, Франсуа, а то я рассержусь! Твой Огюстен — урод, противный, несносный урод! Ты, значит, хочешь, чтобы меня послали на гильотину, как госпожу Дюбарри? И не забывай, что крошка тоже Бурбон... Следовало бы прогнать тебя прочь за такие речи! Нет, нет, не тискай меня! Дурачок! Ты мне больно делаешь, грудь больно!

Вдруг она тревожно приподнялась на постели: послышались быстрые шаги, какой-то приглушенный шум, кашель. Голос Лизы за дверью произнес:

— Сударыня, его высочество идут!

Его высочество! О, республиканец не стал мешкать: он уже юркнул в уборную, примыкавшую к спальне; путь Бурбонам был открыт.

— Любовь моя,— простонал Шарль-Фердинанд,— нас разлучают навеки!

Виржини слабо вскрикнула. Она еще не понимала, что происходит. Она впервые видела его высочество в парадной гвардейской форме, и он ей сейчас даже понравился. Весь в сине-алом. Петлицы, оканчивающиеся серебряным треугольником. Серебряные эполеты. Аксельбанты в виде трилистника, золотая каска с черным конским хвостом. Белые лосины. Все-таки Шарль нечто совсем иное, чем Франсуа... К тому же патетический тон Шарль-Фердинанда взволновал ее:

— Нас разлучают? Кто разлучает? Наш дядя?

Всякий раз, когда Виржини называла старого Людовика XVIII «наш дядя», герцог смеялся до слез. Но только не сейчас. Он повторил:

— Нас разлучают навсегда, бедное мое сердечко...

Виржини начала плакать, заметалась в постели: объясни немедленно, нельзя же так пугать человека! И она снова упала на подушки, еще более хорошенькая, чем всегда. Глядя на нее, он окончательно потерял рассудок. Эти молодые, припухшие от молока груди, плечо, нежное, как персик...

— О Шарль, оставь, оставь меня! Ты отлично знаешь, что я еще больна... и потом от этого может испортиться молоко!

Опершись одним коленом о край кровати, он плакал своими всегдашними восхитительно крупными слезами, которые текли из глаз, текли из глубины столетий.

— Бедное мое сердечко! — твердил он, не находя других слов.

А Виржини, утопая в подушках, посматривала сквозь разметавшиеся пряди своих великолепных волос на плохо прикрытую дверцу уборной.

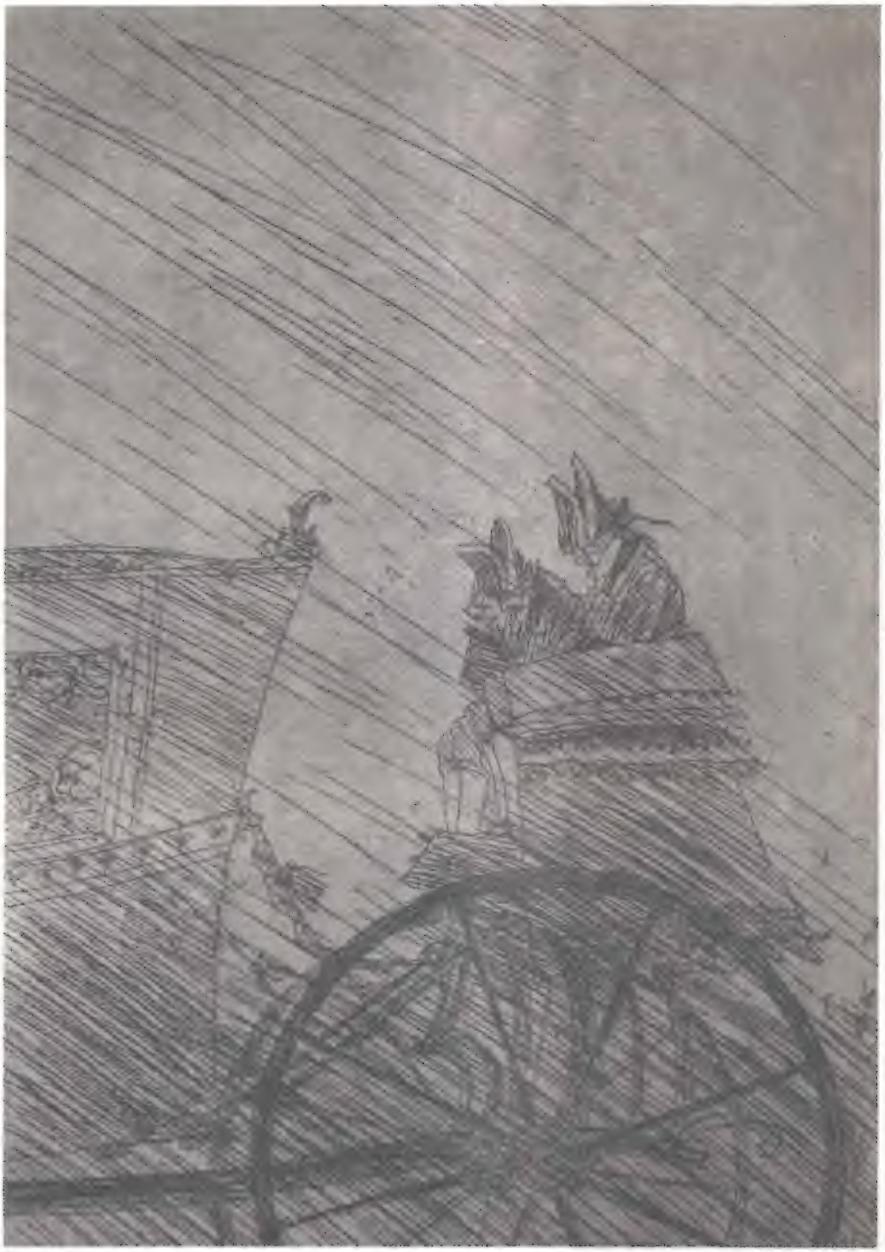
* * *

Когда двери салона распахнулись, дамы негромко вскрикнули, а игроки в бульот, обернувшись, поглядели поверх очков. Все ставки перешли сейчас к господину Тушару.

На пороге стоял герцог Беррийский, поддерживая левой рукой бледненькую Виржини в белом капоте с массой рюшей у ворота. Он вытянулся, стараясь казаться повыше, и мертвенный оттенок его беззвучно шевелившихся губ поразил всех присутствующих. В салоне ничего не знали об его визите, он поднялся прямо в спальню к Виржини, оставив своего адъютанта господина де Лаферронэ под аркой ворот. Впоследствии каждый передаст по-своему, что произнес он наконец, его первые слова,— ибо память человеческая склонна героизировать обыденные фразы. Но в действительности первое его восклицание не имело никакого отношения к событиям. Он воскликнул:

— Опять этот проклятый иезуит? Что он тут делает, какого черта он сюда явился в такой вечер, как сегодня? За кем он шпионит? В чью пользу?

И все присутствующие изумленно оглянулись на преподобного отца Элизе. Но его высочество не мог терять зря времени, его ждут на заставе Этуаль, да, впрочем, возможно, его и не так уж интересовал ответ на заданный им самим вопрос. Отец Элизе, скорчившись, юркнул за спину хозяина дома, и неестественно вытянувшееся лицо господина Орейля, пожалуй, яснее, чем последовавший засим разговор, свидетельствовало о степени всеобщего изумления. Впрочем, известие, принесенное его высо-



чеством, было столь важным, что всякого бы на месте куафера тоже прошиб пот.

— Нынче ночью мы покидаем Париж и никогда сюда не вернемся. Король уже мчится по дорогам Франции. Сейчас он еще не достиг Сен-Дени. Повсюду измена. Армия жаждет диктатуры. Неблагодарный народ приветствует корсиканского бандита, забыв о мире, принесенном Бурбонами, о всех благодеяниях, которыми они осыпали народ в течение года... Поручаю вам мою Виржини и мое дитя. Не забывайте, что в жилах его течет кровь Генриха Четвертого. Увы, увы, бедное мое сердечко, нам не суждено никогда больше свидеться.

Среди всеобщего оцепенения раздался вдруг голос Мари-Луизы Орейль, которая спросила, вернее просто сказала, не обращаясь ни к кому и не ожидая ответа:

— А как же полторы тысячи франков в месяц?

Госпожа Персюи вдруг громко зарыдала, очевидно решив, что в данных обстоятельствах можно только рыдать. Мадемуазель Госселен и мадемуазель Подевен бросились к Виржини. Господин Орейль выпрямился во весь свой богатырский рост и окончательно заслонил притаившегося за его спиной иезуита; первый Александр стал машинально тасовать карты, второй Александр вдруг принялся ковырять в зубах ногтем большого пальца; один лишь господин Тушар не встал из-за стола и сидел не шевелясь, прикрыв ладонями кучку выигранных ассигнаций; да еще застыл в неподвижности друг мадемуазель Госселен-младшей: он мучительно искал нужные слова и нашел их только к следующему утру. Виржини судорожно всхлипывала. А бабушка Бургиньон, по обыкновению ничего не поняв, осведомилась во всеуслышание:

— О чем это говорит его высочество? На охоту собрался, да?

В салоне царило такое смятение, что никто даже не заметил обходного маневра иезуита, который, воспользовавшись тем, что госпожа Персюи и обе барышни — Подевен и Госселен — бросились к молодой матери, благополучно выбрался через незатворенные двери в прихожую. Там он подошел к Пикару и шепнул ему на ухо несколько слов. Слуга сначала отрицательно покачал головой, видимо отказываясь, но иезуит не отставал; он шептал что-то с самым ласковым видом, придерживая для верности лакея за бицепсы; наконец он извлек из кармана увесистый кошелек, что сломило наконец упорство его собеседника.

— За такие дела, преподобный отец, и с места слететь недолго!.. Разве что вы удовольствуетесь кабриолетиком да одной лошадкой.

Он, может быть, и удовольствовался бы, но надо ведь ехать быстро, чтобы настичь его королевское величество еще в Сен-

Дени. Кто бы мог ждать такого вероломства от этого толстяка короля, прикидывающегося таким добрячком? Скрыл все, и от кого же — от отца Элизе! Бросить его, когда корсиканец стоит у ворот Парижа! Стало быть, Людовик решил избавиться от его услуг? И это после всего, что сделал для него отец Элизе! Целые годы самоотречения, неустанных забот. Не говоря уже о деньгах, которые так ему до сих пор и не вернули! Да и нынче вечером, если он сидит здесь, на улице Валуа-дю-Руль, то разве не затем, чтобы услужить королю? Иначе стал бы он смотреть, как этот цирюльник режется в бульот с какими-то лавочниками, и поддерживать разговор со старой бабкой, глухой, как тетерев, и с дурехой Мари-Луизой! И все затем, чтобы подать небольшой рапорт в Павильон Флоры насчет утех нашего возлюбленного племянника... Согласитесь, тут требуется немалая доза преданности, а получаешь за все про все из казны десять тысяч франков и комнату во дворце, тогда как этот осел, Беррийский, дает своей танцовщице восемнадцать тысяч; правда, иезуиту положена еще карета и пара лошадей, но на что они ему, он ими и не пользовался никогда, вот только сегодня они действительно понадобились ему до зарезу!

V

СЕН-ДЕНИ

Нынче вечером господин Бенуа, мэр города Сен-Дени, улегся спать пораньше, и не удивительно, что, когда его разбудили незадолго до полуночи, он разразился самой что ни на есть отборной бранью. Тем паче что разбудили его по распоряжению командира Национальной гвардии господина Дезобри, которого мэр терпеть не мог, хотя их связывали общие деловые интересы. Господин Дезобри был мэром города еще до 1811 года, и это он в прошлом году заупрямился и решил защищать «нашу крепость», как он выражался, против союзных армий. По его вине чуть не перебили всех жителей Сен-Дени. А теперь Дезобри, совместно с Бенуа владевший мельницами, весьма доходными с тех пор, как с их общего согласия там была установлена новая паровая машина на английский манер, явно злорадствовал и даже велел сообщить своему преемнику-роялисту, что скоро через Сен-Дени проследует его королевское величество. Эту новость уже успели принести гарнизону Сен-Дени квартирьеры маршала Макдональда, направлявшиеся на север подготовить квартиры для постоя войск, а полковник егерей рассказал об этом лично командиру Национальной гвардии.

По-видимому, господин мэр был единственным человеком в городе, мирно улегшимся в постель. Бредя под дождем по направлению к казармам — почтовая станция помещалась рядом,— господин Бенуа только дивился такому непостижимому столпотворению. Кареты, кареты, кареты... Кофейни забиты посетителями, орущими во все горло, на улицах стоят кучками и о чем-то горячо спорят пешеходы, и повсюду немыслимое количество военных: что сей сон означает? Неужели их еще не развели по квартирам? Парижскую улицу и улицу Компуаз сверху донизу запрудили экипажи всех видов и назначений, со всех сторон прибывали все новые и новые, словно бежали не только парижане, но даже Нормандия двинулась на Сен-Дени.

Уличные фонари лили тусклый свет на этот хаос людей, лошадей и колес. А тут еще косой дождь, сырой и холодный, глухое беспокойство во мраке, обыватели, разбуженные непривычным грохотом, прильнувшие к щелям в ставнях... Стало быть, верно, что его королевское величество удрал из своей столицы? Проходя по плацу перед казармой, где имелся небольшой артезианский колодец, у которого поили почтовых лошадей, и маленький фонтанчик, куда ходили за водой хозяйки, мэр с неудовольствием заметил за решеткой солдат и офицеров, стоявших вперемежку. Значит, воинской дисциплины больше не существует или как это понять? Оказывается, здесь были войска, входившие в Сен-Дени по Бовэйской дороге,— пехотинцы, забрызганные грязью и измученные после долгого перехода, между тем как первые отряды королевского конвоя, въехавшие по Парижской улице на взмыленных конях, маячили у входа в казарму; кое-кто из всадников уже спешился и теперь разминал затекшие ноги. Ясно, что зеваки успели сбежаться.

Напротив казарм помещалось питейное заведение под названием «У почтальона»,— там, казалось, все уже были в курсе дела. Господин Бенуа вошел, уселся и заказал себе стакан рома, сахару и горячей воды. Его и без того дурное настроение заметно ухудшилось при виде господина Дезобри, весьма демократически чокавшегося со своими гвардейцами. Явно желая насолить мэру, командир выкрикивал что-то насчет Маленького Капрала и графа Лилльского... Впрочем, трудно было понять, что он имеет в виду, провозглашая двусмысленные тосты к великому удовольствию громко хохотавших солдат, а также посетителей за столиками и у стойки. И все это безнаказанно сойдет ему с рук: слишком тесно их связывают деловые интересы, не может же в самом деле мэр пойти и донести на своего компаньона! Да и кому... в данный-то момент? Сидевшие за столиками рабочие распевали крамольные песни и перекрикивались через весь зал. Сюда пришли дубиль-

щики, распространявшие острый запах кожи, с темными от дубильных растворов ладонями, красильщики, красящие сукна для военных мундиров, которые в их глазах были не чем иным, как маскарадным одеянием, мастера финифти от Ренэ Мартена, работающие на мозаичной фабрике «Мадлен», краснодеревцы Граффэ, собиравшие декорации для театра, рабочие с содовой фабрики, где впервые применялось изобретение Никола Леблана, множество обывателей, чиновники и лавочники. Женщин — ни одной, за исключением служанок.

Что же это такое? Неужели все эти люди забыли, что завтра понедельник и что им следует вовремя явиться к месту работы? Пусть заведение не закрыто в столь поздний час,— это понятно: ведь дилижансы все еще ходят. Хотя в свете последнего распоряжения...

Во дворе, несмотря на непрекращающийся ливень, уже готовили перекладных лошадей. Известие о скором приезде короля лишь подтвердило и усилило слухи, ходившие по городу с самого утра. Начал прибывать пешком королевский конвой. Состоял он из молодых офицеров, еще не успевших обзавестись конями, зато ружья им в последнюю минуту роздали в Орсейской казарме. Впрочем, вид у них был вполне бравый, хотя плащи промокли насквозь, да и привычки они не имели к пешим переходам с полной выкладкой. Откровенно говоря, за час они сделали не больше двух лье и все-таки сияли от гордости — еще бы, ведь это вопрос чести. Это была рота князя Ваграмского, ее выслали вперед в одиннадцать часов вечера. Командовал ею барон Лакур, и он тотчас явился к генералу Мезону, губернатору города Парижа, командующему первым военным округом. Мезон приехал сюда из Вильжюива, где раньше помещался Генеральный штаб, дабы дожидаться в Сен-Дени прихода войск, если таковые изволят прибыть. Вот именно, если изволят! Ибо он не строил себе иллюзий: к югу от Парижа дело обстоит плохо, и, по слухам, целые полки позволяют себе оспаривать приказы, идущие сверху. Впрочем, подобные умонастроения для него были не новы: он уже видел нечто подобное в 1814 году в Валансьене и в Лилле. Бонапарт тогда только что отрекся от престола, и достаточно было выкатить на дорогу пушки, дабы остановить поток дезертиров... Приказы придется отдавать самому. Так он и сказал усталым тоном барону Лакуру, помощнику командира роты князя Ваграмского, запрашивавшему у него приказов. А от кого приказы?

— Главнокомандующих у нас, сударь, хоть пруд пруди — и герцог Беррийский, и Макдональд, и Мармон... А кто на самом деле командует? Только не говорите мне о военном министре! Уж этот-то!

Кларк был жупелом для Мезона: он не мог простить Кларку, то есть герцогу Фельтрскому, писем, которые тот слал ему, тогдашнему военному министру при императоре, критикуя его поведение во время отступления во Франции, требуя от него идиотских наступательных операций в направлении Антверпена тогда, когда он, Мезон, решил защищать границы с помощью искусного маневра в районе Лилля. Не прошло и года, и этот болван снова свалился ему на голову, но сейчас в качестве министра Людовика XVIII! Приказы? Приказы Кларка, что ли?

И подумать только, что Мезон торжествовал, когда сняли Сульта! А кого назначили на его место? Кларка! Впрочем, он тоже приложил к этому руку. Сульт в бытность свою министром преследовал Мезона и совершил грубейшую ошибку: сократил количество войск, находившихся в распоряжении губернатора города Парижа, загнал королевских егерей в Бетюн, и нынче, в воскресенье, вы лично могли убедиться на площади Людовика XV, какие плоды принесла его деятельность... Не говоря уже о ссоре между их женами... И все пошло на пользу кому же — Кларку! Приказы от Кларка? Такие вот кларки умеют только критиковать, а распоряжений от них не ждите. В глубине души Мезон даже пожалел о Сульте, которого королевская фамилия убрала с поста только на основании слухов. И он еще этому сам способствовал.

Никто ничего не знает. Король должен вскоре прибыть в Сен-Дени. Остановится он здесь или проследует дальше, но куда? В Руан, в Булонь, в Дюнкерк? Словом, генерал был в весьма кислом настроении отчасти и оттого, что он в прошлом году раньше всех императорских маршалов приветствовал прибывшую королевскую фамилию. По собственному почину он из Лилля, где командовал войсками, двинулся в Булонь, навстречу его королевскому величеству...

— Лично мой счет с Бонапартом сведен,— сказал он.— А маршал с вами?

Странный вопрос! Князь Ваграмский сопровождает короля: сейчас он прибудет сюда вместе с его величеством. Мезон недолюбливал маршалов и Александра Бертье, пожалуй, больше, чем всех прочих. С отсутствующим видом он осведомился о здоровье госпожи Висконти, отчего барон досадливо поморщился: что за бестактное вторжение в чужую интимную жизнь, да еще в такой момент!

— Князь Ваграмский, видите ли, не считает нужным вводить меня в курс дела, но княгиня, должно быть, уже находится в Гро-Буа.— Лакур добавил, что покинул он Орсейскую казарму в одиннадцать часов и его офицеры были весьма взволнованы, узнав, что их не направляют в Мелен, а приказывают перейти Сену и

через площадь Карусель выйти на улицу Ришелье... Как волновались высыпавшие на улицу парижане! Лично он получил весьма туманные приказы и повиновался им не рассуждая, не задав ни единого вопроса.— Но что это такое? Неужели оставляем Париж?

Генерал Мезон и не подумал ответить на вопрос барона Лакура. Коль скоро рота князя Ваграмского уже здесь, в Сен-Дени, пусть дожидается короля. Во всяком случае, он написал маршалу Макдональду, что находится в Сен-Дени и поступит в полное его распоряжение. Но прибудет ли Макдональд вместе с королем?

— Представления не имею,— ответил Лакур.

Мезона грызла тревога. Неужели в прошлом году он допустил грубый просчет? Ведь он хотел лишь одного: сохранить преемственность армии... По крайней мере, так ему казалось сейчас. Ибо разве не ради преемственности армии обратился он сначала с письмом к шведскому королю, под чьим командованием состоял ранее? Или им двигало убеждение в том, что, ежели Бернадотт встанет во главе Франции, его личная карьера от этого только выиграет? Тогда у него на душе накипело слишком много против императора, да еще Кларк подбавил. А главное, пожалуй, в нем говорила известная склонность к либерализму, столь плохо уживавшемуся с этими непрерывными, бессмысленными, обреченными на провал войнами, с деспотизмом Наполеона. И хотя в первые минуты он верил, что можно заменить императора Бернадоттом, как раз он, Мезон, был в числе тех, кто помог Людовику XVIII понять необходимость хартии... Его величество возвел Мезона в графы и пэры Франции, ему присвоили следующий чин и назначили губернатором города Парижа, командующим первым военным округом, куда входили департаменты Эны, Эры-и-Луары, Луаре́, Уазы, Сены, Сены-и-Марны, Сены-и-Уазы. Но сегодня его прежде всего и больше всего беспокоила армия. Что это за генерал, если армия против него? Я не говорю простые солдаты... но офицеры. Не прошло и десяти минут после ухода барона Лакура, как Мезону доставили эстафету от короля. Мезон сломя голову помчался на Казарменный плац и успел добраться до места как раз в тот момент, когда позади взвода кавалеристов показалась карета короля, запряженная шестеркой лошадей, на задней лошади слева сидел верхом форейтор, а на крытых козлах — два лакея в ливреях, совсем как в Тюильри. Сопровождавший Мезона лейтенант егерей, с факелом в руках, выступил вперед, как раз когда открылась дверца кареты, и присутствующие увидели Людовика XVIII и рядом с ним герцога Дюра, а на переднем сиденье — господина де Блакас и князя Пуа. Позади цугом тянулось штук двадцать карет под эскортом серых мушкетеров, разъезжавших взад и вперед вдоль всей колонны. Отряд роты князя Ваграмского

вышел навстречу своему командиру и построился цепью. У въезда в город военные пытались повернуть частные экипажи направо, к собору, или налево, к Гельдрской площади, где их опять-таки оттесняли. Раздались даже нестройные крики: «Да здравствует король!»

Перед казармой вельможные путники, выбравшись из-под груды покрывал, как по команде обернулись на свет факела, чадившего в руке лейтенанта егерей Мезона — высоченного дылды, и увидели самого Мезона, склонившегося в поклоне, и еще какого-то офицера королевского конвоя,— тот почтительно держал в руках каску и непрерывно тряс головой, так как капли дождя, стекавшие со лба, застилали ему глаза. Какой-то толстяк старался пробиться поближе к карете и попасться на глаза королю, но гвардейцы бесцеремонно отпихнули его, не подозревая, что перед ними сам мэр города господин Бенуа, которого, выходит, зря разбудили; а из окон кофейни за тщетными попытками своего компаньона, расточавшего впустую улыбки и поклоны, злорадно наблюдал господин Дезобри, даже не потрудившийся встать из-за стола и расстаться со своими собутыльниками. Не могло быть и речи о том, что король выйдет из кареты: пришлось бы нести его в кресле. Его спутники — почтительности ради — тоже вынуждены были остаться в экипажах, хотя им хотелось размять затекшие ноги. И к тому же такой дождь... Впрочем, сменные шестерки были готовы, и их уже перепрягали. Мезон успел только сказать:

— Гвардейцы князя Ваграмского не получили никаких приказаний.

Его величество недовольно кашлянул, а князь Пуа, высунувшись из дверцы, показал пальцем на кареты, следовавшие цугом за королевским экипажем.

— Ну вот и обратитесь к Бертье, генерал! Он где-то там.

Князь Пуа никогда не говорил ни «князь Ваграмский», ни «герцог Невшательский». Он никак не мог привыкнуть к титулам, дарованным Революцией, и звал Бертье просто Бертье, а герцога Фельтрского — просто Кларком.

Пока форейторы и кучера суетились вокруг королевской кареты, Теодор Жерико потихоньку отъехал в сторону и поискал глазами, где бы напоить коня. Вовсе не потому необходимо было дать напиться Трику, что они проехали два с четвертью лье,— просто сегодняшний день выдался трудный и для людей и для коней. Теодор заметил наконец колодец и соскочил на землю. Но приблизиться к колодцу оказалось не так-то просто: кучера наполняли водой ведра, чтобы напоить лошадей, которых здесь не перепрягали. Кто-то из королевского эскорта указал ему дорогу к водопою: если поторопиться, то еще можно поспеть вовремя. Десяток мушкетеров,

ведя своих лошадей под уздцы, пытались пробраться мимо кортежа вниз, по улице Компуаз. Фонари бросали на всю эту картину фантастические пятна света, дождь вдруг ненадолго утих, на небе среди тучек даже выглянул месяц — мертвенно-бледный и какой-то одутловатый: казалось, он лениво причесывается спросонья.

* * *

Бывают решения, которые принимаешь, и бывают такие, которые выполняешь... Когда Теодор расстался с юным Тьерри, он твердо решил: пусть королевская фамилия уезжает себе подобру-поздорову, он же, воспользовавшись ночным мраком, доберется до Новых Афин, а там и до своей постели в мезонине... По мотивам, которые руководили им в 1810 году и вновь восторжествовали, да и по некоторым другим, но, возможно, и потому, даже наверняка потому, что он вдруг снова стал с такой силой думать о живописи. Перед его внутренним оком вставали картины, которые он непременно напишет, он видел их во всех подробностях,— мучительно точно. Им внезапно овладело желание испробовать все сызнова, отнюдь не следуя советам, на которые не скупились доброхоты, не принимая на веру замечаний критиков, но, напротив, еще более решительно утверждая и отстаивая именно то, в чем его упрекали. Как-то ему рассказали одну историю: женщина, переодетая в мужской костюм, ловила путешественников во дворе почтовой станции, отводила их в гостиницу, а там подносила им стакан вина с подмешанным в него снотворным порошком, после чего убивала их ударом молотка и грабила. Он представлял себе это как некий современный вариант истории библейской Юдифи... его Олоферном будет отпрыск патриархальной семьи, прибывший в столицу из нормандской глуши; таких вот деревенских выкормышей он достаточно навидался в тех краях, когда жил у своего дяди-цареубийцы. Пусть он будет еще совсем молодым, правда, слегка раздобревшим на деревенских хлебах, но зато писаный красавец,— тогда преступление будет еще более жестоким: ведь, если говорить по правде, Олоферн — просто старый бородач, который служит всеобщим посмешищем. Обстановка гостиничного номера позволит испробовать один из давно задуманных эффектов освещения, преступница в своей завлекающей прелести будет одновременно как бы игрою теней и вполне реальной женщиной, женщиной нашего времени, возможно даже креолкой, и взгляд у нее будет, как у Каролины, когда она заметила его красный мундир... Композицию он построит на двух больших светлых пятнах, фоном для которых послужит вульгарность обстановки, ее грязный колорит. И, быть может, еще белые простыни, которые откидывает, из которых пытается вы-

браться полуобнаженная жертва, уже лишившаяся сил. Самые обыкновенные простыни, какие вам дают во второразрядных гостиницах,— из грубого, жесткого полотна, с еще неразошедшимися после глажения складочками. Мужчина — рыжий, ноги у него, как у кавалериста, с желваками мышц. Он должен быть вроде как помешанный от обманутого желания.

Такого рода мысли преследовали Теодора, и вдруг с той же легкостью в его воображении возникала сцена драки кучеров в освещенной фонарями конюшне, среди поднявшихся на дыбы лошадей,— совсем как тогда, когда он зашел в тюильрийскую конюшню. Потом постепенно он вновь как бы прозрел, оглянулся вокруг,— видения распадались. Он услышал голоса, разговоры, ощутил присутствие народа вперемежку с солдатами, что-то кричавшими, кого-то проклинавшими; увидел, как национальный гвардеец швырнул на землю ружье, выкрикивая что-то под рукоплескания прохожих, которые бросились обнимать его, понесли на руках. Увидел ярким пятном выделяющиеся на сюртуках и блузах трехцветные кокарды или букетики фиалок, прикрывающие белые кокарды, а ведь рядом, в двух шагах, был Павильон Флоры, стояли войска — охрана короля. Те, что заполонили площадь Карусель, казалось, были охвачены непонятным волнением, которое, по всей видимости, даже не было вызвано речью какого-то штафирки, взобравшегося на решетку Тюильрийского сада и провозглашавшего что-то, чего Жерико не мог отсюда слышать. Пожалуй, впервые дождь не обращал людей в бегство; толпа росла с минуты на минуту, весь полуразрушенный квартал со своими строениями, скучившимися в глубине площади, казалось, подмигивал тысячью огоньков,— во всех окнах и дверях зажглись свечи,— и все вместе создавало впечатление тревожной суетни: грозные силуэты мужчин, подвыпившие девицы, беспрерывное снование каких-то подозрительных или излишне болтливых личностей. Целый отряд солдат повернул ружья дулом вниз, и когда мятежники подошли к кабачку на улице Сен-Никола, их встретили громом аплодисментов. «Какая разница между ними и мной?» — с чувством отвращения подумал Теодор. Ведь он-то пришел сюда за Триком, оставленным у сторожевой будки. И он зашагал к казарме...

Он принуждал себя думать только о живописи — и ни о чем другом. Об игре оттенков. О том, что человеческое тело, написанное даже в желтоватых тонах, вдруг приобретает живое тепло. О том, что умелый выбор сюжета позволяет, например, изображать болезнь, смерть, раскрывая анатомию,— другими словами, позволяет достичь той правды, какая недоступна при изображении здорового человека, извиняет художника, отошедшего от традиционной красоты греков, которой никогда не коснется гниение, не по-

разит болезнь. Между небесами и человеком бывают такие минуты, когда они сливаются воедино всей яростью гроз и чувств, когда молния распарывает гладь моря, как нож или скальпель вспарывает живую плоть...

В Сен-Дени оказалось еще легче, чем тогда, на площади Карусель, отдаться игре теней и фигур: здесь не требовалось даже воображения,— нужно было только глядеть и видеть. Путь к колодцу напоминал какое-то мрачное празднество, без конца малеванный и перемалеванный холст; толпа, факелы, жалкие домишки с узкими фасадами, вдруг отступающий мрак, тривиальность лиц и одежды,— все это до глубины сердца взволновало Теодора. Если бы ему не нужно было вести Трика на водопой, он остановился бы здесь и глядел, без конца глядел на этого оборванца, стоявшего у тумбы на углу улицы Компуаз,— он казался центром некоей огромной композиции, и лицо его словно оцепенело от всего происходившего в эту ночь, в эту ночь, что, казалось, похитила у него толпа бегущих, сталкивающихся друг с другом людей, непонятная толпа. А у ног оборванца тихонько скулила и тряслась всем телом маленькая белая собачонка с желтыми подпалинами...

Итак, он добрался тогда до сторожевой будки у входа в Лувр... Сейчас, в Сен-Дени, он вспоминал об этом так, словно прошло с тех пор не четыре часа, а долгие годы, словно то было в раннем детстве. Не доходя до Лувра, он наткнулся на двух гвардейцев конвоя, которых случайно видел несколько дней тому назад во время драки неподалеку от Мадлен. Шли они со стороны набережной. Оружия при них не было, даже сабли или шпаги не было, но Теодор не сразу это понял. Шли они неуверенно, тревожной походкой, куда-то торопились, и при виде мушкетерской формы оба шарахнулись в сторону. Сомнений не оставалось: они пытались дать тягу. Теодор заговорил с ними таким тоном, будто ничего подозрительного не заметил, спросил, куда они идут. Гвардейцы были до смешного непохожи друг на друга: один — высокий и тощий, другой — низенький, и шагал он тем тяжелым шагом, который выдает жителя деревни. Оба узнали Жерико и не могли выдержать притворной игры. Они умоляли отпустить их, и оба говорили глухими, придушенными голосами, и у обоих в глазах стояли слезы. Как, и это королевские гвардейцы! Дезертиры! Они подхватили мушкетера под руки, заклинали его войти в их положение. Говорили они оба разом, перебивая друг друга. И приводили самые жалкие доводы. Оба они были дворянского рода из Лангедока, один — уроженец Тулузы, другой проживал под Родезом. Они никак не могли решиться последовать за королем, все бросить, быть может даже покинуть Францию, отправиться за рубеж. Их семьи никогда не эмигрировали, и один, уехав, оставит без средств мать и сестру,

а у другого — он обручен, у него невеста... Горько кляня себя за пустое тщеславие,— кой черт дернул их записываться в королевскую гвардию! — они кричали, что и Париж — это почти изгнание... а теперь куда еще их потащат? Ведь в тот раз это длилось двадцать лет без малого! А ну-ка посчитайте, сколько им будет лет, когда они вернутся на родину,— вся жизнь пройдет. И один из них говорил о своем родном крае, как говорят о женщине: у них там такое солнце, что он просто не в состоянии решиться на отъезд в Англию. Жерико их отпустил. Они рассчитывали временно укрыться у одной дамы полусвета, которая сдавала свой дом под игорный клуб.

...Теодор пересек Оружейную площадь, где толпились беженцы, стояли экипажи, прошел мимо здания Почетного Легиона и тут наткнулся по меньшей мере на добрую сотню кавалеристов, ведущих своих лошадей к водопою. Трик заржал. Потерпи, потерпи чуточку, голубчик! Тео потрепал его по холке. В этой толкучке, где парни без зазрения совести старались обмануть друг друга и пробраться к водопою без очереди, Теодор особенно четко вспомнил арку Лувра, поразивший его тогда контраст между темной площадью и бледным светом факелов под сводами арки, свою встречу с дезертирами на последнем рубеже мрака и позора. Все этим вечером для его глаз и для его памяти становилось картиной, живописью. В одиннадцать часов над одной из черных труб, водруженных на крыше Тюильри, внезапно возник вихрь пламени и искр,— королевское жилище как бы увенчала огненная корона; и вдруг со всех концов площади толпа бросилась к дворцу. И хотя оказалось, что это просто-напросто жгли дела и бумаги, пламя тянулось к людям, как руки, взывающие о помощи. Кареты, отосланные в семь часов вечера, еще не вернулись, но у площади Карусель грузили на повозки ящики с серебром и драгоценностями. Начальники охраны скликали своих людей уныло-пугливыми голосами, призывали часовых, и те окружили повозки: без сомнения, опасались, что славные наши парижане не побрезгуют расхитить королевское добро. На набережной серые мушкетеры на конях выстроились цепью, отрезав народ от дворца. Однако даже тогда Теодор еще не принял окончательного решения — не следовать за королем. Ведь живопись, искусство — это не сестра или невеста. Когда сумрак плотно окутал крыши, время вдруг потянулось нескончаемо долго, люди утомились. Вокруг дворца вновь воцарилось спокойствие. Поздний час и непогода наконец рассеяли толпу. Стало совсем темно, хоть глаз выколи. Ветер раскачивал огромные деревья, растущие вдоль Сены. Под его мрачный вой кавалеристы продолжали охранять подступы к Павильону Флоры. Сидя в седле под секущими струями дождя, Теодор мечтал нарисовать кар-

тину пожара. И когда около полуночи мушкетеры, стоявшие у входа в Павильон Флоры, увидели, как подъехали кареты и перед этим скопищем теней и упряжек в дверях дворца показался опиравшийся на господина де Блакас и герцога Дюра король,— боже мой, да неужели это король?.. Когда медленно и с нескрываемым мучительным усилием стал спускаться с лестницы старый грузный человек, который, казалось, вот-вот упадет, с больной поясницей и в суконных сапожках, а за ним — маршалы, министры, принцы в окружении сбежавшихся национальных гвардейцев, гренадеров, кавалеристов и слуг,— зрелище это вдруг пронзило Теодора острием жалости. Возможно, один только он не расслышал слов короля, ставших отныне исторической фразой. Он едва успел посторониться, чтобы пропустить толпу лакеев и чиновников, устремившихся к низверженному монарху, началось всеобщее движение, волнение среди гвардейцев. Бегство стало невозможным. Все прежние выкладки были уже ни к чему. Он попал в эскорт, сопровождавший королевскую берлину.

Жребий был брошен.

* * *

В тот самый час, когда Трик, вздыхая и отфыркиваясь, с расстановкой пьет у колодца Сен-Дени, питаемого подземными водами Кру, в тот самый час у заставы Этуаль маршал Мармон, герцог Рагузский, которого сопровождает верхом барон Фавье, дает знак к отправлению четырем ротам королевской гвардии, собранным здесь с одиннадцати часов вечера. Его сиятельство граф Артуа вместе с герцогом Майе и графом Арманом де Полиньяк укатил в почтовой карете, а герцог Беррийский и маршал Мармон верхами возглавляли колонну. К ним без особого, впрочем, восторга присоединился и герцог Ришелье. Первый королевский камергер не мог не почуять, откуда дует ветер, и покинул свои апартаменты на улице Ройяль-Сент-Онорэ, которые граф де Рошешуар снимал у барона Луи и где граф с конца ноября жил вместе с герцогом и его адъютантом, господином Стемпковским, совсем еще молодым офицером, но с большими достоинствами, приставленным к особе Ришелье в возрасте пятнадцати лет; Иван Александрович Стемпковский еще накануне со слугой Ришелье уехал в герцогской карете, нагруженной наиболее ценными вещами, во Франкфурт, где находился Александр I, а это достаточно ясно свидетельствовало о том, что герцог не намерен связывать свою судьбу с судьбой бежавшего короля и что в деле установления порядка во Франции он нынче, как и в свое время, более полагается на армию русского царя, нежели на армию Конде. Так или иначе, сегодня вечером, ча-

сов около девяти, Ришелье, вернувшись из Тюильри, посоветовал Рошешуару быть начеку, и действительно, не успели они проститься, как Леона де Рошешуар вызвали к черным мушкетерам, стоявшим у заставы Этуаль. Они вместе сели на коней, а за ними тронулся кабриолет Леона де Рошешуар, который должен был следовать с обозом королевской гвардии. У Леона было странное чувство, как будто он вернулся на семь лет назад, в Одессу, к тем временам, когда Стемпковский еще не сменил его при дяде. Все-таки он немножко ревновал герцога к своему преемнику.

Около четырех тысяч человек вместе с гренадерами графа де Ларошжаклен, шедшими во главе колонны, тронулись с места в полном мраке под потоками воды, лившейся с небес. И так их уже промочило до нитки за время многочасового ожидания. Колонна по преимуществу состояла из гвардейцев личного королевского конвоя, из кадровых эскадронов роты герцога Граммона, которую герцог, состоявший при его величестве, передал восемнадцатого числа под командование Тони де Рейзе, была тут и рота де Ноайля, которой за отсутствием последнего командовал господин де Фурнель, шотландская рота под командованием де Вилье-Лафэй, заменившего герцога Круа д'Аврэ, тоже взятого в личную свиту короля, и рота Мармона, герцога Рагузского, командовал которой вместо него господин де Ламартори. Но основное ядро кавалерии составляли королевские жандармы во главе с графом Этьеном де Дюрфор, легкая кавалерия графа Шарля де Дама́ и серые и черные мушкетеры под командованием Лористона и Лагранжа. Однако продвижение колонны стесняла пехота,— и не столько кадровая, представленная ныне только Швейцарской сотней, вернувшейся из Мелена вместе с четырьмя артиллерийскими орудиями и состоявшей под командованием господина де Мортемар, сколько случайные пехотинцы, сведенные из различных рот, особенно же гвардейцы из личного королевского конвоя, не успевшие вовремя приобрести коней, и пятьсот королевских волонтеров, не присоединившихся в Венсене к бравому старцу Вьоменилю и двинувшихся в окружении королевского конвоя походным маршем прямо с площади Людовика XV, вслед за гренадерами Луи де Ларошжаклена. Этот колыхавшийся из стороны в сторону караван, где конные и пешие шли вперемежку, как бог пошлет, охраняли с тыла черные мушкетеры господина де Лагранж, прибывшие позже других из Селестенских казарм. Почти в полном молчании вышли они из Парижа. Но уже совсем глубокой ночью число экипажей, в которых удирала из столицы перепуганная знать, удвоилось. Топот ног, стук лошадиных копыт, мерный шум дождя, падавшего на размокшую землю,— все эти звуки сливались в трагическую симфонию, и в ее уныло однообразной и певучей мелодии растворялись мысли

этой массы людей, столь ошеломленных неожиданным поворотом событий, что теперь большинство было равно неспособно ни рассуждать, ни бояться. Они проходили одну заставу за другой, отмечая их про себя как безмолвные этапы кровавой игры в «Матушку Гусыню». Куда их направляют? Только командиры подразделений знали, что они идут в Сен-Дени.

Сезар де Шастеллюкс был как раз одним из этих знающих, он знал даже больше: господин Дамá шепнул тайком своему зятю название их последнего этапа — «Лилль». И Сезар не мог сдержать дрожи при мысли о роковом возвращении короля в тот самый город, имя коего присоединяли к имени Людовика вплоть до прошлого года, в часы горьких испытаний монарха. Зато Тони де Рейзе, ветрогон Тони, которому он бросил несколько слов по этому поводу, напротив, счел это весьма добрым предзнаменованием. Этим вербным воскресеньем совершался, только в обратном порядке, прошлогодний путь славы: скоро они достигнут Сен-Дени, где тогда Людовику Желанному поднесли на малиновой бархатной подушке золотые ключи от города в присутствии графа Нарышкина и его казаков... Сегодня вечером, в вербное воскресенье, начинались крестные муки короля. За ним скорбным путем пойдет вся эта армия, которая нынче ночью должна совершить воистину чудовищный переход. Сколько могут пройти, покуда доберутся до места, эти дворянские сынки, сопровождающие престарелого монарха? Что творится там, позади, в этом огромном, забывшемся тревожным сном городе, который лежит теперь уже за их спиной? Один серый мушкетер, присоединившийся к колонне у заставы Этуаль сразу же после того, как король покинул дворец, рассказал господину де Дамá, который дружил с его отцом,— так вот, этот мушкетер, по фамилии Удето, рассказал, что в ту самую минуту, когда королевский кортеж тронулся в путь, на Тюильри налетел бурный порыв ветра, ударился о стены, поднял с земли, завертел бумаги, песок, а из открытых окон вдруг донесся зловещий стук: это в Павильоне Часов ветром свалило огромное белое знамя — тем лучше, значит, не придется его снимать.

Возвратившись с Марсова поля, Сезар заехал пообедать домой, на улицу Бак. Там он усадил в карету свою несчастную сестру, госпожу де Лабедуайер, с пятимесячным сыном, а также свою жену, Зефирину, с дочкой, и велел везти их прямо в Буживаль, в замок госпожи де Мэм, дабы молодые женщины с детьми не оставались в Париже в наступающее смутное время. Сезара терзала мысль, которую ему неосторожно внушил его дядя де Лорж: почему это герцог Орлеанский так легко согласился дать под командование Шарля де Лабедуайер 7-й линейный полк. Можно сколько угодно утешать себя мыслью, что его рекомендация,

а также рекомендация Роже де Дамá сыграли свою роль... Кто-кто, а он никак не мог думать, что его зять взял этот полк с мыслью перейти на сторону Бонапарта. Ведь он отлично знал, что если в душе Шарля жили какие-то политические идеалы, то склонялся он скорее к Республике, чем к императору. Возможно, на этом-то и строил свои расчеты Луи-Филипп, герцог Орлеанский. А что, если Луи-Филипп с умыслом ставил во главе полков, находившихся в его ведении, людей, склонных участвовать в государственном перевороте? Когда Луи-Филипп был еще герцогом Шартрским в армии Дюмурье, разве не являлся он сам ставленником этого генерала и жирондистов против Людовика XVI? Ведь ходили же весьма странные слухи относительно мятежа в Ла-Фере и действительных намерений генералов Лаллеманов и Лефевр-Денуэтта... А король как раз поручил командование северными армиями, то есть теми, от которых зависела его судьба, своему кузену герцогу Орлеанскому... Правду ли говорят, что герцог был любовником баронессы Лаллеман? Нет дыма без огня...

Когда же они достигли равнины Сен-Дени, похожей больше на пустыню, однообразие которой лишь редко-редко нарушала купа деревьев, когда под копытами лошадей мерзко захлюпала грязь на размокшей от дождя немощеной дороге, когда небо совсем почернело и слева не стало видно даже очертаний Монмартра, Сезара охватила тревога, граничившая с ужасом. Он чувствовал себя ответственным за происшедшее и не мог себе этого простить: он преувеличивал роль Шарля, он был одержим мыслью о Шарле. Если бы 7-й линейный полк не перешел в Гренобле на сторону императора вместе с оружием и обозами,— возможно, тогда и Ней не изменил бы в Лионе. И то, что его зять причина этому... Но не столько мысль о том, что завтра Наполеон возвратится в Тюильри, сколько то, что вместе с ним в столицу въедет торжествующий Шарль, наполняло душу Сезара горечью и болью.

Равнина Сен-Дени овеяна кровавыми преданиями. Теперь по ней движется королевская гвардия, и всадники окончательно теряют терпение. То и дело приходится останавливаться, поджидать пехотинцев, перестраиваться, чтобы двигаться хоть относительно походным порядком. А все эти непривычные к тяготам походной жизни юнцы еле волочат ноги под своей ношей, уже начинают отставать. Что же будет через несколько часов? Дождь льет не переставая, льет на господ Лорж, Дамá, на Мортемаров, на Ларошжакленов, на всех этих именитых людей, льет на командиров, льет на подчиненных, связанных между собой кровными узами родства и браков, многовековой историей, терпящей крах, а Сезар — он пришпоривает коня, едет вдоль колонны, затем возвращается обратно. Какой-то всадник подъезжает к нему и неуверенно окли-

кает во мраке. Оказывается, это сам герцог Ришелье, ему нужен этой ночью попутчик, ему хочется выговориться.

— Сезар, это вы? Вообразите, дорогой мой, недавно, то есть в половине двенадцатого, я встретил на Елисейских полях господина Шатобриана, и он спросил, что я тут делаю. Сам он спокойненько шел домой, откуда — не знаю. Он и не собирается покидать Париж. Иду спать, говорит. Впрочем, в Павильоне Флоры Дюра и Блакас заверили его, уже после десяти часов вечера, что его величество не оставит столицу. Когда же я сообщил ему, что у меня совсем противоположные сведения, передал ему, что шепнул мне князь Пуа в Тюильрийском дворце, и сказал, что Рошешуар получил из Селестенских казарм приказ двинуться к заставе Этуаль, он стал ругаться как сапожник, уверял меня, что все это еще ничего не доказывает, смешивал Блакаса с грязью, впрочем, по-моему, еще недостаточно, и заявил, что возвращается к себе домой и не тронется из Парижа, пока не узнает об отъезде короля из самых достоверных источников. Известно вам, кстати, откуда он шел? Спускался по улице Руль, а ведь таким путем из дворца не пройдешь на улицу Риволи, где его ждала бедняжка Селеста! Сколько мужчин нынешней ночью вынуждены прощаться со своими женами!

Откровенно говоря, Сезару плевать было на супружеские горести госпожи Шатобриан, а что касается самого автора «Путевых заметок», так он не особенно жаловал этого гордеца и ломаку... «Но ведь герцог Ришелье тоже только что покинул родной очаг, вот уж поистине надо быть святым, чтобы жить с такой супругой! Горб спереди, горб сзади... А я-то думал, что ее уже с 1789 года нет в Париже!» Чтобы только поддержать разговор, он вежливо сказал:

— Возможно, господин Шатобриан переменит мнение, когда в Париж войдет Людоед...

На что герцог Ришелье после недолгого молчания заметил:

— Дело в том, что Шатобриан не мог достать лошадей...— И добавил совсем другим тоном: — Я, голубчик, не совсем понимаю, что со мной происходит, но факт остается фактом: впервые в жизни я во время верховой езды стер себе кожу... Должно быть в спешке, вчера вечером я недостаточно тщательно натянул лосины, но так или иначе, стер себе ягодицы...

Это и впрямь было удивительно, ибо герцог вполне справедливо слыл опытным наездником: до сих пор ходили рассказы о его джигитских подвигах на Кавказе, а уж кавказцев удивить трудно.

Приближался Сен-Дени, дорога пошла мощеная, колонна перебралась через канал и остановилась под платанами, посаженны-

ми в два ряда вдоль шоссе,— надо было перестроить части. Сезар покинул герцога и, догнав графа Дамá, поехал с ним рядом.

Теперь, когда впереди маячили тени королевских гвардейцев, он уже не мог больше таиться и решил открыть тестю тревогу, посеянную в его душе словами дяди, герцога де Лорж, относительно явной связи между восстанием в Ла-Фере и Луи-Филиппом. В курсе ли дел его королевское величество? Генерал-лейтенант граф Шарль де Дамá, командующий легкой кавалерией, был уже далеко не молод и хорошо знал свою среду. Но он с давних пор был близок с графом Артуа и целиком разделял ненависть младшей королевской линии к Орлеанскому дому.

— Ваш дядя, сын мой,— сказал он,— бросать слов на ветер не будет. От герцога Шартрского всего можно ждать...

Для него, графа де Дамá, командовавшего легионом Мирабо в армии Конде, Луи-Филипп по-прежнему был и оставался герцогом Шартрским, как он именовал себя, еще когда щеголял в мундире республиканского офицера. Офицера враждебной армии. Подумав, граф де Дамá добавил:

— Факт тот, что в моем присутствии лорд Киннард, который состоит при дворе советчиком по части покупки картин, представил государю жену Лаллемана... Шартрский и сам бы это сделал, поскольку ходят слухи... но, когда в Париже появилась эта дама, его величество отослал герцога в Лион. И конечно, только англичанин мог решиться на такой неблаговидный шаг!

В армии принца Конде Англию терпеть не могли. «А что, если бы Жоржина упросила его, Сезара, провести ее к королю, дабы вымолить прощение Шарлю?» Шастеллюкс даже вздрогнул при этой мысли.

— Ничего не скажешь, хорошенький подарок поднес государь графу Артуа: навязал ему в Лионе Шартрского в качестве адъютанта, этого завзятого интригана! Заметьте, где только начинается какая-нибудь измена, герцог тут как тут!.. Воображаю, как обрадовался, увидев его, мой брат...

Младший брат графа, Роже де Дамá, женатый на Полине де Шастеллюкс, родной сестре Жоржины и Сезара, командовал лионским гарнизоном как раз, когда предательство Нея принудило королевскую фамилию бежать из столицы. Но неизвестно, о чем думал сейчас граф де Дамá-старший: о Нее, изменившем Людовику XVIII, или о герцоге Шартрском, перебежавшем в 1793 году вместе с Дюмурье на сторону союзников. Вчера изменил Республике, сегодня изменит своему государю... И так как граф де Дамá уже давно жил в прошлом, он добавил:

— Не случайно Дюмурье состоял в заговоре не столько против якобинцев, сколько против легитимистов: он ведь издавна был

агентом Орлеанских... Филипп назначил его командиром крепости Шербур еще до семьсот восемьдесят девятого года именно в связи с готовившимся заговором... по этой же причине герцог Шартрский поставил несчастного Шарля во главе своего полка, скорей всего так оно и было... И вы, бедняга Сезар, и Роже, оба видели тут только проявление страстей! Что это там такое?

У заставы скопилась целая вереница карет беженцев-парижан, желавших попасть в город, но их не пускали. Получился затор, слышались крики. «Пропустите королевскую гвардию!» — орал какой-то офицер, стоявший там, где свет фонарей полосами рассекал мрак. Шарль де Дама́ вздохнул. Картина эта напомнила ему Варенн, куда он сопровождал Людовика XVI, и хозяина почтовой станции в Сент-Менэу, некоего доброй памяти Друэ, чье лицо он не забудет до конца своих дней.

— Как вы думаете, сын мой,— обратился он к Сезару,— случайно или нет брат того Друэ ввязался в заговор братьев Лалле-ман? Чем объясните вы то обстоятельство, что он стянул свои войска, узнав о высадке Узурпатора, подобно генералу Лиону, который за несколько дней до того выпустил Лефевр-Денуэтта?

— Не знаю,— признался Сезар,— мне рассказывали, будто неожиданное прибытие маршала Мортье в Лилль...

— Не знаете? А ведь генерал Лион, равно как и Друэ д'Эрлон,— оба люди Буонапарте, и когда они поняли, что действуют в пользу Орлеанского заговора...

Наконец порядок установился. Они вошли в Сен-Дени...

* * *

Отцу Элизе так и не удалось нагнать его королевское величество в Сен-Дени. Конечно, ему повезло с кабриолетом и лошадью. Но ведь еще нужен и кучер. Прошло не меньше часа, прежде чем Пикару удалось найти человека. Опять-таки удача! Здоровенный парень зверски торговался, а потом спросил, есть ли у преподобного отца оружие. Он, видите ли, боится ехать ночью по дорогам, тем более что в такое время всего можно ждать, а на местную жандармерию рассчитывать не приходится. А потом надо было еще съездить в Павильон Флоры за пожитками. Бог мой, ну и зрелище! Дворец, закрытый наглухо, не освещен, все входы заперты, и пустили-то внутрь только после долгих пререканий и брани; во втором этаже расположились национальные гвардейцы, в Маршальском зале прямо на полу разложены тюфяки, кругом хаос, беспорядок, офицеры о чем-то шепчутся по углам. Господин де Лаборд посоветовал преподобному отцу обратиться в министерство иностранных дел и выехать вместе с министром, который на заре отпра-

вится на поиски короля, только сначала сожжет бумаги. Отца Элизе мало прельщала перспектива путешествовать в обществе господина де Жокур, да еще ждать рассвета. А вдруг они вообще не найдут короля?

Дороги оказались настолько забиты, что Жасмин — кучера звали Жасмин — предложил даже не пытаться ехать в Сен-Дени прямым путем, где шла королевская гвардия и где пришлось бы тащиться шагом позади колонны. Подхваченные волной беженцев, они волей-неволей отклонились к западу и проехали через Сен-Жермен. Далее путь лежал на Понтуаз и прямо на Бовэ... через Мэрю. Но здесь движение шло и во встречном направлении, поскольку многие части пробирались к Парижу. Беглецов то и дело останавливали офицеры, расспрашивали о том, что слышно в столице. Большинство держало путь в Мелен или Вильжюив. Многие даже не считали нужным скрывать ни своих восторгов, ни своих надежд: «А правда, что Маленький Капрал уже в Монруже?» Возможно, шутка предназначалась специально для иезуита... Жасмин то и дело сворачивал с шоссе на окольные дороги, чтобы избежать встречи с войсками, а главное, с обозами. Но тут оказалось не меньше беглецов из Парижа. А главное, надо переправляться через Уазу. В конце концов лучше было бы и впрямь подождать господина Жокура... ночь длилась и длилась, лил дождь, и, скрючившись под верхом кабриолета, прижимая к груди свои тощие пожитки, отец Элизе видел, как вздрагивают плечи его возницы... Богатырские у мошенника плечи! И дрожь под стать... Кабриолет остановился, пропуская стадо быков, которых гнали на парижскую бойню дюжие парни, вооруженные бичами. Было это как раз там, где дорога проходит лесом, и Жасмин чуть было не скатился с козел: решил спрятаться в чащу, не разобравшись поначалу, что происходит. А в Понтуазе он вообще отказался ехать дальше. Потребовались долгие уговоры, посулы, ласки, не говоря уже о довольно-таки крупной сумме, и только после этого Жасмин дал себя убедить и тронулся на Бовэ. Дорога была разбита, зато на востоке порозовело небо. Казалось, даже дождь перестал... но тут они попали в самую гущу артиллерийского обоза. Артиллеристы все сплошь нацепили трехцветные кокарды и, должно быть, делали в пути не один привал. Многие спали на лафетах вдребезги пьяные. Святой отец пережил страшную минуту: на сей раз он перепугался не меньше, чем его возница. Он ласково положил руку на колено Жасмина и спросил, нравятся ли ему вот эти часы, подарок короля, и не хочет ли он получить их? Жасмин так и не понял, почему его седок навязал ему свои часы, откуда было ему знать, что преподобный отец в минуту опасности решил любой ценой расположить к себе возницу.

Теперь преподобный отец Элизе трясся решительно при виде всякой тени, при встрече с любым прохожим: повсюду ему мерещились разбойники, но в состоянии охватившей его нездоровой экзальтации он минутами даже желал насильственной смерти, в голове его возникали то отрывки надгробных речей, то такие мысли, в каких никогда бы не рискнул никому признаться достопочтенный священнослужитель. Ясно, это смущал его дьявол, и если сейчас наш беглец погиб бы в своем кабриолете, душа его прямым путем проследовала бы в преисподнюю... ему чудилось, что вот этот батрак с фермы, который встал до зари и сейчас едет им навстречу, вдруг вылезет из повозки, вытащит пистолет и... отец Элизе даже видел желто-красное пламя и горизонтально тянущийся дымок, совсем как на картинках...

В этот самый час господин Шатобриан, послушавшись уговоров жены и решившись покинуть Париж, проезжал через Сен-Дени, откуда выходили последние эскадроны королевской гвардии. Рота князя Ваграмского ждала перегруппировки гвардейцев конвоя, пришедших от заставы Этуаль. После двух часов отдыха их построили у края дороги в походном порядке. Но основные части королевской гвардии подтянулись только через три с половиной часа, и поскольку дороги были теперь сплошь забиты экипажами беглецов, тронуться удалось лишь в пятом часу. Был установлен порядок марша: гренадеры Ларошжаклена по-прежнему шли в авангарде, зато в арьергард попала сейчас основная масса королевского конвоя, черные мушкетеры были на рысях посланы в Бомон, ибо Мармон не особенно-то рассчитывал на добросовестность квартирьеров. По выходе из Сен-Бриса артиллерия Казимира де Мортемар застряла в грязи, и пришлось вытаскивать пушки вручную, что нарушило строй колонны. Фавье не выдержал, соскочил с коня и бросился на помощь. Он вспомнил Персию, тамошние дороги, вернее, еле видимые тропки, и случайную прислугу, пугавшуюся, как грозы, одного вида пушек. Великолепные диспозиции, принятые в Сен-Дени, пошли прахом, роты смешались, и при всех стараниях не удалось бы навести порядок, не останавливая колонны. Особенно путали все карты волонтеры, которые чуть не валились в канавы. Эти мальчики не были приучены к длительным переходам. Хорошо еще, что спустившаяся вскоре ночная мгла благоприятствовала юнцам: пользуясь ею, они постепенно избавлялись от ранцев, слышалась ругань гвардейцев, то и дело натыкавшихся на эти брошенные ранцы, тем более что сопляки не давали себе труда отбросить их подальше. И окончательно выматывала вязкая грязь, липнувшая к сапогам, и глубокие, как рытвины, колеи, куда соскальзывали ноги.

Где находился в этот час король с цугом следовавших за ним карет и эскортом серых мушкетеров? Граф Артуа то и дело обгонял королевскую гвардию, терял ее во мраке из виду и в конце концов приказал остановить карету, чтобы дождаться подхода войск; он тоже спрашивал себя, где же в этот час находится его августейший брат, с которым у них перед самым отъездом из Тюильри произошла одна из обычных бурных сцен,— крики разносились по коридорам и лестницам дворца, пригвождая насторожившихся слуг к месту,— где он сейчас, какой новой мании поддался этот слабый и изменчивый, как ветер, государь, считавший себя этаким Макиавелли, не доверявший никому, если не считать Блакаса и отчасти своего духовника аббата Роше... Он мог неожиданно для всех остановиться в любом месте только потому, что ему захотелось есть, постучаться в первый попавшийся помещичий дом, разбудить хозяев и слуг и велеть приготовить себе ужин... или, наоборот, не думая о том, кто за ним следует или, вернее, не следует, приказать гнать почтовых лошадей и умчаться вперед в неизвестном направлении, один, без свиты... То, что он для видимости согласился отправиться в Лилль, то, что был дан приказ королевскому двору, принцам и генералам следовать туда же,— еще ровно ничего не доказывает. Ему вполне могла вновь прийти в голову нелепая фантазия удрать в какой-нибудь порт — Гавр, или, скажем, Дьепп, или Булонь. Внешне король как будто согласился с доводами брата: лучше что угодно, лишь бы снова не отдаться на милость английского регента... ненависть Карла Артуа к Букингемскому дворцу сделала его красноречивым, он перечислил все афронты, полученные во время их пребывания в Хартуэлле, никогда и ни за что он лично не согласится уехать в Англию, чтобы стариться там, окончить свои дни среди англичан! Уж лучше попасть в руки Бонапарта... Есть поступки, повторять которые непростительно. Граф Артуа отнюдь не был уверен, что его августейший брат, менявший за последние сутки чуть ли не в десятый раз свои планы, мнения, желания и места назначения, не уступил его советам только потому, что окончательно выбился из сил: нынче вечером Людовик XVIII во время их спора зашел слишком далеко, как никогда далеко. Вопил, задыхался от злости, но успевал проклинать и оскорблять, приводить свои доводы. Одно из этих оскорблений свидетельствовало о том, до какой крайности дошли их распри. Только два-три раза за все годы король позволил себе этот выпад по адресу младшего брата. Самый гнусный. Он знал, что делает. Правда, для этого потребовались чрезвычайные обстоятельства. Карл Артуа вспоминал об этой сцене с яростью и унижением. Господин де Шаретт... письмо господина де Шаретт! Когда Людовик упоминал о письме господина де Шаретт, этим было все

сказано. Думая о недавней сцене, граф Артуа мог сколько угодно пожимать плечами, все равно слова брата были равносильны пощечине. Да и в самом деле, как могло прийти ему в голову советовать королю укрыться в Вандее? Этим он дал Людовику лишний повод, а тот только этого и ждал. Лишь бы унизить брата — идет ли речь о престоле или об обеде. «И это вы, брат мой, намереваетесь отправиться к шуанам? Стало быть, вы полагаете, что они забыли о письме господина Шаретта?» Слава богу, господин Шаретт давным-давно умер и зарыт в землю, это же явный вздор, кто будет помнить о таком незначительном инциденте? Впрочем, и письмо-то было подделкой агентов Англии. Что ж! Тогда Карл предложил Фландрию. И Людовику, который задыхался от торжества и астмы, уже не хватило силы отбиться еще от одного предложения. Ну, а сейчас, в пути? Вдруг его фавориту снова придет в голову какая-нибудь дурацкая мысль, на которые он такой мастер? Одному дьяволу известно, где сейчас находится король... А что, если с ним стряслось несчастье? Не то чтобы Карл Артуа подменял свои желания благородной тревогой, но в конце концов в случае отсутствия, отсутствия толстяка Луи, разве не на него возложен священный долг поддерживать преемственность династии? Главное, чтобы был представитель королевской фамилии... Где же сейчас король?

Король катил по дорогам Франции. Уже давно королевская карета переправилась у Бомона через Уазу и находилась в двух лье от Ноайля, а король спал как убитый под толчки экипажа, перекатываясь на подушках, наваливаясь на несчастного Дюра, дыша прерывисто, с трудом; Блакас, находившийся в самом злобном расположении духа из-за коллекции медалей, отправленной накануне под охраной надежного человека в Англию, где его уже дожидалась герцогиня, сердито косился на князя Пуа, который, по его мнению, слишком расселся и того и гляди неосторожно заденет ногой его величество, стонавшего во сне несомненно по причине своего ревматизма. Опустить окошко не решались: король зябок. А воздуха в карете не хватало, да и запах стоял соответствующий...

Дорога была плохая, ее так и не успели починить со времени вторжения союзников. По обе стороны королевской кареты, запряженной шестеркой лошадей, в такт конской рыси приподнимались и опускались на седлах тени мушкетеров. Половину экипажей уже растеряли: из Павильона Флоры их выехало двадцать, а сколько доберется хотя бы до Бовэ? По пути Людовик XVIII вдруг передумал заезжать в этот город, хотя королевской гвардии велено было прибыть именно туда. Королевский поезд свернул на дорогу к Крейлю. Но в Люзарше почтальоны, менявшие лошадей, рассказали, что по дороге в Амьен, близ Клермона, солдаты взбунтова-

лись и нацепили трехцветные кокарды. Это решило все: Людовик XVIII тут же отказался ехать по Крейльской дороге, идущей прямо на Амьен. Поэтому повернули назад, через Виарм на Бомон-Ноайль, оставив для королевской гвардии приказ избегать Амьена, а следовать через Бовэ на Абвиль... Блакас стал подумывать, уж не решился ли его величество принять английский вариант, благо под рукой нет графа Артуа. Абвиль... это же по дороге на Булонь, можно даже погрузиться на корабль в Кротуа... Королевский фаворит отнюдь не разделял неприязненных чувств графа Артуа к Англии. Очень даже хорошо отправиться в Англию, вернуться в Хартуэлл. И к тому же его супруга и его коллекции...

Во второй карете сидел Александр Бертье вместе с герцогом Круа д'Аврэ, герцогом Граммоном и герцогом Люксембургским. Всё ветераны, прошла их пора гарцевать на коне впереди войск.

На этом перегоне рядом с королевской каретой среди прочих всадников скакал Удето, уже окончательно выбившийся из сил, и Жерико: он был как во сне, хотя дождь и холод гнали от него сон.

* * *

Подобно всем молодым французам его поколения, Теодор лучше знал географию Европы, нежели своей собственной страны. Как ни стремительно сменяют друг друга победы, за ними следят по карте, их опережают в воображении, ибо молодой энтузиазм хочет понимать и предвидеть движение армий, отправляясь от ощущения родного пейзажа — городов, лесов, рек; и как бы ни был Жерико одержим своей живописью, как бы ни отвращала его от себя война, как бы ни привлекала к нему все сердца его галантная почтительность, скрывавшая собою молчаливое, но необоримое отрицание всего, что доводило до экстаза молодых людей его круга, все же в год Аустерлица ему минуло шестнадцать лет, двадцать — в год Сарагосской битвы, и ведь существует, что ни говори, некий заразительный микроб воинской славы. А в ретроспективном освещении поражение сродни молнии: поначалу она ослепляет, но не сразу вслед за ней доносится до твоего слуха удар грома. Вторжение 1814 года ничему не научило этих беспокойных юнцов, раздираемых одновременно надеждой и безнадежностью, униженных и растерявшихся перед бедствиями, обрушившимися на родину, чающих новой, совсем иной жизни, не похожей на их теперешнюю, уставших и пресыщенных сверх меры всеми этими Агамемнонами, всеми этими Леонидами Спартанскими, всей этой бутафорией, ставшей второй натурой современного им общества, с отвращением наблюдавших растлевающую власть денег, которая была слишком явной изнанкой этой Империи, нагло наживавшейся на героизме.

Союзникам потребовалось меньше трех месяцев, чтобы дойти от Рейна до Парижа: ведь путь через рейнские и бельгийские провинции был такой, что даже отступление походило на маневр. Но при продвижении союзников от той линии, которая и для генерала Мезона, и для любого воспитанника императорского коллежа, и для зевак с бульвара Тампль, и для спекуляторов, играющих на бирже, и для последнего конюха в Версале, и для живописца Теодора Жерико,— от той линии, что была для них и осталась, вопреки мифам империи, вопреки префектам и гарнизонам, подлинным рубежом Франции,— при продвижении от этого рубежа к городу, который достаточно сжать в неприятельской пятерне, дабы остановить кровообращение во всем теле страны, при продвижении союзников от границы к Парижу никому не хватило ни времени, ни чудовищного хладнокровия разобраться в противоречивых и молниеносных вестях об их приближении, о последних победах, торжественно возвещенных газетами; растерянный взгляд скользил по карте от Шампани к Фландрии, и никто не знал, где будет нанесен главный удар, но все чувствовали, что многострадальная гордыня готова сдаться.

На глазах Теодора эти департаменты наносились пунктиром на карту Франции, и имели они значение лишь благодаря маленьким кружочкам,— не департаменты, по сути дела, а пустынный и обширный гласис между тем миром, где говорят на иностранных языках, и тем, что составляло его, Теодора, существование, что было смесью тревог и открытий, очарований и разочарований; трубкою, выкуренной в помещении за лавчонкой, где он писал в 1812 году своего «Офицера конных егерей» на взмыленном коне; белым вином, которое распивали в Сен-Клу; бешеной скачкой по огромному парку Иль-де-Франса, бешеной скачкой, когда не знаешь, кто первым — конь или всадник — рухнет на землю; американскими горами в Тиволи, и картинами Леонардо да Винчи в Лувре, и цирком Франкони, причудливым вечерним освещением на монмартрском ристалище, бесконечными спорами о жизни и искусстве, о преимуществе краски над словом и наоборот с Орасом Вернэ или Дедрё-Дорси; Париж — эта мешанина смрадной нищеты и изящества, дворцов и халуп, великолепный и гнусный Париж, подобный опере с бесконечным множеством декораций, где богато расписанный задник прикрывает свалку искалеченного хлама и отбросов, вызывающая пестрота Тюильри и нагромождение мрачных улочек, горлопанство рынков, поводыри собак и ученых медведей в черных колодцах дворов.

И вот, покинув, оставив все это, он продвигается в глубь какой-то пустыни без конца и края по маршрутам, разработанным другими для него, ни за что не отвечающего солдата,— если толь-

ко вообще успели разработать эти маршруты! — под покровом беспросветного ночного мрака, в красном мундире, невидимом в темноте и все же обжигающем, как огонь; участник некоей адской охоты, он скачет, покачиваясь в седле в такт крупной рыси притомившегося храпящего коня, чьи страдания он чувствует каждой жилкой, коня, неуверенно скользящего на камнях, оступающегося в грязь под порывами ветра, со слипшейся от пота и дождя шерстью, хотя всадник постарался прикрыть его, как мог, своим плащом, и все же устремляющегося вперед в намокшей тяжелой сбруе, сквозь колючий снег, вдруг поваливший накануне весны; вот он — Теодор Жерико, а там, впереди,— карета, подпрыгивающая на ухабах, хотя совсем недавно переменили шестерку, там экипажи, следующие цугом за королем-подагриком; король дремлет, утонув в подушках, расшитых лилиями, прижав свою отвислую бурбонскую губу к плечу герцога Дюра; вот он — Теодор Жерико — среди призрачной кавалькады мушкетеров, разбитых усталостью, с кровоточащими ногами в грубых сапогах, со ссадинами на ягодицах, натертых штанами из чертовой кожи; уже целых пятнадцать лье скачут они все тем же аллюром, от одной стоянки к другой через залитые водою поселки, названий которых не допросишься,— и вдруг вынужденная остановка, когда все чуть не налезают друг на друга, потому что или кучер, не разобравшись, повернул карету не туда, куда следует, или кавалеристы поехали наперерез своей собственной части, или их оттерло экипажами беглецов, появившихся откуда-то с проселочной дороги; вот он — Теодор Жерико, охваченный головокружением, подобно человеку, который падает, падает, падает, как в бездну или как во сне,— он не знает; он осознает до сумасшествия ясно любой пустяк, имеющий касательство к его телу и душе, он чувствует каждую ниточку своего мундира, каждый ремешок своей портупеи, седла и стремени и то, что он забыл сделать перед отъездом; он во власти неестественно ясных воспоминаний, тасуемых, как колода карт, во власти этой невыразимой тоски, одной-единственной, но бесконечно варьируемой мысли, которая возникает, уходит, приходит вновь, рвется, вновь сплетается, на рысях, на рысях, через нескончаемую душную, через ледяную ночь, в быстром несмолкающем хлюпании копыт по размокшей земле, по залитой многочасовым дождем земле, коварно преображающейся на каждом шагу; то ты чувствуешь гравий, то размытую глину, размытую грязь, разбитый булыжник, глубину колеи, чувствуешь, как пудовые комья облепляют конские копыта, вдруг появляется лужа и в нее въезжаешь, как в ручей, а кругом все вариации отсутствующего пейзажа: подъемы, спуски, повороты, дороги, неразличимые тени деревьев, чье призрачное присутствие только угадываешь, откосы, неосвещенные домики,

лишь изредка приходящие на смену пустынным полосам; нелепое чувство, что по милости склона ты сбился с пути и вдруг натыкаешься на вполне реальные кусты, хрупкая тишина, подчеркиваемая выкриками командиров, кавалькада мыслей, сознание, что все эти люди — чужие друг другу, что это бегут отдельными потоками человеческие судьбы; у каждого за плечами своя история; теснят друг друга самые безумные планы... на рысях, на рысях, на рысях уносится рушащаяся монархия, целый мир, катящийся в обратном направлении, бегство, подмалеванное под рыцарский поход, в театральных одеяниях, с новенькими штандартами, лубочной честью, боязнью перед сравнениями, с наглой храбростью, хотя она не что иное, как храбрость перепуганного ребенка, нарочно говорящего в темной комнате басом, как взрослые; кресло на колесиках вместо трона и кельский Вольтер под алтарем, на рысях, на рысях... и пусть ломается к черту ось фургона, нагруженного добром князя Ваграмского, не подозревающего о происшествии и грызущего по своей дурной привычке ногти: он едет во второй карете сразу же вслед за королевской и мечтает о госпоже Висконти, держа на коленях шкатулку, а из-за него, черт побери, в обозе получается хорошенькая заминка, да вытащите же изо рва эту колымагу, слышите, чтоб вас так! Глядите, ведь лошади налезают друг на друга... стой! стой! — и снова в путь, снова подтягиваешься, занимаешь свое место в колонне, на рысях, на рысях! Вы же упустите его величество, упустите нить Истории, без вас развернется продолжение этого героико-комического фарса... подтянись, подтянись, рысью! Нельзя, чтобы ослабевала паника, нельзя допустить, чтобы ослаб хоть на минуту страх, нельзя в таком бегстве делать передышки... подтянись, подтянись! Лишь это одно нас объединяет, да еще глухое урчание — это подвело от мертвящего страха животы наших сиятельных беглецов, и тот же страх треплет плащи всадников в первых отблесках зари.

А там далеко, далеко, дальше Уазы, в трех лье от Сен-Дени, еле плетется королевская гвардия, стесненная в своем движении пехтурой. А сколько еще времени зря потеряли в Сен-Дени! Ночь кошмаров! Калейдоскоп мыслей! Стройные отряды всадников и вопиющий беспорядок, унизительное чувство бессилия и яростный гнев, воспоминания, рожденные мраком, благоприятствующим воспоминаниям. И покинутая в столице Виржини, и сын, в чьих жилах течет кровь Бурбонов, и незаконнорожденные английские дочки... и оскорбления и радости... и проект брака, отклоненный русским царем... и сцены, которые устраивает ему король по поводу его частной жизни. И уж совершенно неизвестно почему, припомнилось весеннее утро в Девоншире, охота, взгляд загнанного оленя... А вслед за тем снова мысль о проклятом иезуите: что пона-

добилось этому Торлашону на улице Валуа в Монсо? Все равно, если даже вернуться памятью вспять, перебрать свои хартуэллские воспоминания, все равно не удастся припомнить, какую именно грязную историю связывали с именем сей подозрительной персоны, чем объясняется его близость к королю... Кажется, он был врачом в армии принцев. Что же именно произошло в связи с ним в Кибероне? Шарль-Фердинанд непременно спросит об этом у своего отца... Как раз близ Экуена герцог Беррийский, ехавший вместе с гренадерами, заметил справа за холмом зарю. Он остановил лошадь. Под резкими порывами ветра, разгонявшего тучи, его глазам открылся нагой и серый край. По полям, лежавшим к востоку, уже разливался бледный, слабый свет, а здесь они еще утопали в грязи и ночном мраке. Но дождь перестал. Удивительное дело: сколько часов подряд они на все лады кляли этот чертов дождь, а гляди ж ты: в конце концов привыкли к нему. И только при свете заметили, что дождь уже прекратился. Его высочество чудовищно грубо выругался.

— Ну конечно же... Солнце, сволочь, видите ли, берегло себя для возвращения Буонапарте! Сегодня двадцатое марта; в саду зацветет знаменитый каштан, и нам все уши об этом прожужжат,— каналья просто обожает подобные истории,— а тут еще день рождения волчонка!..— И сиятельный любовник Виржини Орейль в приступе ребяческого гнева стал молить бога, чтобы снова начался потоп.

* * *

Тем временем Сен-Дени стал как бы поворотным кругом, не справляющимся с потоком беженцев и скоплением войска. К рассвету в городе собралось более семи тысяч солдат. Каким образом могло так получиться, вопреки повторным приказам сохранять определенную дистанцию между частями, дабы избежать бонапартистской заразы? Никто не знал, и не больше других знал об этом главнокомандующий Макдональд, герцог Тарентский, который ломал себе голову, стараясь понять, почему и как батальон генерала Сен-Сюльписа, состоящий из офицеров на половинном содержании, ожидавших, когда их распустят по домам,— как и почему он также очутился здесь. Еще вчера батальон стоял в Венсене, по соседству с волонтерами господина де Вьомениль. Кто дал им приказ двигаться на Сен-Дени? Это было столь же необъяснимо, как и то, что произошло на Марсовом поле с королевской гвардией. Следовало бы удалить отсюда этих смутьянов, благо Руанская дорога, надеюсь, еще не провалилась в тартарары, но что спрашивать с генерала, который уже не способен заставить себе повиноваться.

Офицеры в шапочках на макушке разбрелись по всему городу; по их требованию открыли запертые на ночь кабачки, и полуодетые, сонные слуги трясущимися руками наливали им стакан за стаканом. Другие заводили разговор с солдатами гарнизона, с национальными гвардейцами. А этим кто приказал явиться в Сен-Дени?

Курносый, приземистый, мускулистый, как гимнаст, генерал Мезон, с широким лицом, обросшим жесткой черной щетиной, клялся всеми богами, что он тут ни при чем, и Макдональд расстался с ним, задыхаясь от холодного бешенства, которое временами накатывало на него. Вот уже примерно часа полтора, как он находился в Сен-Дени, прибыв сюда из Вильжюива, куда он по наивности сунулся искать свой штаб, памятуя диспозицию, установленную еще в Париже, когда король наконец принял решение; позже Макдональд надеялся обнаружить этот ускользавший, как призрак, штаб в Сен-Дени, где его, впрочем, тоже не оказалось. Прибывшего вместе с ним из Парижа генерала Гюло, начальника его штаба — от штаба только и остался что один начальник,— Макдональд устроил на каком-то постоялом дворе, а сам отправился побродить по Сен-Дени и посмотреть, что там происходит. Какой неприятный дух царит в этом городе! Многие обыватели, казалось, забыли, что такое сон, но не все — кое-кто уже просыпался; громко хлопали ставни, по-утреннему резко звучали голоса. Мезон мог рассказывать все, что ему угодно: но он здесь с вечера и допустил такой ужасающий беспорядок. Штатские лица, беглецы — это еще полбеды, ну, а военные? Где это видано, чтобы с шести часов утра чуть ли не у самого входа в казарму шло непрерывное подстрекательство. Егерский полк, расквартированный в Сен-Дени, изволит почти в полном составе пребывать на улице, на дороге. Офицеры стоят вперемежку с солдатами, кто в полотняных куртках, кто в мундире. Да еще добрая половина под хмельком, во всяком случае от многих разит спиртным.

Макдональд, узнав от Мезона новости, решил затем в сопровождении унтер-офицера и двух солдат-кавалеристов объехать город, которого он почти не знал и который выбрал как пункт переформирования войск, и теперь вот поджидал их. Господи, что тут только делается! Обычный городок, именно городок, но все дома выходят фасадом на улицу, позади домов сады, а дальше поля, огороды, пустыри, где еще притаился тревожный ночной мрак; маленький город, через который протекают таинственные воды, их петляющий путь непонятен, запутан — то они текут под домами, под мостовой, то исчезают и выбиваются на поверхность совсем уж в неожиданном месте, а может быть, это просто другой ручеек. Воды мельниц, кожевенных мастерских, красилен сменяют друг друга.

Около собора, воздевающего двойную башню, как два перста, сложенные для благословения, высится Дом Почетного Легиона (здесь, по слухам, до сих пор сильно тайное влияние императора) со своими строениями строгой архитектуры, с высокими стенами, а за парком еще торчит фабричная труба красильного заведения господина Жювaля, указывая начало одного из потоков. Все эти скрытые ручейки, разноцветные от краски и мутные от отбросов, то бегущие под землей, то выходящие наружу, сливаясь с заводями ночных теней, все они казались Жак-Этьену извилистым отражением тайных мыслей самого Сен-Дени, города, полного угроз и воспоминаний, усыпальницы французских королей, арены народных смут. Что это рассказывали ему о том, как в прошлом году здесь оказали сопротивление входившим русским войскам? Кровью окрасились эти водные артерии, и потом в водосливах у кожевенных мастерских кровь не могли отличить от сточных вод. А идущая полукругом мимо мельниц грязная улица — это уже настоящая Голландия в миниатюре, она напоминает пейзаж кисти великого мастера, почерневший с годами. Особенно в этом сероватом предрассветном освещении, похожем на гризайль, особенно под сводом облаков, как бы распухших от утреннего света, прорезавшего небо своими стрелами где-то там возле Гонесса. Здесь было совсем тихо по сравнению с центром города, с Парижской улицей, которую запрудили столичные экипажи: семьи, поспешившие выехать из Парижа еще до рассвета, зная, что весь день придется пробыть в пути, и сейчас скидывавшие прямо на землю свои корзины и сундуки; беглецы, шедшие пешком, живописные и грязные; войска, которые вливались в город со всех концов под оглушительный грохот походных кухонь и обозов; не успевшие побриться солдаты, конные отряды... пехота... Сутолока достигала своего апогея на улице Компуаз, через которую попадали на Казарменный плац с собором. Там и находился постоялый двор. В последнем доме перед площадью, с правой стороны. На него пал выбор маршала, и здесь помещался его штаб, где Гюло, должно быть, корпит сейчас над казенными бумагами, генеральными планами, приказами о передвижении. Корпит в одиночку, ибо никого из штабных нет — они устроились где-то в другом месте. Только где? Их разыскивали по всему городу.

Герцог Тарентский возвращался на постоялый двор, и голова у него чуть не лопалась от забот. Его королевское величество проехал через Сен-Дени в час ночи: где же он сейчас? Да еще с этими перекладными шестерками. Нет сомнения, что король мчится вперед, но кто же его сопровождает? Макдональд без труда представлял себе королевский двор, несущийся по дорогам Франции, но все, что могло измыслить его воображение, бледнело пред истинным по-

ложением вещей. Да еще дождь, ливший всю ночь напролет... Перед входом в харчевню собрались какие-то весьма подозрительные личности. Имеет ли это касательство к нему или нет? Толпа взволнованно жестикулирующих людей, среди них много офицеров на половинном содержании, которые умолкли, узнав маршала. Какие чувства испытывали к нему все эти люди? Кого почитали в его лице — командующего Меленской армией или солдата Ваграма... Жак-Этьен сделал вид, что ничего не заметил, и поспешно вошел в харчевню, где слуги уже открывали ставни. В первом этаже ему наспех устроили канцелярию. Пришлось подписывать бумаги, высылать вперед квартирьеров. Необходимо было организовать передвижение войск, тех войск, которые заведомо не бросят в бой, организовать армию, которую ему якобы вверили. Гюло успел сделать за него всю работу. Повсюду толпились люди, прибывшие из Парижа, их экипажи загромождали площадь и улицу, а сами пассажиры, оставив в колясках и берлинах жен и слуг, отправились разузнать, по какой дороге ехать дальше. Им удалось обнаружить штаб, и, оттолкнув слуг, они ворвались в помещение. Спокойна ли дорога на Бовэ? Правда ли, что мятежные войска преследуют королевскую фамилию? Всем мерещилось, что за ними по пятам гонятся мамелюки Бонапарта. Вчерашние эмигранты, вновь принявшие затравленный вид и вновь заговорившие тоном попрошаек, от которого они успели за год поотвыкнуть. Уже здесь, в Сен-Дени, начиналась эмиграция со всем ее уродливым раболепством, с пресмыкательством людей, готовых сутками просиживать в прихожей, превратить свою жизнь в унизительное лакейское существование на два десятилетия вперед... Жак-Этьен поджидал своего адъютанта, посланного по делам, а так как самому ему не сиделось на месте, он имел неосторожность высунуть нос за двери канцелярии. И тут вся свора бросилась к нему,— пришлось удалять их чуть ли не силой. Среди толпы, которую усердно оттесняли от маршала, Макдональд вдруг признал в одной даме госпожу Висконти, в длинном мешковатом дорожном саке и в капюшоне с пелеринкой, потерявших под дождем первоначальный цвет. Маршал подошел к итальянке и пригласил ее в свою импровизированную канцелярию, где жарко пылал только что разожженный камин. Он усадил гостью перед камином, сам снял с нее шляпку, желая ее просушить. Джузеппа непринужденным жестом поправила свои черные кудри, как будто собиралась войти в ложу театра.

Возлюбленная князя Ваграмского, «безумие маршала Бертье», как называл ее Наполеон, сильно изменилась с конца века, с той поры, когда Жак-Этьен познакомился с ней в Париже,— тогда ее официального любовника, маршала Бертье, который устроил ее супруга, господина Висконти, послом Цизальпинской республики,

не было в столице, ибо он участвовал в Египетском походе. К тому времени Макдональд уже вдовствовал в течение полутора лет после смерти своей первой жены, Мари-Констанс, и, возвратившись из Италии, еще не совсем оправившийся после ранений, угрожавших чахоткой, питался по тогдашнему последнему слову медицинской науки одним салом да молоком. Поэтому лицо его приобрело, как говорится, интересную бледность, и он со своим вздернутым носом приглянулся госпоже Висконти, которая не могла и не желала довольствоваться письмами, шедшими из Египта, хотя Александр Бертье на полях своих лирических излияний набрасывал довольно-таки скабрезные рисуночки. В ее обществе Жак-Этьен скоро забыл все свои горести и неприятные приключения с генеральшей Леклерк, Полиной Бонапарт, послужившие для него впоследствии причиной долгой немилости у императора. Хотя тогда Джузеппа достигла уже зрелого возраста, она вполне могла затмить блеском красоты девятнадцатилетнюю Полину Бонапарт. Господина Висконти как бы и не существовало вовсе, и особняк Тессэ на набережной Вольтера, прекрасный и огромный особняк, роскошь которого меньше всего объяснялась дипломатической деятельностью посла Цизальпинской республики, предоставлял хозяину полный простор для всевозможных развлечений. Как ни был прекрасен особняк на улице Виль-л'Эвек, где госпожа Леклерк могла чувствовать себя совершенно свободной, благо сам генерал находился по делам службы в Англии, все же в ее доме казалось по-мещански тесно: куда ни повернись, наткнешься или на Бернонвиля, или на Моро,— оба строили хозяйке куры. Это уж попахивало драмой: Моро с его республиканскими взглядами, с его вечной трубкой-носогрейкой и его претензиями — куда бы еще ни шло, черт с ним совсем! Другое дело Бернонвиль, которому Жак-Этьен был обязан буквально всем... Впрочем, не он ли, Бернонвиль, инспектор английской армии, как его называли, угнал туда супруга Полины? Это давало ему известные права и даже право лгать... Итак, госпожа Висконти позволяла себе кое-какие причуды. С тех пор прошло без малого шестнадцать лет, а такой срок неизбежно сказывается на внешности. С годами римская красота Джузеппы огрубела, и сейчас, в первых лучах зари, лицо ее казалось болезненно бледным, особенно по сравнению с нетронутыми сединой иссиня-черными волосами, разделенными на прямой пробор и спущенными на лоб двумя крупными волнами. Но в ней до сих пор чувствовалось то обаяние, под власть которого попал, и, видимо, навсегда, коротышка Бертье.

Джузеппа немножко присюсюкивала, успех ее отчасти объяснялся округлостью шеи, ставшей еще более пухлой от чуть заметного, еле начинавшего расти зоба, что так волнует многих муж-

чин, а художникам нравится именно из-за мягкости линий. Несмотря на возраст — Джузеппе минуло уже пятьдесят четыре года,— на лице ее не было морщин. Возможно, объяснялось это неестественной неподвижностью черт — единственный след маленькой катастрофы, перенесенной в прошлом году, не считая некоторой скованности движений левой руки. Врач утверждал, что она слишком сильно шнуруется, и отсюда все беды,— как вам это нравится!

Сняв свои длинные, насквозь промокшие перчатки, госпожа Висконти поднесла их к огню. Если бы она повиновалась лишь голосу собственного чувства, ни за что она не покинула бы Парижа. Но князь Ваграмский... Джузеппа никогда не называла Бертье иначе, чем князь Ваграмский, разве что в интимной обстановке, когда она говорила ему просто Сандро... Итак, князь Ваграмский (поскольку, после того как его лишили титула герцога Невшательского, неудобно было именовать Бертье «светлейшим»), так вот, князь Ваграмский вихрем ворвался к себе на улицу Нев-де-Капюсин — было уже около десяти вечера — и не успел сразу заглянуть к ней, в ее дом на бульваре, хотя это буквально в двух шагах; ведь требовалось еще привести в порядок бумаги, уладить кое-какие личные дела. Надо сказать, он еще во вторник отправил в Бамберг Марию Елизавету с детьми: госпожа Висконти всегда говорила «Мария Елизавета» и ни разу в жизни не назвала ее ни княгиней Ваграмской, ни принцессой Баварской... о, вовсе не из ревности, бог мой!.. просто она не прочь была подчеркнуть свою близость и дружбу с племянницей баварского короля и молодой супругой своего старого любовника. Люди болтали по этому поводу невесть что, равно как и по поводу того, что жила она на бульваре Капуцинок, в особняке, непосредственно примыкавшем к дворцу маршала, и маршал пробирался к ней через маленькую калиточку в глубине сада. Ну и пусть себе болтают! Самому Наполеону не удалось разлучить их, хотя он женил пятидесятичетырехлетнего князя на девице тридцатью годами моложе его. Итак, Мария Елизавета с детьми и гувернанткой отбыла во вторник и, если все обошлось благополучно, должно быть, уже добралась до места назначения. Надеюсь, вы понимаете, что он не мог оставить в Париже как раз в тот момент, когда формировался Меленский лагерь, жену, которая тогда не то уже родила, не то должна была родить третьего ребенка. Прелестнейшая девочка! Ее, как и маму, зовут Елизаветой. Мальчику пять лет, старшей дочке — три. Так что все это более чем понятно. Детям будет гораздо лучше с дедушкой и бабушкой.

— Нам выпало пять свободных вечеров, целых пять вечеров вдвоем, как когда-то. Вы знаете, мы с Елизаветой очень-очень дружны. Конечно, втроем вполне можно играть в вист, и все же...

А тут пять долгих вечеров, за окном непогода, ветер свистит в ветвях, и мы, как старая супружеская пара, сидим рядом, спокойно, тихо. Я почти забыла свое горе.

Макдональд почтительно наклонил голову, как бы говоря: «Знаю, знаю...» Немногим более года тому назад Джузеппа потеряла своего сына Луи, барона Сопранси, умершего от ран, полученных под Лейпцигом. Возможно, это было более важной причиной ее болезни, нежели тугая шнуровка... но доктора не верят, что моральные страдания могут влиять на сердце.

— Если бы вы только знали,— говорила госпожа Висконти,— если бы вы только знали, какой год я прожила в своей квартире на бульваре Капуцинок... Ведь у меня прямо над головой помещалась холостяцкая квартирка Луи, вы, надеюсь, понимаете... Если бы вы только знали, какой это был мальчик. Да, да, вам он был известен как офицер безупречного поведения... И находятся же злые люди, которые смеют утверждать, будто его продвигал по службе князь Ваграмский, будто благодаря ему Луи получил генеральский чин!

— Так говорить может только тот,— ответил Макдональд,— кто не был в Аустерлицком деле и не видел, как барон захватил личного адъютанта царя! Или в Ольмюце в тысяча восемьсот девятом году, когда он доставил маршалу герцогу Беллюнскому семь знамен и взял более пяти тысяч пленных...

— Я и говорю, что люди злы... Правда, он обожал, прямо обожал князя, относился к нему, как к родному отцу. Ведь он не знал господина Сопранси. Но его уголок там, у нас, на бульваре Капуцинок... Подумайте только, когда он был в России, лежал там раненый в восемьсот двенадцатом году, он писал мне о своей квартирке, о том, в каких она нуждается переделках, говорил о расположении комнат, о занавесях, распорядился насчет нового драпировщика... потребовал, чтобы его книги переплели на английский манер, просил, чтобы обязательно сделали золотой обрез и на переплеты пустили мраморную блестящую бумагу. Ах, бедный мой друг, теперь я захожу в его пустую комнату, открываю машинально книгу... Вы знаете, у него была просто страсть к стереотипным изданиям... да, да... с золотым обрезом...

От генерала Гюло принесли на подпись бумаги.

— По-прежнему ничего нового?

— Ничего, господин маршал.

Макдональд повернулся к камину, пламя которого бросало на лицо его гостьи трагические отсветы.

— Стало быть, это Александр просил вас уехать?

— О нет. Он об этом даже не подумал. Просто взял и уехал, как всегда уезжал, когда дело касалось какой-нибудь войны, кам-

пании, как уехал, скажем, в Россию с императ...— Она прикусила язычок: — ...с Бонапартом... и один бог знает, что я пережила, что мы с Марией Елизаветой пережили, когда у него начались приступы ревматизма... Вы-то знаете, что это за прелесть!

— Ничего не поделаешь, таков уж недуг нашей эпохи,— отозвался Макдональд,— король тоже им страдает. Но в его случае Березина ни при чем. Хотя и мы с Александром не можем ее винить, скорее уж это оставила по себе память Италия или Голландия. Впрочем, Александру разлука с вами всегда давалась нелегко, даже когда речь шла о походах. Помню, как бесновался Наполеон, когда пришлось упрашивать Бертье отправиться в Египет!

— Ну, тогда мы были моложе... Да и вы также,— заметила она и умолкла; потом снова заговорила: — Но на сей раз когда-то он вернется? Что с ним будет? Между нами говоря, я насильно навязала ему свои бриллианты, все-таки легче будет устроиться, прожить. Конечно, он может укрыться в Баварии у родителей Марии Елизаветы, если король... А вы верите, что король?..

Макдональд уклончиво пожал плечами. Однако этот жест был равносилен признанию. Госпожа Висконти воскликнула: «Ах, вот как?» — и задумалась. Но уже через мгновение ее вновь подхватило потоком слов. Дело ведь шло о жизни, о целой жизни!.. Не о неделе, не о дне! О жизни! Оставить его одного после семнадцати лет, когда они так привыкли друг к другу... Да, да, семнадцать лет. Александр сказал ей вчера вечером: если даже он поедет в Бамберг, все равно долго там не пробудет, да и Мария Елизавета тоже, она просто задохнется в этой провинциальной Баварии! При первой же возможности они переберутся к себе в имение, или в Гро-Буа, или в Шамбор. Но пустят ли их туда? Как знать? А она, она сначала даже не подумала, даже представить себе не могла! Покинуть бульвар Капуцинок! Но его величество отбывал в полночь. Что тут оставалось делать, как быть? Со всеми вещами, туалетами! Впрочем, она и не могла пуститься ночью в дорогу, где это видано! К тому же она принадлежит к числу тех натур, которым необходим сон, а она неспособна, буквально неспособна хоть на минуту забыться сном в карете. Поэтому она отпустила князя Ваграмского, навязав ему свою шкатулку с драгоценностями. Кроме того, целая карета с багажом отправилась к воротам дворца, чтобы занять свое место в королевском поезде, но когда она осталась одна, без него, когда представила себе весь ход событий, будущее... тут она поняла, что не имеет права так поступить — оставить его одного, оставить их одних, особенно в подобных обстоятельствах... Вот поэтому-то она и поехала за князем, чтобы соединиться с ним где бы он ни был; надо надеяться, что

он пока еще не добрался до Бамберга. Все это она решила ночью, решила вдруг, дождалась рассвета, а на рассвете еще сильнее укрепилась в своем намерении. Но почему именно Лилль? Что за мерзкий город! Не мог же король очутиться там за один переезд! Где ночевал нынешней ночью двор?

Макдональда все это развеселило, однако он тут же поборол приступ неуместной веселости. Двор! Пара герцогов, принц да тройка лакеев... ибо весь остальной королевский поезд, надо полагать, застрял в дороге из-за отсутствия перекладных... и это вы называете двором?

— Затрудняюсь ответить на ваш вопрос, сударыня, это зависит от многих причин: и от состояния дорог, и от почтовых лошадей. Сначала король намеревался остановиться на ночлег в Амьене, но, возможно, по пути переменил свое решение. Мы не особенно-то уверены, должен вам сказать, в нашем префекте департамента Соммы, в господине Ламете... На вашем месте, сударыня, я спешно и любым путем отправился бы прямо в Лилль. Вы вернее всего обнаружите Александра именно в Лилле.

У госпожи Висконти была просьба к Жак-Этьену. Он, конечно, не откажет... В чем же дело? А дело в том, что в карете она оставила свою горничную и теперь просит, чтобы горничной разрешили пройти сюда. Хорошо, а где карета? Макдональд приоткрыл двери. И тотчас в коридоре послышался топот — это приезжие бросились к маршалу, ибо каждый желал поговорить с ним лично. Пришлось выйти, успокоить, образумить людей, оставив госпожу Висконти одну.

Но первым делом в успокоении нуждался он сам. Исчезновение штаба выводило его из себя, бесило. Ну хорошо, Мезон ему сообщил, что он догонит свои войска в Сен-Дени, поскольку герцог Беррийский заявил ему, что их повернут именно в этом направлении. Но что с другими, с теми, кого герцог Беррийский не успел повидать? Мезона назначили главнокомандующим, а потом все начали командовать, выносить решения, передвигать войска, садиться в кареты и уезжать кому куда заблагорассудится! Меленская армия бесспорно должна отступить, дабы прикрыть передвижение королевского поезда, но только тогда, когда ей это прикажут, черт побери! А когда ей это прикажут? Жак-Этьен отправился сначала в Вильжюив на поиски своего штаба, ибо туда он его направил. И что же? В Вильжюиве в одиннадцать часов вечера не оказалось никого. Ну, никого — это уж слишком сильно сказано, там были генералы Аксо и Рюти, одни, в каком-то огромном доме, а рядом на лугу стояли три пушки, и тут же был расквартирован взвод саперов, успевших напиться в соседнем кабачке до положения риз. Рюти он взял с собой в Сен-Дени, но и в Сен-Дени, как

и в Вильжюиве, штаба не обнаружил. Там ждал его один только Гюло, прибывший с маршальскими пожитками и находившийся в таком же растерянном состоянии духа, что и Макдональд. Однако ж передавали, что где-то поблизости, в одном из реквизированных особняков, расположилась канцелярия чьего-то штаба, возглавляемая каким-то капитаном. Услышав об этом, Макдональд и направил своего адъютанта на разведку.

Адъютант возвратился как раз в тот момент, когда маршала разрывали на части беглецы, толпившиеся у входа в харчевню. Особенно наседал тенор «Опера-Комик», считавший, что он имеет право и все основания бояться возвращения императора, а также с полдюжины дам и старичков, одетых по моде, существовавшей в 1810 году в Хартуэлле, или даже пятью годами раньше в Митаве; целые семьи сидели у подъезда прямо на своих узлах, хныкали ребятишки, какие-то молокососы вели речи о Людоеде, и слышно было, как в ответ им огрызаются офицеры на половинном содержании.

— Ну, что же вам сказал этот капитан? — спросил Жак-Этьен вошедшего адъютанта.

Адъютант не пожелал отвечать на такой вопрос в присутствии посторонних. Они прошли в кабинет.

— Творится чистое безумие, господин маршал,— начал он,— все эти генералы, полковники — фюить!.. исчезли... как ветром их сдуло! Но успели все же...— Он запнулся, заметив у камина незнакомую даму.

— Можете смело говорить в присутствии госпожи Висконти,— начал было Макдональд и вдруг увидел, что его гостья бессильно запрокинулась в кресле и длинные ее перчатки, упав в огонь, уже стали тлеть.— Боже мой, что с вами, Джузеппа? — Он назвал ее по имени, как в былые времена.

Джузеппа не слышала, она была без сознания. Маршал и адъютант бросились к ней, стали похлопывать ее по ладоням,— она застонала, открыла глаза, обвела комнату невидящим взглядом.

— Скорее врача! — скомандовал маршал, и адъютант опрометью кинулся выполнять приказание.

Было все-таки нелепо и совсем некстати, что в такую минуту в его импровизированном штабе могут увидеть женщину, потерявшую сознание. Он старался не думать, что дело может принять серьезный оборот,— не то чтобы он питал к госпоже Висконти или к Александру Бертье такие уж горячие чувства... но все-таки, все-таки, и хотя люди, осведомленные об их романе со всеми его перипетиями, насмешливо улыбаются, все-таки перед ним живое свидетельство многолетней верности, столь редкой во времена Им-

перии... пусть у Джузеппы были мимолетные увлечения... пусть Александр женился на другой... по приказу императора. Не без душевного умиления вспомнил Макдональд расстроенное лицо Бертье, когда через две недели после кончины мужа Джузеппы, бывшего посла Цизальпинской республики, он скрепя сердце повиновался Наполеону и женился на Баварской принцессе... а любовь,— ведь известно, что нынче люди ни во что не ставят любовь, возможно потому, что утратили способность любить,— вечно в погоне за деньгами, вечно в делах... Зато они, солдаты Жеммапа, они умели во все вносить величие... А пока что у него на руках дама в обмороке и войска никак не подойдут! Оставаться и ждать их здесь? А где граф Артуа, где герцог Беррийский и Мармон... где-то они сейчас? Где сейчас король? Доктор прибыл с поразительной быстротой: должно быть, находился в том доме, где одна из фрейлин герцогини Орлеанской, направлявшейся в Лилль к своему брату, герцогу Орлеанскому, почувствовала вчера с наступлением вечера родовые схватки и была покинута на произвол судьбы. Доктор успокоил маршала Макдональда: у госпожи Висконти небольшой сердечный припадок, ничего серьезного нет, во всяком случае, сейчас ничего серьезного нет, и велел перенести больную в комнату на втором этаже.

— Пусть пойдут и разыщут ее горничную,— приказал Макдональд,— она сидит в карете здесь, во дворе.— И, повернувшись к адъютанту, добавил: — О чем вы начали рассказывать? Нас прервали...

Адъютант зарделся. Госпожа Висконти показалась ему настоящей красавицей. Юноша обожал слегка перезрелых дам, глаза, обведенные глубокой синевой, кроме того, он слышал о великой любви маршала Бертье к итальянке, привезенной им в Париж, да и вообще он был по духу романтик. Этот обморок... эта прекрасная полная шея...

— Я рассказывал? Ах да, все генералы и полковники проследовали через город, вы только вообразите себе, господин маршал. И все расписались в том, что проследовали, я сам видел их подписи, мне капитан показывал...

— Расписались в том, что проследовали? Что это вы за чушь порете? Не знаю, может быть, вид упавшей без чувств дамы всегда приводит вас в такое состояние, но так или иначе, вы, на мой взгляд, крайне взбудоражены!

Адъютант подергал себя за ус: вовсе не госпожа Висконти привела его в такое состояние, а благородный гнев. Весь Генеральный штаб вечером девятнадцатого числа, прежде чем исчезнуть в неизвестном направлении, в полном составе появился в канцелярии и потребовал свое жалованье и, что уже совсем невероятно,

«деньги, полагающиеся штабным при начале кампании», да, да, именно так. Где они теперь? Должно быть, на дорогах, в каретах, удирают к границе или к морю, предварительно обеспечив себя тем, что принято называть «нервом» войны!

— Ладно, ладно, лейтенант,— прервал его Макдональд.— Прежде всего научитесь не осуждать старших по чину. В один прекрасный день этим офицерам придется отчитаться в своих действиях. Перед кем? Это уж другое дело. Но не торчать же нам здесь до скончания века! Послушайтесь-ка моего совета, сначала доложите об этом генералу Гюло, а потом пойдите лягте, в соседней комнате есть кушетка... нынче ночью, голубчик, вы совсем не спали, а нам предстоит трудный день. Я еще посижу, пороюсь в бумагах, во всем этом хламе...

Но, оставшись в одиночестве, Макдональд вдруг почувствовал непомерную усталость. Вместе с рассветом, казалось, проснулся и его ревматизм. Руки и ноги затекли, по телу бегали неприятные мурашки. Он хотел было снять сапоги, но раздумал: если он разуется, тогда уж конец — сапоги обратно не налезут. И что бы он ни говорил насчет бумаг, глаза у него слипались сами собой. Он подписал несколько приказов, присыпал свежие подписи песком и тут почувствовал, что его качает. Он дремал, клевал носом и вдруг, вздрогнув всем телом, просыпался, подписывал еще одну бумагу. В этом было что-то унизительное. Он не желал сдаваться. Годы... Неожиданно для себя он с насмешкой подумал о генерале Бернонвиле, с которым это случалось весьма нередко. Бернонвиль... Дюмурье... Лица постаревших генералов заслонили собой бумаги. Дюмурье изменил Конвенту. И выдал Бернонвиля австрийцам. А Бернонвиль, наш дражайший Бернонвиль, в 1814 году предал императора... Быть может, возраст? Возможно. Человек устает, пасует. Однако Пишегрю, как и Жомини, было во время этой грязной истории всего тридцать четыре года... а Моро — сорок, когда Дюмурье обвел его вокруг пальца... Жомини был обыкновеннейшим интриганом и низким честолюбцем, он просто бесился, что в тридцать четыре года застрял в бригадных генералах!.. Эх, черт возьми! До чего же противно, когда тебя так качает!.. Бернонвиль в прошлом году рассудил правильно. Правда, несколько поспешил. Только и всего.

Едва лишь Макдональд забылся сном, как его разбудил Гюло. Прибыл министр иностранных дел господин де Жокур. За все время пути от самого Парижа он только чуточку вздремнул в карете. Сказал он это в полной уверенности, что маршал успел поспать всласть. Ему пришлось предупреждать господ министров, что его величество просит их прибыть в Лилль. Потом объехать всех послов с той же целью или приблизительно с той же: но поди по-

пробуй их найти! Он направил им соответствующий циркуляр, затем всю ночь проработал в министерстве вместе с двумя помощниками: один помогал писать бумаги, а другой помогал бумаги рвать. Так продолжалось до пяти часов, и на устройство личных дел он дал себе всего час... В шесть часов он покинул улицу Варенн... А сейчас семь часов: где же король?

Макдональд постарался быть как можно любезнее. Жокур тут же отбыл.

После его отъезда маршал вышел на улицу, надеясь, что свежий утренний воздух вернет ему обычную бодрость. Его буквально преследовали воспоминания о Дюмурье. Предатель? Победитель при Вальми — предатель? Часто, говоря о Вальми, весь успех приписывают Келлерману, но командовал-то кто? Макдональд вспомнил, как ответил на этот вопрос один из комиссаров Конвента: «Дюмурье... Келлерман... истинным победителем при Вальми был народ!» Народ! Скажут «народ» и считают, что этим все сказано! Слава богу, Жак-Этьен нагляделся на своем веку на народ, как он улепетывал, например, в Па-де-Безье, когда солдаты свернули на Лилль и убили своего генерала... «Народ! Не народ, а генералы выигрывают сражения. Народ! Небось когда я принял командование Пикардийским полком, там, на дорогах Бельгии, народ повернул назад, распевая героические песни, бывшие тогда в Париже в моде!» Сейчас, грезя наяву, маршал путал даты, лица! Мыслью он бродил по той самой равнине на севере страны, где началось возвышение лично для него: подполковник назавтра после Вальми, полковник после Жеммапа... Как раз в Жеммапе он впервые увидел девятнадцатилетнего юношу, волонтера II года, покрытого пылью, грязью и кровью,— он только что отбил у неприятеля знамя своего батальона, и звался он Никола Мезон... тот самый, ныне генерал, что встретил его сегодня ночью в Сен-Дени, не скрывая написанного на лице отчаяния... И кто же все-таки одержал победу при Жеммапе? Вот такой юнец Мезон или Дюмурье? Или герцог Шартрский? Победы забываются слишком быстро, достаточно одного Неервиндена, чтобы никто и не вспомнил больше ни о Вальми, ни о Жеммапе. Командиру Пикардийского полка могло здорово нагореть, когда Дюмурье выдал комиссаров Конвента союзникам, а сам вместе с молодым герцогом Шартрским перешел в стан врагов. Его, Макдональда, подозревали тогда в сообщничестве. Было это в Лилле. Сколько же с тех пор прошло времени? Двадцать два года. А теперь, в 1815 году, он тем же путем возвращается обратно. И ничего, что было прежде, уже не понимает: ни людей, ни порядков того времени. Интересно, что сказал бы он, если бы тогда создалось такое положение, как сегодня?

Во всяком случае, сегодня в городе Сен-Дени положение нетерпимое. Толкутся офицеры на половинном содержании, беглецы, какие-то зеваки. Эх, если бы он был в штатском костюме, как вчера, когда его вызвали к королю! Он возвратился в харчевню и едва только успел опуститься в кресло, как заснул в полном изнеможении.

* * *

Разноцветные домики на берегу канала, где течет черная вода, крыши уступами, на окнах беленькие занавесочки с бахромой, мерный топот людей, несущих дрова в высоких корзинах, перекинутых за спину, а там, в вышине, среди облачной пыли, стая гаг, и вдалеке, за серым массивом пристани, скорее угадываешь, чем видишь, силуэт корабля с флагами на мачте. Генеральша, госпожа Мезон,— еще девочка, почти подросток, пребывающая в состоянии вечного удивления перед совершившимся с ней чудом: округлились маленькие грудки, налились и стали молочно-белыми худенькие детские руки, и когда она играет в серсо со своими кузинами Ван-дер-Мелен, нежные ее ножки не знают усталости. И надо же было, чтобы мимо решетки, отделявшей их двор от улицы, прошли французские солдаты в лохмотьях, как оборванцы,— у кого была на перевязи рука, кто еле ковылял, волоча больную ногу, а некоторые падали от усталости прямо на дороге и у плеча по рубахе звездочкой расплывалась кровь. Фламандские драгоценности запрятали под толстыми стопками простынь, сложенных на полках испанского шкафа, и соседи, пользуясь ночной мглой, перебрасывали друг другу через забор бумажки, привязав к ним камень,— крамольные или любовные письма. Мужчины там рыжие, женщины носят туго накрахмаленные косынки. Все, что составляло злобу и заботу дня, как-то сразу померкло, никто не открывал больше толстых книг, испещренных столбцами цифр, никто не ждал больше прихода кораблей, как будто навсегда отхлынуло от берега море. Даже в церковь перестали ходить,— все равно молитва не поможет. Господь бог отвратил от них взор свой, народ ропщет, приходится запирать двери: пришельцы оказались нечисты на руку.

Внезапно родной пейзаж исчезает, словно повернулись крылья мельницы, и тело уходит в гамак, или это поддался под его тяжестью стог сена — огромная пуховая подушка. Девочка с нежными беленькими ручками, округлой талией и тайнами просыпающейся женственности уже не одна. Когда она в полусне поворачивается в постели, она ощущает прижавшегося к ней вплотную огромного черного курносого дога, он влажно дышит, и она

знает, что ей его не оттолкнуть, потому что это все равно бессмысленно,— пес весь теплый, весь твердый и лапы у него кожаные, такие же, как ошейник, который он снял, прежде чем лечь в постель; животное, зверь, и вот девочке уже мило теперь это странное соседство, она ищет пса в потемках, идет на ощупь, шепчет ласкательные клички, лишь бы понравиться ему, и чувствует смутное волнение... Где же ты? Где же ты?

— Тише,— говорит генерал, садясь на постели. Он в костюме Адама, сквозь щели ставен видно, что на улице уже совсем светло. Кто-то стучится в дверь... Слышен чей-то взволнованный голос... Что там такое? Может быть, это все еще длится сонная греза? Мезон поднимается, он шарит, чертыхаясь, и не находит ночные туфли, надевает рубашку, яростно двигая запутавшимися в рукавах руками, опрокидывает по дороге стул.

— Ник, который час? — доносится голос из глубины алькова, но генерал, снова чертыхнувшись, не отвечает. Рейтузы... сапоги... В дверь снова стучат. Два или три раза. Пес взлаивает:

— Могли бы, черт вас побери, и подождать!

Это — денщик, он пришел предупредить генерала, что явились офицеры и требуют немедленного свидания, не желают слушать никаких резонов. Если хозяин спит, пусть, говорят, его разбудят,— словом, солдат, стоявший на карауле, заметив, что они в сильном возбуждении, да и вид их не предвещает ничего доброго, не решился преградить им путь, тем паче что их явилось не меньше десятка.

— Надеюсь, они все-таки разрешат мне ополоснуть лицо,— сердито пробурчал Мезон. Он подошел к зеркалу, взглянул на себя: волосы всклокочены, рубашка распахнута на груди, и видна густая черная шерсть. Генерал оглядел свои ногти: — Скажи этим господам, сейчас иду...

В канцелярии, помещавшейся сразу при входе в дом, ожидали генерал-губернатора Парижа господа офицеры на половинном содержании. Они не желали без толку торчать во дворе казармы... По их развязным манерам сразу было видно, к чему клонится дело: один непочтительно уселся на подоконник, другой пристроился на углу стола, похлопывая хлыстиком по разбросанным бумагам, все — в маленьких шапочках, а один гусар даже с трубкой в зубах. Однако, повинуясь силе привычки, они поднялись с места, отдали честь.

— Чем могу служить, господа?

Тут были лейтенанты, капитаны и, гляди ты, даже один майор... И в самой разномастной форме — всех цветов радуги: у одного накинут на плечо ментик, подбитый мехом, другой в доломане, обшитом галуном и с оторванной серебряной пуговицей, третий —

в кавалерийской шинели... Зеленые, синие, желтые, красные... словно вывалившиеся из коробки аляповато размалеванные оловянные солдатики всех родов оружия, все не очень чисто выбритые, у всех наглые физиономии. Первым заговорил майор. Он отрекомендовался: «Майор Латапи...»

Они пришли испросить — «ис-про-сить!» — у генерала, господина Мезона, согласия на то, чтобы был дан приказ по гарнизону взять направление на Париж, дабы упредить его императорское величество. Есть все основания опасаться, что в Париже начались беспорядки, коль скоро Бурбоны покинули столицу, и вот они порешили...

— Я отказываюсь вас понимать, вы забываетесь, господин майор...

Мезон поглядел в окно. Дождь прекратился, бледный мартовский свет лежал на крышах низких строений казармы. Весело поблескивали черепицы. Генерал зажмурил глаза, еще затуманенные сном. Его короткая речь, каждое слово которой казалось сухим отрывистым ударом бича, не имела ни малейшего успеха. Один из капитанов выступил вперед и, отстранив начавшего было говорить майора, четко произнес:

— Господин генерал, в прошлом году в Лилле...

Мезон взглянул на говорившего и сразу признал его:

— Ах, это вы, капитан Абсалон... вот где пришлось свидеться!

Стоя почти вплотную, они мерили друг друга взглядом. Для этих двух людей сейчас уже не существовало чинов. Капитан Абсалон был тогда одним из вожаков мятежа, а генерал Мезон, назначенный комендантом крепости Лилль, обратился к войскам с прокламацией, в которой признавал временное правительство.

— Господин генерал, в прошлом году в Лилле вы нам сказали...

Он, Мезон, сам знал, что говорил тогда в Лилле. Как бы ни перетолковывать его тогдашние слова, они имели один-единственный смысл: солдатам и их командирам не пристало заниматься политикой. Армия есть армия: она выполняет приказы высшего начальства — и все. Гусар вытащил изо рта трубку и ядовито рассмеялся. Он был в чине лейтенанта, гигант с детски наивной физиономией.

— Конечно, армия это очень мило,— произнес он грубовато-высокомерным тоном,— ну, а Франция... вам, значит, на Францию наплевать, господин генерал?

Группа офицеров наседала на Мезона. Он уже чувствовал на своем лице их дыхание. Он был как затравленный гончими олень, но этот олень еще мог довольно успешно действовать рогами. В эту минуту дверь распахнулась. Присутствующие оглянулись.

Госпожа Мезон, встревоженная долгим отсутствием мужа, пришла посмотреть, что происходит. В спешке она не успела как следует привести себя в порядок: из-под батистового плоеного чепчика выбивались длинные белокурые косы, поверх ночной рубашки она накинула малиновый бархатный капот.

— Извини меня, Ник...

— Что тебе здесь надо? Ступай, ступай...

Генерал взорвался. Ему ничуть не улыбалось вести подобные разговоры в присутствии жены, к тому же он вовсе не желал, чтобы она видела его в таком маловыигрышном положении. Лучше бы оставить ее в Париже на улице Тиру, но если все-таки король покинет Францию...

Капитан Абсалон вежливо поклонился губернаторше. Он знал ее еще с того времени, когда служил в 1-м корпусе в 1814 году,— тогда войска стягивали к границе. Госпожа Мезон была весьма недурна в свои сорок лет, хотя немного обрюзгла, и с годами у нее появился двойной подбородок, но глаза были все такие же голубые, словно фарфоровые. Мезон познакомился с ней во время первой оккупации Бельгии, когда там происходили волнения, потому что простой народ был настроен враждебно и, доведенный до отчаяния нищетой и отсутствием работы, втайне вооружался против захватчиков...

Майор снова заговорил:

— Господин генерал, по телеграфу из Тюильри в Сен-Дени получено известие, что император вступает в Париж во главе войск, которые были посланы против него. Гражданские и военные власти, говорится в депеше, предупреждаются, что отныне они обязаны повиноваться приказам, исходящим из Тюильри, и никаким более. Велено немедленно водрузить трехцветное знамя...

Генеральша испуганно взглянула на мужа. Сейчас он особенно походил на черного дога. Она предпочла потихоньку исчезнуть из канцелярии. И уже за дверью услышала слова Мезона:

— Любые мнения, майор, должны отступить перед безотлагательными нуждами родины. Дабы избежать ужасов кровопролитной гражданской войны, французы должны еще теснее сплотиться вокруг короля и руководствоваться данной им конституционной хартией...

Генеральша ужаснулась: «Революция,— подумала она,— начинается революция... я же ему десятки раз говорила, что именно этого добивалась противная толстуха немка, эта герцогиня и ее изменник муж, мерзкий Сульт, которого она натравливала на моего бедного Ники».

* * *

Маршала Макдональда разбудили только после полудня. Он проснулся окончательно разбитый, все тело ныло, физиономия отекла. Нет, никто не явился, не подошли войска, которые решено было повернуть от Вильжюива на Сен-Дени. Так-таки никого? А куда же девались части графа де Вальми, сына Келлермана? Никаких новостей от Жирардена? В присланном рапорте упоминалось о приказе, данном полковнику Сен-Шаман идти от Корбейльского моста на Сен-Дени через Вильнёв-Сен-Жорж... Было это вчера вечером, и с тех пор никого. Тут маршала известили, что из Ла-Фера прибыла артиллерия.

Итак, продолжалось всеобщее передвижение войск, начавшееся несколько дней тому назад, с целью укрепить Меленский лагерь, но теперь передвижение происходило уже чисто механически, и никто пальцем не пошевельнул, чтобы его прекратить. Полк за полком направлялся в Париж, как будто кто-то намеренно поставлял солдат Наполеону. Надо было бы остановить этих артиллеристов на дороге, повернуть их обратно в Ла-Фер. И за что только упрятали в тюрьму братьев Лаллеман,— ведь они делали то же самое, что делают сейчас по королевскому приказу все северные гарнизоны в тот самый момент, когда король укрылся в Лилле! Что за нелепость! А Рюти? Где Рюти? Вошел генерал Рюти.

— Пойдите и немедленно скажите командующему артиллерией, чтобы артиллерия не смела входить в Сен-Дени. Пускай возвращаются, откуда пришли!

Откровенно говоря, распоряжение было дано с запозданием, ибо с Парижской улицы уже доносилось тарахтенье пушек и зарядных ящиков, и когда генерал Рюти, растолкав собравшихся на углу улицы Компуаз офицеров, попытался остановить колонну, людей словно ветром подхватило: офицеры генерала Сен-Сюльписа скопом понеслись по улице, хватали лошадей под уздцы, выкрикивали слова команды, прыгали в экипажи, и Рюти пришлось ретироваться среди всеобщего замешательства. Так что Макдональду с его рахитичным штабом и двумя-тремя генералами не оставалось ничего иного, как молча наблюдать за движением артиллерии по направлению к столице. Он воздел руки к небу. Что предпринять? Все дороги буквально забиты, там сплелись в один клубок, который скоро не распутаешь, кареты и гвардия, беглецы из Парижа, неистовствовавшие оттого, что солдат пропускают вперед в ущерб движению частных лиц. И в довершение сумятицы целый обоз повозок и лошадей — экипажи герцога Беррийского — проходил в северном направлении через Сен-Дени в грохоте, в

шуме, в лязге,— они без толку проторчали все это время в Вильжюифе, где с запозданием был получен приказ отойти на север.

Распахивались окна, женщины в страхе затыкали уши. Маршалу Макдональду только что донесли,— донес все тот же адъютант, которого он раньше посылал за сведениями к капитану,— что генералу Мезону пришлось спасаться бегством из своего дома, потому что его войска угрожали расправиться с ним. Счастье еще, что король давным-давно проехал через Сен-Дени! А то офицеры на половинном содержании начинают буянить словно дьяволы, врываются в кареты, вскакивают на лошадей, бьют их, скидывают кучеров с козел, вот они уже завладели колонной и повернули ее на Париж под крик и адский грохот: пешеходы еле успели посторониться, как вся безумная, непристойная кавалькада понеслась вскачь. Сквернословят, хохочут... И это французские офицеры, в полной форме! Командует ими какой-то майор на гнедом коне, которого он горячит, поднимает на дыбы,— все тот же майор Латапи, недавно представлявшийся генералу Мезону. Маршал молча наблюдал за этой картиной, чувствуя свое полное бессилие. Да они пьяны! С утра пьяны! Жак-Этьен почувствовал, как лицо его залила краска стыда. Он вернулся в харчевню, велел Гюло складывать вещи, передал необходимые распоряжения командиру полка, прибывшего из Руана, хотя тот напрасно старался втолковать маршалу, что их пункт назначения — Шарантонский мост. Но маршал не стал слушать его доводов, собрал свою малочисленную свиту, вскочил в седло и на крупной рыси поскакал по дороге в Бовэ. «Позавтракаем где-нибудь подальше. Лично я по горло сыт Сен-Дени!» Он сделал все, что ему поручили сделать; но не мог же он в самом деле без конца торчать в Сен-Дени, поджидая войска, перешедшие на сторону Бонапарта, так или не так? Его обязанность — прибывать на место раньше других, подготовлять позиции, будущее местопребывание главной квартиры в Бомон-сюр-Уаз... Был уже час пополудни, когда маршал вышел из харчевни. Он невольно попятился, увидев собравшихся перед входом отставных офицеров на половинном содержании. Но они молча расступились и дали ему пройти.

В то время как карета маршала, а за ней и он сам, катила по направлению к Бомон-сюр-Уаз, офицеры, которым удалось повернуть на Париж артиллерию из Ла-Фера, экипажи герцога Беррийского, кирасир, встреченных по пути, а также роту пехоты, проходившую через деревню Ла-Шапель, неожиданно заметили генерала в полной форме с трехцветной кокардой на треуголке и пикет кавалеристов, очищавших предместье. Майор Латапи подскакал на своем гнедом к генералу, отсалютовал ему саблей и осадил коня.

— Это ты, Альбер? Какого черта ты здесь делаешь? — воскликнул генерал.

Генерал оказался знаменитым Эксельмансом, который решил отправиться в Сен-Дени, чтобы переманить войска на сторону императора. Прошло всего четыре месяца с тех пор, как генерал Эксельманс был отстранен от должности за то, что состоял в переписке с неаполитанским королем, когда его по приказанию Сульта хотели силой отправить в Бар-сюр-Орнен на половинном содержании, но он оказал сопротивление полиции в своей парижской квартире и даже пытался прострелить себе череп. И вдруг он возник на дороге в Сен-Дени. Но так как продолжать дальнейший путь было незачем, он, сделав знак Латапи ехать рядом, с триумфом повел мятежные войска к Парижу, а там — по бульварам — к площади Людовика XV и к Тюильри, где на Павильоне Часов уже полоскалось на ветру трехцветное знамя.

VI

БОВЭ ДВАДЦАТОГО МАРТА

Трудно, и пожалуй даже горько, пытаться нарисовать в своем воображении город Бовэ таким, каким он был 20 марта 1815 года. Поэтому автор позволяет себе выйти за рамки обычной сдержанности и просит читателя последовать за ним. Ибо последняя война, пройдясь по этому городу, не оставила от него ничего или почти ничего, уничтожив то, что составляло его неповторимую прелесть и красоту. Лучше просто закрыть глаза и не смотреть на эти наспех возведенные бараки, на пустыри, на еще не заполненные клетки городского плана, где тут и там застолбованы временные строения — на слишком прямые, проложенные по шнуру улицы, на это разрушенное дотла прошлое, размытые временем наслоения человеческих жизней и судеб, следы мыслей и обычаев, приметы исчезнувших поколений... Ничего не осталось от той весьма содержательной страницы истории Франции — ни домов с коньками на крышах, ни хаотического нагромождения кровель, ни Большой Мануфактуры Гобеленов, и никогда больше никто не вышьет шелком или шерстью пасторальных сцен и пейзажей, которые всегда будут свидетельствовать и о золотых руках вышивальщиков, и об удивительной мягкости линий виноградников, устилавших котловину, на дне которой сладко дремал среди вишневых деревьев городок, окутанный туманами, и о просторах полей, где пробегала тень от взвивавшихся к небесам птичьих стай... Ничего не осталось... ни фаянса Савиньи, ни керамики Вуазенлье, ни скромных пикардийских поделок — поставцов, ларей, чепцов, терракоты,

наивной живописи. Куда девалась старинная вывеска бакалейщика? Где древний меч палача? Ничто, ничто не уцелело от давно растаявших грез. Сожжены те книги, что накапливались из поколения в поколение. Так семья, уже не знающая, от какого корня она произошла, гнездится на руинах, и никто уже не помнит, что этот марш лестницы, повисшей в пустоте, вел раньше на чердак, где играли дети, и что эта груда ко всему безразличных камней, раскидываемых лопатой строителя, была раньше углом улицы, местом встречи влюбленных.

Двадцатого марта 1815 года в глубокой котловине Бовэ, куда спускаются с Варлюи по меловым отрогам Пикардии, где узенькая Терена, тесно зажатая берегами, делает свой самый выпуклый изгиб, опоясывающий город с юго-запада, между горой Бургиймон и горой Капрон, 20 марта сего 1815 года бледное солнце сердито хмурилось среди облаков, раскинутых по всему небу, точно неотжатое после стирки мокрое белье, и освещало остатки ночного тумана, низко стлавшегося над дорогами, холмами и самим городом. Достаточно было выглянуть в окно, чтобы почувствовать озноб и противный хруст в суставах, а тут еще в здании префектуры, отданном в наши дни под Дворец правосудия, тревожно сновали взад и вперед люди; чиновники в канцеляриях теряли голову, прислуга вышла из повиновения, перед собором св. Петра собирались кучками взбудораженные горожане, а там, у собора св. Варфоломея, скопилось невиданное количество повозок и карет. Хотя мужа послали в эту префектуру уже два года тому назад, Нанси до сих пор никак не может привыкнуть к здешней жизни под сенью кафедрального собора, к этим строениям в готическом стиле с контрфорсами, с каменными башнями, к тому, что жилой дом в стиле более поздней готики стоит посреди двора, замкнутого глухими стенами. Все здесь сурово, все пропитано сыростью. Вот в этих-то стенах и заточила себя двадцатилетняя герцогиня Масса сразу же после смерти своего первенца, которому не было и двух лет; здесь произвела она на свет своего второго — Альфреда, ибо по ее настоянию второго ребенка тоже назвали Альфредом в память умершего. Было это в прошлом году, когда с трепетом передавались вести о вторжении; Сильвестр, ее муж, говорил тогда такие красивые слова о вечной преданности императору, о чужеземных ордах... При Бурбонах он резко изменил стиль поведения, и новорожденная Нанетта, такая же курносенькая, как мама, уже в течение нескольких недель сосала свой большой палец в этом бездушном здании, где ныне герцог Масса, носивший еще траур по отцу, которого убило горе и стыд вскоре после падения Наполеона, молодой герцог Масса принимал сегодня утром его величество Людовика XVIII, убегавшего неизвестно куда, по слухам,

в Англию, поскольку король из Бовэ повернул на Кале и так торопился, что ему едва успели приготовить в префектуре большую комнату с гобеленами. Впрочем, никто не знал точно, что происходит на самом деле: только недавно сюда дошел слух, что Людоед, высадившийся в Каппе, снова явился мутить людей, но ведь Канн — это так далеко! А вот уже и сам король проехал через Бовэ, провел здесь ровно столько времени, сколько потребовала смена лошадей, и ускакал, оставив свою измученную свиту — молодых людей, которые попáдали кто где и заснули, прежде чем им успели приготовить комнаты, и лошадей, рухнувших на мостовую, где текли целые ручьи, бороздившие Бовэ из конца в конец. Говорили, что многие из этих кавалеристов в прошлом году уже стояли здесь, когда проходили обучение у князя Пуа. На их счет мнение жителей Бовэ резко расходилось: большинство этих кавалеристов было из родовитых домов, и местное высшее общество с удовольствием принимало их у себя, зато крупное купечество находило, что все они грубияны, нахалы, сплошь пьяницы, да еще толкают локтем почтенных горожан при встрече на улице, требуя, чтобы им уступали середину тротуара. Хотя здесь имелось немало приверженцев королевской власти, королевскую гвардию, в сущности, недолюбливали и знали за что. Немало весьма неприятных историй происходило в этих домах, стоявших вдоль узеньких, и, говоря откровенно, не особенно-то благовонных улочек,— недаром парижские щеголи, гуляя по городу, зажимали носы и обрушивались на своих хозяев с претензиями и обвинениями.

А пока суд да дело, что брать с собой? Нанси уже три раза укладывала вещи в чемоданы и вынимала их обратно. И все потому, что ее отрывали, и в конце концов она уже просто не знала, что уложено, а что забыто в шкафу. После полудня ей пришлось встречать маршала Мармона, который всю ночь скакал впереди королевской гвардии, и когда он прибыл в Бовэ, герцогиня распорядилась, чтобы ему отвели большую комнату, приготовленную еще утром для короля; должно быть, сейчас маршал спит... «По крайней мере, надеюсь, что спит, потому что комнаты огромные, неуютные, я лично никак не могу к ним привыкнуть, все время кажется, будто от постели до зеркала пешком не добраться,— нужна карета... Оставлять здесь меховые салопы или брать с собой? Правда, уже весна, но тепла пока не видно... хотя через два-три дня погода может перемениться к лучшему...» До сих пор на личике герцогини сохранилось до странности детское выражение. Муж следил за ней взглядом; несмотря на третьи роды, она еще посвежела, и кожа у нее даже белее, чем раньше.

Нанси стояла посреди комнаты в полной растерянности, переводя с предмета на предмет свои светло-карие глаза. Не знаешь,

что брать с собой, что оставить дома, особенно, если неизвестно, что ждет тебя в будущем, придется ли вернуться сюда или их разлучат совсем, о бог мой! Сильвестр, Сильвестр, почему ты со мной не едешь? Но ведь префект не имеет права покидать вверенный ему город и бежать вместе с женой и детьми. Это же само собой очевидно. Ну, а если неизвестно даже, куда бежать? Ведь никто не знает, что решит папа... Не может же Сильвестр находиться в одном лагере, а мой папа в другом! Пока что герцог Масса твердо решил хранить верность королю. Ну, а завтра? В конце концов он был пожалован в графы при Империи, получал пенсию уже в том возрасте, когда другие еще бегают за девочками, был назначен государственным советником... это верно, дорогой, ты ужасно, ужасно серьезный человек! Вообще-то Нанси, само собой разумеется, предпочитала Париж, но только при одном условии, чтобы в Париже был Сильвестр. Она даже не могла себе представить, что будет жить одна в особняке Масса или в деревне у своей сестры Перрего... Сильвестр сказал, что при любых обстоятельствах находиться в Бовэ она не может: коль скоро король решил укрыться на Севере,— останется он там или только проедет, следуя в Англию или Бельгию,— Пикардия рискует стать лакомым трофеем в схватке королевских войск и армии Наполеона, к тому же союзники вряд ли дадут ржаветь своему оружию... значит, будет второе вторжение? Не то чтобы он этого желал, но... но логически это вполне возможно. Логически! То, что Нанси останется одна,— это еще полбеды. Но с двумя малютками!..

— Не забудь взять теплые вещи.

Господина префекта позвали вниз.

— Хорошо, иду.

А тут еще, как на беду, перестал работать телеграф. Невозможно узнать, что вообще происходит. Генерал-майор барон Авис, командовавший войсками, стоявшими в Бовэ, только удивлялся, что не получает никаких вестей от своего непосредственного начальника генерала Мезопа, и у него голова шла кругом. Часть войск разместили в бывшем Сен-Лазарском лепрозории, другим отвели большую комнату в богадельне. Кое-кого пришлось уложить даже в бездействующих церквах, прямо на полу на соломе, например, в церкви св. Маргариты или Магдалины, освободившейся после того, как в прошлом году закрылась фабрика ковров. Но все время прибывают новые части. И в каком состоянии, господи боже ты мой! Если полки, перешедшие к Бонапарту, настигнут их здесь, что им делать? И что мы станем делать? Сведения, поступавшие из большинства гарнизонов: Амьенского, Клермонского, Перонского, а также от беглецов или из депеш, которые

доходили сюда, были не особенно-то утешительны. По городу ходят самые разноречивые слухи, и трудно надеяться, что это не произведет своего действия на наименее благонадежную часть населения. Всегда найдутся охотники ловить рыбу в мутной воде,— заключил префект.

По правде говоря, слухи о возвращении императора были приняты в Бовэ более чем холодно. И не только высшим чиновничеством или дворянами, а хотя бы тем же господином Клермон-Тоннером, у которого такой красивый замок при въезде в Марсель-ан-Бовэзи и который зашел за новостями в префектуру. Равно как и простым народом, ремесленниками,— из тридцати тысяч жителей больше половины были заняты в мануфактурах,— а также членами их семей. Бовэ — город, где любят мир. А возвращение Бонапарта — это массовые наборы в армию, кровавая дань войне. Не следует забывать и того обстоятельства, что в 1812 и 1813 годах здесь не было дома, где бы не прятали на чердаке или в погребе дезертиров и беглецов. Конечно, 1789 год принес местным рабочим, занятым в ковровых и миткалевых мануфактурах или на отбелке холста, на фабриках, производящих сукна, шерсть, ратин обыкновенный и тонкий, трип, поплин, хлопчатобумажные ткани, полуголландское полотно и плюш, а также рабочим дубильных и красильных мастерских, мельниц и мастерских по выработке железного купороса,— так вот, 1789 год принес им всем те же иллюзии, что и остальным французам по всей стране. Но это было и быльем поросло. Ведь и Первого консула поначалу приняли неплохо, видя в нем залог того, что террор больше не вернется. Однако война спутала все карты. И прежде всего война отторгла от очагов несколько поколений молодых людей, но, что много важнее, повлекла за собой полный застой в производстве товаров. Для рабочего люда Империя в первую очередь означала крах промышленных предприятий, с каждым годом все возрастающее число увольнений, нищенскую оплату безработных, занятых в благотворительных заведениях... тысяча двести ткачей, то есть треть, побирались на улицах... По сути дела, городу Бовэ так и не удалось до конца оправиться после кризиса 1811 года. Не мудрено, что здесь вздохнули свободнее, узнав о возвращении Бурбонов, и вовсе не потому, что так уж сочувствовали королевской власти, а потому, что надеялись: вдруг монархия принесет вместе с миром нормальное существование, даже работу! Надо жить в дружбе с другими народами,— говорили тогда в Бовэ,— иначе куда и кому мы будем сбывать продукцию, изготовляемую на наших фабриках? И впрямь, городу требовался рынок сбыта. Ну, скажите на милость, что мы получили от Наполеона, кроме жалких заказов на ковры для убранства Мальмезона, Сен-Клу, Компьена? Ведь

на этих заказах было занято всего сорок человек, не слишком ли мало для того, чтобы навсегда исчезла категория «бедных рабочих»! Особенно, если учесть, что фабрика ковров вообще вынуждена была закрыться в последние дни Империи. И даже то обстоятельство, что на улице Тайери открылась новая мастерская по изготовлению гравюр на дереве, вроде лубочных картинок Эпиналя, отнюдь не могло компенсировать закрытия такой крупной фабрики. Поэтому-то обыватели Бовэ охотно кричали: «Да здравствует король», и даже неверующие придавали большое значение процессиям, забывая, что все это было учреждено императором, а молоденькие девушки в день Июльского праздника носили с пением знамена и им уступали дорогу в память Жанны Ашетт, хотя принадлежали эти девицы к самым беднейшим семьям. Если уж быть совсем откровенным, то год царствования Бурбонов не оживил коммерции, не уменьшил нищеты. С окончанием континентальной блокады рынок сбыта все-таки появился, но одновременно с ним возродилась и конкуренция английских мануфактур. В первые же дни своего воцарения Бурбоны одним росчерком пера подрубили под корень производство шерстяных тканей, сведя на нет все труды по улучшению породы овец, по созданию искусственных пастбищ,— все те отрасли, которым неизменно оказывал свою поддержку Наполеон! Поэтому-то в сундуках у промышленников, доведенных до крайности, хранились портреты императора, и кое-кто из них вел крамольные беседы с приезжими из Парижа. Однако при мысли о возвращении Империи с ее рекрутскими наборами и крикливой роскошью, жителей Бовэ начинала бить дрожь. Город не так сильно, как деревня, почувствовал возвращение эмигрантов; прибывшим с чужбины господам нечего было делать на узеньких и малоблагоуханных городских улицах, где небесная лазурь отражается лишь,— вежливо выражаясь,— в сточных канавах. За исключением гвардейцев Ноайля с голубой перевязью на мундирах.

Среди них были очень любезные молодые люди, о которых до сих пор сожалели на улице Сен-Мартен в пикардийском предместье, и, в частности, сожалела госпожа Дюран, бакалейщица, у которой была молоденькая дочка. Надо прямо сказать, их жилец, господин де Пра, как его там дальше, был очень красивый малый, хорошо сложен и весьма красноречив, а когда он надевал каску и кирасу, так просто глаз не оторвешь; неизвестно почему он, самый настоящий блондин, любил повторять к месту и не к месту, что он из сарацин. Пусть будет из сарацин, но человек он был аккуратный, порядочный, поздно не позволял себе приходить, в Гвардейскую кофейню, где собирались дебоширы, даже не заглядывал. Вдова горевала, что пришлось поселить его в гадкой ком-

натенке, да где же другую взять? Помещалась она на антресолях прямо над лавкой, тут ютились раньше и сами Дюраны, когда они только что поженились и еще не прикупили соседнего домика, где сейчас жила вдова с дочкой. Но главное неудобство заключалось в том, что антресоли от ветхости могли вот-вот рухнуть, поэтому ни при жизни Жозефа Дюрана, ни потом они не решались прорубить дверь в толстой стене между домом и лавкой, и госпожа Дюран, для того чтобы пройти в лавку, выходила на улицу, а значит, оставляла дома, где ярко блестели навощенные полы, свои войлочные шлепанцы и надевала перед дверью деревянные сабо, точно простая крестьянка. А в комнату господина де Пра можно было попасть только из лавки по лестнице, да еще подняв люк; госпожа Дюран договорилась кормить своего юного постояльца за сорок су в день, потому что по всему видно, что господин Альфонс не из богатых и особых требований в смысле разнообразия стола к хозяйке предъявлять не будет, но заметим также, что завтраки, обеды и ужины ему относила дочка, Дениза, и подолгу с ним разговаривала. А он читал ей стихи, по его уверениям он сам их писал. Правда и то, что из слухового оконца постоялец мог видеть не только поля, так как домик стоял на самой окраине, но и любоваться сколько угодно просторами Мариссель и небом, таким высоким, как нигде в Бовэ.

Как только стало известно, что прибывает королевская гвардия, Дениза тут же отправилась в город с тайной надеждой встретить Альфонса. Денизе недавно минуло шестнадцать лет, и вот уже семь долгих месяцев мечтала она об их постояльце, который относился к ней, как к малому ребенку, и сейчас она с удовольствием представляла себе, как удивится господин Альфонс, увидев происшедшие с ней за время их разлуки чудесные перемены, а главное, заметив, как дерзко приподымают край корсажа ее молодые грудки. Природа наделила ее белокурыми волосами и почти неправдоподобно нежным цветом лица, легко вспыхивающего от малейшего волнения, длинными-длинными шелковистыми, как самая дорогая пряжа, ресницами и тоненькой фигуркой, изящной даже в нелепом наряде, который дочка носила по настоянию матери, считавшей, что только так и должны одеваться порядочные женщины, и который мог бы изуродовать любую красавицу в двадцать лет; однако, к своему счастью, Дениза выглядела в этом костюме так, будто собралась на маскарад и тайком от мамы нацепила на себя «взрослое» платье. Пусть низко надвинутый круглый чепчик из грубого полотна, туго завязанный под подбородком черными несвежими лентами, окаймлял ее личико своими унылоодинообразными оборочками, скрывая удивительно чистый лоб и удивительно пушистые волосы,— все равно Дениза казалась толь-

ко еще свежее, еще тоньше в плохо пригнанном корсаже, слишком просторном для ее детской фигурки, но зато она гордилась тем, что уже носит корсет; на плечах ее лежала белая шерстяная косынка с бахромой, скрещенная на невысокой груди; юбка в мелкую-мелкую сборку, из толстой коричневой материи, такой толстой, что и тростинка стала бы похожа в ней на бревно, и в дополнение — старушечий передник. Приходилось обеими руками подбирать эту тяжелую, сковывающую движения юбку, падавшую до самых пят, чтобы перепрыгивать через ручейки, которыми так богат Бовэ, и вообще ни на минуту не забывать, что на тебя нацепили этот трепыхающийся колокол,— всего три месяца назад мать решила, что Дениза уже достаточно взрослая, и обрядила ее так. Сама госпожа Дюран целых двадцать лет носила точно такой наряд и не видела причин, почему бы и дочке не следовать ее примеру; худо ли, хорошо ли, она пригнала свои не совсем еще заношенные платья по фигурке Денизы, причем пришлось убрать больше метра материи за счет проносившихся кусков, и все же тоненькая девичья талия заметно увеличилась в объеме. Итак, подобрав как можно выше подол юбки, Дениза под проливным дождем шествовала по улицам, забитым солдатами, которым было не до юной красотки, и внимательно оглядывала каждого, кто был выше пяти футов шести дюймов, надеясь вот-вот встретить господина де Пра. Но при виде открывшегося ей зрелища она тотчас забыла о цели своей прогулки, забыла даже свои недавние надежды. Дело в том, что наши красавцы кавалеристы были далеко не в параде: некоторые, уже спешившиеся, еле передвигали ноги, ведя в поводу заморенную лошадь, другие еще держались в седле, но припадали всем телом к холке коня, а кое-кто даже шел пешком, бросив лошадь издыхать, погибать где-нибудь на обочине дороги. И наконец те, у кого имелось достаточно денег, решили, что по нынешним временам проделать за ночь восемь лье более чем достаточно, и еще в Бомон-сюр-Уаз подрядили телеги, таратайки и прикатили сюда, спасая что можно спасти; еще недавно они принадлежали к той или иной воинской части,— теперь это была беспорядочная орава: кто держал на коленях небольшой ковровый мешок, кто с головой укутался в одеяло, кто храпел, привалившись к плечу кучера. Как могло все это вновь стать войском, идти вперед, принять человеческий облик? Некоторые солдаты были с ног до головы покрыты грязью, удивительно даже, где они так извалялись! Все — насквозь промокшие, еле волочащие ноги, вымаливающие приют. И поэтому-то из жалости к ним Дениза забыла про господина де Пра и поэтому повела к себе домой высокого парня, серого мушкетера, как он отрекомендовался, хотя заметить это сейчас было невозможно, а звали его Теодором.

Это было в десять часов утра, а теперь он спал как убитый у них наверху, разбросав по полу грязную и мокрую одежду, отшвырнув в угол сапоги, превратившиеся в два кома грязи,— слава богу, хоть удалось стащить их с ног,— лег так и не помывшись, голый, разбитый усталостью, еле успев натянуть на себя простыню и красную перину. Пока он спал на антресолях, куда вела лестница из лавки, госпожа Дюран, отпуская горчицу и соль — в соответствии с надписью на вывеске,— передвигалась на цыпочках и шикала на покупателей, хотя вряд ли даже гром небесный мог разбудить раньше вечера мушкетера господина Лористона! Их комната шла по четвертому разряду в списке квартир, предназначенных для постоя войск, что в обычное время являлось для вдовы хоть малым, да подспорьем; тем не менее к ней раз десять заходили насчет комнаты для господ офицеров, и один гренадер королевской гвардии уже расположился в кладовой прямо на ящиках. Поди его оттуда выкури! Покупатели, заходившие в лавку, бегали смотреть, как спит этот гренадер, поставив возле себя медвежью шапку, и хотя зрители умилялись от жалости, все же потихоньку хихикали: уж больно в смешной позе он спал, даже не совсем ловко получалось, особенно при Денизе, поэтому она отводила глаза в сторону.

А военные все прибывали, прибывали...

Некоторые мылись прямо у колодца. Другие, купив у банщика за пять су ведро теплой воды, обливались где-нибудь на задворках с головы до ног. Прямо герои! Третьи брились. А некоторые, бессильно рухнув на землю, так и остались у стоянки дилижансов на улице Сен-Мартен. Они сидели, положив на колени сумку и саблю, оглушенные резким пикардийским говором; иные отчаянно чихали, и каждому при виде их невольно приходила в голову мысль: что погнало их сквозь дождь и ветер? Потому что сколько ни убеждай себя: ведь это же солдаты,— трудно было поверить, что перед тобой регулярная кавалерия. Скорее уж опрокинутый улей, разбежавшиеся из приюта сорванцы, которые не послушались старших и теперь заблудились в горах или болотах. Они действительно пришли туда, куда их вели, повиновались команде, маршировали, как было приказано, и все же не верилось... на вид это были беглецы, дезертиры. Город Бовэ встретил их сердечно, ибо что-что, а дезертиры тут были не в диковинку. Женщины из народа по-матерински опекали этих маркизов и виконтов, представших перед жительницами Бовэ в таком виде, что их преспокойно можно было принять за простых рабочих, за таких же людей, как мы с вами! Прибывших затаскивали к себе в дом, давали им напиться, укладывали спать. Поэтому-то многие из них умилялись до слез и твердили: «Ах, что за город, вот люди,

верные монархии, королю, знати!» Было бы весьма нелегко объяснить прибывшим, особенно в их теперешнем состоянии духа, как и почему так получилось, да, откровенно говоря, об этом никто и не помышлял,— никто ведь не знал толком, что именно происходит, каковы его личные намерения, что ждет его в дальнейшем... Одно знали наверняка: самое разлюбезное дело, когда солдат удирает во все лопатки,— раз удирает, значит, драться не будут; а здешних жителей волновала лишь одна мысль: главное, самое главное, чтобы не дрались у нас в Бовэ!

Что не так-то уж глупо!

* * *

Когда карета, увозившая Нанси де Массà, ее малюток и няньку, миновала две сторожевые башни, стоявшие по обе стороны ворот, и выбралась из префектуры на площадь св. Петра, герцогиня увидела в громоздкой тени собора как раз напротив церкви Басс-Эвр коляску, где сидело четверо господ, и среди них на передней скамеечке — господин де Тустен из личного королевского конвоя. Она познакомилась с ним в прошлом месяце в Мо, куда, оправившись после родов, ездила к тетке Сильвестра показать своих крошек.

Гвардейцы роты князя Ваграмского совсем истосковались в Мо, и господин де Тустен сразу же стал волочиться за герцогиней, что, впрочем, оставляло ее тогда совершенно равнодушной; но сейчас, в такую минуту, неожиданная встреча со своим воздыхателем показалась ей многозначительной,— ее как будто коснулся вихрь исторических событий. Однако не до такой степени, чтобы останавливать карету. Нагнувшись, она увидела сквозь заднее окошко, что коляска свернула к префектуре, откуда она сама уехала несколько минут назад. Нанси озадаченно потерла свой вздернутый носик и представила себе беседу между маркизом де Тустен и Сильвестром. Господи, до чего же тесен мир! Все происходит, как в театре: действующие лица заранее занесены в программу, и никто, кроме них, не смеет появиться на сцене. Вдруг она хлопнула себя по лбу.

— Что-нибудь забыли, сударыня? — осведомилась нянька, покачивая на руках крошку Нанетту, сосредоточенно сосущую большой палец.

— Нет, ничего не забыла, милочка, как раз наоборот: вспомнила... Ведь тот высокий мужчина, что сидит напротив господина де Тустен, на заднем сиденье коляски...

— Кто же он такой? — спросила няня, выглядывая в окошко и ища взглядом Тустена.

— Конечно же, герцог Ришелье! А меня нет дома! И некому его встретить! Говорят, он очень приятный мужчина! И рассказывает такие интересные вещи о России!

Нанси не ошиблась: это действительно был герцог Ришелье, сидевший в коляске несколько боком, ибо на ягодицах у него образовались самые настоящие раны; дело в том, что накануне вечером, покидая в спешке улицу Ройяль-Сент-Онорэ, он захватил с собой десять тысяч франков в золотых луидорах, которые взял в субботу у господ Лаффита и Перрего, улица Мон-Блан, и монеты постепенно выскальзывали из маленьких кармашков, ибо, себе на горе, он надел пояс вверх ногами, и получилось так, что от самого Парижа он скакал и галопировал на своих луидорах, попадавших в кальсоны, в рейтузы и даже в сапоги. Сначала герцог никак не мог понять, что произошло, а когда, наконец, понял, то помочь горю было уже поздно: не переодеваться же с ног до головы под проливным дождем, собирать свои золотые, укладывать их на место, и все это в полном мраке. Так что в теперешнем своем состоянии он стал вполне безопасен для дам! И не мог же он в самом деле остановиться в первом попавшемся доме,— ему нужен врач, нужны припарки и примочки; вот он и решил, прихватив с собой своих попутчиков, заехать к префекту, чтобы тот вызвал хирурга. Счастье еще, что в Бомоне удалось найти эту таратайку, и он отправился в путь вместе с маркизом де Тустен, Леоном де Рошешуар, бывшим своим управителем в Одессе, приходившимся ему племянником со стороны жены и в данное время служившим в черных мушкетерах, и господином де Монпеза, адъютантом Леона. Было, по всей вероятности, около половины второго.

* * *

В этот самый час маршал Макдональд находился на хорошо знакомом ему отрезке дороги, ибо как раз отсюда, свернув налево, можно было попасть в поместье Реньо де Сен-Жан-д'Анжели. Почти повсюду в этом крае были разбросаны поместья, символизировавшие собой неизменность того мира, к которому принадлежал и герцог Тарентский и который, возможно, он собирался покинуть. Куда заведет его эта погоня за убегающим королем? Неужели и впрямь придется оставить Францию? На это он никак не мог решиться. Поэтому он упорно молчал и не отвечал на восклицания генерала Гюло и своего адъютанта, который то и дело высовывался в окошко и громко восхищался пейзажем. Или вдруг говорил: «Интересно, что сталось с той дамой, с итальянкой...» Один неразрешенный вопрос занимал все помыслы Жак-Этьена: где же действительно находится сейчас король; он боялся, что его

величество вдруг передумает и вместо того, чтобы ехать в направлении Лилля... С одной стороны — неутешительные вести насчет этой истории в Амьене, а с другой стороны — вообще ничему верить нельзя. Впрочем, что может сделать один вышедший из повиновения префект? Возьмет и нападет на королевский двор? Но кто из офицеров осмелится поднять руку на государя, коему они присягнули в верности? Это же чепуха! И однако, если Людовик XVIII следует в направлении Кале,— что вполне вероятно, учитывая соблазнительную близость побережья и моря,— то даже если он и не пожелает эмигрировать, все равно люди вообразят, что он уже плывет в Англию... Сколько потребуется времени войскам, перешедшим на сторону Наполеона, чтобы пуститься в погоню за нами? Одно достоверно: нынче ночью император будет ночевать в Лувре.

Дорога почти неожиданно свернула в узкую лощину между двумя высокими откосами и пошла лесом мимо загородных домов. Приближался Прель, лежавший у подножия холма, растянувшись по меньшей мере на целые четверть лье. На минуту маршал подумал, почему бы ему не остановиться у Ланевиля. Ланевиль был его биржевым маклером, и неплохо было бы дать ему кое-какие распоряжения. Если даже придется покинуть пределы Франции, совершенно незачем, чтобы капиталы лежали втуне. Ланевиль вполне мог бы снестись с Альфонсом Перрего, его зятем, мужем его дочери Адели. Для этого в последнюю минуту надо было свернуть вправо: замок господина де Ланевиль стоял примерно в одной трети лье в стороне от дороги, в Нуантеле, очаровательном местечке, среди парка с боскетами и прудами неописуемой красоты, где с опушки Карнельского леса открывался вид на долину Уазы. Но неизвестно, застанет ли он Ланевиля в Нуантеле. Маршал не велел сворачивать направо. И вправду, что сталось с госпожой Висконти? Так или иначе это был уже второй удар... Он произнес вслух: «Вернется к себе на бульвар Капуцинок...» И адъютант ошалело взглянул на Макдональда, потому что об итальянской даме он говорил минут двадцать назад и уже успел забыть свои вопросы. К тому же он не знал, что интересующая его дама живет на бульваре Капуцинок. Но он понял, что расспрашивать маршала сейчас не время: Жак-Этьен погрузился в свои мысли, его вновь охватил смутный страх.

Вспомнив о Ланевиле, об Адольфе Перрего, он тут же вспомнил о сестре Адольфа, золовке Адели, которая стала герцогиней Рагузской, и, понятно, вспомнил о Мармоне. Где он сейчас, Мармон, где принцы? Совершенно очевидно лишь одно — отстали от королевской кареты. Если кто-нибудь мог еще в этом сомневаться, пусть поглядит на дорогу, по которой бредут отставшие, ползет

хвост королевской гвардии. Вот они сидят в придорожных канавах, обхватив руками босые ноги; некоторые спят, расстелив на земле плащи, лошади брошены без присмотра, пожитки раскиданы, повсюду валяются пустые бутылки, даже оружие! По мере приближения к Бомону людей становилось все больше,— они шли теперь группами; карета маршала обгоняла повозки, где спали как убитые, зарывшись в солому, волонтеры в фантастическом одеянии а-ля Генрих IV; обгоняла несчастных, обезумевших от усталости юнцов, которые пытались еще делать вид, будто маршируют в строю, обгоняла тех, кто уже сдался на волю судьбы, тех, кто озирался вокруг с растерянно-испуганным видом, и тех, кто уже явно спасовал. Многие, скинув ботинки, шлепали по дорожной грязи прямо босиком. Другие опирались на мушкетон, как на трость. А спешившиеся кавалеристы уговаривали норовистых запаленных коней и все-таки не могли сдвинуть их с места.

В Бомон-сюр-Уаз, должно быть, насчитывалось около двух тысяч душ. Небольшой городок поднимается уступами вверх по холму над самой рекой, и между высоким собором и разрушенной башней старинного замка устроено место для гулянья. Существует он торговлей мукой и зерном и, кроме того, служит промежуточным пунктом на пути между Парижем и Кале. Когда на почтовой станции стали менять лошадей, кто-то из кучеров заметил, что одно дышло маршальской кареты вот-вот переломится; путникам лишь чудом удалось избежать катастрофы. Починка требовала времени, а его-то как раз и не хватало. С минуты на минуту должен был отойти почтовый дилижанс. Покинув свой эскорт, а также Гюло, которому придется побыть здесь до конца починки, Макдональд с адъютантом уселся в дилижанс, дав предварительно распоряжения поджидавшим его квартирьерам, уже подготовившим помещения для постоя войск. Какие еще там квартиры, раз самой армии не существует! Никто не следовал за королевским поездом, ни один полк, ни одна интендантская часть. Макдональд рассчитывал, что в Бомон прибудет генерал Рюти, выгнанный из Сен-Дени отставными офицерами, и, объединив по пути следования разрозненные части, поведет их в Бовэ. Но никакого Рюти здесь и в помине не оказалось! Верности престолу, особенно после того, как на Рюти нагнали страху мятежные офицеры, хватило ему лишь настолько, чтобы добраться до Сен-Дени. Ну что же, оставим здесь пост на случай, если подойдет полк, а распоряжения будут те же самые, что в Сен-Дени.

Не было, пожалуй, на протяжении всей истории подобного случая: главнокомандующий без единого солдата проделывает в обществе одного только адъютанта путь, заранее намеченный красным карандашом на штабных картах. Да еще в почтовом ди-

лижансе. Сейчас речь шла только об одном: как бы догнать поскорее королевский поезд; никто уже не думал об армии, стоявшей в Меленском лагере,— да там и не было армии, была только королевская гвардия под началом графа Артуа, был Мармон и впереди цуга карет катил христианнейший король вместе с князем Пуа, Блакасом, а может статься, к счастью, позади них трясется в своей колымаге Бертье, грызя, по обыкновению, ногти и придерживая на коленях шкатулку с бриллиантами госпожи Висконти. А еще дальше экипаж Бернонвиля вместе с кучером... Бернонвиль,— интересно, о чем сейчас думал Бернонвиль?

Что касается князя Ваграмского, то ему, должно быть, до смерти надоело слушать разговоры герцога Граммона с герцогом Люксембургским, классический диалог двух глухих, когда один ждет, чтобы другой сделал наконец передышку между двумя бесконечными историями об армии Конде, и, воспользовавшись благоприятным моментом, вставляет свой рассказ о Португалии. А герцог Круа д'Аврэ, который мыслями и не покидал Версаля...— держу пари, что он тихонько дремлет наедине со своим прошлым в уголке кареты в неизменном пудреном парике с косицей и височками.

В почтовом дилижансе, в котором продолжал свой путь маршал Макдональд, кроме него, находились еще барышник, два коммивояжера, старая слепая дама с компаньонкой, семейство парижан — в числе их девочка с котенком на руках — и какой-то англичанин, время от времени отмечавший что-то в своем блокноте. Всем было тесно, а после появления новых пассажиров в военной форме стало еще и чуточку страшно. Кто он, этот генерал? Во всяком случае, ясно одно: это генерал. На него искоса поглядывали и молчали. Правда, с Парижа они вволю насмотрелись на военных, но что-то не видно было, чтобы генералы разъезжали в обыкновенных почтовых дилижансах. Стало быть, и генералы теперь — на манер всех прочих смертных — удирают в дилижансах? Мало-помалу пассажиры успокоились. Коммивояжеры вполголоса возобновили прерванный разговор. Для общей беседы атмосфера была явно неподходящей. Да и здешний пейзаж не мог дать пищи для разговора, ибо дилижанс катил по однообразной равнине мимо Шанблэ, где торчал высокий шпиль собора, затем начался подъем на откос, затем дорога поворачивала на Телль, и тут на открытом плато их снова настиг дождь.

Было, должно быть, около пяти часов, когда дилижанс добрался до Гобетской равнины, откуда шел спуск к Пюизэ-ле-Обержэ. Тут обычно меняли лошадей. Маршал рассеянно прислушивался к словам барышника, который показывал куда-то влево, где стоял замок постройки минувшего века, и даже назвал фамилию

его владельца. Здесь процветало производство вееров. Или, вернее, оправ для вееров. Странный край, живущий поделками такого рода! Основа его благосостояния — рассеянно-кокетливый взмах ручки, жест, который уж никак не назовешь жизненно необходимым. Жак-Этьен припомнил, как он когда-то преподнес Полине Леклерк веер, о котором продавец сказал: «Этот веер принадлежал госпоже де Брюан...» Уж не это ли имя произнес барышник, говоря о владельце замка? У Полины были самые крохотные ручки во всем мире, и веер казался естественным продолжением ее изящных пальчиков... Странно, что это вспомнилось ему именно сегодня! Через эту деревушку, насчитывающую от силы сотню хозяйств, прошел отряд роты князя Ваграмского, половина солдат пешие, окруженные измученными всадниками, и все сердитым жестом поднимали воротник и с упреком вскидывали глаза к небу, хмурившемуся все больше. Когда тот, другой, возвратится в Лувр, он пройдет, как и прежде, через Маршальский зал, заложив руки за спину, вдруг остановится перед каким-нибудь солдатом, скажет ему: «...а ведь мы с тобой где-то встречались...» Comediante, comediante[1]. А когда он вступит в зал Мира, кто соберется там, чтобы приветствовать императора? Какие из бывших его соратников... из тех, что в прошлом году присягали на верность королю... Макдональд представил себе хорошо знакомые лица, видел даже горделивую осанку, одинаково однообразные поклоны, церемонные жесты дам, приседающих в реверансе... Королева Гортензия, госпожа Реньо де Сен-Жан-д'Анжели, герцогиня Фриульская... И вдруг его словно укололо: ведь Полина была с Бонапартом на острове Эльба... а вдруг она вернется в Париж? Он вздрогнул всем телом. Ей-богу, можно подумать, что всю свою жизнь он был влюблен в Полину! Уже давным-давно он позабыл генеральшу Леклерк, которая здорово его обманывала, и с кем — с лучшими его друзьями! И какое ему, в сущности, дело до принцессы Боргезе? Плевать он на нее хотел!

Мелкий, нудный, надолго зарядивший дождь. Грязь, всюду грязь без конца и края. Дилижанс проехал мимо группы строений,— даже деревушкой их не назовешь. Просто торчало что-то вдоль дороги. Отставшие от своих частей солдаты выклянчивали у дверей ночлег. Были и другие — конные, пешие, которые продолжали путь, не зная, где застанет их ночь,— бесконечно разматывающийся клубок королевской гвардии, и жандармы, и легкая кавалерия, и гренадеры, и другие гвардейцы — все в парадной форме, еще не побывавшей под огнем, но уже не выдержавшей

---

[1] Комедиант *(итал.)*.

испытания водой: плащи, супервесты, кожаные штаны; и в том, что народ зовет их «красными» ротами, было что-то бесконечно ироническое! И вместе с мушкетерами — швейцарцы, что они-то могут сделать? Всего и пяти тысяч не наберется. Но их, устало бредущих по дорогам, которым не видно конца, бредущих в беспорядке, можно смело уподобить десяти тысячам Ксенофонта... Целая армия. Исход некоего мира. Итог долгих веков. Чудовищное смешение всех представлений о величии. Карикатура на преданность, карикатура на героизм. Позорно рухнувшая легенда. Жалкая знать с нездоровой кровью, и покорители Европы — немыслимая, противоестественная смесь. Лористон, Лагранж, Мармон, Макдональд в одном ряду с Граммонами, Ноайлями, Дама́, и тут же Домбиду де Крюзейль, Леларж де Лурдуньекс, Бурбоны-Бюссэ, Галли де Менильграны, Форбены дез Иссары, Готье де-ла-Клопери... Цепь, звеньями которой являются наполеоновские наместники и наполеоновские ветераны — солдаты наполеоновской гвардии, под знаменами с начертанным на них латинским девизом, в бутафорских костюмах, расшитых золотым и серебряным галуном (завтра их обнаружат в брошенных фургонах и растащат местные жители), старые или новые клятвы до гроба и клятвоотступничество,— все это шлепающее сейчас по грязи; и с обеих сторон — бесконечная панорама чахлых нив и роскошных домов, которые переходят от военных феодалов к титулованным купцам, променявшим доспехи на веера или перламутровые пуговицы — на сукна, на биржевые спекуляции, на фабрики... В кузнице в Пюизэ высокий мрачный малый в форме дворцовой стражи ждет, когда подкуют его лошадь, а сам еле держится на ногах...

Под мелким дождем маршал только что вылез из дилижанса, чтобы размять ноги, как вдруг карета, запряженная четверкой лошадей, ехавшая по дороге из Бовэ, остановилась возле него. Он услышал крики и голос Нанси: «Папа! Папа!» — и увидел вздернутый носик и светло-карие глаза своей дочки, походившей на отца, как может походить кошка на тигра, вишенка на пушечное ядро. Но голос у нее был совсем как у Мари-Констанс в Сен-Жермен-ан-Лэ. Мари-Констанс — единственная его любовь, его молодость...

— Что ты тут делаешь, герцогинюшка? — спросил он, нежно целуя Нанси.— Носишься одна по дорогам без своего префекта? И со всем выводком...

Он указал на своих внуков: младенцы хныкали в пеленках, пускали слюни, тянули маленькие кулачонки к серому небу, и няня в черном шерстяном платье подтирала их со всех сторон... Нанси объяснила отцу, что муж отправил их в Париж.

— В Париж? Так вот что, сударыня, сделай-ка одолжение, отправляйся вместе со своим родным отцом обратно в Бовэ!

Надо полагать, что Сильвестр ровно ничего не понял в происходящих событиях. И в самом деле, Сильвестр ничего не понял... Какая еще война в Пикардии? Он, видно, воображает, что мы живем при Людовике XIV? Но покинуть Бовэ ради Парижа — это все равно что сделать выбор между Сциллой и Харибдой! Если даже предположить, что они не сразу очутятся в Париже, то все же носиться по дорогам в эти дни...

— Я-то уж достаточно навидался в Сен-Дени! Нет, нет, дочка, меняй направление! Кстати, ты не знаешь, куда поехал король? Вы его у вас, в Бовэ, видели?

В Бовэ его видели. Поехал он по дороге, ведущей в Кале. А остальные...

— Как в Кале? А не в Амьен?

— Нет, не в Амьен.

— Ага, значит, все по-прежнему. Заметь, он вполне может свернуть по дороге еще куда-нибудь: Людовик Восемнадцатый каждые десять минут меняет решения! Из Пуа имеется дорога, идущая прямо на Амьен... Самое досадное, что у всех создается впечатление, будто он хочет удрать в Англию.

— А почему бы ему туда не поехать? — спросила Нанси.

Но ведь он не туда направляется. Отнюдь нет. А беда в том, что, если дорога поворачивает к северу даже только в Абвиле, все равно создастся впечатление,— непременно создастся, и притом вполне определенное,— а это может обескуражить наиболее надежных сторонников монархии, которые в Пикардии и в Артуа как раз особенно многочисленны. Поди сопротивляйся в таких условиях: ты лезешь в драку, а твой повелитель потихонечку улепетнул!

— Ты знакома с этим дурнем? — Такими словами маршал представил дочери своего адъютанта, который почтительно поклонился.— Вообрази только: влюбился в одну итальянку, а ей уже под шестьдесят.

Отнекивания, краска, выступившая на щеках, придали убедительность шутке развеселившегося герцога. Но дилижанс уже тронулся в путь.

* * *

Ровно в шесть часов они прибыли в Ноайль, где находились принцы. Герцог Тарентский, покинув дилижанс, который продолжал путь на Бовэ, поместил дочь и внуков в доме у дороги, принадлежавшем одному буржуа, так как ему сообщили, что хозяева беззаветно преданы его величеству; сам герцог в карете Нанси

поехал в замок герцогов Муши, в полумиле отсюда, где граф Артуа, герцог Беррийский, их свита и командиры королевских рот должны были остановиться на ночь. Мармон, опередив их, достиг уже Бовэ. Герцог Муши и его супруга Натали, доводившаяся сестрой Александру Лаборду, тому самому, которому поручили охрану Тюильри на время с момента отъезда Людовика XVIII до въезда Наполеона,— словом, чета Муши прибыла сюда днем, покинув Париж по совету отца герцога, князя Пуа, и уехали они сразу же после того, как господин Шатобриан, коротавший у них вечер, ушел к себе домой. Все общество собиралось сесть за стол, когда вдруг появился маршал Макдональд. Из кухни шли сладостные ароматы, от которых начинала приятно кружиться голова и подводило живот. Все Бурбоны одним миром мазаны: еда для них дело государственной важности. Чуть ли не весь птичий двор подвергся истреблению, так как обед готовили на тридцать персон, и герцогиня Натали велела ничего не жалеть. Предполагалось подать даже цесарок, жаренных на вертеле. Гости заранее смаковали соус, под которым будут поданы эти самые цесарки, приготовленный по рецепту Меревиля,— другими словами, по рецепту семьи Лаборд. Хотя у Макдональда буквально сводило от голода кишки — после легкого завтрака в Сен-Дени у него во рту маковой росинки не было,— он отказался сесть за стол: его дочь осталась в Ноайле... Тут поднялся крик, герцог Муши заявил, что он пошлет человека к госпоже де Масса... он чуть было не назвал ее госпожой Ренье... сейчас же, тут же пошлют ей половину цесарки и десерт... надеюсь, она любит бургундское?.. Словом, все оказались так милы и любезны, что маршал с легким сердцем дал себя уговорить и признательности ради отведал неслыханное количество всяких чудес, которые без передышки сменялись на столе. Правда, он был несколько огорчен отсутствием Мармона,— ведь только с ним одним он мог серьезно обсудить военную сторону ситуации. Не обсуждать же подобные вопросы с Шарлем де Дама́, командиром легкой кавалерии, или с графом де Вержен, начальником дворцовой стражи, расспрашивавшими его о событиях вежливо и даже с интересом,— ни тот, ни другой не обладали истинно военным духом, хотя оба в прошлом служили в армии Конде. Как могло случиться, что с ними не оказалось Этьена де Дюрфор? Но сердечное отношение членов королевской семьи, гостеприимство Натали, блиставшей красотою, хотя прошло уже двадцать лет (когда Макдональд познакомился с ней, она была молоденькой девушкой, занималась живописью в мастерской Давида, и вполне можно понять господина Шатобриана)... После ужасной ночи, проведенной в пути и под дождем, гул голосов сливался в успокоительный гомон. До цесарок очередь

еще не дошла: у герцога Муши имелся прекрасный живорыбный садок, и для гостей наловили форели, однако приготовили ее не по-меревильски... только у одних Ноайлей умеют ее готовить как надо, и, по обычаю, к рыбе подали испанское вино, названия которого маршал даже и не слыхал ни разу в жизни. Он оглядывал картины, хрусталь на столе и вдруг почувствовал всем своим существом, что здесь он — выскочка, парвеню. Он вспомнил детские годы, проведенные в Сансере, родителей, прочивших его в священники и обосновавшихся в этом городе по примеру многих шотландцев из-за дешевизны съестных припасов и превосходного качества вин. Он почувствовал, что краснеет, повернулся к графу Артуа и, продолжая есть, доложил ему о событиях нынешней ночи и исчезновении королевской армии.

Его высочество герцог Беррийский, который был непосредственным начальником герцога Тарентского (точно так же, как его отец граф Артуа,— начальником герцога Рагузского) — другими словами был номинальным командующим армией, имея под своим началом Макдональда, окончательно впал в мрачность, когда увидел, что Макдональд адресуется к его отцу, который, через Мармона, командовал только королевской гвардией. Но что герцог мог поделать? В отсутствие короля монархию представляет его брат — граф Артуа. И потом — армия, где она, эта армия? При этой мысли он почувствовал, что на глаза навертываются крупные слезы — наследие прабабки Анны Австрийской.

* * *

Проснулся Мармон на пышной постели в огромной темной комнате, все стены которой были затянуты тканой материей, перекупленной по дешевке у некоего господина де Буасервуаза, после того как в VII году Люсьен Бонапарт отказал префекту города Бовэ в разрешении меблировать свое жилище бесплатно за счет Мануфактуры. Слегка тронутые молью гобелены изображали все в том же порядке сцены из «Благородной пасторали» Буше (правда, вместо шести сцен — налицо было только четыре), предыдущий префект, граф де Бельдербуш, видимо широкая натура, добавил к обстановке еще софу, затканную по бело-лазоревому полю букетиками цветов, шесть разномастных кресел, а над кроватью и на окнах по его распоряжению нацепили узорчатые занавеси. Ложась спать, Мармон не разделся как следует, и его одежда в беспорядке валялась на полу. Спал он, должно быть, не особенно долго, если судить по дневному свету, пробившемуся полосами сквозь щель раздвинутых им тяжелых занавесей. Слава богу, можно переменить белье: пока он спал, в комнату внесли его чемодан. Чемодан испанской кожи, утыканный гвоздиками с круп-

ными шляпками, немало повидавший на своем веку чемодан. Мармон рассеянно оглядел «Фонтан любви» и «Ловлю птиц на приманку» и решил про себя, что все это безнадежно вышло из моды. У изголовья кровати болтался длинный шнурок сонетки. Вошедший слуга принес теплой воды, и маршал принялся за утренний туалет. Критическим оком он осмотрел в зеркале свое отражение, и особенно придирчиво руки и ляжки. «Ох, начинаю жиреть. И что это за противные черные пятнышки вот здесь, слева, на ноздре?» Даже после сна он чувствовал усталость. Усталость эта шла не так от нынешней ночи, хотя ему удалось поспать всего три-четыре часа, как от всех предшествовавших этой ночи дней, проведенных в Париже, от утомительной нерешительности короля, от вечных полумер, от вестей, поступавших с юга. Ему достаточно быстро стало известно содержание прокламаций, выпущенных Бонапартом по высадке в Канне. Обвинения, предъявленные ему, Мармону, императором... О них он думал не переставая.

Некоторое успокоение в его душу внесла процедура бритья, с которой ловко справился присланный префектом цирюльник. Герцог Рагузский провел ладонью по свежевыбритым щекам, рассеянно прислушиваясь к болтовне цирюльника, восторгавшегося физическими совершенствами своего клиента. До того ли ему было! Эта кампания, если только можно назвать кампанией беспорядочное бегство... разве похожа она на то, что происходило в Испании, где лучшим рассеянием воину служила любовь... Для него Бовэ был не гарнизонным городом, но местом временного постоя: не сегодня-завтра враги будут здесь. А французы... для него французы похуже, чем испанские партизаны на Пиренейском полуострове. Если он попадет в руки своих, его постигнет судьба герцога Энгиенского. Не это ли имела в виду его жена,— а не только случайности войны,— когда после стольких лет разлуки попросила его увидеться с ней в эту субботу? Как и всегда, горечь примешивалась к его мыслям о герцогине Рагузской... о мадемуазель Перрего, как про себя он называл Гортензию, с тех пор как она после событий 1814 года заявила, что не желает носить его имя. Фактически они не были мужем и женой уже с 1810 года, и Гортензии не хватило даже простой благопристойности не афишировать свои любовные похождения, пока супруг ее воевал по всей Европе. Однако выглядело все так, будто это она осудила его, когда он предал Наполеона, хотя герцог сам, вернувшись из Иллирии, прогнал ее из своего особняка на улице Паради. Впрочем, поскольку она изъявила желание с ним увидеться... он согласился и поехал в особняк на улице Черутти...

Пожалуй, ничто не могло лучше прояснить весьма неясную ситуацию, царившую при дворе, чем этот шаг со стороны маде-

муазель Перрего. Она предложила мужу сделать перед отъездом полное завещание в ее пользу. При существующих между ними отношениях это было уже не просто наглостью, но — как бы выразиться точнее? — твердой уверенностью в грядущей его судьбе. Конечно, он мог отказать, расхохотаться ей в лицо. Но его вдруг словно коснулся аромат первых дней их брака, словно прозвучала незавершенная музыкальная фраза мелодии, которая преследует вас денно и нощно, хотя знаком вам из нее один лишь отрывок. В конце концов если ему суждено умереть, разве не должна остаться после него герцогиня Рагузская? Он не разошелся с ней в ту пору, когда Наполеон ввел разводы и когда разводы были в моде. Умрет ли он, останется ли в живых — все равно она его жена, поскольку сейчас разводы отменены. Ему почудилось даже, что великодушный жест будет как бы возмездием в отношении и этой женщины, и императора, и всей жизни. К тому же всем своим благосостоянием, своим именем, недвижимым имуществом и капиталами он оплачивал сведения первейшей важности: предложение мадемуазель Перрего доказывало, что ее брат и компаньон брата, банкир Лаффит, были твердо убеждены в том, что события примут благоприятный для Бонапарта оборот. А кто мог быть осведомлен лучше, нежели они? Господа Лаффит и Перрего, от отца к сыну, ставили всегда только на верную карту. И если в эти дни они превратились в бонапартистов, уж поверьте, они знали, что делают. Не следует забывать, что именно речи банкира Лаффита при временном правительстве 1814 года побудили Талейрана сделать ставку на возвращение Бурбонов...

Щеки у Мармона были розовые, свежевыбритые, а на сердце — тяжело. От цирюльника он узнал, что во время его сна в префектуру прибыл герцог Ришелье, и решил пойти поздороваться с этим вельможей, хотя почти совсем его не знал, ведь герцог возвратился из России лишь полгода назад, подчеркнуто держался в стороне от всех дел и неизменно отказывался от любых должностей, которые предлагал ему Людовик XVIII. Однако маршал живо интересовался этим вельможей со столь необычной биографией: двадцать пять лет жизни из сорока девяти Ришелье провел на службе у его величества императора всея Руси. И он отнюдь не был эмигрантом, подобно всем прочим, а покинул Францию в 1791 году по особому разрешению Конституционной Ассамблеи, за что на него косились в Павильоне Марсан, ибо истинной причиной его добровольного изгнания, как всем было известно, являлся брак с мадемуазель Рошешуар, превосходившей допустимые пределы уродства. Женился он в ранней молодости по настоянию семьи. Хотя случай Мармона был совсем иным, он все

же чувствовал, что одинаковые судьбы в какой-то мере роднят его с герцогом Ришелье: оба они, по сути дела, всю жизнь прожили вдали от своих жен, если только можно назвать их женами. Впрочем, еще неизвестно, что лучше: мерзкая распутница или горбунья... По правде сказать, маршал не сохранил в отношении женщин того пиетета, с каким подходил к ним Ришелье, свято уважавший таинство брака. Но разве Наполеон не величал его, маршала, иронически «Мармон первый», когда тот краткое время царил в Иллирии и имел власть, равную той, что осуществлял в течение одиннадцати лет Ришелье в городе Одессе? Его интерес к Ришелье подогревался не столько сходством их личных судеб, сколько сожалением о своем вице-королевском могуществе, столь мимолетном, что он едва успел вкусить от этих благ, и оставившем после себя чудовищную привычку швырять деньгами, увы, не поступавшими ныне из государственного кармана...

Бывшего губернатора Новороссии он застал как раз в ту минуту, когда ему перевязывали раны, натертые золотыми монетами, по несчастной случайности выскользнувшими из кармашков пояса. Так как почти в то же самое время хирург его величества, отец Элизе, прибыл в Бовэ и сразу же явился к герцогу Масса узнать, по какому маршруту проследовал королевский поезд с эскортом, префект города Бовэ радостно воскликнул: «Вот кстати-то!» — и передал первого камергера короля в искусные руки иезуита.

Святой отец постарался как можно быстрее закончить перевязку, чтобы продолжить путь в Абвиль, если только король действительно направился в Абвиль. В Бовэ отец Элизе расстался со своим возницей, с которого вдруг соскочил весь страх: Жасмин стал говорить громко, даже насмешливо и повернул свой кабриолет на Париж под тем предлогом, что-де там, в Париже, живет его милая,— надо сказать, что за время пути он успел значительно облегчить кошелек своего пассажира, то соглашавшегося на все, то впадавшего в гнев. За неимением экипажей преподобный отец выклянчил у господина Масса место в дилижансе, отправляемом вне очереди, ибо королю Франции требовалось срочно вручить депешу, а телеграф бездействовал: Людовик XVIII дал, правда с запозданием, приказ разрушить сигнальную систему. На самом деле депеши сейчас пересылали с конными гонцами, а те доставляли их в Амьен, где телеграф еще работал. Неутешительные то были вести: с минуту на минуту в Тюильри ждали Наполеона; Париж, по сути дела, находился в руках бонапартистов, господин де Лавалетт снова был назначен генеральным директором императорских Почт и заместил на улице Жан-Жака Руссо графа Феррана.

Хотя ныне уже значительно померкло юное обаяние драгунского офицера Армана-Эмманюэля Ришелье, состоявшего при особе королевы в Трианоне, хотя с годами он стал немного сутулиться, однако он и по сей день сохранил выправку молодого кавалериста, что было особенно заметно сейчас, когда он разделся для врачебного осмотра. Объяснялось это отчасти худобой, благодаря чему стан его оставался гибок, как в те времена, когда он вместе с князем Шарлем де Линь и графом де Ланжерон участвовал под командованием Суворова в штурме крепости Измаил. Мармон был на целых восемь лет моложе Ришелье, но он вдруг почувствовал себя в его присутствии тяжелым, обрюзгшим и даже немного позавидовал свежести этого лица, сохранившего под преждевременно побелевшими волосами смуглый румянец,— и свежесть эта, несомненно, объяснялась аскетической жизнью герцога, совсем уж удивительной для внука знаменитого в минувшем веке распутника, на которого он так сильно походил внешностью и так мало моральными качествами. Эмманюэль был одного роста с маршалом, но совсем иного телосложения: голова его казалась неестественно маленькой, возможно, по сравнению с широкой грудной клеткой, неестественно длинной шеей и длиннющими ногами, в которых было что-то от балетного танцора. Ни капли жира, резкие бугры мускулов. Его густые волосы, отливавшие голубизной, до сих пор пышные и волнистые, свободно падали на лоб и виски, как в дни молодости, о которой они были единственным напоминанием, и это лишь усиливало общее впечатление моложавости; хотя нос герцога был излишне длинен, а рот излишне велик, что-то женственное чувствовалось в его чистом и смуглом, как у цыгана, лице с широким разлетом бровей над ярко блестевшими и очень темными глазами. Да, Мармон глядел на Ришелье так, словно видел в герцоге олицетворение того идеала, к которому тщетно стремился сам, с той нередко встречающейся у мужчин ревнивой и тайной завистью к представителям мужского типа, резко отличающегося от их собственного. Но зависть эту питали еще и иные, более глубокие причины, те, что порой лишают человека сна, жгут сердце... Эта поистине удивительная жизнь, долгая жизнь, полная приключений, войн, путешествий, почти что королевская власть в течение двенадцати лет на пространстве от Кавказа до Дуная, страшные дни, когда в Одессу — детище и творение герцога — пришла чума и он не знал ни часа покоя, а кругом лежали бескрайние степи... все это прошло, не оставив на герцоге Ришелье ни отметины, ни следа, тогда как Мармон в сорок один год, хотя и был еще, по выражению дам, интересным мужчиной, чувствовал на своих плечах непомерный груз наполеоновских кампаний, беспощадное солнце Иллирии и солнце Испании, снега

и ветры Германии и России. Прожитая жизнь наложила на него неизгладимый след усталости, сомнений, честолюбивых замыслов, гневных вспышек. И сожаление о том, что ему удалось лишь понюхать власти в Лейбахе, в Триесте.

Пока отец Элизе собирал свое имущество, свои баночки с мазями, сворачивал бинты и без умолку рассказывал о своих дорожных злоключениях между Понтуазом и Бовэ, Мармон вдруг заметил сидящего в углу молодого человека в форме мушкетера, который поднялся со стула при появлении маршала. В первую минуту он не узнал в этом скромном гвардейском лейтенанте генерал-майора Рошешуара, племянника Ришелье по жене, человека тоже не вполне обычной судьбы, подобно своему дяде бывшего офицером русской армии, которого по приказу царя назначили комендантом парижских укреплений в момент вторжения союзников в столицу Франции в 1814 году. Леону Рошешуару на вид казалось не больше двадцати семи лет, однако был он немножко приземистым, жирноватым, с пухлой, несколько помятой физиономией под шапкой каштановых мелко вьющихся волос. Он был управителем у Ришелье в Одессе и целых семь лет заведовал хозяйством герцога, так что тот решил даже сделать его наследником всех своих русских владений, но потом заменил в завещании его имя именем господина Стемпковского. Когда отец Элизе собрался уходить, Рошешуар встал и проводил его до дверей.

— Значит, действительно меня допекло, господин маршал, значит, действительно нужен был мне врач, если я согласился допустить до себя эту гнусную личность. Да ведь у него на физиономии прямо-таки написана вся похоть нашего смутного времени, усугубленная лицемерием сутаны. Не могу взять в толк, как это государь, безусловно сознающий необходимость восстановить во Франции не только Трон, но и Алтарь, как может он допустить, чтобы в самом ближайшем его окружении находился субъект, всем своим видом способствующий распространению атеистических идей. Ведь именно поэтому злые языки имеют смелость утверждать, что их связывает какая-то тайна, а это уж прямая клевета и оскорбление его величества... Послушай-ка, голубчик Леон, если хочешь повидаться со своей кузиной, иди, не бойся, ты меня оставляешь в надежных руках!

Слова эти, адресованные господину де Рошешуар, сопровождались вежливым жестом в сторону Мармона. Лейтенант черных мушкетеров отвесил поклон и пояснил Мармону, что маркиза де Крийон, урожденная Мортемар, только что прибыла в Бовэ, держа путь в замок своего свекра, и он просит герцога Рагузского извинить его за то, что ему приходится уйти.

— Я и Монпеза с собой возьму... кузина питает к нему слабость.

Монпеза ни на шаг не отставал от Леона Рошешуара, который еще накануне вторжения союзников в Париж взял его себе в адъютанты. В молодом генерале Рошешуаре как-то странно сочетались утонченная вежливость и дерзость. Говорили, что, когда братьям Рошешуар было одному семь, а другому восемь лет, их матушка, покидая Францию, оставила детей в Каэне у владельцев банного заведения, которые использовали братьев Рошешуар в качестве мальчиков при банях. Что ж, оно и чувствуется.

Герцог проследил за ним взглядом. Потом, повернувшись к Мармону, сказал:

— Видите ли, господин маршал, обычно люди удивляются тому, что при Революции и Империи таланты проявляли себя в самом раннем возрасте. С экстазом говорят о юнцах, которых производили в генералы тут же, на полях сражений... Но ведь так было не только при Империи. Возьмите хотя бы графа Рошешуара: ему было двенадцать лет, я не оговорился, было ровно двенадцать лет, когда он уже служил офицером английской армии в Португалии, а в шестнадцать лет он пересек всю Европу, направляясь ко мне в Одессу, где жил при мне его брат. Я видел его, девятнадцатилетнего, под огнем турок на одном из дунайских островов. В том же году он вместе со мной вошел с боем в Анапу, черкесский город, объятый пламенем, где наши матросы и наши казаки в общей неразберихе стреляли друг в друга, и по его просьбе он возглавил карательную экспедицию против мелких кавказских князьков, которые непрерывно совершали набеги, грабили и опустошали курени Запорожской Сечи. Подумайте только, ему не было и двадцати лет, когда он с той же целью пошел на татарские аулы, руководил обысками и карательными отрядами, а люди его грабили и жгли сакли. И лишь немногим больше было Леону, когда я поручил ему объехать все села между Одессой и Москвой и выдать по двадцать пять ударов кнута каждому казаку в тех сотнях, что возили послания из Новороссии в Петербург его императорскому величеству и были повинны в пропаже многих бумаг. Вообразите себе, что этот страшный каратель, этот Михаил Архангел, имел детскую, даже девичью наружность, и в восемьсот одиннадцатом году графиня Нарышкина... вы, должно быть, знали ее мужа во время пребывания союзников в Париже... так вот графиня Нарышкина увезла его с собой в Бахчисарай, где он, переодевшись в женское платье, беспрепятственно посетил женский гарем, не смутив ничьего покоя, кроме своего собственного,— столь велика была красота тамошних затворниц, не подозревавших о присутствии постороннего мужчины и в невинности душев-

ной не скрывавших своих прелестей! Не буду говорить вам о том, какую роль сыграл он на Кубани во время кампании восемьсот одиннадцатого года, ни о его самоотверженном поведении в начале нашей борьбы с чумой, разразившейся в двенадцатом году в Одессе, откуда я его из осторожности удалил, и поскольку Наполеон уже продвигался к Москве, я предпочел подвергнуть его опасностям войны, нежели опасностям эпидемии... впрочем, тогда при мне уже состоял маленький Ваня Стемпковский, вполне заменивший уехавшего Леона и не менее преданный... Но, рассудите сами, неужели русская кампания была менее трудной для царских солдат, чем для французских армий? У вас у всех, даже самых верных слуг короля, есть определенная склонность признавать героизм только за французскими солдатами. В рядах французов был один Рошешуар, а другой Рошешуар был в рядах русских, и оба служили адъютантами у двух императоров. Разве не одинаково страдали они от холода, от голода, разве не тем же опасностям подвергались? Подумайте только, что за Березиной Леон де Рошешуар, служивший в дивизии Ланжерона, преспокойно жил (имелся негласный сговор между двумя враждующими армиями, и французы, сжигавшие все села и деревни, не тронули наполеоновской ставки, которую потом занял Александр)... так вот, Леон жил в комнате, только что оставленной прежним постояльцем: там на дверях собственноручно написал мелом свое имя его кузен Казимир де Мортемар, тот самый, чьи пушки нынче ночью завязли в грязи неподалеку от Сен-Дени... Ах, мы еще недостаточно задумывались над тем, что же, в сущности, так разделило французскую аристократию, почему родные и двоюродные братья очутились в двух враждебных лагерях! Сколько вам было лет, когда вас произвели в генералы? Рошешуару было двадцать шесть...

При этих словах Эмманюэль Ришелье сердито поморщился: в пылу разговора он совсем забыл о ссадинах на ногах и ягодицах и, неосторожно повернувшись на диване, почувствовал резкую боль. Мармон, никак не ожидавший такого половодья слов, а главное, того, что мысли герцога, чем больше он их развивал, тем больше походили на его собственные раздумья, машинально зажал между большим и указательным пальцами свою нижнюю губу, будто собирался оторвать ее, и сказал:

— Видите ли, герцог... словом, я сам часто после вашего возвращения думал вот о чем: почему в конце концов, по каким таким причинам — сегодня-то я могу задать вам этот вопрос,— почему вы не пожелали принять участие в деле примирения французов, чем как раз и занялись принцы по возвращении во Францию?..

— Принцы? — переспросил Ришелье, и в голосе его прозвучала еле заметная ироническая нотка, но он тут же добавил: — Это, друг мой, долгая история. Вы хорошо выспались? И армия не слишком требует вашего присутствия? В таком случае я, пожалуй, сумею вам объяснить...

И герцог Ришелье закурил трубку.

VII

ПЕРВЫЕ ПРЕДВЕСЕННИЕ СНЫ

Пока герцог Ришелье объясняет Мармону, почему получилось так, что он стал чужим в своей собственной стране, и рассказывает ему о южной России, где прожил одиннадцать лет, Шарль, барон Фавье, адъютант маршала, спит беспробудным сном на самом верхнем этаже префектуры, где ему поставили кровать; лежит он на животе, руки раскинул крестом, навалившись на матрац всей тяжестью своего гигантского тела, и снится ему Персия, где он вот этой рукой, что бессильно свисает сейчас с одеяла, усилием вот этих мышц, разбитых сейчас усталостью после переезда в восемнадцать лье без передышки, изготовлял для шаха пушки, самолично отливал их в какой-то дыре, похожей на кузницу Вулкана, и под смеженными веками своих выпуклых огромных глаз он видит себя, видит троих данных ему в подручные бритоголовых персиян, видит, как персидская армия, вторгшаяся в Грузию, стреляет из этих пушек по войскам, которыми командует Арман-Эммануэль Ришелье, губернатор Новороссии... Этот тридцатитрехлетний полковник ворочается на постели и стонет, потому что яркий свет заливает комнату, а задернуть занавеси он не успел. Губы его прижаты к собственному плечу и бормочут чье-то имя. Там, в Персии, под неумолимыми лучами солнца, обращающего все в пыль, в той стране, где в поэзии бьют фонтаны и щелкают соловьи, он купил на Ширазском базаре юную черкешенку и теперь ощущает возле себя присутствие этой белокожей девочки со смоляно-черными волосами, не знающей ни одного знакомого Шарлю языка — ничего, кроме горючих слез. Шарль научил ее тогда лишь нескольким словам, необходимым для любовной игры, и в юных нежных устах они звучали с беспощадной точностью, что так не соответствовало, так противоречило сходству, до сих пор волнующему Шарля,— даже сейчас, когда он спит в Бовэ,— сходству, подмеченному им между дочерью Испании и дочерью Кавказа, разделенными морем — и не одним; и он называл тем сокровенным именем свою рабыню, ту, что держал в своих объятиях, ту, что дарила ему наслаждения, называл сокро-

венным именем, которого она никак не могла понять: «Мария Дьяволица».

Дождь снова припустил, он, как тюлем, окутывает Бовэ тончайшей сеткой капель, которую подхватывает ветер и бросает о ставни. Насторожившийся город, кажется, ходит на цыпочках, и причина этому — противоречивые новости и новоприбывшие люди, забывшиеся неверным сном в этих домах, хозяева которых уступили гостям кто комнату, кто чулан. И серенький денек — только изредка в разрывах облаков проглянет бледный солнечный луч — как-то удивительно не вяжется с этим нескончаемым шушуканьем жителей, которые движутся бесшумно, словно посетители кладбищ, между спящими среди бела дня постояльцами, чье шумное дыхание слышишь за дверью собственной комнаты.

У парфюмерщика на Театральной улице хозяева, например, уступили свою постель гостю, гвардейцу королевского конвоя из роты князя Ваграмского. Ему не хватило места в префектуре, где остался вместе с герцогом Ришелье его старый друг — тот самый мальчик из полка Мортемара, что служил в английской армии в Португалии. Гвардейцу снится Португалия, о которой напомнила неожиданная встреча с вновь обретенным Рошешуаром,— тогда Леон, сублейтенант, в свои двенадцать лет выглядевший шестнадцатилетним, жил в казарме Валь-де-Фрейро и носил красный мундир с отворотами, черным бархатным воротником, белыми шерстяными галунами и серебряными пуговицами, войлочную красную каску с белой кокардой и с черной меховой опушкой в виде петушиного гребня. Тогда ему, Тустену, было столько же лет, сколько сейчас этому мальчику. И уже тогда, в двадцать семь лет, у Тустена за спиной была служба в армии Конде с ее междоусобицами, соперничеством и изменами, унизительным обращением со стороны немецких принцев, было страшное соседство красных плащей, хорватов, сербов и далматинцев, этих авантюристов с богатырскими торсами, грабителей, которые живьем — да, живьем! — жгли французов, попавших в плен... а затем жизнь в изгнании вместе с дядей Вьоменилем, под чьим командованием он состоял в России Павла I, тирана, сославшего их в Сибирь, на Ишим, в крепость близ города Петропавловска. Тамошние неоглядные степи, где кочевали татарские орды, казались ему первозданным хаосом... И вдруг снова возникает в памяти королевство празднеств и оперных спектаклей, эта Лузитания, считающая себя империей, где — пока на сцене Каталини поет арию Клеопатры — португальские министры, если им надо обратиться к принцам или принцессам, сплошь покрытым сапфирами и бриллиантами, должны тут же, в ложе, про всей публике преклонять колена. И люстры на плафоне и на балюстрадах, бесчисленные, как бриллианты на

обнаженных женских плечах, и музыкой проникнута вся эта жизнь, полная разбоев, убийств и нечистот, скапливающихся в темных улочках, где за мальчиком, несущим факел, шумной толпой идут дворянские сынки, направляясь в игорный дом или в кабаре, а там, над Тахо, над огромной и медлительной рекой, лениво текущей среди извилистых берегов, пробираются по лесистым горам войска с белыми кокардами, Мортемар, Кастри, августейший эмигрант... Народ, чьи дочери так прекрасны, пляшет на сельских площадях, а парни выводят свои гортанные «модиньясы», не похожие ни на что на свете, ни на песню-плач, несущуюся по истоптанной неприятелем немецкой земле, ни на заунывное киргизское пение, где-то на самых границах Азии, среди воя волков. В Лиссабоне прямо на улицы выбрасывают дохлых животных — кошек, лошадей, мулов,— и целая армия бродячих псов пожирает и рвет их среди бела дня... псы, тысячи псов, набрасывающихся на облепленную мухами падаль, миллионы мух... Боже мой! Да прогоните, прогоните же скорее черный рой мух; они жужжат, лезут в лицо, касаются меня, пачкают меня своими лапками! И человек отчаянно машет руками, отбиваясь от мух, а псы, привлеченные его жестами, бросаются на него, скулят, рвут,— его рвут на части тысячи псов... Виктор-Луи Тустен отбивается, отталкивает от себя тень, упирается руками в тень, с удивлением ощущая, что рука встречает лишь пустоту, и открывает глаза: что это за комната, откуда эта чужая постель, этот камин, этот комод, заставленный безделушками и застланный салфеточками, святой Иосиф на стене? На маленьком коврике у постели в этой бывшей мыловарне покоятся его собственные сапоги, которые, чтобы снять с ног, пришлось разрезать ножом вдоль всего голенища,— какой страшный вид у распотрошенных сапог! — и как же теперь маркиз де Тустен сможет шагать по дорогам великого разгрома монархии?

Весь город Бовэ полон несбывшихся снов, начавшихся с утра и разбросанных как попало по различным домам и переулкам; ибо напрасно было бы искать здесь стройного порядка в чем бы то ни было, коль скоро это уже более не полки, не роты, пришедшие сюда строем, а случайные их обломки, за которыми тянутся жалкие остатки королевской гвардии. Взять хотя бы всадников первого эскорта, уже давно идущих впереди других частей,— только такие крепкие, только такие закаленные люди могут проявить подобную выдержку, да и то потому, что большинство из них служили в армии Наполеона или в армии эмигрантов, научились держать себя в руках, переносить непомерную усталость, физические страдания и непогоду. Входят они в город отдельными группами, некоторые — поодиночке. Никакой заранее данной диспозиции

уже не существует, никто не подготовил им квартир, ничто для них не определено заранее: ни дома, ни сновидения. В меркнущем свете мартовского вечера уже подтягиваются повозки, кареты — от самых убогих до самых роскошных с лакеями на запятках, нагруженные всем, что успели захватить в спешке перед отъездом из дому: одеждой, произведениями искусства, личным оружием, ящиками, куда затолкали первые попавшиеся под руку вещи, и теперь слуги не знают, где их хозяева — проехали ли они вперед и надо ли их догонять. Как может, например, кучер графа Этьена де Дюрфор, командира королевских жандармов, как может кучер, который осыпает отборнейшей, истинной кучерской бранью всех и вся и в первую очередь себя самого за то, что дернул же его черт, болвана, уехать из Парижа с их улицы Анжу-Сент-Онорэ, и которому единственный повстречавшийся на окраине города жандарм, молодой де Виньи, буквально засыпающий на ходу, не способен дать хоть сколько-нибудь вразумительного ответа, как может кучер господина де Дюрфор обнаружить своего хозяина, ежели командир королевских жандармов с головой провалился в бездну сна на квартире графа Бельдербуша, бывшего префекта города Бовэ, незадачливого фабриканта ковров? Прибыв в город, Этьен, захвативший с собой племянника, Армана-Селеста де Дюрфор, лейтенанта своей роты, случайно встретил собственного сына, сублейтенанта роты Ноайля. Во всеобщем беспорядке, при полном отсутствии какого-либо плана расквартирования войск сын графа де Дюрфор,— все трое падали с ног,— решил отвести их туда, где он сам квартировал в прошлом году, когда в Бовэ стояла рота князя Пуа. Однако господин де Бельдербуш, несколько озадаченный появлением целых трех Дюрфоров, не смог или не пожелал отвести им другого помещения, кроме той комнаты, что занимал прежде молодой граф с примыкающей к ней маленькой каморкой; не без усилия удалось втиснуть туда софу для Дюрфора-старшего, а двух молодых людей уложили в одну кровать. Что происходит с Селестом? Кузен, лежа бок о бок с ним, слышит, как тот вздыхает, ворочается... хотя Селеста сразу же поглотила бездна сна, похожего скорее на смерть... Уже раза два сквозь сон молодой граф слышал стоны, даже крики... Он приподнялся, с усилием вынырнув из забытья, стершего все представления: что это за комната, почему мы сюда попали и кто этот человек, лежащий рядом со мной под одеялом... потом снова свалился без сил на подушку, найдя всему какое-то свое объяснение, где реальность смешалась с сонной грезой. А он, Селест, он лежит рядом, он старается сбросить с себя кошмар, он отбивается от этого наваждения, которое с того декабря 1812 года сотни раз подкрадывалось к нему в ночи и норовило задушить. Какая-то

глухая пристройка, примыкающая вплотную к стене фуражного склада; на заснеженном дворе дворник колет дрова; в этой пристройке с побеленными известкой стенами, где оконце заменяет причудливый узор ледяных игл, видит себя Селест среди вповалку лежащих тел, сжимающих его со всех сторон; он задыхается от смрада гниющих ран, кала и крови. На нескольких квадратных футах разместилось около сотни пленных французов, забранных при взятии Вильны, половина из них уже мертвы, другие — с отмороженными ногами — стонут в предсмертном бреду, страдая от холода и отсутствия воздуха; все они в лохмотьях, плащи и рубахи у них отняли, и лежат они, так тесно прижавшись друг к другу, что каждый слышит стук сердца соседа или уже угасающее его биение. По мертвым можно ходить, как по половицам... нет впереди надежды, нет оснований для надежды, и многие уже потеряли рассудок: целых три дня они не видели пищи... Вот тогда он, Селест, узнал и навсегда запомнил, что человек — то же животное, и сейчас он вновь переживает весь тогдашний ужас, ощущает совсем рядом дыхание других людей, прикосновение их кожи, их волос... Слюна, моча...

И внезапно, в довершение муки и отвращения, в этой адской геенне он *узнает* падающее на него тело, он отстраняется от него, отталкивает: ведь тот или задушит его, или сам погибнет от близости Селеста. Как?.. Это немыслимо, и однако же это он... «Оливье!» Тот, другой, действительно не может повернуться, но Селест чувствует, как он ежится, старается отодвинуться, насколько позволяет это унизительное соприкосновение тел, рук, ног. «Оливье!» Тот не отвечает. «Нет, не могу же я обмануться, мой друг, мой брат, ведь я учил тебя ездить верхом и владеть шпагой, тебя, мой мальчик, мой Оливье... Почему ты не узнаешь меня, я ведь Селест... Ты что, оглох, потерял рассудок, Оливье, мой Оливье?» А тот: «Я вас не знаю, я вовсе не ваш Оливье... меня зовут Симон Ришар, я капитан Симон Ришар...» Чудовищный диалог — диалог в аду. Стало быть, у меня уже помутился рассудок, это лишь обман чувств, но нет, это все-таки он, это Оливье... «Меня зовут Симон Ришар...» — «Да брось ты, даже вот с этой грубой щетиной на лице, и пусть даже время проложило в углу рта эту горькую складку, исчертило лоб морщинами... Ты — Оливье! Не отрекайся так упорно, особенно сейчас, в эти трудные для нас часы, неужели ты можешь думать, что я тебе поверю? Посмотри, вот здесь, на обнаженной твоей руке виден шрам, ведь это я, я оцарапал тебя шпагой, когда мы играли с тобой, а было тебе тогда одиннадцать лет... Посмотри, сквозь разодранную рубаху видна у тебя под левым соском родинка, твоя примета... Оливье...» Он глядит на меня глазами Оливье, но глядит враждебно, у него еле хва-

тает сил отрицательно покачать головой, нас все теснее прижимают друг к другу, мои губы у самого его уха... «Бесполезно, Оливье, лгать мне, твоя ложь ничему не поможет, ведь я-то знаю...» Боже мой, боже мой, в этом аду, в этом аду... Или, может быть, у меня просто бред? Десять лет, десять лет назад он исчез, его считали погибшим... ведь мог же он пасть где-нибудь в бою, а потом тело бросили в реку, и он исчез, как рубашка без хозяйской метки... после той трагедии... «Оливье! Значит, ты жив?» — «Меня зовут Симон Ришар». Он не может или не хочет говорить ничего, кроме этих четырех слов. В этой жуткой лачуге, в снегах России... Капитан Симон Ришар. Да брось ты! Селест вспоминает драму, разыгравшуюся одиннадцать лет назад. Оливье обладал всем, о чем может только мечтать человек: он носил одно из наиболее прославленных имен старинной Франции, был сыном богатого человека, получившего при императорском дворе титул церемониймейстера, и сам в двадцать пять лет, осыпанный почестями, был назначен супрефектом; потом его отозвали ко двору, дав неожиданно высокую должность, и он приехал в столицу вместе с двумя детьми и женой, красивейшей женщиной в мире, его кузиной, которую он любил еще с детства. Здесь-то и крылась беда. В этом могильном рву под Вильной, куда заживо брошены люди, Селесту чудятся огромные глаза графини, бархатный взгляд Бланш... Вдруг анонимное письмо. Оливье узнал. В их супрефектуре стоял гарнизон, и Бланш, которая смертельно скучала в провинциальной глуши, изменила мужу с офицером, изменила с этим безмозглым херувимом! С этим ветрогоном Тони де Рейзе... Оливье мог убить его, убить ее. Он предпочел исчезнуть. Десять лет прошло с тех пор. Никто не знал, где он. И вот ты здесь, сейчас, когда мы умираем. «Оливье, не лги мне хоть в последнюю минуту... Слушай меня: у тебя двое детей, Оливье... Она, послушай, Оливье, она ведет самую достойную жизнь, поверь мне, она одна, живет при императрице Жозефине в Мальмезоне, она одинока и несчастна... она тебя любит, у тебя же дети». Он не слушает. Лежит у меня на руках — неподвижно, как срубленный ствол. Он не может отодвинуться. Не может гневно махнуть рукой, потому что даже для выражения ненависти здесь нет места. «Я капитан Ришар... Симон Ришар...» В глазах у меня мутится. Мерзкий запах множества тел. Все это только дурной сон. Я уже не вижу его, только слышу, как он твердит: «Я капитан Ришар...»

В казарме, куда пришел справиться о хозяине кучер, никто не мог ему членораздельно ответить, в Бовэ ли граф де Дюрфор или нет. Никто не знает ни того, где он, ни того, что в эту минуту он проснулся, рывком поднялся на своем диване, оглядывая незнакомое помещение, с удивлением прислушался к стонам, до-

носящимся из соседней комнаты... Кто стонет — его сын или Селест?.. Кто бы то ни был, но, видно, спится ему несладко. Что грезится Селесту? Пленник из-под Вильны кричит в темноте. «Слышишь?» — спрашивает госпожа де Бельдербуш своего супруга. «Слышу»,— мрачно бурчит тот в ответ, ибо его самого гложет мысль о крахе предприятия, о застое в ковровом производстве... сорок рабочих с семьями голодают с 1814 года... Фабрику ковров пришлось закрыть. И виновники несчастья — вот эти самые ультрароялисты, которые проходят через город, как шайка беглецов, а ты еще изволь устраивать их на ночлег. Кто знает, возможно, с возвращением Наполеона... Конечно, в его годы уже поздно претендовать на пост префекта, но, может быть, хоть дела-то поправятся...

В мансарде над бакалейной лавочкой госпожи Дюран на улице Сен-Мартен красный пуховик соскользнул на пол, в комнатушке уже темно,— она выходит на север,— а Теодор, лежа на новых простынях, которые приготовила Дениза для господина де Пра, так далеко ушел за рубеж сознания, что уж и сам не знает, был ли, или только пригрезился ему весь этот долгий день. Простыни жесткие, как картон, грубые и желтоватые, еще не приобретшие той мягкости, что дается частой стиркой, мирным сном супругов, беспокойным метанием людей одиноких. Простыни, которые, как бы ни ворочался человек во сне, сохраняют форму его тела и образуют складки, впивающиеся, как лезвие ножа, и оставляющие на коже синие полосы и лиловатые пятна. Видит ли сны или не видит снов этот голый верзила,— он натягивает на себя простыню и поудобнее устраивается в ямке матраца, продавленного прежними постояльцами. Что означает это нетерпеливое подергивание ног, почему это он вдруг свертывается калачиком и потом резко поворачивается на спину? На лице, во всей фигуре спящего человека порой можно подглядеть выражение муки, боли, которую, вероятно, не до конца изгоняет бодрствующее сознание, а только пытается скрыть, и когда цепенеет воля, боль эта всплывает наружу, как медуза на поверхность моря. Что видят эти закрытые глаза, что бормочут эти уста, над которыми сейчас не властна мысль? Нет сомнения, что все эти жесты вписываются в некий пейзаж, который нам не дано видеть: вот этим движением плеча спящий старается уклониться от встречного всадника в лесу или на дороге, а может быть, он сейчас в тюрьме или в храме... Когда это человеческое существо, замурованное в могильном рву снов, когда этот трепещущий всеми трепетами жизни труп выскользнет из-под пены простынь, когда комнатушка повернется вокруг собственной оси и станет тем, что она есть в действительности, заняв законное свое место над бакалейной лавчонкой в ряду других до-

мов города Бовэ,— тогда спящий будет зваться Теодором и узнает, что шорохи эти производил он сам, но сейчас ни одно имя, даже его собственное, ни одно человеческое слово не способно вырвать его из глубин беззвучного диалога, идущего во мраке, где вдруг возникло что-то незнакомое, дрожью отдающееся во всем теле. Он яростно упирается во что-то одной ногой, сует под подушку руку, как бы ища там защиты, рот у него открыт, и, быть может, вовсе не затем, чтобы жадно глотнуть воздух, с трудом проходящий сквозь набрякшую глотку, сквозь судорожно опадающие ноздри, а потому, что его увлекает на дно вышедшей из берегов реки какая-нибудь Ундина, или, быть может, это мавры врываются в ущелье, а он не успевает крикнуть, или же он громко вызывает из преисподней какую-нибудь Эвридику, чье покрывало еще реет над болотом. Свет так слаб, что ничего нельзя прочесть в рисунке вен, сетью оплетающих руку, которая лежит на простыне; и это не умозрительный образ, не метафора в подражание античным героям, а человек из плоти и крови, со своими собственными отметинами на коже, не по возрасту густо поросшей волосами, от чего смуглая грудь кажется рыжевато-пегой,— живой человек, чьи мускулы сокращаются неравномерно, ибо в данную минуту им не сообщает необходимой гармонии труд или целеустремленный жест,— более того, они судорожно сокращены или расслаблены по неуловимым причинам, неуловимым для нас, поскольку игра их под молодой гладкой кожей, увлажненной испариной, скрыта от нас, так же как скрыт неожиданный всплеск рыбы под затянутой ряскою поверхностью пруда. Быть может, сейчас он сам — тот Олоферн, которого он хотел написать попавшим в тенета уличной Юдифи... быть может, этот сон наяву просто подсказан Теодору не библейской темой, а обычной хроникой происшествий, и вовсе ему не рассказали эту историю, а все это было с ним самим, была какая-то забытая встреча, и та женщина, отнюдь не об убийстве думала она в номере гостиницы, куда им подали обед, к которому оба так и не притронулись, а просто он в последнюю минуту, когда на ней ничего не осталось, кроме плаща, темных рассыпавшихся волос и белых чулок с голубыми подвязками, вдруг почувствовал, что не в силах желать эту совершенную красоту, приевшуюся сразу, как всякое совершенство... Вы только взгляните на руку, судорожно царапающую простыни: поверьте мне, сейчас он стащит скатерть, и все упадет на пол — стаканы, серебро, яблоки покатятся по комнате и станет особенно заметной тусклая прозелень винограда...

От этого стука и грохота Теодор сразу просыпается и садится на свое ложе в темном уголке комнаты: он видит, как откуда-то снизу, прямо из-под пола подымается фантастический пучок све-

та. Где он? И откуда это подземное солнце? Он почему-то понимает, что нужно натянуть на себя сбившиеся простыни, понимает раньше, чем успевает сообразить, что это открывается люк, находящийся над освещенной лавкой, и что по лестнице поднимается Дениза с подносом и свечой в худенькой детской руке; она ставит их прямо на пол, так что небо получается черным в малиновых отблесках, и основной мотив внизу холста — просто след сангины на белилах.

— Проснулись, господин офицер? А я вам несу обед,— раздается свежий голосок, и юная девичья фигурка возникает на фоне этого странного освещения, меняющего местами валёры и тени.

Прислонясь спиной к подушке, поджав колени, натянув на себя простыню, господин офицер смотрел, как совершается чудо. Он пробормотал какую-то благодарственную фразу, и девушка принялась расставлять на столе посуду. И так как Дениза повернулась к нему спиной, Теодор быстро пригладил волосы, потом вытянул вдоль тела свои длинные обнаженные руки, обнимавшие колена.

— Я вам принесла немножко лукового супа,— говорила Дениза.— Вы любите луковый суп, нет, правда, любите? На ужин мы только его и варим... и телячье рагу под белым соусом. Мама очень вкусно готовит рагу. Если вам мало хлеба, вы скажите... И кусок сыра. Это пикардийский сыр, его здешние крестьяне продают на рынке, наш бедный папочка прямо обожал его, ну, а я, знаете ли, не очень! Пива нет, так я налила вам потихоньку большой стакан мариссельского вина... Господин де Пра очень его любил, я все для вас приготовила, как для господина де Пра...

— А кто это господин де Пра? — иронически осведомился мушкетер.

— Офицер из роты Ноайля, он у нас в прошлом году квартировал. Я ему всегда обеды и завтраки носила... Такой красивый, такой молодой!

— Ах, ах, и красивый и молодой! И вы, миленькая барышня, тоже садились в ногах его кровати? Должно быть, он за вами приударял немножко, ваш господин де Пра, верно?

— Нет, что вы! — Дениза громко расхохоталась, не заметив сарказма в вопросе мушкетера.— Сами посудите: мне в прошлом году было всего пятнадцать лет!

— Из чего следует заключить, что сейчас вам уже шестнадцать... и что преемники господина де Пра не такие слепцы, как он...

— Во-первых, господин де Пра вовсе не слепец. А во-вторых, после него здесь никто не жил.

— Стало быть, я первый вижу вас уже взрослой девицей...

— Не болтайте глупостей... ох, простите, пожалуйста! Но ведь все могут меня видеть такой на улице, в церкви святого Петра...

При свете свечи чепец ее казался не таким громоздким, тем паче что выскользнувшие из-под него легкие белокурые волосы окружали ее головку как бы золотистой дымкой, особенно заметной в контражуре. Глядя на это милое дитя, Жерико пытался разгадать: что это — наивность или бесстыдство. Как же она безвкусно вырядилась! Впрочем, так уж водится в семьях провинциальных лавочников. А может быть, тут внесла свою лепту религия? Казалось, весь этот ворох юбок и косынок вот-вот свалится. Интересно, какова она, когда скинет с себя свои сто одежек? Он вдруг вспомнил ту, другую, в голубых подвязках, и почувствовал, что краснеет. Эта крошка была как раз в меру несовершенна.

— О чем же в таком случае вы говорили с ним, вашим господином де Пра, когда приносили ему завтрак, если он за вами не ухаживал?

— Об Италии!

Слова эти сорвались с губ девушки неожиданно для нее самой, и так как Теодор расхохотался, она смущенно потупилась.

— И о других вещах тоже,— добавила Депиза.

Сейчас он почти не видел ее лица, потому что свеча стояла у нее за спиной, и временами вырисовывались лишь контуры ее фигуры, вернее ее наряда,— тогда она казалась уже не переодетой девчуркой, а настоящей важной дамой. Вроде госпожи Дюран: возьми она в руки чулок для штопки, сходство получилось бы полное.

— Значит, ваш господин де Пра говорил с вами об Италии? — начал Теодор, пропустив мимо ушей ее замечание.— Красивый молодой человек беседует об Италии с барышнями, которые сидят у него на постели, смотрите-ка вы! А что он вам такое говорил об Италии? И был ли он сам в Италии, ваш господин де Пра?

— Конечно, был,— с воодушевлением отозвалась Дениза и даже косынку на плечах поправила.— Конечно, был. И как он о ней говорит! Небо, горы, море. И особенно свет: он говорит, что там такой свет...

— Особенно свет? Не много же! А вы-то, если оставить в стороне господина де Пра, вы сами-то что думаете об Италии?

— Вы просто смеетесь надо мной, господин офицер! Не знаю, что вам сказать.

— Да нет, да нет, вовсе я не смеюсь: я просто хочу спросить, что вы слышали об Италии, до того как вам о ней рассказывал господин де Пра?

— Ваш суп остынет, сударь, лучше бы вы покушали, хотите, я вам подам его в постель? Или, может быть, сначала встанете и оденетесь?

Длинное тело шевельнулось под простыней, конец ее сполз и открыл голое плечо.

— Ого! — воскликнула Дениза.— Значит, вы голышомспящий! — Она засмеялась, захлопала в ладоши и повторила понравившееся ей словцо: — Голышомспящий!

— Бросьте-ка мне лучше рубашку, она вон там, на табуретке, и отвернитесь, а я пока оденусь! Вот так. Спасибо.

— Можно повернуться? — спросила Дениза.

— Пока еще нет, прелестное дитя. Наклоните-ка головку, вот так, спасибо. А вам никто еще не говорил, что у вас хорошенькая шейка?

Дениза гордо выпрямилась и резко повернулась к Теодору.

— Какой вы все-таки глупый, что такие вещи говорите! Италия — это такая страна, откуда приходят трубочисты и музыканты. Страна, полная солнца, ночи там совсем, совсем светлые, а кругом террасы. Я была еще слишком маленькой и не помню, но мне рассказывали, что, когда наши солдаты завоевали Италию, все женщины, а там женщины все красавицы, их обнимали и целовали и слышать не хотели о своих мужьях. А потом в Риме живет наш святейший папа...— Она осенила себя крестным знамением.

— Так что же, в сущности, рассказывал вам господин де Пра об Италии?

— О небе, я же вам говорила, о море. И о женщинах тоже, иногда он и о женщинах говорил. То есть об одной девочке. Он говорил, что она была вся коричневая от загара и кожа у нее такая теплая и гладкая... точно глиняный горшок. А по-моему, это вовсе некрасиво, особенно для девушки!

— А еще о чем?

— О море, о небе, о горах... Сначала он видел только север страны и думал, что ничего нет на свете краше. Как же этот город называется?.. Ах да, Флоренция, вот как... Он очень жалел, когда ему пришлось из Флоренции уехать в Рим, в Неаполь: во Флоренции столько всего, что непременно надо посмотреть, и в других северных городах тоже. Дома у них красивые, не то, что у нас здесь. И потом картины, статуи. Господин де Пра часами мог говорить о картинах, о статуях...

— Вот как? — отозвался Жерико, вдруг заинтересовавшись молодым офицером конвоя.

— Люди ему сказали, что в Риме, в Неаполе не на что глядеть, он и поверил. А потом...

— Так что же Рим, Неаполь?

Девушка ничего не ответила, и чувствовалось, что мыслями она далеко отсюда. Как знать, быть может, ей до сих пор слышались слова господина де Пра, рассказывающего о Риме, о Неаполе...

— Как он о них говорил! — просто сказала она, и вдруг Теодора охватила глухая досада на этого болтливого офицера. Впрочем, это не помешало ему, устроившись поудобнее в постели, с аппетитом приняться за суп.

— А вино? — спросил он.

Дениза, словно желая загладить свой промах, подала ему полный до краев стакан. Мариссельское вино оказалось не ахти какое.

— Нравится вам? — тревожно спросила Дениза.

— Как же, как же. Дайте-ка мне рагу и поговорим об Италии...

— Простите! — воскликнула Дениза и побежала за забытым ножом.— Вам везет, мужчинам, солдатам то есть. Вы можете путешествовать. Видите разные страны, разные города... А я вот, никогда я не попаду в Италию!

В последних ее словах прозвучала такая горечь, что Теодор сразу забыл свой насмешливый тон, принятый с начала разговора. Он мягко спросил:

— А вам очень хотелось бы поехать в Италию?

Она молчала отвернувшись, потупив глаза. Может быть, она даже плакала — попробуй разгляди с этим огарком.

— Вы, вы всегда уезжаете,— сказала она.— Сегодня здесь, завтра там. Вы только подумайте, Париж, один Париж чего стоит... говорят, он такой красавец, такой огромный! Неужели и в Париже я никогда не побываю? Очень уж он далеко.

— Подумаешь, далеко,— отозвался он.— Мы еще сегодня ночью были в Париже. А на дилижансе...

— До Парижа целых восемнадцать лье. Вы знаете, как дорого в дилижансе берут? А потом, что я там буду делать? Если девушка там одна, значит, она пропащая. Я даже в Амьене не была.

— Как же так? Неужели совсем ничего на свете не видели? Кроме Бовэ?

— Ох, нет! Во всех окрестных местах я была. Я люблю ходить. Как-то раз даже до Сен-Жермэ добралась... А когда папа еще был жив, он меня однажды на экипаже в Клермон возил... Но мне так хотелось бы побывать в Италии!

Что ей сказать? Что небо Бовэ тоже не лишено своего очарования? Дениза была права: рагу оказалось превосходным. А теперь отведаем сыра... должно быть, не хуже горгонцолы. Дениза продолжала грезить вслух. А когда человек грезит, он как бы на-

едине с самим собой. И нет поэтому нужды прерывать свою речь, ждать реплики собеседника.

— Вам-то повезло. Ах, как бы я хотела быть мальчиком! Вы еще не были в Италии? Нет? Ну так поедете, я уверена, что поедете! Таких людей, как там, нигде на свете больше нет. А карнавал в Риме... это так изумительно, сколько я ни выспрашивала, сколько он ни объяснял, я все-таки не совсем поняла, что это такое... говоришь о нем, говоришь и все равно всего не расскажешь! Может быть, похоже на наш праздник, когда в июле бывает процессия в честь Жанны Ашетт? Да какое там, то Бовэ, а то Рим. А как странно, есть такие слова, которые сами приходят, когда говоришь об Италии, или, может быть, это стихи, поэзия; господин де Пра писал об Италии стихи: «Ветвь виноградной лозы», «Кто сочетал лозу и серебристый вяз!» Как же там дальше было? — Вспоминая забытый стих, она опустила головку, потом вдруг вспомнила:

Где берег тот в благоуханье роз?
Там гладь тирренская, укрытая от бурь,
Неаполь окружает!

Она помолчала с минуту, затем поспешно добавила:

— Он говорил, что там в горах пастухи ходят в черных бархатных плащах и остроконечных шляпах, вот смешно-то! Я часто о них вспоминаю, когда у нас под окнами играют на скрипке. Вы любите скрипку? Всю бы жизнь сидела и слушала, как играют на скрипке... Ах, я дуреха! Забыла вам сладкое принести! Какого вы варенья хотите?

Теодор успокоил гостеприимную хозяйку. Никаких он вареий не любит. А вот сыр просто прелесть. Пусть-ка на сладкое она поговорит с ним об Италии, она так славно говорит.

— Опять вы надо мной смеетесь! — воскликнула Дениза и тут же начала грезить вслух. В сущности, ничего нового или важного она не сказала. Видимо, сами слова имели над ней чудесную власть, пленяли ее своей непривычной новизной. Ей хватало их, она не нуждалась ни в каком приукрашивании. Например, она произносила слово «море». Никогда она не видела моря, никто ее туда не возил. Но когда она произносила слово «море», в этих четырех буквах для нее таился целый мир, возможно ничего общего не имеющий с реальным морем, которое видит каждый из нас; четыре эти буквы были тем морем, которое видела лишь она одна, Дениза. И эту таинственную метаморфозу претерпевали почти все слова, ибо привычную ее жизнь, их Бовэ, их бакалейную торговлю можно было описать с помощью всего нескольких слов, и все одних и тех же, но как только малознакомое или не совсем ясное слово выводило за эти пределы, сразу же начинались гре-

зы... Жерико вдруг почувствовал себя ужасно старым, полным горечи, увядшим, и он позавидовал свежести этой девчушки, завидовавшей ему.

— Какая у нас, у девушек, жизнь! Все заранее известно. Ничего с нами не может случиться. Вечно ходи отсюда досюда, а дальше ни шагу. Все время будет одно и то же, до самой смерти. Никогда мне не попасть в Италию, я знаю. Или еще куда-нибудь. Каждое утро подымайся в одно и то же время, возись по хозяйству, сиди в лавке... увидишь человека и заранее знаешь, что он скажет... Только одно остается — собор святого Петра и молитва...

— Значит, вы верующая? — спросил он, и, хотя не желал ее обидеть, в голосе его, помимо воли, прозвучала дерзко-скептическая нотка, как всегда, когда речь заходила о религии. Дениза ничего не заметила, должно быть, мыслью была далеко отсюда — в пропахшем ладаном полутемном соборе, под сводами которого звучит орган.

— Не знаю почему...— пробормотала она.— Господин де Пра говорил, что собор святого Петра не удался, даже на церковь не похож. Хотели, чтобы он был большой-большой, а он слишком подавляет город, поэтому прекратили постройку, он так и остался недостроенным... А я считаю, что наша церковь красивая, очень красивая... не то это слово «красивая»... так про женщин говорят, про все... а она лучше, чем красивая, она, не знаю как бы сказать... огромная, и никого она не подавляет, а просто подымается ввысь, и когда придешь туда, опустишься на колени на скамеечку и унесешься мыслями далеко, далеко,— ничто тебе не помеха, там и завесы на стенах, там витражи... вы наших витражей не видели?.. столько оттенков и всегда разные, в зависимости от часа дня, от освещения, краски так и пляшут и, когда светит солнце, снускаются на вас вместе с солнечной пылью, а кругом все черное, красное, синее, оранжевое... Сама не понимаю, почему о соборе святого Петра плохо говорят... там можно верить в святых, в деву Марию...

— Вы верите в бога? — спросил он, и на сей раз она, должно быть, уловила в его словах оттенок иронии. Она вскинула на него глаза, стараясь получше разглядеть собеседника в полумраке алькова. Конечно, далеко ему до господина де Пра, но и он тоже недурен, благо что рыжий, зато глаза у него большие, ласковые. Она добавила:

— Где вы завтра будете, одному богу известно... вы-то увидите Италию, да не только Италию... А для нас молитва — вот и все наше путешествие...

Все мужчины на один лад. Теодор сидит на постели возле сдвинутых в сторону тарелок,— рубашка распахнута на его буйно

поросшей рыжим волосом груди, рубашка не особенно свежая после дороги, хорошо еще, что она немножко успела отвисеться, пока Теодор спал. Он чувствует, что обязан успокоить, утешить, что ли, эту девушку, жалующуюся на свою судьбу. И кроме того, он уже забыл о ломоте в пояснице, все тело отдохнуло, его переполняет неизбывная энергия, он слегка вытягивает под простыней голые ноги и шевелит пальцами правой ноги.

— Нет, детка, это не так,— сказал он,— пусть даже вы никогда не попадете в Италию, но в этой жизни есть нечто получше молитвы... Ведь не все же такие дураки, как ваш господин де Пра... девушка в один прекрасный день встречает мужчину, и вот тогда-то начинается их великое странствие, и вовсе оно не «Дева радуйся»...

Дениза прервала его:

— Ну, поженятся, а дальше что? Все одно и то же, разве что мне повезет, и у меня будет свой дом...

Все книги, которые он листал в Нормандии у своего дяди-цареубийцы, все, что прочел он летом на чердаке, пришло ему на память, и Теодору вдруг почудилось, что эта комнатушка, невинная девица, присевшая рядом с ним на краешек постели,— все это просто сценка из минувшего века, когда волокитство считалось делом первостатейной важности, и он припомнил романы, где героями были совратители — юноши вроде него, которые, получив с годами подагру и плешь, впадали к старости в благочестие. Он вдруг всем телом почувствовал блаженное состояние, давно обуздываемую силу. Только ни в коем случае не торопиться. Все удовольствие именно в медлительности.

— Выдадут тебя замуж, детка, непременно выдадут... Этим всегда дело кончается. Послушай-ка... Тебе нравилось сидеть вот так с господином де Пра, слушать его рассказы, а? Нравилось. Он, надо признаться, хорошо говорил. Но ведь он к тому же красив собой, молод?

— Да, иначе о нем не скажешь,— отозвалась Дениза.

— Если бы он был не такой красивый, он мог бы так же хорошо говорить... да что там, мог бы не так уж хорошо говорить, поверь мне! Когда он тебе говорил, ты слушала, но ведь и глядела на него тоже?

— Да, случалось,— ответила Дениза.

— Так вот, в один прекрасный день какой-нибудь молодой человек будет с тобой говорить, а ты ни словечка не поймешь, упустишь нить разговора, и кто знает, будет ли он такой же красивый, как господин де Пра... может, и не будет... но ты не сокрушайся! Запомни: не всегда самые интересные люди обязательно самые красивые, во всяком случае уж наверняка не те, которые

кажутся вам красавцами в пятнадцать лет. А господин де Пра слишком красив для мужчин, такая красота скорее подходит девице...

— Значит, вы его знаете? — воскликнула с удивлением Дениза.

— Нет, нет, не знаю, но из твоих слов нетрудно догадаться... Ты повстречаешь парня совсем другого, вот увидишь: сильного и нежного... это самое главное... иной раз нас особенно влечет то, что другому может показаться даже уродством...

— Вот уж никогда не поверю! — возразила девушка.

— Вовсе не обязательно мне верить. Ты просто не будешь видеть в нем того, что другим кажется уродливым, обычным или грубым. Пойми ты меня, иногда нас влечет к себе даже то, что пугает...

— Шутите!

— ...но пугает не очень сильно. Он, твой господин де Пра, никогда тебя не обнимал? Да не сердись ты,— так, играючи, для смеха! Нет? И никто не обнимал? И вот когда-нибудь парень возьмет тебя в свои объятия...

Он говорил, слегка понизив голос, он говорил и сам удивлялся: он сам не знал, что умеет так говорить... Когда-нибудь, впервые в жизни, неизвестно почему, тебя вдруг захватит, сидишь и ни за что на свете не станешь вырываться, и в голову тебе приходят чудные мысли: почему этот юноша так медлителен, почему он ласкает твои волосы, почему у него такой взгляд, так хотелось бы чего-то другого, другого, но чего? Неизвестно...

Девушка сидела не шелохнувшись, словно загипнотизированная удавом птичка. Она уже ни о чем не говорила. Старалась удержать дыхание. Действительно ли ею владел страх? Золотистая дымка под оборками чепца, чадящая свеча, прелестные в своей юной чистоте черты... Этот примитивный контраст скорее уж говорил чувствам, нежели глазу живописца.

И внезапно — бух! бух! бух! Что это за шум поднялся внизу? Увы, очарование было нарушено. Кто-то стучал снизу в потолок и вопил во всю глотку.

— Эй, вы, голубки, хватит, наворковались! Я тут внизу подыхаю с голоду!

Дениза испуганно вскочила.

— Боже мой, я совсем забыла о том господине!

Речь шла об офицере, который ночевал у них в чулане, и, когда Теодору подавали обед, он чуть было не перехватил еду по дороге и отступился только после того, как его заверили, что сейчас накормят.

Вот он и потерял терпение.

* * *

Закончив свой туалет, натянув с муками на опухшие ноги сапоги, которые Дениза вычистила заодно с мундиром, Теодор спустился вниз; он решил попытаться узнать, где стоят мушкетеры, выступают они или нет. Когда он проходил через лавочку, то увидел, что обе дамы Дюран заняты приготовлением ночлега для своего второго постояльца: нельзя же в самом деле оставлять его и на следующую ночь в чулане на ящиках с бакалейными товарами; они вытащили диван на самую середину лавки, и Дениза застилала простыней импровизированное ложе, а ее матушка — женщина лет под пятьдесят, с костлявым лицом, страшно противоречившим располневшей не по возрасту талии, беседовала с Артуром де Г., который, видимо, совсем очаровал хозяек своими порочно мальчишескими повадками; мордочка у него была незначительная, лукавая и круто-круто вьющиеся, как стружки, волосы; юный гренадер, пожалуй, был бы неплохо сложен, если бы не слишком длинное туловище; однако необыкновенная живость движений, веселый смех заставляли забывать о его несколько грубоватой наружности.

— Я лично,— заявил он Жерико, когда их представили друг другу,— я лично и эту ночь проведу здесь. Хотите догонять короля — пожалуйста! Если вам так уж не терпится наводить справки,— наводите, но я, голубчик, посоветовал бы вам последовать моему примеру.

При свете вечерних фонарей Бовэ, в глазах человека, проехавшего через город утром, да еще засыпавшего на ходу, выглядел довольно странно, и теперь, шагая в обратном направлении, Теодор сразу же заплутался в лабиринте улочек. Хотя с минуты на минуту снова мог зарядить дождь, на улицах было полно народу — спешившиеся всадники, лакеи, мальчишки, приказчики, священники или монахи, обыватели со своими дамами, крестьяне, девицы легкого поведения, нищие... целые толпы нищих... все это кишело на перекрестках, о чем-то говорило, собиралось в кучки, создавая впечатление непонятной тревоги. Большинство домов на этих улочках были деревянные или наполовину деревянные, а наполовину из самана, с коньком на крыше, с выпирающими балками; на стенах кое-где были намалеваны картинки, там и сям виднелись ниши со статуями святых. Прохожие шлепали прямо по грязи, так как ни тротуаров, ни мостовых не имелось, и улицы превратились в сплошные лужи, в грязное месиво, но они все же имели явное преимущество перед немногочисленными проспектами, замощенными крупным неровным булыжником: там, того и гляди, можно было вывихнуть ногу, соскользнуть

в канавку, проложенную посреди мостовой, где плыли самые разнообразные отбросы и куда со всех сторон стекались мутные ручейки, преспокойно выбегавшие прямо из-под ворот. Только попав наконец на уже знакомую просторную площадь, Теодор вздохнул с облегчением. В центре площади, окруженной покосившимися бараками, старинными узкими домами под коньковыми нелепыми крышами (даже двух одинаковых строений здесь не сыщешь) и лавками с освещенными окнами, было совсем темно, а прямо напротив Теодора высился огромный особняк излюбленного в прошлом веке стиля, так не вязавшегося со средневековым обликом Бовэ; длинный плоский фасад, красиво сложенный из больших каменных плит, высокая балюстрада, на которой играли последние отсветы догоравшего дня и капители на пилястрах в греческом вкусе, увенчанные гирляндами.

На крыльце толпились офицеры, то и дело подъезжали верховые гонцы, и оживленное это снование явно указывало, что перед вами чей-то штаб. Это было здание ратуши, и здесь действительно приютились созданные наспех канцелярии, ведавшие делами королевской гвардии. Теодор навел справки, и ему сообщили, что мушкетеры Лористона, по крайней мере те, что добрались до Бовэ, размещены в казарме в юго-западной части города...

— Идите отсюда прямо по улице Сен-Жан... или нет, подождите-ка, там вы еще запутаетесь, сверните лучше сразу направо, увидите театр... а как вы насчет того, чтобы заглянуть в театр, поразвлечься немножко, сегодня дают... что бы вы думали? Ну конечно же, «Наследники Мишо». Уже видели? Жаль! Безусловно, вы правы, эти «Наследники» уже давно всем в зубах навязли, но мадам Борсари очень и очень мила... Так что я начал говорить? Ах да, пройдете мимо театра до самых бульваров... в сущности, это не бульвары даже, а старинные укрепления, их сносят, чтобы расчистить место для променада, что, на мой взгляд, весьма прискорбно, как ни говорите, все-таки образец военного искусства,— но ничего не поделаешь: здешние жители предпочли насадить вдоль Терены липы, расставили там скамейки, чтобы можно было посидеть на свежем воздухе, выкурить трубочку, прочесть газету... Затем свернете налево, пройдете улицей и упретесь в казарму, тут уж ошибиться нельзя. Запомнили? Значит, после площади сразу же налево, потом свернете на Театральную улицу, она будет у вас по правую руку, бульвары останутся слева, второй квартал... да не за что, не за что, лейтенант, это же пустяки!

И весь этот сложный путь лишь затем, чтобы услышать в казарме, что они не собираются трогаться с места ни нынешним вечером, ни даже ночью, в лучшем случае войска могут быть стянуты и перегруппированы в течение вторника; никто не знает

ни на какой день назначено выступление, ни каков конечный пункт, но все же, поскольку ожидаются соответствующие приказы, господа офицеры, ночующие в городе, обязаны собраться здесь к шести часам утра, то есть на восходе солнца.

Вместо того чтобы идти прежней дорогой, Жерико обогнул казармы, подступы к которым были забиты самыми разнообразными повозками, на козлах дремали измученные возницы, на лошадей было больно смотреть. Он побрел по темным улицам, сворачивая наудачу, и вдруг очутился в квартале, поразившем его своим нищенским видом. Здесь стояли рахитичные грязные домишки, только кое-где на узких низеньких оконцах висели занавески, и сквозь открытые настежь двери видно было, как копошатся в комнатах оборванные люди, худосочные детишки, преждевременно увядшие женщины. И все это утопало в грязи и отбросах. От едкой вони перехватывало дыхание. Здесь ютились ткачи, суконщики, красильщики, дубильщики, кожевники,— словом, рабочий люд; большинство не имело работы, вот они и посылали за милостыней на главные улицы Бовэ и на его площади своих стариков, калек и ребятишек. Только кое-где подслеповато мигал огонек. Видно, спать здесь ложились рано, чтобы не тратить зря гарного масла, сберечь свечу. Теодор пытался найти дорогу. Город Бовэ невелик, но застраивался он как попало, да и ночь уже окутывала жалкие улочки... На свое счастье, Теодор встретил группу мушкетеров, которые, вооружившись факелами, бродили в поисках кабачка, где можно было бы выпить; все народ молодой, беспечный. Они радостными криками приветствовали товарища по оружию, хлопали его по плечу и, даже не выслушав возражений, потащили за собой.

Если уж говорить откровенно, их беспечность оказалась напускной, что и выяснилось, как только они уселись вокруг кувшина с вином и завели беседу. Все они буквально падали от усталости, хотя каждый, как и Жерико, успел немного поспать в послеобеденные часы. И почти все жаловались на боль в пояснице, у одного вскочил на заду чирий, у другого совсем развалились сапоги, и щеголял он в одних носках. Но даже не это было самое страшное, а неуверенность в завтрашнем дне. Неужели придется снова продолжать путь, скакать куда-то, а куда и ради чего? Где король? Неужто он потащит их за собой в Англию? Ходили слухи, что их погрузят на суда в Кале или в Булони и отправят в Вандею, где, как говорят, восстали шуаны, все-таки лучше... Но поди знай, что там такое творится в Париже?

— Утверждают, будто Макдональд завязал кровопролитный бой на подступах к Мелену...

— Да брось ты! Небось твой Макдональд тоже улепетывает

со всех ног не лучше нас, грешных, если только не перешел на сторону Буонапарте!

Но больше всего их тревожили шедшие с разных сторон слухи о том, что восставшие части, которые не раз попадались им на дорогах, были переформированы в Сен-Дени и брошены за ними в погоню, что им преградят путь посланные с этой целью гвардейские егеря генерала Лиона или же мятежные солдаты Лефевр-Денуэтта... А может быть, и те и другие... Какое сопротивление может оказать королевская гвардия, годна ли она в дело, особенно сейчас, когда все роты смешались, когда люди еле держатся на ногах. Впрочем, будем надеяться, что враг об этом не осведомлен и прежде всего захочет перестроить свои части сообразно требованиям стратегии,— следовательно, потеряют день-полтора, а тем временем подтянутся отставшие, придут пушки, пожитки... Ибо все эти юнцы дорожили своими пожитками не меньше — если только не больше,— чем собственной шкурой. Где же они, их преследователи? Никто не знает, может быть, в Бомоне, а может быть, намереваются обойти нас с запада, дабы отрезать от побережья, говорят также, что они нас опередили, вышли через Крейль на Амьен, и таким образом вклинятся между королевским поездом и королевской гвардией, соединятся с восставшими на севере частями... Словом, никто ничего не знает, и лучше уж пойти спать... пока еще есть время. Мы-то сами еще полбеды... а вот кони! Те мушкетеры, что повстречались Теодору, не бросили на дороге своих лошадей по примеру большинства гвардейцев конвоя или гренадеров. Но кони их еле доплелись до Бовэ. Прежде всего дать хорошенько отдохнуть лошадям! А там уж положимся на милость божью! Все послеобеденное время скупали или реквизировали повозки, мало-мальски годные кареты с целью погрузить в них заболевших, раненых, случайно пострадавших. Говорили даже, что на это ушла вся казна королевской гвардии, равно как и на закупку фуража, ибо неизвестно, что ждет их впереди, ведь целые гарнизоны, перешедшие на сторону противника, жгут по дороге солому и сено, лишь бы корма не достались королевским войскам.

— А как же мы? Как же наше жалованье?

— Пока ведь еще обходимся: у каждого есть свои деньжонки, проживем на подножном корму, лишь бы соединиться с русскими и пруссаками, стоящими в Бельгии...

Вдруг от этих слов Теодора чуть не прошиб холодный пот: пруссаки, пруссаки, о них-то он совсем и забыл... И о ненаглядном Трике, о бедном своем коне, оставленном у начальника почтовой станции в Пикардийском предместье. Сейчас он пойдет на него поглядеть. Он бросил на стол несколько монет — причитавшуюся с него долю за вино — и распрощался с мушкетерами.

* * *

— Непоследовательность дворянства, в частности, его пренебрежение достохвальными предрассудками рыцарских времен, приведшее к тому, что оно утратило свое достоинство и свое значение, и является первопричиной тех грозных бед, свидетелями коих нам суждено было стать. Ложное величие восемнадцатого века...

Запах трубочного табака смешивался с ароматом духов, которыми время от времени обильно опрыскивал себя герцог: духи были единственной роскошью, которую позволял себе Эмманюэль Ришелье, не считая перчаток, ибо перчатки тоже были его настоящей страстью, и он даже заказывал их себе по мерке. Вот уже несколько часов длилась их беседа, и Мармон не без веселого любопытства поглядывал, как герцог берет большой флакон, душит себе руки, опрыскивает волосы, а иногда, приоткрыв ворот рубахи, натирает духами грудь, смачивает подмышки; перед отъездом он приторочил к ленчику несколько флаконов духов, подобно тому, как другие берут с собой в дорогу ром.

— Мы утратили,— говорил Ришелье,— ту простоту нравов, каковая отличала наших предков. Развратительная философия отторгла от религии даже тех, кто обязан быть ее законным стражем. Есть только один путь возвратить заблудший народ к былым добродетелям — это восстановить веру и священнослужителей в их блеске и величии, что вернет церкви прежнее уважение. Но никакие законы, сколь бы мудры и суровы они ни были, никакие законы сами по себе не способны предохранить нас от повторения плачевных ошибок, если дворянство не подаст пример народу и своим религиозным рвением и чистотой нравов. Я не раз слышал, как аристократы, дворяне обвиняли во всем простой народ, чернь; и это отчасти справедливо, ибо царившая тогда распущенность нравов привела к смуте, ко всем преступлениям нашей пагубной революции, но разве они не уяснили себе, что те люди, которые задумали взорвать монархию, не стремились, во всяком случае поначалу не стремились, распространить среди невежественных масс, среди городского отребья принципы философии, приведшей монархию к гибели? Разложить дворянство — вот, что имелось в виду и что было успешно осуществлено, поскольку знать, пренебрегши чистотой религиозных идей, покидала насиженные родовые гнезда, съезжалась ко двору, где и вела разгульную жизнь сообразно принципам новой философии и, являя народу пагубное зрелище порока, самолично подготовила приход черных дней, свидетелем которых была наша юность, скованная страхом и — увы! — бессильная...

Отвлеченные рассуждения были, что называется, коньком герцога Ришелье. Не то чтобы он прибегал к ним в обычных разговорах, но когда беседа переходила к обобщениям, особенно же когда бывшему губернатору Новороссии,— ведь в провинциальной глуши редко встречался собеседник, легко понимавший прекрасную французскую речь, и приходилось прибегать к русскому языку, а на нем он изъяснялся не так уж свободно,— так вот, когда герцогу попадался соотечественник, склонный из любопытства послушать знаменитого деятеля, обладавшего к тому же незаурядным житейским опытом, и не стремившийся выкладывать свои личные соображения по тому или иному вопросу, вот тогда-то герцог Ришелье распалялся и переходил на возвышенный стиль, скорее пригодный для письма, нежели для разговора; и однако именно этот стиль укрепил его престиж в глазах императора Александра, ибо губернатор неизменно слал своему венценосному покровителю донесения как раз в этой выспренней манере. Это умение благородно выражать мысли он унаследовал от своего наставника, аббата Лабдана, страстного почитателя Фенелона, в коем сей достойный священнослужитель видел надежное противоядие против прозы Жан-Жака Руссо,— прозы, в самой прелести каковой он усматривал развращающие свойства. Вот почему вошло в привычку сравнивать дела герцога Ришелье, творимые им на берегах Понта Эвксинского, с царством Идоменея, каким оно описано в Фенелоновом «Телемаке». Десятки раз в присутствии Мармона восхищались необыкновенным красноречием герцога. Однако ораторские приемы последнего казались ему несколько вычурными, искусственными, и, возможно, именно эти потоки красноречия еще резче подчеркивали разницу между жизнью Ришелье и его собственной жизнью, выдвигавшей перед ним сложнейшие задачи, не давая времени для размышлений, будь то в Испании или в Иллирии, где он кратковременно выполнял те же функции, что и Эммануэль Ришелье в Новороссии, а еще чаще на полях битв по всей Европе, в этом неутомимом марше войск в кильватере ненасытного Бонапарта, разницу между собственной его жизнью и наместническим существованием Ришелье на рубежах Азии и Ислама, где ничто не ограничивало ни времени, ни масштабов власти, существованием владыки огромного края, арбитра между враждебными и примитивными народностями, отдающего отчет в своих действиях и поступках лишь одному венценосцу, свято верившему герцогу и сидевшему где-то за тридевять земель,— вот почему Ришелье мог созидать, строить, а не нести с собой повсюду смерть и разрушение...

Слушая речи герцога, Мармон подумал о себе, украдкой ядовито улыбнулся по собственному адресу, мысли его вдруг подчи-

нились ритму и оборотам речи собеседника, покорно последовали за навязчивой размеренностью его фраз. Маршал знал за собой эту слабость — подчиняться чужому влиянию, но, пожалуй, никогда не чувствовал он этого так явно, как в присутствии Бонапарта, чего не мог простить своему бывшему властелину. И хотя он слегка досадовал на себя за то, что сейчас, в беседе с Ришелье, вновь подпал под власть чужой мысли, все же именно благодаря этому он мог оценить, измерить влияние и могущество этого человека, столь отличного от вельмож, окружавших короля. И даже императора... «Вот те на! — чуть было не воскликнул он вслух.— Я ведь подумал «император»!..»

А Ришелье тем временем с той же силой и даже, пожалуй, с еще большей страстностью распространялся о том, какую вероломную роль по отношению к аристократии сыграли писатели и ученые из третьего сословия, коих он почитал за самых непримиримых врагов знати... но тут вошел слуга и принес легкий завтрак, который Ришелье велел подать в спальню. Герцог был более чем умерен в еде, и Мармон полностью это одобрял, ибо сам с трудом выносил чересчур обильные трапезы в Тюильрийском дворце и непомерное обжорство Бурбонов. Хозяйка дома, герцогиня Масса, покинула префектуру, и, следовательно, вежливость не требовала непременно спускаться вниз к столу. Мармон, которому уже доложили из гарнизона Бовэ о прибытии в город войсковых соединений, мог спокойно дожидаться утренней поверки и тогда уже решить, сколько времени потребует сбор королевской гвардии и на какой час назначить ее выступление.

Они проговорили целый день и не только не сказали друг другу самого главного, но к этому главному и не приступали. В эту неверную минуту истории, когда даже то дело, что объединяло их, казалось обоим,— хотя оба пытались уверить себя в обратном,— когда даже дело это в их глазах уже не имело будущего, два этих человека вдруг почувствовали, что забрели в некую туманную сферу, где одно слово неожиданно освещает никем не предугаданный путь. Разумеется, герцог Ришелье говорил лишь для самого себя и ничего не ждал от маршала, разве что того необходимого возбуждения, которое дается присутствием собеседника и подсказывает мысли, не могущие прийти вам в одиночестве. А Мармон с надеждой ждал, что этот высокий худой человек, со смуглым до черноты лицом, прольет на что-то свет, и жизнь станет сносной. Ибо сейчас,— он чувствовал это всем нутром,— жизнь отнюдь не была сносной. Возможно, объяснялось это тем, что он только для видимости сделал тот шаг, который отдалил его от собственного прошлого: до сих пор еще он был рабом различных идей, имевших хождение в ту пору, когда он уже стал зре-

лым человеком, и в том обществе, среди которого жил. Он чувствовал себя и неприятно задетым иными словами своего собеседника и в то же время измерял умственным взором расстояние, отделявшее его от тех идей, от того мира, что выбрал себе он сам. Например, в те минуты, когда Ришелье ополчался на образование, заявляя, что оно-де корень всех бед, обрушившихся на Францию, и клял то, что в кругу, с которым соприкасался Мармон, именовалось Просвещением.

— Недостойное поведение третьего сословия,— вещал герцог, устремив глаза в угол комнаты, как будто там собралось перед судилищем все третье сословие и он, герцог, был прокурором,— недостойное поведение третьего сословия достаточно показало, что было чистейшим безумием разрешить ему доступ к богатству и доступ к знаниям, которые оно употребило лишь на то, чтобы произвести государственный переворот. Третье сословие надо держать в состоянии разумного невежества, надо ограничить его притязания честным достатком, дабы оно не обошло аристократию и не могло взять над ней верх ни в деловом отношении, ни в знаниях. Пора покончить с лжерелигией прогресса...

Мармон слушал, поддакивал, ему очень хотелось встать на точку зрения собеседника, слишком ясно он понимал, что, если не сумеет ее принять и согласиться, путь, который он себе выбрал, заведет его в тупик. Но в то же самое время он чувствовал, как в нем подымается глухой протест, быть может, следствие привычки и только привычки ко всем этим предрассудкам, в которые он никогда особенно не вникал, ибо купался в них, как птица в небесной лазури, а теперь вдруг их отрицают, и отрицают начисто.

— И я вам вот что скажу, господин маршал,— продолжал Ришелье, смачивая духами затылок,— одной из крупнейших ошибок монархии было то, что она разрешала аристократии излишнюю близость с третьим сословием, а иной раз и поощряла ее. Или еще того хуже... извините великодушно, никогда нельзя примешивать к спору, касающемуся идей, частные соображения, и, боюсь, вы усмотрите между моими дальнейшими словами и вашей личной жизнью связь, которая, в сущности, ничего не доказывает, поверьте мне...

На что он намекает? Мармон почувствовал что-то вроде озноба. Даже намеком он не желал вызвать к жизни то, что как наваждение мучило его в эти дни.

— ...Но и вы тоже, мне это известно, достаточно настрадались в вашей личной жизни от установившегося и ставшего естественным порядка: король Людовик Шестнадцатый в этом отношении являлся предшественником Буонапарте, он тоже, как говорится, советовал, а вернее, склонял к неравным бракам...

Ах, так вот о чем шла речь! Мармон свободно перевел дух. Слава богу, речь идет о мадемуазель Перрего!

— Монарх правит с помощью предрассудков, которым он умеет придать необходимый вес, а скажите на милость, какой иной предрассудок в большей мере, чем предрассудок происхождения, способен лучше помочь аристократам укрепить свое достоинство, а третье сословие держать в состоянии почтительной скромности, когда оно даже думать не смеет равнять себя с теми, кто не может быть им ровней, хотя бы в силу древности своего рода. А чем рождены все эти порочные притязания, последствия коих мы испытали на себе? Необузданным обогащением простого народа, берущего верх над аристократией в области коммерции, а также распределением доходных должностей, которые государство под тем предлогом, что надо-де поощрять таланты, раздает, невзирая на происхождение. Опрометчиво данная свобода накапливать богатство почти всегда ведет к брачным союзам между обедневшими аристократами и честолюбивой буржуазией. Мне, слава богу, известно, к каким трагедиям приводят такие ошибки, и вы, надеюсь, понимаете меня...

Пусть так, но разве герцогиня Рагузская — исключение? В те времена, когда Мармон собирался вступить в брак, ему скорее приходилось замаливать грехи своего аристократического происхождения, нежели отстаивать свои родовые права. Впрочем, его отец в свое время тоже взял себе в жены девицу из финансовых кругов... И на дочери банкира Перрего женился-то ведь бонапартовский генерал, а вовсе не дворянчик из провинции, чей герб к этому времени сильно облинял. Но сейчас наоборот: герцог Ришелье обращался к нему, к Мармону, как к человеку своей касты, чьи прегрешения и ошибки молодости из милости забыты. Но в конце концов разве среди придворных не было авантюристов и проходимцев,— взять хотя бы того же самого Нассау, который командовал под Измаилом, когда там отличился Ришелье,— этот очередной любовник Екатерины II побывал и испанским генералом, и немецким полковником, прежде чем стать русским адмиралом и князем польским, а сам родился от безвестной француженки и какого-то голландца... одно время он даже состоял на службе Франции. Как Ришелье, сам преспокойно прослуживший всю свою жизнь в русской армии, не может понять соображений других авантюристов, что отдают свою шпагу на службу Республики или Империи, но в конечном счете служат Франции? Как не возьмет он в толк, что именно для аристократической молодежи, оторванной от своих родителей, погнавшихся вслед за убегающим монархом, существует некое воистину *рыцарское* обаяние в том, что можно сделать блистательную и внезапную военную

карьеру и получить генеральский чин, еще не достигнув тридцати лет?

— Я никого не собираюсь упрекать,— говорил Ришелье,— ни тех, кто эмигрировал, ни тех, кто не эмигрировал: сам я покинул Францию с согласия короля и Конституционной Ассамблеи... никто мне за это признателен не был, поскольку я лишился состояния, доставшегося мне от моих предков, и даже возвращение Бурбонов ничего тут не изменило. Людовик Восемнадцатый не вернул мне ни арпана моих земель, а статуи, мои картины, наши фамильные коллекции по законам Узурпатора были перевезены в Лувр и остаются там поныне — теперь уже по законам новой монархии. Не будь мои сестры де Жюмилак и де Монкальм так бедны, я об этом и думать забыл бы. Если хочешь, чтобы под благоразумной властью короля поддерживался в стране внутренний мир, умей признавать некоторые факты как данность... Я лично ничего себе не прошу, я как-нибудь проживу на те небольшие суммы, которые поступают мне из Одессы, и ежели Франции суждено еще раз пройти полосу новых бесчинств, я всегда могу пойти на службу к императору Александру... Зачем я все это вам говорю? Чтобы вы поняли, что я меньше всего склонен разделять суждения крайней группы аристократов, которые мечтают только о реванше и несут полную ответственность за измену такого вот Нея, как бы ни был он ничтожен сам по себе. Вы видели, какой прием в Тюильри оказали княгине Московской? Согласитесь, что подобный титул не может не оскорблять мой слух как человека, состоявшего на службе у русского императора. А между тем, если бы мы не изощрялись в стремлении унизить госпожу Ней, если бы по нашей милости ей не приходилось рыдать после приемов во дворце, возможно, что и супруг ее иначе вел бы себя в эти дни... Быть может, вы упрекнете меня в противоречии: только что говорил я одно, а сейчас другое, но ведь одно дело исправлять нравы нашей аристократии в заботе о ее же будущем, и совершенно другое — упорствовать в слепом и неразумном осуждении былых ее ошибок, что приводит лишь к укреплению союзов, не очень-то сообразных с интересами монархии... Аристократия подобна буриданову ослу: она колеблется в выборе между предложенной ей готовенькой охапкой сена и свежей ключевой водой, от которой не разжиреешь. Почему же она сама не добивается собственного благосостояния? Ведь таким путем ей удалось бы избежать вырождения. Заметьте, что я вовсе не считаю такое опрощение худшим из зол. Достаточно глупы и те, о ком я только что говорил: они считают, что, подкрасив свои гербы и заявив: «Этого хлеба я, мол, не ем!» — они искупили все свои прегрешения. Возьмите, к примеру, одного из спутников его величества, который сейчас

колесит где-то по дорогам. Я имею в виду герцога д'Аврэ, которого знаю с детства. Кто может сомневаться в том, что он превосходнейший человек? Но вы послушайте, каков был его отец, маршал,— его, как и меня, звали Эмманюэлем. Вот это был настоящий вельможа. Семейство Круа д'Аврэ родом с севера, и маршал, который был князем Германской империи и служил в Богемии и Баварии, справедливо считался одним из победителей при Фонтенуа. Он укрепил Булонь, Дюнкерк,— словом, все побережье. Но даже не в этом, даже не в том, что он участвовал в осаде Антверпена и Маастрихта, даже не в героизме, проявленном под Рамильи или Лоуфельде, вижу я подлинное его величие. Известно ли вам, что именно благодаря ему на Скарпе и Шельде была основана Анзенская компания, а сколько ему пришлось повоевать против предрассудков, пустых страхов, против рутины, чтобы наладить добычу угля из недр земных и тем самым положить конец зависимости Франции от Эно, откуда нам приходилось каждый год ввозить горючее? Четыре тысячи рабочих, шестьсот лошадей, тридцать семь шахтных деревянных колодцев, двенадцать пожарных насосов... более ста тысяч ливров на пособия, ежегодно раздаваемые калекам, вдовам и сиротам... Дело находилось в руках буржуазии и прозябало с грехом пополам, пока Эмманюэль де Круа, воспользовавшись своими феодальными правами на земли Конде и Брюэ, не учредил ассоциацию на новых началах, откуда, заметьте, он по своему великодушию не выкинул людей третьего сословия; так возникло анонимное общество, распорядителем коего стал он сам. Таким образом, мы имеем пример того, как можно преобразовать старинную дворянскую собственность и одновременно ограничить притязания третьего сословия. В семьсот девяносто четвертом году я собственными глазами видел детище маршала: было это как раз во время злополучной кампании австрийской армии, которую мне довелось наблюдать при осаде Дюнкерка, Валансьена, Конде. Никогда в жизни я до того не бывал на шахтах, даже не представлял себе, какого вложения капиталов они требуют, сколько нужно там машин, сколько там происходит несчастных случаев. Мы разбили бивак как раз возле того места, где шла та, другая битва, ибо добыча угля — это, если хотите, тоже война. В лагере союзников нашлись люди, которые хотели разрушить дотла его детище, ибо негласно они были связаны с разработкой угольных шахт в Шарлеруа. Их намерениям помешал приход республиканцев, что, несомненно, явилось огромной удачей для французской экономики... Не знаю, настанет ли такой день, когда Эмманюэлю де Круа воздвигнут статую за его промышленный гений и за смелость, с какой он

поддерживал позиции аристократии... А теперь взгляните на его сына. Вот вам типичный представитель той знати, что покидала родовые гнезда ради Версаля. Ему было тридцать лет или около того, когда маршал скончался. Сын и не подумал заняться отцовскими делами; он был полковником того самого фландрского полка, который во время революции передали под командование Макдональда. Сначала он представлял дворянство Амьена в Генеральных Штатах, затем эмигрировал в Кобленц, откуда был послан королевской фамилией в Мадрид в качестве посланника правительства, находившегося в изгнании. Я отнюдь не собираюсь упрекать его за старания вычеркнуть свое имя из списка эмигрантов; на его месте я и сам так поступил бы... Конечно, по иным соображениям: у меня сестры...

Но ведь он согласился в самые первые годы Империи принять ничтожную ренту в оплату за то, что было создано руками покойного Эмманюэля! Вот вам и все его притязания, а шахты целиком перешли в руки буржуазии, где на смену семейству Круа д'Аврэ пришел какой-то Перье, банкир из Гренобля, какой-то весьма искушенный в делах Камбасерэс. Так аристократия сама очищает место другим, не понимая ни нового мира, ни того, каким путем она могла бы вершить дела. Вот что увозит с собой наш бедный король в своих каретах; поймите меня, я скорее готов возложить свои надежды на русские или прусские армии, нежели делать ставку на таких людей...

Мармон невольно подумал, что владельцы шахт в Эно и на сей раз будут иметь друзей в рядах вышеназванных армий на беду детищу маршала де Круа. Но разве не приходится выбирать между чужеземцами и Наполеоном, который старается воздействовать на всякую голь, на офицеров в отставке, и вновь возродит эпоху проскрипций, расстрелов в Венсенском рву. При одной этой мысли Мармон вздрогнул всем телом, и судьба Анзенских шахт показалась ему сущим пустяком. К тому же Александр I известен своим великодушием и, кроме того, прислушивается к Ришелье... Очень возможно, что молодой Стемпковский, которого герцог отрядил вперед, имеет как раз поручение призвать российского императора на помощь Бурбонам... Выбирать не приходится, выбор уже сделан. И Мармон поглядел на своего собеседника.

Как-то странно было представлять себе в этих высоких готических покоях префектуры города Бовэ этим дождливым вечером при свечах яркое солнце, пыль и ветры Черноморья, унылый губернский город, выросший вокруг бывшей крепости Хаджи-Бея и насчитывавший всего двадцать лет от роду, этот город, где Ришелье проложил улицы, насадил деревья, построил театр... и самого герцога среди этого смешения немцев и татар, черкесских

пленников, русских бар, которые с кучей крепостных съезжались со всех углов России в новый город, привлеченные данным им правом свободно гнать водку и продавать ее без акциза, чему старались помешать царские чиновники, а также дешевизной товаров, прибывавших сюда транзитом и облагавшихся пошлиной в центральных областях, тогда как Ришелье сумел, правда с трудом, добиться для своих горожан всяческих в этом отношении льгот... в этом удивительном краю, который каждый день мог подвергнуться набегам кавказских князьков, турок, куда фельдъегери привозили императорские указы, грозившие подчас настоящей катастрофой; где подсиживали друг друга чиновники, где интриговали купцы, разгуливала чума; казалось, в этом краю он, Ришелье, с курчавыми, до срока поседевшими волосами, весь пропахший духами, пренебрегая собственным комфортом, был занят лишь одним — строил, разводил сады. Он перемежал рассказы о свирепых схватках, сожженных городах, насилии и грабеже какими-то сценами из оперы-феерии, где все превращалось в блистательные балы, маскарады и пикники. Но высот лиризма герцог достигал, когда заговаривал о том, как на одном из песчаных бугров, вчера еще не отличимых среди пустынной степи, возникла его знаменитая вилла, обсаженная акациями, молоденькими вязами и серебристыми итальянскими тополями,— на бугре, где среди тенистых аллей, причудливо взбегавших на откосы, терялось строеньице с колоннами, нечто вроде храма, и хижина, точная копия Трианонской. Сначала Ришелье завещал свою виллу юному Рошешуару, но поскольку тот возвратился во Францию и не совсем деликатно покинул службу русского императора, герцог в конце концов решил передать ее своему адъютанту Ивану Александровичу Стемпковскому, племяннику английского генерала Коблея, начальника Одесского гарнизона. Все это было сдобрено занятными историями о путешествии княгини Нарышкиной, подруги сердца Александра I, и о празднествах, даваемых в ее честь; тут же шел рассказ о чуме 1812 года — раздирающие душу сцены: как в одном селе пришлось сжечь дома вместе с больными, даже не уверившись, живы они или умерли. Одним словом, трудно было решить, что преобладало в рассказах герцога — нарочитая легкость в передаче самых драматических эпизодов или же широта взглядов, административный талант, почти гениальность, обнаруживаемые одной случайно брошенной фразой, и поистине удивительная в этом внешне суетном человеке способность к самоотречению,— короче говоря, человеческое сердце под одеждой придворного.

— Все там,— говорил он,— зависит, к несчастью, от случайности, от того, насколько сумеет вникнуть царь в дело, от воли

какого-нибудь петербургского фаворита... Сам император Александр — человек высокого ума, но бдительность его обмануть нетрудно. Как много могут принести зла сумасбродные выходки людей вроде князя Петра Долгорукова, сумевшего испортить отношения между царем и его наиболее верными слугами! К тому же машина Российского государства столь огромна и неповоротлива, что не удивительно, хотя и трудно представимо, насколько сами правители бессильны с нею совладать... Если бы я вам рассказал...

В эту минуту вошел адъютант, принесший маршалу на подпись бумаги.

Герцог сощурил близорукие глаза и, плохо, вернее, ничего не видя в полумраке спальни, принял вошедшего за Фавье и крикнул ему: «Добрый вечер, полковник, ну, как отдохнули?» Желая выручить смутившегося офицера, Мармон поспешил поправить герцога: это не полковник Фавье, а совсем молоденький офицер... Ришелье извинился, сказав, что худого тут ничего нет, потому что полковник Фавье — известный силач, и сам герцог был бы не против, чтобы их путали дамы. И добавил два-три похвальных замечания в адрес не по возрасту развитого юнца, будто разбирал по статям лошадь. Молоденький офицер покраснел до ушей, пробормотал что-то неразборчивое и пододвинул бумаги маршалу. Пока Мармон читал их, Ришелье принялся тихонько хохотать.

— Вот видите,— сказал он,— одни лишь бумажки никогда и нигде не теряют своих прав... Стоит только сколотить армию в три тысячи человек, да еще рассеянную на пространстве десяти лье, плетущуюся из последних сил от привала к привалу, как вам уже нужно скреплять своею подписью реестр бегства и разрухи...

Когда они снова остались одни, Ришелье осведомился:

— Скажите, так же было и в армии...— Он не докончил фразу, стесняясь в присутствии Мармона произнести имя, столь привычное в его устах, но Мармон понял и утвердительно наклонил голову.

— То же самое. Вы сами командовали армией, ваша светлость, и вы знаете, что война — это прежде всего дело канцелярское... и ценою крови чернил не сэкономишь. Помню, как-то в Саламанке...

Он стал рассказывать историю, забавную историю, но тут же понял, что Ришелье его не слушает. Где блуждали его мысли, что означало внезапно воцарившееся молчание, после того как Мармон довел свою историю до конца, странное непостижимое молчание после бесконечно долгой беседы; какие мечты вдруг овладели бывшим губернатором Одессы? Маршал почтительно не пре-

рывал этих мечтаний до тех пор, пока Ришелье не взял со стола флакон и — в который раз! — не полил себе на руки ароматической воды.

— Кажется, я прервал вас своими воспоминаниями об Испании,— проговорил Мармон.— Вы говорили?..

Ришелье вздрогнул всем телом, как человек, внезапно разбуженный ото сна, огляделся вокруг и проговорил: «Я сказал...» — и вдруг действительно сказал нечто, что не имело ни малейшего отношения к их беседе:

— Настало время, настало время решительно и бесповоротно покончить с духом авантюры. Покончить с авантюрами. Порядок... именно порядок необходим Франции. Пускай Мюраты убираются обратно в свои конюшни! А те из нас, кто бродил от Гибралтара до Самарканда в поисках опьянения, стараясь забыть о насущных нуждах, те, кто жил, поглощенный личными замыслами,— пусть они возвратятся на прежний путь, на дорогу былой чести... Настало время...

Ришелье говорил почти шепотом, точно для себя одного. Вдруг он повысил голос и спросил Мармона так, как будто и не было предыдущих слов:

— Скажите-ка, господин маршал, что это вы мне говорили... У вас в Шатийоне есть недвижимость, и вы, если не ошибаюсь, задумали приспособить ее под промышленное предприятие... Очень, очень занятно; расскажите-ка мне об этом поподробнее.

* * *

Взаимоотношения знати и третьего сословия не всегда бывают такими, какими рисовал их герцог Ришелье, говоря о грядущих опасностях. В этом мог бы убедиться самолично Теодор, вернись он домой чуть пораньше, но он, движимый своей страстью к лошадям, застрял в конюшне, желая удостовериться, что его Трик ни в чем не нуждается. Автору, боюсь, не избежать упреков за то, что он не ускорил возвращения Жерико в бакалейную лавочку госпожи Дюран, не ускорил даже в прямое нарушение целостности этого образа, даже в ущерб заботам Теодора о верном Трике, дабы Теодор еще с порога мог увидеть сцену, которую со всеми подробностями описывают в любом современном романе. Но должен оговориться: автору такие сцены претят, и хотя сейчас у нас середина XX века, все же гораздо легче, чем разрушенный войной город, описывать, как гренадер из роты Ларошжаклена насилует в лавочке шестнадцатилетнюю девушку тут же на импровизированном ложе, приготовленном ею самой с помощью доверчивой матери, или же просто на полу, а девушка отчаянно

отбивается от насильника, и оба, борясь, катятся по полу... ведь в этой области за прошедшие сто сорок три года не столь уж многое изменилось... Но нет! Пусть лучше нарушится единство тона и прервется, по видимости, ход романа, пусть он останется незавершенным на этой странице и превратится в неуклюжий набросок или в огромную композицию, где одна какая-нибудь сцена лишь намечена, но еще не нанесены краски, и получается как бы бесцветная дыра, пусть в чем-то понесет ущерб само мастерство романиста...— нет! и нет! Пусть лучше читатель не загнет на полагающихся местах уголки страниц и не передаст книгу своей знакомой даме, чтобы та сразу же нашла нужную сцену, ради которой небрежно перелистывают начало и, пожалуй, даже не читают дальнейшего. Вы знаете разговор между Денизой и Теодором и можете поэтому понять без посторонней помощи, какой отклик нашли слова мушкетера в этой доверчивой детской головке, понять ход ее мысли, подготовивший мнимое торжество Артура де Г., о котором Теодор и думать забыл... Бедняжка Дениза, ей так хотелось отправиться в чудесное путешествие, а постоялец хоть и нравился ей, но внушал страх. Нет, нет, хватит о прошлом. Правда, Дениза могла бы попенять на Теодора, потому что ей хотелось познать неведомое и чудесное наслаждение, о котором он говорил ей, познать ту особого рода Италию, но такую уж она прожила юность, такое уж получила воспитание, что даже представления не имела о поведении мужчины, о том, что, обняв девушку, подобную ей, он не удовлетворится этим. Вот и все.

А сейчас она ушла в дождь и в ночь, ушла, безумица,— где-то она бродит, не смея показаться на глаза матери. Драматург поискуснее непременно устроил бы так, чтобы Теодор, возвращаясь домой, встретил ее то ли на углу улицы, то ли тогда, когда она выбегала из лавчонки. Но жизнь — она иная, да, впрочем, если бы она и свела их лицом к лицу, они не узнали бы друг друга в кромешном мраке. Муниципальное освещение города Бовэ нам в данном случае плохой пособник. То, что станется с Денизой, не относится к нашему рассказу: читателю достаточно знать, что утром она домой не вернется. Бросилась ли она в воды Терэны? Но река Терэна слишком мелководна и не создана для утоления отчаяния, а разве кто поздней ночью будет пускать отчаявшихся девушек на башню собора св. Петра? Волей-неволей приходится отказаться от мелодрамы.

Когда Теодор вошел в лавочку, он даже не заметил в темноте царившего там беспорядка, постарался как можно тише подняться по лестнице на чердачок, чтобы не разбудить гренадера, крепко спавшего на кушетке с чувством человека, выполнившего свой

долг... Никогда не узнает он то, что произошло: ведь утром на заре он быстро пройдет через пустую лавчонку, чтобы поспеть в казарму к сбору мушкетеров. Само собой разумеется, ему не хотелось будить хозяев и еще меньше — будить проснувшегося гораздо позже Артура де Г.

Здесь читатели вправе удивиться, почему это автор, смело называющий даже третьестепенных персонажей романа подлинными именами, вдруг решил вывести под инициалом этот эпизодический персонаж, и ждут, по-видимому, объяснений. Артур, или, может быть, даже вовсе не Артур... так и останется Артуром де Г., хотя его не слишком прославленное имя могло бы быть написано полностью, но дело в том, что семейство Г. с тех пор сильно разрослось и по его линии и по линии его родных и двоюродных братьев, так что в наши дни существуют представители этого рода, которым автор не обязан отчетом, но о которых он, однако, подумал. В самом деле, господин де Г.— посторонний в этом романе, он появляется в нем лишь для того, чтобы совершить дурной поступок. Быть может, стоит в виде исключения сказать несколько слов о его социальной биографии именно в силу того, что биография эта полностью лежит вне нашей истории.

Семейство де Г.— я изменил также и инициал — хоть и не очень родовито, зато может похвалиться древностью. Через брак, совершенный при Людовике XV, они породнились с одним камергером, а позже, при Людовике XVI,— с одним генеральным откупщиком. Батюшка нашего гренадера во время Террора счел благоразумным отсидеться в своем нормандском поместье, а сын его, родившийся в 1790 году, в момент нашей с ним встречи был почти ровесником Теодору Жерико. Наш Г. служил при Наполеоне, и один из его братьев женился на дочери крупного тогдашнего банкира. Сам он получил первое боевое крещение незадолго до Лейпцига, в 1813 году, и в 1814-м, вполне естественно, перешел на сторону Бурбонов одновременно со своим генералом, старым другом отца, господином де Бернонвилем, знавшим Артура еще ребенком, когда господин Бернонвиль, будучи в 1797 году инспектором береговых гарнизонов, гащивал в замке господ Г. Вступив в период первой Реставрации в гренадерскую роту Ларошжаклена, Артур после роспуска королевской гвардии перешел во время Ста дней в армию Бонапарта под тем предлогом, что их командир не последовал благородному примеру господина де Вержен, начальника дворцовой стражи, который роздал своим офицерам армейскую казну и тем самым дал им возможность существовать, избавив от необходимости продаваться, хотя они предпочли бы увезти нетронутую казну в Бельгию в качестве,

само собой разумеется, военного трофея. Гренадер Г., которому довольно скоро простили его юношеские заблуждения, служил в 1816 году в королевских войсках, нашел себе весьма благопристойную партию в лице дочери поставщика, снабжавшего армию во время Испанской войны, а при Карле X получил титул маркиза. Однако в дни событий 1830 года он весьма своевременно вспомнил, что в последние месяцы Империи его бывший шеф, маршал де Бернонвиль, ввел юношу в члены Великой Символической ложи, где состоял и сам маршал, и Макдональд, и Жозефина Богарнэ. И Фуше тоже. Таким образом мы можем опознать нашего Г. в числе прочих персонажей на картине, висящей в Версале, где изображена встреча Луи-Филиппа Орлеанского Александром Лабордом и многими другими мятежниками 1830 года перед зданием Парижской ратуши. Депутат центра от департамента Нижней Сены во время Июльской монархии, маркиз Г. командует одним из взводов Национальной гвардии, помогавших генералу Кавеньяку подавлять восстание в июне 1848 года. Вторая Империя делает его сенатором. Восьмидесятилетним старцем он принимает в своем замке пруссаков, идущих на Руан, и со свойственным ему прирожденным достоинством напоминает захватчикам о дружеских связях, которые поддерживала его семья с предшественниками этих самых захватчиков еще в 1814 году, и справляется у них о здоровье своей кузины, герцогини М., придворной дамы императрицы Августы, хотя с начала военных действий он прервал с герцогиней М. все отношения.

Он скончался в те годы, когда президентом был Жюль Греви, и перед смертью соборовался. Было ему девяносто четыре года. Как мы видим, жизнь Артура Г. была одной из тех долгих жизней, какие текут мирно, без особых приключений и могут быть рассказаны в двух словах,— все происходящее с такими людьми является скорее достоянием истории их времени, нежели личной биографии. Артур опоздал родиться в эпоху благородных авантюристов, он был как бы звеном между старой и новой аристократией, той самой, что хоть и не отвечала принципам Эмманюэля Ришелье, но, видимо, уразумела практическую истину, исповедуемую основателем Одессы: вовсе не обязательно уступать своему ближнему современные источники богатства. Таким образом социальные преобразования происходят не совсем так, как представляется это непосредственному воображению умов пророческих, склонных все видеть под углом зрения утопии, без тех поправок, которые так решительно вносит действительность.

Семейство де Г. действительно сильно разрослось благодаря брачным союзам, раскинуло сети родственных отношений доста-

точно широко, так что в наши дни имеет своих представителей и в армии Французской республики, и среди французского делового мира. Имеются де Г., которые совсем недавно вынуждены были покинуть Марокко, где пустили корни; другие эмигрировали в Соединенные Штаты Америки в результате тех прискорбных событий, что вновь стеной разделили порядочных людей. Однако в целом члены семейства де Г. чувствуют себя превосходно, и объясняется это прежде всего тем, что в силу традиции, установившейся еще в XVIII веке (и наш маркиз тоже не дал ей угаснуть), все де Г. вступают в брак по разумному расчету, что позволяет им выходить сухими из политических передряг или финансовых крахов. Надо сказать, что господа де Г. прямо-таки созданы для этого, и почти все представители семейства унаследовали от предков те физические качества, каковыми обладал наш гренадер-сангвиник, которого мы встретили в Бовэ мартовским вечером 1815 года,— слегка, пожалуй, коротконогий, зато отменного здоровья. У всех у них прекрасные зубы, жесткие и курчавые волосы, все они любители лошадей и буйных развлечений; и на писанных маслом портретах, вставленных в медальоны, и на дагерротипах, и на фотографиях последнего времени их можно сразу опознать по неизменным фамильным чертам, так что им нет надобности даже предъявлять свою родословную. Я говорю о них, как о породе собак, но так оно и есть, и именно потому из них получаются превосходные зятья для крупных промышленников и международных финансистов. Есть де Г. среди членов Жокей-клуба и Картофельного клуба. Даже в Академии есть один де Г., хотя никто из них не написал ни строчки. Только в самое последнее время то в одной ветви семейства де Г., то в другой дает себя знать вырождение. Особенно же после того, как в начале XX века один из де Г.— маркиз, чья мать, скажем прямо, была наполовину еврейского происхождения,— возымел романтическую идею подняться с помощью брачного союза в чересчур высокие сферы, что уже было неразумно, и похитил с этой целью юную особу, связанную родственными узами с неким царствующим домом, причем дом этот особым богатством не отличался. Этот брак безусловно и стал причиной злополучной судьбы юноши. Ибо ежели в специальных трудах мы встречали десятки де Г. и при каждом имени одинаковую пометку, означающую «пал на поле чести» — один в вооруженных силах Свободной Франции, другой в «Антибольшевистском легионе»,— то рядом с именем этого юноши, который, кстати сказать, никогда и не служил в армии, стоит скромное: «Умер в лагере Дахау в Германии». Естественно, что семейство де Г. не особенно-то гордится этим своим отпрыском,

равно как и Ульбрихтом де Г., который в те же самые годы оказался слишком на виду и вынужден был уехать в Аргентину, где и стал банкиром.

Ну так вот, если бы я назвал нашего гренадера из роты Ларошжаклена подлинным его именем, боюсь, что члены этого разветвленного семейства, большинство которых неизменно состояли советниками при наших слишком часто меняющихся правительствах, пошли по дипломатической части, связаны с крупнейшими металлургическими или химическими фирмами, боюсь, как бы члены этого разветвленного семейства не были оскорблены, что их, мол, предок, дед или дядя — ибо жив еще племянник нашего Артура, некий де Г., с которым я встретился во время последней войны во Фландрии: в возрасте шестидесяти пяти лет он вновь вступил в армию, потом его назначили государственным советником, и он неизвестно почему был обвинен в недостойном патриота поведении; сейчас ему, должно быть, лет семьдесят восемь или семьдесят девять, и мальчуганом он играл на коленях у престарелого маркиза Артура де Г.,— так вот эти люди могут быть оскорблены, повторяю, тем, что один из их предков выставлен не в слишком лестном свете, и непременно запретят читать эту книгу своим уважаемым супругам, сестрам, дочерям. А бесчисленные жены, сестры, дочери и племянницы могут самым роковым образом повлиять на распространение книги... Но еще больше я опасаюсь того, что представители семейства де Г. почерпнут в описанном мною эпизоде, о котором можно судить с весьма различных точек зрения, доводы, весьма лестные для их мужской гордости, чему я лично не сочувствую, никак не сочувствую, и, откровенно говоря, мне бы ужасно не хотелось давать пищу их тщеславию — я имею в виду физические качества — и укреплять тем самым энергию их рода. Если инцидент, происшедший 20 марта 1815 года на улице Сен-Мартен в городе Бовэ, не вписан в семейные анналы, прошу не рассчитывать на то, что он попадет туда с моей помощью.

Вот почему я и свел к одной букве фамилию Артура и к общему экскурсу историю нашего гренадера и его семейства, представив все дело в несколько неясном, слишком общем виде; быть может, я даю возможность многим своим современникам признать в моем персонаже своего предка и кичиться им, но, с другой стороны, никто так никогда и не узнает с полной достоверностью, о его ли семье идет речь, и никто не сможет, следовательно, оправдать свое собственное распутство ссылкой на законы наследственности.

Человек-то ведь не животное.

VIII

ВЕСНА

Никто этой ночью не спал в префектуре. Между одиннадцатью часами и полночью явился Макдональд, вернувший свою дочь к родному очагу, и от него Мармон узнал об измене армии. Прежде чем герцог Тарентский двинулся в направлении Абвиля, где он рассчитывал нагнать короля, в Бовэ прибыл адъютант генерала Грюндлера, бывшего командующего военным округом Сены, которого Кларк, заменивший Сульта, взял к себе в Военное министерство в качестве главного секретаря, и привез с собой последние новости. Париж с утра стал гнездом измены, и, как ни трудно поверить,— повсюду трехцветные знамена и кокарды; с минуты на минуту ждут прибытия Наполеона. Грюндлер в письме, пересланном через адъютанта Макдональду, жаловался, что ровно ничего не знает о судьбе своего министра. Так как в министерстве его патрон больше не показывался, он специально послал к Кларку на дом, на улицу Ройяль, офицера. И там нет Кларка. Что сие означает? Неужто Кларк, которого назначили на место Сульта, как более надежную фигуру... перекинулся в другой лагерь? Да нет, просто провалился сквозь землю... исчез — и все тут! Адъютант Грюндлера встретил по дороге волонтеров-правоведов; у бедных юнцов вид был совсем измученный, а офицеры даже не старались скрыть своих опасений: ведь им пришлось продвигаться среди мятежных войск, от которых они еле ускользнули у Сен-Дени. Впрочем, поведение бонапартистов казалось несколько странным: они даже не пытались войти в соприкосновение с войсками, хранившими верность королю и беспрепятственно отходившими к границе. Грюндлер запрашивал распоряжений. Допустим, он даже их получит, но с таким запозданием, что они вряд ли ему пригодятся.

Так или иначе, в четыре часа утра супрефекта разбудили. Это прибыл генерал Гюло, сопровождавший починенную карету маршала Макдональда; он привез новости из Бомона, доставленные агентами Бонапарта. Господин Масса немедля провел его к Мармону, который и выслушал лаконичный рассказ Гюло о торжественном въезде в Тюильри. Император водворился в Лувре в девять часов вечера. Почта приносила самые отчаянные вести... Всю ночь в Бовэ ревел шквальный ветер. В трубах свистело и завывало, дождь барабанил в ставни. Погода под стать трагедии. Временами казалось, что по мостовой с грохотом тянутся обозы, потом небесный глас ширился, крепчал, будто сама природа возмущалась деяниями людей. Спать... попробуйте усните в таком аду! Когда внезапно смолкал ветер, рождалась тишина, еще более тревожная, чем завы-

вание бури, и каждый, как облегчения, ждал следующего шквала. Впрочем, тишина эта всякий раз длилась недолго.

Наконец окна побледнели — вставал рассвет. Весна начиналась в Бовэ низко нависшим туманом, в комнаты доносился топот патрулей на улицах, голоса звучали странно, как звучат они только в час предрассветного одиночества.

Ветер утих. Дождь тоже перестал. Сквозь разорванные облака робко проглянули лучи солнца.

Гонцы уже развозили приказы. Караульные, отстоявшие свою смену у ворот казарм, а также у тех домов, что были отведены для постоя королевской гвардии, разбрелись по городу. Фабричные, начинавшие работу ровно в шесть часов утра, ибо при любых обстоятельствах нельзя терять ни минуты рабочего дня, который в это время года длится всего лишь двенадцать часов,— фабричные искоса поглядывали на солдат, моющихся у колодцев прямо посреди улицы, и только плечами пожимали. О чем думали все эти люди? Трудно, пожалуй даже невозможно себе представить.

В начале седьмого вдруг как снег на голову свалились принцы, до света проехавшие через Ноайль, а с ними авангарды их войск, легкая кавалерия Дама́, под командованием Сезара де Шастеллюкс, королевский конвой Граммона под командованием Тони де Рейзе. Когда на импровизированном военном совете маршал Мармон доложил графу Артуа о состоянии войск в Бовэ, тот впал в уныние; и хотя герцог Беррийский пытался поддерживать кое-какие иллюзии, родитель его, граф Артуа, отлично знавший, как нескоро хвост, который они тянут за собой, доберется до Бовэ и в каком он доберется состоянии, не мог скрыть своей растерянности. Где же король? Неужели снова изменил планы и повернул на Дьепп, чтобы оттуда переправиться в Англию? Или забился в Дюнкерк? А может быть, по-прежнему держит путь на Лилль... Кто знает! Допустим, что так, значит, следует идти прямиком через Амьен, чтобы сократить путь и не подвергать людей лишним испытаниям. Так-то оно так, но неизвестно, свободна ли дорога на Амьен! И каково в действительности настроение пикардийских частей? Решено было послать в амьенском направлении лазутчика, и господину де Рейзе поручили выбрать среди гвардейцев человека смышленого,— есть же там в конце концов смышленые люди,— который мог бы в течение дня съездить туда и обратно и привезти нужные сведения... Сколько лье от Бовэ до Амьена?.. Пятнадцать... На хорошем коне такое расстояние можно покрыть за шесть часов. Дайте этому гвардейцу золота, пусть для обратного пути купит себе в Амьене свежего коня. Еще до ночи он будет здесь. Господин де Рейзе удалился.

Вряд ли стоит говорить, что план этот был в высшей степени нелепым: шесть часов потребуется на то, чтобы проскакать пятнадцать лье в одну сторону, затем немало времени уйдет в самом Амьене — город большой, и нужные сведения получить не так-то просто; не исключено, что по дороге придется объезжать стороной мятежные войска (иначе зачем вообще было посылать лазутчика?), да еще шесть часов на обратный путь. А сейчас половина седьмого утра и к семи вечера уже становится темно... Никто из участников военного совета не указал графу Артуа на это обстоятельство, да и чего, в сущности, ожидал сам граф, отряжая лазутчика, причем в единственном числе, к господину де Ламет? Решение это было продиктовано в большей степени нервозностью, нежели воинской мудростью. Возможно даже, что граф Артуа уже решил про себя не дожидаться возвращения лазутчика, а любым путем пробираться к морю.

Ибо, говоря откровенно, граф Артуа, который в Париже столь горячо возражал против переезда в Англию, теперь... по крайней мере, в том случае, если путь на Амьен закрыт... считал единственным выходом отправиться в Дьепп и отплыть в Англию, погрузив на̀ судно королевских гвардейцев — столько, сколько поместится. Предпринимать такой шаг без согласия его величества, конечно, недопустимо; но вот поди же ты, его величество, когда в нем нужда, вечно куда-то исчезает! А пока, поскольку воинская казна с нами, было бы чистым безумием трястись над каждым экю, самое главное сейчас — скупить на наличное золото всех лошадей, все экипажи и повозки, имеющиеся в округе. И сделать это безотлагательно, ибо следует предвидеть такую возможность, как ремонт кавалерии. А также необходимо предоставить повозки пехотинцам,— не все ведь могут по нескольку дней подряд делать такие переходы, как накануне.

В казарме, где собрались серые мушкетеры, приказ о ремонте лошадей был вручен для исполнения командиру роты господину Лористону около восьми часов утра. И надо сказать, приказ попал в казарму еще очень быстро: ведь за час или даже меньше бумажку переписывали три раза в трех экземплярах, пересылали из одной канцелярии в другую за подписями и только после этого отправили из префектуры в казарму, от маршала Мармона к командиру роты Лористону. Группа в двадцать мушкетеров под командованием лейтенанта Удето выехала из ворот казармы в восемь пятнадцать и отправилась за конями в ближайшую к Бовэ деревеньку, окруженную выпасами, по ту сторону болота Сен-Жюст, где, по словам старожилов, держат лошадей. В числе посланных находился и Жерико. День был ветреный и холодный. Дождь перестал. Сквозь тонкую дымку пронизывающего до костей тумана

пробивалось солнце; кавалеристы молча проехали через предместье к западному пригороду, оставив по правую руку дорогу на Кале, и выбрались на мощеное шоссе, где виднелся придорожный столб со стрелкой, указывающей путь на Руан. Теодор потрепал Трика по холке. «Ну, как ты, красавчик, провел ночь у начальника почтовой станции? Вкусный был овес?» Какая все-таки сила в лошади. Казалось, Трик уже забыл вчерашний перегон, долгий, утомительный перегон, который начался с утреннего подъема в Пантемонской казарме позавчера в пять часов,— правда, был короткий отдых в конюшне у отца в Новых Афинах, потом целый день ожидания под дождем, и еще ночь с воскресенья на понедельник, проведенная на дорогах... Человек куда более слаб телом, он подвержен ревматизму. Чашка кофе и рюмка скверного коньяка, выпитые поутру, подействовали на Теодора взбадривающе, как удар хлыста, но удар короткий, тут же забывшийся.

По выезде из города, за крайними домишками, река разделилась на несколько рукавов, отделенных друг от друга островками, поросшими тростником, и среди этого лабиринта ничего не стоило заплутаться. Вода, лениво разлившаяся озерцами, с трудом пробивала себе путь сквозь каменистую почву, всю в меловых проплешинах, скупо покрытых травой. Пойма Терэны с разбросанными там и сям строениями уходила среди еще обнаженных деревьев куда-то вдаль, вся изборожденная рвами и оросительными каналами. Добрую сотню лет тому назад здесь начались работы по осушке болот — где вырыли искусственные рвы, где вода сама ушла по природным каналам, и теперь сквозь пожухлую за зиму траву пробивались молодые нежно-зеленые мартовские побеги. Селение Сен-Жюст внезапно возникло в излучине одного из каналов. Кавалеристы остановились, их тут же облепила, как мушиный рой, онемелая от восхищения, грязная и оборванная толпа ребятишек, а кабатчик вызвался проводить мушкетеров на луг, где пасли табун. Пришлось ехать шагом, так как добровольный проводник припадал на ногу. Повернули к северу, обогнув крутой холм. Тут резко менялся характер пейзажа. На макушке холма разместилось самое селение; там стояла заброшенная церковка с подслеповатыми окошками, и вела туда отвратительная дорога. Теодор с наслаждением взлетел бы на своем Трике на самую вершину, лишь бы избыть силу, лишь бы стряхнуть с себя щемящую тоску. Но — какое там! Кони паслись справа на лугу. Мушкетеры еще издали заметили табун.

Те, что пасли коней, в свою очередь тоже заметили приближение мушкетеров,— пришлось поэтому пустить коней рысью, бросив на полдороге хромого кабатчика из Сен-Жюста. Трое крестьян-табунщиков, охранявшие вверенное им поголовье — не менее сот-

ни лошадей,— вдруг принялись сгонять их, сбивать в кучу, поощряя отставших животных криком и плетью. Видно было, как они кружат верхами, в широкополых шляпах и заплатанных, выцветших лохмотьях. Табун отхлынул, поблескивая тесно прижатыми друг к другу гладкими крупами, и внезапно вся эта серочерная масса с вкрапленными в нее рыжими пятнами дрогнула и обратилась в бегство, а над ней то и дело взлетали руки табунщиков, нанося удары плетью и подгоняя отстававшую лошадь. Все было ясно: табунщики смекнули, что означает появление отряда солдат, и, повинуясь первобытному инстинкту, бросились удирать, гнали коней вовсю, словно так они могли спастись от реквизиции.

Мушкетеры теперь на полном галопе неслись через луга, и лошадиные копыта с чмоканьем погружались в размокшую землю. Отряд мушкетеров, разделившись надвое, старался обойти табун с флангов. И с той и с другой стороны раздавались крики: брань табунщиков, угрозы мушкетеров. Один крестьянин, белокурый великан с висячими густыми усами, обвел окруживших его преследователей затравленным взглядом больших голубых глаз и круто осадил свою тяжело дышавшую кобылу. Теодор первый схватил ее за узду. Богатырь, весь пестрый от разноцветных заплат и штопки, со страху покрылся испариной. Он махнул рукой товарищам, словно говоря: «Ничего не поделаешь, сдавайся, братцы!» И прокричал что-то вовсе уж непонятное. Что они говорят, эти люди? Издали было видно, как двое других нерешительно переглянулись, видимо, поняв тщету дальнейшей борьбы. Вырвавшиеся вперед мушкетеры наставили на табунщиков пистолеты.

Теодор смотрел сейчас только на лошадей с залоснившейся от пота шерстью — в табуне были одногодки, непригодные для кавалерии, их придется оставить владельцам. Были тут и жеребцы, явно предназначавшиеся для завода, хотя многие своей тяжеловесностью походили на рабочих лошадей. Трепет этой укрощенной мощи, это колыхание грив... Теодор уже не смотрел, он рисовал.

Табунщики мало-помалу успокоились. Удето объявил им, что за поголовье будет уплачено. Впрочем, им-то от этого какой прок? Лошади не ихние, они сами люди подневольные — пасут чужой табун, принадлежащий здешнему главному воротиле, настоящему мироеду, полукрестьянину-полупомещику,— его прибытия приходилось ждать здесь, на лугу; дождик снова начался — тот тончайший дождик, что налетает порывами и засыпает человека мелкими, точно зерна мака, каплями. А когда кажется, что он вот-вот перестанет, он припускает с новой силой. Боже правый, неужели им мокнуть под дождем, ради того чтобы вступить в торг с каким-то

пикардийским барышником! Барышник держался с господами офицерами раболепно и в то же время дерзко. Носил он куртку с отложным воротником и высокие сапоги и говорил почти что по-французски, а если и сбивался временами на местное наречие, то тут же спохватывался, но во всех случаях лошадь он называл не иначе, как «сивка». Само собой разумеется, он охотно продаст своих «сивок» солдатам его величества, слава богу, он честный роялист. Поначалу он, признаться, испугался: всякие ведь ходят слухи, а вдруг это пожаловали мятежники... Будто мало этот проклятый корсиканец перебрал у нас «сивок», загнал их в Россию, и они все там передохли, хорошо это, скажите сами! Но вам-то зачем всех забирать? Возьмите у каждого по малости. Рассекая хлыстом воздух, он твердил: «Мое дело сивками торговать. Я их люблю, своих сивок-то...» После чего велел отогнать в сторону тех животных, каких, видимо, решил не продавать,— явно самых лучших коней, а нам намеревался подсунуть старых одров. Пришлось покричать, позвякать золотом, пригрозить. А почему не эту или вот, скажем, не этого? Спор затягивался, и конца ему не было видно. Ну ладно, а почему вы не желаете продать нам вороного? Добрый конь...

— Господин капитан,— ответил барышник с запинкой, не зная, как величать Удето,— вороной мне и самому нужен — для завода. Разве вам такая сивка сгодится? Она с норовом... на ней никто из ваших не усидит... она под верхом не ходит.

— Ах, вот как! — заорал Удето.— Сейчас увидите!

И, повернувшись в седле, он обвел глазами своих подчиненных. Потом вдруг заметил Жерико:

— Слушайте, мушкетер! Покажите-ка этому барышнику, ходит вороной под верхом или нет.

И указал пальцем на коня. Теодор соскочил с Трика и подошел к вороному. Тот заржал и поднялся на дыбы. Барышник захихикал, похлопал хлыстом по своим сапожищам.

— Подожди малость!

Два его табунщика с трудом взнуздали коня.

Но Жерико, сбросив наземь свой плащ, уже схватился за гриву жеребца и вскочил ему на спину. Махнул рукой табунщикам — отпускайте, мол, повод. Жеребец рванулся, сделал скачок, понесся галопом. Незаметным движением туловища всадник удержался на коне. Он схватил поводья и, высоко подняв кисти рук, пытался перевести лошадь на шаг. Табун расступился перед ними, вороной старался стряхнуть с себя всадника, но тот вдруг прилег к его холке, до боли сжав бока своими крепкими ногами. Конь круто повернулся, снова встал на дыбы, опустился на все четыре ноги. И вдруг понесся точно стрела: видно было, как далеко, на том кон-

це залитого дождевой водой луга, он кружит на месте, пытаясь скинуть седока. Потом так же вдруг повернул обратно. Теодор ехал теперь, слегка откинув корпус назад, широко улыбаясь. Он управлял вороным только с помощью шенкелей, молодецки кинув на шею коня поводья, опустив руки. Конь шагал, низко нагнув голову, и на лбу его ясно виднелась белая звездочка. А на повороте все заметили, что, кроме белой звездочки, у коня еще и белый чулок на правой задней ноге. Таких лошадей в Испании зовут «белоножками», и один из мушкетеров, побывавший в сражениях на Пиренейском полуострове, заявил во всеуслышание, что с «белоножками» надо держать ухо востро. Удето не сумел скрыть своего недовольства. Он крикнул Теодору:

— Взять поводья, черт вас подери! Что это еще за цирк? Мы не у Франкони! — Потом обернулся к барышнику: — Ну-с, убедились?

— Ладно,— сдался тот,— у него-то хорошо получилось! Но только я вас предупреждаю: сивка с норовом, вы еще с нею наплачетесь!

В конце концов удалось выторговать шестьдесят девять лошадей. «Главное, чтобы сивки Наполеону не достались! Как мне сказали, что солдаты приехали, я было подумал...» Лошадей повели колонной. Так их и доставили в Бовэ.

Город за время их отсутствия неузнаваемо переменился. И не только потому, что низко нависшее небо вдруг поголубело, поднялось, раздвинулось, залилось светом. К Бовэ подошла королевская гвардия, подтянулись роты, проведшие ночь в Ноайле, где ночевали принцы, и присоединились к тем частям, что вошли в город накануне. На улицах кишели люди, кони, повозки. Артиллеристы господина де Мортемар выставили свои пушки перед собором св. Петра, главная площадь превратилась в неописуемо шумную ярмарку. Все утро прошло в яростной дележке коней между королевским конвоем, легкой кавалерией, гренадерами, жандармами и мушкетерами. Офицеры бегали по лавкам, скупая любую обувь, лишь бы сменить свои проклятые и уже негодные к носке сапоги. Но ничего подходящего не обнаружили. Шли споры даже из-за пары войлочных туфель.

Среди этого неслыханного хаоса, возраставшего по мере того, как съезжались повозки всех видов и назначений — тележки, кареты под парусиновым верхом, старые почтовые дилижансы, десятки раз бывшие в починке, разболтанные берлины, растерзанные рыдваны и кабриолеты — страшная кунсткамера захолустья,— между рядами шарахавшихся в сторону лошадей, за которыми вдогонку бросались офицеры-ремонтеры, вопя, что лошади — черт бы вас всех побрал! — предназначаются для их людей, что не од-

ному только королевскому конвою они нужны, все мы, слава богу, здесь равны, гренадеры, как и все прочие, тоже имеют право ездить на лошадях... вдруг среди этого хаоса Теодор заметил Марк-Антуана.

Д'Обиньи тоже вмешался в свалку, лицо его под меховой шапкой, все в россыпи веснушек, приняло зверское выражение, в вытянутой руке он держал седло и выкрикивал такие ругательства, что уши вяли. Теодор даже усмехнулся про себя, вспомнив Марк-Антуана на приеме в особняке постройки Вобана, принадлежавшем его отцу, или у Фраскати, где Антуан любезничал напропалую. Он окликнул своего друга. Тот взглянул на Жерико неузнающим взглядом, потом вдруг узнал и сказал только: «Тебе-то хорошо, твой Трик с тобой!» Дело в том, что его великолепная лошадь, бравшая любое препятствие, на которой он без передышки, шутя, доезжал от заставы Мучеников до самого Версаля, а Теодор на своем Трике безнадежно пытался его догнать... так вот, его конь... пришлось Марк-Антуану бросить своего коня на дороге где-то между Бомоном и Ноайлем! Да если бы просто бросить! На глазах гренадера блестели крупные слезы, совсем как у обиженного ребенка, и он, стараясь их удержать, громко шмыгал носом. В первую минуту Теодору захотелось поддразнить друга, но, когда он услышал слова Марк-Антуана, желание это тут же прошло.

— Тебе-то никогда не приходилось приканчивать коня, твоего коня, пойми, собственного твоего коня!

Какой у него был чудесный конь — чистокровный английский скакун. На дороге он поскользнулся в грязи, упал и сломал ногу... Бедняга! Пришлось его прикончить, понимаешь, прикончить! Легко сказать: прикончить! Но когда ты должен взять пистолет и подойти с пистолетом в руке к лошади, которая глядит на тебя с таким доверием...

— Послушай-ка,— сказал Теодор, которого вдруг осенило,— у меня есть для тебя лошадь, правда, норовистая, зато великолепная! Никто ее брать не хочет, боятся: говорят, что она «белоножка»...

Теодор сразу решил, что вороной жеребец, которого он так искусно укротил на лугу под Сент-Жюст-ле-Марэ, чудесно подойдет его другу. Во-первых, Марк, как и он, тоже любитель объезжать лошадей. И кроме того, нет ни малейшего сходства между этим вороным и той лошадью, которую пришлось собственноручно прикончить Марку. Хорошо уже потому, что не будет лишних воспоминаний, легче все забудется. Договорились! Они отыскали вороного жеребца с белой отметиной на лбу и белым чулком на правой задней ноге, и Удето без споров распорядился отдать коня гре-

надеру, хотя его уже забрали для мушкетеров Лагранжа. Тем более что Леон де Рошешуар, когда ему предложили жеребца, поспешил сделать из пальцев рожки: белоногий? да подите вы с ним! Суеверный страх перед белоногими лошадьми существовал на всем пространстве от Испании до Португалии. Марк Антуан был в восторге. Он улыбался, забыв свою недавнюю печаль. Коня оседлали, взнуздали, и новый его владелец прогарцевал среди испуганно расступившихся зевак, как две капли воды похожий на свое изображение 1812 года. Теодор глядел ему вслед с нежным чувством, даже, пожалуй, с любовью. Вот это настоящий наездник!

* * *

В то самое время, когда Теодор на площади Ратуши города Бовэ глядит на Марк-Антуана, под которым пляшет и встает на дыбы вороной жеребец, мыслями он невольно переносится в комнатушку позади лавчонки на бульваре Монмартр, куда по его просьбе приходил юный виконт д'Обиньи позировать для туловища «Офицера конных егерей» осенью 1812 года, поскольку Робер Дьедонне, чей портрет, в сущности, и писал Жерико, после отпуска отбыл с императорским конвоем в «Великую армию», находившуюся в России... И в полдень 21 марта 1815 года в Париже Робер, с которого он писал голову егеря, ныне лейтенант 1-го егерского полка, уже не на сером в яблоках, а на гнедом коне стоит вместе со своим эскадроном в центре залитой солнцем площади перед Лувром, где император делает смотр войскам. Полку, который с этой самой минуты перестал быть полком королевских егерей...

Солнце, солнце висит над столицей, само еще влажное после стольких дней непогоды, еще не просохшее после последнего ливня, прошедшего до зари. Красные и зеленые егеря на приплясывающих лошадях под черными и белыми седлами поверх алых чепраков, стоят лицом к арке на площади Карусель и к Тюильри. Толпа парижан заполнила дальний край площади, где расположился полк Лабедуайера, прибывший в Париж форсированным маршем. Из всех окон выглядывают любопытные. Лейтенант Робер Дьедонне смотрит вслед удаляющемуся императору, бронзово-загоревшему под жарким солнцем острова Эльбы: император на своем белом коне кажется почему-то меньше ростом, возможно потому, что он располнел... И трехцветный флаг плещется над Павильоном Часов. Как и накануне, оркестр играет «Где можно слаще отдохнуть, чем дома, средь своей семьи...», и разорванные облака проплывают над Лувром, похожие в своем поспешном бегстве на прощальный взмах руки. Полковник, только что отсалютовавший императору, поворачивает своего гнедого коня и дает команду начать движение.

Полковник — человек новый, поскольку прежний сегодня утром подал в отставку, а за минуту до смотра император сместил с поста капитана Ленурри, которому прежний полковник передал командование, и заменил его адъютантом Эксельманса. Барон Симоно не особенно-то уверен в этих четырех эскадронах, с которыми он встретился сейчас впервые.

— Колонна, вперед марш! — командует он и замечает, что взводные жолнеры, очевидно растерявшись в торжественной обстановке смотра, так не похожего на обычные смотры, не держат строя, как положено по уставу, и не едут в затылок передним.— Построить колонну, вперед, рысью марш!..

Надо признаться, что и сам он давненько не давал такой команды, потому что у него не было своего полка, а будучи адъютантом Эксельманса, он разделял его судьбу. Удивительно все-таки. Вот он теперь командир 1-го егерского полка и назначен на эту должность 21 марта,— как раз в этот день, ровно семнадцать лет назад, в 1798 году он поступил в этот полк в качестве рядового егеря... «Третий эскадрон...» Солнце подсушивает мокрые еще с ночи мундиры; ярко блестят сабли и металлические наборы на лошадиных сбруях. Но какая жалость — нет ни времени, ни возможности заглянуть в парк и полюбоваться знаменитым каштаном, который, как говорят, зацвел в честь Римского короля! Новоиспеченный полковник чувствует приятное щекотание в ноздрях и на нёбе при мысли о своем предшественнике, об этом шуте, этом убогом Сен-Шамане. Особенно же убогим выглядел он вчера на дороге, когда Эксельманс послал его ускорить продвижение егерей, которых Наполеон поджидал в Вильжюиве, назначив их эскортировать августейшую карету. Сен-Шаман был озадачен... да еще как озадачен. Добрых двадцать четыре часа офицеры потешались над ним как над последним дураком. Понадобилась целая ночь, чтобы он решился покинуть полк. Полковнику Симоно рассказывали, что Сен-Шаман, желая показать, будто решение принято им бесповоротно, первым делом вызвал одного из капитанов и поручил ему продать своих лошадей. И это офицер, это — участник всех войн Империи! Наполеон возвращается, а он лошадьми торгует! Симоно не прочь был бы сторговать у своего предшественника гнедого в яблоках жеребчика, но, не дай бог, пойдут сплетни, не говоря уже о том, что Сен-Шаман заломил неслыханную цену. К тому же этот гнедой жеребчик слишком изнежен. Уж лучше остаться при своем рыжем. Пусть он тяжеловат, зато вынослив. Новоиспеченный полковник, возможно, и не имел столь грациозного вида, как его предшественник, зато был гораздо массивнее и крупнее, под стать своему коню, и говор у него был резкий, рокочущий, сразу же выдававший уроженца Эро.

1-й и 6-й егерские полки вместе с тремя драгунскими полками входили в 1-ю дивизию 2-го кавалерийского корпуса, минувшей ночью отданную по приказу императора под командование генерала Эксельманса, которому император поручил сразу же после смотра бросить своих кавалеристов по следам королевской гвардии. Даже не дадут завернуть в Пантемонскую казарму, где полк был размещен на ночь. Обозы и службы отправлены вперед, и местом встречи назначен Сен-Дени. Пока колонна строилась в походном порядке вдоль Сены, как раз напротив сада Тюильри, полковник барон Симоно заметил, что к нему пробирается квартирьер Гренье, он же казначей полка; этого Гренье ему только что представили... вернее, капитан Ленурри, которого бывший полковник назначил своим преемником, представил казначея новому начальнику буквально за минуту до смотра в связи с одним неотложным делом, но Симоно тогда и слушать не хотел. «После, после смотра»,— сказал он. И поскольку смотр уже кончился, квартирьер на своем коне (как раз таких-то лошадей барон Симоно не особенно жаловал: тоже слишком уж изнежен, а для егерского офицера требуется выносливое животное, война — это вам. не Булонский лес!)... квартирьер Гренье приблизился к полковнику и отдал честь.

— Неужели вы, дружок, воображаете, что у меня есть время проверять ваши счета! Сейчас выступаем по Амьенской дороге... Как? Что это еще за неотложное дело? От господина де Сен-Шаман? Что вы мне голову морочите с вашим Сен-Шаманом? Полковник Сен-Шаман, сославшись на слабое якобы здоровье, ухитрился остаться в Париже...

Совершенно верно. Именно так. Господин Сен-Шаман вручил квартирьеру записку...

— Как? Записку? Какую еще записку?

— Дело в том, что вчера вечером полковник, после того как полк, которому поручено было охранять императора, возвратившегося в Тюильри...

— Ну и что же из этого, объяснитесь, уважаемый!

По приказу генерала Эксельманса он, квартирьер, придя в казарму на улице Гренель, роздал людям по два франка на человека... мера более чем благоразумная. Ведь кавалеристы не ели и не пили в течение многих часов, и вполне можно было ждать, что в свете событий, в связи, так сказать, со всеобщей экзальтацией они могли, словом, могли немножко погромить местные лавчонки, не будь принята эта мера... Это же само собой разумеется!

Квартирьер определенно действовал полковнику на нервы.

— Поскольку приказ был отдан, приходилось его выполнять, верно ведь? Ну так вот: в полковой казне не оказалось ни гроша,

и полковник Сен-Шаман выдал, так сказать, деньги авансом из собственного кармана...

— Каким авансом? Сорок су, что ли?

— Но ведь в наличии имелось четыреста пятьдесят кавалеристов, следовательно, сумма равняется, как ни считай, девятистам франкам. Поэтому полковник, то есть, я хотел сказать, господин де Сен-Шаман, нынче утром...

Симоно расхохотался во все горло. Отставили от должности, а он, как это вам нравится, требует девятьсот франков! Пусть обращается к военному министру, маршалу Даву! Пусть-ка военный министр самолично разберется, надо ли возвращать ему деньги, или, может быть, следует отдать под суд кредитора, покинувшего свой пост, когда император вернулся. Черт побери! Кто бы мог ожидать: выглянуло солнце, когда все уже отчаялись его увидеть. Весенняя нега овладела Парижем, и люди во всех концах площади кричали: «Да здравствует император!» — приветствуя отряд красных и зеленых егерей с трехцветными кокардами на киверах, удалявшийся под четкий стук железных подков о булыжники мостовой.

Квартирьер поскакал в Сен-Дени, где ему полагалось быть уже давно вместе с другими квартирьерами, отправленными заранее. Он обогнал полк, имея распоряжение нового полковника обеспечить постой: там, в штаб-квартире дивизии, ему сообщат дальнейший порядок марша, названия населенных пунктов, пока еще не подлежащие оглашению...

В колонне возле 3-го эскадрона, которым командует Лантонне, едет верхом лейтенант Робер Дьедонне во главе своей роты, не имеющей отныне капитана в связи с тем, что Буэксик де Гишен вчера уволился в отставку, едет Робер Дьедонне,— физиономия у него нормандская, над губой нависают жесткие, даже на вид, усы,— едет он так, словно только что пробудился от глубокого сна. Разве не удивительно, что на сей раз те же самые егеря, которые чуть было не взбунтовались, когда несколько месяцев тому назад военный министр Сульт направил их в Бетюн, безропотно покидают Париж? Хоть бы кто проронил слово! Всем известно, что их послали вдогонку за удравшими принцами. Никто, даже парижане, не просил увольнения, чтобы заглянуть домой. Всех их как будто распирает смех, неудержимый и в то же время безмолвный смех. Они чувствуют себя владыками мира. На кой черт нам сдался Париж! Все начинается, все начинается вновь вместе с началом весны, и, как знать, может быть, опять завоюем всю Европу, а главное, покончим с этой сволочью — аристократами.

Два последних дня, считая с того многочасового бдения на площади Людовика XV, когда полковнику де Сен-Шаман пришлось

спасовать перед капитанами Рикэ и Буваром... с них-то все и началось, а потом уже разбунтовались другие: Арнавон, Шмальц, Рошетт, Делаэ, Ростан, Сент-Ион, Шекеро и Доль — лейтенанты и сублейтенанты, для которых чины не особенно-то много значили. Да, черт возьми! Корбейля и Эссона мы не забудем! В маленьких селениях на правом берегу реки, где разместили на постой егерские роты, весь вечер, всю ночь ждали новостей,— ждали Арнавон, Шмальц, Делаэ, Ростан. А тут еще этот чертов дождь лил как из ведра, поднялся шквальный ветер. Исподтишка присматривали за полковником и его дружками — за командиром эскадрона де Фонтеню, за майором де Мейронне, за капитаном Ленурри, за капитаном Буэксиком де Гишен... и само собой разумеется — за его двоюродным братом Луи де Сен-Шаман, которого полковник перетащил с собой из 7-го егерского полка; в 1812 году Луи имел чин сублейтенанта, попал в 1813 году вместе с кузеном и лекарем в плен под Лейпцигом и в 1814-м стал по протекции полковым адъютантом. А другие, вроде Дьедонне, как были, так и ходят в лейтенантах вот уже три года! Всем этим господам было здорово не по себе. Чего-чего, а этого не скроешь, в глаза бросается. И на дороге то тут, то там начинались разговорчики с встречными полковниками — маркизом таким-то, графом сяким-то... Ну и нахохотались же все они — Ростан, Сент-Ион, Арнавон, Шмальц...

В понедельник утром погода чуть-чуть наладилась, только изредка начинался ливень; тогда-то они и пришли, вернее пришел Арнавон, а за ним на небольшом расстоянии следовали Шмальц, Рошетт, Дьедонне... Тогда-то они явились и рассказали Сен-Шаману (полковнику, а не его брату, адъютанту Луи,— тот шуток не понимает), что король собрал, мол, свое добро и вместе с принцами укатил по дороге на Кале, тогда... «Ну, будет! Ну, будет вам!» — сказал полковник, и подбородок был у него все такой же круглый, нос обыкновенный, рот обыкновенный, словом, без особых примет, как пишут в паспорте, а глаза голубые, невинные-преневинные... И надо было видеть, как потом Арнавон потешался, скотина, как он потешался... А там на небе выглянуло солнышко, похожее на не совсем оправившегося больного, который кутается до поры до времени в шарф. Он, полковник, нас собрал, потому что пришел приказ улепетывать в направлении Сен-Дени, а Сен-Дени — это не по дороге в Кале. Письменный приказ от генерал-лейтенанта Жирардена привез кирасир, прискакал он ровно в половине восьмого утра, и его провели к полковнику, провел не Арнавон, а Шмальц... чтобы выведать кое-какие секреты. Гонец был явно сбит с толку и к тому же убежден, что офицер не может не знать того, что произошло нынче ночью, вернее вечером... Сам он чуть не заблудился между Вильжюивом и Эссоном, не потому, что

дорога такая уж запутанная, но когда скачешь один в потемках, под дождем, по грязи... вид у него, у кирасира то есть, был затравленный. Должно быть, он останавливался где-нибудь на ночлег, а может, и просто так,— только грязен он был невероятно... как говорится, пальцем тронуть и то противно. Конечно, не в наших привычках подслушивать под дверью, но все же на всякий случай, если начнутся вопли. Делаэ, Шмальц, Арнавон, Ростан держались поближе к маленькому домику у дороги, где полковник де Сен-Шаман, еще не успев натянуть мундир, в полуодетом виде вышел к гонцу. Воплей не последовало. Полковник вышел, держа приказ в руках. Подбородок круглый, рот обыкновенный. И он собрал всех офицеров,— дождь уже кончился,— собрал всех, включая квартирьера Гарнье и знаменосца Гобар-Демарэ. Капитан Бувар во всеуслышание заявил, что парижский гарнизон покинул столицу с целью присоединиться к императору. Полковник отрицательно махнул рукой: нет, мол, нет. И когда самые разные люди — капитан Рикэ, Перси, Жирар и, уж конечно, вместе с ними Арнавон, Делаэ, Рошетт, Ростан, Шмальц — начали кричать, что надо выступать на Фонтенбло, Сен-Шаман дал приказ седлать коней и всем собраться к Корбейльскому мосту. Тут, в сущности, особого противоречия не было. Через Корбейльский мост можно ведь проехать и в Фонтенбло и в Сен-Дени. После чего сам полковник со своим круглым подбородком отправился по утреннему солнышку за сведениями. К тому самому генералу, который вчера на площади Людовика XV закатил им речь. Говорят, что он австрияк, сражался против нас в Эсслинге и вступил во французскую армию только в 1811 году. Еще издали мы заметили, как Сен-Шаман со своим круглым подбородком возвращался обратно, а рядом какой-то субъект — оба из одного теста. Но даже отсюда было заметно, что они оба удручены. Мы-то стояли на Корбейльском мосту, с удовольствием стояли. Арнавон, Шмальц и все присные. На наше горе, рядом с мостом имелась распивочная с продажей спиртных напитков, и ее, что называется, брали приступом. Само собой разумеется, прежде всего кавалеристы второго класса. Так вот, надо было видеть небесную лазурь его очей, очей полковника Сен-Шамана (Альфред-Арман-Робера)... и его рот, уж такой обыкновенный, что дальше некуда! Тем более что в распивочной собрались парижские штафирки, которые то и дело подносили кавалеристам стаканчик и все вместе орали: «Да здравствует император!» Полковник-то не слышал этих криков,— куда ему с его ушонками, затерявшимися где-то между мелкими буклями и высоким, подпирающим подбородок воротником. Однако в седле он держался ладно, можно сказать красовался на самой середине моста. Подтянутый, как на параде, вокруг господа офицеры... И он спросил командиров рот,

пойдут ли за ними их люди, ибо получен приказ двигаться на Сен-Дени через Вильнёв-Сен-Жорж. Так вам они и скажут в лицо, нет, мол, не пойдут: никогда не следует задавать таких вопросов, если от страха ты еле лепечешь, и в лазури очей застыл испуг. За спиной полковника, за самой обыкновенной, как вы уже сами догадались, спиной столпились офицеры, готовые выхватить из ножен сабли, с таким видом, что черт им не брат... Все, стоя в стременах, оторвав заднее место от седла, все — Брий, Браши, Давид, Рошетт, Ируар, Сенармон, Рикэ, Бувар и, само собой разумеется, Шмальц, Арнавон... Полковник обвел их глазами и вдруг со страхом заметил, что почти все сорвали белые кокарды.

Солнце тогда было не такое, как нынче утром. Однако, как я уже сказал, дело явно шло на поправку. А хорошую погоду, по-настоящему хорошую погоду небеса, видно, приберегли для возвращения Маленького Капрала. Так или иначе, в тот благословенный день пошли на Сен-Дени и пошли без ропота. А зато вчера...

Зато вчера их словно подменили. Они кричали: «Да здравствует император! На Фонтенбло!» Сен-Шаман немножко удивился. Но решил сделать вид, будто не слышит этого крика, чтобы не осложнять положения. Он сказал, что, видимо, произошла ошибка, они не поняли маршрута — о Фонтенбло и речи быть не может. Имеется приказ идти на Сен-Дени через Вильнёв-Сен-Жорж. Он обернулся к адъютанту Делюи и предложил ему найти проводника, чтобы тот довел их до Вильнёв-Сен-Жоржа. Тут все, словом, все, за исключением, может быть, только Фонтеню, Ленурри, Буэксика де Гишен и, конечно, кузена Луи, грянули разом: «В Фонтенбло! В Фонтенбло!» — что было с их стороны весьма тактично, ведь они уже перестали кричать: «Да здравствует император!» И заметьте, все произошло вполне по-дружески, офицеры плотно окружили полковника, говорили с ним, как с малым дитятей, тянули его лошадь под уздцы,— словом, поехал он как бы под почетным эскортом. Все — Арнавон, Шмальц, Бувар, Рикэ, Сент-Ион, Делаэ, Рошетт, Шекеро, а посреди них наш Альфред-Арман-Робер со своим обыкновенным носом, самым что ни на есть обыкновеннейшим.

Один только капитан Буэксик де Гишен потихоньку исчез: о чем они шептались с полковником, неизвестно,— это в конце концов их дело, но только Буэксик вдруг ускакал, как будто ему, то есть его лошади конечно, припекли одно место. Уж потом Сен-Шаман объяснил нам, что господин де Гишен, мол, торжественно вручил ему свою отставку, поскольку полк не выполняет приказов генерала де Жирарден. Вот как она пишется, история. Таким образом лейтенант Дьедонне стал командиром 2-й роты 3-го эскадрона.

Наконец горнисты протрубили сигнал к маршу — прямо театр! Лошади пронеслись по мосту. «Не туда, не туда же, вам говорят!» — а мы как раз туда-то и повернули, попробуй докажи, что не туда и что дорогу на Фонтенбло приняли за дорогу на Вильнёв-Сен-Жорж, с проводником или без такового. Проскакали примерно одно лье, и тут нам навстречу попался 4-й егерский полк. Королевские егеря в светло-желтых колетах, с такими же обшлагами на зеленых мундирах — прямо игрушка! Мы — то есть Арнавон, Шмальц, Рошетт — хотели было объявить им последние новости, поскольку они, по всей видимости, не понимали, что́ именно происходит на сцене,— ведь некрасиво оставлять товарищей в неведении и допустить, чтобы они шли в обратном направлении,— но полковник как начнет умолять, как застонет, как завертится в седле, то к Арнавону обратится, то к Шмальцу, то к Бувару, то к Сент-Иону, будто все мы рангом не ниже его... «Не мутите вы их, христа ради, дети мои! Не мутите вы их!» — твердил он, и мы, признаться, сжалились над беднягой. Впрочем, рано или поздно они сами разберутся... Их полковник подъехал к нашему с воинским приветствием... Ну и зрелище получилось! Как же мило, вежливо они беседовали — просто прелесть! О чем они говорили, я не слышал, но, видимо, о чем-то постороннем. Когда тот отъехал к своим егерям, мы ему отсалютовали,— сабли наголо! — будто великий век возродился, и полковник отбыл, очень довольный нами. Не прошло и пяти минут, как навстречу попался генерал — кто такой, не знаю,— в сопровождении полковника 1-го уланского полка. Мундир на нем алый, золотые галуны, а кожаная амуниция — белая. Вот с ним наш Сен-Шаман беседовал, отъехав в сторону, и, должно быть, все без утайки выложил, потому что оба только ахали и охали. И когда начальники распрощались, вид у них был такой, словно едут они с похорон ближайшего родственника.

Затем все пошло, как в той знаменитой истории про сестрицу Анну: вот едут там вдали желтые и зеленые всадники, вот они приближаются, вот уже и пыль поднялась, вот они поравнялись с нами, что-то бросили на землю. Что это такое? Бумаги! Наши люди, конечно, их подобрали.

Жажда нас мучила, как никогда, пожалуй. Да и голод тоже. Я не обратил внимания, как зовется маленькая деревушка по ту сторону дороги, куда полковник велел нам свернуть, чтобы мы могли чего-нибудь выпить. Сам-то он поехал дальше: в конце концов если ему пришла охота испариться, что ж, его дело! Но не в этом было главное. Мы лишь потом поняли. Мы столько навидались гонцов, державших путь к Парижу,— гусар, драгун, улан... никто не знал, что происходит. Люди нас окружали, осыпали во-

просами, ну и мы, конечно, держались важно, соответственно случаю. Далеко еще до Фонтенбло? Самое смешное, что те бумажки, которые на нашем пути разбросали кавалеристы, мчавшиеся в столицу, оказались ни более ни менее как прокламациями за подписью «Император и король Наполеон I». Их прямо рвали из рук; мне так и не удалось толком прочитать, однако, кажется, это были первые официальные декреты: приказ арестовывать любого из Бурбонов, список подозрительных лиц, и среди них герцог Мармон. Если они идут на Париж, мы, может, дали маху, настаивая на Фонтенбло? А что, если полковник умудрился улизнуть? Потом отдохнули хорошенько, целый час. Немало было выпито. На улицах полно кур и уток, крестьяне веселятся, шутят, проехал какой-то возница, что-то нам крикнул, а что — мы не разобрали. Вообразите только: там, на шоссе, в четверти лье отсюда император... Да, да, император проводит смотр двум пехотным полкам, вышедшим ему навстречу из Парижа. А мы-то? По коням! Дважды команду отдавать не пришлось. Солдаты, офицеры, все вперемежку... Но когда чуточку отъехали вперед, вспомнили: строй-то как-никак держать надо! Построились по всей форме, у всех был такой вид, точно мы мальчишки, выкинувшие злую шутку, но когда доехали до указанного места — никого! Наполеон укатил в своей колымаге, а вместо него мы обнаружили нашего Сен-Шамана в полном одиночестве, если не считать вестового. Полковник с похоронным видом восседал на своей кляче и мрачно скреб круглый подбородок.

Отставить Фонтенбло! Идем на Париж. Вышло так, будто мы выполняем приказ Жирардена. Только Сен-Шаман здорово этим воспользовался. Скомандовал «шагом», то и дело кричал «стой», а почему «стой» — неизвестно. Пошел слух, что мы расположимся в Ри-Оранжи. Делюи и его двоюродный братец ускакали вперед вместе с квартирьерами. А мы почему-то торчим на месте. Но вот тронулись и мы, и тут-то впервые появился барон Симоно. Добрались до Ри. Что делалось с нашим беднягой, с нашим «обыкновенным носом»! Да еще этот его южный выговор,— из самого что ни на есть виноградного Юга. Что ж! Пришпорили коней. Император...

К чему, впрочем, входить в подробности? Сейчас мы под командованием Симоно при ярком солнечном свете входим в Сен-Дени. У жителей букетики фиалок. Они приветствуют нас: буржуа, рабочие. Сливаемся в одну дивизию с драгунами и другими егерскими полками. Они стоят перед казармой — там, где высажены деревья. Егеря — полк герцога Беррийского — в зеленых мундирах с колетами и небесно-голубыми обшлагами, а драгуны в медных касках с черным шнуром и конскими хвостами, с желтыми

плоскими пуговицами, рейтузы белые, заправленные в сапоги, мундиры — зеленого сукна, колеты, обшлага и отвороты разноцветные — в зависимости от принадлежности к тому или иному полку. Около часа протоптались перед казармой, прежде чем тронуться в путь. Приятно затянуть песню. Ведь едем мы в погоню за принцами, за этим сбродом, «красными» и «белыми» ротами; загоним всю эту знать за Пикардию и Фландрию. Ату их! Ату! Эх, и здорово все перевернулось.

Только в Вильжюиве, когда уже спускалась ночь, нагнали императора. Все окна открыты, на всех подоконниках зажжены свечи, словно тут светлый праздник. Увидеть *его* не успели, вокруг была целая туча генералов. Откуда только взялись, честное слово! Люди кричали: «Да здравствует император!» А он едет в простой карете,— словом, таратайка ужасная, в ней он сюда и добрался. 1-й егерский полк разделили пополам: два эскадрона перед его каретой, два позади. И Робер Дьедонне был среди последних, среди тех, что гарцевали на белых конях у дверец императорского экипажа. Когда прибыли к заставе Анфер, там уже было полно народу. Люди кричали: «Да здравствует император!», кричали еще: «Долой аристократов!» То-то, надо полагать, обрадовались господа де Фонтеню, де Мейронне, де Жюинье, не говоря уже о двух двоюродных братцах де Сен-Шаман... но все другие — они ведь разночинцы... Ну и нахохотались же мы вволю... И верно: раз он вернулся, не надо нам на сей раз ни герцогов, ни баронов, наш император будет теперь императором народа.

В этом не сомневаешься ни на минуту, когда проходишь через город, где есть промышленные предприятия и мануфактуры. Император может делать ставку лишь на беднейшие слои населения, другим же только их деньги важны, а на все остальное им плевать: да что говорить, видели мы, как оно вышло в 1814 году... даже те, кто от него получил деньги, особняки, титулы, ордена... Впрочем, для того чтобы создать прочную основу новой Империи, надо прежде всего найти людей, готовых всем пожертвовать. Люди, у которых ничего нет, легче расстаются с жизнью. И потом даже в армии есть немало офицеров и солдат, которые видят в Наполеоне нечто противоположное Бурбонам, и прежде всего — продолжателя Республики... ах, если бы Маленький Капрал заявил в один прекрасный день, что он, император, провозглашает Республику! Сплотил бы вокруг себя всех тех, кто не мог или не успел воспользоваться нашими победами... Карно, аббата Грегуара, Левассера... тех, о ком уже давно не вспоминают вслух, но в кого до сих пор верит народ...

По правде говоря, никто за нами не следует; неужели же мы одни на этой дороге, как это понимать? Робер высказал свою

мысль вслух, и рядовой Лангле ответил ему, что драгуны сразу же после Сен-Дени свернули на Кале. Возможно, дивизия делала обходный маневр с тем, чтобы взять в клещи арьергард королевской гвардии...

Сам не знаю, может быть, потом, дальше, будет не так уж хорошо, но здесь, на просторном Экуенском плато, где хозяйничает солнце, где копошатся крестьяне — жгут прошлогодние сорняки или разбрасывают вилами по полю навоз, а мы едем по дороге, едем скопом, всей компанией: Арнавон, Шмальц, Делаэ, Ростан! — здесь усталость как рукой сняло, хоть снова скачи всю ночь. Вчера вечером улеглись спать в половине одиннадцатого, пройдя по Новым бульварам мимо Дворца Инвалидов, через мост Людовика XVI до Тюильри. «Как Наполеон входил в двери Павильона Флоры среди восторженных криков толпы, я не видел: нас поставили позади двух первых эскадронов, напротив дворца, словно стремились защитить императора от какой-то армии,— даже пушки навели на ворота...»

Обо всем этом думает, двигаясь в Крейлю, он, Робер Дьедонне. Ему представляется Пантемонская казарма, где они провели ночь. Он не знает, что в этом самом помещении, на той же самой койке прямо возле дверей ночевал накануне его друг, Теодор. Он мечтает, он начал мечтать еще ночью, среди казарменного хаоса, оставшегося в наследство от королевских мушкетеров. Он сверлит даль широко открытыми глазами, голова еще полна сновидениями победы. Солнце уже скрылось, небо затянуло тяжелыми тучами.

Капитан Бувар — он едет во главе колонны, которая сопровождает штаб,— догнал хвост 2-го эскадрона, где скачет рота Дьедонне, и сказал ему, что нынче ночью привал в Клермоне отменяется, хотя был намечен именно этот пункт: пришел приказ, требующий ускорить продвижение войск. Во всех этих городках, через которые проходит их путь, население настроено патриотически, не забыли еще казаков, да, впрочем, давно ли это было! Привал сделан в Люзарше — где это такое Люзарш? Девушки принесли кавалеристам воды; кавалеристы отпускали вольные шуточки, девицы краснели, но глаз не опускали. Славно было бы провести с ними ночку! Робер — любитель таких вот быстротечных романов... И кроме того, говорят, что замок господина де Шамплатре вполне заслуживает осмотра. В Шантильи рабочие фарфоровой мануфактуры, кружевницы, прядильщики с хлопчатобумажной фабрики господина Ришар-Ленуара, выпускающей также и цветные ткани,— словом, все, кто удержался на работе после прошлогоднего краха, вышли их приветствовать, а по выезде из города к ним навстречу сбежались камнетесы. Дорога шла лесом, и поэтому никто как-то

не заметил, что небо опять затянуло тучами. Да и вообще здешний край лесной, озерный... Так лесными дорогами через речки и ручьи добрались до возвышенности на берегу Уазы. Тут их застал первый ливень, но остановки не сделали. Только когда переправились через реку, миновали Ножан, взобрались на откос,— словом, проехали немногим меньше лье, впереди послышалась команда: «Стой!» Удивительное дело: крикнут где-то впереди, и по всей колонне, вплоть до замыкающих, прокатится эхо, движение разом прекращается. Эх, все-таки в кавалерии, особенно когда дисциплина строгая, когда подразделение выполняет приказ четко и быстро, чувствуешь, сам не знаю почему, гордость, почти физическое наслаждение!

Команда «привал!» была отдана на перекрестке, у подножия холма мягких, округлых очертаний, где слева отходила тропинка и стоял столбик с надписью, указывающей путь на Муи. Тропинка выводила к шоссейной дороге и примерно с четверть лье шла через долину, вплоть до пригорка, по склону которого уступами лепился поселок, окруженный нивами, под сенью густых деревьев. Дьедонне соскочил с седла перед невысоким квадратным строением с тремя окошками по фасаду, из которых среднее было вверху красиво закруглено, а над ним вывеска: «Для пеших и конных»,— это оказалась почтовая станция; в нижнем этаже помещалась кофейня, где лейтенанту сообщили, что местечко зовется Рантиньи, а поселок чуть подальше — Лианкур.

Это было как раз то самое место, где по приказу следовало остановиться на ночлег; здесь имелся замок, парк и фураж для лошадей, а так как небо зловеще потемнело, располагаться в непогоду вдоль дороги было просто неблагоразумно. Итак, снова вскочили на коней и понеслись по дороге к поселку. Проехали через огромный сад с рядами аккуратно высаженных плодовых деревьев; копавшиеся на клочках земли крестьяне, разогнув спину, глядели вслед удалявшимся кавалеристам. Дьедонне не без удивления заметил разбитый прямо на склоне виноградник — как будто климат здесь совсем другой, чем во всей Пикардии.

Перебравшись через ручеек — им сообщили, что зовется он Беронель,— отряд остановился как раз у ворот парка; направо от входа, сразу же за жилыми строениями, тянулись вплоть до возделанных нив прелестные тенистые аллеи, могучие деревья, каждое не меньше десяти туазов в высоту, устремляли к небесам свои кроны; ветер свободно обвевал стволы редко посаженных гигантов и их нагие, еще не покрытые листвой ветви. Сами же здания при ближайшем рассмотрении оказались в довольно жалком состоянии, однако продолжали использоваться по прежнему назначению.

Это были попросту службы разрушенного замка; между двух боковых флигелей был проход на просторный двор, где с двух сторон — в глубине и слева — стояли жилые дома, а с третьей двор замыкала длинная галерея с перилами, отделявшая его от парка. Вот и все, что осталось от былого величия и что успел привести в порядок вернувшийся из эмиграции последний отпрыск рода Ларошфуко, ибо сам замок Революция разрушила от подвалов до крыши. В основном постройки — образчик зодчества времен Людовика XIII — были из прекрасно обтесанных камней, под черепичными крышами с круглыми оконцами, а галерея относилась, по-видимому, к более позднему периоду.

Едва только кавалеристы спешились, как хлынул проливной дождь. Но по всему чувствовалось, что это ненадолго. На юго-западе сквозь разрывы облаков сияла лазурь неба.

Навстречу прибывшим выбежали люди. Первый, к кому Дьедонне обратился с вопросом, где можно напоить лошадей, должно быть, ремесленник, белокурый, почти белесый малый, чистенько одетый, с огромными ручищами, гладко выбритый, без усов, с очень светлыми глазами, ответил лейтенанту с сильным английским акцентом. Вообще-то обитатели поместья, поняв, с кем им предстоит иметь дело, предпочли попрятаться по домам. За исключением одного добродушного толстяка, по виду лакея или, возможно, даже мажордома. Кавалеристам так и не удалось узнать, у себя ли господин де Ларошфуко, занимавший нарядный домик, что стоял направо, в глубине парка, возле самых развалин замка. Во всяком случае, он явно не испытывал особого желания встречаться с гостями. Прием получился более чем прохладный.

Но главное: мы под крышей! И наплевать в конце концов, нравится это кому-нибудь или нет! Уже вечерело, от Парижа отмахали целых четырнадцать лье: надо же дать людям передохнуть, переждать огромную тучу, брызгающую на нас сверху. И, ей-богу, здесь без труда можно разместить, по крайней мере, два эскадрона... Вскоре ливень стал мало-помалу утихать, хотя с ветвей еще падали крупные капли. Не обращая на них внимания, многие кавалеристы устраивались под деревьями, ожидая, когда приведут лошадей. Другие расположились во дворе. Робер решил пройтись по парку, где садовники жгли сухие ветки и опавшие листья. Костры, разложенные у подножия высоких деревьев, казались в сумерках потрескивающим огневым заслоном с курчавыми завитками дыма, не желавшими сдаваться дождю... И колдовское зрелище это завораживало, манило.

Отсюда галерея, соединявшая службы, выглядела еще вполне величественно, хотя многие камни, украшенные резьбой, и целые каменные плиты со скульптурными изображениями вывалились и

лежали на земле. Пóверху шла другая галерея с перилами, соединявшая флигель с основным зданием и тянувшаяся в длину метров на сорок. Низкие и широкие окна здания чередовались с высокими глухими амбразурами, закругленными сверху. Из комнат, занимавших, должно быть, все это одноэтажное помещение, доносился какой-то странный шум. Егеря прильнули к оконным переплетам, и Дьедонне вместе с ними.

Кто же это глядит на нас из окон? В полутемных комнатах целый рой ребятишек, тоже бросившихся к окнам. Бледненькие личики,— глаза огромные и грустные; я подошел, махнул рукой — не отвечают. Что же это такое? Школа или приют? Послышались суровые окрики, детвора мигом разлетелась по местам, сразу же возобновился прервавшийся было шум, похоже, что застучали машины. Нам объяснили, что Ларошфуко — известный филантроп и что он дает,— так и говорили: «дает»,— работу пяти сотням бедных детей. Здесь как раз помещалась прядильня, где выписанные из Англии мастера установили машины новейшего образца,— каждую такую машину обслуживал один взрослый и двое детей, заменяя двенадцать рабочих. А ведь малышам можно платить в день от десяти до двенадцати су, тогда как взрослый получает от тридцати до сорока. Слушая этот рассказ, Шмальц начал отпускать шуточки по адресу филантропов, но наш провожатый — лысый толстяк, тот самый мажордом — обозлился, даже побагровел: ведь господин де Ларошфуко-Лианкур настоящий благотворитель, и этой прядильней его благодеяния далеко не ограничиваются. Возьмите хотя бы земледелие: он ученый агроном, применяющий самые передовые методы; с его приездом все в округе переменилось. Деревня стала доподлинным раем: что только здесь теперь не растет! И рапс, и лен, и хмель, любые овощи, конопля, плодовые деревья...

— И виноград,— учтиво вставил Дьедонне.

— Да, и виноград, представьте себе, именно виноград. А главное, все население при деле, и оно-то знает, чем обязано господину де Ларошфуко. Если же оставить детей бегать по улицам без присмотра, а присматривать за ними нелегко,— такие лодыри вырастут, что ужас! Их счастье, что они работают по тринадцать — четырнадцать часов даже в летнюю пору. Только так и можно сделать из них людей. Должно быть, господам офицерам неизвестно... иначе они бы с бóльшим уважением отзывались о хозяине дома, который безо всяких революций начал творить добро. Он давным-давно отдал эти здания под приют для детей неимущих воинов и обучал их за свой счет... И тот же господин де Ларошфуко, а не кто другой, по возвращении во Францию в восьмисотом году первым применил прививки доктора Дженнера против оспы. Не

говоря уже о том, что здесь до восемьсот шестого года помещалась школа искусств и ремесел, основанная этим великим человеком и перенесенная ныне в Шалон. Конечно, легко судить людей с наскока...

Скажите на милость, старичок, видно, решил учить нас уму-разуму!

— А как ты насчет филантропов, любишь их или нет? — спросил Шмальц у Арнавона, и Арнавон в ответ только присвистнул.

Воспользовавшись привалом, лошадей почистили, напоили, задали им овса... с овсом, правда, было туговато... Конюшни даже у такого филантропа, как господин де Ларошфуко, не рассчитаны на целый эскадрон. Словом, что было, все забрали. Хорошо бы здесь перекусить, но походные кухни ушли вперед вместе с обозом. Дождь перестал. На улицу высыпали ребятишки, сбежались, увидев солдат, со всех сторон. На вид им от силы по семи лет, а может быть, просто плохо растут. Самым старшим не больше четырнадцати. Дети подталкивали друг друга локтями. Разглядывали лошадей, кавалеристов. И мальчики и девочки были одеты в какое-то тряпье, десятки раз штопанное, большинство в линялых хламидах. О чем-то шептались между собой. Должно быть, им сказали, что эти солдаты ловят короля Франции. Появился священник, построил их в ряды и повел куда-то. В сгущающемся вечернем сумраке заплясала в аллеях парка длинная цепочка огней. Порывом ветра ее бросало то вправо, то влево, и по стволам вековых дубов заскользили красные пятна. В жилом доме потухли огни.

Сен-Жюст-ан-Шоссе, говорите? Но, черт возьми, ведь уже ночь на дворе, а сколько отсюда до Сен-Жюста, небось не меньше десяти лье? Ну и что же? Будем там в начале одиннадцатого, зато поедим... Поговорите-ка с людьми, что́ они на сей счет думают. Что думают на сей счет кавалеристы 2-й роты 3-го эскадрона — это, по-моему, яснее ясного, сказал бы словечко, да не хочется. По коням! По коням! После привала вроде как бы забыли, что сделали за день четырнадцать, если не все пятнадцать лье. Клермон, Фитц-Джемс... Кажется, поведи их на край света, и они дойдут даже под этим нудным мелким дождем, падающим теперь на меловую почву, которая пошла сразу же за Клермоном. И лейтенант Робер Дьедонне гордится ими. Он горд тем, что командует этими людьми, и тем, что он из их числа. Нет такой силы в мире, которая заставила бы его признаться в том, что он устал. Ему хорошо знакомо это чувство, чувство боевого братства, когда отстать от своих в то время, как свои идут вперед, значит не только покрыть себя позором, но ощутить себя почти изменником. Люди часто говорят о героизме, рас-

сказывают о героях десятки историй. Но здесь — совсем другое. Здесь ты не один, здесь никто не желает отставать. Здесь все вместе, заодно, и ты не щадишь себя, ты одержим желанием сделать чуть-чуть, хоть чуть-чуть, хоть совсем чуть-чуть больше того, что разумно и что можно сделать. И когда говоришь: нет уж увольте, ни одного лье дальше; и когда это еще одно лье осталось позади, точно так же думаешь о следующем... и о следующем... И то же в бою, и то же в смерти.

Он отлично знал, что солдаты любят его, своего лейтенанта, прежде всего за то, что по своему физическому облику он ничем не отличается от них — их же корня, с прямыми рыжими патлами, которые он зачесывает на лоб; усы с закрученными кончиками более светлого, чем волосы, оттенка, жесткие даже с виду, свисают на нижнюю губу, кожа красная, выдубленная вольным ветром. И телосложением он — исконный нормандец, привычный к лошадям, не то наездник, не то погонщик волов... Он не хочет упасть в их мнении, что неминуемо произошло бы, будь он вроде тех слабосильных игрушечных офицериков, которых присылают к нам из Генерального штаба. Вместе с ними, во всяком случае со многими из них, он побывал в Германии и в России... и теперь благодаря исчезновению сукиного сына Буэксика де Гишен стал их начальником... Кстати, при существующей в кавалерии системе большинство солдат почти не знает своих офицеров. Происходит это из-за несоответствия между количеством офицеров и количеством взводов. Многими взводами командуют унтер-офицеры, а офицеров просто распределяют по эскадронам, не глядя, каково их место в части. На марше, в колонном построении, едешь не со своей ротой, не со своим взводом, а где попало, сообразно с той или иной диспозицией, установленной штабом. А на следующем этапе, возможно, придется командовать опять-таки новыми людьми. Таким образом и солдаты вас не знают, и вы их не знаете... Роберу Дьедонне такая система давно казалась порочной, следовало бы от нее отказаться раз и навсегда. Он даже разработал свою собственную систему, любил поговорить о ней, не смущаясь тем, что полковые товарищи — лейтенанты и капитаны — высмеивали эту его страсть. По правде говоря, поскольку Робер первым из лейтенантов вступил в полк и поскольку многие солдаты перешли сюда из эскорта, где и он служил до образования 1-го егерского, почти все люди знали его. И сейчас — в ночном мраке он чувствовал это — было просто одним кавалеристом больше, и куда бы он, Робер, ни кинул взгляд, он по отдельным черточкам: по манере подымать плечи, по посадке, узнавал давно знакомые силуэты, с которыми сливался его собственный силуэт на фоне ровной дороги, убегаю-

щей среди черных деревьев и изредка попадавшихся селений. Дюфур, Леже, Лангле, Пенвэн, Боттю, Ламбер и, конечно, Арнавон, Шмальц, Ростан, Делаэ... Что же было общего между солдатами и офицерами, что давало Роберу чувство своей неотъемлемой принадлежности к этой колонне на марше, как неотъемлема морская волна от моря? Странно, до сих пор он не задавался такими вопросами. Никогда для него это не было проблемой, в отличие от Сен-Шамана, Буэксика де Гишен, Мейронне, от Фонтеню... Так получалось само собой. Вытекало естественно из всей его предыдущей жизни. Пошло это с деревни, где он бегал мальчишкой в ту пору, когда родители еще не перебрались в Руан. А в Руане, на школьном дворе, он играл с сынком Жерико и другими сверстниками. И на лугах, тянущихся вдоль Сены, где они, юнцы, объезжали среди высоких трав лошадок, таких же молодых, как они сами... Пошло это и от рассказов дяди, потерявшего во Фландрии ногу и не раз вспоминавшего об измене Дюмурье, о вмешательстве комиссаров армии, об этом Левассере, личном дядином знакомом. От того времени, когда отец Робера был арестован в связи с Жерминальским восстанием и выслан в Кайенну... и вплоть до того дня, когда Робер, рекрут призыва 1808 года, не дожидаясь своей очереди, вступил в армию... столько событий и столько мыслей выковали в нем эту силу плоти и духа, закалили его, и он стал настоящим человеком, теперешним Дьедонне, превратили в бойца, в кавалериста... такого же, как Арнавон, Ростан, Шмальц, и в то же время — отличного от них и в чем-то неуловимом более близкого к тем другим — к Лангле, Боттю, Лежэ, Пенвэну — к тем, что носят длинные волосы и заплетают их на затылке в косичку — такая уж у них мода. А некоторые даже до сих пор пудрятся, например, Грондар или Марион... А что сейчас поделывает Жерико? Он вспомнил вдруг о Жерико, об этом чертовом Теодоре, с которым они снова встретились в Париже,— тот писал в 1812 году его портрет... если только можно говорить в данном случае о портрете. Ведь Жерико написал с него, с Робера, только одну физиономию, усы, а потом взял и пририсовал к голове Дьедонне торс и ляжки не то барона, не то виконта д'Обиньи. Где-то сейчас этот щеголь? Милый мой Теодор... правда, с ним иногда было трудно — любит усложнять все на свете... Парень прямо-таки помешан на лошадях, но сколько его ни уговаривал Робер пойти в кавалеристы, он и слушать не хотел. А ведь какой бы из него получился егерский офицер — демон бы получился! Что ж, поскольку император вернулся, возможно, пойдут заказы на конные портреты: смена правительства во всех случаях сулит удачу господам живописцам.

IX

СВИДАНИЕ В ПУА

Было, должно быть, начало четвертого, когда Бернар спрыгнул с козел на Большой Сен-Мартенской улице города Бовэ. Он снял цилиндр и осмотрелся вокруг. Лучи солнца, пробивавшиеся сквозь туман, освещали обычную картину суеты, сопровождавшую прибытие парижского дилижанса.

Молодой человек,— ибо для прибывшего из Парижа гостя человек в тридцать лет был еще молодым человеком,— высокий шатен, причесанный а-ля Титус, шагал взад и вперед возле почтовой станции. И вид у него был такой, словно он никого не ждет, а прогуливается хоть и с достоинством, но без цели. Маневр этот вызывал невольную улыбку. Равно как и его явные потуги следовать в изяществе костюма, достаточно поношенного, тем ценным советам, что дают газетные рубрики мод, согласно коим человек, ежели у него хорошо развиты ляжки и точеные колени, может смело облекаться в триковые панталоны серого, песочного или бутылочного цвета, помня, однако, что к ним не пристали черные ботинки. Наш молодой человек щеголял как раз в серых трико-вых панталонах. Должно быть, он не без колебаний отказался в силу своих занятий от розовой вигони, не совсем удобной при чересчур обтянутых панталонах, что бы об этом ни думали парижские щеголи. На нем был черный сюртук по английской моде с бархатным воротником, обшитым шелковым кантиком, застегнутый у самой шеи, а также белый галстук. Все это не слишком свежее, даже чуточку залоснившееся от долгой носки, и при этом — светло-серый цилиндр. Через руку он перекинул пальто, очевидно с целью придать себе провинциальное обличье, поскольку ему вновь предстояло взгромоздиться в черный фургон с зеленым брезентовым навесом над козлами, запряженный парой белых першеронов,— фургон этот он поставил в сторонке. Однако было что-то странное в этом слишком уж явном несоответствии между внешностью молодого человека, его поношенным, но с претензиями на изысканность костюмом и его упряжкой,— простой фургон и вдруг такой возница.

Старик, сошедший с дилижанса, с первого же взгляда понял, что перед ним как раз тот самый незнакомец, с которым у него назначено свидание. Однако он с чувством какого-то удовольствия следил за юношей, который нерешительно поглядывал на вышедших из дилижанса пассажиров, стараясь угадать, с кем из трех-четырех прибывших парижан ему предстоит иметь дело. Затем старик, как бы невзначай, приблизился к молодому

человеку и сказал нелепую фразу, которую ему рекомендовали произнести, адресуясь к тому, кто его будет встречать. Почему в таких случаях всегда выбирают в качестве пароля нарочито неестественные фразы? Молодой человек вздрогнул от неожиданности и уставился на приезжего, на его потертый саквояж рыжей кожи, длинный клетчатый редингот бутылочно-зеленого цвета, мягкие сапожки с отворотами и фетровую шляпу, из-под которой падали на бархатный засаленный воротник длинные с проседью кудри, придававшие старику сходство с добрым дядюшкой Франклином, каким его обычно изображают на картинках.

— Стало быть, это вы, сударь,— пробормотал молодой человек, и по его тону было ясно, что он узнал прибывшего.

Это не слишком обрадовало последнего. Он считал, что слава его уже миновала, особенно для нынешнего молодого поколения. Он произнес с еле заметным провансальским акцентом:

— Соблаговолите запомнить, гражданин, что в данных обстоятельствах я зовусь Жубером и приехал закупать для господ Кальвиль, Париж, Капрская улица, вязаные изделия... Полагаю, память у вас хорошая.

Торчать здесь дольше без дела не было никаких причин, тем более что не приходилось рассчитывать на хорошую погоду. Молодой человек без лишних слов подал руку господину Жуберу и помог ему вскарабкаться на сиденье фургона под брезентовый навес, долженствующий защищать путников от дождя. Потом, укутав колени своего пассажира суконным покрывалом, обшитым по краям кожей, молодой человек надел выцветший от долгой носки и потерявший свой первоначальный цвет каррик, зашел с другой стороны, пошарил рукой под сиденьем и, убедившись, что два крупного калибра пистолета лежат на месте, уселся рядом с гостем, сложил трубочкой свои мясистые бледные губы и издал отрывистый звук, заменяющий щелканье кнута.

— Извините, сударь, за неудобный экипаж, но ничего не поделаешь. Поверьте, тут повинны не мои личные вкусы, а профессия,— начал он по выезде из города своим глухим грубоватым голосом, нечетко, по-пикардийски выговаривая носовые звуки.— Дело в том, что я развожу нитки и основу, которую изготовляют в Абвиле, и распределяю их по деревням, где работают на дому, а готовые ткани отвожу для окраски в Бовэ. Но сейчас мы с вами катим налегке.

— Значит, гражданин,— произнес старик нравоучительным тоном,— вы способствуете эксплуатации сельского населения и занимаетесь делом, которое ущемляет интересы ткачей в городах, где имеются фабрики-сукнодельни...

В этом повторном обращении «гражданин» чувствовалась известная настойчивость. Его спутник немного покраснел и на сей раз ответил тем же:

— Гражданин, я разъезжаю в качестве скромного приказчика господина Грандена из Эльбёфа, чем и зарабатываю себе на хлеб насущный. Он перекупил у господ Ван-Робэ в Абвиле фабрику, изготовляющую основу. И вовсе я не коммивояжер. Конечно, картины, свидетелем которых мне приходится быть в силу моей профессии, образовали мои убеждения, и именно поэтому я прибыл вас встречать сюда, в Бовэ...— Он явно старался избегать в разговоре пикардийского акцента, что, впрочем, не мешало ему говорить вместо насущный — «насушный».— Но сейчас речь идет вовсе не о том, чтобы оправдывать себя в ваших глазах. Вы прямо из Парижа и, надеюсь, понимаете, что я сгораю от нетерпения... Что там делается?

Сведения господина Жубера мало чем дополнили те, что нынче утром дошли до префекта Бовэ и маршала Мармона, хотя старик передавал их совсем по-другому, а его отчасти иронический тон мог бы неприятно поразить какого-нибудь сторонника Бонапарта, не знай он, что перед ним никак уж не приверженец монархии. Только одну новость мог дополнительно сообщить путешественник, но откуда, интересно, он ее взял? А именно: что Наполеон велел призвать Карно, но встреча их произойдет только нынче вечером... Без сомнения, император хочет привязать к своей колеснице «Организатора победы». В свою очередь господин Жубер также задавал спутнику вопрос за вопросом. Все его интересовало: и пейзаж и улицы Бовэ, запруженные королевской гвардией, заваленные вещами беглецов, то́лпы зевак, нищих, работников, не находивших себе работы... Он осведомился также об умонастроении местных жителей. Известно ли, где остановятся королевские войска — здесь или на Сомме? Потому что такая угроза имеется, и, во всяком случае, в Париже опасаются,— господин Жубер выделил голосом окончание этого слова, как раньше он упирал на слово «гражданин»,— что если Мармон создаст фронт, значит, Бурбоны получили заверение в иностранной поддержке, а в том случае, если пруссаки и казаки снова хлынут к Парижу...

Но откуда было знать скромному приказчику о стратегических планах Людовика XVIII? Не от терэнских же красильщиков, в самом деле, которым он только успел завезти товар и тут же поспешил на условленное свидание, сумев заметить лишь то, что видел сейчас из окошка дилижанса и сам господин Жубер. В общем, хотя иностранных войск пока нет, все же можно нарваться на легкую кавалерию или на гренадеров,

поэтому благоразумнее всего опередить войска и поскорее доехать до Пуа.

— Как до Пуа? — воскликнул парижский гость.— Значит, выбор пал на Пуа? Но ведь яснее ясного, что мы с вами окажемся на пути следования войск! Вот уж глупость!

Все это так, но когда дело замышлялось, никто не мог даже предполагать, что король свернет на Кале. Верно ведь? А сейчас, в последнюю минуту, поздно менять место: слишком много народу предупреждено.

— Слишком много? А сколько же нас будет?

Молодой человек пожал плечами: точное количество он назвать затрудняется, но так он, по крайней мере, понял из разговора, состоявшегося с одним другом (слово «друг» он произнес подчеркнуто напыщенным тоном, как до этого старик произносил слово «гражданин»). Решено ведь связаться со всеми слоями общества, главным же образом с наиболее бедными слоями...

— Послушайте-ка, Бернар...— начал господин Жубер.

Бернар подскочил и уставился на говорившего. Стало быть, парижскому гостю известно его подлинное имя? Выходит, что осторожности требуют лишь от него, Бернара. Но разве и он в свою очередь не узнал господина Жубера? Правда, это не совсем то же самое.

— Послушайте-ка, Бернар...— начал господин Жубер,— мне известны причины личного характера, по которым вам было бы желательно провести вечер в Пуа... но...

Эк, куда метнул! Бернар не нашелся, что ответить. Прежде всего сам он не принимал никакого участия в выборе места встречи, но не стоило ссылаться на это: господин Жубер все равно бы не поверил, поскольку *знал*. А о чем *знал* господин Жубер, об этом Бернар тоже не смел говорить. От кого мог он получить подобные сведения? Отрицать очевидность было просто бессмысленно. Оставался единственный выход — не произносить определенных слов, дабы не подтверждать того, что, возможно, вовсе не имелось в виду.

— И следовательно,— добавил господин Жубер,— если не ошибаюсь, вы отвезете меня ночевать в кузницу?

Итак, о недоразумении или ошибке не могло быть и речи. Погоняя лошадей, Бернар ответил:

— Вам, должно быть, известно, гражданин, что кузнец Мюллер — человек вполне надежный...

— Говорят, что да,— буркнул Жубер и погрузился в глубокое раздумье.

Неужели так сильно разгулялся ветер? Только Бернар вдруг почувствовал, что лицо его побагровело. Но ведь это тайна, его

личная тайна. И то, что старик оказался посвящен в нее, было для Бернара мучительно тяжело, несмотря на все его уважение к гостю. Конечно, никогда не следует смешивать такие вещи, но, скажите сами, где вы сыщете в Пуа более надежный приют для новоприбывшего, чем кузница Мюллера? И вдруг он подумал о Софи, перед ним всплыло лицо Софи и вытеснило все на свете.

В обычное время дорога была вполне сносная, но после недавних дождей вода во многих местах размыла слой булыжника, обнажив подстилочный щебень, и фургон катил теперь по кремню, которым были усеяны окрестные поля. Недаром здешние крестьяне половину жизни проводили в очистке «глинчатки», как называют на местном наречии глинистую почву, от множества камней и складывали их на пашне рыжими конусообразными кучками. К тому же на козлах фургона каждый толчок — ох, как чувствуется! Особенно, если едешь порожняком. Старик то и дело морщился, и, когда он снял шляпу, чтобы утереть вспотевшее лицо, Бернар заметил, что длинные его кудри обрамляют солидную лысину, увеличивающую лоб. Совсем как на известных его портретах. Господин Жубер вдруг повернулся к своему вознице и сказал все тем же тоном без обиняков:

— Так вот, сынок, я хорошо знал твоего отца...

Если и существовало что на свете, что могло бы отвлечь Бернара от мыслей о Софи, так это упоминание о покойном отце. Как раз в эту минуту мимо фургона на рысях прошла группа кавалеристов, и Бернар, с силой натянув вожжи, свернул с дороги. Это проскакал авангардный отряд мушкетеров на серых своих конях,— Бернар поглядел им вслед с чувством раскаяния. Господин Жубер был решительно прав, говоря о неизбежности подобных встреч. Но только тут до сознания молодого человека дошли слова его спутника.

— Моего отца? — переспросил он, и, как всегда при мысле об отце, его охватило мучительное ощущение ярости и нежности. Старик решился упомянуть об отце, желая смягчить свой недавний намек на кузницу, на Мюллера...

— Ты, Бернар, так похож на своего отца, что тебя нельзя не узнать. До сих пор я глубоко скорблю, что нам не удалось его спасти...— Он вздохнул, помолчал с минуту и заговорил снова.— Такие люди, как он... Все горе в том, что он чересчур верил в действенность военной акции, верил, что главное — это заговоры в армии... Эту безумную идею, видишь ли, разделяли тогда многие. Я сам одно время придерживался подобного мнения, недаром мы столь долго прожили под властью военщины. В конце концов мы смотрели на вещи так, как того хотел Наполеон, его глазами

смотрели...— Снова молчание и затем: — Но ты-то ведь местный житель, из-за своей сученой шерсти ты связан с самым беднейшим населением, проникаешь в его тайны, в его нужды, знаешь, как страдают женщины и дети... Скажи мне, как по-твоему, можно объединить города и деревни? Ведь это, пойми, самый больной для Франции вопрос... До сих пор Франция — крестьянская страна... трудящиеся в городах считают крестьянина своим конкурентом. И они бунтуют, но против машин; они сражаются, но между собой...— Молчание.— Как поведут себя крестьяне с возвращением Бонапарта?

Слова были подобны дорожной щебенке — они рассеивались пылью. А под ними чувствовалась, точно подстилочный камень, осязаемая, весомая тревога. Бернар ничего не ответил. Да и что было отвечать? Господин Жубер знал все это лучше него.

— Пойми ты меня,— снова заговорил господин Жубер,— нас тоже не должна вводить в заблуждение видимость: возможно, Наполеон возьмет верх, сумеет договориться с царем... возможно... Или же месяца через три мы станем свидетелями чужеземного вторжения, полного порабощения Франции. К несчастью, нам не дано выбирать. Но все это военная сторона дела, внешний его аспект. Победы, поражения, они нас оглушали, ослепляли нас. История Франции за последнюю четверть века, начиная с Бастилии,— не просто непрерывная череда битв. Не только череда битв. За эти двадцать пять лет происходило немало и других схваток, но на них никто не обращал внимания, и еще долго о них не будут рассказывать в школах детям. Произошла еще и другая революция. Ты в самой ее гуще, и ты ее не замечаешь. Я имею в виду развитие промышленности, те перемены во взаимоотношениях людей, которые зависят отнюдь не от кодексов; потрясения, но потрясения, вызванные машинами, увеличением числа машин. И это еще только самое начало. Пойми ты меня: когда одна армия одерживает победу над другой армией, меняются кокарды, меняется форма, но кокарда остается кокардой, а форма — формой. Любой генерал похож на другого как две капли воды. Вот возьми хотя бы: год назад я видел в театре принца Шварценбергского... ей-богу, ничего не стоит превратить его, скажем, в Брюна или Нея! Можешь поворачивать свои пушки: ну что же, переместится только страх, а люди, какими они были, такими и останутся. А машины... сколько у вас в департаменте Соммы прядильных самодействующих мюль-машин? И дело не в одном только сукне или хлопке... тут еще и уголь, и кокс, и пар... А думали вы над тем, что происходит в шахтах и кузницах? Что происходит в связи с появлением машин, как изменяются в силу этого взаимоотношения людей, а затем и сами люди?.. Люди, о которых мы в

свое время, к великому сожалению, думали слишком мало. Чтобы подчинить себе будущее, еще недостаточно уметь двигать армии. Любые расчеты могут пойти прахом в силу той непредвиденной перемены, какую приносит с собой невзрачная машина, бездушный станок. Стоит она где-нибудь на фабрике, в мастерской, как животное, которое требуется кормить, а чтобы его прокормить, на необозримых пространствах сменяют одни культуры другими, лучшие умы страны с лихорадочной поспешностью стараются приумножить поголовье скота, приходится менять законы, полиция сбивается с ног, шпионаж повсюду раскидывает свои сети, из чужеземных стран начинают переманивать знающих людей, и в результате всех этих удивительных авантюр, когда прогресс основан на измене и выгоде, люди покидают свою страну, домашний очаг, детей... А войны, они лишь простое следствие всего этого. Идеи и развевающиеся стяги — это только ширма, прикрывающая собой тайны наших дней... Неужели ты всерьез веришь, что Наполеон потерпел поражение на поле брани? Его сразил промышленный кризис восемьсот одиннадцатого года, безработица, непорядки с рабочей силой...

Тут только старик вспомнил, что задал Бернару вопрос и сам же не дает ему ни времени, ни возможности ответить. Так как же насчет городов и деревень?

Очень трудно говорить на такую тему. В ином коротеньком вопросе заключено столь многое, что даже при самом подробном ответе можно коснуться лишь второстепенного. С какой стороны подступиться к делу? Как выразить то, что он сам, Бернар, ощущал лишь смутно, особенно сейчас, когда в ушах его все еще звучали слова господина Жубера?

— Так вот,— начал он.— При моем ремесле... Как ставится этот вопрос повсюду, где я разъезжаю по делам фирмы,— от Абвиля до Амьена и Бовэ? Деревенские ткачи, работающие на машинах, которыми их снабжают, или прядильщики, пользующиеся ножной прялкой или прялкой с рукояткой, чесальщики, работают ли они поодиночке или скопом, зависят ли они от отдельного купца или связаны непосредственно с мануфактурой,— на всех на них городская юрисдикция не распространяется. В их поселке есть мэр. А что нужно этому мэру? Ему нужно, чтобы люди платили налог, как если бы они были коммерсанты. Вы только подумайте, гражданин, эти несчастные, для которых ни пол, ни возраст не являются защитой, разрываются между работой на своем клочке земли и рабским трудом на фабриканта, гнут спину от зари до одиннадцати часов вечера... и это они-то коммерсанты! Ни пряжа, которую они обрабатывают, ни машины не принадлежат им, а без машин много не наткешь... А вы посмотрели бы на их лачуги, по-

смотрели бы, как целые семьи ютятся в хижине, слепленной из глины, соломы и досок, крыша тоже соломенная; и горят такие халупы, как свеча. Пол земляной, люди живут в сырости, стока для воды нет, кругом дома болота, навозная жижа, окон тоже не имеется. Пусть смердит, пусть дым разъедает глаза, зато теплее... Это они-то коммерсанты! Так вот, от меня, человека, связанного с мануфактурой, они ждут спасения, меня они просят защитить их от властей коммуны. А знаете, в чем они видят главную свою надежду, волшебный ключ к счастливому будущему? В расчетных книжках, в тех самых дьявольских расчетных книжках, которые городские рабочие считают гнуснейшим изобретением Империи, кандалами, довершающими их рабское подчинение фабрике, довершающими — увы! — то, что принесла им с собой Революция. Я имею в виду закон Лешапелье от тысяча семьсот девяносто первого года. И поэтому-то их так трудно убедить, что Бурбоны страшнее для них, чем республика и даже чем Наполеон! То, что для одних оковы, другим кажется спасением ото всех бед. Мэры не выдают им расчетных книжек, потому что не имеют таковых, и ссылаются на то, что законодательство, принятое на фабриках, им неизвестно... После этого подите приведите их к согласию, найдите общую цель. И совсем в другую сторону гнут какие-нибудь сантеррские ремесленники или вимейские слесари, саржевые мастера Гранвилье или Кревкёра, гамашские прядильщики, мастера по фаянсу из Врона... И стекольщики, и столяры, плотники, каменотесы, шляпники, красильщики, ножовщики, шорники и прочие — несть им числа; все ремесленные корпорации обособлены, презирают друг друга...

Старик смотрел на Бернара. Он думал, что, к несчастью, проблема гораздо сложнее, и тут он заметил, что его сосед, пожалуй, даже красив собой. «Понятно, почему Софи...» — подумал он. И вспомнил Софи ребенком еще в те времена, когда ему после восстания Прериаля приходилось тоже скрываться. Но ему повезло, в отличие от Ромма, Дюруа, Субрани, Гужона... Скрываться здесь, в этой Пикардии, которую нищета издавна отторгла от христианской веры. Здесь, на исконной родине крестьянских бунтов, у одного из друзей Гракха Бабёфа, здесь, между Абвилем и Амьеном... Белокурая девочка, которую он качал на коленях и которая звала его «дядюсь»... Затем образ ее вдруг померк, как только он мысленно произнес имя Ромма, старого друга своей юности, о котором сейчас, через двадцать лет, никто уже не помнит в этом неблагодарном крае. Сейчас ему, Ромму, было бы шестьдесят пять лет. И он тоже ехал бы сейчас в Овернь или еще куда-нибудь, как едет он сам, Жубер, в Пикардию. Сидел бы сейчас в такой вот колымаге и болтал бы с каким-нибудь Бернаром... Двадцать лет,

как это долго и как быстро они проходят... И вот что сталось с ними со всеми через эти двадцать лет! Как-то выглядит сейчас, через двадцать лет, малютка Софи? Узнает ли она, Софи, своего «дядюсю»? Говорила ли она когда-нибудь о нем со своим обожаемым Бернаром?

По дороге им то и дело попадались тяжело шагавшие за своими конями крестьяне, которые возвращались с полевых работ. На пашне валялся брошенный плуг. Чуть подальше бороновали.

А он, Бернар, продолжал свой рассказ: рассказывал о ручном труде в исправительных заведениях и о том, как фабриканты отыскивают увечных ткачей в больницах и как те соглашаются работать за полцены. О Доме призрения — прямо при выезде из Амьена, рядом со знаменитым променадом Отуа, куда вместе с бродягами и умалишенными сгоняют каторжников, списанных с галер в силу тех или иных физических недостатков, женщин, заклейменных палачом у позорного столба,— словом, всех осужденных департаментскими трибуналами. Корпуса этого Дома призрения стоят вплотную друг к другу и разделены восемью узенькими двориками. В иных дворах слышен непрерывный вой — это воют сумасшедшие. Мужчины и женщины живут в разных зданиях, и в каждом есть мастерская примерно на три десятка прялок. Сейчас там хотят установить самодействующие мюль-машины, но не хватает места. Официально считается, что плата здесь такая же, как и у обыкновенных рабочих, но в заведении существует система удержаний. Готовая продукция исчисляется штучно, так что человеку трудно установить подлинные размеры своего заработка. В заведении имеется несколько ткацких станков устарелого образца, принятого еще в прошлом веке. У всех этих людей — заключенных, нищих, умалишенных — из заработка вычитают также стоимость инструмента.

— Вы только вообразите себе этот ад: сумасшедшие воют, жужжат прялки, станки грохочут... И в этом содоме от зари до зари трудятся люди. Из окон видна одна только часовня, заслоняющая небо и отделяющая женскую половину от мужской... Единственный отдых — молитва, единственное лакомство — овощная похлебка. Как же, скажите на милость, можно объединить этих людей с крестьянами и работниками мануфактур? Я слышал, как один фабрикант выражал пожелание, чтобы каторжников заставляли отбывать свой срок в домах призрения, где бы они работали для ткацких мануфактур. И смотрите вы, какой выискался филантроп: осудил смертную казнь, которая лишает его ткачей.

Слушал ли старик Бернара? Под тяжелую мерную рысь рабочих лошадей, волочивших тряский фургон по ухабам, он целиком ушел в свои думы о былом. Лицо застыло, как у статуи, а

крупный длинный нос придавал ему какой-то особенно значительный вид, смущавший собеседника. Наконец он заговорил, и слова его не имели никакого отношения к амьенскому Дому призрения.

— Твой отец, Бернар, никогда не рассказывал тебе о Ромме? Я имею в виду Жильбера Ромма, потому что был еще Шарль Ромм, его брат, тот, что посвятил себя изучению болот и пережил Жильбера... А о самом Жильбере не рассказывал? У меня хранится любопытная книга, он выпустил ее в Третьем году под названием: «Численник землепашца на Третий год республики». И вообрази, что в первом издании книги, подготовлявшемся в отсутствие автора, по недосмотру наборщика выпал целый месяц — Прериаль... получилось так, словно наборщик не желал, не мог допустить, чтобы в книге человека, сложившего свою голову именно в Прериале, упоминался этот месяц...

— А это верно, что он погиб? — осведомился Бернар.— Кое-кто утверждает, что после того как Ромм ранил себя кинжалом, его не могли сразу отправить на эшафот, и ему удалось бежать, говорят даже, что его видели восемнадцатого брюмера в Сен-Клу, где он призывал народ выступить против государственного переворота...

— Увы,— вздохнул господин Жубер,— все это сказки, придуманные себе в утешение... в его книге сегодняшний день — первый день Жерминаля — назван не в честь святого, а в честь весеннего цветка — белой буквицы... помню даже, какими комментариями сопровождается это слово в календаре Ромма: «Листья ее употребляют в вареном виде; цветы кладут для отдушки в вино, а корни — в пиво; овцы охотно ее поедают». В свое время я жил в этом краю у отца Софи, ты был тогда еще в том возрасте, когда ребят отдают в подручные к ткачам, я вспомнил про эту книгу и отправился по весне с отарой на пастбища — отец Софи неусыпно пекся об улучшении поголовья и скрещивал местных пикардийских овец с испанскими мериносами,— так вот, я сам видел в лесу, с какой охотой щиплют овцы белую буквицу... Ромм не мог ошибаться...

— Вы жили у отца Софи? — воскликнул Бернар.— В Сен-Рикье?

— Да, в Сен-Рикье, сынок... где ваши отцы — твой и ее — сделали гораздо больше, чем полагают, для экономической независимости страны! Редко кто так всесторонне изучал вопросы воспроизводства овечьего поголовья, а ведь в те времена избавление от засилия английских товаров являлось общенациональным делом. Знаешь ли ты, что послал меня сюда другой патриот, развивавший их взгляды, знаток феодального права, который,

роясь в бумагах пикардийских земледельцев, установил причины бедности безземельных крестьян... Имея в виду дальнейший рост стада и его потребность в кормах, он предлагал устраивать искусственные пастбища и разработал целую систему смены культур, в зависимости от времени года, о чем в ту пору и понятия не имели...

— Это Бабёф! — воскликнул Бернар, и собеседник его утвердительно кивнул головой. Оба путника надолго замолчали, погрузившись в раздумье о далеком и близком. Эти общие воспоминания-мечты сближали их, вопреки разнице лет в четыре десятка. Оба они — и молодой развозчик шерсти, и старик, бывший член Конвента,— возможно каждый по-своему, ощущали глубокую связь, существующую между шерстяной промышленностью и разведением тонкорунных овец, улучшением лугов и стараниями патриотов, которые столь прозорливо и столь безошибочно видели, в чем состоят интересы Франции.

День уже клонился к закату, солнце расплывчатым диском катилось вслед за путниками слева от дороги к горизонту, временами исчезая за завесой тумана. Дорога шла по гребню плато, вдоль небольших деревушек, а там внизу, параллельно дороге, тянулась уже подернутая сумраком долина Малой Терэны; последние багряные отблески окрашивали гладь реки, и даже когда солнце зашло, еще долго розовела вода, словно покрытая лаком. А крестьяне все продолжали выбирать камни из рыжей земли и складывать их в кучи.

Вдруг господин Жубер заговорил, как бы думая вслух:

— Наполеон... при всех преступлениях Наполеона — Наполеона, вернувшего эмигрантов, Наполеона, совершившего все то, что привело его к гибели, при всем том... видишь ли, надо признать, что Наполеон в той области, о которой мы с тобой говорим, претворял в жизнь наши старинные мечты, конечно лишь потому, что этого требовала его политика континентальной блокады... и все же он многое понимал, он покровительствовал суконной промышленности, велел выписывать из Испании баранов-производителей, отличал людей, старавшихся преобразить землю и улучшить поголовье скота... поощрял изобретателей машин, облегчил въезд английских мастеров... Тем не менее мы имели достаточно веские причины устраивать против него заговоры: эти вечные войны, эта тирания... Твой отец — да и Бабёф — поначалу был против Робеспьера... потом открыто, перед термидорианцами, он сказал, он признал его, он боролся за Конституцию девяносто третьего года, за дело Робеспьера... А теперь мы... Ведь теперь Бонапарт, свалivший Бурбонов, уже не тот Бонапарт, понимаешь? И то, что мы будем предлагать народу...

— Вы не можете так думать всерьез!..— воскликнул Бернар.

— Однако это так, сынок. Подобно Бабёфу...

— Но Робеспьер тогда уже умер! Он был только знаменем. А Бонапарт жив!..

— Он жив и именно поэтому может принести нашему делу больше пользы, нежели мертвый. У него армия. Армия, очистившая себя от аристократов. Необходимо превратить ее в народную армию, объединить народ и армию... Не гляди на меня так, я еще не сошел с ума. А известно ли тебе, что неделю тому назад союзники в Вене торжественно лишили Бонапарта всех прав и объявили вне закона? Новость эта прибыла в Париж одновременно с Маленьким Капралом. Понимаешь, что это значит? Снова девяносто второй год, родина в опасности, чужеземные армии угрожают нашим гражданам, и, как тогда,— победа зависит от народа: или народная война, или измена. Неужели ты не видишь, что вновь начинается революция? Мы продолжаем ее с того, на чем остановился Максимилиан, только с учетом опыта прошедших лет...

— Вот это вы и собираетесь поведать им сегодня вечером? — спросил Бернар.

Оба замолчали. По брезентовому верху забарабанил дождь. У Бернара голова горела как в огне, а ноги застыли. Что такое наговорил ему старик? Как так, Наполеон — в роли продолжателя дела Ромма и Бабёфа! Ему отлично было известно, что «господин Жубер» и Бабёф сильно не ладили между собой. И все-таки они заключили между собой союз, как это иногда бывает. В одном главном вопросе они расходились — в вопросе о собственности. Но, по-видимому, господин Жубер учитывал, каким уважением окружено в Пикардии имя Бабёфа! И перед этим молодым человеком, чей отец... Так в чем же все-таки заинтересован народ? «Организация» бросила лозунг: установить связь с народом. Народ... когда Бернар произносил, пусть даже мысленно, слово «народ», десятки картин возникали перед умственным его взором: исконная пикардийская нищета, дома призрения, где изнемогающие от непосильного труда мужчины и женщины мрут как мухи, попрошайки у сельских околиц, торфяники, плывущие вниз по Сомме на своих плоскодонках... а в городах странные секты, грызущиеся друг с другом — «Дети мэтра Жака» или «Отца Субиза», «Деворанты», «Волки»...

Вдруг господин Жубер заговорил, и в голосе его прозвучали задушевные, почти нежные нотки:

— А скажи-ка мне, мальчик... Софи... Должно быть, Софи настоящей красавицей стала?

Бернар затрепетал. Только сейчас, услышав произнесенное дважды любимое имя, он сообразил, что господин Жубер уже упоминал имя Софи, но сделал это так естественно, мимоходом, не говоря о ней прямо, что Бернар не вник в его слова. А старик повторил:

— Действительно Софи стала красавицей?

— Да,— ответил Бернар.— Тут, гражданин, я смело отвечу: да...

Справа от дороги на одном выгоне паслись две коровы, обе черные с белыми пятнами. Путники приближались к Гранвилье. А там вдали земля, вся в меловых проплешинах, казалась почти одноцветной,— так незаметно переходила блеклая зелень травы в желтовато-песочные борозды.

* * *

Иной раз сведения военного характера распространяются самым странным образом и с той почти стихийной быстротой, которую даже трудно объяснить. В ночь с понедельника на вторник император, едва успев прибыть в Тюильри, решил передать 1-ю дивизию 2-го корпуса под командование Эксельманса. Казалось бы, миссия этой дивизии — преследовать королевскую гвардию — могла стать известной лишь после смотра на площади Карусель, окончившегося около половины первого. И тем не менее в тот же день в четыре часа пополудни новость достигла Бовэ, отделенного от Парижа расстоянием в семнадцать лье. И кто же принес эту весть? Принесли волонтеры Школы правоведения, когда они, падая от усталости после двухдневного перехода, начавшегося еще позавчера, явились на пост, где несли дежурство гвардейцы герцога Граммона с зелеными розетками и солдаты дворцовой стражи. Трех-четырех волонтеров провели к графу де Рейзе, в том числе одного тощего верзилу, который болтал как сорока... Молодцы ребята! Граф осведомился, как их звать, и выслушал их рассказ со снисходительным видом: он любил при случае покровительствовать юнцам. А «молодцы ребята», сообщив о выступлении Эксельманса, проявили воистину чудесную осведомленность, ибо сами егеря в этот час еще ничего не знали о выступлении. Люди Симоно находились не далее Шантильи, а люди полковника Фодоа не достигли еще Бомона. Сообщил ли волонтерам эту весть кто-нибудь из встречных почтальонов или парижан, удиравших из столицы в почтовых каретах, или же все измыслили под влиянием страха сами эти затравленные, измученные мальчуганы,— трудно сказать. Но так или иначе, имя инспектора кавалерии Эксельманса было окружено легендой, особенно после недавней истории, взбудора-

жившей весь Париж. Последняя версия не выдерживала критики, ибо действительно в погоню за королевской гвардией были брошены именно кавалеристы Эксельманса. Так что доля правдоподобия тут имелась. Существовало несколько таких имен, при одном упоминании которых не только эти переряженные студенты-правоведы, но почти вся масса людей бегущей армии — армии только по видимости — сразу же теряла голову,— к числу таких имен принадлежали имена маршала Нея, Лабедуайера, Лефевр-Денуэтта, Эксельманса, воплощающих собой гидру мятежа.

Когда накануне вечером мушкетеры, с которыми повстречался Теодор, пытались реально представить себе размеры грозящей им опасности, они первым делом решили, что поблизости находятся части Лефевр-Денуэтта, но тут кто-то, не подумав, назвал части Эксельманса, и назвал не потому, что был в этом уверен, а потому, что это было вполне правдоподобно. Имя Эксельманса, так сказать, носилось в воздухе. Равно как и слово «заговор», в существовании которого никто уже не сомневался. Сторонники короля готовы были биться об заклад, что возвращение Наполеона с острова Эльбы было с начала до конца подстроено в Париже, в салоне королевы Гортензии, и готовилось в течение ряда предшествующих месяцев. Называли даже имена заговорщиков. И в самом деле, за исключением лишь Нея, измена которого была для всех чудовищным сюрпризом, разве не эти люди возглавляли мятеж, разве не они мгновенно перешли на сторону императора; недаром королева Гортензия тут же показалась в окне Тюильри, Шарль де Флаго гарцевал на коне перед воротами дворца, а Фуше стоял в прихожей. В действительности же все, или почти все, были застигнуты врасплох высадкой Бонапарта в Антибах, и многие желали не возвращения императора, а лишь некоторого смягчения режима или же восшествия на престол Орлеанского дома... Они не ожидали такой авантюры и были поначалу напуганы сверх меры, ибо не верили в ее успех и боялись репрессий, угрожавших им, быть может, в первую очередь. В течение нескольких дней все переменилось, и кое-кто даже похвалялся своими крамольными деяниями. Поверил ли им император? Во всяком случае, сделал вид, что поверил.

Но вернемся в Бовэ, где эти мальчуганы, болтавшие без передышки, как то обычно случается с человеком, предельно уставшим, приставали с разговорами к первым попавшимся офицерам, а не только к Тони де Рейзе. И все вдруг почувствовали к ним жалость, смешанную с восхищением: ведь никто и ничто — ни воинская присяга, ни воинский долг — не вынуждало этих верных престолу юношей очертя голову бросаться на защиту дела, явно обреченного на провал, и хранить верность королю; и вот уже все нарас-

хват зазывают их к себе, стараются накормить и напоить, а они трещат как сороки, усугубляя беспорядок, царивший среди воинских частей. Они рассказывали о том, как защищали на Марне мост Сен-Мор, который никто и не собирался атаковать; как водрузили белое с золотой бахромой знамя, врученное в дар батальону Школы правоведения дамами-заложницами за покойного короля Людовика XVI... И, слушая их, можно было подумать, что речь шла по меньшей мере об Эпаминондах, уцелевших под Фермопилами... на самом же деле они, по сути дела, капитулировали и могли беспрепятственно продолжать путь только потому, что перешедшие на сторону Бонапарта войска пожалели этих молокососов с их маскарадными ружьишками и мундирчиками. Послушать их, так переход от Венсена до Сен-Дени был героической эпопеей: шли они прямо по полям без дорог, дабы избежать нежелательных встреч, и когда на подступах к Бовэ их заметил егерский полк и свернул с шоссе, намереваясь броситься за ними в погоню, они, волонтеры, выстроились вдоль какой-то стены, чтобы все как один сложить голову на поле брани,— отступать дальше все равно было некуда, на себя самих они, видно, не очень-то полагались и дружно закричали: «Да здравствует король!» Рассказывая об этом случае, молодые люди по простодушию своему не отдавали себе отчета в том, что противник, понявший, с кем имеет дело, просто дал им уйти. И это обстоятельство отчасти меняло смысл их пресловутой эпопеи. Равно как и их верности белому знамени, полученному от дам-заложниц, ибо многие волонтеры по наущению своих же офицеров вышли из-под священной сени королевских лилий еще в Сен-Дени, чтобы не разлучаться с папочкой и мамочкой, благополучно продолжать учение и сохранить в своем лице для Франции и для будущих времен адвокатов и законоведов, без лести преданных монархии и религии. Но для тех, кто упорно шел вперед, ступая по камням стертыми в кровь ногами, с ломотой в пояснице, ибо в Сен-Брис был двухчасовой, вернее, полуторачасовой привал прямо на булыжной мостовой,— для тех, кто добрался до Бовэ, эта ночь, перед ужасами которой дрогнул их фанатизм, превратилась в ночь подвига, хотя они пугливо шарахались от встречных призраков, неся в себе все иллюзии и поддаваясь всем ужасам, плутая на этом тернистом пути среди отставших от своих частей солдат, лошадиных трупов, в хаосе брошенной на произвол судьбы армии, среди жалких руин монархии. Никто и пальцем не тронул этих студентиков, хотя, в отличие от их коллег, посланных вперед вместе с королевской гвардией, их не обрядили под Генриха IV, а просто выдали в Венсене в ночь с воскресенья на понедельник обыкновенную пехотную форму: триковые панталоны, шинель и кивер с белым плюмажем, заплечный мешок и ружье на перевязи, ко-

торым они не умели пользоваться. Но, шествуя в ночном мраке, студенты то и дело натыкались на черные фигуры всадников, устремлявшихся к Парижу, в которых они сразу же признали улан, несметное количество улан, перешедших на сторону Узурпатора. Все происходило в полной тишине, и вышеуказанные уланы тоже не попытались узнать, что это за части движутся на север... Словно в затянувшемся кошмаре, словно в театре теней, проплыл мимо студентов среди мрака безлунной ночи, под зловещее цоканье конских копыт нескончаемый лес копий. Откуда могли взяться в ночь с 20 на 21 марта эти уланы, если по приказу королевского Генерального штаба гарнизоны из северной части департамента Уазы уже в течение нескольких дней стягивались к столице,— об этом никто не подумал. Как, впрочем, и о многом другом. Как не думают, а просто верят в призраки народы, когда готовы рухнуть их кумиры.

Но в Бовэ из этих сбивчивых рассказов вынесли твердое заключение, что императорская кавалерия брошена вдогонку за королевской армией, что Эксельманс лично с минуты на минуту появится у городских ворот и что придется встретиться с ним лицом к лицу в самых невыгодных условиях, при полном беспорядке, когда солдаты перестали быть солдатами, когда большинство подразделений рассеяно, когда люди падают с ног от усталости — и юнцы и старики, вновь вставшие под знамена,— когда принцы попали в мышеловку, а король остался один, и черт его знает, где он сейчас обретается! Паника в кратчайшее время охватила гражданское население: как же это так,— неужели в Бовэ будут драться? И не на шутку драться: каждому известно, что люди Эксельманса — бравые вояки, те, что стояли биваками и проливали кровь на полях битв по всей Европе, ветераны революции и уцелевшие после Березины офицеры на половинном содержании, люто ненавидевшие королевскую гвардию, и головорезы, решившие во что бы то ни стало свести счеты с теми, кто изгнал их из армии... Да это же будет бойня, побоище, ареной которого станет Бовэ! И вот уже знать и богачи забираются в свои кареты, а на улицах те, кого господин де Масса́ именовал «сомнительным элементом», ведут себя нарочито вызывающе; женщины рыдают, патрули мечутся без толку взад и вперед, каждая рота действует на свой страх и риск, не запра̀шивая командование, не связавшись с остальными... Все ждут катастрофы...

Кто принес эту новость графу Артуа? Возможно, первым известили его сына, герцога Беррийского? Не важно. Важно то, что никто уже не сомневался в неизбежном появлении Эксельманса у ворот Бовэ, что никто даже не потрудился проверить слухи, узнать, на чем они основаны. Принцы, в качестве военачальников,

приняли их во внимание как вполне реальный факт и решили действовать соответственно. Во все концы полетели приказы, мушкетеры, как наиболее подвижная часть войска, были посланы в разведку впереди остальной королевской гвардии, на дорогу в Кале, а гвардейцам Граммона под командованием Тони де Рейзе, поручили охранять арьергард, то есть обеспечить флангами пеших, всех, кого удалось собрать среди отставших, а также повозки, наскоро нагруженные войсковым имуществом, изнемогшими ранеными и больными; на тридцать фургонов, собранных еще с утра, погрузили волонтеров с их белым штандартом — подарком дам-заложниц, ради которого они, по всей вероятности, собирались теперь умереть сидя. К тому же владельцы упомянутых выше фургонов сами правили лошадьми, и на каждом перегоне приходилось сулить им деньги, ибо в противном случае — да гони ты вперед! — возницы без дальних слов поворачивали обратно. Увы, бескорыстное служение французов королевскому дому, видно, и впрямь стало редкостью!

Уж не забыл ли в этой суматохе его высочество граф Артуа, что по его же собственному приказу в Амьен нынче утром был отряжен один из гвардейцев-лазутчиков с целью узнать, надежен ли путь в этом направлении? Как раз такой вопрос и задал герцог Ришелье, случайно встретив во дворе префектуры полковника Фавье, выходившего от Мармона. Но полковник вместо ответа уставился на Ришелье и вдруг ни с того ни с сего спросил: что это на нем за форма? Вопрос этот в другое время, несомненно, прозвучал бы дерзостью, однако Эммануэль Ришелье не усмотрел таковой и спокойно объяснил, что это форма генерала русской армии, а нарядился он так потому, что его платье насквозь промокло и волей-неволей пришлось переодеться. Кто знает, не решил ли уж герцог улизнуть за пределы Франции, или, возможно, считал, что войска Александра I, стоявшие в Бельгии, не сегодня-завтра перейдут границу? Но вот этот последний вопрос Фавье задать поостерегся.

— Так как же, полковник, вы мне не ответили,— напомнил Ришелье.

Насколько адъютанту маршала Мармона известно, граф Артуа решил не дожидаться лазутчика, посланного в Амьен. Впрочем, с самого начала было ясно, что никто всерьез ждать его и не собирался.

— Если люди Эксельманса подойдут к Бовэ, нам останется только одно: уходить проселочными дорогами и постараться нагнать королевский поезд в Пуа или в Гранвилье. Нельзя же в самом деле рисковать нашим войском и принцами, ожидая какого-то лазутчика. А разумно было или нет посылать лазутчика в Амьен, об этом следовало думать утром.

— Но почему Пуа или Гранвилье? Сколько от Бовэ до Гранвилье?

— Семь с лишним лье, а до Пуа — одиннадцать.

— Вряд ли можно считать это особо надежной дистанцией.

— Совершенно верно, но другого выхода нет. Где-то надо заночевать. Каждое лье требует огромных усилий. Будем надеяться, что Эксельманс не станет слишком торопиться.

Ведь именно Гранвилье наметили для ночлега принцев, поскольку в Пуа нет достаточного количества помещений для штабов, а вместе с принцами в Гранвилье пойдут арьергардные части, кавалеристы, превратившиеся в пехотинцев из-за отсутствия лошадей, и наиболее уставшие из солдат, а затем рота господина де Дама́, рота герцога Граммона и артиллеристы Мортемара; более свежие части проведут ночь в Пуа и постараются пораньше утром установить связь с его величеством королем Людовиком, от которого нет ни слуху ни духу. Впрочем, еще до прихода волонтеров граф Артуа, который с самого утра находился в крайне нервозном состоянии духа, выслал вперед в три часа тридцать минут полсотни мушкетеров. Как раз они-то и обогнали фургон Бернара и господина Жубера.

Потребовалось около часу, чтобы принять решение, отдать приказы и обеспечить отправку головной части, куда входило большинство серых мушкетеров. Теодор как раз посмотрел на часы на башне св. Петра,— было ровно пять. Хорошей рысью одиннадцать лье можно покрыть за три часа, таким образом в Пуа будем между восемью и девятью часами. В соответствии с приказом основная масса войска, сопровождавшего принцев, должна была выступить в шесть часов; авангарду, правда, предстояло сделать на четыре лье меньше. Зато с пешими на эти четыре лье потребуется шесть часов; значит, марш окончится только к полуночи. Больных уже грузили в повозки, и Теодор увидел студентов-правоведов, ждавших своей очереди. Сразу было заметно, что эти чересчур экзальтированные молодые люди не привыкли к военной форме, да еще форма-то была с чужого плеча. И, проходя мимо этого шумного сборища, Жерико почувствовал, как в душе его поднимается жалость — жалость и раздражение. Все эти мальчуганы — и высокие и низкорослые — отличались той особой худобой, которая свойственна затянувшемуся отрочеству; поэтому, встречая их в Латинском квартале под ручку с тамошними девицами, чувствуешь какую-то неловкость: так и кажется, что они еще не доросли до таких развлечений. А тут у них волосы всклокочены, оружие волочится по земле, полное отсутствие воинской дисциплины,— вернее, просто незнание того, что есть дисциплина... все это

делало их пребывание здесь каким-то трагическим дурачеством. Для виду они пытались шутить, но вдруг вы замечали их испуганно вопрошающие глаза. Если угодно, не такие уж они дети, не моложе в конце концов молодого Монкора, который, с мушкетоном на боку, ехал как раз впереди Жерико... такой же худой, так же чем-то напоминает заплутавшегося юного бога. Но хотя Монкор был ровесник большинства волонтеров, в плечах он казался гораздо шире. Вот это-то обстоятельство особенно и поразило Теодора: разномастное скопище не успевших побриться студентиков — у одного отрос белесый пушок, у других подбородок, казалось, тронут темной тушью, впрочем, не так уж густо тронут,— всю эту ораву высоких и низкорослых мальчишек, собравшихся со всей Франции, отличала покатая линия плеч в противоположность окружающим их мушкетерам, крепким и физически развитым верховою ездой, охотою, войною,— будто эти волонтеры принадлежали к какому-то другому народу. Гвардейцы, как бы они ни отличались друг от друга во многих отношениях, производили в массе своей одинаковое впечатление благодаря росту и ширине плеч. Поразило его и то обстоятельство, что по чьей-то нелепой мысли этих юнцов объединили с мушкетерами, и юнцы эти обращались к мушкетерам с тревожно-почтительными вопросами, обращались, как дети к взрослым, а сами кучками или поодиночке сидели на своих выпотрошенных вещевых мешках — уж очень натерло им спину ременными лямками,— сидели в бессильной позе крайней усталости после двух дней пути: одни спали, уронив голову на плечо соседа, другие, напротив, беспокойно ерзали, все одинаково грязные, оборванные, так что казалось, будто какой-то неразборчивый барышник согнал сюда на площадь неприглядное людское стадо. Эта картина потрясла Теодора своей глупостью и несправедливостью: и дернуло же этих дурачков ввязаться в авантюру, которая к ним не имела никакого отношения, хотя в простоте душевной они видели себя рыцарями без страха и упрека... А тут речь шла о сведении счетов, тут были офицеры из знатных семейств и офицеры, вышедшие из низов,— прихлебатели Империи и прихлебатели монархии. Вдруг Теодору подумалось, что и его самого с тем же основанием можно упрекнуть за то, что он вмешался в драку, вовсе его не касающуюся. При этой мысли он пожал плечами. Слава богу, он-то уже не мальчишка. Прежде всего он не строил себе никаких иллюзий, не собирался грудью защищать белый штандарт, врученный дамами-заложницами. Он, Жерико, следует своей судьбе, отнюдь не считая себя участником крестового похода, и он твердо знает, что только в силу чистой случайности завербован одной бандой, выступающей против другой банды. Честь и долг для него отнюдь не эти королевские лилии,

не эта белая тряпица с бахромой,— нет: просто стыдно переходить в другой лагерь.

Мушкетеры строились в колонны. Их командир Лористон с саблей наголо в сопровождении нескольких офицеров проехал вдоль строя. День клонился к закату, только на западе, в стороне Руана, серенькое небо прорезали широкие оранжевые полосы, и при выходе из города мушкетеры увидели, как вокруг еще голых деревьев кружат стаи воронов, будто подстерегают эту колонну на марше, готовятся к богатому пиршеству. Потом шумно пронесся порыв ветра, и начался дождь.

* * *

Луи Мюллеру, эльзасцу родом из Верхнего Оттрота, было всего семь лет, когда его отец-каменотес погиб в результате несчастного случая: на него опрокинулась повозка, груженная камнем. Мать, оставшись с пятью ребятишками на руках, отдала сына в обучение к дяде-кузнецу в Нижний Оттрот, и в десятилетнем возрасте мальчик, на удивление крепкий для своих лет, уже умел управляться с мехами, называемыми в просторечии «коровкой»; держал во время ковки ноги лошади, научился пользоваться молотком и ковать железо. В тринадцать лет ему пришлось покинуть кузницу: у дяди подрос собственный сын, и Луи поступил на Клингентальскую мануфактуру, расположенную в долине Лам, в полулье от их родной деревеньки. На Клингентальской мануфактуре он приобрел навык чуть ли не во всех ремеслах, которыми там занимались; вступил в общество «Детей мэтра Жака», и когда подходил его черед отправиться в странствие по Франции, грянула революция. Тут уже стало не до странствий, товарищи по обществу разбрелись кто куда. В Клингентале наспех переплавляли медные колокола, ковали кавалерийские сабли и штыки для защитников Республики. Но Луи втайне скучал без лошадей, к которым успел привязаться у дяди. Ему нравилось брать в руки и разглядывать конские копыта, так непохожие одно на другое, и уж если из него не получилось кузнеца, он решил стать коновалом. Когда отечество было объявлено в опасности, Луи исполнилось девятнадцать лет, и он поступил в гусары. Фландрия, Нидерланды, итальянская армия, Египет, Австрия...— сбылись его мечты: он стал полковым ковалем, что, впрочем, не помешало ему быть раненым чуть ли не десять раз и не однажды валяться в лихорадке. Вернувшись во Францию — его отправили в нестроевую часть куда-то на Сомму,— он и тут ухитрился пострадать: норовистая лошадь повредила ему колено, и нога перестала сгибаться. Хватит, отвоевался! Еще когда он находился на излечении в Абвиле, он

как-то зимой X года случайно попал в Пуа: увидев кузнечное заведение, забрел туда, влекомый тоской по любимому делу, и упросил хозяина дать ему подковать разбитую на ноги клячу, которую как раз привели в кузницу. Операцию эту он проделал с таким блеском, что хозяин, чей подручный был взят в солдаты, а помогал ему только мальчишка-подмастерье по имени Фирмен, умолил хромого остаться при кузнице. Мюллер уже давно перерос тот возраст, когда прилично ходить в подручных, но хозяин изнемогал от работы и череды бед, обрушившихся на его голову: сын, служивший матросом в императорском флоте, погиб, а дочка медленно угасала в чахотке. Пил он сверх всякой меры, а Луи легко переносил любое количество «шнапса», как звал он все горячительные напитки подряд на своем французском языке, уснащенном армейскими словечками, и с заметным эльзасским акцентом. И к тому же он оказался отменным любителем колбасы, словно и впрямь был коренным пикардийцем.

У владельца кузницы получилась неприятность из-за самостоятельного найма помощника, что запрещали компаньоны по цеху, и кузницу собрались объявить «проклятой», когда Луи весьма ко времени вспомнил, что был принят в Клингентальский союз подмастерьев и мог это доказать, хотя его «дело» было и не совсем в порядке («делом» подмастерья называли профессиональную книжку, без которой не принимали на работу). Война, уход помощника кузнеца в армию — все это создавало совсем особый случай. Казалось, чего проще послать запрос в Страсбург, которому был подчинен Клингенталь. Но в Абвиле атмосфера накалилась, надо прямо сказать, стараниями одного злобного каретника (каретники считались «детьми» кузнецов), и каретник, как это вскоре стало известно, имел на то свои причины, ибо вторая жена кузнеца сбежала из дома с этим негодяем. Вслед за тем пошли слухи, что она погибла во время пожара в какой-то деревушке под Амьеном — происшествие в тех местах более чем рядовое. С цехом поладили, тем паче что каретник, обвинявший Мюллера во всех смертных грехах, улизнул, не уплатив своих долгов «Матери», то есть стал «бегуном». Можно себе представить, какую богатую пищу дал этот случай местным острякам; поладили на том, что выдали вербовщику пятьдесят франков и спрыснули сговор за обедом у «Матери», которая держала в Абвиле на улице дю Прейель кабачок. Пиршество получилось шумное и веселое благодаря присутствию военнопленных испанцев: они работали на канале Сен-Валери, а жили в двух шагах отсюда, в казармах. Было это в январе 1812 года.

Но кузнец так и не оправился после бегства своей супруги; он спивался все больше и больше. Через несколько дней его на-

шли повесившимся; в петлице у него было воткнуто письмо, в котором он просил прощения у императора за то, что осмелился самовольно расстаться с жизнью, а все добро — кузницу и дом, довольно просторный,— завещал своему помощнику Мюллеру Луи из Оттрота.

Таким образом Луи порывал с Союзом подмастерьев, но вовсе не потому, что стал владельцем кузницы не совсем положенным путем, а по другой причине: дело в том, что в этом краю, как и почти повсеместно, кузнецы мало того, что вошли в Союз лишь недавно, в конце прошлого века, но еще и воспользовались при этом услугами какого-то предателя, выдавшего им цеховые тайны; другие, правда, утверждали, что помог тут вовсе не предатель, а просто подручный, ставший, подобно Мюллеру, владельцем кузницы, одним словом, действовавший в обход правил,— вот почему кузнецы не признавались другими цехами корпорации и были ее пасынками.

Луи минуло в ту пору тридцать восемь лет, и сила у него была богатырская,— ее не смогли подточить ни болезни, ни горячительные напитки, ни осколки ядер. Стоило посмотреть, как он своими ручищами бьет молотом по наковальне! В эти годы по всей Пикардии началось брожение, народ устал от нескончаемых войн, сменявших одна другую, и Мюллер тем охотнее разделял общее недовольство, что сам не мог вследствие ранений принимать непосредственное участие в боях. Весьма скоро после переезда в Пуа он установил связь со всеми республиканцами не только в городе, но и в окрестностях. И в такой же короткий срок его заведение приобрело отличную репутацию, потому что на всем пути от Парижа до Кале не было ни одного кузнеца, который мог бы сравняться с Мюллером в искусстве ковки неподатливых или бракованных лошадей. Один передавал эту весть другому, другой — третьему; словно семена по ветру разнеслась о нем добрая слава. С непостижимой ловкостью прилаживал он подкову к самому что ни на есть уродливому копыту. Войдя после хозяина в права наследства, Мюллер сделал Фирмена,— хотя тот еще был мальчишкой,— своим подручным, наплевав на правила. К чертям все эти хитроумные выдумки уважаемых подмастерьев! Так-то оно так, но члены цеха, которые отныне перестали признавать Мюллера «земляком», взглянули иначе на незаконное возвышение юного Фирмена, сразу ставшего кузнецом. Они всячески понуждали мальчишку убраться прочь из кузницы и, натолкнувшись на решительный отказ, как-то вечером подстерегли его и исколотили до полусмерти: перебили нос — словом, изуродовали на всю жизнь, да еще стали величать его «пролазой» и «сукой»... а в Пикардии нет худшего оскорбления, чем «сука», ибо в некоторых корпораци-

ях «при приеме в дело» новичка заставляют приносить торжественную клятву, что он любому подлецу до потрохов доберется.

Мюллер разгневался, направился к «Матери», швырнул на прилавок пятьдесят франков и заявил, что дело так не пойдет: если его признают мастером, а не подмастерьем, то пусть оставят мальчонку в покое. Пятьдесят франков произвели свое действие не потому, что люди польстились на деньги, а потому, что дар свидетельствовал о честных намерениях Мюллера, к тому же дело его было правое. Однако владельца кузницы по-дружески предупредили, чтобы он не особенно-то доверял своему подручному: ведь Фирмен, оставшись у него в услужении, нарушил свою клятву — сегодня он нас предал ради тебя, а завтра предаст тебя ради еще кого-нибудь. Мюллер только плечами пожал. Работа у него в заведении не переводилась, потребовался еще один подручный, и соседи охотно отдали ему в обучение своего сына. Раз уж нарушать правила — так нарушать. Одного Мюллеру недоставало — жены.

Наконец нашлась и жена: в том же году в Пуа из Сен-Рикье на пасхальные каникулы приехала одна девица восемнадцати лет погостить к двоюродной сестре. Старший брат ее еще при жизни покойного хозяина частенько заглядывал в кузницу, а когда хозяин помер, заходил к Мюллеру, и, пока тот ковал лошадей, они толковали о политике.

Хотя у Луи Мюллера не сгибалось колено, хоть он и хромал, зато в отношении молоденьких девиц его уж никак нельзя было назвать безруким. А гостья была такая юная, такая белокуренькая (Мюллеру она напомнила девушек его родного края), что он потерял голову и натворил глупостей. А Софи, впервые очутившись в крепких мужских объятиях, сразу же уступила домогательствам, так что пришлось кузнецу жениться. И естественно, что, породнившись через жену с республиканской семьей, наш кузнец с головой ушел в политику. Надо сказать, что в семье этой не только у кузнеца были свои политические убеждения. Отец Софи, занимавшийся приумножением овечьего поголовья, играл немалую роль в дни Конвента. Наполеон продвигался в глубь России, и местные политики предавались самым радужным мечтам: уже поговаривали о настоящем перевороте, тем паче что заговор Мале неожиданно для всех показал непрочность существующего режима, особенно очевидную с тех пор, как из «Великой армии» стали поступать зловещие бюллетени, наполнившие сердца французов страхом и трепетом. В первых числах нового, 1813 года у кузнеца родился ребенок, мальчик. А тем временем кузница, бывшая раньше ареной бесконечных политических разглагольствований, стала очагом настоящего заговора. В Пикардии имелась некая органи-

зация, поддерживавшая связи даже с Парижем. Ожили старые традиции, и руководители заговора, люди самого разного толка, которым удавалось благополучно уходить от полиции за эти двадцать лет неудачных заговоров, поняли наконец, как важно соединить различные течения народных сил. Все это давалось нелегко, приходилось вести тайные переговоры, понадобились люди, могущие под самыми невинными предлогами разъезжать от селения к селению. И Мюллер, по совету тестя из Сен-Рикье, завязал отношения с одним странствующим приказчиком по имени Бернар, который по самому характеру своей работы был незаменим для связи: разъезжая по всему краю с фургоном, нагруженным пряжей для ткачей, работавших на мануфактуру Ван-Робэ в Абвиле, он не вызывал ничьих подозрений. Молодого человека, натуру страстную, увлекающуюся, в свое время постиг удар: его отца казнили за участие в военном заговоре в Па-де-Кале. Во время своих разъездов Бернар взял привычку останавливаться в Пуа, благо у Мюллера дом был просторный и кузнец жил там со всем семейством и с помощником Фирменом, теперь уже восемнадцатилетним малым, так и оставшимся с перебитым носом, держал даже служанку, что вызвало настоящий переполох среди соседей, возмущавшихся этой причудой кузнеца, который со всем пылом влюбленности сорокалетнего мужчины в женщину вдвое его моложе считал, что Софи слишком хрупка, чтобы вести дом, стряпать и возиться с «пискуном». Даже когда Бернар оставался ночевать у Мюллера, рядом с комнатой Фирмена, на втором этаже все равно пустовала еще одна большая комната,— до того дом был обширен.

В «Организации» Бернар пользовался безграничным доверием как сын человека, бывшего при Робеспьере уполномоченным коммуны в своем селении, участника чуть ли не всех заговоров Свободы, которого, на его беду, выдали полиции, уличив в связях с одним из полков в Камбрэ. Всякий раз, когда заговоры начинали проникать в армию, в ряды заговорщиков сразу же пробирались провокаторы. Вспомните хотя бы Гризеля, чей заговор решили связать с делом Мале! Кончилось тем, что отца Бернара расстреляли во рву Аррасской крепости. Однако горе, постигшее сына, не лишило его способности видеть и чувствовать. И произошло то, что неизбежно должно было произойти: волнение, охватившее его при виде Софи,— а только об одной Софи и мечтал он во время своих бесконечных странствований по дорогам Пикардии,— волнение Бернара не укрылось от этой женщины-девочки, которую любовь к Мюллеру подхватила внезапно, как шквал, и, как шквал, вскоре же улеглась. Она привыкла поджидать наезжавшего к ним невзначай гостя и тревожилась, если он долго у них не показывался.

Софи искренне считала, что ничего тут худого нет. Она просто радовалась Бернару, как обрадовалась бы приезду кузины,— думалось ей.

В описываемое нами время по всей Фландрии и графству Артуа пошаливали дезертиры, прятавшиеся в лесах и в болотах, терроризировавшие обывателей своими налетами. Очередь дошла и до Пикардии. И когда в здешних краях произошло несколько вооруженных нападений на мирных путешественников, Софи начала бояться за Бернара; она так долго и так красноречиво твердила, что ему необходимо иметь оружие для защиты от разбойников, что супруг ее в конце концов решил преподнести приказчику в дар пару седельных пистолетов, которые остались у него еще от службы в гусарах. Поглядели бы вы, до какого блеска начистила пистолеты Софи, прежде чем вручить их Бернару!

Чтобы люди зря не болтали, Мюллер велел домашним говорить, что Бернар доводится двоюродным братом Софи,— ведь в самом деле его родная деревушка была неподалеку от Сен-Рикье. С тех пор так и пошло: «кузен», мол, скоро приедет; «кузен», мол, что-то задержался в дороге. Так что в конце концов соседи,— а среди них были люди злоязычные,— уже не сомневались в воображаемом падении госножи Мюллер: знаем мы этих кузенов!

А меж тем Бернар никак не решался открыть Софи свое сердце. Только было он собрался излить свои чувства, как началось иностранное вторжение, начались черные дни и говорить о любви было тогда равносильно святотатству. Лишь когда чужеземные войска покинули пределы Франции, он отважился объясниться. Сам он считал себя чудовищем: ведь он был связан с мужем Софи общим делом, участием в заговоре, да и принимали его в доме Мюллера из уважения к памяти покойного отца, которого Бернар боготворил. Потрясенная Софи с первых же слов Бернара поняла, что она уже давно согрешила в душе, да и как могло быть иначе? Впервые в жизни она на досуге начала мечтать о мужчине, и мужчина этот был хорош собою и молод, а пухлые его губы, казалось, непрестанно молили о поцелуе, о том поцелуе, который она не могла ему дать. Весь их грех заключался в коротких беглых беседах, которые Софи тут же прерывала, заставляя Бернара клясться, что он никогда больше не заговорит с ней о любви. Впрочем, им редко удавалось побыть наедине: оба смутно чувствовали, что за ними следят. И следит даже не сам Мюллер, а Фирмен, этот кривоносый мальчишка, питавший к хозяйке нежные чувства. Бернар прочел «Страдания молодого Вертера» в переводе Севеленжа; к книжке был приложен портрет гетевского героя, выполненный Буайи. И приказчику мануфактуры Ван-Робэ показалось, что он сам отча-

сти похож на Вертера, возможно потому, что у обоих от природы в беспорядке вились волосы. Но уж никакого сходства не было в очерке губ: у того на портрете маленький, горестно сжатый рот, тогда как у Бернара пухлые губы, поражавшие своей чувственностью. Про себя он звал Мюллера «Альбертом»: ведь так звали мужа Шарлотты... разве не сказала Софи своему маленькому брату, показывая на юного Вертера при первой их встрече: «Луи, подай ручку твоему кузену». Бернар возил в своем фургоне пару седельных пистолетов, и вечерами в захудалых сантеррских харчевнях долго и любовно поглаживал их ладонью. Тайна его любви стала всеобщим достоянием. И, подметив взгляды, которыми обменивались между собой молодые люди, каждый воображал невесть что. Один только Луи Мюллер ничего не замечал. Но до его «друга», от которого Бернар получал послания и развозил их по всему краю на своем фургоне, дошли слухи об этом романе; в первом порыве гнева он хотел было распечь своего чересчур чувствительного гонца, но воздержался. Господин Жубер был не лишен черт макиавеллизма и поэтому, поразмыслив, решил, что в данных обстоятельствах можно и поступиться республиканской моралью, исходя из того, что любовное приключение в случае необходимости послужит его посреднику убедительнейшим алиби...

Двадцать первого марта 1815 года фургон мануфактуры Ван-Робэ прибыл в Пуа уже в сумерках, примерно на полчаса позже головного отряда мушкетеров, готовивших квартиры для королевской гвардии. Квартирьер как раз осматривал жилище кузнеца, намечая комнаты для постоя, и Софи совсем растревожилась, тем более что Бернар без предупреждения явился к ним с неизвестным ей старым господином. Нет, она его не узнает. Как, как? Бернар шепнул ей на ухо его имя. Она вопросительно повторила за ним: «Жан-Франсуа?» — и удивленно открыла глаза: видно, забыла своего «дядюсю». Ничего, все устроится! Если королевские мушкетеры увидят, что кровати уже заняты, пойдут переночуют где-нибудь в другом месте.

— А как же обед?

— Ничего, можешь особенно не торопиться... Мне еще одну сивку надо подковать для колесника из Сен-Ромена, так что я ухожу, а вы тут пока поболтайте.

— Раньше чем через час я ведь не управлюсь, кровяная колбаса не уварится...

— Смотрите-ка, колбаса! Мадам Мюллер, видать, решила не ударить в грязь лицом, совсем захлопоталась!

— Да ведь я просто так, гостей уважить.

— Ну ладно, за стол сядем, скажем, в восемь часов, согласна, Фифи?

Мальчишка-ученик убежал домой к своей матери, и теперь пришлось работать вдвоем с колесником, который держал лошади ногу.

— Никак не могу взять в толк, что такое делается с нашим бесценным Фирменом? В иные дни за что ни возьмется, все портит. Спит на ходу. Послал же мне бог такого растяпу! Беда, да и только... Машет без толку руками, как корова хвостом!

Мюллер крепко выругался по-эльзасски, как и всегда, когда что-нибудь не клеилось,— пикардийское наречие было слишком слабо, дабы выразить именно то, что требовалось. Зачем тогда человеку руки даны, если он молота держать не способен... Словом, кузнецы замешкались, и уже решили за поздним временем не подкладывать больше в горн древесного угля, как вдруг при свете угасавшего пламени на пороге кузницы показался мушкетер. Он вел на поводу захромавшую лошадь, а за его спиной виднелась фигура другого военного, верхом на коне.

X

НОЧЬ В ЛЕСУ

Хорошо, что беда стряслась уже при въезде в Пуа. Теодор сразу же заметил, как только двинулись по мостовой. Эге! Что это? Трик спотыкается? Человек иной раз стерпит, когда сапог жмет ему ногу, смолчит, никому не признается. Но если едешь верхом на лошади, да она вдруг охромеет,— это хуже, чем боль в собственной твоей ноге. Монкор обернулся и крикнул: «Что случилось?» Жерико спрыгнул под дождем прямо в грязь, посмотрел, и все стало ясно: слетела подкова,— лошадь подгибает ногу... Хорошо, что это произошло уже в Пуа, а то бы Трик вышел из строя. Если лошадь расковалась, нельзя допускать, чтобы она ступала прямо на копыто: собьет его до крови, и пиши пропало! Чем же ей обмотать ногу? Кажется, специально делают кожаные чехлы на копыта,— так сказать, лошадиные чулки,— и возят с собой в саквояже на тот случай, если лошадь потеряет свои железки. Конечно, в армии не до того. Однако можно при таких оказиях подложить под копыто кусок картона, привязать его из-под низу, или, еще лучше,— лоскут фетра и обмотать сверху тряпкой. Но не так это просто! Где ты в походе возьмешь картон? На дороге он не валяется, и лишней треуголки тоже в запасе нет, не из чего вырезать фетровую подстилку. К счастью, до кузницы рукой подать. На сторожевом посту караульный офицер сказал, что все складывается очень удачно: в доме у кузнеца есть две свободные комнаты, можно дать билет на постой к нему и Теодору Же-

рико и его спутнику, то есть Монкору. Но кузнец о постое и слышать не желал.

— Подковать лошадь? Пожалуйста. И коли уж услужить так услужить: подкуем нынче же вечером. Дайте только поужинать,— ко мне друзья приехали, так жена приготовила кровяную колбасу! А с ночлегом ничего не выйдет, обе комнаты заняты гостями...

Монкор раскричался, желая доказать самому себе, что он мужчина, да к тому же еще и мушкетер. Кузнец смотрел на него ухмыляясь,— дескать, стоит мне только стукнуть тебя разок... Теодор, сторонник мягкого обращения с людьми, вежливо сказал, что лошади, уж во всяком случае, придется здесь заночевать, да и сам он, и его спутник крайне устали. Объяснение происходило при свете угасавшего в горне огня; на земляном полу тлели выпавшие из топки крупные угли; подручный с перебитым носом шаркал метлою, убирая свежий навоз, оставленный лошадью колесника, которую только что подковали. Жерико все это схватывал зорким взглядом, заметил и большие мехи, подвешенные на цепи, и привод, который шел с левой стороны, из-под кожуха, устроенного над горном, и сопло, просунутое в отверстие меж кирпичей у самого поддувала; заметил и наковальню, и кузнечный молот на ней, клещи и целую выставку инструментов, напомнивших ему кузницу в предместье Руана, для которой он написал вывеску. И пока шли переговоры с кузнецом, усатым эльзасцем, носившим по старой гусарской привычке длинную косицу и только что не пудрившим волосы, с этим титаном в кожаном фартуке, надетом прямо на тело, без рубашки, Теодор разглядел и запомнил широкий разворот его плеч, огромные мускулы голых рук с рыжеватой мохнатостью подмышек, но поразил его не этот грозный великан с несгибающейся ногой, с лицом, выдубленным всеми ветрами Европы, весь мокрый от пота, а его подручный с перебитым носом — высокий черномазый и волосатый не по возрасту юнец, который все вертелся вокруг, подметал, прибирал, окидывал исподтишка королевских офицеров сумрачным взглядом; внимание художника привлекал этот дичок в духе Донателло, лицом похожий, однако, на Микеланджело. Теодор прекрасно знал, что хромоногому Вулкану в высокой степени наплевать на все его доводы, но упорно твердил: «Мы устали»,— с тем терпеливым видом, который часто считали свидетельством его кротости и учтивости, хотя скорее всего за ним скрывался упрямый характер. И вдруг подручный забормотал:

— Да чего ж мне не поспать в нижней каморе, хозяин?.. Пускай они на моей постели лягут... Коли им тесно вдвоем, пускай для одного на полу постелят... А мне что? Мне ничего... Мне и в нижней каморе тепло. Не прогонять же людей в этакую погоду!

Как ни был Теодору непривычен пикардийский говор, он все же уловил в этой реплике сочетание хитрости и наглости. Кузнец был скорее всего из наполеоновских солдат, а его подручный, возможно, стоял за короля, раз ему так захотелось дать приют мушкетерам. Как бы то ни было, титан в ответ проворчал что-то и выругался на языке еще менее понятном,— Жерико только различил в его бормотанье немецкие слова; а затем кузнец сам привязал Трика к столбу вместе с лошадью Монкора и послал малого с перебитым носом в конюшню (стало быть, тут имелась конюшня?) за овсом; подручный отправился выполнять поручение, а кузнец тем временем объяснил, что у него в конюшне нет места: там уже стоит чужая лошадь; к тому же здесь, в кузнице, есть вода; пока господа офицеры покушают, их лошади отдохнут; он поведет приезжих к себе в дом, и они сами убедятся, что там полно народу. «Эй, Фирмен, чего копаешься?» К мордам лошадей привязали торбы с овсом, и кузнец дал подручному крепкого тумака, может быть, в знак приязни, а может быть, в наказание. Малый захохотал. Вулкан снял с себя кожаный фартук, вытер тряпкой мускулистую волосатую грудь, сдернул с гвоздя и надел рубашку, а куртку перекинул на руку. Затем все четверо, словно по безмолвному соглашению, направились к дому. (Смотри-ка! Дождь перестал.) И там, в низкой комнате, Теодор увидел троих людей, сидевших у обеденного стола и, очевидно, поджидавших хозяина; все освещение составляли две восковые свечи, горевшие по концам стола не в подсвечниках, а прямо прилепленные к доске; в очаге жарким пламенем пылали дрова и торф; над огнем был подвешен котел. Сильно пахло дымом.

При виде военных один из сидевших, молодой человек с поэтически взлохмаченной шевелюрой, вскочил, как будто ему полагалось стать «во фрунт»,— да нет, просто он встал из почтения к офицерам. Когда они вошли, он сидел, склонившись над колыбелью, где спал ребенок лет двух, и рука юноши незаметно примостилась поближе к руке молодой матери, покачивавшей высокую лодочку колыбели. Она сидела на скамье около стола.

Кузнец, который дома еще больше был похож на Вулкана, мимоходом по-хозяйски сжал широкой ладонью затылок своей жены, и Теодор увидел, как возле губ и глаз молодого человека задрожали отблески ближайшей свечи, словно по лицу его пробежала гримаса раздражения. На женщине был белый казакин, свет золотил венчик белокурых волос, выбивавшихся у нее из-под чепчика,— она казалась совсем еще девочкой, едва расцветшей в первом материнстве; с покорным видом она выпрямилась, но тревожный ее взгляд как будто просил у юноши, стоявшего возле нее, прощение за неожиданную супружескую вольность. Жерико сразу

же заметил это и мгновенно все понял,— ведь постороннему, да еще и наблюдательному человеку каждая мелочь бросается в глаза. И он отвернулся, стал глядеть на служанку, сидевшую на корточках у огромного очага с высоченным островерхим колпаком; девушка помешивала длинной поварешкой похлебку, варившуюся в котле, да иногда подбрасывала в огонь кирпичик торфа. Для людей, находившихся в этой комнате, все в ней было так привычно,— даже дым, по-видимому, нисколько их не беспокоил; молодая женщина всецело была поглощена, или казалась поглощенной, своим рукодельем и, наклонившись к корзинке, стоявшей у ее ног, перебирала разноцветные клубки шерсти; молодой человек смотрел только на эту женщину, а служанка смотрела только на огонь в очаге. Хромой Вулкан прошел в дальний конец комнаты; Теодор, следивший за ним взглядом, угадывал при трепетном свете восковых свечей, вдруг озарявших то медный таз, то фаянсовый кувшин, то чье-нибудь лицо или движение, весь глубокий смысл этой картины, историю человеческих жизней, замкнутую в этих стенах, семейную драму в самом ее разгаре,— что люди говорят и что скрывают... Кто бы мог нарисовать все это? Кто? Во Франции больше уж нет Ленэнов, а нынешние лауреаты, удостоенные поездки в Рим, всю эту сцену, начиная с Вулкана, превратили бы в идиллию или же в античную драму в духе Давида. Но ведь эта юная и, быть может, неверная супруга совсем не Венера и даже не рубенсовская фламандская богиня,— словом, вовсе не классическая, традиционная натура для живописца. Впрочем, Теодора как художника не так уж увлекал подмеченный им безмолвный диалог двух влюбленных, и вовсе не это хотелось бы ему сделать темой, главным сюжетом картины,— нет, не это, а вот как передать мрак, из которого дрожащий огонек свечи выхватывает то руку, то абрис щеки, то кружку с пивом, то тарелку? Вернее, хотелось, чтобы каждая вещь стала как бы намеком, помогающим раскрыть то, что находится за нею; пусть смутно виднеются один, другой человек, накрытый к ужину стол, шкаф, скамьи... толстые балки темного потолка, и вон та деревянная лестница, первые ступени которой едва заметны в глубине комнаты.

А Вулкан старательно внушал господам офицерам: вот теперь они, конечно, видят, как у него тесно,— он сам, да жена, да служанка, да Фирмен, да родственник — молодой человек из Абвиля; да вот еще приехал из Парижа господин, который скупает в здешних краях вязаные изделия для лавки на Каирской улице. И тогда Теодор, до тех пор не замечавший скупщика, пристально взглянул на него; это был старик, сидевший на конце скамьи, прямо напротив пылающего очага; на макушке у него просвечивала плешь, окаймленная длинными волосами, падавшими на бархат-

ный воротник сюртука. Монкор повторил предложение подручного, но Вулкан только пожал плечами; его жена и молодой человек явно были согласны с ним, и тут вдруг заговорил старик; в интонациях его была легкая певучесть южанина, и Теодор сразу различил ее: среди всех этих пикардийских голосов она казалась ему отзвуком Прованса и голоса Шарля Вернэ, его старого учителя.

— Ну, разумеется,— говорил старик,— разумеется... Не можем же мы отказать в приюте офицерам королевских войск. Как это они поедут в такой дождь, да еще и не подкрепившись? Верно, Софи?

Сказано это было с какой-то настойчивостью, похожей на приказание. Трое мужчин переглянулись, спрашивая и отвечая друг другу глазами. Молодой человек не соглашался, но хозяин дома, по-видимому, уступил желанию старика и только молча развел руками, что, вероятно, означало: «Ну, раз у вас есть на то свои причины...» И тотчас Софи сказала:

— Так я пойду погляжу, как все устроить... Только уж пусть господа офицеры не обессудят, как говорится, чем богаты, тем и рады.

Молодой человек обошел с недовольным видом вокруг стола и, почти залпом выпив кружку пива, сел спиной к очагу.

Софи велела служанке принять у господ офицеров их вещи: они принесли с собой два тючка, снятые с лошадей, сабли и мушкетоны. Пока офицеры сбрасывали с себя промокшие плащи, освобождались от супервеста и кирасы, кузнец Мюллер подошел к старику, и тот вполголоса принялся его убеждать:

— Послушай, нельзя отказать в ночлеге этим офицерам. Оба едва живы от усталости и будут крепко спать. Они никому не помешают. А если затеешь с ними скандал,— только привлечешь нежелательное внимание к дому, за каждым нашим шагом будут следить. Разве удастся тогда незаметно выйти?

Бернар с отвращением и ненавистью смотрел на красные доломаны гостей: вон какие красивые мундирчики на этих беглецах. Не угодно ли!.. Придется сесть вместе с ними за стол... Сабля Монкора упала с таким грохотом, что ребенок, спавший в колыбели, вздрогнул. Кузнец подобрал саблю и, вытащив ее из ножен, внимательно осмотрел.

— Да,— сказал он,— видно, времена-то переменились... Вы какого полка будете, господа? Много я выковал сабель — для егерей, для гренадеров, для артиллеристов, для драгун, для гусаров... а такой вот еще не видал...

И он с видимым презрением отбросил саблю и ножны на большой ларь.

Старик Жубер примирительно заметил:

— Да ведь по ружью и то можно узнать, что они мушкетеры! Как же вы не видите?

— В мое время,— ответил кузнец,— не было ни мушкетеров, ни мушкетов. В Клингентале мы ковали оружие для тех, кто защищал наши границы.

Будь здесь только Монкор, разговор перешел бы в ссору. Но Жерико, которого усадили рядом с хозяйкой дома, поблагодарив легким кивком за поставленное перед ним пиво, принялся непринужденно расспрашивать кузнеца, чем разнятся меж собою сабли кавалерийских полков. И когда служанка подала на стол миску с похлебкой и каждый налил себе тарелку, кузнец, сидевший спиною к огню, на фоне которого его фигура казалась просто гигантской, вдруг, словно решив повести смелую игру, пустился в длинные пояснения относительно приемов выделки кавалерийских сабель,— начиная с того момента, когда молотобоец сдает ковачу стальную болванку, уже вытянутую в брусок надлежащей длины, и до того момента, когда выкованную саблю отдают для закалки и наточки. Он рассказал, как сваривают сталь заготовленной болванки, то есть будущей сабли, с железным прутом, составляющим стержень рукоятки, который закрепляют при помощи устьица, имеющего форму рогатки, и как для этого стесывают наискось заготовку сабли, и как припаивают устьице к заготовке, и как, сплющивая устьице, делают рукоятку, и как делают заплечики у основания клинка, и так далее и так далее. Теодор совсем запутался в его объяснениях, не сразу понял, что накаливание металла, необходимое при двух-трех из описанных Мюллером операций, на языке кузнецов именуется *разогревом,* а когда дело дошло до второго разогрева, на стол подали кровяную колбасу...

Колбаса действительно оказалась превкусной, особенно после целого дня скачки на лошади в дождь и слякоть, но ни Монкор, ни Жерико не в силах были поглотить такие огромные порции, казавшиеся вполне нормальными нашим пикардийцам, даже юного Вертера с мануфактуры Ван-Робэ любовь, очевидно, нисколько не лишила аппетита. Теодор подметил, каким лукавым взглядом старик Жубер посматривает на это обжорство, и мгновенно меж двумя парижанами протянулась ниточка взаимного понимания. А Мюллер уже опять пустился рассказывать со всеми подробностями, как обрабатывается сталь в обе стороны от сердцевины клинка, упоминал в своем описании граненый молоток и прочие кузнечные инструменты, должно быть, полагая, что они всем хорошо знакомы. Затем он объяснил, сопровождая свои слова жестами, как делают желобок на клинке, потом перешел к лезвию и к загибу клинка. Оказалось, что в загибе-то прежде всего и состоит разница

между саблями различных кавалерийских частей, ибо у драгунского или карабинерского палаша совсем нет загиба, в отличие от сабель егерских полков, и в особенности от гусарской сабли, самой изогнутой из всех.

И вдруг Теодор понял, что кузнец вовсе не какой-то неугомонный болтун, а хитрец, и хочет нарочитым пустословием выйти из затруднительного положения. Немая усмешка подручного с перебитым носом подтверждала это подозрение, так же как и преувеличенная любознательность старика Жубера, задававшего такие, например, вопросы: «А что вы называете колодкой для стесывания сабли?», «Сколько же раз надо накаливать брусок добела, чтобы выковать рукоятку?». Этот приказчик купцов с Каирской улицы, несомненно, подыгрывал кузнецу и своими репликами подбавлял жару его разглагольствованиям. Монкор таращил глаза,— он боролся со сном, а Теодор притворно выказывал внимание к словам кузнеца, но думал при этом: уж не принимают ли его за дурака, а если нет, то что, собственно, хотят скрыть от него?

Наблюдая за своим Донателло с перебитым носом, он вдруг понял то, что, вероятно, являлось ключом к разгадке его тайны: Фирмен только делал вид, что его интересует изгиб кавалерийских сабель, а на самом деле занят был другим. Он все посматривал исподтишка то на свою хозяйку, то на молодого человека, называвшегося Бернаром, и без особого труда можно было понять причины этой странной слежки. Не подозревая, что приезжий мушкетер с такой легкостью проникнет в его сокровенные чувства, Фирмен не особенно следил за собой, и в ту минуту, когда влюбленные простодушно улыбнулись друг другу, в его глазах вспыхнула смертельная ненависть. Теодора это так поразило, что он потерял нить рассуждений кузнеца о так называемых клинках Монморанси, которые находятся на вооружении только во 2-м егерском полку. Во всяком случае, находились в 1792 году. Значит, в то время, как решалась судьба Франции, а вместе с нею и судьба королевской кавалерии, в тот час, когда все подвергалось проверке — добро и зло, смысл жизни, любовь к отечеству... здесь, в маленьком пикардийском городишке, в доме кузнеца, люди жили в стороне от всего этого: здесь, несомненно, разыгрывалась драма молодости и ревности, в которой участвовали кузнец, его жена, Бернар и Фирмен. А какую же роль может играть тут седовласый разъездной приказчик с бархатным воротником, по наружности подходящий для амплуа благородных отцов? Но как бы то ни было, сомневаться не приходится: этот бесконечный поток слов маскирует приближение конфликта, уже назревающего в душе каждого участника драмы... Сыр подали дрянной, зато хлеб был свежий. Хозяин дома прервал свою речь и сделал жене замечание:

— Экое сумасшествие! Свежего-то хлеба куда больше уходит, чем черствого.

Бернар весело подмигнул ему и продекламировал:

— Женка молодая, да дрова сырые, да хлебушко мягкий — дому разоренье.

Все захохотали. Должно быть, это была обычная шутка в здешних краях, и, следовательно, Теодор напрасно заподозрил кузнеца в скупости.

* * *

Итак, служанка приготовила для офицеров постели в большой чердачной комнате, рядом со спальней Фирмена, в которую перевели Бернара. Отбросив всякие приличия, Монкор тотчас отправился спать,— только попросил Теодора позаботиться о его лошади. Мюллер заверил юного лейтенанта, что он может не беспокоиться: лошадь его поставят в конюшню, и он действительно сделал это самолично, так как питал нежную любовь к лошадям. Тем временем Фирмен отправился в кузницу, развести огонь в горне. Жерико двинулся вслед за ним. Но малый с перебитым носом вдруг резко сказал, что господину офицеру нечего делать в кузнице, пусть греется в комнате у огня или ложится спать. Теодор и внимания не обратил на его слова: он прекрасно видел, что стоит ему остаться возле хозяйки и ее поклонника, ревность подручного стихнет, но нисколько не жалел несчастного влюбленного, так как в душе был сторонником разделенной любви.

Трик встретил его тихим ржанием, повернул голову и, как больной ребенок, потянулся к нему черной своей мордой, устремив на хозяина тревожный взгляд умных глаз. Теодор ласково потрепал лошадь по холке. Хотя он совсем недавно снял с нее седло и потник, шерсть ее уже успела высохнуть в приятном тепле, наполнявшем кузницу, и теперь лоснилась, отливая серебром всюду, даже на ногах, на которых были черные отметины. Подручный, раздувая мехи, крикнул, что, пожалуй, лучше было бы... Но что было бы лучше, Теодор не понял из-за пикардийского выговора Фирмена, да и не расслышал из-за шума мехов. Он приложил ладонь к уху, и тогда этот малый, с перебитым носом и хитрым лицом, очень громко и медленно, как всегда в народе говорят с чужаками, стал объяснять, что следовало бы позвать Бернара — пусть он будет за конюха. У входа послышался сердитый голос хозяина:

— Да оставь ты Бернара в покое, лодырь! Ведь он три дня по деревням ездил... Господин офицер и сам может подержать ногу своему коняге. Верно?

Вопрос уже относился к Теодору, и тот поспешил ответить утвердительно. Мюллер сбросил с себя куртку, снял рубашку. Художник залюбовался им: великолепный натурщик! Куда лучше, чем Кадамур. Надевая через голову кожаный фартук, кузнец согнул спину, и тогда с двух сторон торса выступили мышцы, обхватывающие ребра, фантастически четко обрисованные и зубчатые, словно когти из человеческой плоти, подчеркнутые игрой теней и света, падавшего от горна. В сравнении с могучим, как дуб, кузнецом подручный, тянувший цепи мехов, хоть он и был хорошего роста, казался каким-то гномом. Трик уныло положил голову на плечо хозяина.

Подручный обливался потом, и кузнец взял у него одну цепь, желая поскорее раздуть огонь и накалить докрасна стальной брусок, положенный на угли над маленьким корытцем. Время от времени Фирмен, зачерпнув ковшиком воды из большой каменной колоды, стоявшей около горна, обрызгивал угли для того, чтобы они не сгорели слишком быстро, а Мюллер, ухватив правой рукой совок с дырочками, ворошил угли, и тогда вода стекала в корытце, левой же рукой он продолжал, как говорится, «доить корову», то есть равномерно потягивать цепь, сводя и разводя створки мехов; с громким скрипом поднимался и опускался противовес.

Теодор внимательно следил за каждой мелочью в этой сцене, как будто хотел запечатлеть в памяти и горн, стоявший на чугунных подпорках, и кожух над ним, втягивавший дым, и огонь, и уже накалившийся докрасна стальной брусок, и движения обоих кузнецов, раздувавших мехи, инструменты, разложенные у них под рукой, ковш и совок для углей, кочергу, которой Мюллер помешивал жар, лишь только Фирмен обрызгивал угли водой. Трик спокойно стоял возле хозяина. Знал ли он, что все это делается ради него? Несомненно.

И вот, держа в правой руке молот, кузнец взял в левую руку длинные клещи, выхватил ими из горна накалившийся докрасна брусочек и, описав широкую дугу, пронес его по воздуху, как солнце в ночи, положил на наковальню, а подручный, вооружившись молотом с длинной рукоятью, принялся бить по бруску. Два молота заработали наперебой, кузницу наполнил их мерный и звонкий стук... Завороженный этим ритмичным грохотом и силой ударов, Теодор смотрел во все глаза, как стальной брусок расплющивается, принимает форму подковы, как медленно и вместе с тем быстро совершается победа человека над раскаленным металлом, как пляшут на наковальне два молота, как стальная полоса загибается концами внутрь и все более четко обозначается ее форма. Вдруг подручный отвел в сторону свой молот с длинной руко-

ятью, и кузнец в одиночку стал поворачивать на наковальне подкову клещами и округлять ее своим молотом; все движения его были поразительно точны и согласованны, обе руки работали так быстро и уверенно, будто никогда не могли ошибиться; левая рука, державшая клещи, сжимала их с такой силой, точно каждое мгновение было решающим, тогда как правая била молотом по подкове, лежавшей на краю наковальни, и стальная полоса закруглялась, на внутренней стороне изгиба образовалась выпуклая закраина, будто воспаленная стальная плоть болезненно вздувалась при каждом ударе молота по внешнему краю подковы. Вулкан, словно карая материю за непокорность, колотит сталь своим молотом, потом обрубает все лишнее, а для этого, выпустив из левой руки клещи, хватает зубило, прикладывает к вспухшей закраине и, крепко сжимая рукоятку, правой бьет по ней молотом, ни на секунду не замедляя темпа ударов. Подкова обрезана. Надо пробить в ней отверстия: подручный протягивает кузнецу пробой, зубило скатывается на земляной пол; четыре удара налево, четыре — направо: намечено восемь дырок по обе стороны от шипа подковы, то есть по ее концам; закругленная ее часть — зацеп — оставлена нетронутой. Пока еще только сделаны ямки, но подкову переворачивают,— восемь ударов с нижней стороны, и отверстия готовы.

— Я узенькие пробил...— крикнул Мюллер своему клиенту, словно тот понимал, почему кузнец так сделал. Теодор же знал лишь то, что отверстия делают широкие, когда гвозди вгоняют около внутреннего края подковы, а узкие, когда вбивают их около наружного края; он видел, как внимательно кузнец осматривал ногу лошади.

Настала тишина. Мюллер прицепил к поясу по бокам две кожаные сумки и положил в них пять-шесть маленьких инструментов — молоточек, небольшие клещи, какую-то изогнутую кривулю, гвозди-ухнали, рашпиль... Теодор всего не успел разглядеть,— его поражало, с каким проворством, почти вслепую, кузнец подбирал нужные ему инструменты и как удивительно были слаженны все его движения для того, чтобы не потерять ни одной минуты и подковать лошадь «в горячую». Теперь настала очередь Теодора. Он подвел Трика и поднял ему заднюю ногу...

— Не так! — нетерпеливо крикнул кузнец.

А Фирмен, сморщив свой противный нос, пробормотал, что надо бы «кликнуть» Бернара... Но все-таки подошел к Теодору и сам положил ему на ладонь ногу лошади.

— Вот как надо: колено и булдыжку прижать к своему боку, рукой обхватить бабку...

Жерико больше понимал эти объяснения по жестам подручного, чем по его чертову гнусавому говору.

Когда Теодор увидел обнажившуюся подошву Трика, с которой Мюллер счистил грязь, он почувствовал боль, как будто саднило его собственное тело, а когда кузнец, прокладывая желобок для подковы, вонзил нож в роговую стенку и в стрелку копыта, вздрогнул не Трик, а его хозяин.

— Ну вот, сейчас обрядим тебя! — сказал кузнец и, взяв из рук Фирмена подкову, прикинул ее лошади.— Ничего, ладно будет! Покрепче держите, господин лейтенант!

Вдруг Теодор почувствовал, что за работой изменились отношения между ним и этим угрюмым великаном: теперь перед ним уже был не прежний враждебный ему человек, скрывавший какие-то свои задние мысли и готовый выставить незваного гостя за дверь. И когда Мюллер, вытащив из левого кармана молоток, двумя ударами вбил два длинных и гибких ухналя с большими шляпками, вогнав их в копыто лошади слева и справа от зацепа, он взглянул на своего случайного подручного с лукавым видом сообщника и сказал:

— Опустите, господин лейтенант, опустите... Посмотрим, на месте ли подкова...

Теодор осторожно опустил ногу Трика, и лишь только она коснулась земляного пола, кузнец нагнулся и стал вертеться вокруг, словно портной на примерке...

— Ничего не скажешь... Ладно будет...

Потом Теодору пришлось снова поднять лошади ногу, и, вспомнив преподанное ему наставление, он подпер своим боком ее колено и булдыжку, обхватил рукой бабку... Мюллер, не выпуская из правой руки молоток, левой доставал один за другим ухналя из кожаной сумки и, обмакнув сначала каждый гвоздь в горшок с салом, который держал Фирмен, ловко вставлял его в отверстие, затем, поддерживая левой рукой, осторожными ударами молотка вгонял ухналь в стенку копыта, и, когда ухналь пробивал ее, кузнец с выражением отважной решимости ударял сильнее, кончик ухналя вылезал из копыта наружу, и молоток всякий раз загибал его книзу; когда восемь гвоздей встали на свое место, молоток нырнул в правую сумку, Мюллер сказал самому себе: «Клещи» — и, вытащив из левой сумки те самые маленькие клещи, которые засунул туда на глазах Теодора, откусил ими кончики всех восьми гвоздей.

О сложности всех этих операций Жерико судил по изменявшемуся напряженному выражению лица и гримасам великана. Потом он увидел, что Мюллер взял ножик с заостренным стесанным концом,— так называемый копытный нож; постукивая по

нему молотком, он принялся срезать кромку копыта, выступавшую за край подковы, и стесывать роговой слой, треснувший вокруг отверстий, пробитых гвоздями. Работа вдруг стала похожа на чеканку и гравировку... Потом Мюллер принялся заклепывать молотком вышедшие наружу концы ухналей, а маленькими клещами, которые держал в левой руке, снизу нажимал на шляпки.

Лошадь забеспокоилась. Теодор, крепче прижав к себе ее ногу, ласково забормотал:

— *Тише, тише!.. Ты же у меня умница, Трик!..*

— Опустите ногу! — сказал Мюллер. Взяв рашпиль, он оглядел копыто и подпилил заклепанные концы ухналей.

С минуту стояла тишина, потом кузнец стал давать советы. Обычно на лошади не ездят ни в тот день, когда ее подковали, ни на следующий день. Но раз лейтенанту завтра нужно ехать, то уж, понятно, придется...

— Не пугайтесь, если лошадь будет хромать. Опасаться тут нечего. В первый день после ковки с ними это частенько бывает... притворяются, хитрюги, да, да, притворяются!.. На второй день все проходит. Хорошо бы все-таки поберечь лошадку, чтобы не очень уставала. Докуда у вас перегон будет? До Абвиля или до Амьена? Ежели до Абвиля, то еще ничего. Дорога там не очень твердая и не очень мягкая, а если в первый день нога будет вязнуть, плохо дело, измается лошадь.

Теодор смотрел, как подручный собирает и раскладывает в порядке инструменты: клещи, молотки, копытный нож, рашпиль, оставшиеся ухнали. Фирмен ходил взад и вперед, раскидывал жар в топке горна, выметал обрезки копыта и железа, делая все это без единого слова и как будто без мысли, словно автомат. И вдруг, когда Фирмен снимал с гвоздя одежду хозяина, Жерико, обернувшись, увидел на его лице, освещенном багровыми отблесками, выражение лютой ненависти, до такой степени искажавшее эту курносую физиономию, что в ней даже появилось что-то величественное. «Вот! вот! — подумал художник.— Вот таким бы надо его зарисовать!» И ему пришла в голову мысль, что девятнадцатилетний Отелло — явление любопытное.

* * *

Жерико все не мог заснуть. И не оттого, что чересчур жесткой казалась ему постель — жиденький соломенный тюфяк, положенный на пол, он прекрасно мог бы уснуть и на голых досках; нет — просто не приходил сон. Вернувшись из кузницы, он поднялся на чердак, где юный Монкор уже крепко спал, уткнувшись

носом в подушку и не слыша шумного появления товарища. Теодор не разделся как следует, не снял сапог, а саблю оставил под рукой. Как-то неспокойно было у него на душе в доме кузнеца Мюллера, и тревожное чувство возрастало оттого, что он не видел этого места при дневном свете, не знал расположения комнат, не ведал, что делается в нижнем этаже, и так далее. А тут еще это далекое сияние луны, которое пока не доходило до кузницы, а только еще разливалось по кровлям маленьких домиков, стоявших в низине.

Образ Софи как-то сливался в голове Теодора с образом юной девушки, которая в Бовэ приносила ему обед: тот же венчик белокурых волос, выбивающихся из-под чепчика, то же боязливое и наивное выражение миловидного личика; только, пожалуй, грудь больше развита. Он старался не давать воли мечтаниям. Очень молодые женщины привлекают какой-то необыкновенной гибкостью, и мужчина с удовольствием воображает, как бы он сжал в сильных своих объятиях столь хрупкое создание... К мыслям об этих двух женщинах с нежным цветом лица примешивалось и воспоминание о той, другой, такой живой, своенравной, но и она так же, как эти две, словно бы растворялась в объятии, и перед глазами Теодора вставали ворота на улице Мучеников, стайка ребятишек, Трик, которого держал под уздцы привратник, и Каролина... Как она тогда прильнула к Теодору! Она была почти без сознания, чувствовала только, что он поддерживает ее, и на мгновение отдала себя в его власть. Но как быстро она очнулась! Каролина... Он старался отличить друг от друга три этих женских образа, но они почему-то смешивались, от этого ему становилось стыдно, и на мгновение каждая выступала отдельно, словно он в тенистом саду раздвигал руками густые ветви, ища знакомое милое лицо, но видел то его, то другие лица. Он как будто изменил Каролине, и это даже доставляло ему злобное удовольствие, на которое он не считал себя способным; он играл локоном другой женщины, касался ее плеча, но вдруг впадал в отчаяние, забывал обо всех на свете женщинах, чувствуя себя таким одиноким без нее, без Каролины... В ночной мрак чуть проскальзывал бледный отблеск луны.

В доме слышались какие-то шорохи. Минутами раздавался легкий стук, приглушенный, короткий шум. Впечатления обыденные, однако они держали в напряжении молодого мушкетера, склонного к подозрениям и готового, во вред своему покою, к зловещим истолкованиям каждого звука. Где же это покашливают, а может быть, просто прочищают горло? Как будто скрипнула дверь — такое странное ощущение, словно луч света вдруг прорезал безмолвную тьму. За окном, где-то далеко, прозвучали

сдержанные голоса, и от этого сильнее почувствовалось ночное безлюдье. Казалось, глубокую тишину вот-вот нарушит истошный крик. Но она все длилась, и Теодор нарочно ворочался на своем тюфяке, чтобы зашуршала солома, и замирал, лишь только раздавался шорох... Напрасно закрывал он глаза,— через мгновение они как будто сами раскрывались и вглядывались в темноту.

И в этом дремотном оцепенении перед взором его проплывали картины минувшего вечера — то кузница, то ужин. Довольно смутные картины. Художник переходил от одной сцены к другой и опять возвращался к первой. Не было желания думать о чем-нибудь одном больше, чем обо всем остальном, грезилась только игра световых бликов и теней, контрасты мрака и освещенных лиц. Он совсем не стремился возродить в памяти эти сцены, фигуры их участников, смысл той или иной позы, но кое-что запомнилось очень крепко, нельзя было от этого отвязаться. Однако запечатлелась в мозгу не общая атмосфера картины, как он сперва убеждал себя, стараясь самого себя обмануть и скрыть то, что занимало сейчас его мысли. Ему все вспоминалось выражение глаз то одного, то другого, перекрестные взгляды и их значение. Глаза старика, который играл тут какую-то непонятную роль, взгляд того ревнивого мальчишки... Но все мысли его устремлялись к одному, к той нежной белизне, что шевелилась во мраке ночи. И никак не удавалось не думать об этой Софи... Вот она сняла батистовый чепчик и белый казакин... обнажилась тугая грудь, выкормившая ребенка, которого Софи родила от этого рыжего великана. Право, не было возможности не думать о том, что в этот час они вместе, внизу — в незнакомой ему комнате, откуда, может быть, и доносится в темноте прерывистое дыхание... И эта белизна нагого тела, эта покорность мужу, естественный жест женщины, даже не помышляющей об отказе. Теодору с поразительной четкостью вспомнилось чувство, овладевшее им, когда он впервые понял, что женщина готова отдаться, хочет показать, что она прежде всего женщина, что жаждет принадлежать ему... Он страстно вслушивался в тишину, слышал биение собственного сердца, и в эту минуту ему хотелось оттолкнуть от белоснежной наготы огромную черную тень,— этого неумолимого Вулкана, чье шумное дыхание он, казалось, слышал... И вдруг в чердачное окно словно влетела стая птиц: послышалось звонкое пение башенных часов на церковной колокольне... Сколько же пробило? Теодор не сразу начал считать. Одиннадцать или двенадцать? Ну, надо спать. Если удастся. Теодор поворачивается на спину. Вытягивается. Он считает себя способным сделать очень многое. Но вот уснуть, оказывается, не может. А если встать, подойти к окну,

выкурить трубку, посмотреть, что́ там за этими стенами? Может быть, он увидит пейзаж, озаренный лунным светом... или еще что-нибудь?

Нет, на этот раз не ошибка... Слышен шорох, недолгий, но совершенно четкий, нельзя от этого отмахнуться, нельзя сказать себе, что этого нет. Шорох повторяется. Откуда он идет? С площадки лестницы? Снизу? Теодор поворачивается,— из-под двери по полу протянулась полоса света. Кто-то стоит за дверью затаив дыханье, скрипнула половица — несомненно, под чьими-то ногами. Теодор ищет и не может в темноте найти саблю... Ах нет, вот она... Инстинктивно он отвел от нее руку и притворился спящим: он увидел, как дверь медленно-медленно отворяется... полоса света поднимается от пола вверх, вдоль расширяющейся щели, обрисовывается человеческая фигура, рука, держащая подсвечник с зажженной свечой. Теодор смотрит из-под опущенных ресниц, видит Бернара, совсем одетого. Лицо освещено снизу, и поэтому черты его кажутся другими, губы толстые, волосы взлохмачены... Трудно уловить в таком ракурсе выражение лица, зато прекрасно видно, что в правой руке у Бернара седельный пистолет. Теодор замер, весь подобрался и, приготовившись кинуться на него, рисует себе, что будет: положение невыгодное, все, что можно сделать,— схватить ночного гостя за ноги, а дальше что? При свете дрожащего огонька на губах Бернара как будто играет улыбка, и от этого чернее ложатся тени под глазами. А дверь так же медленно движется в обратную сторону, теперь силуэт человека расплывается, суживается, изгибается полумесяцем, тьма густеет, дверь затворяется, свет движется к полу, тускнеет, гаснет. Шаги удаляются. Шорохи затихают,— вероятно, Бернар спускается по лестнице: ступенька — остановка, ступенька — остановка. Свечу, должно быть, задули. Деревянные ступеньки чуть поскрипывают под тяжестью шагов, которые скорее угадываешь, чем слышишь. Спускаются все ниже... Теодор в темноте нащупал саблю и, ощутив холодную сталь клинка, погладил его.

Внизу как будто шепчутся, право, шепчутся,— как же иначе объяснить этот тихий шелест, резко отличный от скрипа, от потрескивания, от шороха? Да, вот сейчас ответили чуть-чуть погромче, чем спросили,— если только тут отвечали и спрашивали. Что же это происходит? Куда пошел Бернар с пистолетом в руке? Самооборона это или намерение убить кого-то? А кто же с ним так тихо разговаривал? Служанка или старик?.. Слух улавливал теперь неуловимое. Честное слово, они спускаются! Хотят убить того юношу с перебитым носом? На ум приходили всякие версии драмы, сменяя друг друга, как комбинации карт в игре. А что, если это их общий заговор против мужа? Убьют Вулкана во сне...

Нет. Честное слово, выходят из дому: слишно, как заскрипела входная дверь. Теодор поднялся и с саблей в руке подошел к оконцу, прорезанному в скате крыши, встал на цыпочки, вытянулся как можно больше. Видно небо, невыразимо спокойное, освещенное луною небо с черными и серебряными облаками. Выступ крыши мешает видеть улицу; слышны удаляющиеся шаги; лунный свет широкими белыми и голубыми полосами рассекает незнакомый пейзаж, соседние поля, холмы. Вдруг Теодор, ничего еще не видя, не слыша, почувствовал, что кто-то стоит за его спиной, кто-то опасный,— и мушкетер обернулся, подняв саблю. «Т-шш!» — послышалось в темноте, и кто-то схватил его за руку.

Теодор недолго боролся: он узнал Фирмена, который стоял к нему вплотную и что-то бормотал на своем непонятном наречии. Мушкетер оттолкнул его.

— Что тебе от меня надо, уродина?

Черномазый малый, прижав палец к губам, потянул его за рукав, и они вышли на лестничную площадку, где горела свеча, которую из комнаты не было видно. Объясниться оказалось нелегко! Во-первых, говорить приходилось шепотом, так как Фирмен поминутно махал рукой: «Тише! Тише!» А тут еще его гнусавый и шипящий выговор. Теодор не понимал ни слова. Ясно было только, что пикардиец боится, как бы не проснулся Монкор, не желая посвящать его в свои тайны, а Теодора он просит одеться, взять ружье и следовать за ним, Фирменом...

— Что? Взять мушкетон? Очень мило! Как это я пойду с мушкетоном за плечами? Хватит и сабли. Да наконец в чем дело?

Подручный опять замахал рукой: «Тише! Тише!» Жерико с трудом разобрал в его бормотанье слово «каруль»...

— «Каруль»? Ну и что же? Зачем тебе понадобился король? А? При чем тут «каруль»? Говори.

Оказывается, Фирмен хотел что-то показать мушкетеру. «Ихний Бернар... ихний Бернар...» И когда Фирмен произнес это имя, нельзя было не почувствовать в его словах, хотя он говорил чуть слышно, глубочайшую ненависть... «Ихний Бернар, да еще приезжий из Парижа...» Ах так, значит, это они вышли из дому и подручный хочет повести Теодора по их следам? Да, да... Пусть господин офицер посмотрит, какими делами они занимаются... Идти в такой час? И все это ради короля?

— Ты, милый мой, что, смеешься надо мною? Наплевать тебе на короля, зачем ты все это сочиняешь?

Теодор схватил Фирмена за руку, тот принялся заверять его в своей честности и шипеть: «Тише! Тише!» — и, морща свой безобразный нос, гнусаво бормотать какие-то слова.

— Ты думаешь, я не разгадал твоей игры? — шепнул ему на ухо Теодор.— Я же видел за столом, как ты смотрел на нее, на свою хозяйку! Ревнуешь, да? Так нечего тебе короля сюда приплетать...

Он взял стоявший на полу подсвечник и, высоко подняв его, взглянул обманщику прямо в лицо. Даже при неверном свете оплывавшего огарка ясно видно было, что малый жестоко страдает, что его гложет ревность, но он боится мушкетера и боится разбудить хозяина и хозяйку, спящих внизу. Он прекратил бесполезные заверения, поняв, что его мнимые заботы об интересах короля — плохой довод: таким способом он не заставит мушкетера выйти на улицу и последовать за ним; он капитулировал и откровенно признался: да, он ненавидит «ихнего Бернара», хочет его выдать и поэтому умоляет господина офицера пойти с ним...

— Да зачем же я стану шпионить за этим юношей? Это, брат, не мое ремесло! Не пойду!

И какое же отчаяние, какая исступленная ярость изобразились на лице Фирмена! Он схватил своего собеседника за рукав, и, удивительное дело,— Теодора вдруг покорило и увлекло безобразие этого лица. Он подумал: «Что это я говорил — Отелло? Нет, это Яго. Настоящий Яго. Вот он кто!»

Затем, осторожно ступая по ступенькам лестницы, привычной только для обитателей дома, он спустился сначала до площадки второго этажа, где «Яго», заслоняя рукой горящую свечу, повернул в коридор, а потом повел его в нижний этаж; надо было нащупывать ногой ступени, которые Теодор недавно видел при отсветах огня, пылавшего в очаге, а потом осторожно пробираться через низкую комнату, хоть и озаренную вспышками догорающих углей, но полную ловушек, которые могли выдать его неожиданным грохотом.

— Ты же не догонишь их, они уже далеко,— шепнул мушкетер Фирмену.

— Не улизнут... Я знаю, куда они пошли!

Теодор вдохнул свежий воздух. Было почти тепло, вокруг все было невидимо и таинственно. На вершине холма стояла тьма, а внизу простиралась лунная долина. Земля размокла, у ворот домишек, крытых соломой или черепицей, под ногами хлюпала навозная жижа. Жерико шел вслед за своим юрким проводником, видевшим в темноте, как кошка. Вдруг Фирмен тронул его за плечо, Теодор понял без слов: послышались шаги, приближались люди. Наши путники укрылись за выступом какого-то дома в густой тени, падавшей от стены. По узкой улице проходил патруль; впереди шествовал мушкетер с факелом в руке. Чего ради Тео-

дору было прятаться от своих? Но подручный кузнеца, предчувствуя его порыв, предостерегающе сжал ему руку. Патрульные переговаривались на ходу. Один из них сказал:

— Так ты, значит, поверил?.. Набрехали они насчет умирающего, а ты и поверил!

— А что ж не поверить? — отвечал другой.— По-твоему, люди уж и умирать перестали, оттого что король удирает и мы вместе с ним улепетываем?..

— Ты думаешь, они и в самом деле за священником пошли? Среди ночи, двое мужчин...

Ответа уже нельзя было расслышать: патруль прошел. Опять воцарился мрак. Фирмен молча двинулся дальше; они поднялись по темному проходу между домами на крутой косогор; вверху смутно вырисовывались башенки какой-то церкви. Сначала шли по замощенной дорожке в тени от заборов, а потом слева показались кровли домов, стоявших ниже по склону, а справа вздымалась огромная каменная стена. Теодор больше уже ни о чем не спрашивал. Они взобрались выше деревни,— теперь кровли домов были где-то внизу, у их ног, а луна очутилась прямо перед ними и ярко осветила их. Слева она заливала своим сиянием узкие, как колодцы, дворики, лежавшие позади домов. Но тут на холме было пустынно, и никто не мог видеть двух полуночников. Они направились к церкви, прошли через небольшую площадь, окруженную древними стенами, потом стали подниматься по лестнице, которая вела дальше в гору. Куда повел Фирмен мушкетера? К заутрене идти было еще рано. Церковь стояла у вершины холма и как будто вне селения. К ней поднимались по длиннейшей лестнице со многими площадками, и, казалось, было что-то преступное в том, что люди взбираются туда в ночной час. Высокая серая церковь совсем не походила на обычные храмы,— скорее то была крепость, светлая при луне, или же лестница Иакова, возносившаяся в лунный мир. Чудилось, она вот-вот рухнет на головы двух путников. Они миновали церковь, поднялись еще выше по ступеням, Фирмен толкнул калитку, и они очутились на кладбище.

Фирмен, видимо, хорошо знал дорогу,— направляясь к дальнему концу кладбища, он уверенно пробирался между могилами, лавировал среди каменных надгробий и железных решеток. Поднялся ветер. По небу торопливо побежали широкие лохматые тучи, луна скрылась, и лишь внизу, в долине, свет ее ложился скользящими пятнами. За кладбищем, нависая над ним, белело что-то высокое, непонятное. Снова выплыла луна, и Теодор увидел, что это развалины старинных укреплений. Фирмен повел его вправо, вдоль крепостной стены, и шел крадучись, как будто пря-

тался от людей, преследовавших его. Теодору он знаками велел идти осторожнее. Обогнув полукруглый выступ бастиона, они двинулись дальше и дошли до того места, где стена разрушилась и лежала только осыпь камней. Фирмен остановился, поднялся к зияющей бреши и, обернувшись, подал руку мушкетеру. Из-под ног Жерико покатились камни, и он почувствовал, что его проводнику стало страшно. Чего он боится? Что значит вся эта таинственность? Перелезть через обвалившуюся стену оказалось не так-то легко, а карабкаться сюда Фирмен его заставил, конечно, потому, что не хотел идти обычной дорогой, которая, как он объяснил шепотом, проходила внизу, справа от церкви, под большими деревьями и вела в молодой лес, разросшийся за древней крепостью; они поднялись туда, оказались под навесом ветвей, опутанных вьющимися растениями, и, уже не видя прихотливой игры луны и облаков, стали пробираться в лесной чаще, как-то странно изборожденной короткими тропинками, узкими дорожками, которые зачастую раздваивались, словно аллеи в парке, разбитом рукою человека, и делали крутые повороты; сейчас идти по ним приходилось осторожно — так, чтобы не хрустнул под ногами ни один сучок; впрочем, землю как будто устилал дикий плющ... Подъем все не кончался, деревья становились выше. Что за деревья? Дубы? Нет, молодые вязы, кизил и еще какие-то другие, с тонкими голыми стволами и черным зимним убором; быть может, все тут было посажено людьми, но одичало, разрослось, опуталось вьющимися растениями; на кустарниках уже набухли почки, кое-где — на орешнике или других кустах — даже проклюнули первые листики. Теодору хорошо были знакомы маленькие серые почки, которые распускаются очень рано и дают желтенькие соцветия. Но как же они называются? Все тут узнавалось чутьем, догадкой, осязанием, ощупью и по запаху... Такие знакомые влажные запахи. А вот на кустах уцелел хрупкий убор из сухих прошлогодних листьев, рука отдернулась, когда они зашуршали. Но все-таки, что это значит? Дорожки, теперь уже, кажется, прямые, впереди, по-видимому, сходились с разных сторон, словно к парковой поляне; под высокими кривыми соснами мерцал свет, тусклый красноватый свет. Рука Фирмена была красноречивее слов, его пальцы говорили: «Осторожнее, мы пришли. Они там... Осторожнее! Как бы не услышали нас!» Он свернул влево, на дорожку, спускавшуюся по склону, и повел за собою мушкетера, которому очень мешала сабля. «Стойте! Вот здесь...» Они вошли в густую чащу кустарников, где змеилась еще не совсем заглохшая давняя тропинка. Но спустились они, оказывается, слишком низко и стали в потемках взбираться обратно. Наконец остановились. Наверху при свете факелов, воткнутых в зем-

лю, виднелась голая полянка, окруженная высокими соснами. Тут какое-то сборище — в этом нет сомнения. Неслышно взобрались по глинистому откосу еще выше, так близко к полянке, что видны были ноги стоявших там людей, сапоги, края плащей. Ухватив за руку мушкетера, Фирмен остановил его и, встав на цыпочки, чтобы дотянуться до его уха, зашептал какие-то непонятные слова. Теодор чувствовал его дыхание, прикосновение небритой щеки. Фирмен сказал (Теодор скорее угадал, чем расслышал), что теперь он оставит господина лейтенанта одного,— ведь если самого Фирмена здесь обнаружат... И, бесшумно спрыгнув с откоса, подручный кузнеца исчез в чаще. Мушкетер безотчетно протянул руку, чтобы его удержать, но что поделаешь! Нельзя ни побежать вслед за ним, ни окликнуть его. Тут, конечно, сборище заговорщиков,— что же еще может быть другое? Вон они, совсем рядом, а доносчик ускользнул. Чтобы лучше было видно, Жерико подвинулся как можно ближе, оставаясь, однако, скрытым зарослями кустарника, и, глядя отсюда вверх, словно из глубокой ямы, он при фантастическом свете факелов увидел на круглой полянке под высокими кривыми соснами человек десять (как ему сперва показалось), уже охваченных горячкой споров, увлеченных яростной словесной схваткой, увидел их жестикуляцию и огромные их тени. Одни тут были изысканно, другие в каких-то отрепьях... непостижимое смешение... быть может, шайка разбойников?.. Теодор раздвинул ветви и разглядел тогда, что полянка служит перекрестком дорожек,— таких же, как те, по которым он шел с Фирменом, что они лучами расходятся от этой неровной площадки, и понял, что по каждой из них пробирались сюда эти люди,— вероятно, в одиночку, а теперь они стояли кучками и были ему плохо видны.

Ничто, пожалуй, не повергает человека в такую растерянность, как попытка осмыслить содержание пьесы, ну, хотя бы комедии, если он опоздает к началу спектакля, пропустит завязку, и всё тогда — отношения между персонажами, место и время действия — приходится угадывать по отдельным репликам, делать свои выводы, и зачастую понимаешь все наоборот. Но ведь в театре есть некоторые условности, всегда повторяющиеся, и они помогают по аналогии разобраться в пьесе. Однако в спектакле, который разыгрывался перед глазами Теодора и за которым он следил, как из оркестровой ямы, не было ни одной известной ему условности, и вводил он королевского мушкетера в какой-то особый мир, о существовании коего тот и не подозревал,— необыкновенный мир, где отношения между людьми казались таинственными и где каждое произнесенное слово требовало от зрителя особых познаний, каких не приобретают ни в лицеях, ни в мастерских ху-

дожников. Прибавьте еще к этому фантастический пейзаж, дымные факелы, сознание опасности, страх выдать свое присутствие, невозможность пододвинуться достаточно близко, чтобы хорошенько рассмотреть лица, необычность перспективы, в которой зрителю открывалась эта картина, необычность чувств, выражаемых действующими лицами, странный их язык, странный и непонятный вовсе не из-за пикардийского выговора...

Присмотревшись, Теодор насчитал на поляне больше людей, чем ему сперва показалось,— человек пятнадцать; пройдя по лучеобразным дорожкам, они собрались в середине полянки, где горели факелы; одни выходили на свет, другие стояли поодаль; пожалуй, тут было даже человек двадцать, да еще и с лишним,— судя по тому, как хрустел валежник и шуршали ветки кустарников. Нежданный купол высоких деревьев, иголки опавшей хвои, устилавшие землю, странное освещение, изменявшее и лица и цвет сосновых ветвей, казавшихся серыми, дым от факелов... Жерико не так-то было легко разобраться в этой необычной картине и понять, что перед ним не случайная встреча внезапно столкнувшихся противников, готовых помериться силами, но настоящее собрание, которое ведет по правилам, принятым с общего согласия, старик парижанин с Каирской улицы (или человек, выдававший себя за такового); лицо его, освещенное снизу, отчего резко выступал двойной подбородок, приняло выражение строгое и торжественное; шляпу он снял и держал в руке, а другой рукой указывал на того, кому предоставлял слово. Иные фразы не доходили до Теодора, как будто их уносило порывом ветра. Видно было, что между многими нет согласия,— иногда они, казалось, готовы были кинуться друг на друга, и тогда соседи успокаивали их. Тут, очевидно, собрались люди разные и по своему положению, и по всем своим повадкам: одни — одетые по-городски, в добротных плащах и в модных шляпах, другие походили на военных в штатском платье; вот этот, должно быть, занимается торговлей, а тот, несомненно, из судейских; остальные были в нищенских и притом разномастных одеяниях, которые в ходу у деревенской бедноты и у городской мастеровщины: картузы с высоким верхом, бесформенные войлочные шляпы, колпаки с кисточкой, широкие сборчатые блузы, а рядом — перепачканная известкой куртка каменщика, кожаный фартук красильщика, крылатка пастуха или пелерина кучера, сутана священника. Вон тот, верно, батрак — стоит в деревянных своих башмаках и в одном жилете, куртку перекинул на руку,— даже и тут боится ее испортить. А вот это кто такие? Несомненно, ткачи: люди разного роста и разных возрастов, все в потертой одежде, у одних вместо плаща накинуто на плечи полотнище грубого сукна, на других — ужаснейшие лох-

мотья, под стать огородному пугалу. И был тут еще рослый парень в высоких сапогах. Теодор понял, что он говорит от имени судовщиков, которые вот уже несколько месяцев сидят без работы,— от имени тех, кто доставляет торф на плоскодонках в Абвиль или перевозит в шаландах по каналу кирпич и строительный камень. Кто же их сытнее накормит: Бонапарт или толстобрюхий Людовик? Но тут тощий низенький человечек в цилиндре с широкой вверху тульей, в батистовом жабо и в плаще с капюшоном, возмущенно замахал руками:

— Вот! Вот! Все вы такие! Только и думаете о еде!

Его оборвали. Господин Жубер с вежливой иронией напомнил, что адвокату надо уметь сдерживать себя и не прерывать оратора... народ имеет право... Но адвокат совсем разъярился:

— Народ? В Аррасе ваш народ ждет не дождется императора!

Судовщик что-то крикнул ему на пикардийском наречии. Теодор не понял, но кругом захохотали, хлопая себя по ляжкам. Адвокат из Арраса, судя по его свирепой мимике, должно быть, выходил из себя. С другой стороны полянки кто-то глубоким басом, но неразборчиво, подал реплику, которую Жерико не расслышал.

— Надо, понимаешь, по правде сказать,— закричал совсем близко от Теодора какой-то человек, выделявшийся на свету черным силуэтом,— разве найдешь работу, коли в деревнях все как есть ткачами стали?

Право, тут нелегко было поддерживать порядок в прениях. Господин Жубер предоставил слово человеку неопределенного возраста, худому, истощенному, как земля, с которой он сражался всю свою жизнь. На него смотреть было жалко,— кожа да кости, и одет он был, пожалуй, хуже всех.

— Да чего там, все едино — что каруль, что Наполиён...— сказал он унылым и хриплым голосом.— Замордовали народ... дальше некуда...

Бернар, вероятно, знал этого крестьянина,— он встал рядом с ним, и когда тот, заговорив на своем пикардийском наречии, произносил слова, непонятные даже жителям Арраса или Бетюна, он старался помочь пикардийцу: переводил его речь на французский, адресуясь к господину Жуберу. Выступавший был батрак из Понтье, такой бедный, что в сорок три года (да неужели ему только сорок три?..) все еще «ходил неженатый». У него не было времени работать за ткацким станком, не было ни жены, ни детей, чтобы отдать их в прядильную мануфактуру, но все равно,— будь во Франции «Наполиён» или «каруль», для него одно было несомненно: у кого земля, тот тебя морит голодом, и недаром же лет двадцать или года двадцать три тому назад в его деревне встре-

чали с дрекольем таких вот адвокатов из Амьена да из Арраса, когда они приезжали к ним и говорили, что надо земли поделить, дать одним и другим.

— А мы хорошо знали: как получишь клочок земли, понадобится и то и се, а если заболеешь, кто заплатит за семена да за посев? Глядишь, дальше-больше, и залез в долги, а богатеи заставят тебя работать на ихней земле... Стало быть, нельзя землю делить, пусть в деревне сообща землей владеют, все вместе, чтобы, значит, никто ее у тебя не мог отнять.

Адвокат из Арраса хотел было объявить, что это ретроградная точка зрения,— как раз Революция и Империя... Но ему не дали говорить. Слово было предоставлено прядильщику, горячему малому, который стал произносить речь, то и дело поправляя самого себя. Он за кого? За Наполеона. Но при том условии, чтобы были преобразованы народные общества. Никогда нельзя сговориться, если слушать сразу и крестьян, и ткачей, и каменщиков, и адвокатов, и почтмейстеров, и батраков-поденщиков. Надо сделать самое главное: выгнать аристократов. Да, выгнать аристократов. Это по-прежнему важнейшее дело...

— А кто аристократов обратно позвал? — яростно закричал невидимый противник.— Твой инпиратор и позвал. Не правда, что ли?

Но прядильщик не унимался. Стоит только посмотреть,— и он протянул руку в сторону Пуа,— как раз из-за того, что Наполеон возвратился, аристократы убегают. Однако же народ никому не может довериться, кроме как самому себе, он должен, как в прежние времена, объединиться в общества и присматриваться, разбираться что происходит, возвышать свой голос, разоблачать злоупотребления... Большинство слушателей были еще слишком молоды для того, чтобы знать как следует, что представляли собою народные общества, и поэтому прядильщика прерывали, задавали ему вопросы. А каким целям служили эти общества? Кто в них состоял? Прядильщик привел в пример общество своего города: туда входили плотники, мировой судья, поденщики, кабатчик, прасол, торговавший овцами и телятами, школьный учитель, мельник, штукатуры, кровельщик, землемер, бочар, тележник, двое портных, стекольщик, кузнец, земледельцы и их батраки, каменотесы, каменщики, сапожник, а вместе с ними состояли в обществе военные, бывшие монахи, вязальщики чулок, контролер соляных варниц, лесничий, хозяин гостиницы, пивовар, судейский писец, шапочники, цирюльники... Прядильщика прервали с хохотом: «Так, стало быть, все подряд?» — «Нет, не все, а только патриоты!» Адвокат из Арраса, называвший эти общества клубами, видимо, был согласен с прядильщиком, но для большинства слово

«патриот» за двадцать с лишним лет утратило свое обаяние или по меньшей мере изменился его смысл, потому что два-три участника сборища из числа самых бедных закричали, что патриоты тут ни при чем, важно другое: неужто так всегда и будешь, как веревкой, привязан к своему хозяину этой проклятой расчетной книжкой? Ведь нельзя перейти на другое место, не заплатив до последнего гроша свой долг прежнему хозяину — то, что вперед забрал, а иначе будешь считаться бродягой. Кто-то из этой кучки слушателей крикнул:

— При Наполеоне хлеб-то опять будет по тридцать су, как в тысяча восемьсот двенадцатом году!

Тогда вперед вышел человек в долгополом сюртуке, с седеющими усами и остановился возле факела, опершись на палку. Господин Жубер попросил соблюдать тишину.

— Граждане,— начал оратор, видимо, волнуясь. Голос у него осип. Он кашлянул.— Граждане...

Он сообщил, что ему скоро пятьдесят пять лет, что он бывший офицер Республики, выслужился из солдат. Был кавалеристом в полку королевы, в 1786 году служил солдатом в 45-м линейном полку; при взятии Бастилии ему было двадцать девять лет. В 1792 году он женился, уже будучи в чине старшего сержанта...

Кто-то крикнул: «Да что он жизнь свою рассказывает!» Господин Жубер жестом прекратил поднявшийся ропот и предложил отставному военному продолжать.

— В девяносто третьем году, когда родилась у меня старшая дочь, я был в походе. Семь лет воевал, все кампании Республики проделал, от Флерюса до Ветцлера дошел, получил капитанские нашивки, будучи во Втором линейном пехотном полку... был в армии Самбры-и-Мезы и в Вандейской, под командой Лазара Гоша. И так же, как Лазар Гош, мы, его офицеры, не желали исполнять обязанности жандармов, а вот сумели и без того усмирить мятежников, вздумавших идти против правительства. Когда был в Вестфалии, ко мне приехала из Бетюна жена — она из Бетюна родом — и стала ездить со мною; в семьсот девяносто седьмом году она мне родила сына. После смерти Гоша (он умер в Ветцлере, да так и не узнали, как и отчего умер) мы все считали молодого генерала Итальянской армии республиканцем, и его победы наполняли сердца наши гордостью...

Кое-что из этой речи Жерико не мог расслышать,— люди, стоявшие как раз перед ним, наклонились друг к другу и принялись беседовать на своем пикардийском наречии, смутный гул голосов заглушал оратора. Но вот их призвали к порядку, и они умолкли.

— Брюмер,— продолжал оратор,— был для нас ужасным, невообразимым ударом. Свобода вдруг оказалась под угрозой. В те годы армия имела право голоса, и я голосовал против Консульства. До тех пор все было ясно. Тогда вы не стали бы спрашивать, что за штука такая — патриот. Когда я женился в Бетюне на Альдегонде, враг стоял в трех шагах... Мой тесть Машю был другом Жозефа Лебона и Дартэ. Нынче отступники, которые отреклись от прежних своих мыслей, сваливают на этих двух людей ответственность за то, что произошло в наших краях... А я знал Дартэ... Настоящий был патриот, он покончил с собою, закололся кинжалом в трибунале, когда ему вынесли приговор. Я тогда был в Вестфалии... как раз в то время у нас родился Фредерик....

Старик рассказывал беспорядочно,— только что забежал на два года вперед, так чего же он теперь повернул вспять? Коротко говоря, этот республиканец, даже осуждая Бонапарта, оставался в армии до тех пор, пока Наполеон не заставил короновать себя и не стал императором, а так как наш республиканец, который был тогда в чине майора, и тут голосовал против Империи, ему пришлось выйти в отставку. Он занялся торговлей: надо же было кормить семью; в 1805 году у него родился еще один сын. Представился подходящий случай, и он устроился в Италии, во французских владениях,— в департаменте Маренго, название которого напоминало о молодом Бонапарте и о тех мечтах, какие были до его предательства. Он поселился в Алессандриа-делла-Палья, которую французы называли Александрией. Поначалу все шло хорошо. Он занимался поставками на армию. А после 1811 года дела пошатнулись... кризис. Словом, и его задели бедствия того времени: поставок больше не стало. Наступило банкротство. Семью он отвез обратно в Бетюн, на родину жены, а в те времена хлеб-то был по тридцать су... И вся страна как будто сама шла к своему разорению — император втянул Францию в ужаснейшую авантюру.

— Граждане, в восемьсот двенадцатом году хлеб стоил по тридцать су,— это было страшное несчастье для народа. Но в восемьсот тринадцатом году, когда стали возвращаться солдаты из России... да пришли из Германии вести, что все перевернулось в наших военных делах... да еще я встретил старых своих боевых товарищей, с которыми сражался за свободу, и от них доподлинно узнал о поражении, о том, что опять чужестранцы угрожают нашим границам...

— Ну и как? — крикнул кто-то.— Ты пошел добровольцем?

Старик покачал головой.

— Я хуже сделал,— сказал он.— Сыну моему было шестнадцать лет в дни Лейпцигской битвы,— я отдал его императору! Мальчик поступил во Второй линейный полк — в тот самый, из

которого я ушел, чтобы не служить Бонапарту, предателю Республики. В семнадцать лет он уже был сержантом, а тут союзные войска перешли наши границы. Под Безансоном сын мой вел себя героем, схватился врукопашную с венгерским гренадером... Но раз Францию предали, как же было оставаться в армии? Осенью он добился отпуска на полгода, приехал к нам в Бетюн, а тут вдруг пошел слух: император вернулся. В воскресенье сын ушел из дому. Верно, отправился в Париж, посмотреть на Наполеона в Тюильри. Он ни минуты не колебался, и я думаю так же, как он: Наполеон возвращается — надо опять взяться за оружие... Вот что я вам говорю! Десять лет сердце мое как огнем жгла мысль, что вот я отказался носить оружие,— но ведь тогда оно не было оружием народа! Заметьте, я не против народных обществ, о которых сейчас говорил прядильщик, но что же могут сделать безоружные народные общества? Наполеон возвращается. Он будет таким, каким его сделает народ. Если только у народа будет оружие...

И тут поднялся шум. Оружие! Оружие! Опять драться? А против кого? И против англичан, и против немцев, и против русских? Кто-то крикнул: «Народ не воевать хочет, а есть!» Многие из этих людей не доверяли солдатам, и это недоверие каждый выражал по-своему; но все заявляли, что хватит с них непрестанных войн.

Теодор совсем запутался в беспорядочном споре, который он слушал, примостившись в неудобной позе на скате холма; зашуршав ветками, он опустился на одно колено и замер. Рукой он уперся в землю и почувствовал под ладонью крупные молодые листья, отходившие от стеблей почти у самой земли, нежные, прохладные листья, а меж ними, в середине, пальцы нащупали какие-то цветы. Что это такое? Подснежники, конечно. Что же иное могло быть теперь? Разумеется, подснежники. И Теодор представил себе лиловые чашечки с желтой сердцевинкой; он крепко сжал цветы, смял их, и вдруг что-то обожгло ему руку: крапива! Так рано и уже вылезла, негодяйка!.. Половину того, что говорилось на поляне, он не слышал, теперь надо было наверстать упущенное, но пикардийская речь мешала понимать, да еще то и дело сыпались всякие специальные термины,— жаргон ремесел. Например, долго говорил башмачник, сетуя на то, что нет работы, и вспоминая о тех годах, когда для армии нужно было так много сапог и башмаков, что на них не хватало гвоздей, и никто не имел права брать частные заказы. ...Потом спорили о цене на короткие штаны из черной узкой диагонали и из белой нанки,— говорили, вероятно, мастеровые из Абвиля, и один из них обрушился на Бернара, которого он знал как служащего прядильно-ткацкой ману-

фактуры... Потом зашел спор по поводу того, что среди заговорщиков оказался священник,— правда, он в свое время был депутатом в Учредительном собрании, и уж как он тогда говорил!..

Но самым необычайным было то, что в Теодоре происходила какая-то глубокая, непостижимая перемена, которую нельзя было объяснить ни речами, произносившимися здесь, ни весомостью приводимых доводов, ни логическим развитием какой-нибудь мысли. Нет, словно скользили перед глазами некие тени, и все принимало другой оттенок. Сначала он не обращал на это внимания, просто отдавался волне настроения, затем почувствовал, что она увлекает его, но еще не вынес никакого суждения. Он как будто был в театре, а когда смотришь в театре пьесу, драму или комедию, то ведь ее содержание от твоей воли не зависит: замысел драматурга захватывает тебя и ведет куда-то, а куда приведет — неизвестно. Раз ты заплатил за свое место, то и смотришь и все принимаешь таким, как тебе показывают,— принимаешь для того, чтобы можно было следить за развитием действия, хотя у тебя имеются свои собственные взгляды, и в жизни ты, быть может, стал бы на сторону скупца, осуждая расточителей, и на сторону рассудительных отцов, против влюбленных безумцев. Для того чтобы Теодор мог следить за развитием спектакля, ему следовало так или иначе принять в нем участие, отдать свои симпатии одним из действующих лиц против других. И вот в душе этого королевского мушкетера, этого донкихота старого, обратившегося в бегство мира, происходило что-то странное: он слушал эти путаные диалоги, как будто встав на сторону Наполеона, как будто хотел, чтобы эта мелкота, эти бедняки, этот священник, эти буржуа, эти поденщики поняли ту новую роль, которую теперь возьмет на себя император... Он боялся, что пьеса кончится не так, как того хочется ему, Теодору Жерико, а совсем иначе, он уподобился зрителям, сидящим в райке, которых так и подмывает крикнуть герою, вбежавшему на сцену, что за его спиной прокрался предатель, и которые умирают вместе с королевой, отвергнувшей счастье любви, и рады бы изменить ход истории во имя того, чтобы Тит мог жениться на Беренике... Нет, нет, Наполеон — это вовсе не обязательно война, но зато уж наверняка разгром того нелепого мира, с которым его, Теодора Жерико, связывает красный мундир, только он и связывает, а ведь можно в любую минуту сбросить с себя этот мундир, ненавистный маленьким людям так же, как ненавистен он Каролине... Во всяком случае, возвращение императора — это встряска, это свержение рокового господства власть имущих, это начало совсем иной жизни, чей трепет он ощущал здесь, среди несчастных, прозябающих в такой нищете, какой он, право же, никогда не видел, о существо-

вании которой никогда и не подозревал,— нищете беспросветной, пожирающей жизнь множества людей. Где их дом, какие у них жены, какую чудовищную цену платят они за хлеб, о котором здесь говорили с тревогой, столь новой для Теодора? И он боялся, что эти обездоленные не поймут, как удачно складываются для них обстоятельства, и упустят счастливый случай... Вдруг ему пришла мысль о театре, о том, что он здесь как в театре, и его симпатии зависят от освещения, от искусства драматурга, от игры актеров... И ему, как ребенку, стало страшно, что лишь только занавес опустится,— вернутся прежние его мысли, привычные верования, и все пойдет так, словно не было ни пьесы, ни глубокого волнения, порожденного выразительным жестом, словом, благородством короткой реплики... Он боялся, что все это для него только театр, он страстно желал и дальше верить, больше не расставаться с этим миром, представшим перед ним при фантастическом свете воткнутых в землю факелов под высокими кривыми соснами, за крепостью и кладбищем, у поворота пикардийской долины,— в тот час, когда и принцы, и солдаты королевского конвоя, и мушкетеры, разбитые усталостью, спали где-то там во тьме мертвым сном, не помышляя, не ведая о подлинной драме, которая разыгрывалась здесь, а лошади в конюшнях, в хлевах, в сараях тихонько шевелились на подстилках, измученные и смиренно ожидавшие завтрашнего дня и новой дороги.

* * *

Бог мой, опять я совершу сейчас то, чего не полагается делать, но как удержаться! Я знаю, что писатель должен избегать авторских отступлений и тем более не допускать анахронизмов, не приводить случаев из собственной жизни,— да что поделаешь! Очень уж сильно искушение! Лишь только я представил себе, как Теодор Жерико, примостившись на склоне холма, в густом кустарнике, смотрит вверх и слушает речи заговорщиков, собравшихся в Пуа, тотчас где-то в темном уголке памяти у меня возникло воспоминание об одном эпизоде, о котором я ни на другой день, ни позднее и вообще никогда не рассказывал. Да это даже не эпизод, а просто картина, мимолетное впечатление. Мне было тогда двадцать два года,— нет, даже меньше, так как это произошло в 1919 году, в конце зимы или ранней весной, около Саарбрюкена. На соседних угольных копях была забастовка, и солдаты из нашего батальона несли там охрану. Офицеры, которые ходили проверять посты, однажды взяли меня с собой,— если не ошибаюсь, это было в холмистой местности, около Фёльклингена. Как сейчас я вижу вход в пропускную, ствол шахты, клеть, подъемник. Уже

вечерело. В охране стояли знакомые солдаты, я их видел на медицинском осмотре, одного из них лечил от воспаления легких. И солдаты и офицеры были молодые беспечные ребята, им надоела война, продолжением которой оказалась оккупация этого края,— дело не веселое, тем более что по ночам было довольно холодно: стояла такая же промозглая сырость, как в ту далекую мартовскую ночь около Пуа: спутники мои обо всем говорили дурашливо, как будто самым главным в жизни было называть серый цвет серо-буро-малиновым с крапинками, а капельмейстера — капельдудкой. Но я прекрасно видел, что за их развязностью скрывается беспокойство. Недаром же нас вызвали. («Нас» — это только так говорится.) Сообщают, что ночная смена отказалась спуститься в шахту, ибо шахтеры дневной смены, поднявшись, заявили, что в штреках неладно — теперь уж не помню, что там случилось: не то сдали крепления, не то стала просачиваться вода; все собрались у ствола шахты,— те, что поднялись на-гора, еще покрыты были чернотой недр земных, а другие, уже в рабочей одежде, стояли скрестив руки. Штейгеры кричат, немец-инженер старается — по крайней мере, для вида — уговорить шахтеров; французские офицеры угрожают, солдаты — человек тридцать — стоят под ружьем. А я при чем тут был? Я сам это плохо понимал. Я никогда не видел угольных шахт, даже во Франции. Рабочие... до тех пор они меня никогда не интересовали. Шахтеры о чем-то переговаривались между собой; их делегат гневно отвечал на вопросы, которые задавал ему капитан (капитана этого я тоже знал, вместе играли в бридж); стоявший рядом со мной младший лейтенант шепнул мне: «Доктор, посмотрите-ка на эти немецкие рожи!» Я совершенно не понимал, о чем идет речь: делегат шахтеров хоть и говорил по-немецки, но его немецкий язык совсем не походил на тот, которому нас учили в школе, и даже на тот, на котором болтали саарбрюкенские барышни... Шахтер говорил быстро, гневно, бросая короткие фразы одну за другой, одну за другой; на темном и хмуром его лице, выглядывавшем из-под каски, блестели острые волчьи зубы,— говорил долго, минуты три, а переводчик коротко докладывал командиру: «Он утверждает, что это опасно»... Капитан с досадливым видом играл хлыстом, похлопывая им по голенищу сапога. («Когда идете к женщинам, не забывайте захватить плетку»,— говорил генерал Бриссо-Демайе, комендант Саарбрюкена, начитавшийся Ницше.) Капитан был неплохой человек. Он не любил неприятностей. «Да что тут рассуждать! Победители мы или нет? Франции нужен уголь. Больше я ничего знать не желаю».

Не буду входить в подробности.

Шахтеры стояли плотными рядами, почти плечо к плечу,

скрестив на груди обнаженные по локоть руки,— стена из людей, грозно рокочущая живая стена. А какие у них были глаза, что они выкрикивали! Все это могло с минуты на минуту принять весьма дурной оборот. Если нашим придется стрелять (против приказа не поспоришь...), я окажусь на этой стороне, а не на той... Выбора нет. И тогда я почувствовал ужас... Наверно, такое же чувство охватило в чаще кустарников за кладбищем в Пуа и мушкетера Теодора Жерико. Вдруг я ощутил всем своим существом, что эти враждебные нам, незнакомые люди, эти боши, были в тот вечер правы, и их сопротивление выражало все то великое и благородное, что есть в человеке. А как же мы? Мы?

В ту ночь не произошло ничего необыкновенного и ничего страшного. Шахтеры не спустились в шахту. На этот раз наши не стали настаивать. «Много шуму из ничего»,— сказал мне на обратном пути молоденький сублейтенант, недавно показывавший мне фотографию хорошенькой девушки, жительницы эльзасского города Бишвиллера, где мы стояли прежде, чем нас послали в Саарский бассейн. Девушка, в пальто с меховым воротником и с меховыми манжетами, прижимала к щеке пушистого котенка. «Если им все спускать, они потеряют уважение к нам».— «Кто потеряет? Ах да, шахтеры?» Вернувшись домой, я взялся за книгу,— помнится, то была новинка, немецкий роман «Голем», который мне рекомендовали в лучшем книжном магазине Саарбрюкена. И больше я об этой истории не думал. Да и не о чем тут было думать. Нечего было и рассказывать.

Странно! Позднее, гораздо позднее мне стало казаться, что эта ночь имела большое значение в моей судьбе. Возможно, так оно и было. Я этого не показывал. То же самое было и с романтизмом тогдашнего нашего молодого поколения. Разве можно было его обнаруживать? Что вы! Подумайте только! Как раз в это время мне прислали из Цюриха третий номер журнала дадаистов, что могло снискать мне благосклонность офицера из Второго бюро: в этом номере была напечатана моя поэма в сто строк, написанная белым стихом, которая заканчивалась... нет, не эта, а другая поэма, написанная в Бюрбахе, предместье Саарбрюкена, по соседству с металлургическим заводом. Кончалась она так:

Красота — единственная сила,
Чьи простертые руки еще не запятнаны...

Но при чем тут все это? Вот я и потерял нить жарких прений, происходивших в мартовскую ночь 1815 года,— отвлекся и пропустил кое-что из речей и теперь, возвращаясь к ним, растерян еще больше, чем королевский мушкетер Теодор Жерико.

* * *

Кто-то, может быть, недавно выступавший прядильщик, патетически произнес: «Франция!» — и заговорил об угрозе нового вражеского нашествия,— снова отечество в опасности. И тогда крестьянин из деревни Сокур, что в окрестностях Абвиля, стал жаловаться на пруссаков: оккупанты отобрали у крестьян сотни вязанок сена и притом самого что ни на есть лучшего,— тут тебе и клевер, и вика, и овес. И солому и бобы забрали, денег ничего не заплатили, а записали на счет сельской коммуны; да еще в деревне кормили ихних офицеров и солдат,— считай по сто су на офицера в день да по двадцать су на солдата. За прокорм тоже ни гроша не получили, а ведь они, окаянные, не сено жрали, что по четырнадцать су за воз! Да еще угнали крестьянских лошадей в обозы... Кто за все это заплатит? Тут сосед его, каменщик, захохотал и грубо ответил, что вот у него не взяли ни лошадей, ни овса, потому как у каменщиков нет ничего, кроме лопаточки-соколка, да еще долгов, как у Сокурской коммуны: «Плохо ваше дело, хозяева. А у кого нет ничего, с того и взять нечего».

Господин Жубер пытался объяснить, какая это со стороны каменщика близорукость: ведь то, что пруссаки задолжали мелким хозяевам, в конце концов обязана будет заплатить коммуна, то есть все ее жители,— значит, и батраки и каменщики. Но каменщик коротко ответил, что он вовсе не обязан платить. Коммуна неправильно поступает. Что это такое в самом деле! Плати долги оккупантов, подавай теперь деньги на Наполеона, да еще столько и полстолько отдавай налогов королю... Все властители — грабители! Одного поля ягоды. Но если угодно знать, что он, каменщик, думает насчет народных обществ, так он не согласен с прядильщиком: вооруженные или невооруженные, а эти народные общества делу не помогут. Да и какие же они «народные», раз в них и судьи, и землевладельцы, и хозяева мастерских будут вместе с теми, кто подыхает с голоду? Надо сделать так, чтоб у каменщиков было общество каменщиков, у батраков — общество батраков, у ткачей опять же свое общество... Слесарь из Виме шумно выразил свое одобрение и заявил, что он против политики: «Политика — дело не наше, пусть политикой занимаются образованные господа». Видно было, что многие согласны с ним.

Адвокат из Арраса сказал, что объединения, о которых сейчас вспомнили, противоречат не только законам наполеоновской империи, но даже республиканской конституции. Республика стоит за свободу труда, а посему запрещает как союзы подмастерьев, так и союзы хозяев. Адвокат говорил весьма цветисто, слово «рес-

публика», «республиканец» произносил, раскатывая звук «р», как в бурю волна перекатывает гальку по берегу моря. И тут заговорили все: очевидно, он затронул наболевший вопрос,— то, что у большинства этих людей, хотя и по причинам противоположным, было кровоточащей раной. Теодор снова запутался. Ведь он не знал, что такое расчетная книжка, о которой тут говорили, что такое ремесленный суд и конторы по найму. Не понимал он, почему адвокат возмущенно кричит, что все эти благотворительные общества, эти кассы взаимопомощи, которых требуют вместо политических клубов,— просто-напросто лицемерие, ловкий способ обойти закон, что на деле это означает *рабочие союзы*,— он выкрикивал эти слова с таким видом, словно обвинял мастеровых в чем-то ужасном.

— Попробуйте-ка помешать нам объединиться! Не выйдет! — крикнул каменщик. Плотник поддержал его.

— Ну, разумеется,— заметил адвокат,— вас, каменщиков и плотников, не разъединить, вы вместе работаете на постройках, вас связывает сама работа...

В вопросе о политике и ткачи, и слесари, и каменщики, и батраки были вполне согласны между собой и дружно нападали на своих противников: не надо политики. Из-за этого они отвергали идею народных обществ, на которой сошлись адвокат и прядильщик. Для них, оказывается, важнее всего была заработная плата, а вовсе не король или император. Разногласия были у заговорщиков и по другому вопросу: ткачи, например, ненавидели машины. Господин Жубер попытался их образумить, но Теодор ничего не мог понять, ибо они стали говорить на своем особом языке.

Когда же речь заходила о рабочих союзах, можно было подумать, что им не нравится само слово, что им трудно его произнести и странно даже, что им приписывают такие намерения. Союзы! Союзы! Какой от них толк в конце концов? Правда, все требовали для рабочих права объединяться. Тут прядильщик выступал против адвоката. Но как объединяться? Вот тогда-то и началась схватка. Бернара, пытавшегося примирить споривших, ткачи оборвали: все, мол, знают, что он приказчик Грандена, нового владельца мануфактуры Ван-Робэ. Так разве ткачи могут ему доверять? В январе Гранден велел оцепить дом, где собралось несколько ткачей. Как хозяин про это узнал? Понятно, по доносу. А у них никакого союза и не было, просто собрались вместе четверо-пятеро ткачей. Для хозяев и для полиции этого было достаточно: всех схватили и посадили в тюрьму «за намерение организовать рабочий союз». Двоих продержали только пять дней, а один еще и по сей час за решеткой; говорят, собираются выслать его по этапу в тот департамент, откуда он родом... Вот посмотрим, переменится

что-нибудь или нет, когда Маленький Капрал придет. Правительства приходят и уходят, а хозяева мануфактур остаются; за рабочие союзы, даже за одно только намерение вступить в них, людей отдают под надзор самой главной полиции — за ними следит префектура, да и не один год, а года по три, а то и по пять... и ей все равно, кто в это время в стране хозяйничает: пруссаки или наши аристократы. И ведь нет никакой возможности мастеровому переменить место; в расчетной книжке записывают тебе твою получку, поди поспорь! Хозяин проставит цифры: вот сколько я тебе должен, а вот сколько ты мне должен, а вот сколько ты вперед забрал. Жульничество одно, а доказать не докажешь.

— Совершенно необходимо,— воскликнул адвокат из Арраса,— чтобы отношения между хозяином и мастеровыми были основаны на полной добросовестности! Ведь по закону хозяину верят на слово, когда он указывает, сколько им выплачено рабочему как при расчетах за истекший год, так и при выдаче аванса в текущем году...

— Верят? — возмутился один из абвильских ткачей.— Ему верят, а мне почему не верят, что он меня обкрадывает?

И в эту минуту в сознание Теодора проникла мысль, глубокая, мучительная, как нежданный удар, как жгучая рана... О чем свидетельствует это шумное сборище? Эти люди, значит, настолько близки друг другу, что вместе шли сюда, или хотя бы вот собрались вместе на эту ночную сходку, невзирая на все ее опасности... И, значит, они надеются, что это их собрание приведет к чему-то хорошему, во всяком случае — к какому-то действию. А ведь это шумное сборище сперва казалось ему просто случайным, так же как он сам случайно очутился в королевской гвардии, и случайность эту подчеркивало его тайное присутствие здесь. Сначала каждый из выступавших своими речами как будто показывал ему, невежде, ему, незваному зрителю, только его обособленность от других. Каждый говорил не совсем то, что следовало бы сказать для того, чтобы пьеса была хорошо построена, или, по крайней мере, для того, чтобы сыграть в ней центральную роль. Однако эти словесные схватки, это проглядывавшее в них взаимное недоверие выражали всеобщую волю собравшихся найти сообща нечто важное, чего они еще не знали, но что было, во всяком случае, правдой, бесконечно нужной, драгоценной истиной, которой им до сих пор всем не хватало. Может быть, Теодор и ошибался, но ему казалось, что тут каждый не вполне был уверен в своей собственной отдельной правде, которую он этой ночью принес сюда в глубине своего сердца, дабы звать к ней других. Все эти люди прожили нелегкую жизнь, хотя у каждого жизнь сложилась по-разному, они были рабами своего положения, все искали есте-

ственного выхода, стремились нащупать путь, сделав логический вывод из своего жизненного опыта, своего порабощения, своей усталости, своих несчастий. Хотели покончить с долгой нищетой. Впервые в жизни перед Теодором предстала так обнаженно неотвратимость человеческих судеб, и эти люди вызывали в нем такое чувство, будто он плывет на корабле, который дал течь, и самым важным стало теперь заткнуть щели в днище корабля, и уже не могло быть иной красоты, иного величия, иной доблести, чем эта жертвенная борьба, эти неустанные, неистовые усилия, поглощающие и сердце, и ум, и все силы телесные... Впервые Теодор оказался в присутствии людей совсем не таких, как он сам. А ведь он лишь с пятого на десятое понимал то, что они говорили, и чувствовал, что он им бесполезен. Как им помочь? Чем он мог облегчить их участь? И даже как он мог бы связать себя с ними, отдать им свою силу до последнего дыхания, свою душу, загореться их горением? Ведь они *совсем другие.* Впервые в жизни он увидел именно других, *совсем других...* и это было терзанием, чисто физической болью... В Пантемонской казарме, в кофейне Фраскати или среди убегающей по дорогам своры для него не было *совсем других,* как для лесных зверей прочие звери в лесу не бывают совсем другими. В обществе, к которому он принадлежал, в лицее, в ателье художников и среди мушкетеров людей отличали друг от друга мундир, фрак, прическа. А здесь разница между людьми,— живыми существами из плоти и крови,— и сходство их между собой зависят от обстоятельств, о которых до этой ночи Теодор Жерико никогда не думал, от обстоятельств трагических.

Вот именно... нынче он вступил в мир трагедии. Он вступил в этот мир... вернее, остановился на пороге... Зашел уже слишком далеко и не может отступить, но все же чужд этому миру и не способен сделать еще один шаг, который ввергнул бы его в геенну огненную. Он здесь, и как будто его нет здесь. Не может же он вмешаться в их споры! Ведь если бы его вдруг обнаружили, то, конечно, сочли бы преступником, шпионом... негодяем. И его охватил ужас не потому, что он испугался неминуемой кары — физических страданий и смерти: его наверняка убили бы... Нет, его страшило совсем иное: мучительна, невыносима была мысль, что ему так и не удастся рассеять заблуждение, жертвой которого он станет, и он умрет, не успев объяснить, что́ в нем сейчас происходит, сказать этим людям, что он вовсе и не думал приходить сюда, попал к ним нечаянно, но теперь и в самом деле, в самом деле он на их стороне.

В Фёльклингене я боялся, как бы не стали убивать тех, *других,* на моих глазах, от моего имени, и я бы не мог им сказать того, что не решался сказать самому себе...

Но разве мог Теодор действительно понять и этих людей и то, в чем у них были самые важные разногласия? Одни говорили о нации, взывали к патриотизму, а ведь он-то не хотел воевать, он допустил, чтобы его отец нанял за деньги рекрута, такого же человека, как они оба, чтобы тот пошел умирать вместо Теодора Жерико... И однако ему очень хотелось, чтобы говорившие здесь о патриотизме убедили тех, кто лишь смутно угадывал истину этих слов,— тех, кто был в конце концов таким же, каким был он: их тоже не приводила в восторг необходимость пожертвовать собою, ибо они хотели жить. Они говорили — *голод, хлеб.* Разве мог Теодор Жерико понять их, ничего не зная об условиях их существования, да и об их мыслях тоже,— ведь он, например, не знал, что тот, кто как будто хотел только есть, готов скорее умереть, чем выдать тайны своих братьев, ибо дал в том клятву где-нибудь в Лилле или в Руане на собрании «Волков», странную клятву, которая была его поэзией и поэзией его собратьев... Теодор ничего не знал о союзах подмастерьев, а ведь из участников ночного собрания, вероятно, многие принадлежали к этим тайным обществам,— например, слесарь из Вимё, говоривший против клубов, состоял в Союзе Свободы, плотник из Амьена был «городским старейшиной странствующих подмастерьев» плотничьего цеха, «славных малых», как они себя называли; состоял в цеховом союзе и каменотес из Дуллана, хотя в ту ночь на правом лацкане его куртки не было отличительного знака «Волков» — пучка развевающихся длинных лент зеленого и голубого цвета... Теодор не знал, каких усилий стоило «революционным агентам» Организации привести их сюда — ведь из Парижа пришло указание вовлечь подмастерьев в движение. Ничего он не знал, да и никогда не узнает об их моральном уставе, который требовал карать преступление и чтить добродетель, ничего не знал о соперничестве между союзами, о столкновениях между «оседлыми» и «странствующими», о проклятьях, которые булочники слали сапожникам, о схватках между членами враждующих союзов, а ведь совсем недавно в Абвиле произошло сражение между «детьми Соломона» и «детьми Отца Субиза», и одного плотника убили ударом палки, окованной железом. В ту ночь пришедшие сюда члены тайных союзов не говорили на странном своем языке, не именовали друг друга пышными прозвищами, в которых сочетались названия городов и цветов, не старались распознать своих собратьев; они стояли среди заговорщиков, а может быть, завтра им предстояло стоять перед полицией и отвечать на допросе, бывают ли они у «Матери», знают ли они «Возницу» и что такое «мозаичный пол» или «зубчатый хохолок». На этом собрании, куда они пришли как свидетели, как наблюдатели, их ни в чем не убедят,— для того, чтобы их убедить

в некоторых вещах, понадобилось целое столетие и три революции. А сейчас никто не убедил их, даже выступавший в конце собрания человек, присланный из Парижа,— господин Жубер; Теодор находился как раз позади него, и вверху, над головой мушкетера, невольного соглядатая, при свете факелов четко вырисовывались движения правой руки оратора, в которой он держал шляпу.

Господин Жубер не сказал в своей речи ничего нового по сравнению с тем, что накануне говорил урывками в фургоне Ван-Робэ молодому вознице на перегоне между Бовэ и Пуа. Правда, сейчас он говорил все это более связно и слова употреблял давние, немножко старомодные, находил аналогии в греко-римской античности. Не все доходило до слушателей — у каждого свое пикардийское наречие... но, в сущности, Теодору Жерико как раз эти слова и были понятны, и хотя его несколько раздражала «давидовская» торжественность речи оратора, она внушала уважение. Как раз таких тирад он и ожидал, они напоминали ему беседы с дядей-цареубийцей и то, что в детстве рассказывал ему о своем отце маленький Дьедонне на берегу Сены, когда по лугу пробегали нестреноженные лошади, а буйный ветер гнал по реке высокие волны с белыми гребнями. Но явственнее всего Теодору слышался в этой речи голос многолетней верности, необычной в те времена непрестанных измен, и для него вопрос был не в том, прав ли господин Жубер в целом и в частностях, а важна была эта верность, которую он чувствовал в его словах. Теодор Жерико считал верность делом чести,— даже верность тому, во что уже не веришь. А господин Жубер говорил о Дартэ так же, как говорил о нем на этом собрании человек из Бетюна, говорил о Бабёфе, чьи убеждения выковывались как раз в тех краях,— между Абвилем и Амьеном,— среди таких же вот бедняков или подобных им... говорил об отце Бернара, расстрелянном в Аррасе... Теодор затрепетал, нахлынули всякие смутные мысли, вспомнилось, что в прошлое воскресенье, утром, они стояли на Гренельском плацу, где были расстреляны генералы Мале и Лагори... вспомнились «Китайские бани», толпа, ринувшаяся в Пале-Ройяль... все это ведь не было далеким прошлым, делами давно минувшими, о которых старик Жерико с ужасом размышлял вечерами у камелька... Нет, все эти события произошли только что и происходят сейчас, в них участвуют по разным причинам его современники, живые люди, которых можно встретить тут, там, у которых своя жизнь, свои взгляды, люди, которые пронесли через годы Директории, Консульства, Империи крепко засевшие в них убеждения и вот эту последовательность мыслей... И конечно, ни у кого из этих людей нет старинных особняков на улице Победы или на улице Сент-Онорэ, им

не нужно спасать свои поместья, ордена, титулы... И вот один из них утверждает, что Наполеон, тот самый Наполеон, который возвращается во Францию и гонит перед собою убегающих дворян, принцев и короля... это уже не прежний, раззолоченный Наполеон, раздававший доходные местечки,— он будет другим, если мы того пожелаем, если сумеем этого добиться, если мы направим его и сумеем объединиться.

— Кто это «мы»? — крикнул кто-то, и оратор смутился. Ведь это крикнул не ткач из Абвиля, не плотник из Амьена, не батрак из Понтье, а Бернар, молодой человек во фраке английского покроя, сын якобинца, расстрелянного в Аррасе. Вновь поднялся шум, но теперь Жерико, примостившийся внизу, на откосе, не хотел больше ничего слушать, ничего не хотел знать. Он уже услышал то, что было важно для него. Какое могло иметь значение все остальное? Зачем ему знать, разойдутся ли эти люди чужими друг другу или примут сообща какие-то решения, и к чему на деле приведет это сборище? Не надо ему этого знать, это его не касается, а иначе будешь чувствовать себя соглядатаем... ведь завтра утром опять предстоит тащиться по дорогам в свите до смерти перепуганного короля.

Пора было ретироваться, воспользовавшись шумным спором. Медленно приподняться, встать и, оборвав ниточку близости, уйти отсюда, пробраться опять через лесную чащу, через укрепления, через кладбище. Сердце у Теодора колотилось. Он не хотел, чтобы его заметили, схватили... Еле слышный шорох сухих листьев и веток, которые он раздвигал... неуверенность — все воспринималось с необычайной остротой, вызывало ужасное смятение, каждая жилка была напряжена. «Что это, неужели я боюсь? Да нет, не то. Я не боюсь. Только не хочу, чтобы меня схватили. Не хочу — из-за тех мыслей, которые теперь у меня появились. А ведь никто не поверит, не сможет поверить, что у меня теперь такие мысли. Надо изловчиться и уйти — ради себя самого и ради этих людей. Ведь это их самих я спасаю сейчас... спасаю, потому что теперь думаю согласно с ними...» Сабля, висевшая на боку, мешала, приходилось все время придерживать ее рукой, чтобы она не стукнула о дерево, не зацепилась за куст. Попробуй найти дорогу среди этих лунных бликов и густого мрака, в котором уже исчезли огни далеких факелов. А выбравшись из леса, куда идти? Сюда они пришли с Фирменом вон с той стороны, это несомненно,— значит, сейчас надо повернуть налево... Сразу похолодало. Из-под ног вырвался и с шумом покатился камушек. Теодор замер, вслушиваясь в тишину, потом осторожно двинулся через развалины к белевшей в темноте крепостной стене... Он ошибся: к бреши вела другая тропинка. Можно было спрыгнуть и тут —

стена не больше трех метров высоты, но, пожалуй, услышат шум и всполошатся. Он пошел дальше вдоль стены, продираясь сквозь кустарник; одежда цеплялась за сучки, за колючки, за старые побеги терновника... Очутившись наконец на кладбище, он почувствовал себя вне опасности. Вздохнул с облегчением, окинул взглядом могилы, высокий силуэт колокольни и, выйдя из ворот, начал спускаться по лестнице... Вдруг навстречу метнулась черная тень: какой-то человек загородил ему дорогу, зашептал что-то... Теодор выхватил саблю, замахнулся. Человек отскочил.

— Не троньте... это ж я, я — Фирмен!

Теодор опустил саблю, и тогда подручный кузнеца опять подошел, вытягивая шею и сгибая спину. Луна осветила его противную рожу с перешибленным носом, и видно было, как блестят у него глаза; Теодор левой рукой схватил его за плечо, крепко стиснул и, почувствовав, что сжатые мышцы судорожно вздрагивают, словно кольца змеи, выдавая тревогу Фирмена, потащил его за собою: «Ни слова! Идем!» Они повернули на площадку, расстилавшуюся у подножия высокой средневековой стены, и тогда внизу, за парапетом, увидели белевшие при луне шиферные крыши и глубокие узкие дворы, как воткнутые между домами черные кинжалы мрака. Спустились по лестнице, потом по дороге, дошли до первых домов, кровли которых были ниже дороги, и свернули в темный переулок.

И тут Фирмен, до тех пор покорно подчинявшийся крепкой руке, которая сжимала его плечо, вдруг вырвался, словно хотел убежать, но вместо этого прижался к мушкетеру, торопливо забормотал на своем пикардийском шепелявом наречии, напирая на Теодора всем телом, остановил его и что-то стал нашептывать ему в самое ухо. Теодор грубо его оттолкнул — в этой липкой назойливости, в этой наглости было что-то мерзкое. «Что ты бормочешь? Говори громче, разборчивее». И наконец понял: «Надо ваших солдатов позвать...» Тогда он еще крепче схватил доносчика и, хотя чувствовал такое отвращение, будто держал в руке ужа, потащил его к дому кузнеца.

Но Фирмен все дергался, все шипел, и, даже не понимая этого шипенья, можно было угадать его смысл. Ясно было, что он повел мушкетера на гору вовсе не для того, чтобы развлечь его занятным зрелищем. Он требовал, чтобы Теодор позвал «солдатов»: пусть они придут с саблями, с ружьями, оцепят лес и схватят заговорщиков, изменивших королю, арестуют «ихнего Бернара»... Внизу, под горой, где лунный свет заливал улицы, пролегал млечный путь тишины, и все казалось таким огромным и красивым, даже брошенная у сарая тележка с большими колесами, даже грязные лужи перед воротами. На колокольне пробило час ночи.

Теодор, не говоря ни слова, вдруг толкнул Фирмена и, отшвырнув его в тень, падавшую от амбара, подальше от лунного света, прижал к стене и со всего размаха закатил ему две оплеухи, не щадя его гадкой физиономии. Фирмен крикнул что-то, кажется: «Убивают!» Теодор не разобрал, да и не до того ему было. Юный дикарь весь подобрался, напрягся и, прикрываясь согнутой в локте рукой, бросился на него, норовя ударить головой под ложечку. Он промахнулся, от удара оба пошатнулись. Мушкетер инстинктивно схватился за саблю, но прикосновение к холодному металлу словно отрезвило его, и он не вытащил клинка из ножен: повернувшись, выждал второго тарана, опередив противника, откинулся назад и ударил его ногой прямо в грудь с такой силой, что Фирмен отлетел и покатился под откос. Обезумев от ярости, он даже не дал себе времени оправиться и собраться с силами, чтобы снова кинуться на противника, умелого борца, но зато Теодор увидел, как в руке этого бесноватого что-то блеснуло,— возможно, копытный нож. Мушкетер парировал удар правой рукой и сделал выпад левой. Французского бокса тебе мало, голубчик? Ладно, получай английский. И, тоже распалившись злобой, он раз за разом молча наносил удары «ихнему Фирмену»; тот прикрывался локтем, однако не отступал, ударяя в пустоту рукой, вооруженной ножом, перевертывался, бросался вперед... Но вдруг мушкетер ударил его кулаком под подбородок, и Фирмен, рухнув навзничь, лишился чувств.

После такой встряски у Теодора улегся гнев и даже зашевелилась в душе тревога за побежденного противника. Он наклонился над Фирменом, наставив, однако, на него саблю в ножнах... Ужасно неудобно, когда при боксе у тебя болтается на боку сабля... а сейчас, кто его знает, может, юный негодяй, распростертый на земле, притворяется. Но он увидел, как у Фирмена разжалась рука и выпавший из нее нож докатился до лунной дорожки. Теодор подобрал нож и, посмотрев на него, присвистнул. Ничего себе, удобное оружие для подлецов! Потом нагнулся к застонавшему Фирмену:

— Ну, вставай! Хватит. Ты свое получил... Вставай, говорят тебе. Пора домой идти. Слышишь?

Побежденный повернул голову, попытался сесть, привалившись спиной к стене... Он действительно «получил свое». Теодор подхватил его под мышки и, поставив на ноги, прислонил к стене амбара. Взглянув на безобразное лицо Фирмена, он увидел что-то темное, влажное на его губах — кровь... Нож Теодор сунул себе в карман рейтуз и сквозь сукно почувствовал острое лезвие. Он усмехнулся, потом вполголоса сказал:

— Ну полно, держись, будь мужчиной...

Фирмен опять застонал, бессильно склонил голову к плечу и поднес руку ко рту, ощутив что-то мокрое на губах.

— Не бойся, приятель,— просто кровь из носу пошла. Из-за таких пустяков нечего в обмороки падать. Пойдем-ка отсюда...

Подняв левую руку Фирмена, Теодор обвил ее вокруг своей шеи и потащил его, волоча как тряпку... Фирмен всему покорялся, даже пытался сам держаться на ногах и, с доверием тупого существа к грубой силе, опирался на человека, избившего его... Он сказал: «Шпашибо»,— и, шмыгая носом, судорожно всхлипывая, глотал кровь и слезы. Так дошли они до дома кузнеца.

— Ну, смотри, чтобы никакого шума!.. Как же ты все это объяснишь своей Софи? Вот дурень!

В комнате первого этажа Теодор сбросил его как мешок на постель, которую юный предатель устроил себе возле очага.

Фирмен упал на свое ложе, и при последних отсветах огня видно было, как плечи его вздрагивают от рыданий,— он плакал от стыда и отчаяния, прижимая кулаки к разбитой губе, к болевшему подбородку, пряча глаза...

— Слушай и запомни хорошенько, что я тебе скажу, негодяй! Не смей отсюда вылезать до утра. Слышишь? До утра! А не то я выпущу тебе кишки и уши отрежу. Начисто отрежу. Только нос у тебя и останется, обезьяна ты мерзкая! Понял?

Теодор осторожно стал подниматься по лестнице и, останавливаясь, прислушивался. Слух у него был тонкий, и он отчетливо улавливал раздававшиеся во мраке приглушенные короткие всхлипывания Фирмена. В коридоре второго этажа он уже перестал их различать... На чердаке по-прежнему спал как убитый Монкор — ни скрип двери, ни шаги товарища не нарушили его доверчивого сна. А Жерико сел в темноте на тюфяк и долго вслушивался в глубокую и обманчиво спокойную тишину, пытаясь угадать по легким шорохам движения людей, дышавших в этом безмолвном доме. Потом тихонько вытащил из кармана нож, которым кузнец подрезал копыто его лошади. Положил нож на пол. Стальное лезвие блестело. Теодор смотрел на него. И долго не отводил взгляда. Очень долго. Рукам было больно,— ведь он колотил противника изо всех сил, но боль эта вызывала в душе чувство удовлетворения, ибо свидетельствовала, что он задал мерзавцу основательную трепку. Сабля лежала рядом, на тюфяке, и иногда Теодор дотрагивался до нее. Он грезил о чем-то с открытыми глазами, а в оконце теперь глядела на него луна. Как будто он все еще был в лесной чаще, слышал смутный гул голосов, а потом — удивительные, небывалые речи или внезапный звонкий выкрик... Все было теперь не таким, как прежде. Мир стал другим... гораздо богаче и гораздо страшнее... мир, какого он раньше не знал... И столько в нем

было крутых поворотов, и огней, и бездн. Вот она — жизнь. Он все повторял: «Жизнь». В это опьяняющее слово вмещалось все на свете и, переполняя его, переливалось через край вместе с образами, возникшими перед ним в эту ночь, такую необыкновенную ночь, и вместе с этим лунным сиянием, заливавшим кровли домов, и вот с тем жалким существом, что рыдает и всхлипывает там, внизу.

И вдруг сон навалился на Теодора, схватил его за плечи, повернул, как ребенка, и бросил на жиденький тюфяк, сквозь который он даже и не почувствовал жесткие доски пола.

* * *

Он не слышал, как заскрипела входная дверь, как поднимались по лестнице двое возвратившихся мужчин, как они шушукались на площадке второго этажа, как Бернар вошел в свою спальню. Он не слышал, как юный Вертер шагал по комнате взад и вперед, словно лев в клетке, ибо все не мог успокоиться и лечь спать. Не слышал Теодор и его вздохов. И шороха одежды, падавшей на стул. Не слышал, как вновь настала тишина.

Он не знал теперь, что делается внизу. А также за стенами дома. Не видел, как меркнет лунное великолепие. Как бегут по небу черные тучи. Не почувствовал дыхания дождя, опять забарабанившего по крыше,— как будто настойчиво стучали в нее тысячи маленьких указательных пальчиков. Он не проснулся, когда Монкор в младенческом своем сне повернулся и вскрикнул, словно мальчик-с-пальчик в дремучем лесу, когда его, спящего, схватил людоед. Не слышал, который час пробил. И сколько пробило потом.

И так же, как в ту минуту, когда он пытался разглядеть в чердачное окошечко господина Жубера и его спутника, тайком вышедших из дома, он не слышал, как за его спиной отворилась дверь и в темноте приблизился к нему подручный кузнеца, движимый безмолвной ненавистью, так и теперь он не услышал ни шагов, ни дыхания Фирмена, Фирмена, у которого колотилось сердце, звенело в ушах и который уже отворил дверь, вошел в темноте и, растерявшись от того, что скрылась луна, не знал, куда ему двинуться — к кровати или к тюфяку, к которому из двух спящих подкрасться.

В руке Фирмен сжимает теперь не копытный нож, а обычный, очень острый нож, каким режут свиней. Он умел резать свиней,— научился в деревне у своего отца. Он знал, какой безумный ужас охватывает тогда животное; не раз он крепко держал свинью, а старший его брат, оттянув ей голову за уши, вонзал

нож... ему все еще помнился пронзительный, истошный визг свиньи, понимающей свою участь, чудовищный вопль животного, у которого все нутро переворачивается от смертного страха... Фирмен сжимает нож; у ножа твердый клинок,— не сгибающийся, когда его вонзают, короткая и толстая круглая рукоятка из прочного дерева. Таким ножом можно прикончить с одного удара, но для этого надо видеть, куда его всадить. Хочешь перерезать человеку горло от уха до уха, полоснешь с одной стороны, а он проснется, будет биться, захлебываясь своей кровью. Свинью легче зарезать, чем человека. Человеку нужно всадить нож в сердце. У человека все проходит через сердце. Через этот комок, что бьется и бешено трепещет от взгляда женщины. В сущности, Фирмен совсем не уверен, что человек думает только головой. Он смутно чувствует, что и безумства, и великие решения зарождаются у человека в сердце. Да и кровь из жил лучше всего выпустить, ударив ножом в сердце: наружу она не выйдет, вся выльется внутрь,— чуть-чуть окровянит рубашку, а на обнаженной груди останется черная отверстая рана, и из нее будет сочиться тоненькая струйка. Он видел, как убили таким ударом человека: в прошлом году заманили пруссака в ловушку и прикончили... Его держали трое. Могучий был мужчина, силач.

Только надо видеть, где бьется сердце, выбрать место, куда ударить, чтобы не сломалось лезвие о грудную кость, прошло между ребрами и вонзилось в сердце — в самую беззащитную слабину́. Фирмен стоит в чердачной комнате, где свищет холодный ветер, и весь обливается болезненным, липким потом. Каким-то чудом перед ним оказались две жертвы — на выбор, двое спящих. Он прижал к губам левую руку, словно боится крикнуть.

Молоденький офицер, спавший на кровати, повернулся на другой бок. «Опять! Да не ты мне нужен. Но если пырну другого, да поглубже, нож завязнет, а я еще поверну его разок-другой, чтобы разворотить рану как следует, проклятый мушкетер от боли проснется, завоет или станет биться, тогда второй услышит, бросится на меня сзади, а мне-то не вытащить ножа,— застрянет он между ребрами... Ну и вот,— обернусь я, схвачу того, второго... Я, понятно, сильнее, стисну его ногами, а руками схвачу за горло и удушу... глотку перегрызу, глаза вырву... Ох, и кровищи-то!.. Так по мне и потечет... Крышка мне тогда... Шум, гам, грохот, когда по полу покатимся, крики, весь дом проснется, ихний Бернар вскочит, ударит ногой в дверь, ворвется с окаянными своими пистолетами... снизу тоже прибегут... а Софи, Софи... И вот я буду тогда просто убийца, и всё тут... казнят меня в Амьене, на площади... Почему же не пошел я к себе в комнату? Мне бы туда надо пойти, там ведь спит ихний Бернар. Ведь ненавижу-то я Бернара,

а не этого королевского рубаку. И нож-то я припас про него, про Бернара, зарезать его, чтобы не думал о Софи... Так ведь нет! — сюда потянуло, где вот эти двое. Видно, так уж надо. Если начать с молоденького сморчка, тоже чепуха получится. Убить надо обоих, да так быстро, чтоб и проснуться не успели...»

Но Фирмен прекрасно знает, почему он пришел именно сюда, а не к Бернару. Ведь ненависть вскармливаешь своею кровью, она всегда с тобой, от нее пьянеешь, упиваешься ею, она перекатывается где-то у тебя внутри, ты ею живешь, и быстро утолить ненависть было бы просто ужасно; всадить нож в сердце,— да ведь это пустая забава,— хочется иного, чтобы пытка тянулась долго-долго и причиняла муки, невыносимые, лютые муки. Ненависть — это ничто. Страшен стыд, бешеная злоба и стыд. Стыд и согнал Фирмена с его ложа, устроенного в нижней комнате у очага, и привел его сюда, под крышу, в такую густую тьму, что никак не увидишь, куда разить, и он стоит, поднявши нож,— луна не светит, и ударить можно только наугад. А вдруг да промахнешься? Целыми часами можно стоять во мраке, подняв над спящим острый нож. Слышно его дыхание. Вот тут, значит, и бей. Страшно, ужасно страшно промахнуться.

Но ведь этот человек... Как же допустить, чтобы этот человек и дальше жил на свете? Дыхание его — нестерпимый вызов. Как допустить, чтобы он жил и завтра, когда настанет день, чтобы утром проснулся этот человек, который тебя избил до полусмерти, швырнул, будто тряпку, на мостовую, человек, который видел, как ты рыдал от боли и унижения, а потом посмел подхватить тебя, словно старший брат, и поволок с презрительной жалостью?.. Как же допустить, чтобы он остался жив, и как тебе самому жить, когда тебя все бьют — и вот этот спящий, и те, из тайного союза подмастерьев... да еще жить изуродованным, ведь и этот рубака тоже прибавил свою отметину, выбил зуб,— и слышать угрозы, и трепетать, боясь обещанного наказания: «Я тебе отрежу уши, слышал? Начисто отрежу. Только нос у тебя и останется, обезьяна ты мерзкая!..» «Нет, убить его! Только смертью сотрешь такие слова. Зарезать как свинью. Пусть хлещет кровь. И пусть он кричит, пусть... Что мне в конце концов? Наплевать! Арестуют, казнят. Наплевать. Зато услышу, как он будет выть от боли, от ужаса, от страха, от того, что не хочет умирать и все-таки умрет... А потом — будь что будет!» Рука сжимает рукоятку ножа, короткую круглую рукоятку, нож поднят, убийца метит в грудь, ищет в черном мраке место, то место, где сердце... Но ничего не видно, а ведь ненавистный тут, ошибиться нельзя — лежит вот тут и спит (крепко спит!); дыхание со свистом вырывается у него из носа и из горла (должно быть, рот немного открыт у пса проклятого),

дышит тяжело, даже вздохнул и застонал... Надо бить наверняка. Ну, ударь ножом, ударь же, трус поганый! Или ты не понимаешь, что хочешь увильнуть, не смеешь нанести удар?

А Теодор не чувствует близости убийцы. Не видит безумного взгляда, устремленного на него, не замечает, как левая рука ночного гостя тянется к нему, хочет, наглая, пролезть за пазуху, просунуться под сорочку, коснуться обнаженной груди, ощупать, сосчитать ребра, найти роковое место... Теодор спит, и снится ему сон. Может быть, все это он видит во сне, а то, право, не верится, что Фирмен мог проникнуть сюда совершенно бесшумно и так долго стоять, погрузившись в свои свирепые мечты. И почему, в самом деле, Фирмен, если уж он замыслил убийство, не повернул на площадке лестницы в другую дверь, чтобы убить соперника? Мотивы, которыми он сам это объяснял или которые склонен был приписать ему читатель еще прежде, чем у нас об этом зашла речь, объяснимы только логикой кошмара, в них нет ни малейшей реальности. Так же, впрочем, как и во всей этой ночи: в ней все противоречит здравому смыслу — и это приключение при лунном свете, и кладбище, и кустарники, и неправдоподобное собрание каких-то выдуманных людей, которые держат немыслимые речи при фантастическом свете факелов! Почему они собрались ночью, да еще в такой вечер? А если бы дождь пошел? Бросьте, это ни в какие ворота не лезет.

Ничего этого не было. Может быть, все это лишь сон Теодора, Теодора, который и не думал вставать с тюфяка, когда услышал, что из дома кузнеца вышли два человека; он уснул и, так сказать, раздвоился во сне, а тогда перед его глазами возник на чердаке пикардийский Яго,— самым неправдоподобным образом. Не видел в действительности Теодор никакого сборища за кладбищем, не колотил Фирмена, и кровь этого малого не запачкала ему пальцев,— он спит — вот и все; он спит.

Да и видел ли он такой сон? Вот история Юдифи и Олоферна ему когда-то пригрезилась. Юдифь нагая, лишь в чулках с голубыми подвязками. Но этот подручный кузнеца с перебитым носом, весь обливающийся потом, жалкий, униженный до глубины души, совсем и не снился ему... Нет, нет... дайте подумать. Не Теодор видел этот сон. Теодор — вот он: лежит на тюфяке, полумертвый от изнеможения, до того усталый, что не может видеть никаких снов... Так кому же все это приснилось? Кому-то другому. Ну, например, юному Монкору. Ведь это сон школьника. Монкор частенько видел такие сны в пансионе Гикса, где он учился вместе со своим товарищем Альфредом де Виньи... У обоих мальчишек голова была забита романами. Ну конечно,— все это нелепый сон Монкора, начитавшегося романов госпожи Радклиф и подобных

ей сочинителей. В доме все спокойно, на чердаке нет никаких призраков; Бернар спит под красным стеганым одеялом; ниже, во втором этаже, кузнец, сжимая Софи в сильных своих объятиях, унесся в тот мир, куда нам с вами доступ заказан... а в первом этаже, близ очага, лежит Фирмен,— он и не думал подниматься на чердак, и в руках у него нет ножа; да вот он, нож,— в ящике стола, посмотрите, а Фирмен наплакался вдоволь и заснул, как все, и тоже видит сон: снится ему, что он силен, красив и счастлив, ибо Софи любит его и нос у него не перешиблен...

Вот разве только... Ну, разумеется, какие же могут быть сомнения! Это я — я видел такой сон! Клевал, клевал носом и в конце концов уронил голову на страницу рукописи, размазав синие чернила спутанными волосами. Я сплю, прижавшись щекой к листу бумаги; левая рука свесилась вдоль ножки стола. Правая согнута в локте, в пальцах все еще зажато «вечное перо», кончик пера прорвал бумагу и сломался под тяжестью головы, упавшей на кисть руки. Я сплю. Я вижу сон. Все это приснилось не кому-то другому, а мне. Ну, понятно. Ведь в конце концов все это не жизнь Теодора, а моя собственная жизнь,— разве вы не догадались? Ничего этого не могло происходить в 1815 году, сами понимаете. Источники рассказа очевидны: это моя жизнь, моя жизнь. И не только то, что было в 1919 году в Фёльклингене,— не только. Вся моя жизнь. Опыт всей моей жизни. И ведь это моя манера — узнавать мимоходом на жизненном пути подробности чужого ремесла: как подковывают лошадь да как куют саблю, или условия работы шоферов такси в 1934 году,— людей, которые вошли в один из моих романов, переодетые в костюмы шоферов 1911 года, или условия труда мойщиков автомобилей в одном из гаражей Пасси, подробности жизни и подпольной работы шахтеров Ланса и Карвена, когда шли бои среди терриконов, в дни отступления французской армии... Политические митинги... Разъединенный, расколотый народ, когда самые что ни на есть бедняки, не знающие куда податься, идут против собственных интересов. О, это отсутствие идейного единства! Сколько времени понадобилось, чтобы все в конце концов наладилось или как будто наладилось... Помнишь, какой восторг охватил тебя в день 27 сентября 1935 года, на митинге, когда было принято решение о профсоюзном единстве?

И вот опять все нужно начинать сызнова. Здание построено было на песке, волна прибоя все смыла. Двадцать лет... Что было у меня в голове, когда я писал про «ихнего Бернара» и назвал его «сыном человека, расстрелянного в Аррасе?..» Да неужели все начинается сначала — ружейные залпы, трупы во рвах? Время отчаяния. Опять пережить все это? Ах, я не так уж дорожу

жизнью, но хочу умереть, не видя, что все это подготовлено, заверчено, пущено в ход! А Жерико? Что ж, его интересовали только горячие скакуны да игра света и тени, контрасты. Вы же понимаете, сон-то вижу я, а не кто-либо другой, сон, приснившийся мне в середине XX века, когда одно разочарование следует за другим и столько пролито крови... Опять?.. Неужели Наполеон должен был убить республиканцев? Сколько пролито крови! Товарищи мои, товарищи! И столько вполне очевидных истин вновь поставлено под вопрос. Люди ошибались и будут ошибаться. Опять будут терзать друг друга, убивать своих, собственную свою плоть. Где тут бьется сердце? Куда вонзить нож? Руку направляет ненависть, но также и стыд. Эх, я все смешал вместе, но сон-то все-таки вижу я, в самой середине XX века, в стране, где народ расколот,— да, именно я, а вовсе не юный Монкор или...

Доказательство? Вот оно, доказательство: история с поисками того места, где бьется сердце. Эту историю о ноже, поднятом в ночном мраке, и об убийце, который колеблется, колеблется невероятно долго — целые часы, и все ищет место, куда вонзить нож, желая убить наверняка и так, чтобы рана похожа была на укол, на пункцию, и выкатилась бы и застыла рядом с нею только одна крупная капля крови, под левым соском,— невидимый след, верный удар... Послушайте, послушайте, можете читать и перечитывать все романы госпожи Радклиф и ей подобных, перелистывать их, махать этими книжками, вытряхивать и оттуда и отсюда все заключенные там призраки,— ничего такого вы не найдете ни в одном из увесистых томов, которые юному Монкору тайком передавал под партой его приятель Альфред де Виньи на уроках в пансионе Гикса. Зато я знаю, откуда взята эта история. Сказать вам? Взята она в самом деле из английского романа, но такого, который был написан через тридцать или через сорок лет,— не помню хорошенько, да это и не важно, посмотрите в энциклопедическом словаре, а важно главное: ни «ихний Фирмен», ни Жерико, ни Монкор никак не могли читать «Мартина Чезлвита» за тридцать или за сорок лет до того, как Диккенс написал его... Тогда как я... О, я знаю этот роман с самого своего детства: по вечерам, чтобы меня убаюкать, мама мне читала Диккенса (издание Ашет, по двадцать су за выпуск, в красной обложке), и не раз, а тысячи раз я видел во сне эту сцену: как человек входит в спальню и долго ищет то место, где у спящего бьется сердце... Вот уже четыреста с лишним страниц я вижу сон,— ничего этого не существовало, или, вернее, все это существует во мне, хотя у нас теперь и железные дороги, и радио, и радары, и больше уже нет кузниц на дорогах от Парижа к Кале, вместо них — бензиновые колонки и станции «универсального обслуживания», а по обе-

им сторонам шоссе в мартовских полях ползут большие тягачи, красные, как обложки диккенсовских романов и как пролитая кровь, и в низинах, где выжигают прошлогоднюю стерню, клубится и стелется черный дым.

XI

НА ДОРОГАХ

Наконец она миновала, эта бесконечная ночь со вторника на среду,— в хмуром небе забрезжила заря. Снова полил затяжной дождь; в Пуа просыпаются черные мушкетеры и серые мушкетеры. В эту ночь король решился наконец направиться кратчайшей дорогой из Абвиля в Лилль, о чем его с утра умолял Макдональд, меж тем как самому королю хотелось следовать по берегу моря через Кале, через Дюнкерк, будто и в самом деле он мог там в любую минуту сесть на корабль в случае появления кавалерии Эксельманса. Да ведь и королевские сокровища, бриллианты короны, были отправлены вперед по этому пути: их вез господин Гюэ в простом фургоне, задрапированном траурным покровом,— встречные снимали шапки, принимая этот экипаж за катафалк, в котором увозят прах Людовика XVI и Марии-Антуанетты. Итак, Людовик XVIII, пожалуй, не отказался от своего намерения бежать в Англию, против чего горячо возражал его брат; хотя надо сказать, что в эту ночь его высочество, остановившись в Гранвилье, не мог уснуть и, беспрестанно ворочаясь в постели с одного боку на другой, все старался убедить себя, что в конце концов лучше всего было бы сесть на корабль в Дьеппе или же в Трепоре, и сто раз перебирал в уме фразы из будущего своего письма к Людовику Желанному, которыми надеялся убедить его.

В девятом часу вечера Луи-Филипп Орлеанский и маршал Мортье, герцог Тревизский, возвратились в Лилль из Валансьена, где они делали смотр войскам. Обоих тревожило то обстоятельство, что они надолго оставили без своего надзора полки, находившиеся в Лилле. О бегстве короля они узнали только во вторник утром из депеши, присланной приверженцами Бонапарта и, отправляясь в Валансьен, постарались скрыть от всех это сообщение. Но ведь все быстро становится известным, и теперь их томило беспокойство. Почему нет ни слова от его величества? Где же находится король? Сейчас самым главным было держать солдат и население в неведении. Следовало бы закрыть все заставы, чтобы в Лилль не могли пробраться люди, подосланные Узурпатором. Досадно только, что тогда крестьянам трудно будет подвозить съестные припасы, а ведь в среду базарный день. Решили отворять то одни ворота

города, то другие — по очереди. При той полиции, какая имелась, невозможно было держать под наблюдением более одних ворот зараз. Приблизительно через час после возвращения в город герцога Орлеанского приехала его сестра и сообщила последние новости об ужасах, происходивших в Париже. В разгар беседы брата с сестрою доложили о прибытии эстафеты из Абвиля: нарочный привез письмо от господина де Блакас, который извещал Луи-Филиппа, что его величество находится в Абвиле и будет ждать там членов королевской семьи и свой двор, после чего примет решение о дальнейшем пути следования. В тот самый час в театре города Лилля после пьесы «Охота Генриха IV», которая с большим успехом шла три дня подряд, как раз заканчивался первый акт второй пьесы, добавлявшейся к «Охоте»,— водевиля Скриба и Николо Изуара «Джоконда, или Искатели приключений», где в финальной сцене актеры пели:

Объявлен крестовый поход!
Военные стяги подъяты!
Нас слава бессмертная ждет,—
Украсим мы лаврами латы.
Неверных повергнем мы ниц!

Весь зал слушал эти куплеты стоя; в порыве неописуемого восторга зрители кричали: «Да здравствует король! Изгоним врага!» Осведомитель герцога Орлеанского поспешил довести об этом до его сведения, но герцог решил, что, очевидно, офицеры гарнизона не ходят в театр, ибо знал их умонастроение, внушавшее ему крайнее беспокойство. Правда, в прошлое воскресенье, когда герцог присутствовал на представлении «Джоконды» (как раз в то время, когда его царственный родственник пустился наутек из Парижа), он собственными своими ушами слышал громкие возгласы: «Да здравствует герцог Орлеанский!..» — и заметил, что они исходят от группы людей в военных мундирах... Это давало основание поразмыслить о том, что может произойти, если Людовик XVIII отправится на корабле в Англию, а он, герцог Орлеанский, находясь во главе Фландрской и Пикардийской армий, окажется единственным представителем династии, способным дать отпор Узурпатору... И опять, опять ему казалось, что стоит только протянуть руку, и он схватит корону. Неужели так и пройдет вся жизнь в этом искушении, в этом мираже? Главное сейчас — притаиться: ни малейшего ложного шага, ни одного преждевременного жеста. Страх выдать себя у этого принца был даже сильнее, чем жажда власти. Ах, долго ли еще придется хитрить? А пока что перед отходом ко сну он долго обсуждал с герцогом Тревизским, какие меры следует принять завтра. Провести смотр гарнизона,

выступить с речью перед этими людьми, воззвать к их патриотизму.

Ради безопасности прежде всего было объявлено по всем городским заставам, что запрещается впускать в Лилль господина Бурьена, того самого Бурьена, которого тринадцатого марта король назначил префектом парижской полиции. В понедельник утром он бежал, не имея особого желания дожидаться прибытия Наполеона,— ибо тот еще в Канне внес его в список лиц, подлежащих ссылке. Как? Все ворота заперты? Бурьену пришлось искать ночью пристанища в предместье. Да еще хорошенько не зная, кто хозяйничает в Лилле: король, возможно уже добравшийся сюда, или военные бонапартистского толка, от коих он мог ждать всяческих неприятностей. А может быть, город в руках герцога Орлеанского, вполне способного повести свою собственную игру... О боже! Так спешить, гнать на перекладных через города, где звучали ликующие песни и развевались трехцветные флаги, бояться, как бы тебя не узнали и, наконец, приткнуться в какой-то дрянной нетопленной каморке и зря потерять целую ночь!

А в городе Абвиле дела пошли совсем не так, как возвещало письмо господина де Блакас. Король в конце концов послушался советов своего маршала, герцога Тарентского. Уж не склонило ли его к этому появление гонца, прискакавшего во весь опор? Уж не подтвердились ли слухи о приближении императорской кавалерии? Но возможно также, что на решение Людовика XVIII повлияли крики: «Да здравствует император!» — коими оглашали город военные. В Абвиле стояли кирасиры, отличавшиеся самым предосудительным образом мыслей. Но как бы то ни было, до последней минуты ничего не было известно, и супрефект, господин де Вервиль, восторгался спокойствием его величества,— ведь приближенные так упрашивали его ускорить отъезд (особенно усердствовал Бертье, который везде и всюду появлялся теперь со шкатулкой госпожи Висконти под мышкой и не мог сидеть спокойно с той минуты, как Макдональд в нескольких словах наспех рассказал ему, что произошло в Сен-Дени, в гостинице, находящейся на улице Компуаз). Но его величество согласился лишь на час раньше отобедать в здании супрефектуры, его резиденции со вчерашнего дня. Насколько позволяли возможности Абвиля, обед происходил с соблюдением церемониала, принятого в Тюильри, и притом какой обед! Поистине королевский: семь перемен, семь великолепных блюд. А какая веселая застольная беседа! Король неустанно рассказывал игривые истории,— совсем как в Версале! Только для успокоения Бертье он приказал отправить Макдональда вперед в качестве разведчика,— впрочем, выбора не было: не осталось ни охраны, ни гонцов. Взять кого-либо из десяти всадни-

ков, которыми сейчас располагали, значило ослабить эскорт королевского поезда... Пусть едет Макдональд. Должен же маршал Франции хоть на что-нибудь годиться. И пусть его сопровождает генерал Гюло,— вот вам и авангард. «Мы вас скоро догоним». Но Бертье тревожился: ему хотелось после обеда получше расспросить Макдональда. Скоро догоним?.. Легко сказать!..

— Ну конечно, догоним. Все успеется. Дайте-ка мне лучше попробовать вот это винцо... Что это? Шамбертен или что-нибудь другое?

— О, ваше величество, какой вы знаток!

— Ну да, шамбертен, конечно, шамбертен... Погодите, какого года? Я думаю, тысяча восемьсот одиннадцатого, а? Нет, нет,— вероятно, моложе... восемьсот тринадцатого,— готов держать пари!

Супрефект не мог прийти в себя от изумления.

Макдональд переменил лошадей в Эдене,— вернее, не совсем так: ведь господин де Вервиль счел своим долгом сказать, деликатно кашлянув, что в городе царит отвратительное умонастроение, а посему авангард королевского эскорта, минуя город, направился прямо в предместье Маркон, расположенное на холме,— в трактир господина Куронне [1], которого уже сама фамилия обязывала питать верноподданнические чувства, и этот трактирщик, будучи предупрежден Макдональдом, послал в Сен-Лэ на почтовую станцию за лошадьми для шести экипажей. Но Бертье все еще не удалось поговорить с Макдональдом,— как только в королевском поезде сменили лошадей, тотчас отправились дальше. Так и доехали до Сен-Поля.

Луна уже светила вовсю, когда шестерка лошадей примчала в Сен-Поль короля в тяжеловесной берлине с двумя скороходами в придворной ливрее; скороходам не очень-то было тепло часами сидеть на запятках, скрестив на груди руки: путешествие мало напоминало прогулки в карете вокруг столицы, которые отец Элизе рекомендовал его величеству в качестве целительного средства от ревматизма! Вслед за берлиной, сопровождаемой эскортом всего лишь из десяти человек, двигалось еще пять экипажей, и в заднем среди слуг пристроился зайцем отец Элизе. Перепрягали лошадей опять за городом, у Бетюнской заставы, где в ожидании королевского поезда остановился Макдональд, что, конечно, сразу привлекло внимание городских властей. Королю предложили отдохнуть в ближайшем доме. Район был бедный, населенный ремесленным людом: тут пряли лен и вязали чулки на ручных станках, имелась тут также печь для обжигания извести и гончарная мастерская. С большим трудом извлекли его величество из кареты,

[1] От французского слова couronné — коронованный.

почти что на руках дотащили до дверей убогого домишка одинокой вдовицы, и он очутился в низкой комнате, загроможденной всякой хозяйственной утварью; с холодным полом, выложенным плитками. Полуодетая, заспанная старуха хозяйка преисполнилась ужаса и восторга: в ее доме король! Великое происшествие вторглось в ее жизнь так нежданно, она совсем к нему не подготовилась, и вот все пройдет бесплодно для нее. Она растерянно озиралась, не зная, что бы ей сделать достойного огромности события. Господа в расшитых мундирах осторожно усадили короля в единственное кресло вдовы, стоявшее у очага, где в этот ночной час уже не горел торф: вдова все оглядывала свою настывшую, пропахшую дымом комнату, искала какую-нибудь красивую вещь. И она увидела то, что было для нее предметом гордости и олицетворением уюта,— выцветшую и потертую тяжелую оконную занавеску с бахромой, защищавшую от холодного ветра. Услышав, что король заохал: «Ох, ноги мои, ноги!» — старуха резко дернула занавеску и, оторвав ее от карниза, разостлала на полу, как ковер, под августейшими ногами. Еще в Абвиле обнаружилось, что дорóгой на какой-то остановке украли туго набитый саквояж его величества, в который при отъезде наспех затолкали различные принадлежности его туалета; пропали рубашки,— это бы еще с полбеды, но главное — исчезли домашние туфли, а ни у одного из городских сапожников не нашлось мягких шлепанцев, которые могли бы вместить огромные и бесформенные ступни короля.

Несмотря на поздний час и уединенное место, людская назойливость могла все-таки обеспокоить монарха, а посему у дверей следовало поставить караул. Караул? Прекрасно, а где взять для этого солдат? Эскорта и так уж не хватало для охраны королевского поезда и спереди, и с тыла, и со стороны города; пришлось поставить часовыми у домишка престарелой вдовы тех, кто был под рукой: роль эта выпала маршалу Бертье, который грыз ногти от нетерпения и частенько бросал тревожные взгляды на драгоценную шкатулку,— ему пришлось на время расстаться с нею и, к великому своему беспокойству, поставить ее на старухин комод; вторым часовым был сам Блакас; два этих сановника, стоявшие с саблями наголо, представляли собою довольно забавное зрелище. Бертье был в отчаянии: стоя в карауле, он опять пропустил Макдональда. Какая физиономия была у местного мэра, господина Годо д'Энтрега, когда он прибежал приветствовать короля, проездом оказавшегося в его городе, и вдруг увидел перед собою две скрещенные сабли, закрывшие ему вход в лачугу, и узнал в опереточных разномастных стражах двух высоких особ: черномазый толстяк оказался князем Ваграмским, а красноносый верзила, с волосами вроде пакли, был как-никак министром королевского

двора! Блакаса лишили сна заботы о судьбе его коллекции медалей,— она была, конечно, вывезена заранее и, разумеется, в Англию, но никаких вестей ни о коллекции, ни о своей молодой жене он не имел. О, за жену бояться нечего! Англию она знает, отлично говорит по-английски... У Бертье тоже сон бежал от глаз: уж очень его встревожил короткий разговор с Макдональдом в Абвиле, рассказ о встрече с госпожой Висконти в Сен-Дени и «легком недомогании», заставившем ее возвратиться в столицу. Не надо было уезжать... ни в коем случае не надо было уезжать... Увидит ли он когда-нибудь Гро-Буа и особняк на бульваре Капуцинок? Если бы хоть можно было увезти с собой портрет Джузеппы, написанный Жераром! Джузеппа!.. А вдруг у нее серьезная болезнь!..

Еще не было пяти часов утра, когда резвые кони, которых запрягли в Сен-Поле, доставили королевский поезд на главную площадь Бетюна, где остановились для новой перепряжки. Погода была лучше, чем в Пуа, дождь еще не шел; почтовая станция находилась в старинном доме, напротив башни с часами,— монумента, украшавшего середину площади; вокруг нее теснились, однако, вопреки предписаниям властей, торговые ряды с различными лавками, построенными главным образом в восемнадцатом веке; в страстную неделю почти все пространство между этими торговыми заведениями и домами, окаймлявшими площадь, было загромождено дощатыми бараками и балаганами, потому что в Бетюне открылась ярмарка,— не та, что бывала в октябре и заполоняла весь город, а небольшая ярмарка, которая длилась всего два-три дня и не выходила за пределы главной площади, где располагались тогда и рыночное торжище, и кочующие увеселительные заведения, так что жандармам приходилось охранять ярмарку от покушений городских воров и от приезжих жуликов, возможно гнездившихся в ярмарочных фургонах. Кто их знает, вон тут сколько цыган! В общем два караульных жандарма дремали в ту ночь на почтовой станции, помещавшейся в «Северной гостинице», и проснулись, только когда подъехали экипажи королевского поезда и остановились на углу улицы Большеголовых. Но спросонок жандармы не сразу поняли, с кем они имеют дело.

Лошадей распрягли; было еще совсем темно, однако шумная суматоха разбудила цыгана, спавшего нагишом в своей будке на колесах меж двух косматых мишек в намордниках,— так он мог не бояться холода. Цыган с любопытством посмотрел в окошечко, прорезанное в задней стенке фургона, увидел, как снуют станционные конюхи с факелами в руках, снимают сбрую, ведут под уздцы лошадей. Первой догадалась о том, что происходит, старуха в черном плаще с капюшоном, сестра Фелиситэ, сиделка при боль-

нице святого Иоанна, бывшая монахиня, во время революции вернувшаяся с разрешения епископа в мир. Что она делала на площади в такой час? Да вы, вероятно, позабыли, что дело было на страстной неделе, и весьма возможно, что сестра Фелиситэ возвращалась из церкви св. Вааста от всенощного бдения перед причастием. Она и в самом деле вышла оттуда, намереваясь отправиться потом к заутрене, которую здесь называют дневной службой. Из любопытства сестра Фелиситэ подошла поближе, желая хорошенько рассмотреть пухлую физиономию какого-то толстого человека, высунувшего голову из дверцы берлины, и, когда промелькнувший около кареты факел осветил его, она вдруг узнала короля — не по портретам, а потому, что видела однажды его самого — в 1814 году, в Кале, через который проезжала, возвращаясь из Англии: она ездила туда ухаживать за своей племянницей, родившей ребенка. Король!.. Иисусе сладчайший, что же это значит? Сестра Фелиситэ не могла удержаться, подошла еще ближе, и взгляд августейшего беглеца упал на нее. Она пролепетала: «Ваше величество...» И Людовик XVIII вспомнил в это мгновение Варенн и своего казненного брата, которого на пути бегства узнали на почтовой станции, когда меняли лошадей... Он вяло кивнул головой этой иссохшей старухе, похожей на самое смерть.

Осмелев от королевского кивка, сестра Фелиситэ придвинулась к самой дверце кареты и, поклонившись, воскликнула с тревогой:

— Государь, что несет нам ваше достославное посещение? Случилось какое-нибудь несчастье?

Короли должны лгать умело,— это их ремесло. «Желанный» слегка поднял свои тяжелые веки, шевельнулся, превозмогая боль в пояснице, плавно повел рукой и в утешение монашке сказал:

— Успокойтесь, все будет хорошо...

Разве такие слова можно хранить про себя? А в пять часов утра кому же можно о них рассказать? Сестра Фелиситэ зашла в «Северную гостиницу» и встретила там жену хозяина скобяной лавки — госпожу Брассар в капоте и в папильотках,— ее разбудил начавшийся на площади шум, она отворила ставни, а затем отправилась на разведку. Сестра Фелиситэ, воображая, что говорит тихонько, возвестила пронзительным голосом:

— Все будет хорошо! Все будет хорошо!

Тут один из жандармов, дремавший на мягком диванчике, поднял голову.

— Король! — завопила сестра Фелиситэ, и госпожа Брассар, поняв наконец в чем дело, побагровела от волнения:

— Король! Король в нашем городе! Скажите, что надо сделать? Ах, вот что: принести ему чего-нибудь горяченького!

Превосходная мысль. Сестра Фелиситэ одобрила ее и посоветовала сварить шоколаду: госпожа Брассар побежала домой и разбудила мужа, которого когда-то, перед самым Термидором, отправили из Бетюна в Париж для *последнего странствия,* и своим спасением он был обязан лишь падению Робеспьера.

— Рикэ, король! Король!

Жандарм, слышавший слова сестры Фелиситэ, бросился к своему начальнику, лейтенанту Гюэту,— предупредить его. И вот по городу понеслись слухи о прибытии короля: через минуту из домов высыпали люди, желавшие приветствовать монарха. Прежде всех вышел из своего дома, стоявшего на площади, мэр города господин Делало и еще в дверях, застегивая на себе мундир и опоясываясь шарфом, крикнул: «Да здравствует король!» — дабы никто не мог усомниться, что он первым испустил этот клич; а затем вслед за вожаком медведей с его косолапыми питомцами из всех балаганов высыпала целая орава «цыганья», ярмарочный великан и три карлика, «чрезвычайно ясновидящая сомнамбула», акробат-канатоходец в розовом трико, силач, подымавший тяжеленные гири и обычно появлявшийся перед публикой в минимальном одеянии, а тут — единственный из всех, закутанный до самого носа; выбежали из своих домов всевозможные люди, а вместе с ними их жены, все — или почти что все — в неглиже, в ночных рубашках или в капотах, несмотря на то что пробирал холодок; кое-кто одевался на ходу,— натянув один сапог, держал второй в руке, пытаясь еще при этом застегнуть на себе пуговицы; был тут батальонный командир, комендант города, в сопровождении супруги, увенчанной многочисленными папильотками, но без своего воинства, так как гарнизон был дурно настроен, и, зная о его чувствах, комендант не решился поднять солдат с постели по сигналу «встреча». Зато комендант граф де Мольд успел опередить лейтенанта Гюэта, офицера 20-го легиона жандармерии, причисленного к роте, стоявшей в Па-де-Кале, лейтенанту еще нужно было собрать всех своих людей, каковых имелось у него пять человек, считая и двух караульных, дремавших в гостинице; только у лейтенанта Гюэта и были здесь подчиненные, тогда как у господина Беллоне, капитана саперных войск, прибежавшего вслед за жандармами, находился в распоряжении лишь вестовой, да и тот, по обыкновению своему, исчез, заночевав у какой-то распутной бабенки. По правде сказать, на встрече отсутствовал и штабс-капитан де Буарон д'Агьер, обязанный поднять волонтеров,— в ту ночь его не было в Бетюне, ибо он отправился в сторону Лалле, надеясь найти волонтеров в деревнях (город давал их мало),— навербовать защитников короля среди дезертиров, бежавших из наполео-

новских войск, и среди молодчиков Фрюшара, именовавшего себя Людовиком XVII, атамана монархической шайки, который терроризировал всю округу, пока не стал официальной особой.

Людовик XVIII принял графа де Мольд и других военных холодно, что было для них еще более чувствительно из-за грубого обращения с ними господина де Блакас. Зато король с признательностью пил шоколад госпожи Брассар.

— Славные люди! — бормотал он.

Эта дама рассказала ему историю «последнего странствия» своего мужа, размешивая при этом сахар в горячем шоколаде. Вполне понятно, что господин Анри Брассар, так близко видевший нож гильотины, питал великую преданность к его величеству. Впрочем, она не помешала ему сорок дней спустя войти в муниципалитет, назначенный императором. Шоколад был горячий и очень сладкий.

— Славные люди! — бормотал король.

Бертье не очень был в этом уверен,— соседство ярмарочных фокусников, теснившихся на площади, побуждало его крепче сжимать под мышкой свою шкатулку. А с герцогом Тарентским ему удалось перекинуться лишь несколькими словами по прибытии в город. Но эти немногие слова привели его в величайшее смятение...

А тут еще, после того как явились одни офицеры, что лишь подчеркивало враждебность солдат, нагрянула толпа чиновников: гуртом явился весь суд первой инстанции, товарищ прокурора и секретарь, причем из всех произносимых имен, званий и должностей представлявшихся его величество запомнил лишь фамилию одного из членов суда — господина Декрепитюд [1], которую он даже заставил повторить три раза и хохотал до слез, позабыв о своей усталости. Явились и шестеро присяжных стряпчих вышеозначенного суда и мировой судья. Да еще чиновники казначейства, акцизный надзиратель и сборщики налогов, расстегнутые, растрепанные, хранитель реестров залога недвижимого имущества, позабывший причесаться и потому похожий на прелюбодея, застигнутого на месте преступления. Все одетые наспех, все в сопровождении жен и дочерей, да еще с младенцами на руках у нянюшек, принесенными для того, чтобы они удостоились благословения его величества или хотя бы обогатились первыми волнующими воспоминаниями.

Сцена представления королю, происходившая на рассвете перед дверцей его кареты, не лишена была комизма. Людовик XVIII

---

[1] От французского слова décrépitude, означающего: старческая немощь.

смотрел на нее со смешанным чувством умиления и презрительной насмешки, а вокруг была широкая площадь, еще затянутая туманом, и на самой ее середине стояла высокая дозорная башня с прилепившимися к ней домами, в которых хозяева жульнически увеличили количество этажей, врезав, вопреки постановлениям купеческих старшин, два яруса чердачных окон в черепичные кровли с крутым скатом; знаменитая эта башня напоминала исполинского жандарма в сером мундире, вперившего недреманное око в еще не рассеявшийся сумрак, и вдруг под ее пирамидальной шапкой со сложным перекрестом толстых балок поднялся мелодичный перезвон тридцати шести малых колоколов — дзин-дон, дзин-дон... Пение их понеслось над площадью, загроможденной бараками, палатками, подмостками ярмарочных балаганов, и волны звуков ударялись о стены каменных зданий, окружавших площадь. Строения эти были чуть повыше торговых рядов, обступивших старую башню, но казались высокими, потому что все они были очень узкие, вздымали вверх на фламандский лад островерхие кровли с высоким коньком и резным фронтоном и кирпичные дымовые трубы, расположенные кучками — по две, по три трубы, которые четко вырисовывались в небе и напоминали птиц, стоящих на страже в боевых птичьих полчищах, готовых к сражению — целый сонм стражей.

Самая нелепая фигура этого импровизированного королевского двора явилась с некоторым опозданием: пятидесятилетний тощий чинуша, просунув ногу в одну штанину, трусил рысцой, пытаясь прикрыть панталонами вторую ногу; он уже ухитрился на бегу натянуть на себя свое многослойное одеяние — фуфайку, рубашку, жилет, но не успел застегнуться, мундир он тащил под мышкой, зато водрузил на голову треуголку с плюмажем и, держа в одной руке галстук, а в другой шпагу, никак не решался прицепить шпагу к поясу, а галстук надеть на шею, не зная, которое из этих дел важнее, и посему, добежав до кареты его величества, не мог снять с головы шляпу, так как обе руки у него были заняты. В таком виде предстал перед Людовиком XVIII господин Дюплакэ, супрефект города Бетюна, бессменно пребывавший на этом посту при всех режимах, начиная с Консульства; из ужасного положения спасло его сейчас лишь то, что тут как раз привели сменную упряжку лошадей, и бедняга побрел обратно с голой или почти что голой ногой, поминутно роняя то шпагу, то галстук и терзаясь мыслью, что ужасной неловкостью навсегда погубил свою карьеру. Десятилетний шалун мальчишка, выскочивший вместе с матерью на улицу посмотреть, что происходит, предложил несчастному супрефекту подержать ему панталоны для того, чтобы он мог надеть их как следует. Но господин Дюплакэ отклонил

предложение, узнав мать этого мальчишки: у нее был еще один сын, хорошо известный полиции, так как в шестнадцать лет этот сорвиголова вздумал пойти волонтером в наполеоновскую пехоту; в прошлом году, дослужившись до сержанта, был ранен под Безансоном, подозревался в республиканизме и в настоящее время, получив долгосрочный отпуск, возвратился в Бетюн,— вернее всего, с целью вовлечь крепостной гарнизон в заговор. Значит, мало того что супрефект обратил себя в посмешище перед королем, карета коего уже двинулась в направлении Лилля, ему еще предлагают надеть панталоны с помощью брата неблагонадежной личности!.. Этак и сам попадешь в неблагонадежные,— живо донесут. Господину супрефекту по опыту было известно, как это делается. Да он еще не знал, что отец крамольного сержанта, отставной офицер, был этой ночью в Пуа, на тайном собрании...

Занялась заря; богомольцы из духовного «Братства милосердых», направляясь к ранней обедне, с удивлением увидели людей, толпившихся и на площади, и на улице Большеголовых, и около церкви св. Вааста... Воздух стал мягче, сырее, и было не так холодно, как накануне утром, даже совсем не холодно, но чувствовалось, что опять пойдет дождь...

А в Гранвилье и в Пуа дождь уже поливает королевскую гвардию, двор и принцев. Там все уверены, что король еще находится в Абвиле,— ведь никто их не уведомил об его отъезде: его величество как будто и не знает, что можно пользоваться эстафетами, или попросту считает бесполезным посылать уведомление своей гвардии, которая так медленно следует за ним, и принцам, о которых он нисколько не беспокоится; а принцы держат в Гранвилье совет, составляют письмо, которое графу Артуа даже грезилось во сне,— в письме этом сообщают его величеству, что в конечном счете у королевской гвардии есть только один выход: сесть в Дьеппе на корабли, ибо отступление происходит в хаотическом беспорядке, обоз растянулся на десятки лье, люди и лошади измучились, задыхаются, покалечились, полно больных и раненых, и поневоле приходится плестись шагом. Право, одно спасенье — Дьепп, да и то еще до него слишком далеко; следовало бы направиться туда из Абвиля, и тогда король, по крайней мере, прибудет в Англию в сопровождении военного эскорта, а не так, как прежде,— в качестве бедненького попрошайки, покинутого богом и людьми. Большая часть королевского конвоя уже вышла на дорогу, а когда кончился военный совет, собравшийся вокруг принцев, двинулись в путь и гвардейцы господина де Рейзе, и легкая кавалерия господина де Дама́, замыкая поезд, который потянулся вслед за каретой графа Артуа, за его высочеством герцогом Беррийским и Мармоном, ехавшими верхом со своей свитой; герцог Беррийский

то посылал коня вперед, то возвращался обратно, и видно было, как блестит под дождем его светло-серый клеенчатый плащ с черным воротником. Отдавая ему салют саблей, Сезар де Шастеллюкс заметил крупные слезы, застывшие в глазах принца, скорбевшего, конечно, о судьбе династии,— на самом же деле Шарль-Фердинанд горевал о том, что его Виржини ни за что не впустят в Англию, а там предстоит встреча не только с двумя обожаемыми дочками, но и с миссис Браун, особой, до смерти ему надоевшей. Однако для регента он ее супруг перед богом. Вот лицемеры, эти протестанты! Правда, миссис Браун — англичанка.

А позади них месили ногами грязь пешие, тряслись телеги с непосильным для лошадей грузом, то и дело увязала в грязи артиллерия господина де Мортемара, и везде был невообразимый беспорядок, все королевское войско тащилось еле-еле, останавливалось на каждом шагу... Хмурое утро, сумеречный свет, льет дождь, разбитая дорога превращается в непролазную топь. Во вторник было еще терпимо, а в среду дождь наверстывал упущенное. Однако было теплее вчерашнего, даже в ранний час. День такой, каким и подобает ему быть в среду страстной недели: небо заранее облеклось в траур и льет слезы, а люди уже повесили букеты из веток самшита на высокие распятия, чернеющие у перекрестков дорог.

В Пуа мушкетеры Лористона и мушкетеры Лагранжа ждут основную массу королевской гвардии, чтобы двинуться вместе. Поднялись еще до рассвета, а потом пришел приказ: стоять с ружьем к ноге, ждать прибытия принцев. По дороге проехало тильбюри, легонький экипаж, в котором пристало только кататься по берегу озера в Булонском лесу. Леон де Рошешуар заинтересовался: что за чудак расположился в этом черном лакированном тильбюри с желтыми колесами? Его адъютант узнал в седоке, закутавшем ноги зеленым пледом в синюю клетку, генерала Рикара,— он ехал в Абвиль, где все еще надеялись найти короля, и вез его величеству письмо от графа Артуа. Тот самый Рикар, который в 1809 году был сообщником Сульта, когда последний пытался сесть на португальский престол. В Пуа он сменил лошадь, так как ехать нужно было быстро, и едва успел переговорить с обоими командирами мушкетеров — подтвердить полученные ими приказания. Он сообщил также, что одновременно с ним выехал из Гранвилье по Омальской дороге господин де Кастри, посланный принцами в Дьепп с поручением сосредоточить там все суда, какие только удастся найти. Что же это? Направление изменилось? Так или иначе, все равно придется проторчать тут часа полтора — не меньше. Вокруг походных кухонь толпятся кавалеристы, им раздают какое-то горячее пойло, весьма отдаленно похожее на

кофе. Граф де Рошешуар, экипаж которого, нагруженный его собственными вещами и багажом герцога де Ришелье, ехал вслед за герцогом, в эшелоне принцев, сейчас с завистью смотрел на коляску Растиньяка, черного мушкетера, своего приятеля и дальнего родственника. Превосходная коляска, совершенно новая, что видно даже при таком путешествии, когда кучеру удается смыть с нее грязь. Шикарная зеленая коляска с медными украшениями, на черных колесах,— последний крик моды! А какая отделка внутри: все обтянуто зеленым сафьяном, словно переплет книги, словно изящный дамский чемодан. Впрочем, и багаж господина де Растиньяк соответствует его роскошному экипажу. Куда приятнее было бы ехать в этой коляске, чем верхом, но что поделаешь! Невозможно! Высокие особы подают пример, надо сообразоваться. И то уже хорошо, что в этом плачевном бегстве за тобой следует твоя коляска, восхитительная коляска, просто прелесть!..

— Как вы думаете,— спросил Растиньяк,— мы в самом деле двинемся в Англию? Мою коляску ни за что не разрешат погрузить...

— Погодите,— ответил Рошешуар,— игра еще не кончена... Если король отплывет на корабле, господин Ришелье продолжит сухопутное путешествие и присоединится к своему хозяину, русскому императору, а с ним, разумеется, уедет и господин Стемпковский, наш дорогой Ваня. Но я, знаете ли, предпочел бы пробраться в Голландию: голландская кухня лучше...

А Жерико, стоя под дождем, все смотрел на маленький городишко,— он видел Пуа только ночью и теперь решил воспользоваться долгим ожиданием и проверить кое-что, весьма важное для него. Оставив Трика на попечение Монкора, он карабкается по крутому склону горы к церкви, и путь кажется ему сегодня гораздо короче; вот и тропинка,— она проходит выше маленьких домишек с тесными двориками и ниже запущенного сада с каменными лестницами, которые ведут к небольшой площади справа от церкви. С площади Жерико сворачивает на дорожку, совсем такую, какая привиделась ему во сне,— теперь уж он не очень хорошо помнит, что тогда происходило. Он пытается разобраться в своих сновидениях. Где же место приснившегося ему ночного сборища? Так хочется найти его следы, если они сохранились. И с каждым шагом картина вспоминается все яснее. Вот ворота кладбища. Теодор отворяет калитку, оглядывает могилы; между ними — это чувствовалось по запаху и в ночном лесу — уже цветут подснежники с бледно-зелеными ребристыми листьями, похожими на салат. Теодор наклоняется, рвет цветы — они именно такие, как рисовало ему воображение: бледно-лиловые с желтой сердцевинкой. Смяв подснежники в руке, он пробирается вдоль

крепостной стены, словно прячется от кого-то, кто подстерегает его за стеной, и, обогнув полукруглый выступ бастиона, уже издали видит брешь в обвалившейся стене. Он взбирается туда, из-под ног катятся камешки, и вот он в лесной чаще, вот тропинка, змеящаяся в перепутанных зарослях терновника; земля устлана плющом. Так, значит, это было не во сне! Вот оно, памятное пустынное место: дорожки изгибаются, заворачивают и сходятся вверху под большими кривыми соснами. А по склону кругом кустарники с набухшими серыми и желтоватыми почками, с обрывками сухих листьев. Вот молодое деревце с первыми листочками,— они расположены букетиками вокруг тонких веточек. А это что такое? Листьев нет, зато висят длинные сережки,— должно быть, семена... Тропинка поворачивает вниз, но к чему теперь пробираться окольными путями? Можно выйти по прямой к той поляне, где скрещиваются дорожки.

И Теодор поднялся туда. На пустынной теперь поляне земля истоптана, и на ней четко отпечатались следы человеческих ног — наверняка здесь толпилось человек двадцать; сломанные ветки соседних кустарников свидетельствуют о волнении тех, кто не выступал с речами, а держался в стороне от места, освещенного факелами. Сильно обгоревший факел, возле которого стоял ночью человек с Каирской улицы, подтверждал смутные воспоминания. Пониже, на глинистом откосе крутого ската, уходившего в чащу кустарника, оказался уступ, и на нем сохранился продолговатый отпечаток человеческого тела,— несомненно, тут и лежал притаившийся зритель, примяв прошлогодние опавшие листья, переломав веточки. Итак, это было здесь. Теодор закрыл глаза, чтобы лучше увидеть то, что происходило, чтобы все вспомнить. Он старался воскресить исчезнувшие из памяти слова. Они возрождались не сразу, как-то случайно, сталкивались, переплетались, невозможно было вспомнить, кто и что говорил. Теодор восстанавливал ночную сцену вроде того, как делают набор с иностранного текста, плохо зная язык оригинала,— подбирают литеры одну к другой, не понимая смысла слов. На колокольне пробило семь часов. Здесь, под кустарниками, тоже цвели подснежники, пробиваясь сквозь вездесущий ковер плюща, а кое-где из-под бурой щетины прошлогодней травы зеленела пучками молодая крапива. Мушкетер безотчетно отломал от куста ветку с желтенькими распускающимися цветочками и небрежно помахивал ею, как хлыстом. Вот Теодор уже на середине поляны. Откуда здесь беловатый пепел? С места скрещения дорожек под высокими соснами виден был пологий спуск к долине, затянутой низкой пеленой тумана. А с другой стороны — круча, нависающая почти что над самой дорогой в Кале, которая идет из Пуа направо и поднимается в гору.

Все теперь ясно. Ни к чему дольше мешкать тут. Жерико пошел по одной из дорожек, лучами расходившихся от полянки,— она огибала кладбище, потом выводила к небольшой площади перед церковью и к дороге, обсаженной вязами, так что ему и не понадобилось карабкаться по каменной осыпи и пролезать через брешь в крепостной стене. Значит, все это было на самом деле? Это не фантазия?

Внизу запела труба. Надо торопиться. Слышен сигнал: «По коням!» И вдруг Теодору стало обидно, что он не увидел утром Софи — она еще спала. Фирмен куда-то исчез. Ну а тот, другой?.. Странное дело, но после ночной прогулки мушкетеру Жерико хотелось поговорить с Бернаром. О чем? О политике? О любви? Может быть, и о том и о другом... Дождь идет, чувствуется весна. Деревья с перепутанной гривой тонких ветвей стоят, словно растрепанные мальчишки, и клонят тихонько голову на плечо нежного серого неба, над полями, светлыми от прошлогоднего жнивья, и над густой чернотою весенней пашни.

По правде сказать, выступать еще и не думают. Принцы прибыли, но, видимо, королевская гвардия следует за ними не спеша: ведь от Гранвилье до Пуа только три лье, даже пешком и то большая часть войска могла бы добраться сюда часам к восьми, к четверти девятого... Мушкетеров выстроили для встречи графа Артуа и герцога Беррийского, но, пропустив их поезд, кавалерия так и осталась на площади. Лошадям не стоялось, они нетерпеливо били копытом о мостовую... Так прошел час... час с четвертью... Теодор видел, как в направлении Абвиля проехал черный фургон, запряженный белыми лошадьми, и в человеке, сидевшем на козлах под зеленым брезентовым верхом, он как будто узнал Бернара. Ну вот, последняя возможность поговорить упущена, и совершенно зря. Экая глупость! Впрочем, что ему за польза от разговора с этим сердцеедом? Пускай себе едет за пряжей для деревенских ткачей. Вези, голубчик, мотки пряжи, устраивай проездом заговоры и мечтай о своей Софи! Мы с тобою принадлежим к двум разным мирам, больше никогда дороги наши не встретятся.

Вот показались наконец гренадеры Ларошжаклена, идут пешком гвардейцы королевского конвоя, а за ними конная рота,— во всяком случае, то, что осталось от нее. Стоит взглянуть на эти подразделения, и можно уже не спрашивать, почему им понадобилось целых три часа, чтобы пройти расстояние в три лье. Со дня на день положение ухудшается, лошади истощены, все больше всадников спешивается и шагает по дороге, ведя лошадь в поводу. А обоз разросся до бесконечности. За военными фургонами тянутся реквизированные экипажи, в которых везут больных, покалеченных и каких-то старцев в мундирах вперемешку с юными лице-

истами, бежавшими из столицы; едут сотни колясок и битком набитых карет, в которых восседают дамы с детьми, с собачками и слугами; на дороге то и дело происходят несчастные случаи, дамы падают в обморок, и знакомые офицеры, их друзья, садятся к ним в экипаж... Лакеи идут пешком и ведут по две, по три лошади каждый, а хозяева едут в каретах. Тут же тащились и экипажи господ офицеров королевского конвоя, легкой кавалерии, королевской жандармерии, дворцовой стражи и Швейцарской сотни (больше двадцати экипажей для одной только Швейцарской сотни), и так далее, и так далее; о дисциплине и помину не было, кучера все пытались разыскать своих хозяев, не имея, однако, ни малейшего представления, где те находятся,— впереди или сзади, в эскорте принцев, в авангарде или среди отставших. Пешеходов приводил в отчаяние дождь, они поминутно останавливались; когда проходили через деревни, доброй половине этого полчища неизменно что-нибудь требовалось. Завидев вывеску башмачника, нежданные покупатели заставляли подмастерьев отпереть мастерскую, хотя хозяин еще спал, и примеряли заготовленные сапоги и башмаки. Иные заходили просто так, чтобы укрыться от дождя. Те, кто не успел подкрепиться перед выступлением, осаждали лавки и кабачки, спрашивали в крестьянских домах, нет ли продажной колбасы или хотя бы не слишком черствого хлеба.

Теперь понятно, почему граф Артуа решил уехать за море; из Абвиля, где предполагалось соединиться с королем, он хотел неожиданно повернуть к Дьеппу и, сбив таким маневром преследователей с толку, успеть погрузиться на суда.

В десятом часу утра весь этот беспорядочный караван выступил наконец из Пуа и двинулся по обсаженной высокими вязами дороге, которая шла в гору, огибала кладбище, петляла по лесистому склону холма и вдруг выводила в иную, совсем иную местность — на огромное и до самого горизонта голое плоскогорье. Тут уж нельзя было вырываться вперед, пришлось стягивать всю гвардию, поджидать пеших, экскортировать их, продвигаться под дождем, в непролазной грязи, черепашьим шагом.

* * *

С ума можно сойти! Топчешься на дороге, мокнешь. До чего же противно плестись еле-еле, хоть и знаешь, что лошадь твоя устала от нескольких дней скачки. Да еще Трик, как и предупреждали Теодора, время от времени припадает на ногу, и хотя мушкетеру теперь известно, что это сущее притворство со стороны лошади, и к тому же все предосторожности были приняты и на

копыто налеплен своего рода пластырь из жирной глины,— все-таки он нервничал. А тут еще на бесконечных остановках россказни соседей... на кого угодно подействует... Ну, пусть человек и не поддается всеобщей истерии, а все-таки...

Со вчерашнего дня все говорили о кавалерии Эксельманса, как будто уже видели ее. На самом-то деле никто ее не видел. Но ведь сколько времени твердят: «Она движется за нами по пятам». А тут эта медлительность, эти долгие стоянки и дождь, превратившийся в ливень,— поневоле начнешь думать, что кавалерия вот-вот нагрянет, и оборачиваешься, приподнимаешься на стременах, вглядываешься: что там позади?.. кто приближается?.. Да нет ничего,— вернее, все та же картина: огромная, запрудившая всю дорогу колонна войск, разрезанная на куски, перемешанная с экипажами, измученные, охающие пешеходы, а дальше тянутся, тянутся бесконечной чередой подразделения гвардии. Если неприятель следует за нами «по пятам», что же он до сих пор никак не соберется ухватить нас за эти самые «пяты»? Ничего не понять!

С разрешения командира черных мушкетеров господина де Лагранж граф Леон де Рошешуар, в сопровождении своего верного адъютанта Монпеза́, трусит, сколь возможно, рысцой от головы колонны к хвосту, чтобы присоединиться там к герцогу Ришелье,— таков, по крайней мере, предлог. А на самом деле ему хочется проверить, идет ли в обозе его кабриолет: беспокойство возникло после того, как он увидел коляску господина де Растиньяк. Разумеется, в кабриолете сидит слуга, оберегающий саквояж герцога, а также и все состояние Леона де Рошешуар,— во всяком случае, весь наличный его капитал: восемь тысяч франков золотом, уложенных в дорожный несессер, запасное платье и придворный мундир. Но Леон де Рошешуар не очень уверен в кучере: Бертен — человек мало ему известный, нанят совсем недавно, да и вообще это столпотворение — колоссальный соблазн для черни. Пробираясь по дороге, забитой гвардейцами Граммона, он внимательно оглядел скопище военных повозок и офицерских экипажей. Кабриолета здесь не оказалось... здесь тоже царила суматоха, в которой тщетно пытался навести порядок Тони де Рейзе,— ему, несомненно, легче удавалось одерживать победы над дамами, чем справляться с армейским обозом. Леону де Рошешуар вдруг вспомнилось, как лихо веселились военные в Бадене в конце 1813 года, после сражения под Лейпцигом. И он не мог удержаться — рассказал адъютанту, что встречал в Бадене на балах молодых немочек, знавших Тони де Рейзе в Потсдаме в 1807 году. За шесть лет они не позабыли его и, прикрываясь веером, расхваливали его особые достоинства, говоря о них с откровенностью и точностью, редко встречающимися у француженок.

Он отсалютовал саблей Сезару де Шастеллюкс и графу де Дамá, сидевшим рядом на своих чистокровных скакунах, и де Шастеллюкс крикнул ему:

— Куда направляетесь, господин де Рошешуар?

Черный мушкетер остановился, чтобы засвидетельствовать свое почтение графу де Дамá и его зятю. Надо признаться, у легкой кавалерии вид был куда лучше, чем у прочих. Леон де Рошешуар в самых лестных выражениях высказал это графу де Дамá и его заместителю.

От них он узнал об одной из причин великой растерянности, воцарившейся в то утро в главной квартире принцев. Ночью в Гранвилье прибыл нарочный, посланный накануне из Бовэ в Амьен. Он и привез сообщение, что в Амьене гарнизон нацепил трехцветные кокарды, однако пресловутая кавалерия Эксельманса там еще не показывалась, по крайней мере, до вчерашнего вечера, когда он уехал из префектуры Соммы, где господин префект Александр де Ламет встретил его весьма странно — нельзя было понять, на чьей он стороне. Но, прибыв в Бовэ через три часа после ухода королевских войск и двора, он уже видел там квартирмейстеров императорских войск, которые все подготовляли для стоянки егерского кавалерийского полка. Нарочный привез записку от господина де Массá маршалу Мармону и записку Макдональду от его дочери. Префект Бовэ подтверждал известия о неминуемом вступлении императорских войск и намекал на какую-то декларацию, сделанную в Вене союзными государями две недели тому назад, не сообщая, однако, содержания этой декларации. Нечего сказать, осведомил! Но супруг очаровательной Нанси сообщал, что оптический телеграф, который по приказу короля разобрали, уже восстановлен, действует как ни в чем не бывало и депеша, полученная из Тюильри, уведомляет о выступлении сорокатысячной армии под командой Эксельманса, посланной по следам короля и его войск.

Сорок тысяч человек! В восемь раз больше, чем в королевской гвардии! Вести об Эксельмансе, во всяком случае, не поднимали настроения. Пусть после этого кто-нибудь посмеет осуждать графа Артуа за то, что он вдруг согласился с тем самым планом, который он так упорно отвергал, и теперь решил увлечь верные королевские войска за Ла-Манш!

— Так вы что же, дорогой мой, ищете герцога Ришелье в этой стороне? — спросил Шарль де Дамá с легким смешком.— Герцог теперь едет впереди, с его высочеством. В карете. Кажется, верховой ездой он стер себе зад, и лечение отца Элизе не очень-то ему помогло... А позади нас тащатся только обозные фуры да кареты прелестных дам, испугавшихся возвращения мамелюков.

Ехать дальше в обратном направлении становилось все труднее. Низенький Леон де Рошешуар выпрямился в седле, чтобы не терять молодцеватой осанки и, с тайной грустью отказавшись от намерения разыскать свой кабриолет, отсалютовал на прощанье саблей командиру легкой кавалерии, а затем кивнул своему адъютанту и, повернув лошадь, двинулся к голове колонны. Нелегкое дело пробираться по дороге, забитой воинскими частями... Англия! Ничего приятного это ему не сулит. Лучше уж было бы сопровождать Ришелье. Наверно, царь простил бы эмигранту Леону де Рошешуар, что тот слишком быстро расстался с ним и пошел служить его величеству Людовику XVIII. А впрочем, как знать! Император Александр — человек злопамятный. Во всяком случае, если двигаться будут к северной границе Франции, надо в Абвиле принять решение — вместе с герцогом Ришелье... Ведь в Дьеппе не удастся посадить на суда пять тысяч человек,— где найти столько кораблей?.. А что тут-то делается! Дорога местами до того запружена, что, пожалуй, лучше уж перемахнуть через канаву и ехать полем по размокшей пашне.

От Пуа до Эрена не больше пяти лье, и кавалерии вполне достаточно двух часов, чтобы одолеть это расстояние, даже двигаясь временами шагом. Но при такой черепашьей скорости, которая одна только и была тут возможна, при постоянных остановках, посылке гонцов из хвоста к голове колонны и из головы к хвосту для получения приказов командования и сообщения ему сведений, при ужасающей грязи и дожде,— а дождь лил все сильнее, грязь становилась все непролазнее,— понадобилось для такого перехода не меньше трех часов, да и то я имею в виду авангард, остальные же тащились еле-еле, и в колонне образовывались зияющие разрывы. По правде сказать, принцы уже прибыли в Эрен и сели за стол в харчевне, имевшейся при почтовой станции, а в амбарах, в сараях полотняного завода, выделывавшего парусину для судов, и в мешочной мастерской устроили трапезу для головных отрядов. Тут-то как раз и разнесся слух о письме господина де Масса́ маршалу Мармону: каким-то таинственным образом ни один секрет не мог оставаться неизвестным больше двух-трех часов, и от генералитета до кашеваров, от главной квартиры до конюхов как будто происходил своего рода осмос,— это уже была не просто болтливость, а некое физическое явление, против которого ничего нельзя было поделать.

Теодор, завернувший в кузницу переменить глиняный пластырь на копыте Трика, узнал об этих слухах одним из последних и, кстати сказать, не поверил им. Сорок тысяч солдат? Ну уж число-то их по меньшей мере преувеличено... И вдруг он заметил у дверей кабачка знакомый черный фургон с зеленым навесом

над козлами и белых лошадей, которых видел утром в Пуа. Конечно, те самые, вчерашние... А в кабачке, облокотясь на стойку, пил сидр Бернар и, размахивая руками, разговаривал со служанкой... Жерико вошел сюда безотчетно. И теперь почувствовал себя довольно неловко. Ну, как подойти к «ихнему Бернару»? Тем более что человек этот, несомненно, пьян.

Да и что Теодор мог ждать от разговора с приказчиком прядильно-ткацкой мануфактуры? Что дал бы ему этот немыслимый разговор? Вряд ли он, офицер королевских мушкетеров, сможет внушить доверие заговорщику и вызвать его на откровенность. Пока на Теодоре Жерико ливрея монархии, он будет наталкиваться лишь на оскорбления или на хитрости. Он не может перескочить через все предварительные этапы сближения и сразу заявить, что вчера ночью он присутствовал на тайном сборище в лесу и что все услышанное там глубоко его потрясло. Не мог он признаться, что с ним, королевским мушкетером, вдруг произошло в эту ночь невероятное: сначала он возложил надежды на возвращающегося императора, но так было только до той минуты, пока громкий возглас Бернара: «Кто это «мы»?» — внезапно и грубо не пробудил его от мечтаний, не преподал ему урок,— и вот теперь Теодору Жерико хочется задать Бернару те вопросы, которые за последнее время тревожат его,— в обстановке бегства королевского двора, хаоса, разгрома привычного мира вопросы эти обострились и мучают его все чаще.

Да, в эту страстную неделю он следовал за королем по крестному его пути, не веря в миссию потомков Людовика Святого. Да, для него, Теодора Жерико, сменить кокарду не значило переменить идеал, а только — переменить иллюзию. И вдруг его встряхнул резкий возглас: «Кто это «мы»?» — возглас вот этого лохматого юноши в помятом сюртуке, выдававшем жалкие притязания провинциала на элегантность,— и слова эти больше всего потрясли Теодора.

Он колебался, не решаясь ответить на вопрос Бернара, сказать, что за этим «мы» скрываются те люди, чью беду он вдруг смутно начал понимать. А он сам? Имеет ли он право, и не только как королевский мушкетер, а вообще какое-нибудь право, быть среди них? Он страдал оттого, что был для них чужим, что он недостоин этого короткого местоимения «мы» и всего, что оно могло значить. Он даже испытывал как бы чувство неполноценности перед этим «мы» и готов был просить, чтобы и его туда зачислили, дали ему там место. Не в той толпе, которая нынче кричит: «Да здравствует король!» — а завтра покупает нарасхват наполеоновские фиалки; не в скопище офицеров Империи, уволенных в отставку с половинной пенсией; не в своре тех господ,

которые считают себя обойденными и охотятся за теплыми местечками. Нет, ему хотелось быть в той огромной безыменной массе, которая в конечном счете платит своею кровью, своею жизнью, своим трудом за борьбу властителей. Примут ли его? Есть ли у него хоть малейшее право притязать на это? Если бы он верил, что искусство дает ему это право, если бы мог сослаться на искусство!.. Но что беднякам искусство? Что могут они думать о художнике Жерико? Ведь они всегда его будут подозревать, не забудут, что он носил этот мундир да еще принимал участие в бегстве короля.

А что теперь говорят? Дьепп, Англия... Да разве он может покинуть Францию, свою родину? Как странно, что вот вдруг сразу, на этом пикардийском плоскогорье, среди однообразных, скучных пейзажей, без всяких красот, слово «родина» так же, как и слово «мы», хватало за душу, волновало так, что слезы подкатывали к горлу. Именно здесь, в этом бедном краю, под проливным дождем Теодор Жерико почувствовал, что он как будто становится тяжелее и все крепче его тянет к себе эта земля. Он не мог бы расстаться с нею. Он начинал это понимать. Но тогда как же?.. Тогда, значит, отношения между ним и другими людьми,— теми, кто не убегал ни пешком, ни на лошади, теми, кто не поднимал королевского знамени исхода (ах, дайте мне посмеяться над изречением: «Quo ruit et lethum!»), теми, кому и в голову не приходит сесть на корабль или пробраться в Нидерланды,— отношения между ним и этими людьми как будто в корне меняются, и он уже не сможет больше жить среди них своей прежней обычной жизнью, он обязан дать им отчет и решительно покончить с прежним своим легкомысленным существованием,— он уже больше не будет проводить целые часы у портного, на примерке мундира, не будет гарцевать на коне в Булонском лесу и в Версале, кутить у Фраскати... и даже неизвестно еще, получит ли он право возвратиться к живописи,— право, в котором он отказывал себе уже больше полугода. Да, даже это было под вопросом... Можно ли теперь оставаться в своем углу, в стороне от всего, что творится? Он думал обо всем этом с какой-то детской боязнью, и сам не мог разобрать, чего он хочет, как все должно быть дальше. Страшился ли он возможной перемены в жизни или горел желанием занять свое место в каком-то новом бытии? Наличествовали оба эти чувства. Будущее представало перед ним в виде какого-то необычайного, невиданно прекрасного пожара, прекрасного новой красотою, и больше всего Теодор боялся, что сам-то он не готов, не поймет этой красоты. Разве человек всегда бывает на высоте исторических событий? И ему вспоминался кабатчик с улицы Аржантейль, рекрут с затуманенным взглядом и господин Жерико-старший... Какое

отношение имели все эти мучительные мысли к шуму, царившему в Эренском кабаке, где галдели подвыпившие кавалеристы, а у стойки Бернар, хвативший лишнего, размахивал руками и говорил слишком громким голосом. Фу ты! Да он совсем пьян! Какая мерзость! Напился с утра пораньше, и это в такой момент. Хорош влюбленный, нечего сказать! Эх ты, а еще в заговорщики лезет!

Хотя кто его знает, быть может, он топит в вине свои любовные страдания, а может быть, то, что сейчас происходит, до такой степени потрясло его, что он вот напился и потерял свое достоинство... Как бы то ни было, говорить с этим человеком бесполезно,— сейчас он не в себе. Прощай...

Трик ждал хозяина у дверей кабачка, привязанный к железному кольцу, и пока Теодор отвязывал его, мимо прошла группа гренадеров в медвежьих шапках. Жерико посмотрел, нет ли среди них Марк-Антуана. Нет... Гренадеры, имевшие довольно жалкий вид — неряшливые, небритые, в уже выцветших, помятых мундирах,— о чем-то говорили между собой, то с громкими выкриками, то опасливо понижая голос, как люди затравленные, но вдруг вспоминающие, что этого не надо показывать... То и дело у них срывалось с языка имя Эксельманса, и тогда голоса их дребезжали, как надтреснутое стекло. Эксельманс... Это уже становилось каким-то наваждением: никто не говорил о Наполеоне, а только об Эксельмансе. Произносили его имя с деланной развязностью, которая, однако, никого не обманывала.

* * *

По правде сказать, паника, которую имя Эксельманса вызывало в колонне королевских войск, во всех ее эшелонах, у всех отставших, а также ошеломляющая быстрота, с какой всем становились известны диспозиции и намерения главной квартиры, были вполне объяснимы. При выступлении из Гранвилье лица, командовавшие арьергардом, бывшие в курсе событий, сведения о которых доставлялись через курьеров, и лица, ответственные за целость колонны (если так можно назвать ужаснейшую кашу, где все смешалось: военные отряды и толпы беглецов, обозные фуры и коляски с багажом господ офицеров королевской гвардии), лица эти решили воспользоваться привезенными вестями для того, чтобы подбавить прыти отставшим. Во всех войнах, при всех больших отступлениях всегда наступает момент, когда из-за усталости армии, из-за невозможности поддерживать в ней бодрость и дисциплину обычными средствами прибегают к психологическому воздействию. И случается, что с психологией, которая нередко бы-

вает опасным оружием даже в руках писателей-романистов, господа командиры обращаются, как дети с заряженным ружьем.

В арьергарде, разумеется, шла артиллерия Казимира де Мортемар, что лишь усложняло обстановку: ведь если артиллерии пришлось бы открыть огонь, то, конечно, стрелять она могла бы только назад. Поскольку легкая кавалерия, которой командовал граф де Дама́, на этом этапе шла в авангарде, эскортируя принцев, руководство всеми остальными частями возложено было на господина де Рейзе, возглавлявшего, как известно, роту королевского конвоя за отсутствием его командира, герцога Граммона, находившегося при особе его величества. Впереди конвоя двигались гренадеры Ларошжаклена, как будто пролагая путь остальным. Тони де Рейзе мог считаться истинным дворянином, ибо он отдавал свои силы то бранным подвигам, то любовным приключениям. В отношении своих войск он был склонен держаться той же стратегии, что и с женщинами, за которыми ухаживал: он считал, что не грех и прилгнуть им ради того, чтобы добиться своей цели. И вот он подозвал к себе трех-четырех молодых гвардейцев, лично известных ему, так как один из них приходился ему родней, а остальные были сыновьями его старых приятелей, и, взяв с этих юношей именем короля клятвенное обещание не выдавать источника, из коего они получили сведения, приказал им распространить по всем частям королевских войск и по всему обозу слух, что кавалерия Эксельманса быстрым аллюром гонится за колонной и что на боковых дорогах уже замечены притаившиеся императорские кавалеристы; лишь только императорская конница нападет на королевские войска с тыла, тотчас же прискачут и эти всадники; кроме того, Узурпатор, как известно, отличается изворотливостью: он выслал вперед в почтовых каретах, в качестве обычных пассажиров, своих солдат, одетых в штатское, у которых, однако, в саквояжах спрятаны мундиры, и в нужный момент, когда войска, верные королю, прибудут в ту или иную деревню, у них создастся впечатление, что деревня эта уже захвачена Наполеоном. Молодым вестовщикам не запрещено было вышивать свои собственные узоры по этой канве, и они не отказывали себе в таком удовольствии,— врали из презрения к отстававшим и обезумевшим от страха трусам, следовавшим за ними в экипажах, врали отчасти и для забавы, поддавшись игре воображения, а поскольку пример был подан сверху, ложь принимала обличье преданности делу монархии.

— Ах да... Главное, не забудьте сказать, что мы повернем на Дьепп... Пусть эта новость служит утешительным добавлением к страшным известиям и внушает надежду, что цель близка, кошмар скоро кончится и мы погрузимся на суда.

— Как? Мы повернем на Дьепп? Но ведь тогда нужно было бы идти Омальской дорогой.

— Нет, нет, отнюдь! Мы обязательно должны пройти через Абвиль: там нас ждет его величество, а из Абвиля мы, перегруппировавшись, в полном порядке двинемся на запад, сделаем короткий переход и таким образом расстроим планы преследователей, которые заняли линию Соммы, рассчитывая втянуть нас там в сражение.

Совершенно понятно, что при таких условиях «секретные сведения командования» распространялись мгновенно. Однако молодые глашатаи, затесавшись в колонну, не могли оставаться равнодушными к возгласам ужаса, которыми встречали их откровения женщины, к отчаянию, охватившему измученных пешеходов, которые брели через силу, к страху простуженных, больных юнцов и старцев, и, отказавшись от неприятной обязанности пугать людей, юные вестовщики принялись фантазировать вовсю; заметив, что их болтовня действует удручающе, тогда как предполагалось, что ужас, словно удар кнута, прибавит беглецам прыти, они стали сочинять небылицы о засадах, перестрелках, стычках, в которых мушкетеры и гренадеры нападали врасплох на кавалеристов Эксельманса и брали их в плен.

— Да вот сами спросите у гренадеров... вот они, как раз впереди нас идут...

А от этих вымыслов рассказчики с легкостью переходили к безудержному сочинительству, мимоходом сообщая «самые достоверные» сведения, якобы полученные от пленных эксельмансовцев, о последних событиях, происходивших во Франции. Оказывалось, что верные правительству войска отбили у Наполеона Гренобль и Лион, его высочество герцог Ангулемский с триумфом встречен на юго-западе страны, где весь край поднялся против Бонапарта, и теперь герцог движется к Парижу на соединение с Вандейской армией. Но пока что приходится остерегаться егерей и драгун Эксельманса, которые грозят отовсюду: лезут с тыла, занимают поперечные проселочные дороги, устраивают засады, подстерегают в лесах. «Ну-ка, шевелитесь, ребятки! Живей, веселей! До Абвиля уже недалеко, а там вас ждет его величество... И все получат награды: кресты, нашивки, должности».

Перспектива повышения в чине могла, конечно, увлечь кадровых военных, но не случайных солдат,— например, на волонтеров-правоведов она не произвела должного впечатления, а скорее наоборот: безусым воякам, еще старавшимся, несмотря на усталость, шагать строем (я имею в виду именно их, а не тех, которые уже в Бовэ сели в повозки и с тех пор перестали надеяться на возможные награды),— посулы, которыми думали их приманить, как

барашка морковкой, казались оскорбительными, и они загрустили еще больше.

Дойдя до Эрена, они совсем выбились из сил. Их было пятеро: худой и долговязый очень бледный юнец, низенький брюнет с нежным девичьим голоском, красавец с пепельными кудрями, которого портило только нервное подергивание верхней губы, и еще двое, совсем заурядной наружности,— все они от изнеможения чуть не плакали. Они считали нужным примера ради идти пешком и до сих пор великим усилием воли еще держались, отказываясь сесть в повозки вместе с товарищами. Но в Эрене, увидя у дверей кабачка черный фургон с зеленым брезентовым навесом над козлами, запряженный парой белых першеронов (а может быть, лошадей булонской породы), они остановились и, посоветовавшись, зашли в питейное заведение, где, вероятно, находился возчик.

Странный возчик! Щеголеватый молодой человек в цилиндре, который он снял и пристроил на стойку, взлохмаченный и бледный, с толстыми дрожащими губами, вероятно, он всю ночь провел в дороге — так было измято его довольно поношенное платье. Видимо, он основательно выпил. Глаза у него, во всяком случае, посоловели. Девица, подносившая ему вино, хихикала, но совсем не к месту: ничего смешного не было в речитативе, лившемся из его некрасивых уст. В кабачке было полно народу — крестьяне, солдаты; одни пили у стойки, другие сидели за столиками.

Когда юные волонтеры спросили Бернара, не посадит ли он их в свой фургон, он окинул их презрительным взглядом, всех по очереди, низенького брюнета, говорившего нежным девичьим голоском, бледного верзилу, умилительного кудрявого херувима, двух остальных (примечательных лишь тем, что один из них прихрамывал) и вдруг разразился хохотом, неудержимым, несмолкаемым хохотом,— до слез, до колик в животе. Что? Ему везти их? Вот так отмочили! И Бернар попытался объяснить причину отказа: его лошади, Филидор и Непомюсен, сами-то еле ноги волочат. Правоведы принялись упрашивать. Они были совсем еще глупыши и немножко нытики, все пятеро выдохлись, уже не притязали на героизм, свою усталость и непрестанный дождь смешивали с муками во имя чести и рыцарского служения дамам-заложницам, а Бернар только пуще хохотал и хлопал себя по ляжкам, каковые были у него весьма мускулистые, плотные, а колени худые, что еще подчеркивали узкие панталоны, обтягивавшие ногу по парижской моде.

— Идите-ка сюда,— сказал он.— Выпейте по стаканчику. Все пятеро. Я угощаю.

— А вы повезете нас?

— Выпейте сначала. Там посмотрим.

Да неужели ему, Бернару, везти этих волонтеров? Экая мерзость! Экая глупость! Но ведь это мальчишки, они устали, на ногах не стоят, и так и кажется, что пальцы у них перепачканы чернилами. И какие же, право, дурачки! Бросили свою правоведческую школу и поплелись пешком за кавалерией улепетывающего короля!

— Подумайте только! Расстались с мамочкой и со своими соседками, в которых, верно, влюблены! А чего ради, спрашивается? Грязь и дождь, дождь и грязь, бесконечные дороги, кругом голо — ни гор, ни красивых деревьев, не на чем глазу отдохнуть, народ все угрюмый, да и, между нами говоря, живут тут по-нищенски, право по-нищенски... А король где-то там, впереди... если только он действительно впереди! Кто его видел в конце концов? Уж конечно, не вы! Надо же быть такими дуралеями... да еще, говорят, эксельмансовские егеря за вами гонятся? Верно? О-о, эксельмансовские кавалеристы не то что король,— их видели, только их одних и видели, только и видят! Вы их за своей спиной не чувствуете, голубчики?

— А если б даже и так? — очень серьезно сказал долговязый правовед.— Вы что же, сударь, перекинулись к Буонапарте?

— Так-так-так! За это поставлю тебе еще стаканчик! К *Буона-парте?* Вот чудак! Ты мне нравишься, честное слово! Так я, значит, к Буонапарте перекинулся? Ну, брат, сказал, вот так сказал!.. Да не я, а весь край, деточка моя глупенькая, перекинулся к Буонапарте! Что, что? Не веришь? Да где у вас глаза, ягнятки? Весь край! А вы-то воображаете... И все потому, что в городах вас любезно встречали кучки толстосумов и чиновников. А думаете — почему? Они еще делали ставку на монархию и надеялись выскочить, подольститься. О карьере своей заботились... Чего уж тут, чего уж тут!.. А вы вот поговорите-ка, поговорите со здешними людьми... сделайте-ка два шага вправо или влево... поговорите с людьми на фермах или в деревнях... Да ведь все крестьяне, все как один, готовы опять понасажать деревьев свободы или по меньшей мере кричать: «Да здравствует император!» Не верите? Вот простаки! Ведь вы во вражеском краю, вы едете на Север, а там все гарнизоны нацепили трехцветные кокарды и попирают ногами королевские лилии и прочий хлам! Попались вы, детки, как мыши,— право, как мыши. Сзади кошка за хвост хватает, а впереди мышеловка!

На правоведов было жалко смотреть, они заговорили о троне, алтаре и монархе, произносили высокопарные слова, провозглашая идеи, которые им внушали их аристократические мамаши, а

потом священники, преподававшие в тех школах, где все они обучались, за исключением кудрявого, попавшего в их компанию случайно...

— Да в конце концов, сударь, возьмете вы нас или нет? Мы еле на ногах держимся. А тут еще дождь все льет и льет!

Бернар запрокидывал голову и, сощурив глаза в щелочки, смотрел на юнцов. Выпитое вино привело его в такое состояние, когда человек еще может пройти по одной половице, хотя втайне опасается, что его вот-вот начнет бросать от одной стены к другой. Он был полон того гиперболизма, когда пьяный чувствует себя могучим великаном: смотрите, сейчас головой прошибу потолок, захочу, так всех подряд исколочу, чувствую в себе силу необоримую, только вот неизвестно почему не могу ее в ход пустить. Экая досада! Бернар презрительно смотрел на пятерых дурачков, на простофиль мальчишек. «Мозгляки! На одну ладонь положу, другой прихлопну — и конец вам!» И он уже проникался жалостью к ним,— не чувством благожелательности, это уж слишком, а именно жалостью... Хотя у кудрявого была смазливая рожица, а у черномазого — приятный голосок, самым симпатичным показался ему долговязый... «Белые лошади стоят у дверей, фургон пуст. В кабаке гам невероятный. Да и все это невероятно. Зачем я здесь? Что я делаю? Прошлую ночь... Трудно сейчас вспомнить, что было прошлой ночью... Может, мне все это только во сне привиделось? Высокие сосны, факелы, господин Жубер,— то есть на самом-то деле он Жан-Франсуа Рикор, а его только называют так — Жубер, разъездной скупщик, служит у господ Кальвиль, парижских купцов с Каирской улицы. Надеюсь, вы не забыли? Память у вас хорошая? Ха-ха-ха! Комедия! И все эти люди, собравшиеся прошлой ночью: слесарь из Вимё, прядильщик, офицер из Бетюна... И вдруг я вот здесь, в этом кабаке, пью с волонтерами, прислужниками короля...»

— За ваше здоровье, приятели! — Бернар поднимает стакан и пьет. Сидр горчит: в него кладут для крепости косточки кизила.— Хороший сидр, на свету прозрачный, а цветом похож на мочу, верно?

Но ведь все это — декорация. Все это — маска. За всем этим прячется нечто такое, о чем Бернар не хочет думать, нечто такое, что шевелится, трепещет в душе, хотя он так старается заглушить недавнее воспоминание, боль, терзающую затуманенный мозг и сердце, бешено бьющееся в груди. То, что сказали *ее* глаза, и маленькая холодная рука, выскользнувшая из его руки, и слово «прощай»... И ничто — ни разноголосый хмельной гомон, ни унылое нытье этих дворянчиков, ни вино, ни желание думать о чем-нибудь другом,— ничто, ничто не могло стереть образ, стоявший

перед глазами, помочь Бернару забыть минуту расставания; в ушах его все еще звучали слова Софи, сказанные украдкой, когда она, потупив взгляд, чуть слышно, но явственно шепнула: «Прощай, Бернар! Теперь уж действительно прощай!» Если бы такие слова имели смысл, но ведь такие слова не имеют смысла, и почему она выбрала именно эти слова? Софи, Софи, моя Софи!.. Эх ты! И ты еще можешь называть ее «моя Софи», смешно, ведь ты так одинок, а она принадлежит другому! И ты все еще отказываешься верить? Но ведь она сказала: «Теперь уж действительно прощай. Мы больше не можем видеться, мы дурно поступаем... Надо все это кончить. Куда это нас приведет? Я больше не могу лгать, я люблю мужа, да, да, люблю... может быть, по-иному... но ведь он мне муж...» А тогда, значит, что же? Что же? Все это было. И сколько ни говори себе: «Это чудовищно!» — не поможет. Ничему не поможет. Так всегда бывает. В книгах. В выигрыше всегда Альберт... Шарлотта всегда остается с Альбертом, и в лучшем случае приходит поплакать на могиле Вертера, которого схоронят под высокими деревьями, в стороне от христианского кладбища, ибо туда не допускают самоубийц...

— Сударь,— сказал кудрявый,— умоляю вас... Мы все умоляем вас...

Бернар громко рассмеялся. Зазвенели деньги, брошенные им на стойку.

Четверо правоведов забрались в фургон, а долговязого Бернар взял с собою на козлы. Уж очень бледен, бедняга, ему полезно воздухом подышать. Ничего, что дождь на него побрызжет,— так скорее протрезвится.

* * *

— «Печалься же, природа! Твой сын, твой друг, твой возлюбленный кончает свои дни!..»

Несомненно, у Бернара была склонность порисоваться, и, может быть, алкоголь усиливал эту его черту. Но порисоваться ему хотелось лишь перед самим собою, чтобы доказать себе свое превосходство над окружающими. Траурную тираду он произнес с каким-то угрюмым злорадством,— набросил на плечи свой плащ с многоярусными воротниками, сел на козлы, взял в руки вожжи, а рядом с ним усаживался долговязый правовед. И вдруг этот юноша молодым робким голосом воскликнул:

— Ах, вот как! Вы, значит, тоже любите Вертера?

И Бернару стало стыдно, как человеку, которого врасплох застали голым. Он сердито буркнул:

— Кто этот Вертер? Я такого не знаю.

Ошеломленный правовед прислушивался к голосам своих товарищей, разговорившихся в фургоне (слов через стенку не было слышно), и не дерзнул сказать Бернару в ответ: «Вы смеетесь надо мной?» Он лишь молча задавался вопросом: что за человек этот странный возница?

А Бернаром завладела одна неотвязная мысль: если Шарлотта и сказала Вертеру: «Дольше так не может продолжаться»,— то лишь для того, чтобы попросить своего друга не приходить к ним раньше рождества... то есть, она хотела, чтобы на рождество он пришел. Ужасное слово «прощайте» уста ее произнесли лишь после чтения Оссиана, когда Вертер потерял власть над собою и почтение к Шарлотте... Но если Софи изгнала его, Бернара, значит, что-то произошло в ту ночь? И он внезапно поверил, что Софи действительно любит мужа и что в ту ночь... Это оказалось тяжелее всего. Он согласен был никогда больше ее не видеть, но не хотел, чтобы она была счастлива с другим, а воображение с жестокой точностью рисовало ему невыносимые картины этого счастья.

И вдруг он заметил, что его сосед, о котором он совсем и позабыл, что-то говорит с удивительной словоохотливостью. Правовед рассказывал вознице свою жизнь, а возница не слышал ни слова из его повествования. Впрочем, что может быть занимательного в жизни двадцатилетнего студента, второй год изучающего юриспруденцию и мечтающего о судейской должности в Шартре или в Ножане? Но дело в том, что у него была кузина... Как у всех юношей, конечно. И он читал ей Оссиана, как и все.

Софи. Больше никогда не видеть Софи. В этом мире, где люди, избавившись от Бурбонов, попадают под власть Бонапарта. А он, Бернар, кто он такой? Бедный приказчик мануфактуры Ван-Робэ, в любую погоду разъезжающий по пикардийским дорогам; всегда у него перед глазами картины безысходной, беспросветной нищеты, которые доводят его до отчаяния, и до отчаяния доводит его также мысль, что народ неспособен достигнуть единения, понять собственные свои интересы, люди готовы слушать всяких ловкачей, не хранят верности своим погибшим героям и идут за первым попавшимся навстречу безумцем, не заглядывая в будущее! Кому же доверять, если даже этот бывший член Конвента, этот соратник Бабёфа... если даже самому себе нельзя верить...

— Ах, если бы вы знали, сударь, как она хороша!..

Бернар вдруг захохотал. Он вспомнил, как вчера на этом самом месте, на козлах фургона, он говорил господину Жуберу чуть ли не те же самые слова. Это показалось ему смешным. Вдруг он спросил совершенно серьезно:

— Неужели вы, молодой человек, думаете, что тот, кто собирается сделать судейскую карьеру, способен покончить с собою из-за своей кузины?

Правовед даже вздрогнул: он и не думал говорить о самоубийстве, но, почувствовав себя глубоко уязвленным насмешкой, звучавшей в этом вопросе, дал ответ весьма глупый:

— По-вашему, это несовместимо?

Бернар, ничего не сказав, хлестнул лошадей. И после довольно долгого молчания произнес, как будто разговаривая сам с собою:

— Если кавалерия Эксельманса заняла правый берег Соммы, то в Абвиль, мой дражайший юный спутник, не пустят таких болванов, как я, которые везут в своих фургонах волонтеров королевского воинства, и я потеряю место в конторе почтенного господина Грандена из Эльбёфа, нынешнего хозяина прядильно-ткацкой мануфактуры Ван-Робэ, человека изворотливого и достаточно соображающего в политике, чтобы за мой счет приобрести благосклонность новой власти.

— Значит, действительно Эксельманс занял правый берег Соммы? — испуганно спросил «дражайший юный спутник».

— Вы же сами слышали в Эрене, что говорилось в кабаке. Слышали или нет? Так что же спрашиваете? Да-с, попали мы с вами в передрягу.

— Но в таком случае зачем же вы взяли нас с собой?

— Я-то? Да потому, что я выше всех этих мелких житейских неприятностей. И еще потому, что глупее этого поступка и не придумаешь. И еще потому, что я хотел сыграть сам с собою шутку для собственного развлечения. И для того, чтобы вы рассказали мне о своей кузине. Она прелестна, кузина ваша? Да?.. И еще не сказала вам: «Прощайте»?

Правовед досадливо махнул рукой, как будто отгоняя муху. На душе у него кошки скребли. Он не собирался вести задушевные разговоры с насмешником возницей.

— Вы думаете,— сказал он,— что кавалеристы Эксельманса...

— Не думаю, а знаю...

Сколько злобы в этом ответе! Но до чего же Бернару противен двадцатилетний влюбленный, который, испугавшись, сразу забывает о своей любви. Хочется поиздеваться над таким трусом. Больше никаких Вертеров, никаких Оссианов,— напугать зайца как следует.

— Я знаю...— повторил Бернар.

Откуда же он это знал? Ведь не видел же он их собственными своими глазами. А я, понимаете ли, из той же породы, что и Фома Неверный. Фома Неверный? Ну что ж, у всякого свой идеал.

Пожалуйста, можете касаться пальцем раны в моем боку, можете даже засунуть в нее всю руку...

— Ну, разумеется,— сказал «ихний Бернар»,— я их видел...

— Видели? По-настоящему видели? А где?

Ишь ты! Позеленел от страха будущий нотариус. И зачем подобным трусам такой огромный рост? Никогда из этого долговязого не выйдет настоящего мужчины, зря только потратили на него материал. Бернар почувствовал, что его сосед дрожит.

— Вам холодно? — коварно спросил он.

— Нет, благодарю вас, у меня внизу вязаная фуфайка.

Вот дурак! Таких мальчишек, право, приятно было бы хорошенько припугнуть, чтобы у них от страха сделалась медвежья болезнь.

— Ну, ничего,— сказал правовед.— Ведь его величество уже в Абвиле!

— Вот именно... И меня, молодой человек, беспокоит, крайне беспокоит участь его величества... так же как и участь города Абвиля, в который я направляюсь. Возможно, город уже предан огню и мечу, залит кровью!

— Да откуда вы едете, сударь? Как вы это знаете?

«Все в этом мире — ложь. Любовь, свобода, народ. Ах, Софи, Софи! А разве я хуже других умею лгать? И наслаждаться своею ложью... Где их король сейчас? В Абвиле? Или где-то в другом месте?.. Ты спрашиваешь, голубчик, откуда я еду?..»

— Армия генерала Эксельманса пришла в Амьен прямо из Парижа, обойдя на марше в Крейле королевскую кавалерию; полки, прошедшие через Бовэ, преследуя вас, сейчас, вероятно, уже достигли Пуа, а другие части, которые со вчерашнего вечера расположились вдоль Соммы, закрыли переправы через реку, готовятся соединиться со своими войсками в тылу у вас, на дороге из Пуа в Амьен, и замкнуть вас в кольцо, а затем они могут двинуться со своих позиций на Сомме и, пройдя через Пикиньи и Эрен, напасть на вас с фланга и около Пон-Реми перерезать дорогу.

— Что? Что? Не понимаю. Никак не соображу, у меня же нет карты... Надо предупредить товарищей... надо... Да как вы все это узнали? Каким образом?

— Вы меня сейчас спрашивали, откуда я еду. Я приехал из Пикиньи,— той самой дорогой, которая ведет в Эрен, где вы меня встретили. Пикиньи стал центром сосредоточения эксельмансовской кавалерии. Я там был (доставил туда пряжу ткачам) и случайно слышал на постоялом дворе, как наполеоновские офицеры разговаривали между собой: они были очень возбуждены и, нисколько не таясь, во все горло кричали такие вещи, такие вещи... Право, не решусь повторить, что они говорили об участи, постиг-

шей его величество... ведь в конце концов возможно, что в действительности ничего этого нет, а им только хочется, чтобы так было...

Долговязый от ужаса совсем потерял голову, но ему понадобился еще урок географии, а ведь не так-то легко дать этот урок, когда держишь в руках вожжи, правишь парой лошадей и никак уж не можешь набросать карандашом карту.

— От Амьена до Абвиля долина Соммы тянется с востока на запад, а расстояние между двумя этими городами чуть-чуть больше одиннадцати лье. От Амьена до Пикиньи около четырех лье, а до Пон-Реми — девять. Дорога из Парижа на Кале, по которой мы едем, пересекает долину Соммы в Пон-Реми, в Пуа дорога отстоит от края долины не больше, чем на восемь лье, а в Эрене — на четыре лье. От Пон-Реми до Абвиля самое большее два лье. Вам понятно, молодой человек? Треугольник Амьен — Пуа — Пон-Реми, можно сказать, равнобедренный; в основании он имеет восемь лье, а каждая его сторона равна девяти лье. Мы движемся по западной стороне треугольника. Эксельманс занимает всю восточную сторону и основание, он уже следует за нами по пятам. Ну что? Вам все еще не ясно? Господи боже мой, да чему же вас учат в школе?

— Сударь,— скулил долговязый, втягивая внутрь щеки и беспокойно ерзая по козлам тощим своим задом,— мне кажется, я хорошо понимаю... представляю себе равнобедренный треугольник... Так, значит, вы их видели? В Пикиньи? Надо предупредить... предупредить...

И вот он стучит по брезентовой стенке фургона, пытаясь привлечь внимание товарищей. Но они его не слышат: они сидят, укрытые от нестихающего дождя, довольные, что отдыхают их натруженные ноги, и по молодому легкомыслию распевают хором песни, совсем не похожие на великопостные псалмы и весьма неуместные в среду страстной недели. Долговязый выходит из себя, хватает Бернара за плечо, умоляет остановить лошадей; а тот и слушать ничего не хочет, нагло заявляет, что ему нет дела ни до какого командования, наплевать ему и на маршала Мармона, и на принцев, он должен поспеть нынче в Абвиль, и будет там, хотя бы ему пришлось для этого сбросить своих седоков в придорожную канаву, если окажется, что везти их для него небезопасно.

Наконец поднялись на косогор, с которого шел спуск к переправе Пон-Реми. Сквозь пелену дождя открылась широкая долина Соммы с разбросанными по ней голыми деревьями,— только вербы уже были разубраны первой зеленью и матовым золотом. Проехали мимо древнего лагеря Цезаря — холма, поднимавшегося слева от дороги, и вдруг весь караван застрял: впереди дорогу

запрудили роты королевской гвардии, пришлось и Бернару остановить лошадей. Долговязый соскочил с козел, подбежал к задку фургона, взобрался к своим товарищам, и Бернар услышал их громкие выкрики, гул торопливых разговоров. У него повеселело на душе. Волонтеры повыскакивали из фургона и, размахивая руками, принялись обсуждать, что делать... «Ну, теперь эти еще подбавят паники»,— злорадно подумал Бернар. Он засунул руку под сиденье — проверить, на месте ли пара седельных пистолетов — добрые его спутники. И он повторил про себя слова Гете: «Слуга принес Вертеру пистолеты; он принял их с восторгом, узнав, что пистолеты эти дала ему Шарлотта... «Они были в твоих руках, ты стирала с них пыль; я осыпаю их поцелуями, ведь ты прикасалась к ним!» Он поглядел, как бегут по дороге волонтеры; один из них — кудрявый — обернулся и крикнул, что они сейчас вернутся, будто хотел успокоить Бернара, а то ведь он, бедняга, без них жить не может! Бегите, бегите, цыплятки. Он видел, как его пассажиры разговаривают с каким-то кавалеристом,— тот слушал их, наклонившись с седла, должно быть переспрашивал, заставлял повторять некоторые фразы и наконец показал на другого верхового, стоявшего дальше. Пятерка правоведов вихрем помчалась туда.

«А в сущности, зачем мне ждать этих господ? Может, просто... Ведь все на свете ложь. Ради чего мой отец отдал свою жизнь? Ради того, чтобы те самые люди, которые были его товарищами, якшались с палачами? Может быть, я не прав, но я не могу вынести того, что теперь творится. Скажут, что это делается во всеобщих интересах, а я просто-напросто ничего не понимаю. Возможно. Возможно. Но я этого не могу вынести, вот и все. Уже несколько лет я работаю для «Организации». Работаю вслепую. А что, если я заблуждаюсь? Ничего не поделаешь... Лучшее, что есть во мне... Для меня нестерпимо видеть, как живут люди в этой стране... На них смотрят, как на товар, торгуют ими, смотрят, как на скот,— тащи воз, обливайся потом, а потом погонят на бойню, шкуру сдерут... Все-таки была в моей жизни верность — служение «Организации»... Я говорил себе: значит, отец не напрасно погиб...» Белые першероны спотыкались на выбитой дороге. Внизу войска отхлынули. «Дурак я! Сердился на себя: зачем заглядываюсь на жену ближнего своего. Ближнего? А кто мой ближний? Отец? Кто? Какая теперь путаница пойдет! Не отличишь солдат, которым за год осточертела королевская власть, от бывших приспешников короля,— они ведь с надлежащей быстротой переметнутся в другой лагерь, чтобы сохранить свои земли, свои замки, свои доходы. Ку-ку! А потом ловкачи сменят голубые ленты на красные. Нет, не хочу я увидеть все это еще раз. Противно! Все это ложь, и даже

страх, от которого у этих людей живот схватило... Даже страх, такое реальное чувство, и то — ложь. Однако есть и настоящий страх, вот он-то и не дает мне думать о том, о чем так тянет думать, не дает смотреть прямо в лицо смерти... Из-за этого-то и приходят в голову всякие слова и говоришь совсем о другом. Им страшно, но и мне тоже...»

Для выдумок Бернара момент и обстоятельства оказались самыми благоприятными. Пятерку волонтеров все понимали с полуслова — настолько паника, хотя и в скрытом еще состоянии, уже овладела королевским воинством. А правоведы, которых направляли от одного к другому, шли все пятеро, подталкивая вперед долговязого, и добрались наконец до группы командования, остановившейся у подножия холма,— там Тони де Рейзе, граф де Дама́ и Сезар де Шастеллюкс, сидя на лошадях, ждали сведений о причинах образовавшегося затора; принцы проехали пять минут тому назад, возникло опасение, как бы они не оказались отрезанными от войска. Правда, Луи де Ларошжаклен достиг уже Пон-Реми, и еще были видны медвежьи шапки гренадеров, составлявших арьергард его отряда, но все-таки!..

Господин де Рейзе узнал в долговязом одного из молодых волонтеров, которых к нему привели по их прибытии в Бовэ,— они тогда произвели на него прекрасное впечатление. Этого длинного худого малого ему даже представили, и господин де Рейзе ужасно досадовал на себя, что не помнит его фамилии; ведь было бы просто великолепно, если бы она запомнилась и можно было бы щегольнуть: «Ах, это вы господин такой-то! Ну что, дорогой мой?..» Эта штука всегда имеет успех. Наполеон благодаря своей дьявольской памяти замечательно умел пользоваться этим фокусом. Ну-с, так что же случилось? Добровольцы хором принялись объяснять, предоставляя, однако, долговязому поправлять их и уточнять сведения. Тони де Рейзе подобрал поводья и повернулся к графу де Дама́. Тот, не расслышав как следует донесения, приказал повторить суть дела.

О, суть дела очень проста. Необходимо немедленно собрать гвардию вокруг принцев, иначе они попадут в ловушку. Переправу через Сомму отменить. Самое большее — можно попробовать достигнуть Абвиля по левому берегу, если только там уже не расположился Эксельманс, и пробраться к Амьенской долине через Пон-Реми...

— Но откуда вы все это знаете? — спросил Шарль де Дама́.— Сведения как будто основательные, но все-таки... Надо бы послать людей проверить...

Тони де Рейзе был твердо убежден в достоверности сведений. Слухи, которые он сам приказал распространять, чудесным обра-

зом подтвердились, и господин Рейзе, считавший себя глубоким психологом, вдруг оказался в собственных своих глазах еще и гениальным стратегом, наделенным необычайной прозорливостью.

Большая часть королевской гвардии находилась впереди них, на подступах к Пон-Реми. Отрядам приказали расположиться в поле и ждать там, составив ружья в козлы.

— Под таким дождем?

— Поверьте мне, дождь небесный нас только вымочит, а свинцовый ливень всех скосит. Во всяком случае, надо поскорее послать эстафеты, нечего мешкать...

— Эстафеты? Что там эстафеты! Надо направить отряд, и притом покрупнее...

Сезар де Шастеллюкс предложил послать в долину Соммы всю легкую кавалерию, под его началом, с заданием остановить Эксельманса и держать связь с командованием при помощи гонцов.

Шарль де Дама́ об этом и слушать не желал. Слишком рискованное дело. Может быть, он не хотел расставаться со своим зятем. Во всяком случае, сказал он, легкая кавалерия должна охранять принцев. И Шарль де Дама́ предложил,— а предложение с его стороны в данных условиях было равносильно приказу,— предложил послать сборный отряд в пятьдесят сабель, составив его по преимуществу не из легкой кавалерии. Но, во всяком случае, тут нужна весьма подвижная группа, которая могла бы сойти за авангард и внушить неприятелю мысль, что королевские войска стягиваются к Амьену. Обманув таким образом неприятеля, отряд сможет внезапно повернуть обратно и ускакать. Ни в коем случае не следует вступать в бой, в котором они могут быть смяты, а тогда вражеская кавалерия наверняка ринется к Абвилю, где пребывает его величество. Кого же послать? Долго раздумывать не приходится. Разве нет под рукой гренадеров?..

Вот каким образом Марк-Антуану д'Обиньи поручили командование отрядом фланговой разведки, дав ему наказ обнаружить неприятеля и тотчас отступить.

И тут Шарль де Дама́ сказал, что было бы интересно непосредственно допросить этого разъездного приказчика с ткацкой мануфактуры, давшего сведения молодым волонтерам, студентам Школы правоведения, которые, кстати сказать, еще раз доказали свою сообразительность и верность трону. Правоведов разыскали без труда, но приказчик остался на холме, а туда надо было карабкаться прямо по косогору, так как дорога была забита воинскими частями.

С волонтерами послали адъютанта гвардии. «Вот он!» — крикнул один из правоведов.

Адъютант поднял голову и увидел черный фургон, в который была запряжена пара белых першеронов. Вокруг собралась толпа, что еще больше затрудняло движение. Что? Что там такое? Что случилось?

Долговязый проталкивался, работая локтями. Его провожали не очень любезными возгласами, но все-таки ему удалось пробраться к белой упряжке. Прежде всего ему бросился в глаза цилиндр, скатившийся на дорогу; на козлах под зеленым брезентовым верхом запрокинулось тело возницы, повалившееся на стенку фургона, а голова... Да разве это еще была голова?.. Рядом с трупом лежал большой пистолет; второй пистолет еще сжимала левая рука, свисавшая с козел; вожжи держал кто-то из артиллеристов Мортемара; белые кони ржали.

Лица у Бернара больше не было. Он выстрелил себе в рот из седельного пистолета, *с которого она сама стирала пыль,* и чуда не произошло,— он не промахнулся. Итак, есть на свете нечто бесспорное, что никогда не бывает ложью и с чем шутить нельзя. Под этой правдой мертвец поставил свою подпись,— разможженная голова забрызгала брезентовую стенку фургона мозгом и кровью. Люди кричали: «Доктора! Доктора!» К чему? Смерть была ясной и очевидной. Не стоило призывать служителя науки для того, чтобы он объяснил то, что было бесспорно, новой ложью.

Кто-то из местных жителей, человек в широкой серой блузе, взял белых лошадей под уздцы, потянул за собой, громко и угрюмо понукая: «Но! Но!» И черный фургон тронулся, рассекая толпу, расступавшуюся на его пути. Волонтеры и адъютант пошли вслед за фургоном. Через несколько шагов мертвец под зеленым брезентовым верхом рухнул на бок. По толпе зрителей пробежал трепет, человек, тянувший лошадь, в нерешительности остановился, потом опустил голову и, ссутулившись, двинулся дальше. Люди, теснившиеся у обочин дороги, окликали его, спрашивали. Он отвечал:

— Да вот... отчаялся человек...

Необходимо было немедленно довести происшествие до сведения командующего ротой Граммона. Разве можно сомневаться в словах мертвеца? Теперь сообщение Бернара было подтверждено.

Пятьдесят всадников во главе с лейтенантом д'Обиньи, растянувшись цепочкой, уже въезжали рысью в Пон-Реми. Тони де Рейзе, сидя на своем вороном, провожал их взглядом. Долго он смотрел на извилины дороги, за которой они исчезли, смотрел, не замечая пейзажа, открывавшегося перед ним в долине, где на острове, посредине Соммы, маячил между деревьями замок Пон-Реми.

Прибыл приказ принцев идти в направлении Абвиля по левому берегу; но прежде чем вступить в город, королевский конвой должен стянуться и построиться в боевом порядке. Господин де Рейзе передал листок с полученным приказом графу де Дама́. Они переглянулись.

— Боже мой! А как же король? — воскликнул Тони.

Шарль де Дама́ сделал уклончивый жест. Это означало: «Они не посмеют! Да и вообще... Чего там! Короли не умирают...» И тут Тони подумал, что его высочество герцог Ангулемский находится в безопасности, поскольку на юго-западе страны население настроено монархически. А супруга его высочества могла бы стать великолепной королевой Франции, привлекая сердца как само воплощение скорби,— в глазах ее застыл ужас трагедии Тампля. Разумеется, все это может произойти лишь после кончины графа Артуа, если с ним случится несчастье... Конечно, упаси боже!

XII

ДОЛИНА СОММЫ

С утра всю долину затянул туман. Костры, разведенные накануне, долго тлели, потом их загасил дождь. Лишь кое-где вдалеке последние струйки дыма смешивались с завесой тумана. Люди, добывавшие торф, напрасно поторопились, решив, что пришла весна,— надо бы подождать еще немного, а потом уж пережигать на удобрение землистый торф-рухляк, прошлогодние отбросы от выделки брикетов: их вывозили на общинные поля, сбрасывали кучками и в конце марта, если погода позволяла, сжигали; по всей долине между деревьями и зарослями кустарника поднимались тогда султаны желтоватого дыма; крестьяне нагружали телеги белой золой сожженного торфа и рассыпали это превосходное удобрение по лугам и нивам; хлеба здесь вызревали поздно.

Но добыче торфа дождь не мешал,— даже наоборот: что же другого могут делать в этом краю люди? Они всегда работали, если не в поле, то на болотах. Например, у торфяника Элуа Карона, который иной раз нанимался на поденщину по фермам, в это время года другого выбора не было. Большинство крестьян до пасхи не начинало резать торф, но безбожнику Карону не было нужды ждать воскресения Христова для того, чтобы приступить к добыче. В первый же весенний день он брал свой большой черпак и отправлялся на «закраину», иначе говоря — на узкую полосу земли, окаймлявшую разрабатываемое болото, где он уже приготовил себе «площадку», срезав лопатой травянистые торфяные кочки, кото-

рые шли на топливо для дома; с собою он привел на этот раз в качестве подручного тринадцатилетнего сына Жан-Батиста, заменившего мать, которая опять была беременна. В тумане вырисовывались фигуры и других добытчиков торфа, направлявшихся к своим сушильням, которые выделялись на зеленом ковре дерна темными пятнами, словно какая-то проказа. Но там, где Элуа построил себе месяц тому назад тростниковый шалаш и расположил свою сушильню, было тихо и безлюдно: Элуа не любил компании. Он и жил со своей семьей на отшибе от всех, в самом отдаленном углу торфяных болот Соммы, на границе с Лоном, в коммуне Лонпрэле-Кор-Сэн, которую он упорно называл вместе со всей пикардийской голытьбой — Лонпрэ Безлесная, как ее именовали при Республике. Дом его стоял в самом глухом месте, дальше всех забрался в эту водяную и камышовую пустыню и представлял собою низенькую слепую лачужку — окон не сделали, чтобы теплее было; воздух проникал туда лишь через дверь, когда ее отворяли; глиняные стены, побеленные известкой и подпертые балками, снизу были обшиты просмоленными досками. Элуа жил тут со своей Катрин, которая в тридцать пять лет казалась уже старухой с изуродованным телом и без кровинки в лице; за девятнадцать лет замужества она родила тринадцать детей, из них шестеро умерло, а старший сын убежал из дому с цыганами. У супругов Карон осталось еще три сына и три дочери, а все богатство состояло из коровы и нескольких куриц. Старик отец Карона жил при нем, собирал милостыню. Вокруг были необозримые болота, сырая, мокрая земля, топь, мерцание озер, щетина камышей, болотные травы, тянувшиеся со дна к поверхности воды, светлостволь ные голландские тополя, ясени, вязы,— среди них едва начинала подниматься молодая поросль на местах жесточайших порубок, неоднократно совершавшихся за последние двадцать лет, когда крестьяне толпами осаждали общинные земли и национальные владения, которые бывшие хозяева уже не способны были охранять; в эти голодные годы крестьяне с каким-то неистовством валили лес, так что, пожалуй, не меньше столетия понадобилось бы, чтобы здесь возродился прежний ландшафт. Если, конечно, за эти сто лет здесь не пройдут новые революции или войны.

За низиной Лонпрэ горизонт замыкала возвышенность, обрывавшаяся почти отвесно к долине Соммы, тогда как правый берег реки, выше Лона и Кокреля, поднимался отлогим склоном; но это уже считалось далекими местами.

Родиной Элуа была вот эта полоса заболоченных лугов, окаймленных тополями, перерезанных каналами и озерами; чуть подальше, на пятьсот — шестьсот туазов в сторону, где терялись в камышах рукава Соммы, он уже не чувствовал себя дома, и совсем

чужим, далеким краем были для него берега Соммы, хотя она в самом широком месте долины только на пол-лье отходила от возвышенности, ограничивавшей левый край долины. На болотах было безлюдно: в переплетении ручьев и предательских топей, кроме лачуги Карона, попадались лишь охотничьи домики. Кто достаточно хорошо знал протоки, чтобы не заблудиться в камышах, спокойно пускался в путь по этим водяным улицам,— отталкиваясь шестом, можно было проплыть в плоскодонной барке из озера в озеро, спуститься вниз по течению речушек, выйти на Сомму немного выше Брэ и двинуться с грузом торфяных брикетов дальше, к поселку Рувруа, что у самого Абвиля. Там купцы хоть и торговались зверски, а все же давали за торф больше, чем перекупщики в Пон-Реми или в Шоссе-Тиранкуре. Итак, родным краем Элуа была та длинная топкая низина, что тянется от Амьена до Абвиля,— нищий край, где людям приходилось бороться с землевладельцами, с купцами, с местной властью и назначенными ею сторожами, с жадностью плутов, которые, по господскому примеру, стремились завладеть общинными землями и беззаконно их огораживали; приходилось страдать от стихийных бедствий (различных в разное время года), от реквизиций, производимых городами, и от проходивших войск... Родными для Элуа были вот эти туманы и низкая пелена дыма, этот торфяной край, где люди обряжаются в лохмотья, где единственным лакомством было молоко от тощей одышливой коровы, которая паслась в затопленных поймах, щипала там мокрую траву и болотные цветы. Крестьянину едва удавалось вскопать себе полоску огорода; бобы здесь росли хуже, чем мелкие и тугие кочешки капусты, которую сажают вдоль всей Соммы. Но этот край — родина Элуа, а торф — средство пропитания, он сжился с ними, как со своей женой Катрин, никогда ему и на ум не приходила мысль расстаться с ними или хотя бы обсуждать, каковы они. Это его родной край, это его жизнь. Здесь он вырос, здесь прошла его молодость, здесь истратил он свою силу, голодал и холодал, здесь он забился в нору со своей Катрин и год за годом слышал ее вопли, когда она в муках рожала ему детей. Элуа Карону не было и сорока, а он уже начал седеть. Он считал себя еще счастливчиком, ибо избежал набора в армию, тогда как два его брата сложили головы — один за Республику, другой за Империю, а третий, любимый брат, дезертировал, да так и пропал куда-то; в его честь Элуа и назвал Жан-Батистом своего сына, с которым ходил на болото. Нельзя сказать, чтобы Элуа совсем уж забыл свое детство,— живым образом тех дней стали его дети, но все это было теперь далеко-далеко, как город Абвиль,— только вот не найдется такой барки-плоскодонки, на которой можно было бы возвратиться в прошлое. А времени терять нельзя,— жизнь научи-

ла Элуа, что всякое дело надо делать в свою пору; вот он в среду на страстной неделе и вышел с сыном на работу с утра пораньше; стоит себе на своих «плотках», как тут называют доски, укрепленные на сваях на краю «ямы», то есть торфяного болота, и орудует черпаком, запуская его в воду на глубину в пять-шесть метров; черпак представляет собою ящик без крышки высотою около двух футов, сделанный из железных пластинок и насаженный на рукоятку длиною в три с половиной туаза: «тягальщик» скребет краем черпака по дну, пока ковш не наполнится торфяной массой. Представляете себе, какая это тяжесть? Элуа изо всей мочи налегает на рукоятку, отрывает черпак ото дна. Тут, конечно, нужна сила, но нужна также и ловкость. Когда работа идет часами и раз за разом торфяная глыба поднимается из болота на конце жерди в черпаке, с которого струится вода, никакой Геркулес не выдержит больше часа, если только нет у него долгой привычки выбирать торф, как у косца вырабатывается привычка косить траву.

А Жан-Батист исполняет обязанности подручного: проворно действуя резаком, то есть кривым ножиком, он делит ком торфа на три части, и, пока отец, едва успев перевести дух после тяжкого усилия, вновь погружает черпак в воду, мальчик перевозит на тачке, оставляемой обычно в тростниковом шалаше, эти три «кирпича» торфа к сушильне, где они и будут сушиться вместе с другими уже рассортированными «кирпичами»; сначала их складывают «колодцем» из двадцати одного «кирпича», то есть делают из них башенку с просветами, так, чтобы туда свободно проходил воздух, затем из подсушенных «кирпичей» возводят усеченные пирамиды, в которые входит два кубометра торфа. В этих-то пирамидах солнце и ветер довершают сушку.

Элуа вытаскивает все новые и новые глыбы торфа, и когда черпак отдирает их ото дна, они вырываются из воды с громким звуком, похожим на вопль. Согнув колени, крепко упираясь ногами в доски, Элуа поднимает тяжелую ношу и, покачивая жердью, описывает черпаком полукруг в сторону от своих «плотков».

Чтобы поспеть за отцом, Жан-Батисту приходится поторапливаться, и от усердия он весь обливается потом; ему хорошо известно, что, если он замешкается, отец стукнет его по голове и по спине рукояткой черпака, а колотит Элуа «здорово больно». Поднырнув под длинную жердь, которая уже вновь поворачивается к воде, мальчишка сгибает спину и катит тачку, оглядываясь на ходу: намного ли обогнал его в работе отец...

Перед уходом из дому оба торфяника поели немного хлеба, запивая его суслом, сваренным из отрубей. В полдень не делали перерыва на обед: когда работаешь на себя, по своей воле, не станешь прохлаждаться; только на исходе дня можно было сесть за

ужин, состоявший из кусочка сала с капустой или с бобами. Элуа привык к воздержанию в пище, но сын его растет, за последнее время мальчишка ужас как вытянулся, и от такой еды ему голодно. Правда, сейчас Жан-Батисту некогда об этом думать, тем более что он забыл принести из шалаша ведро с известью, которой отец должен пометить сложенные пирамиды торфа — поставить на них кресты или первую букву своего имени. То-то будет ругаться, да еще, пожалуй, и трепку задаст.

Полил частый дождь, мочит добытчиков торфа, стали скользкими и дощатые «плотки», и земля. Вокруг летают скворцы, и, когда Жан-Батист отъезжает с пустой тачкой от сушильни, они целой стаей садятся на еще мокрые плитки торфа в поисках червей. Но как только мальчик возвращается, они вспархивают, испугавшись его окриков, и разлетаются во все стороны, а Жан-Батист, вздернув плечи, опрокидывает тачку.

В те годы, когда старика Карона еще не скрючил ревматизм, он тоже выбирал из болота торф, а его сын Элуа был у него подручным. Но уже давно старик живет только милостыней. Приходский священник, возвратившийся во времена Консульства, попытался было пристыдить Элуа: «Как же это так? Отец ходит по миру и сколько грошей насобирает, тебе отдает...» Ну и что же тут такого? Элуа-то что может сделать? Раз старик не в силах больше работать, стало быть, должен просить милостыню. Чем сына объедать, пускай побирается. Что же еще, по-вашему, калеке делать? Неужели лучше отнимать для него хлеб у внучат? Впрочем, Элуа, может, и послушался бы другого попа — «присяжного», который принес присягу на верность республиканской конституции; тот поп был славный человек и выпить не дурак. «А уж этот! Долго он еще будет душу выматывать? Ишь какой проповедник нашелся! А где это ты пропадал, когда мы с голоду пухли? Коровы не было, хлеба в доме ни крошки, двое младшеньких, младенчики еще, померли, оттого что молока-то не было. А теперь вот, когда на всех перекрестках дорог опять крестов понаставили,— послушайте, как наш кюре в один голос с господами поет,— теперь ведь и господа отовсюду повылезали и завопили: все эти, говорят, торфяники, все здешние поденщики и батраки — лодыри, не хотят такие-сякие надрываться за грош на господской работе; их зовут, а они не идут и живут воровским способом: пускают свою тощую коровенку пастись на бывшие господские луга. И все хором — и господа и попы — требуют, чтобы отменили общинные владения: тогда, мол, не станут мужики бездельничать. Корова! Спать она им не дает, наша мужицкая коровенка». Действительно, при всех обсуждениях дел в муниципалитетах постоянно говорилось об этой корове. Ведь именно из-за нее земледельцам, как называли те-

перь тех, кто жил на своей земле чужим трудом, приходилось нанимать людей из других мест в горячую пору сева и уборки хлеба. «А главное-то вот в чем: у торфяников и крестьян-бедняков своей земли нет, им некуда гонять корову на выпас, и ходит она у них по общинному болоту, бывшему господскому владению, выбивает траву на пастбищах; да вдобавок хозяевам этих коровенок теперь уже не надо просить у господ дозволения на добычу торфа, и они режут его, роют яму за ямой, так что здешний край стал похож на развороченные кладбища,— чернеют на нем пустые могилы, как будто покойники, не дожидаясь Страшного суда, сами убрались в ад. Опять же на болоте зря пропадает навоз, а ведь он пригодился бы для удобрения полей крепких хозяев, у которых есть земля и есть бумаги, доказывающие их права на эту землю. А поденщики-то какие наглецы! Все им мало, этой голытьбе! Нате получайте две трети соломы при уборке хлеба. И вот уж они тогда стараются, под корень жнут, косить ни за что не станут — только серпом. Хозяин земли прикажет косой убирать,— так на него штраф накладывают: солома, дескать, должна идти беднякам. А знаете, во что тогда обходится уборка хлеба хозяевам, у которых много земли?..»

Вот какими мыслями была полна голова Элуа Карона, когда он добывал торф; перебирая в уме доводы богачей, он язвительно ухмылялся, сердито бормотал что-то и, громко вскрикнув: «У-ух!» — отрывал от тинистого дна тяжелый черпак. Жан-Батист даже встревожился; поглядывая на отца исподлобья, он задавался вопросом: что такое делается с ним, и уже чувствовал на своей спине отцовские колотушки.

«Плачут они, богатеи, из-за нашей коровы, плачут из-за соломы, плачут из-за торфа. Насчет торфа они, пожалуй, согласились бы, чтобы мы его добывали, а они бы им торговали, но чтобы сами мы продавать его в городе не смели. А насчет скота они ловкие: тоже гоняют свою скотину на общинные луга, на болото, а свою-то траву косят и сено продают. И ведь корова-то у них не одна, а целое стадо, да еще отара овец. Но ты не смей про это и слово сказать,— будешь говорить, работы тебе не дадут, а ведь работа-то нам нужна, вот и приходится ладить с богатеями, хотя очень хочется дать им по шее и избавиться от них. А послушать их, так чего только они не наговорят!» Земледелие, видите ли, может процветать лишь тогда, когда им занимаются зажиточные люди, у которых хозяйство крупное, скота много, а значит, землю можно удобрять навозом. А мелкие фермеры погубят земледелие. Куда было бы лучше сделать их всех батраками у богатых хозяев,— пусть ходят за плугом или работают на хозяйском скот-

ном дворе. И пора покончить с нелепым предрассудком, будто бедняку нужна корова,— из-за этой коровы вся голытьба бездельничает, примером чему могут служить в Пикардии Элуа Карон и ему подобные. «Ну и ну! Нашли лентяя! Поглядите-ка на мои руки. Разве у лодырей такие мозоли бывают?»

— Эй, ты! Чего стоишь? Погоди, вот как дам тебе затрещину!

Окрик относился к Жан-Батисту: выпустив рукоятки тачки, мальчик застыл на месте и, вытаращив глаза, с ужасом смотрел в сторону Лонпрэ. Он ничего не ответил отцу, только протянул руку, указывая на что-то видневшееся вдали на дороге.

Там показались всадники в высоких меховых шапках: они ехали рысью вверх по течению реки и вдруг застыли на месте, столкнувшись с другими всадниками в зеленых мундирах с красными отворотами,— этот второй отряд, двигавшийся со стороны Амьена, виднелся между деревьев над желтой стеной камышей.

И вдруг раздался выстрел.

* * *

Командир полка барон Симоно пожелал лично дать приказ лейтенанту Дьедонне. Проскакав за пять часов четырнадцать лье, полк прибыл в Амьен около десяти часов утра и был радостно встречен гарнизоном, уже надевшим трехцветные кокарды. Казалось, в городе открылась ярмарка; вести, дошедшие из Парижа, уже были преданы гласности, и, несмотря на дождь, на улицах толпился народ, везде были солдаты, принаряженные девицы,— словом, в Амьене будто справляли какой-то праздник, и власти явно поощряли это настроение. Удивительное дело: во всех питейных заведениях, во всех гостиницах вдруг появились музыканты, и повсюду шли танцы, повсюду на столах, заменявших подмостки, восседали импровизированные оркестры, всюду звучали мелодии, популярные в дни Империи, и даже казалось, что вот-вот люди будут требовать исполнения марсельезы. Егерям барона Симоно отвели для постоя амбары у западной заставы города, около бульвара Отуа, оголившегося, неузнаваемого для тех, кто видел его двадцать пять лет назад, как, например, доктор Денуа, который провел в этих краях свое детство,— вековые исполинские деревья были срублены, и вместо них при Империи понасажали каких-то хлыстиков... Арнавон, Шмальц и Рошетт отправились побродить по берегу Соммы — им на месте никогда не сиделось. Тут кругом жили огородники, уже доставлявшие в город первые овощи из своих теплиц: у каждого был разбит садик и огород, сейчас затопленные дождями. Солдаты принялись мыться, бриться, чиститься,—

ведь перед выступлением они не могли уделить время своему туалету: из Сен-Жюст-ан-Шоссе вышли в пять часов утра! А в Амьене, по слухам, предстояла ночевка, можно было надеяться, что вечером в караул не пошлют, и значит...

Как только прибыли походные кухни, 2-я рота 3-го эскадрона поужинала, потом кавалеристы почистили своих лошадей, привязав их к деревьям. Дьедонне закурил трубку. Вдруг его вызвали к полковнику. Не скрою: Дьедонне крепко выругался. Вот ведь всегда его роту назначают в наряды, а все потому, что ротный командир не капитан, а лейтенант, и раз так — на него взваливают всю работу. Значит, ничего не переменилось. Как было при Сен-Шамане, так, видно, и дальше будет. Но что поделаешь,— приказ есть приказ! В конце концов капитан ты или не капитан, тебе оказано доверие и твоим людям тоже. «Я знаю,— сказал Симоно,— ваша рота справится с самым трудным заданием». Говор у полковника грубый,— сразу видно уроженца Тарна. А насчет трудных заданий сказал, наверно, чтобы подкупить. Наверно. И ведь действительно это подкупает. Сен-Шаман так не делал. Отдавал приказ с высоты своего величия, подпертого стальной пластинкой воротника, вот и все.

Задание состояло в следующем: проехать по долине Соммы до подступов к Абвилю или, по крайней мере, до места расположения монархических войск. Весьма возможно, что дальше Пон-Реми проникнуть не удастся,— следовательно, лошадей гнать больше восьми лье не придется. Остановиться как можно ближе к противнику, ибо мало вероятно, что отряды королевской гвардии станут преследовать кавалеристов Дьедонне, когда они поскачут обратно. Маневр этот имеет вполне определенную цель: дать Мармону почувствовать соседство императорских войск, подогнать его, чтобы двигался побыстрее, показать, что он взят в кольцо, вообще создать у противника впечатление непрестанно грозящей ему опасности. То ли хотят, чтобы сражение произошло как можно дальше отсюда, то ли задумали поставить красным мундирам капкан и загнать их туда. А вернее всего, желают припугнуть их такой перспективой, заставить короля и принцев как можно скорее убраться из Франции с какой-то частью войска, создать благоприятные условия для того, чтобы остальные не уходили и присоединились к своим преследователям. Страна больше не должна видеть в Людовике XVIII своего законного монарха: нужно отбросить этого графа Лиллького к линиям союзнических войск — пусть он вновь станет заграничным претендентом. Между тем в широковещательных воззваниях, которые передавались во все концы Франции по оптическому телеграфу, а также через эстафеты, мчавшиеся во весь опор, сообщалось, что отдан приказ схватить и арестовать

короля и всех Бурбонов, где бы они ни встретились. Упоминалось также еще человек десять важных особ, и в списке их Робер Дьедонне увидел имена Мармона и Бурьена. Но нигде не говорилось, что приказано атаковать королевские войска. Симоно настойчиво подчеркивал это. Преждевременная битва могла ускорить вражеское нашествие на французскую землю, а императору нужно было выиграть время, чтобы произвести реорганизацию государства и армии. В случае необходимости лейтенант Дьедонне пошлет в Амьен курьера с донесением.

— Все поняли? Да? Можете не скакать всю дорогу сломя голову. Остановитесь в Пикиньи, разведайте, не занят ли проселок между Пикиньи и Эреном... Затем не спеша двигайтесь к Пон-Реми. Никаких глупостей не делайте. Постарайтесь только, чтоб они увидели вас. Вот и все... Пожалуй, достаточно будет сосредоточиться в Лонпрэ и послать к Пон-Реми лишь несколько кавалеристов, дав им приказ показаться противнику и немедленно возвратиться к отряду. Оставляю это на ваше усмотрение... Вы толковый офицер, я читал ваши донесения. Сущее безобразие, что у вас до сих пор нет третьей нашивки. Имейте в виду, что еще одна колонна развернется по правому берегу Соммы. Если понадобится, соединитесь с нею. Нынче вечером мы выступаем на Дуллан.

Отряд Дьедонне снялся с места около полудня. Часа полтора двигались по дороге, проходившей у подножия возвышенности; реки еще не было видно. Проезжали через деревни, вернее,— скопища лачужек у перекрестка дорог. Долина Соммы в середине марта только начинает зеленеть. И все же чувствовалась буйная сила уже пробуждавшейся растительности: со склона косогора деревья протягивали к всадникам, словно руки, серые и узловатые толстые ветки; побеги плюща, омелы спускались с них завесами и гирляндами до самой земли, устланной ковром опавших листьев. Природа напоминала старуху в запыленном платье,— стала старуха неряшлива, не следит за собой, к тому же исхудала, вся высохла, а все-таки видно, что была очень хороша собой в молодые годы, когда по ее плечам рассыпались волны блестящих и мягких волос. Прорезая это переплетение серых тенет, тянулись под дождем к нависшему небу высокие деревья, и в черном узоре их ветвей виднелось невероятное множество желтых и рыжих шаров остролиста. Егеря двигались по дороге, впереди — Дьедонне, а за ним десяток улан с пиками, отборных кавалеристов, добавленных к его отряду,— они, в сущности, не входили ни в одну из частей, словно и не были причислены к армии, и не удивительно, что лейтенант Дьедонне их не знал. В общем, он был против этой системы: она вносила разнобой в вооружение отряда, а присутствие в нем

каких-то особых, отборных людей нарушало боевое единство и солдатскую солидарность. За деревней Дрейль сквозь сетку дождя увидели Сомму. Она лениво текла между высокими тополями и уже зелеными пастбищами, кое-где прорезанными черными ямами торфяных карьеров; река разбивалась на несколько рукавов,— одни были проточные, другие — заглохшие старицы; взгляд терялся в их лабиринте; а какое множество излучин делала Сомма: то удалялась, то поворачивала назад. Несмотря на упорные, не стихавшие дожди, день выдался необыкновенно теплый — хотя было не больше двадцати двух градусов, но по сравнению со вчерашней прохладной погодой Роберу Дьедонне казалось, что стоит удушливый зной, какая-то нездоровая, парна́я, расслабляющая жара. В Эйли, в Брейли люди выходили из домов поглядеть на проезжавших егерей, даже кричали: «Да здравствует император!» За Брейли Сомма делает излучину вправо, к Тиранкуру, льнет к правому холмистому берегу, а между дорогой, что идет по левому берегу, и рекою тянется длинной полосою болотистая низина с жидкими перелесками и озерами. Дьедонне ехал и думал о том, что ему оказали большое доверие и это очень приятно; разъясняя приказ, полковник не ограничился изложением стратегии. А как он сам, лейтенант Дьедонне, поступает со своими солдатами? Требует от них повиновения, но ведь ничего им не объяснил. Значит, надо сделать привал в Пикиньи и там поговорить с ними...

Через час прибыли в Пикиньи. Дьедонне ожидал увидеть город, а оказалось, что это большая деревня в триста дворов с населением в тысячу двести душ. Прием здесь оказали восторженный, вывесили трехцветные флаги, которые прятали при Бурбонах; жители Пикиньи, в целом народ очень бедный — добытчики торфа да ткачи, работавшие для амьенских и абвильских мануфактур,— пожелали угостить вином императорских кавалеристов. Выяснилось, что о королевской гвардии они ничего не знают, никого оттуда не видели. Лавочник решительно отказался взять деньги за табак, купленный у него лейтенантом. Пришли люди из Шоссе-Тиранкура, с правого берега Соммы. Они сказали, что видели, как проходил отряд императорских егерей, который шел из Амьена, направляясь к Фликсекуру. Итак, встреча была превосходна. Очень приятно, но разговоры разговаривать некогда. Дьедонне собрал свой отряд и повел его на гору, где виднелся развалившийся замок в духе тех руин, которые так милы Шатобриану и английским поэтам. Но лейтенанту конно-егерского полка Роберу Дьедонне развалины не нравились,— ни в каком виде. Зато с горы далеко видна была долина, перерезанная озерами, и вздымавшиеся на ней голландские тополя, темные пятна сушилен и черные ямы торфяных выработок, словно могилы, вырытые для жертв предстоящей рез-

ни; и повсюду — в полях, на пастбищах — дымились, несмотря на дождь, кучки торфяных отбросов. Но Робера интересовала не долина, а то, что было за развалинами башен и древних стен,— пустынное пространство, испещренное белыми и лиловыми пятнами, необозримое голое плато, на котором земля почти нигде еще не была вспахана. Скверная проселочная дорога, шедшая из Эрена, наискось пересекала это плато и спускалась в глубокую ложбину, тянувшуюся за Пикиньи. Вдали на дороге Робер заметил повозку, ехавшую навстречу отряду. Подождали ее. В ней везли из Эрена конопляное масло и мешки для зерна; возчик, оказалось, видел королевские войска: он утверждал, что какие-то конные солдаты в красных мундирах движутся к Абвилю по той дороге, что идет в Кале. И больше ничего нельзя было вытянуть из этого молчаливого небритого пикардийца, закинувшего через плечо длинный кнут.

— Но уж что касаемо беспорядка, то уж действительно беспорядок у них... хуже некуда... Шайка бездельников!.. Все верхами, а челядь ихняя везет господский скарб, да только коляски-то увязают в грязи...

На плато, у замка Пикиньи, лейтенант Дьедонне велел своим конникам стать вокруг и обратился к ним с речью... Он, разумеется, не сказал своим егерям того, что ему доверительно сообщил Симоно,— это их не касалось. Важно было только, чтобы они не стали слепыми исполнителями непонятного им приказа. Особо обратился он к отборной десятке, вооруженной пиками,— уланы совсем еще не знали его, и он хотел вызвать в них чувство ответственности и солидарности.

— Хорошо поняли? Приказ таков: войти в соприкосновение, показаться... Пусть думают, что вся императорская кавалерия уже догнала их войско и вот-вот вступит в бой. Но нам с вами атаковать запрещено, сказано и боя не принимать. Показаться и повернуть обратно. Но, отойдя, мы должны будем неотступно следовать за ними на недалеком расстоянии, как будто хотим понаблюдать за продвижением королевских войск и за бегством их в случае окружения... Словом, возбудить у этих беглецов чувство грозящей им опасности... но не позволять себе несвоевременных действий, ждать приказов... Понятно, а? Не стрелять! Ни в коем случае!

И тут Робер Дьедонне покраснел, заметив, что он заговорил совсем, как полковник Симоно, и совершенно так же, как тот, произнес: «Понятно, а?»

Потом опять двинулись в путь по большой Амьенской дороге, до того запущенной, выбитой, ухабистой, что она и не заслуживала названия дороги. Дождь полил сильнее, земля совсем размокла, лошади вязли в грязи. За Пикиньи пейзаж не изменился,

и все так же слева был длинный косогор, поросший деревьями, с шарами остролиста меж их ветвей и с перепутанными старыми побегами плюща; но теперь река текла близко от дороги, с правой ее стороны, между вереницами тополей, а болота были у другого берега реки,— только в этом и оказалась разница; немного дальше, где Сомма несколько отдалялась от дороги, пришлось ехать мимо изумительного места, поразившего даже лейтенанта Дьедонне, не любившего руин: здесь над высокими стройными деревьями громоздились остатки больших зданий, похожих не то на дворцы, не то на крестьянские фермы, нечто вроде маленького городка, обращенного в груды развалин. Крестьянин, гнавший овец с длинной грязной шерстью, падавшей им на глаза,— целую отару овец, вдоль которой бегали два косматых пса,— сообщил сублейтенанту егерей в ответ на его расспросы, что перед ними Легар, нисколько не удовлетворив таким объяснением любопытство своего собеседника. Давно уже стоят эти развалины. Говорят, тут жили монахи,— да, какие-то монахи. Аббатство, кажется. Робера Дьедонне совершенно не интересовали монахи, его занимал только строй его колонны. По трое в ряд. Во всю ширину дороги. Так кто же тут жил? Бернардинцы? Ну что ж, крепкие стены были у этих бернардинцев, а теперь остались от них одни призраки.

— Как бернардинцы одевались? — спросил у Дьедонне сублейтенант.

— Нашел у кого спросить. Да откуда ж мне знать?

— А вы верите в призраки, господин лейтенант?

Робер от души рассмеялся. Ах, дождь проклятый, черт бы его драл-передрал! Так и хлещет, так и хлещет.

В Круа проехали мимо бывшего замка тех самых герцогов, которые проживали теперь в окрестностях Лилля в прекрасном дворце и были одними из основателей Анзенской рудничной компании, старое же их обиталище находилось даже в худшем состоянии, чем аббатство бернардинцев. От него, можно сказать, осталось лишь воспоминание. Революция довершила работу веков во всех этих деревнях, где со времен Жакерии крестьяне периодически жгли замки своих сеньоров. В Анжесте, в Конде-Фоли и следа не осталось от господских замков тех времен, когда этот край был чужой землею — владением Священной Римской империи, принадлежавшим королю Венгрии. Холмы здесь отступали влево и понижались вдалеке, шире становилась долина с ее озерами и болотами, реже росли деревья, терялась из виду река, протекавшая тут в полулье от дороги.

Было уже половина третьего, когда отряд достиг Лоннрэ. Оттуда тоже шел проселок на Эрен. И таким образом дорога на Кале, по которой двигалась королевская гвардия, была от Лоннрэ мень-

ше, чем в двух лье. «Странно! — подумал Робер Дьедонне.— Полковник говорил о развилке дорог в Пикиньи, а об этой и не упомянул». Осторожности ради он решил оставить здесь двух солдат, приказав им немедленно известить его, если на Эренской дороге покажутся воинские части. Ведь от Лоннрэ до Пон-Реми меньше полутора лье. Отряд двинулся дальше, все в том же построении — по трое в ряд, уланы с пиками впереди. Снова над дорогой навис лесистый склон косогора. Ехали озерным краем, Сомма текла где-то далеко. Дьедонне замечтался. Этот человек положительного ума был мечтателем. Он вспоминал прошлое, жизнь в Руане, отца, Теодора и своих приятелей. Удивительно: последние дни все приводило ему на память Теодора и ту картину, для которой Дьедонне позировал ему. Досадно только, что торс и ноги художник писал с другой натуры — с того надменного аристократа... Дьедонне не мог стерпеть, что этот виконт так нагло говорил о народе. Они тогда крепко схватились.

Поворот дороги, и вдруг перед егерями, меньше чем в двухстах метрах,— вереница всадников в высоких меховых шапках. Стой! Остановились передние, с пиками, а за ними, по переданному приказу, стал стягиваться весь отряд. И словно по той же команде, словно в игре, остановились встречные — у перекрестка, от которого вниз, через болото, идет дорога к Сомме, мимо сгрудившихся вдали домиков; но эти всадники в меховых шапках — человек двенадцать — спешно выстраиваются длинной шеренгой на проселке, пересекающем Абвильский тракт, остальные группируются позади, а один выезжает вперед и в одиночку движется по тракту. Что это значит? Прямо битва при Фонтенуа, честное слово! Дав лошади шенкеля, Дьедонне едет ему навстречу. В конце концов ведь не пруссаки же они! Всадник приближается, и лейтенант Робер Дьедонне, командир 2-й роты 3-го эскадрона 1-го императорского егерского полка, вдруг видит перед собою того самого человека, о котором он только что думал, того самого, с которым он так горячо спорил в комнате за лавкой на Больших бульварах, где Теодор Жерико писал свою картину в 1812 году,— да, перед ним оказался Марк-Антуан, виконт д'Обиньи, лейтенант гренадеров Ларошжаклена, и этот д'Обиньи, салютуя саблей, кричит звучным голосом:

— Господа, да здравствует король!

* * *

И тут вдруг грянул выстрел — в ответ на возглас: «Да здравствует император!» Гренадеры еще ни разу не встречались лицом к лицу с теми, кого они называли изменниками. Перед ними были

кавалеристы, которые всего три дня назад, на смотру, происходившем на площади Людовика XV, еще носили пышное наименование «королевские егеря», и, понятно, гренадеры были начеку, держали палец на взведенном курке пистолета. Услышав немыслимый клич егерей, один из гренадеров, совсем еще зеленый юнец, только три месяца находившийся в армии, не удержался и нажал курок... Пуля никого не задела, и чуть заметное движение, пробежавшее по рядам егерей, говорило лишь о крепкой закалке, полученной за десять, за двадцать лет, проведенных в постоянных сражениях, о глубоко вкоренившейся дисциплине. Но лейтенант д'Обиньи, возмущенный и оскорбленный в своих понятиях о честности, круто повернулся в седле, желая посмотреть, кто посмел выстрелить. И вдруг его лошадь с громким ржанием взвилась на дыбы, потом бешено завертелась, заскакала по дороге в дикой пляске и, воспользовавшись случаем вернуть себе свободу, перемахнула через придорожную канаву и помчалась по лугам; всадник, потеряв равновесие из-за той неудобной позы, в которой его захватила нежданная скачка, выпустил из рук поводья; седло, вероятно, плохо стянутое, съехало набок; напрасно д'Обиньи пытался выпрямиться, напрягая всю силу своих атлетических ног: он сползал все ниже, но не бросал сабли,— видно было, как она поблескивает над травою.

Эту картину наблюдали издали Элуа Карон и его сын. Они застыли на краю торфяника и, повернувшись, молча смотрели на фантастическую скачку вороного и на тщетные усилия всадника, пытавшегося удержаться в седле, меж тем как разъяренный конь, черный дьявол, уже забрался в камыши и, фыркая, бежал по берегу озера, так что всаднику в конце концов грозила только опасность выкупаться в холодной воде. Но Дьедонне безотчетно бросился вдогонку за разъяренной лошадью, а следом за ним поскакали два гренадера — последние из цепи, растянувшейся на проселке, который шел от Катле к правому берегу реки; конь рванулся вперед, у всадника одна нога болталась в воздухе, другую он не мог вытащить из стремени и она была согнута в колене под брюхом лошади, а вороной скакал в низине по узкой полосе берега, потом с бешеной скоростью понесся к рощице серебристых тополей, и видно было, как Марк-Антуан раз десять стукнулся головой и плечами о стволы деревьев, как его бросает от одного тополя к другому, как швыряет из стороны в сторону его большое тело; вдруг оно задергалось, раздался дикий крик боли, из руки всадника выпала сабля, которую он неведомо как и почему сжимал в кулаке, и обмякшее, точно тряпка, бесчувственное тело поволочилось уже по земле за весело скачущим конем, звонким ржанием провозглашавшим свою победу.

Элуа, опираясь на черпак, и Жан-Батист, не выпуская рукоятки тачки, смотрели, как несется на них этот ураган,— оба оцепенели от изумления. Всадники, мчавшиеся вдогонку за вороным, запутались в камышах, у одного лошадь по брюхо залезла в воду, все трое что-то кричали торфяникам, но те ничего не могли понять. Они видели, что вороной волочит за собой окровавленного человека, а затем расслышали наконец, что офицер, скакавший впереди двоих всадников, кричит: «Остановите лошадь, черт бы вас драл!» Элуа подумал, что вода сделает это гораздо лучше, чем он, да и вообще нечего ему ввязываться, но так как Жан-Батист, глупый мальчишка, кинулся навстречу лошади, отец, желая защитить его, побежал вслед за ним, размахивая черпаком, чтобы преградить дорогу разгорячившемуся скакуну. Вороной прянул в сторону, испугавшись длинной грозной жерди, и окончательно сбросил на землю потерявшего сознание седока; освободившись от ненавистной ноши, конь сделал огромный скачок, пробежал саженей десять в камышах, шумно расплескивая воду, и, сразу успокоившись, остановился, повернув к преследователям свою черную морду с белой звездочкой на лбу.

Робер Дьедонне спешился возле упавшего всадника, просунул руку ему под спину, приподнял этого тяжелого, окровавленного, испачканного грязью человека; Марк-Антуан, застонав, обратил на него мутные глаза и вдруг завыл от боли диким нечеловеческим воем. Огромное тело разбившегося атлета повисло на руках Робера Дьедонне; тот был потрясен, поняв, что сам нечаянно причинил ему страдание, вызвавшее этот истошный вопль, и что у раненого, вероятно, пробит череп и сломана нога, ибо кости ее торчат горбом над отворотом сапога... Дьедонне осторожно опустил на мокрую траву это жестоко страдавшее тело. Став на одно колено, он провел рукой по испачканному лбу раненого; глаза Марк-Антуана смотрели теперь пристально и с таким ужасом, как будто видели перед собою смерть. Робер наклонился и сказал вполголоса:

— Не бойтесь ничего... Вы разве не узнаете меня? Я друг Теодора...

Слова эти были совершенно напрасны, ибо страх, застывший в тусклых, лишенных мысли глазах, не был страхом перед врагом, перед солдатом, наклонившимся над поверженным неприятелем, но перед чем-то иным, что раненый видел внутри себя. Глаза его часто замигали и закрылись. Подошли оба гренадера, оставив своих лошадей около дороги под охраной Жан-Батиста. Один из гренадеров как раз и сделал выстрел, послуживший причиной несчастья. Это был высокий кудрявый юноша с маленькой головой и непропорционально широкой по сравнению с нею, крепкой, уже

мужской шеей. Совсем позабыв, что он говорит с неприятельским офицером, в которого сам же стрелял, он посмотрел на Робера Дьедонне глазами, полными слез, и, трепеща при мысли, что вся вина падет на него, спросил:

— Ведь он не умрет, господин лейтенант? Правда?

А Робер Дьедонне, пожав плечами, ответил, не глядя на него:

— Ну, как же я могу знать? — И тихонько, с материнской заботой, постарался уложить поудобнее большое тело раненого, голова которого беспомощно склонилась на плечо, а из груди вырывались протяжные, как жалобная песня, страдальческие стоны.

Нельзя же его было так оставить. Позвав на помощь Элуа Карона, они вчетвером подняли раненого и, поддерживая ему сломанную ногу, понесли было в шалаш, из которого торфяник, чтобы освободить место, наспех вытащил инструменты. В шалаше он, по крайней мере, будет укрыт от дождя. Но лишь только его подняли на руки, опять раздались душераздирающие крики, казалось, исходившие из всей этой страдающей плоти, из раздробленных костей,— очевидно, сломаны были и нога, и бедро, и ребра, ибо при малейшем толчке раненый выл от боли... Под камышовой кровлей в полумраке было плохо видно, и все натыкались на какие-то кадки и ящики, которые Элуа не успел вынести; в этом убежище приступы боли у раненого следовали один за другим, непрерывно, и этот человек, потерявший сознание, уже не был Марк-Антуаном д'Обиньи, лейтенантом гренадеров, а просто страдающим и близким к смерти существом, у которого из легких вырывалось хриплое, прерывистое дыхание; человек этот, лежавший на соломенном тюфяке, несомненно, испытывал адские муки, четверо носильщиков смотрели на него с каким-то почтительным страхом и не решались отойти. Первым вышел из шалаша Элуа, пробормотав, что «по крайности на господина офицера хоть дождь лить не будет». Наконец Робер Дьедонне поднялся на ноги. Все произошло так быстро, а ему казалось, что это длилось много часов. Он сказал:

— Нельзя же его тут оставить...

А один из гренадеров заметил:

— Если понести его куда-нибудь в другое место, он дорогой умрет...

Дождь с удвоенной силой поливал берега озера, пастбища, тополя, штабеля торфа. Вороной конь с трудом выбрался из тины, в которой чуть было не увяз, и, показавшись в камышах, победоносно заржал. Волоча за собою упавшее седло, он спокойно подошел к обочине дороги, словно хотел, пренебрегая Жан-Батистом, рассказать все происшествие своим порабощенным братьям.

А на перекрестке двух дорог — там, где остановились егеря и гренадеры, сублейтенант егерей, решив, что он обязан занять место командира, выехал вперед; в отряде же гренадеров выехал вперед другой всадник вместо лейтенанта д'Обиньи (скажем мимоходом, что это был Артур де Г., тот самый, с которым мы встретились в Бовэ...). Они сидели на конях друг против друга. Им не нужно было вступать в переговоры, заключать какие-либо соглашения,— оба отряда вполне естественно пришли к мысли о необходимости своего рода перемирия, и все глядели в одну сторону — в направлении озера, но видели там, на краю насыпной дороги, только двух лошадей, которых держал под уздцы крестьянский мальчик. Для всадников, застывших под проливным дождем в напряженном ожидании, время тянулось не менее долго, чем для Робера Дьедонне, склонившегося над стонавшим Марк-Антуаном.

Робера охватило какое-то оцепенение. Ведь как раз, когда случилось это нежданное происшествие, воображение его было занято ссорой, вспыхнувшей три года тому назад (почти три года) в комнате за лавкой на Больших бульварах, в которой писал свои картины Жерико,— эта бурная ссора произошла между ним, Робером Дьедонне, и человеком, простертым сейчас на земле, потерявшим сознание от боли. Робер Дьедонне не был суеверен и не любил искать таинственных, сверхъестественных причин для случайных совпадений. Но на этот раз его положительный ум пришел в смятение, ему казалось, что это он, он сам лежит тут без сознания,— это его собственное тело упало с лошади, написанной Жерико. Ах, какое ребячество! Он выпрямился, посмотрел на двух гренадеров и на торфяника, на струи дождя, падавшие за стенами шалаша, на мокрую траву, на штабеля торфа и, хоть не очень был уверен в себе, сказал твердо, как и подобает офицеру, который, не имея указаний, должен сам принимать решения в затруднительных обстоятельствах:

— Надо привезти врача...

Потом подумал: «Ему, бедняге, верно, холодно!» — и, сняв с себя кавалерийский плащ, осторожно накинул его на раненого, прикрыв ему ноги... И тотчас испугался, что сукно, может быть, давит на сломанную ногу...

Странное дело — оба гренадера, зеленые юнцы, вдруг стали смотреть на этого офицера конных егерей, перешедшего на службу к Людоеду, как на своего начальника, и его слова были для них приказом. Они отдали честь и пошли к своим лошадям, которых держал Жан-Батист, тогда как лошадь их лейтенанта смирно стояла около шалаша, где Элуа привязал ее к колу, хотя никто его об этом и не просил. Робер окликнул гренадеров: для него они

сейчас тоже не были приверженцами короля, а солдатами, находившимися в его распоряжении. Он попросил передать сублейтенанту Легей, что тот должен принять на себя командование отрядом на все время отсутствия его, Робера Дьедонне, а также сказать офицеру, временно командующему сейчас отрядом гренадеров, что до приезда врача он, Робер Дьедонне, останется возле лейтенанта д'Обиньи. Он попросил также сказать от его имени обоим офицерам, чтобы они, во избежание столкновений и инцидентов, отвели подальше свои отряды. Ни на одно мгновение у него не возникало мысли, что в этих двухсторонних приказах есть что-то ненормальное,— не думали этого и оба молодых дворянчика. Таким образом на этом перекрестке дорог, на краю болот долины Соммы, в среду, 22 марта 1815 года, в три часа дня или в четверть четвертого, лейтенант 1-го егерского императорского полка Робер Дьедонне поставил под единое командование два отряда разъединенной французской армии, которые были посланы на поиски друг друга, хотя оба и получили приказ не вступать в бой, а только обнаружить противника и отступить.

* * *

Боль иногда была так сильна, что, кроме нее, ничего не существовало. За что палачи пытают его? В ноге боль вдруг стала еще страшнее, чем в голове. Вспыхнули огненные искры. Боль терзает все тело, поднимается к горлу, исходит утробным воплем, пронизывает сломанные ребра. Надо всем колышется огромная тень. Глаза открыты, но видят только это колыханье мрака. Где же я? Жив ли я? А в голове — расплавленный черный свинец, свинцовое море, уровень его все колеблется, и порою, когда лодка слишком накреняется вправо или влево, поднимается на гребень волны или переваливает через нее,— в мозгу, как в калейдоскопе, вдруг вспыхивает зловещий свет, и тогда открывается некий мир,— неизвестно только, что это: действительность или сновидение... Ах, мама, мама... все горит внутри, все разодрано... Мир такой хмурый, туманный, темный, и в нем ветер полосами гонит дождь... Где же это я? Должно быть, тут совсем близко вода: пропитаны водой и вся земля и воздух,— вот почему так темно среди бела дня, а в том калейдоскопе, что вертится перед глазами, на черном фоне — огненные солнца, и под ними, между лиловыми султанами, красные полосы, и плывут куда-то тусклые зеленые звезды... А дальше — светлое, пока еще светлое пространство, и там чье-то склонившееся лицо. Кто же это? Где-то я видел этого человека... Знакомый взгляд... Вот реют вокруг мысли, а я не могу их поймать, собрать вместе, слово к слову...

Постой! Кто это встряхнул калейдоскоп? Завертелись колеса, извивается серпантин... Ой, больно! О-оо! Нестерпимые муки. Не могу больше, нет сил! Боль терзает, терзает... Проклятая боль!.. Мама, больно... Мне больно, мама...

Ничего не вижу... Тьма кругом. Мне больно, значит, я жив. А что значит — жить? Это значит — иметь ноги, держаться на ногах. А у меня еще есть ноги? Одна нога, во всяком случае, есть, и ее как будто натерли крапивой, жжет ее, жжет. Куда меня понесли? Зачем? Зачем понесли? Сволочи. Положите меня, положите, сволочи!.. Они не понимают, ведь я могу лишь кричать, выть. Я думаю, но из всего, что я думаю, рождается только крик, только дикие вопли. Разве можно понять, что говорит огонь? Нога горит, она как пылающее полено. А голова! Бедная моя несчастная голова. Мама!..

Должно быть, мне все это снится,— и эти назойливые запахи, и два этих человека, один в головах, другой в ногах, а дождь льет на меня, дождь. Бедная моя голова перекатывается, и расплавленный свинец колышется. Лодка, тьма... Все это сон, а настоящая действительность — это то, что снится; все эти меняющиеся картины, фигуры людей, детство, большой сад, поля, леса, мой пес Медор — какой он был черный,— ясный весенний день, кругом все светлое, а он черный, как этот мрак, когда с закрытыми глазами видишь только тусклое солнце цвета горохового пюре.

О чем они говорят? Так хочется расслышать слова, чтобы слова были для меня словами и нанизывались, как кольца, на веревочку... О-ох! Веревочкой закручивают мне ногу, ох, больно! Саднит! Веревка сдирает кожу, врезалась в живое мясо... Да нет... нет никакой веревки, нет ноги, и слов нет, просто гудит чей-то голос... мужской голос. Что этому человеку надо от меня? Не трогай меня, мерзавец! Не трогай! Не смей трогать! Я не позволю!

Как жестко лежать! Спину больно. Я сидел в седле. На лошади. Зачем меня положили? Зачем держат, не дают встать? Возмутительно! Я сейчас встану, то есть хочу встать. А тело не слушается, не может пошевелиться, только боль нестерпимая и крик, такой тонкий, хриплый, будто фальшивая флейта. Больно, каждая косточка болит, все кости перебиты, переломаны, души нет, одни только раздробленные кости и этот крик.

Я сидел в седле. На лошади. Где же это было? Кругом широкие просторы. Весна-то какая! Как радостно мчаться! Ветер прямо в лицо, я его чувствую всей грудью, плечами. А сколько во мне силы, как я уверен в себе, все мои мышцы покорны мне, а в голове множество всяких историй, всяких мыслей — и о том, что было вчера, и что будет завтра, и что мне предстоит сделать, а на губах все еще вкус выпитого вина, и все еще я чувствую, как я об-

нимал ту женщину... Кто же она, эта женщина? Я ведь только что расстался с нею, а не знаю — кто. Незнакомка! Нежная, ласковая, застонала от счастья, обвила обнаженными руками мою шею... О-ох! Уйди, проклятая! Ты мне делаешь больно. Ой, больно! Шлюха, мерзкая шлюха! Осторожнее, не касайся моей ноги, поганая шлюха!

Опять звездопад, звездопад, огненные спирали... И все поглотила тьма. Слышу слова того человека:

— Боже мой! Ведь он не умрет? Как вы думаете?

Смешно было бы слушать, если было бы понятно. Голова у меня разбита, и где-то там внутри вращаются глаза. Слов не понимаю, потому что они не попадают в поле зрения... Ну, какое дело этому человеку, этому врагу, что кто-то там умрет или не умрет? Жить — это я еще понимаю: жить — это страдать! А умереть? Что это значит — умереть? Да этого и быть не может. Никто и не умирает. Нельзя умереть, даже если боль так сильна, что ты воешь, как собака... Помнишь, как Медор выл? Я ему наступил на лапу. Черная собака. Сетчатка сохраняет изображение. А какая странная штука — вдруг исчезнуть: тебя нет и никогда не будет. Падаю. Лежу неподвижно, а падаю. Простерт, недвижим, но падаю. И нельзя остановить это падение, потому что я не могу пошевелиться. *Я*. А что такое *я*? Вот тот человек, который сказал: «Ведь он не умрет?» Или вот эта рука, которая касается меня. О-ох! Уберите эту руку, руку этого человека, пусть он не трогает меня! Как трудно очнуться от кошмарного сна! А я хочу очнуться. Во что бы то ни стало. Хочу, чтобы все это исчезло. Вязкая смола. Боль. Дождь! Этот человек. Жесткая земля. Страх, что до меня дотронутся. И то, что спишь связанный, а кто-то входит в комнату. Ужасно. Ужасно. И все это снится мне с самого детства, и все время я хочу проснуться. А это невозможно. Потому что я не сплю. Перестаньте, лодка сейчас опрокинется, расплавленный свинец, тьма...

Мне что-то положили на лоб. Что-то прохладное. Не очень прохладное. Скоро стало непрохладным. Кто это так бесцеремонно касается моего лба? Опять. Может быть, это пот на лбу выступил? О-ох, больно! Да неужели это никогда не кончится? Тени переговариваются, качают головами. Мне бы страшно стало, если бы это было возможно. Если бы что-нибудь было возможно. Страшно? А что такое страх? Это какие-то лучи, которые все внутри пронизывают и делают больно, разрезают своим черным светом мозг, а может быть, разрывают внутренности... Вот сейчас мне было страшно. То есть ему было страшно. У него осталось только слово, пустое слово, ну вот как воздушный шарик, детский воздушный шар — улетел в воздух, рука выпустила его, и не стало

никакого смысла... только пустое слово — «страх»... как пар. А вот этому недвижимому больно. В ноге у него боль. И во всем теле. Все — только боль. Откуда-то издалека надвигается боль,— сильнее, сильнее, и вдруг все разрывает. Мама, больно! А-ах! Пакость! Пакость! Мама!..

Одна тень называет другую: «Доктор». Как странно. Разве коня называют доктором? Где же конь? А доктор где? Я тут уже сколько часов лежу неподвижно. То есть он лежит. Или она. Вещь лежит. «Доктор, вы думаете, он выживет?» Он не так сейчас сказал, последнее слово было другое. Но вот никак нельзя его найти,— верно, упало на пол, закатилось куда-то под кровать, наверно закатилось, а тут такая темень, не увидишь его. Что-то темное говорит другому темному: «Доктор!» А может быть, «доктор» — это и значат вот эти длинные фразы, вроде поговорки,— слова наезжают, наезжают одно на другое. Он сказал, вот этот человек, который слева, сказал «доктор» вон тому призраку, который стоит, одетый во все черное. А впрочем, тут все черное. В этом жестком, сыром, неудобном месте даже запах черный.

Если б я мог протянуть к ним руки, если б у меня были руки — это все равно, что заговорить, сказать, возразить,— руками можно потрогать, грубо оттолкнуть, можно бить. Ах, как же это? Я, значит, больше уже не могу бить? Руками. Руками я заставил бы их понять. Как вам не совестно! Перестаньте, пожалуйста. Да оставьте вы мою ногу, оставьте в покое мою ногу, мерзкую эту ногу, оставьте...

И ничто не слушается. Ни руки, ни боль, ни тьма.

Что же это стонет, вертится, кружится? Такие мерные стоны. Что они выражают — мысль или боль? Чередуются в них гнев и рыдание, возмущение и стыд. Дыхание страшное, вот-вот разорвется грудь. Шепчет что-то. Движет бровями. Вздрагивают померкшие огни. Затихает на секунду и опять стонет. Опять мучается. Все ведь сломано. Угасает. Страшно дышит. Куда-то падает, катится, катится на дно океана, словно камень под днищем причаленного баркаса. Или баркас плохо пришвартовали, или якорь плохо принайтован. Гарпун раздирает живое мясо. Ай! Ай! Больно! Мама, мама, мама...

— Сейчас нельзя его перевозить. Неизвестно еще, может быть, у него поврежден череп.

Что это еще за тарабарщина? Совершенно бессмысленная. «Сейчас». Перевозить его сейчас... Что-то недвижимое, а все еще дышит,— хриплое судорожное дыхание, короткое и долгое, короткое и долгое: выдох короткий, вдох долгий... Слова тут ничего не изменят, и ничего не изменит этот странный вопрос: «Нет ли у вас двух дощечек? Надо шину на ногу наложить».

И опять сон. Снится, что привыкаешь к сумраку. Различаешь какое-то светлое пятно, и там что-то движется,— как будто менее плотными стали бельма на глазах. Должно быть, тут есть крыша: дождь не льет на нас. Только косые брызги доносит ветер, и тогда видно, как высокий камыш клонится к воде. Если б это была хижина, вокруг были бы стены. Нет, это не хижина, только кровля. А вокруг нагромождено что-то черное, и от этого черного идет едкий запах, удушливый запах. Так пахнут гниющие пыльные вещи. Где-то было так. Далеко. В памяти сохранилось. Постой, в памяти? Странное слово, оно, верно, означает нечто подобное отражению луны в воде. Память? У меня ведь была память, так же как кисти рук, как две ноги. Куда же я девал память? Дитя мое, ты так когда-нибудь голову себе разобьешь, иди-ка сюда, я поправлю тебе галстук... Постой, это ведь относится... к этому... ну, как его, как же это называется? К памя... к памя... к памяти. Дьяволы проклятые, мерзавцы, сволочи, голову камнями раздавили! Не бейте камнями, не бейте! Все опять черно, ничего не видно, только кинжалами режут. Камни называются памятью.

Сколько мучилась со мной мать, и школа, и конюх, обучавший меня верховой езде,— и все для того, чтобы я очутился вот тут, очутился тут и лежал бы, ничего не зная, ровно ничего, и все искал бы слова, как шарики, закатившиеся под кровать... голова, бедная моя голова! И ведь были румяные булки, сочные бифштексы с кровью, был бег наперегонки во дворе школы, смех, похожий на мой, книги, девушки, злые шутки, звон колоколов в поднебесье, и все это для того, чтобы мне очутиться здесь... Было еще... Что же это было? Был я, были другие — мужчины, женщины — и я... и все для того, чтобы мне очутиться здесь... и чтоб меня мучила слепая боль и несла меня куда-то, и были бы вот эти жестокие пытки, глухой крик, эта звериная тьма, эта страшная колыбельная... А-ах, больно! Нога! Нога! Оставьте мою ногу в покое, мерзавцы! Оставьте мою ногу в покое! Грызет, жжет, скребет... Осторожнее, сломаете кость, сломаете! Мне страшно... Не могу больше... Не могу...

— Ну, вот так!.. Нога теперь будет неподвижна между двумя этими дощечками. Стяните хорошенько, господин лейтенант... крепче стяните. Не бойтесь, завяжите узлом как следует...

Сраженное болью существо еще раз падает навзничь. В пустоту, которая начинается в голове, на дне глазных яблок, и все расширяется. Он падает. Падает без конца, в бездонную пропасть. И в этом падении обретает память. Взгляд его обращается к его собственным, внутренним небесам.

Наконец-то, наконец доставили носилки. Два гренадера и Робер Дьедонне с величайшей осторожностью подняли раненого,

поддерживая его ногу в импровизированных лубках, положили на туго натянутую парусину, вытащили на носилках из шалаша Элуа Карона и понесли под теплым мелким дождем, но Марк-Антуан не чувствовал его, не видел серой пелены туч, которые ветер гнал по небу, раскачивая верхушки голландских тополей, еще не одевшихся листвой... «Прикройте его!» И Марк-Антуану, словно покойнику, натянули на лицо плащ.

Словно покойнику. Странно, что в мозг его, в этот замкнутый мир, еще могут проникать какие-то мысли. Словно покойнику... Ведь никто не сказал: «Словно покойнику». Может быть, подумали это, или сам Марк-Антуан подумал... И вдруг он почувствовал, что не хочет умирать. Напрасно он притворяется, будто не знает, что такое смерть. Он не хочет умирать. Я молод, я чувствую, как бьется сердце в грудной клетке, где болят все кости. Я сильный. Я хочу жить. Быть счастливым. Нельзя умирать в двадцать пять лет, в особенности таким людям, как я. Я не умру. Для меня еще будет солнце, яркое солнце в небе, и солнце будет выпускать свои длинные золотые когти и вонзать их в зеленые луга, и луга пожелтеют. Длинные тени деревьев на лугу поутру, водоем с проточной водой; испуганно вспархивают голуби, затрепетав, захлопав крыльями; еще так рано, я совсем один во дворе, слышно, как ржет лошадь в конюшне. Голуби успокоились и вернулись, нахалы, посмотреть, нет ли поживы — хлеба или зерен, ходят вперевалку, толстые, зобастые, головка маленькая, глаза с красным ободком, серые, сизые, белые; поклевывают в клумбе с гвоздикой,— то тут, то там вытащат червяка... У меня еще будут утра и вечера. Увижу в листве ясеней и буков зубцы солнечного гребня, увижу густые пучки повилики и полевые цветы, и этот запах услышу... Ах, что за прелесть этот запах! Хоть один раз вдохнуть его, а потом умереть,— я согласен умереть, но только еще раз встретить май месяц и услышать это чудесное благоухание боярышника. Большие белые шапки боярышника,— майский горностай. Терновник... едва распустившиеся розовато-сиреневые цветы в бледно-зеленой листве терновника с черными колючками... уже густой подлесок, и ноги снова проложат в нем узкую тропку... Большой парк, а за ним уголок настоящей природы, где без страха ютятся птицы и шныряют лесные зверьки. Земля вновь вступает в пору юности, и по телу ее пробегает первый трепет любви.

— Поставьте носилки,— сказал доктор.— Вот сюда, пожалуйста. Осторожнее, осторожнее!

Плащ соскользнул с лица раненого, дождь падает ему на лоб; глаза открылись, но смотрят мутным, блуждающим взглядом, закатываются, и белки испещрены кровяными жилками. Вокруг ка-

кая-то сутолока, детские голоса. Опять носилки подняли, понесли, просунули куда-то,— вероятно, в дом, в какой-то странный дом: должно быть, свет проникает туда только через дверь,— там царят густые потемки; в этом мрачном закоулке застоялись едкие запахи и дым, от которого Робер Дьедонне и доктор закашлялись... Застарелый, смрадный запах мочи. В углу комнаты некое подобие кровати, и лежащая на ней женщина кричит: «Чего надо?» Плачет грудной младенец.

— Неужели вы его тут оставите? — с тревогой спрашивает один из тех, кто нес носилки,— тот самый безрассудный юноша, который выстрелил в лейтенанта егерей.

— А где же мне его еще оставить? Здесь не найдется другого крова, а в Лонпрэ тащить слишком далеко — этак вы его наверняка доконаете.

Доктор опустился на колени около носилок: он хотел попробовать раздеть раненого и посмотреть, что у него повреждено. В углу закопченной лачуги Элуа Карон вел шумный спор с женой, они говорили на своем непонятном наречии, таком гнусавом, как будто у них был сильный насморк.

— Можно было бы отправить его в госпиталь... Но отсюда до Абвиля два с половиной лье... везти его на телеге — просто безумие...

Это, конечно, говорил доктор. Раненый чувствовал, как этот голос словно блуждал по нему, пока пальцы доктора ощупывали его. А потом опять заговорил гренадер:

— Уж очень было бы печально умереть здесь.

— А вы не думаете, молодой человек,— заметил доктор,— что еще печальнее жить здесь?

И вновь поднялась боль, бешено зазвенел в ушах колокольчик, закружилась голова, от плотного покрова, упавшего на глаза, становилось все темнее, темнее... Что это? Все, кажется, умолкли? Слышна только боль, только биение боли.

Серая пелена... Где же это я видел, как на все, решительно на все упала серая пелена? Октябрьским утром. В конце октября. На плацу Гренель. У Стены Откупщиков. Но тогда это не со мной случилось. А с ними. У подножия деревьев. Мы конвоировали их на лошадях. Среди них был тот щуплый заморыш. Париж остался позади. На некотором расстоянии шли люди — какие-то зеваки, а может быть, друзья приговоренных. Мале крикнул им: «Помните день двадцать третьего октября!» Я был знаком с Лагори. Видел его у госпожи Гюго. Он повернул голову в мою сторону. Узнал он меня? Даже если и заметил, то ведь ему было не до того: столько нужно передумать в короткие минуты перед смертью,— он, наверно, и не узнал меня. Кто я? Какой-то молодой человек, кото-

рого он встретил в прошлом году у своей любовницы... Выстроили взвод. К счастью, из одних пехотинцев. Нас не назначили. Мы стояли в охране. На конях. А этих людей казнили. Одни встретили смерть так, другие — иначе. Большинство стремилось что-то сказать. При некоторых благоприятных обстоятельствах слова их остались бы в истории. Что ж, хоть так пережить самих себя. Остальные опустили голову, один плакал. Но все сами скомандовали: «Пли!» От залпов моя лошадь шарахнулась. Удивительно, как животные боятся выстрелов.

Вдруг в том месте, где голову разрывает боль, свирепая боль (в ноге она как будто уснула),— звезда растопорщила свои лучи, бледная, как октябрьское утро, белая на черном фоне, на черном лбу вороного коня... Хочется курить... Если покурить, может быть, легче станет.

— Что он сказал? Вы не слышали, доктор?

Доктор не слышал.

Я видел, как офицер подошел к генералу Лагори, чтобы прикончить его,— из сострадания. Странное выражение: «Прикончить из сострадания». Лагори еще шевелился. Он поднял глаза на офицера. «Как он взглянул на меня!» — сказал этот офицер, когда проходил мимо Марк-Антуана, возвращаясь на свое место в строю. Прикончили из сострадания.

Теперь Марк-Антуан очень хорошо знает, что значит — прикончить из сострадания. А тогда не знал. Тогда на земле лежал расстрелянный генерал, он еще шевелился,— к нему подходит офицер, наводит пистолет, стреляет. В сущности, это гуманно. Но в другой раз сам Марк-Антуан видел глаза, обращенные к нему,— глаза лошади. Она лежала на земле со сломанной, мотавшейся ногой, стонала. Какой взгляд! Повернула голову, красивую свою лошадиную ласковую морду. Смотрела на хозяина. Прикончил из сострадания.

Смерть генерала не раскрыла этого,— понял только тогда, когда добил свою лошадь. Свою лошадь. Какие громадные у лошади глаза! Громадные и выпуклые. Блестящие. Словно оникс. Крупный отшлифованный камушек. Глаза блестят, и в них не упрек — доверие. А я? У меня ведь тоже сломана нога, я тоже беспомощен и бесполезен, перевезти меня нельзя,— абвильский госпиталь чересчур далеко. Значит, меня тоже прикончат?

— Постарайтесь понять, кавалерист, и передайте своим товарищам. Вы можете уйти со спокойной совестью. Ваш лейтенант должен остаться здесь, но мы смотрим на него не как на военнопленного, а как на раненого. Мы и сами здесь не останемся. О нем позаботится доктор...

Голоса удалились, и люди тоже. И сознание исчезло. Только боль. По-прежнему терзает боль. Засела в голове. Нога холодная, и как будто нет ее. И вдруг в дверях кто-то сказал:

— Доктор, оставляю его на ваше попечение, все равно что собственную свою жизнь вам вручаю.

Кто же это сказал? Лейтенант? Все равно, что собственную свою жизнь вручает? А бросил меня. Голова ничего не соображает. Ах, если б это была правда! Окаянная голова! Стало спокойнее,— относительно. Дымно в комнате. В дверях что-то светлое. И что-то шевелится. Не очень высоко. Дети. Им любопытно. Какой-то старик прикрикнул на них. Мошкара разлетелась.

Впереди у меня только время. А оно не проходит. Невыносимо. Жестокое время. Что, если они вернутся и прикончат меня?

В общем, что это за война? С кем сражаются и за кого? Мы, кажется, устроили прогулку. Было много народу, и не только военных. Мужчины в штатском, дамы. Куда же все ехали? Куда мы ехали? Ничего не помню. Кажется, это длилось несколько дней. Зачем же устроили такую долгую прогулку? Где я спал прошлую ночь? Странно, я все позабыл. Во всяком случае, это было что-то вроде пикника. Какие-то мальчики шли пешком. Экипажи были битком набиты. Право, не знаю, что я-то там делал.

Однако туман как будто рассеивается понемножку. Вот я уже вижу эту комнату. Как же я в ней очутился? Вон дети — им уже не любопытно смотреть на меня, а старик сидит около моих носилок, смотрит. Постой, мне вспомнилось... Король... я забыл о короле. Но вот как вспомнилось о короле, голова совсем разламывается. И потом, как будто одолевает, одолевает сон, голова кружится, нет, не надо поддаваться, спать ни за что нельзя. Король. Совсем я позабыл про него. Король. Мы следовали за королем. Так это что же, король удирает? А если король удирает, разве это король? А мы? Если мы вместе с ним удираем, значит, и мы — уже не мы? Неприятно — как все кружится перед глазами. Что люди подумают обо мне,— вот этот старик, эти детишки?

Старик опирается на палку. Обеими руками опирается и положил на них подбородок. Какой грязный старик! Да и все тут грязные. Пожалуй, еще грязнее его. А ведь кругом вода, болотная вода. Но в доме воды нет. Да и что им остается делать: встать цепью от озера до дома и передавать друг дружке ведра? Здесь никто не моется, у всех на лицах кора из грязи и торфа. Сколько я ни стараюсь, а глаза все время закрываются. И непременно это случится. Уже начинается. Я опять падаю, опять падаю...

Раненый теряет сознание, а может быть, засыпает,— как знать. Старик все сидит возле него, опершись на палку, сидит в своих лохмотьях, которые он не позволяет чинить: лохмотья —

рабочая одежда нищего; он смотрит на молодого человека, лежащего в обмороке, и пожимает плечами. Нищий задается вопросом: есть ли у раненого при себе деньги и где он их держит. Как бы их вытащить, чтобы поганая ребятня не увидела, а то наябедничают матери: «Дедка украл денежку у офицера». Срам не беда, а вот делиться неохота. Нет, делиться он не любит. Концом палки дед приподнимает плащ, накинутый на еле живого человека. Тот стонет. Старик перестает копошиться и сердито озирается. Экая погода! Из-за дождя зря пропал день. В дождь никто милостыни не подает. Праздник придет — не на что выпить... тем более что сын все отобрал, а в кабаках в долг не дают.

Где же это офицер деньги прячет? Поди золото у него. В карманах? В поясе? Пояс расстегнут, да и рейтузы вверху расстегнуты. Это все доктор... И нищий встревожился: может, доктор воспользовался случаем, да и вытащил незаметно у офицера золото. Но тут же приходит успокоительная мысль. Что это он выдумал? Разве доктор станет по карманам лазить? Это что же тогда? Куда ж это годится?.. Старик нагибается, взвешивает на руке пояс... Раненый чувствует сквозь рубашку прикосновения чужих рук и открывает глаза. Он видит.

Он все видит иначе, чем только что видел в бреду. Над ним склонилась косматая голова, лицо до самых глаз заросло неопрятной бородой с сильной проседью, отливающей желтизной; в уголках хитрых и жадных глаз множество тонких морщинок — гусиных лапок; на лоб, изборожденный глубокими морщинами, нахлобучена немыслимая шляпа с широкими полями. Прикосновения старческой руки, нерешительно и неловко ощупывающей раненого, вызывают у того ужас, и Марк-Антуан забывает, что он недвижим, прикован к своему ложу и что тело не повинуется ему. И вдруг он видит, что рука его поднимается, как будто хочет отстранить старика,— движение непроизвольное, безотчетное,— рука опередила желание и, слабая, бессильная, все-таки испугала человека, нагнувшегося над Марк-Антуаном: старик немного отстраняется и перестает обшаривать раненого. Тут мне хочется спросить вот что: может ли человек, не размыкая уст, поведать свои мысли? То, что думает Марк-Антуан, только подкатывает к горлу, хрипит в нем, клокочет и вдруг вырывается в слове: «Пить»... Старик в испуге отпрянул и уронил свою палку... «Пить!..» — повторил раненый, хотя желал сказать совсем не то, но лишь сказал: «Пить!» Вдруг у него явилась жажда, какая-то странная, дикая жажда: пересохло не только во рту, но во всем теле, голова бессильно упала на плечо. Боже мой, неужели опять лишусь чувств? Боль останавливает, удерживает, сосредоточивает на себе это помутненное сознание.

Вдруг какое-то непонятное бурное движение разогнало дым, наполнивший комнату. Мелькнули перед глазами детские чумазые лица, и сразу их разметал какой-то вихрь,— в дверь ворвалась и заслонила свет черная груда рваных юбок, гора грубых тканей. Слышен крикливый и усталый женский голос,— непонятно только, что он говорит. Один из малышей получил затрещину и хнычет, слишком поздно прикрываясь локтем. А женщина уже обрушилась на старика, словно карающая лавина правосудия; он поднял палку — женщина рявкнула, и палка смиренно опустилась.

Какая она толстая, эта старуха, а платье на ней рваное, из-под подола спереди выглядывает заношенная, черная от грязи рубашка. Должно быть, старухе душно — лиф ее платья расстегнут, видна безобразная грудь: два бугра, вздымающиеся над огромным, непомерно раздувшимся животом. Уж не беременна ли она? Да нет, разве это возможно в таком возрасте? И до чего она уродлива, смотреть страшно! Морщинистое, лоснящееся от пота лицо, целую неделю, верно, не умывалась и не причесывалась, волосы висят космами у висков, и цвет их такой противный — точно побуревшая солома, и в них какие-то белые стружки.

Она сердито кричит на старика:

— Ишь мерзавец! Вздумал обокрасть офицера. А ведь все равно пропил бы эти деньги. Да гляди-ка, посмел замахнуться палкой на свою сноху, когда она, того и гляди, разродится.

Излив на свекра поток грязной ругани, она остановилась перевести дух. Потом наклонилась над раненым, широко расставив ноги, так как огромный живот мешал ей, и уперлась ладонями в согнутые колени.

При свете дождливого дня Марк-Антуан видит ближе ее лицо и лучше может его рассмотреть. Оказывается, она не старуха. Измученная, увядшая женщина, но не старуха. Она шумно дышит и смотрит. Смотрит с бесцеремонностью животного. В глазах огонек любопытства. Смахнула со лба раненого муху. Рука у нее грязная и уже изуродованная ревматизмом. Бледные губы дрогнули, и она как будто невольно сказала: «Красивый малый...» Марк-Антуан взглянул ей в лицо, и ему стало страшно, страшнее, чем от соседства старика,— столь недвусмысленно говорила в ней плоть. Он снова простонал: «Пить!» И женщина вдруг взволновалась, вся подобралась и, выпрямившись, запричитала: вот какие бессовестные, вертятся вокруг, точно мухи, смотрят, как мучается человек, а не подадут испить такому красавцу! Поднялась суета, бородатый старик исчез, темные фигуры замахали руками, стали что-то передавать друг другу, и внезапно Марк-Антуан почувствовал у своих губ нечто тяжелое и мокрое — кружку... Он открыл рот, глотнул. Какой-то странный сладковатый напиток, не то пиво,

не то сидр, какая-то тягучая жидкость, а женщина говорила: «Пейте, пейте...» — и еще какие-то непонятные слова. Подсунув руку под его затылок, немного приподняла ему голову. Ох! больно! Но ведь надо же попить... И вдруг кружка выпала из руки, поднесшей ее к губам раненого, жидкость потекла по его шее, полилась за рубашку, по груди. Раздался громкий крик. Что случилось?

Женщина корчится, изгибается, откидывается назад, хватается за живот. Волосы ее рассыпались, плечи вздрагивают, грудь тяжело дышит. Она отходит куда-то в тень, дети цепляются за ее юбки и тоже кричат. Она копошится в темном углу. Марк-Антуан не может повернуть головы, но догадывается, что там грязное логово, на которое рухнула эта грязная туша. Что же случилось? Он спрашивает старика взглядом — тот вернулся подобрать свою палку, упавшую около носилок.

— Схватки...— отвечает старик, и лицо у него становится мудрым, как у всех людей, близких к природе.

Все, однако, успокоилось. Это были только первые схватки, только предвестники родов. Старший из детей разжигает огонь в очаге.

— Хорошенько разожги, а то уже смеркается.

Дымное пламя начинает освещать картину... И Марк-Антуан вдруг чувствует, что он будет жить.

XIII

ЗЕРНА БУДУЩЕГО

Ровно в шесть часов лилльский префект господин де Симеон прибыл на обед к королю. Вернее, к мэру города господину де Бригод, у которого были отведены покои королю и свите. Бригодовский особняк, больше известный как Авеленовский,— поместительное и очень красивое здание,— находился на северной окраине Лилля, и, возможно, выбор пал на него как раз потому, что оттуда его величеству было легче податься в Дюнкерк, не проезжая снова через весь город, что, ввиду настроения гарнизона, было нежелательно. Охрана короля была поручена капитану Ванакеру, командиру отряда, состоявшего из королевских гренадеров, в которых были не очень-то уверены, и артиллеристов местного гарнизона, по имеющимся данным вполне благонадежных. Согласно сведениям, полученным префектом, между гренадерами и артиллеристами уже были стычки, и теперь опасались, что дело может дойти до драки. Маршал герцог Тревизский как раз говорил об этом королю. Здесь же были Бертье, Бернонвиль, Макдональд, все гене-

ралы, министры, поспешившие в Лилль, Жокур, Бурьен, аббат Луи, аббат де Монтескью, вся свита, господин де Блакас, князь Пуа, герцог Дюра, герцог Круа, герцог Граммон, принц Конде, герцог Орлеанский, человек пятьдесят гостей и, само собой разумеется, господин де Бригод, несколько местных жителей и отец Элизе.

В окно большого зала был виден двор, где стояла стража, но его величество разговаривал с маршалом Мортье в другом углу комнаты и смотрел в противоположную сторону, в сад, где на кустах, сразу зазеленевших после теплого сегодняшнего дождика, уже распустились почки. Король обратил на это внимание маршала, тоже не знавшего, что это за кусты, и сказал, что надо спросить господина де Бригод.

В том углу, где герцог Граммон и князь Пуа весьма резко отзывались о поведении гарнизона при въезде короля в город, явно чувствовались тревога и гнев. И не скажу точно кто,— кажется мне, чей-то адъютант,— заявил во всеуслышание:

— Что же, если эти господа недовольны, придется только послать нарочного в Турнэ, опустить подъемный мост и ввести в Лилль двадцать батальонов англичан, а уж те, будьте покойны, вправят им мозги.

Король, который, как и все присутствующие, услышал эти слова, обернулся и остановил вопросительный взгляд на Мортье. Маршал пробормотал:

— Какая неосторожность! Такие вещи не говорят, а делают...

Когда сели за ужин, стало ясно, что предшествующие разговоры, которые теперь замолкли, не вселили бодрости в собравшихся, ибо, несмотря на изысканно сервированный стол и роскошную обстановку, вид у всех был мрачный. Герцог Орлеанский сидел по правую руку от его величества, и нельзя сказать, чтобы беседа между ними была оживленной.

Может быть, король притворялся, будто занят разговором со своим соседом слева — хозяином дома? Во всяком случае, он беседовал с ним вполголоса, и герцог Орлеанский не мог уловить, сколь значительна их беседа. На самом деле Людовику XVIII было очень не по себе; всю дорогу он бодрился, но в конце концов нервы не выдержали. Да и ревматизм давал себя знать. Король только что вышел из искусных рук отца Элизе, но особого облегчения не ощущал. Он чувствовал себя так, словно за ним гнались по пятам; не подавая вида, он постарался, чтобы в суматохе сборов отъезд его брата и племянника несколько задержался, и оставил всю королевскую гвардию на попечение ультрароялистов, надеясь, что сторонники графа Артуа скомпрометируют себя беспорядочным бегством, а сам он впоследствии выйдет сухим из воды, непри-

частным к возможным прискорбным инцидентам. Пожалуй, он был бы даже доволен, если бы его брат попал в руки к Бонапарту: ему уже год не давали спокойно спать интриги, которые плелись в Павильоне Марсан. Все вожделеют к его короне. Ее с нетерпением ждут и брат, и его сыновья, и родственничек, что сидит от него по правую руку. Ничто ведь не остается тайной. Все вокруг интригуют. Фуше предан орлеанской партии. Витроль работает на Карла. Если бы Бонапарт не вернулся, все равно или одни, или другие постарались бы свергнуть его, Людовика,— это ясно как день. Может быть, следует воспользоваться заварухой и подготовить будущее — вернуться с союзниками, обезопасить себя от всех претендентов? И подумать только, что он первый протянул руку молодому Луи-Филиппу, когда тот после дела Дюмурье покинул ряды республиканской армии и явился с повинной. Тем самым он, Людовик, хотел обезвредить происки брата... Король думал об этом, говоря о другом: о восторженной встрече, повсюду оказанной ему населением. Вдруг он сморщился. Ой, поясница! Ну его совсем, отца Элизе! Только один раз он действительно был ему полезен — тогда, в Хартуэлле, когда раздобыл письмо господина де Шаретт, обличающее графа Артуа; возможно, оно сфабриковано англичанами, но ему оно очень кстати, так как дает в руки оружие, с помощью которого легко призвать брата к порядку... Он может в любой момент предать гласности это письмо, обвиняющее Артуа в трусости, которая погубила шуанов. Вдруг король услышал, что на другом конце стола Конде говорит что-то очень смешное, он попросил повторить. Принц Конде, который приехал в Лилль после полудня и, вероятно, не знал состояния умов в гарнизоне, как раз сейчас произнес слова, в первую минуту повергшие всех в изумление, а затем вызвавшие бурный взрыв смеха, впрочем тут же подавленный. Принц Конде спросил очень громко:

— В каком храме благоугодно будет его величеству, ежели мы пробудем здесь и завтрашний день, совершить, как обычно, обряд омовения ног, ведь завтра чистый четверг?

Гул разговора, стук ножей и тарелок на минуту заглушили его слова, но принц, сам глуховатый, подумал, что его не расслышали, и, будучи в том возрасте, когда жир и высокий ранг заменяют ум, повторил громче, стараясь перекричать остальных:

— В каком храме его величеству благоугодно будет омыть завтра ноги нищим?

Только памятуя, что он несчастный отец герцога Энгиенского и глава бывшей эмигрантской армии, можно было удержаться и не прыснуть ему в лицо. Вообще-то говоря, господин де Бригод был больше в курсе дел, чем префект: наклонившись к его уху,

он шепнул, что у артиллеристов в патронных сумках найдены орлы и трехцветные кокарды.

— Подумаешь, в городе я видел солдат, которые уже нацепили их на кивер! — заметил один из соседей, услышав сказанные по секрету слова.

Да, состояние умов гарнизона внушало опасения. Уже с утра это чувствовалось: если по прибытии короля торговый люд, простонародье, крестьяне кричали: «Да здравствует король!» — то сразу после полудня войска, которые были выстроены вдоль улиц для встречи короля и должны были сопровождать его в пути, хранили молчание, не предвещавшее ничего доброго. И весь день заметно было волнение среди войска. Его величество выказал недовольство, что герцог Орлеанский и Мортье вернули гарнизон в Лилль: ведь полки были отправлены в Перонский лагерь и приказ об их возвращении смущал короля, ибо его уверяли, что гарнизон взбунтуется, когда сюда прибудет королевская гвардия. Итак, он должен сидеть здесь как бы в плену у мятежников, а оставшиеся верными полки будут далеко: графу Артуа был послан приказ сконцентрировать королевскую гвардию в Бетюне. Да еще отправили в Париж всех здешних благонадежных людей, которые сформировались в отряды волонтеров,— тех воодушевленных патриотизмом горожан, что вместе с артиллеристами капитана Пореля, предводительствуемые двумя конногвардейцами герцога Беррийского — господином де Формижье и Шарлем Фьеве, сыном господина Фьеве, того самого, что сидит сейчас здесь за столом,— явились ровно неделю тому назад, прямо в театр, когда шла «Джоконда», и потребовали, чтобы господин де Бригод дал им оружие... Это в четверг. А в пятницу по их стопам пошел другой отряд, с двумя орудиями, под началом капитана Костенобля. Здесь же у нас нет артиллерии. Национальная гвардия так слаба, что не может даже обеспечить порядок, и когда прибудет королевская гвардия, она окажется лицом к лицу не меньше, чем с семитысячным войском, отдохнувшим, хорошо вооруженным и враждебно настроенным.

Господину де Симеон все это было известно. И преданность королевскому дому внушала ему желание, чтобы король был не здесь, а у черта на куличках. Префект, надо сказать, был человеком чувствительным, пописывал на досуге и как раз в такие дни...

Его величество вызвал общий смех рассказом о бетюнском супрефекте господине Дюплакэ, который никак не мог влезть в штаны. Все старались говорить о чем угодно, только не о создавшемся положении. Говорили, что и сегодня тоже театр будет переполнен и что публика, несомненно, опять выкажет преданность

государю, как и всякий раз, когда дают «Охоту». При этих словах господин де Симеон не мог сдержаться и кашлянул, и господин де Бурьен, посмотрев на него, прекрасно понял, что кашель префекта ставит под сомнение «стихийный» характер этих оваций. Когда прибыл король, министр полиции находился в толпе и имел возможность составить себе мнение о положении вещей. Но так как маршал князь Ваграмский видел все в черном свете и, слушая его речи, король с недоумением поднимал брови, Бурьен, понаторевший в придворном обращении благодаря той роли, которую он играл при Наполеоне, поспешил во всеуслышание заявить маршалу, что известия, полученные из Вены, а также его собственные сведения позволяют предполагать, что европейские государи не потерпят наглости Буонапарте и его величество к концу июня снова будет спать в Тюильри.

Эти слова произвели большое впечатление, и все замолчали и посмотрели на его величество. Король, казалось, не очень верил в серьезность заявления Бурьена, надо думать, расцененного им как желание сделать ему приятное, и вопросы, которые он задавал, свидетельствовали об его неуверенности в будущем. Но, должно быть, заметив, как помрачнел Бертье и как подавлены все остальные, сидящие за столом, Людовик XVIII, не желая оставаться в долгу, сказал несколько лестных слов Бурьену.

Дом стоял на узкой улице, и, хотя еще не стемнело, пришлось зажечь люстры, так как для королевской трапезы было недостаточно светло. Вина у господина де Бригод подавались отменные, готовили гораздо вкуснее, чем у господина де Вервиль. Жалко, что не пригласили дам, было бы куда веселее, но тогда собрание было бы слишком многолюдным. Вы только взгляните на Бертье! Нельзя же, голубчик, до такой степени не уметь скрывать свои чувства! Жокур, сидевший рядом с Бурьеном, спросил, не знает ли тот, что сталось с госпожой Висконти... по словам Макдональда... Нет, министр полиции ничего не знает, когда он покидал столицу, у него и без госпожи Висконти было достаточно хлопот.

— Нет, вы только посмотрите на Бертье: сидит и грызет ногти...

— А что ему еще делать, раз он не может целоваться со своей итальянкой...

Граф де Жокур всегда отличался злым языком. Он следовал версальской традиции. А Бурьен, тот давно знал князя Ваграмского. Его нельзя было обмануть: в тайне сердца Бертье питал роковую любовь и к Наполеону. И, сидя тут за столом, он не только грыз ногти, он терзался сомнениями: с одной стороны, ему льстило, что он в почете у короля, с другой — его одолевало желание вновь красоваться в свите императора...

Да, Бертье все время грыз ногти... Отец Элизе, сидевший через два человека от Жокура, нагнулся к нему и, сморщив свой противный потный нос, сказал обычным для него нарочитым шепотом:

— На слова принца Конде касательно великого четверга не обратили должного внимания... но я предложил бы омыть ноги на этот раз не нищим, а маршалам...

К счастью, эту тонкую шутку услышал только министр полиции. И в самом деле, у Мортье и Макдональда лица были не менее мрачные, чем у Бертье. Аббату де Монтескью, сидевшему напротив Жокура, верно, пришла в голову та же мысль, так как он сказал:

— При перемене строя маршалы Франции всегда переживают трудные минуты... Нет, благодарю вас, красное вино мне вредно, даже такое превосходное, как здешнее бордо... Это шато, не правда ли? Вы, отец Элизе, вероятно, знаете толк в винах?

Отец Элизе покраснел. Всем было известно, что в винах он был не силен: раза два-три король даже подшутил над тем, что он спутал бургундское бог знает с чем... Тут внимание гостей было привлечено вошедшим адъютантом, который, сделав общий поклон, нагнулся к королю и сообщил ему что-то, должно быть, очень важное, потому что Людовик XVIII отодвинулся от стола, уронив при этом салфетку, и быстро сказал:

— Зовите его сюда...

У всех сразу появилось такое ощущение, словно на сцене произошла смена декораций: салонная комедия обернулась уличной драмой.

Вошел генерал Рикар, тот самый, что рано утром проезжал через Пуа в черном тильбюри с желтыми колесами, укрыв ноги зеленым пледом в синюю клетку. Он привез письмо от графа Артуа королю, которого думал застать в Абвиле. Он делал очень большие перегоны, торопясь в Лилль, куда прибыл к семи вечера. Король усадил его по левую руку от себя, рядом с господином де Бригод, и теперь окончательно повернулся спиной к герцогу Орлеанскому, которому до конца обеда так и не сказал больше ни слова. Луи-Филипп, казалось, был очень этим обижен,— ему пришлось удовольствоваться разговором с сидевшим напротив маршалом, герцогом Тревизским.

Король выслушал беглый отчет Рикара о состоянии королевской гвардии, которая должна была ночевать сегодня в Абвиле, где Артуа надеялся нагнать короля, о путешествии самого Рикара, проехавшего через Сен-Поль и Бетюн... генерал сказал, что граф Артуа направляется из Абвиля в Дьепп, что солдаты совер-

шенно не в силах продолжать путь... в Дьеппе он будет дожидаться короля...

— Дайте же наконец письмо...— нетерпеливо перебил король. И погрузился в чтение, через пятое на десятое слушая окончание рассказа.

Глаза всех были обращены на государя. Он казался очень озабоченным. Дочитав письмо, он принялся перечитывать его сначала и на этот раз более внимательно. Все знали, что днем у его величества были сильные боли в ногах, должно быть поэтому он и вздыхал.

Король сообразил, что его разговор с Рикаром слышали и что новости уже облетели весь стол; к тому же герцог Граммон, который был туг на ухо, громко говорил, что придется отказаться от надежды вместе с королевской гвардией сесть в Дьеппе на суда. Уже раздавались отдельные голоса: «В конце концов надо призвать англичан и пруссаков, они живо расправятся с этим сбродом». Людовик XVIII бросил взгляд в ту сторону, откуда слышались такие бестактные речи. Там сидели лилльские жители, они ему, несомненно, преданы, но могут сболтнуть лишнее. Он не заметил, что Мортье, услышав эти неосмотрительно брошенные слова, весь почернел и закусил верхнюю губу, втянув ее в рот.

— Вы, вероятно, говорите еще на каком-нибудь языке, не только по-французски? — спросил король, повернувшись налево, к генералу Рикару.

— Я говорю по-итальянски, государь,— ответил генерал.

— По-итальянски так по-итальянски,— согласился король.

Людовик XVIII был полиглотом. Луи-Филипп понимал по-итальянски, но король говорил слишком тихо со своим соседом слева, и Луи-Филипп не мог следить за их диалогом. Он был озабочен одним: как бы отделаться от короля. Предположим, что они застрянут тут, в Лилле, а гарнизон возмутится, все решат, что виной этому его, герцога, происки. По правде говоря, король охотно бы уехал из Лилля, где он не чувствует себя в безопасности. Перед обедом он решил выехать в двенадцать ночи в Дюнкерк. Он говорил — осмотреть границу. Хорошо, если ему угодно притворяться,— его дело, только пусть не вздумает вернуться обратно! Макдональду хочется, чтобы король уехал на следующий день после назначенного на утро смотра: никак он не может отрешиться от мысли, что отъезд ночью смахивает на бегство. Луи-Филипп приготовил целую кучу доводов... Надо также опровергнуть сообщение господина де Симеон, согласно которому дорога на Дюнкерк не безопасна в районе Касселя. Потому что в Касселе

генерал Вандамм, который не мог простить королю, что тот услал его из Парижа в сентябре прошлого года, через сутки по его возвращении из Сибири... Сообщение господина де Симеон поразило его величество. Это верно, генерал Вандамм пользуется в Касселе поддержкой населения: ведь он тамошний уроженец и в свое время, в 1792 году, когда родина была в опасности, собрал отряд вольных стрелков,— Луи-Филипп это помнил. Как разубедить короля?

Когда встали из-за стола, король позвал всех трех маршалов, своего кузена — герцога Орлеанского и, само собой разумеется, господина де Блакас д'Оп, чтобы выслушать сообщения генерала Рикара. Все встали, и лица, приглашенные Людовиком, отправились в отведенную ему комнату. Макдональд — как всегда стремительный, Мортье — совсем стянув бантиком свой и без того маленький рот, князь Ваграмский — в сильном волнении, которое он не мог скрыть. Во время обеда он не сказал ни слова, а с той минуты, как вошел генерал Рикар, ему не сиделось на месте.

— Когда же он наконец перестанет грызть ногти? — сказал Жокур Бурьену. Действительно, в этот вечер Бертье яростно грыз ногти.

* * *

Бертье... Бертье... В конце концов, что мы знаем о нем, о том, что у него на душе, почему он грызет ногти? Все зубоскалят на его счет. Он маленького роста, ну и что же? Разве бы что-нибудь изменилось, будь он ростом повыше? У него есть брюшко, но в его возрасте оно есть у многих. Нет, над ним смеются, потому что он влюблен, и смеются давно, не только теперь, когда ему шестьдесят три года. В Египетской армии другие генералы острили по его адресу в присутствии своих подчиненных. Те, кто остался верен Наполеону, не прощают ему 1814 года, а приближенные короля, дворяне, не прощают ему его происхождения. О, я нисколько не претендую на объективность, и все же... военные презирают его, потому что он не боевой генерал, но кто знает, может быть, Наполеон не был бы Наполеоном, если бы не было Бертье. Если бы не было Бертье, который ночи напролет просиживал над бумагами и картами, вел огромную административную работу; кто знает, существовала бы «Великая армия», если бы не было Бертье, который входил во все до мелочей,— от пуговицы на солдатских гетрах до пушек,— который подготовлял этапы, организовывал и арьер- и авангард? Император знал, что делает, и после сражения при Ваграме дал титул князя Ваграмского не Лористону, руководившему решающей артиллерийской атакой из ста орудий, не

Макдональду, возведенному наутро в маршалы, а Бертье. Да пусть даже Бертье, как это утверждает генерал барон Гурго, на следующий день после битвы при Маренго пять раз упомянул в своем рапорте капитана Сопранси, дабы тому достались все лавры победы, пусть даже Бертье был жаден до поместий, самовольно внес в списки представленных к награждению орденом Почетного легиона сына своей любовницы, вывез из Италии награбленные сокровища... пусть все это так... и пусть говорят, будто он считал вполне естественным, чтобы маршал переходил от одного государя к другому, как мебель в Тюильри.

Но несправедливо смотреть на человека той эпохи глазами людей той же эпохи или людей нашей эпохи — глазами людей с другими моральными понятиями. Надо бы увидеть его не таким, каким его видели Леон де Рошешуар или Эксельманс или каким его увидели Сеньебос или Мале, но таким, каким он сам себя видел. И судить о нем не только по данной неделе, в течение которой мы его наблюдаем, и даже не по его прошлому, но принимая во внимание тот последний мазок, который будущее, это уже близкое к своему завершению будущее, наложит на его образ. Вот в этом-то и есть трудность, поэтому-то я и не удовлетворен всем, что рассказываю,— и не только о Бертье, но и о всех статистах трагикомедии, разыгравшейся на этой страстной неделе; не удовлетворен потому, что мы видим их здесь в рамках только этой недели, не в свете будущей судьбы, не в свете того, как они проявят себя в дальнейшем.

И не только Бертье. Всех. Всех их надо было бы рассматривать также и в свете их будущей судьбы.

Вот взять хотя бы одно имя, упомянутое на этих страницах, взять человека, которого мы не видели, с которым не встретились — герцога де Ларошфуко-Лианкур. Что узнали о нем офицеры 1-го егерского полка, нашедшие во вторник вечером кратковременный приют у него в поместье? И могу ли я судить, кто из них был прав,— те ли, что почувствовали жалость к детям, работающим за двенадцать су по двенадцати и больше часов в сутки, или те, что почувствовали уважение к герцогу, о котором с таким почтительным восхищением говорил один из его слуг? Филантроп, не так ли? А что такое филантропия, отлично известно. В наши дни. При нашем полуторавековом опыте. И при том высокомерии, с каким мы судим о патронаже после «Парижских тайн» или «Отверженных», после уважаемой госпожи Бусико и маршала Петена... Но все же, кто был прав тогда, во время разговора около лианкуровских служб? Старый слуга или молодые кавалеристы, арнавоны и шмальцы, безоговорочно осудившие этого аристократа, как если бы он жил в наши дни?

Дело не только в том, что герцог Ларошфуко ввел во Франции дженнеровскую вакцину, и не в том, что он мог бы жить совсем иначе, не заставляя детей работать на мюль-машинах,— жить, как жили люди его звания и состояния, его круга, не в комнатке в два метра высотой в здании лианкуровских служб, отдав все, за исключением своей библиотеки, которую он поместил в развалинах замка, на развитие новых мануфактур, на их оборудование, на обучение молодых рабочих... Дело также и в том, что этот хозяин, ибо в конечном счете он был хозяином, стал во Франции проводником новой формы объединения рабочих, которую он сам ввел, первый подав пример, основав общество взаимопомощи, дабы таким путем обойти закон, запрещавший всякие рабочие союзы; дело в том, что этот герцог создал прообраз тех организаций, благодаря которым уже через пятнадцать лет лионские рабочие, первые в мире, могли с оружием в руках встать на защиту интересов своего класса. И это истинная правда, ибо герцог де Ларошфуко-Лианкур, депутат в парламенте Людовика XVIII от департамента Уазы и один из депутатов Центра, не либерал, а республиканец, вскоре оказался вынужденным удалиться в свои владения, и в день его похорон народ, который знал герцога, шел за его гробом так же, как позднее парижское население шло за гробом Беранже; королевские жандармы разогнали толпу выстрелами, и рабочие, несшие гроб герцога, уронили его на землю.

В некоторых случаях не надо даже таких очевидных фактов,— достаточно узнать ближайшее будущее человека, и он предстанет перед нами в ином облике, не тем, каким мы смогли его увидеть во время остановки в Лилле королевской свиты. Если уж мы заговорили о герцогах, возьмем другого герцога — Ришелье. Вот еще один человек, к которому все относятся с подозрением. Ультрароялисты его не любят — он не настоящий эмигрант, он не воевал в армии Конде. Бонапартисты и республиканцы видят в нем того, кем он был,— реакционера и аристократа. Ну да, он аристократ и реакционер, он служил иностранному государю, он противник образования для народа, он все, что хотите. Если бы я пожелал встать на защиту этого аристократа и реакционера, может быть мне достаточно было бы обратиться к его прошлому, поговорить о его роли в Новороссийском крае, где этот француз преобразовал только что народившуюся Одессу, которая сохранила память о нем, там он был носителем просвещения, поборником торговли с Францией, содействовал ввозу товаров из средиземноморских портов, из Марселя в Черное море. Но этого было бы недостаточно, это значило бы забыть будущее, забыть, кем стал герцог Ришелье, когда наконец Людовик XVIII, через головы своих министров и фаворитов, призвал его, и как Ришелье, опираясь на

завоеванное долгой службой доверие царя Александра, добился вывода иностранных войск с французской территории, несмотря на нежелание англичан, пруссаков и австрийского императора. Да, разговор герцога Ришелье с изменником Мармоном в префектуре города Бовэ, его чрезмерные заботы о собственной персоне, флаконы духов, которые он выливал на себя, и, возможно, даже внушающие некоторое подозрение слишком строгие нравы в отношении к женщинам, да, все это так... Но как забыть то, что впоследствии думал об этом человеке Жюль Мишле, в ту пору еще ребенок? Для него, как и для всех тех, кто вздохнул с облегчением, когда последний улан, последний казак, последний хорват и последний horse guard [1] покинул Францию, как и для всех, кто принадлежит к веку, когда родилось новое сознание, Ришелье, вопреки всему, навсегда останется освободителем французской земли, Ришелье, увенчавший на конкурсе во Французском институте Жюля Мишле второй наградой за вступительную речь на латинском языке и первой за речь на французском: «Вы подъяли меч против отчизны, о римляне! Я не упрекаю вас за то, что вы хотите отомстить за своего императора, я хвалю вашу преданность...» и так далее.

Насколько я знаю, у нас во Франции существуют только две работы об этом незаурядном человеке — монография конца XIX века и книга того же времени о его деятельности на конгрессе в Аахене. Никогда ни одному университетскому профессору не пришло в голову сказать своему ученику, пришедшему посоветоваться о теме для диссертации: «Займитесь Эмманюэлем-Арманом де Ришелье, любопытный был старик, а написано о нем у нас очень мало». Может быть, на меня рассердятся, как уже сердятся за то, что я взял под свою защиту Барреса и Клоделя, рассердятся за то, что я ради смуглого герцога с вьющимися волосами позволил себе столь пространное отступление. Но я вам признаюсь, если бы я не написал этих строк, я не мог бы спать спокойно.

Впрочем, не бойтесь, я не увлекусь и не стану оправдывать в ваших глазах Мармона, герцога Рагузского. Хотя, может быть, и не совсем справедливо отождествлять понятие измены с его именем. Заслуживает ли он большего презрения, чем Сульт или Кларк,— дело вкуса. Кому нам верить, если говорить о самих фактах, о «рагюзаде» 1814 года,— Наполеону, который, высадившись в Канне, подтвердил свое жестокое обвинение, или непосредственному свидетелю, полковнику барону Шарлю Фавье, нашему старому знакомцу? Он почел своим долгом взять перо и защитить своего бывшего начальника, которого он, несомненно, счи-

[1] Конный жандарм *(англ.)*.

тал непричастным к военной измене, к отступлению генерала Сугама из-под Эссона, но, даже если тут он прав, дело ведь не только в этом... ибо Мармон изменил уже накануне, когда вел переговоры с австрийцами. Но Мармон мне сейчас безразличен, а вот Фавье нет.

Я начал писать эту книгу для того, чтобы показать невозможность сопоставления двух несопоставимых эпох. Нет ничего более нелепого, чем судить, чем объяснять прошлое, исходя из настоящего. Нет ничего более ложного, более опасного. Я не знаю, как будут читать то, что я пишу, во всяком случае, я не могу запретить читателю заниматься игрой, которую сам отвергаю. Например, я предвижу, что из моего старания поместить людей той эпохи в соответствующие рамки, не судить о них упрощенно и не считать изменой Наполеону или Людовику XVIII то, что мы привыкли считать изменой, я предвижу, что из моих стараний кое-кто сделает выводы для нашего времени, увидит в этом какую-то лазейку для тех, кого нельзя не считать изменниками у нас, во Франции, во время блицкрига, накануне атомной эры. Так нет же, никакая общая мерка неприложима к Фавье и... этим людям; я чуть не назвал имени, я заколебался, кого выбрать, но я не могу оскорбить героя наполеоновских войн и войны за греческую независимость, сопоставив его, пусть даже в отрицательном смысле, с подобной мразью. Пойдем дальше: солдат 1815 года не солдат 1940, даже если пути отступления и самая его беспорядочность схожи; ведь противоречия, мучившие одного, не те, что мучили другого, ведь за это время изменилось значение слов, ведь в 1815 году считалось вполне естественным перед казнью отрубить руку осужденному, тогда не существовало никакого противовеса идее нации, патриоту и не снилось тогда, что у него есть долг также по отношению к чужому народу, слово «человечество» лишено было смысла, война рассматривалась как преступление только когда она бывала проиграна, и так далее и так далее. Как раз на примере Фавье, который из рядов приверженцев императора перешел в ряды роялистов, а затем участвовал в заговоре против короля, как раз на его примере мы видим, как заколебались концепции того времени, как они сдвинулись в сторону современных понятий, вылившихся в определенную форму, приобретших значение и размах гораздо позже, когда они выкристаллизовались в систему, в идеологию, потеряли свой эмпирический характер, превратясь в принципы. Дело в том, что теперь это уже не искания отдельного человека, они вошли в плоть и кровь человеческих масс, отождествились с новыми людьми, с теми, кто ныне творит историю, с теми, у кого нет ничего общего с авантюристами той эпохи. Итак — Фавье.

Неужели же надо было вводить его в эту книгу только ради нескольких эстафет Мармона, которые он отвез королю или его гвардии, ожидавшей смотра на Марсовом поле, ради встречи на площади Карусель и сна в одной из комнат префектуры Бовэ? Мне уже слышатся голоса критиков. Может быть, они ополчатся на Фавье, может, на других персонажей, но допустим, что на Фавье. Автора обвинят в отсутствии мастерства за то, что он вдруг выдвинул на первый план второстепенных персонажей в проходных сценах, и зачем это нужно интересоваться частной жизнью молодого полковника, старавшегося забыть Марию Ангелицу в объятиях Марии Дьяволицы? Не ожидайте, что я буду защищать здесь книгу, из которой, если прислушиваться к подобного рода замечаниям, пришлось бы выбросить одну за одной все страницы, все фразы, все слова во всех фразах. Но дело в том, что этот персонаж, второстепенный для читателя, для автора — персонаж первого плана, и вышеупомянутый автор как раз, наоборот, упрекает себя за то, что Фавье прошел в его книге так, мимоходом, где-то сбоку. Ибо если любовь Бертье к госпоже Висконти вызывает улыбку, то лучшего героя, чем Шарль Фавье, не может пожелать для себя ни один автор любовных романов,— ведь Фавье, если мне не изменяет память, увидел впервые Марию де-лос-Анхелес, герцогиню Фриульскую, около 1805 года, вскоре после того как она вышла замуж за Дюрока, его близкого друга, и с того дня полюбил это «совершенное создание» безнадежной любовью, любовью, которая после смерти Дюрока в 1813 году казалась кощунством, и девятнадцать лет после этой смерти Фавье жил фантастической, полной приключений жизнью до того самого дня, когда герцогиня Фриульская согласилась стать женой человека, который в течение двадцати семи лет любил ее издали...

Этой-то человеческой жизни и недостает мне здесь, чтобы показать в надлежащем свете эпизодического героя — Шарля Фавье. Вряд ли он останется для нас все тем же, если мы узнаем его дальнейшую судьбу, вряд ли останется для нас тем же этот офицер Империи, который не считал для себя возможным покинуть ряды французской армии, когда вернулся король, и, присягнув ему, почел своим долгом сопровождать до границы спасающегося бегством государя... если мы узнаем, что он отказался покинуть Францию, но не вступил в армию Ста дней, а после Ватерлоо не только не присоединил свой голос к злобному хору, славившему поражение родины, но недалеко от границы собрал вокруг себя людей и тревожил интервентов, что в дальнейшем он встал в ряды вольных стрелков и сражался с иностранцами, водворившими обратно во Францию Людовика XVIII, которому он был прежде верен... Вот он в Лотарингии, на пути следования армии захватчи-

ков обстреливает из-за откоса прусский обоз,— так же как во Фландрии в то же самое время действует майор Латапи, которого мы видели в Сен-Дени, когда он от имени офицеров явился к генералу Мезону с ультиматумом, а затем повернул вспять, на Париж, обоз герцога Беррийского и встретился у ворот столицы с генералом Эксельмансом. Вряд ли Шарль Фавье останется для нас все тем же после 1817 года, когда в Лионе он пошел против генерала Доннадье, который ввел там ультрароялистский режим. Вряд ли он останется для нас все тем же, когда мы узнаем, что логика истории привела его к заговорам против того самого короля, которого он не хотел покинуть в 1815 году, и что ему, многократному заговорщику, пришлось оставить свою страну, границу которой он не захотел перейти в 1815 году, или что в 1823 году он оказался на испанской границе, на Беобийском мосту, и там,— вместе с тем молодым бетюнским горожанином, отец которого был тогда на ночном собрании в Пуа, над кладбищем,— выступил перед французскими солдатами, заклиная их вернуться обратно, не вторгаться в Испанскую республику и поднять трехцветное знамя. Вряд ли он останется для нас все тем же, когда мы узнаем, что он, подобно Байрону, стал героем войны за независимость греческого народа, что он в июле 1830 года вернулся во Францию под вымышленным именем, что он бок о бок с парижскими рабочими сражался во время «Трех славных дней». Ах, может быть, тогда вы простите Марию де-лос-Анхелес за то, что после девятнадцати лет вдовства она наконец сдалась, изменила памяти Дюрока и вышла замуж за пятидесятилетнего Фавье, который вполне мог жить, как живут остальные, скажем, Тони де Рейзе, молодой Растиньяк или маршал Мармон: у него могли быть поместья, крест святого Людовика и пенсия, данная королем, либо он мог, как Леон де Рошешуар или молодой де Г., жениться на дочери поставщика на армию!

Мужчины и женщины не только наследники своих отцов, не только носители своего прошлого, не только ответственны за те или иные поступки — они еще и зерна будущего. Романист не только судья, который требует от них отчета в том, что было,— он также один из них, он жаждет знать, что будет дальше, его страстно занимают отдельные судьбы, он ищет в них ответа на брезжущий в далеком будущем важный вопрос. Во всяком самом злостном преступнике он постарается отыскать дремлющий свет. Во всякой заранее известной, или казавшейся нам известной, судьбе я надеюсь натолкнуться на противоречия в самых основных данных. Пусть это история, но, даю честное слово, я прибыл во Фландрию со свитой короля, не зная, покинет ли Людовик XVIII пределы Франции, не зная, что ждет Наполеона, и на-

звание Ватерлоо для меня было только несколькими буквами на карте,— будущее решалось снова... я снова бросил кости, не зная, какое очко выпадет.

Так же, как и Бертье. Так же, как и несчастный Бертье в Лилле, Бертье, который грызет ногти, изжелта-бледный, отяжелевший, пузатый и низенький Бертье, у которого хрустят суставы, у которого все болит, а сердце иногда бьется как сумасшедшее. Он десять раз за этот день начинал письмо и десять раз рвал его. Несомненно, проще было бы ничего не писать, удрать в Париж или в последнюю минуту сказать: нет, я не хочу покидать французскую землю... Да, только Мария Елизавета, Мария Елизавета и дети там, в Баварии. Ах, если бы он не отсылал их туда! Они в Бамберге, да. Поехать за ними, привезти... а позволят ли привезти? Тесть — разумеется... А как австрийский император? Придется писать одиннадцатое письмо. Ужасное, унизительное. Бог знает, как посмотрит Наполеон! С кем отправить письмо? С Мортье, если Мортье останется...

Все спуталось в голове Бертье. Франция... эмигрант — какой позор. Всю жизнь он так воспринимал это слово. И как тяжело расстаться со своими владениями. Он любит Гро-Буа, он любит Шамбор, свой дом на бульваре Капуцинок. В конце концов в этом его жизнь. Люди после известного возраста похожи на собак: они привязываются к дому. И Бертье старается изо всех сил отвлечь свои мысли от главного и самого мучительного. Джузеппа.

Несколько слов, оброненных Макдональдом... то, что случилось в Сен-Дени. Он знает, что́ это, в прошлом году это уже было, доктор ему говорил... И даже если для госпожи Висконти на этот раз припадок окончится благополучно, все равно это шаг к смерти. Одно пугает его больше всего в мире: это мир, в котором он будет один, мир, где не будет Джузеппы. Он может расстаться с ней, не видеть ее, к этому он привык, столько было войн... Кроме того, он не тот, что в пору Египетского похода, в его возрасте уже нет физического рабства, одержимости плотью, нет каждодневных безумств. Но если он никогда больше не увидит ее, если из них двоих он один останется жить... как тяжело рвать со всем своим прошлым. Ах, можно потерять отца, мать: это очень больно в детстве! Но, если Джузеппа... если Джузеппа умрет, исчезнет все, что было, исчезнет единственное существо, которое понимает его с полуслова, всегда, потому что она знает все — и мелкое и значительное, и то, что его огорчало, и то, что опьяняло. «Боже мой, боже мой, я не хочу пережить ее». Он чувствует боль в сердце, о, как он благодарен сердцу, что оно так яростно бьется! Может быть, сердце разорвется раньше... раньше, чем он узнает... «Да нет же, я идиот. Это было так, пустяки, простое нездоровье.

Ведь после прошлогоднего приступа она так поправилась! Выглядела лучше, чем раньше... лицо совсем молодое, без единой морщинки...» На минуту ему вспомнились прежние безумства, его преследуют навязчивые картины... О, я отлично знаю: старик — и вдруг охвачен воспоминаниями о постельных утехах, слишком ярко представляет себе то, что обычно прячут во тьме, думает с точностью, которая легко может стать омерзительной, не только о том, что было молодостью его собственного тела и ее тела, тела этой женщины, но и об исполненной сладострастия жизни, когда на смену восторгам первых лет пришел опыт, виртуозность, сообщничество... какая отвратительная картина, если смотреть не его, а чужими глазами. Потому что тут это не идеальная любовь, не высокие чувства, о которых потом будут слагать песни, но любовь, понимаете, настоящая любовь, та любовь, жизнь которой в желании и свершении, это феникс, возрождающийся из собственного изнеможения, любовь, чудесная физическая любовь, которая не отступает ни перед чем, и сейчас при воспоминании о ней он снова переживает ее и покрывается потом, и любовь угасает, истощив и силы его и воображение. Даже в Лилле, даже здесь, дойдя до предела отчаяния, этот уже старый человек здесь, на полпути между женой и любовницей, у границы родины, которой он служил четверть века всеми способностями своего ума, не побоимся сказать — своего гения, помогая ее орлам залетать далеко... даже сейчас в душевном смятении, в волнении сердца и плоти, страдающий от болезней, от ревматизма... измученный, охваченный стыдом... как он мог стать тем, кем он стал, очутиться здесь с королем-подагриком, бежать вместе с закоснелыми роялистами, с этой обанкротившейся бандой, он, он, Бертье, князь Ваграмский и герцог Невшательский... как он мог?.. Даже сейчас, когда он так мучится, даже сейчас он забывает о своем несчастье, о своем позоре, их заслоняет солнце, но не солнце Аустерлица, а солнце Джузеппы, Джузеппы в его объятиях, трепещущей, изнемогающей, и вдруг ее снова охватывает страсть, она сдается, она в его власти, в его власти, на измятой постели... любовное единоборство в алькове... и почему так болит рука, верно, от неловкого положения, слишком долго он на нее опирался всей своей тяжестью — и своей и ее... ах, пусть смеются над ним сколько угодно, пусть надрываются от смеха, как может он забыть то, чего забыть нельзя.

Бедный, бедный Бертье... после стольких лет все еще наивный любовник, как те юнцы, которые вдруг обнаружат, что в их власти исторгнуть стон из груди женщины, как те юнцы, что выходят из спальни в восторге от себя и от жизни; их порой можно встретить на безлюдных улицах освещенного луной города — идут,

пританцовывают, поют, разговаривают сами с собой! А он не умел сохранить это в тайне, закрыть дверь, уберечься от посторонних взглядов... Он прожил всю жизнь среди насмешливых соглядатаев. То, что он считает своим, сокровенным, все время было на виду у всех. Кто только не потешался на его счет! Да и теперь не перестали. Взять хотя бы историю с выкраденными письмами, до сих пор еще она вызывает смех. Даже сейчас, даже здесь, в Лилле,— в Лилле, где царят растерянность и отчаяние. Достаточно послушать отца Элизе, вот он рассказывает, вернее, изображает в лицах эту историю, достаточно увидеть сальную улыбку на его лоснящихся губах, его руки, не брезгающие никакими занятиями. Он, конечно, кое-что присочиняет, но разве в этом дело! Рассказывает Жокуру и Бурьену в гостиной бригодовского дома, освещенной уже догорающими свечами, одна вдруг погасла и теперь чадит... историю с выкраденными письмами.

— Заметьте, все ее знают... Знают давно... Сами понимаете, с первых дней Республики все эти безумные письма из армии, украшенные рисуночками, подробностями, вгоняющими в краску, любовные нежности, сюсюканье и самые циничные откровенности, изощренное воображение солдата, которое даже война не могла охладить... все это и так уже знали, сами понимаете, военная цензура, «черный кабинет»... сами понимаете! Но когда об этом заговорили в Португалии...

— Как в Португалии? Бертье никогда не был в Португалии.

— Не перебивайте меня. В Португалии. И на сей раз это уже было секретом полишинеля не только для «черных кабинетов», откуда через полицию все доходило до штабов, до членов Директории, окружавших Первого консула. Нет: теперь секрет этот стал всеобщим достоянием, письма переходили из рук в руки, о них заговорили газеты. Ну, воспроизвести эти письма, конечно, невозможно! Самый их характер... Подстроили все англичане. Об англичанах рассказывают много всяких глупостей. Но в одном им надо отдать справедливость: шпионаж они наладить умеют, в этом им нет равных. Я-то уж знаю, что говорю! Агенты Питта и Кобурга, как выражалось это дурачье санкюлоты, да вот хотя бы в Кибероне... но вернемся к Португалии. Выкрали их, разумеется, не в Португалии, эти самые письма... а просто-напросто в Париже, из бывшего посольства Цизальпинской республики на набережной Вольтера. Госпожа Висконти часто меняла горничных, она была вспыльчива, прогоняла прислугу за пятно, посаженное на косынку, за потерянный носовой платок... и при этом такая рассеянная, ничего не запирала на ключ, да к тому же еще слишком доверчивая, могла своей камеристке рассказать вещи, которые касались только маршала... Словом, я жил в Лондоне, когда туда была до-

ставлена эта поразительная переписка, а я тогда имел честь быть советчиком по всем французским делам... Черт возьми! Все девицы с Лэстер-сквера прибежали ко мне, чтобы взглянуть на эти письма... Там были такие подробности, такие подробности! В лондонском свете полгода, не меньше, продержалась мода на любовь а-ля Бертье... Вы спрашиваете, как это делается? Но, господа, помилуйте, чтобы я... пощадите мою сутану, мой сан... Ну, так и быть, так и быть...

И три головы сблизились: Жокур — как истый человек восемнадцатого века, Бурьен — из профессионального любопытства, и в центре — отец Элизе.

— Но гениальность англичан проявилась в том, что они выждали... Не могу сказать, как долго,— не то пять, не то шесть лет. И вот в один прекрасный день, когда Сульт находился в Лиссабоне и готов был, идя навстречу пламенному желанию доброго португальского народа, объявить себя королем... тут-то с английских кораблей, блокировавших все выходы в море, и были отправлены на сушу... но каким способом, вы и представить себе не можете! — в бутылках, которые море выбросило на берег... сотни копий с писем красавицы Джузеппы и ее маленького Сандро... Их подобрали крестьяне, рыбаки... отнесли в местную полицию, там недостаточно знали французский язык, чтобы понять известные технические термины... прибегли к словарям... без всякого толку. Дорогой Бурьен, я думаю, у ваших агентов нюх лучше, они сразу обратились бы к девицам,— тех, надо полагать, императорская солдатня обучила непечатным словам... Короче говоря, переписка попала в руки агента, работающего на две стороны, и он отнес их французскому командованию. Представляете, какое там стояло веселье, когда поняли, чьи это письма... Но вскоре выяснилось, что содержание писем уже ни для кого не секрет: море вынесло бутылки па отмели Тахо, их находили то тут, то там, переписка стала притчей во языцех... правду сказать, я не знаю, так ли уж велика была роль этих бутылок, они ли скомпрометировали французов в Лузитанской республике, зато Буонапарте, когда узнал об этом деле, разъярился и побил весь севрский фарфор в Компьене... а уж чего наслушался Бертье!

Бедный Бертье... Да, его подымали на смех, но ни один самый славный военачальник не удостоился таких слов, какие были сказаны о нем. Я имею в виду короткую пометку Стендаля в его трактате «О любви», в том месте, где он говорит: «...утверждают, что в старости изменяются наши органы, и мы уже не способны любить; я этому не верю. Ваша любовница, став вам близким другом, дарит вас другими радостями, радостями, которые красят старость... Цветок, утром, в пору цветения, бывший розой, вече-

ром, когда миновал сезон роз, превращается в восхитительный плод».

В рукописи Стендаль написал: «For me [1]. Любовь князя Ваграмского...» Пометку эту он зачеркнул из деликатности: в 1822 году, когда появилась книга «О любви», госпожа Висконти была еще жива.

А теперь, когда нет уже ни Александра Бертье, ни Джузеппы, сплетни позабылись, восторжествовало чувство, выраженное Стендалем; прекрасная, продолжавшаяся и на закате история Джузеппы Висконти и князя Ваграмского, которые любили друг друга. Все прочее — грязь человеческих помыслов, и пусть Атлантический океан носит ее на своих волнах, выбрасывает на португальское или какое другое побережье вместе с разбитыми днищами больших кораблей, ракушками, водорослями, обломками далеких кораблекрушений. В памяти будущего сохранится только долгая верность любовников, постоянство в любви, а не случайные, не имеющие значения измены с одной и другой стороны,— кому какое дело, что госпожа Висконти переспала с Эллевью, певцом, о котором все знали, что он не чувствует влечения к женщинам, и кому какое дело до ее мимолетных связей, между прочим и с Макдональдом; не будут также удивляться и тому, как сложились отношения между нею и Бертье потом, когда император женил своего военного министра на молодой баварской принцессе. И мог ли простодушный Бертье подозревать, когда он в весьма определенных выражениях писал из Москвы госпоже Висконти, что его очень тянет к молодой жене, мог ли он знать, что письмо будет перехвачено в лесах Белоруссии партизанами, тревожившими «Великую армию», и что в XX веке это письмо опубликуют вместе с остальной захваченной почтой и несколькими письмами некоего Анри Бейля, более известного впоследствии под именем Стендаля? Пыль, пыль... Время все смывает с людей, грязь выплескивается, над ними проносится свежий всеочищающий ветер Истории,— все равно как если бы дома́ целое столетие, а то и больше, простояли с открытыми настежь дверями и окнами и там гулял ветер,— и вот уже нет старой занавески, сдунутой сквозняком, ее обрывки еще колышутся в воздухе, словно человеческая рука машет нам на прощание... не останется ничего — только музыка, только божественная и глубокая музыка любви.

Это далекое будущее — наше будущее. Но будущее Бертье, его близкое будущее обязывает нас все пересмотреть, хотя его имя и вписано в «Справочник флюгеров» наряду с чиновниками, кормившимися из двух кормушек — Империи и Монархии, наряду с

---

[1] Для меня *(англ.)*.

тем художником, что в революционной картине пририсовал лилию на знамя, с тем писателем, что в своей оде подменил Маленького Капрала герцогом Беррийским... Два месяца... Нам легче будет понять Бертье при тусклом свете последующих двух месяцев.

Князь Ваграмский идет навстречу своей судьбе, как скупец, унося шкатулку с драгоценностями Джузеппы. В этот вечер в Лилле, в этот последний вечер во Франции, оставшись один в комнате, отведенной ему в бригодовском доме, он открыл шкатулку и разложил на кровати жемчуг и драгоценные камни, он берет в руки эти сокровища, перебирает бриллианты короткими, пухлыми, волосатыми пальцами. В бриллиантах переливается тусклый свет свечи, бриллианты переливаются в его руках. Если бы мы ограничились только этой картиной, какие мысли о маршале пришли бы нам в голову,— что он подсчитывает, что он прикидывает? А на самом деле для него это камешки, камешки, которые оставило море, отхлынув вместе со всей его прошлой жизнью. В самом деле, что ему драгоценности, если они не ласкают шею, плечи, если они не льнут к полуобнаженной груди, что ему браслеты, если они не украшают запястье белой руки, руки небывалой белизны для такой брюнетки? Да, все это надо продать, чтобы можно было жить — ему, Марии Елизавете и детям... что тут дурного, если Джузеппа им поможет... к тому же взамен он оставил документ... обеспечивающий ей ренту... он может исчезнуть, умереть,— госпожа Висконти не будет нуждаться.

Каким странным кажется в наше время, что человек, спасаясь бегством, покидая свою родину в дни большого государственного потрясения, мог обеспечить своей любовнице ренту с оставленных им поместий и что эта рента выплачивалась в течение всей ее жизни... а прожила она, если не ошибаюсь, двадцать лет... выплачивалась неукоснительно через банкирскую контору. В усовершенствованном нами мире такие вещи невозможны. Бертье наших дней располагал бы только тем, что захватил с собой, а то, что осталось — земли, дома, счет в банке,— все было бы конфисковано. Его бывшая любовница, чтобы не умереть с голоду, давала бы уроки итальянского языка, разумеется, если бы нашлись ученики, которые не побоялись бы, что это им повредит. Или пошла бы в прислуги. И уж конечно, не получала бы каждый месяц чек на контору господ Лафитта и Перрего.

По крайней мере, хоть эта забота снята с князя Ваграмского. Сегодня вечером он думает только о том, что́ наденет Джузеппа на свою прекрасную полную шею, когда пойдет в театр... Она, правда, оставила себе не имеющие особой цены кораллы, большую брошь во вкусе барокко, изображающую сирену, которая лежит под чем-то вроде пальмы, длинную бледно-розовую цепь с фермуа-

ром зеленоватого золота... «Но вот ведь сумасшедшая! Отдала мне даже сапфиры, я же говорил, чтобы она оставила их себе...» И Бертье кончиком своего толстого мизинца подцепил кольцо с иссиня-черным камнем, таким темно-темно-синим, какими бывают порой горные озера...

Тут целый убор: ожерелье из четырех рядов плоских прямоугольничков, серьги с подвесками, два браслета, широкие, как манжеты, обе броши и полудиадема — цветы на бриллиантовых ветках. Сапфиры невшательского владетельного дома... Ни для кого это не было тайной: ведь император отдал Невшатель в удел своему военному министру. «Первый раз Джузеппа надела их в Оперу, на ней, как сейчас помню, была тогда горностаевая накидка на синем шелку, затканном белыми пчелами... весь Париж смотрел на нее, а господин Висконти, сидевший рядом, с невозмутимым спокойствием наводил серебряный с перламутром лорнет на ложи, разыскивая свою любовницу...»

Целая жизнь заключена в этих рассыпанных по кровати камнях. Вот это он подарил ей в первые дни в Риме, а вот миланские подарки... это — по возвращении из Египта... вот эти кольца — битвы, а эти ожерелья — мирные договоры. Есть тут и альковы, и безумные ночи, и комнаты в гостиницах, и постели во дворцах... когда на госпоже Висконти были только бриллианты или дымчатые топазы. Она знала сердце своего Сандро. Тут и солитер, который он подарил ей накануне свадьбы с Марией Елизаветой. Она вернула все. В этом сверкающем хаосе Александр нашел даже две-три драгоценности, которых не помнит, не может припомнить, чтобы он их дарил; и он ощутил острую ревность. Кто? Не раз он видел, как на балах или в театре она улыбалась из-за веера проходившим мимо мужчинам. Улыбалась с видом сообщницы, которая отвечает на слишком официальный и потому вызывающий подозрение поклон.

От мысли, что она могла быть в объятиях других мужчин, он испытывал жестокие страдания, готов был выдавить себе глаза, отрезать руку, бог знает, что над собой сделать... Ах, какой смысл мучить себя теперь из-за того, что могло быть. Их бурные ссоры. Обиды. А потом примирения... при встрече в обществе... у старой подруги... на вечере, все эти люди вокруг, желание убежать, быть наедине с ней, быть снова...

Драгоценности были раскиданы на постели, где князь Ваграмский собирался отдохнуть до двенадцати ночи — до того часа, на который был назначен отъезд его величества. Его разбудил Антуан; открыв оставшуюся незапертой дверь и войдя в комнату, он застал Бертье полураздетым на постели среди беспорядочно разбросанных вещей, там, где его свалил сон.

Антуана, кучера, бывшего также доверенным лицом и лакеем князя Ваграмского, по-видимому, не удивила эта картина, он подождал, пока маршал очнется после сна: тому приснилось, будто Мария Елизавета застала его с одной из своих фрейлин на лестнице в особняке на бульваре Капуцинок и будто Джузеппа выговаривает ему за супружескую неверность. И только когда маршал пришел в себя и сказал: «Это ты, Антуан?» — Антуан кашлянул и начал: «Ваша светлость...» Антуан никак не мог привыкнуть к тому, что его господина с год уже так не титулуют, с того самого дня, когда герцогство Невшательское пришлось вернуть австрийскому дому.

— Что случилось? — проворчал Бертье и сел на кровати: сапфировое ожерелье соскользнуло на пол.

Антуан не замечал ничего. Дело в том, что уже половина первого и его величество изменил свое намерение, он не уезжает. Вашей светлости можно раздеться и спокойно почивать. «Как? Не уезжает?» Не уезжает, да. До смерти надоел ему этот французский король. Помилуйте, чуть не каждые полчаса меняет свои намерения!

И вот, благоразумно убрав, после того как Антуан исчез, все драгоценности в футляры, а футляры в шкатулку, спрятав шкатулку под подушку и надев на шею золотую цепочку с ключиком, Бертье погасил свет, поворочался на постели и заснул, но теперь я уже не вижу его лица, не могу прочитать в его замкнувшихся для меня чертах, какие он видит сны. Я остаюсь в темной комнате наедине с будущей судьбой спящего.

* * *

Я никогда не был в Бамберге. Этот городок, присоединенный к Баварии, для меня оперная декорация, не больше. Идиллическая Германия. Германия Германа и Доротеи. С деревьями и музыкой, с назидательными изречениями, вышитыми на подушках. Солнце прорвалось сюда сквозь туманы Пикардии и Фландрии, год сделал шаг вперед, ближе к счастью; в уже отцветшей сирени, в садах та же легкость, как и в небе и в листве, а вокруг столько поводов для песен и смеха... Последние числа мая — обнаженные руки, люди на свежем воздухе, люди на порогах домов... военные парады... светлые платья. Погода чудесная, не по-весеннему жарко, начинает тянуть в тень. Даже нищим и тем впору влюбиться. Но по ночам еще бывает холодно.

Я никогда не был в Бамберге. И все же... Маршал Бертье, вернувшись с прогулки в коляске вместе со своим тестем, Вильгельмом герцогом Баварским, которому обязательно хотелось показать

последние переделки в замке Зеегоф, около Меммельсдорфа, очаровательном здании в стиле барокко со статуями вдоль лестниц, ведущих в парк, и оранжереями — гордостью герцога, так вот маршал Бертье, вернувшись с прогулки, застал жену за книгой и спросил, что она читает. Оказалось, что это книга, вышедшая здесь в прошлом году,— «Дон-Жуан», и написана она режиссером театра господином Гофманом, молодым человеком, которого герцог представил им на прошлой неделе, в тот вечер, когда в замке музицировали. И вот мной завладели два Бамберга: Бамберг, возникший в моем воображении, и Бамберг, тронутый крылом фантастики, тот, где жил Эрнст Теодор Амадей. Отныне двор герцога Вильгельма — это тот двор, о котором мы читаем в «Коте Мурре», а театр на площади, напротив узкого двухэтажного дома с мансардой и чердаком для мечтаний кота Мурра,— это гофмановский театр, пусть теперь в «ложу для приезжих» попадают не через гостиницу, не через дверь в алькове комнаты для приезжих, той, что напротив театрального зала, где играют моцартовского «Дон-Жуана» — прообраз гофмановской сказки... так или иначе, это театр Гофмана, куда он проходил прямо из спальни, театр, служивший приютом его фантазии; и на плане этого театра, относящемся к 1912 году, помечено, что место в «ложе для приезжих» на драматический спектакль стоит две марки пятьдесят пфеннигов, а на оперный — три марки пятьдесят. Бертье иногда бывает там с женой — княгиней Ваграмской, и тещей — герцогиней Баварской, обожающей музыку... Само собой разумеется, не в «ложе для приезжих». В герцогской ложе.

Я никогда, как мне думалось, не был в Бамберге, и вдруг книга на коленях у Марии Елизаветы сказала мне, что именно Бамберг — тот город, который вставал передо мной, порожденный фантазией других людей, сначала в «Дон-Жуане» Эрнста Теодора Амадея; а потом я увидел, как возникает в глазах Эльзы фантастический Бамберг, Бамберг «Неизвестного». Я не знаю, разрушила или нет последняя война этот городок во Франконии, присоединенный к Баварии только в 1803 году, но силой фантазии Эльза возродила его в наши дни из руин, повела нас и в тот квартал, где сохранилась гостиница, в которой, по преданию, жил Гофман, и «ложа для приезжих», куда попадали через дверцу в спальне, и в те разрушенные кварталы, где по воле Эльзы бродит существо, для Гофмана немыслимое, страшный образ нашего века — Жоэ, тихая помешанная, которой не суждено вернуться на родину; она приходит к развалинам своего мнимого счастья за едой, принесенной Антоненом Блондом, приходит словно бездомная кошка, только она не так разговорчива, как кот Мурр.

Я никогда не был в Бамберге. И вот мною завладели идиллическая гетевская Германия, город Гофмана и современный Геркуланум, который увидела Эльза, город, где в разрушенных виллах натыкаешься на до смешного жалкую свастику и на вспоротую мебель третьего рейха. Мною владеют эти три Германии и подлинный Бамберг, стоящий на острове Регнице, между двумя рукавами Майна, Бамберг туристов, где есть Капуцинерштрассе и лицей, рыболовные тони и Малая Венеция, канал, образующий излучину, романтический парк «Терезиенхайн», овеянный воспоминаниями о безумном короле, а напротив острова, над ратушей, когда перейдешь два моста, на левом берегу — Домберг, на вершине которого на Каролиненплац возвышаются и старый собор, и бывшая епископская резиденция. Средневековье и Ренессанс Франконии. А напротив — новая резиденция, дворец со строгими колоннами, расположенными в унылом и скучном порядке, приветливо только восточное крыло над спуском к ратуше; в нем поселилось семейство Бертье. К чему мне знать еще что-нибудь о Бамберге? Князь Ваграмский по городу не гуляет, хотя Бавария, в противовес остальной Германии, долгое время была союзницей Наполеона. Здесь тоже произошли большие перемены: князь Ваграмский катается теперь в коляске, и не по Бамбергу, а по идиллической Германии, ездит в деревни, что наверху, в горах, в Альтенбург, куда ведет липовая аллея, или в Ротгоф, где такие прекрасные вишневые сады, или в Михельсбергервальд... Князь Ваграмский рассеянно смотрит на этот мирный ландшафт, не замечая его, князь Ваграмский грызет ногти и думает о другом: о женщине, у которой нет больше сапфиров, о мире, куда ему нет возврата, о Шамборе и о ласковой Луаре... Иногда он все же гуляет пешком по окрестностям в сопровождении верного Антуана, а на некотором расстоянии, чтобы не мозолить глаза, за ним следует начальник бамбергской полиции или один из его агентов, в те дни, когда эта важная персона занята другими делами. Сердце у Бертье пошаливает, но призванный к нему доктор Циглер уверил, что ничего серьзного нет.

Далека, ах, как далека та страстная неделя...

Как отнесся Наполеон к письму, которое Бертье в конце концов написал и доверил маршалу герцогу Тревизскому в четверг утром? Было ли оно вручено Наполеону? Бертье все время мучает мысль, что он написал не то, что нужно, не то, что было бы нужно написать. В такую форму вылились у него угрызения совести. Угрызения не из-за того, как он вел себя после возвращения Бурбонов, а из-за этого письма. И все же это угрызения совести, это стыд. Порой его даже бросает в пот. Он озирается вокруг. Задает себе вопрос, не читают ли люди его мысли. Те люди, что окружают

его. Нет, конечно нет. Они ничего не видят. Не надо обнаруживать перед ними свои мысли. Ни перед кем. Даже перед Марией Елизаветой. Особенно свои мысли о ней. Потому что в них странно соединились нежность и раздражение. Раньше он не смотрел на нее таким критическим взглядом. Он привык к ней и даже начал считать ее красивой. В известном смысле. Но теперь, хоть он и знает, что обе они — и Джузеппа и его жена — приложили к этому руку, теперь, когда госпожа Висконти далеко, он склонен идеализировать ее и обвинять во всем княгиню Ваграмскую. Она толкнула его на разрыв с Наполеоном, она хотела занять подобающее место при дворе Людовика XVIII. Разумеется, Бертье не спорил и даже поспешил подчиниться их решению, решению их обеих. Как раз эту поспешность и не простили ему: возьмите хотя бы Макдональда, о нем и речи быть не может, потому что он признал принцев неделей позже. А ведь если ты уже понял свою судьбу, если знаешь, что сделаешь этот скачок, лучше сделать его тут же... вот как рассуждал Бертье год тому назад. Но 1815 год не 1814-й. Так или иначе все это отдаляло его от молодой жены, всецело поглощенной детьми. И тем, что скажут при Баварском дворе. Хотя в душе она была бы не прочь вернуться в Гро-Буа, снова сесть за партию в вист с госпожой Висконти. Только побуждения у нее были не те, что у мужа, вот и все. О чем могут они говорить? Если он заговорит с ней о Франции, она обратит к нему недоуменный взгляд своих больших глаз.

И потом драгоценности. Они дремлют в шкатулке у них в спальне, на дне стенного шкафчика, он закрыл его на ключ, а ключ носит на груди... Мария Елизавета не могла не заметить исчезновения ключика, однако ни слова не сказала. Во всяком случае, до возвращения мужа она этим шкафом не пользовалась. Что подумала она, когда увидела, что шкаф заперт, а ключ вынут из замка? Может быть, ничего не подумала. А может быть, подумала, что у него там государственные документы. Она от природы была не любопытна. А он, это даже смешно, стеснялся показать драгоценности Марии Елизавете, хоть она их и знала, потому что сто раз видела на Джузеппе. Он ей еще не сказал, что у него на крайний случай есть этот ресурс — к чему? Ведь взятых с собою денег пока хватает. А вот если придется сказать, что тогда... Он боялся, что жене его вдруг захочется надеть бриллиантовое ожерелье или сапфировый убор. Ему это будет очень неприятно. Очень. Кроме того, эти драгоценности тоже частица его независимости. До тех пор, пока они спрятаны.

Герцог Вильгельм, его тесть, очень понятливый человек, отлично ладил с зятем. Он был доволен, что Бертье приехал сюда. Можно будет испробовать на нем систему шахматной защиты, ко-

торую он разработал на основании партии, обычно разыгрываемой князем Ваграмским. А потом ему очень хотелось, чтобы внуки, их было уже трое, остались у него. Хотя бы мальчик, старший, которому как раз сравнялось пять лет. Хорошо бы сделать из него маленького баварца, научить петь в хоре, кататься верхом, владеть шпагой. Но если молодые — он называл Александра Бертье и свою дочь молодыми — захотят вернуться в Париж, он со своей стороны препятствовать не будет: все равно каждый поступает как хочет, ничего тут не поделаешь. Это все, чему его научила жизнь и его брат, король баварский Максимилиан I Иосиф. Однако граф де Монжела, министр короля, не посмел взять на свою ответственность то или иное решение и запросил мнение Вены. Но, к сожалению, Вена, то есть его императорское величество кузен Франц, держалась другого мнения. Как и союзники, собравшиеся на Конгресс, Франц, надо думать, так почитал военные таланты князя Ваграмского, что боялся, несмотря на все обещания, сглупить, выпустив к Буонапарте организатора австрийского поражения, и потому отказался выдать Александру Бертье разрешение на выезд, которое тот просил для себя и семьи. И по распоряжению Максимилиана I Иосифа бамбергский начальник полиции из охранителя князя Ваграмского, каким он был до сих пор, превратился в тюремщика. Он совсем потерял голову, не выходил из префектуры, каждую минуту готов был вскочить в седло. Своими драконовыми законами он отравлял жизнь всем — станционным смотрителям, почтальонам; на заставах каждый неизвестный брался под подозрение, его обыскивали, допрашивали, сажали в тюрьму.

Тем более что один из агентов донес, будто маршал пытался получить у ростовщика пятьдесят тысяч франков под залог драгоценностей.

Погода стояла прекрасная, и дом был полон цветов, которые Мария Елизавета сама расставляла в вазы,— ведь по части букетов у ее фрейлин вкуса не больше, чем у горничных. Она очень хотела вернуться с мужем в Париж или Шамбор, пусть даже маршал будет не на виду и жизнь придется вести «далеко не барскую» — выражение, которое она услышала от Джузеппы и сама стала часто употреблять. Но скажите на милость, почему у него такая кислая физиономия? В Бамберге, правда, скучновато, но два-три месяца можно выдержать. Крыло замка, которое им отвели...

Это было восточное крыло герцогского замка. Оно выходило на Каролиненплац. Напротив собора. Оттуда был виден весь спуск к Майну; здание замка, насчитывающее не более полутораста лет, трехэтажное, с мансардами под шиферными крышами,

господствовало над черепичными кровлями старого города; с верхнего этажа открывался вид на расстилавшиеся за собором на юг и на запад зеленые просторы, глубокие долины, уходящие к Альтенбургу и Михельсбергервальду. Позади здания, со стороны Резиденцштрассе, был сад, а это большое счастье для детей. Правду сказать, было немного смешно отводить такое помещение для людей, приехавших в простом экипаже, всего с несколькими баулами. Крыло, в котором они жили с небольшим штатом немецкой прислуги, Антуаном и мадемуазель Гальен, сообщалось с главным корпусом дворца посредством анфилады залов и гостиных.

Мадемуазель Гальен, приехавшая с Марией Елизаветой, была французской няней при детях. На ее попечении лежало также белье, которое она чинила, чтобы не сидеть сложа руки и не предаваться праздным мыслям, пока дети играют или спят. Главным неудобством дворца в ее глазах было то, что приходится очень много бегать вверх и вниз по лестницам. К тому же детей поместили на третьем этаже, который тут можно считать четвертым, потому что комнаты первого этажа очень высоки и потому что эта часть здания стоит на склоне холма. Детская — просторная угловая комната — выходила одной стороной на площадь, а другой на примыкавшую к ней Каролиненштрассе, и уже с утра здесь было солнце. Для детей лучшего и придумать нельзя. А лишний этаж не смущал Бертье, который подымался в детскую по всяким пустякам, не обращая внимания на одышку. Мария Елизавета заподозрила даже, что дело тут в мадемуазель Гальен, но, надо сказать, для этого не было никаких оснований. Просто он был хорошим отцом. Отцовство на склоне лет — кого это не преобразит?

Понятное дело, ему не нравится пиво, от которого он чувствует тяжесть в желудке, но ведь папа чрезвычайно внимателен к зятю, он прислал им несколько корзин с рейнским и токайским вином. Правда, князь Ваграмский очень плохо говорит по-немецки, но ведь в его присутствии все, по крайней мере, в семье, разговаривают по-французски. И чего только он дуется?

Нет. Говорить с Марией Елизаветой о Франции бесполезно. Она подумает, что он тоскует по родине. Ну, конечно, тоскует. В Гро-Буа он оставил охотничьих собак, которых так обожает. Бесполезно. Она не в состоянии понять. Они говорят на разных языках.

Почему маршал не хочет никого видеть? Не скажу, чтобы местная знать была так уж приятна, но, во всяком случае, это помогло бы убить время. Комнат здесь хоть отбавляй, гостиных — не перечесть. И при всем том невозможно иметь отдельные спаль-

ни, как последнее время в Париже: баварцев это шокировало бы. Огромная комната в бельэтаже с окнами на две стороны — в сад и на спуск к городу: мне всегда нравились такие комнаты, насквозь пронизанные светом, одно только неприятно — близость собора. Колокола отбивают часы. Бамбергцы очень гордятся своими колоколами; особенно двумя, названными Генрихом и Кунигундой в память короля Генриха II и его супруги, чьи лежачие изваяния, высеченные Тильманом Рименшнейдером, спят посреди собора. Когда Генрих и Кунигунда принимаются за работу, просыпаются даже в герцогской резиденции. Порой, проснувшись ночью от звона, Мария Елизавета видела, что муж сидит на постели и смотрит в открытое окно,— иногда на сад, иногда на город. Когда она тихонько окликала его, он не слышал. Его била дрожь. Она не могла понять, что ее разбудило — то ли колокола, то ли эта дрожь.

Как-то раз под вечер, поднимаясь к детям, она услышала голос мужа, говорившего с мадемуазель Гальен. Хоть это и было не в ее характере, все же она остановилась у двери. Он говорил:

— Вы родом из Турню, мадемуазель Гальен? Как странно! Я отлично помню Турню: чуть не полгорода — старинное укрепленное аббатство, ведь правда? Я останавливался в Турню, когда ехал из Италии... Как странно!

Мария Елизавета открыла дверь: мадемуазель Гальен в глубине комнаты перепеленывала малышку, двое старших уже лежали в кроватках. Мадемуазель Гальен была занята не маршалом, он стоял очень далеко от нее перед открытым окном и смотрел в пространство, освещенный лучами заходящего солнца. Он оперся обеими руками о решетку перед окном и согнул колени, словно приготовившись к гимнастическому упражнению.

— Как странно! — повторил он и, обернувшись и увидя жену, сказал ей самым естественным тоном: — Представь себе, мадемуазель Гальен родом из Турню.

Княгине Ваграмской, впервые в жизни слышавшей про Турню, это было абсолютно безразлично. Маршал через плечо пальцем показал жене на небо — оранжевое и лилово-красное — и сказал:

— Удивительно, какое у вас здесь яркое небо...

Правду сказать, французы были не в почете в Бамберге из-за того, что в свое время всячески подавляли вспышки патриотизма. Кучер Антуан совсем перестал ходить в пивную, где молодые люди, как сговорившись, чокались и кричали «Hoch!» — и в совершенно недвусмысленных выражениях прохаживались насчет его светлости. Маршалу не прощали расстрела в 1813 году пяти юношей — членов Тугендбунда. К тому же еще баварская королевская

фамилия, недавняя союзница Франции, вызывала известную оппозицию, которую, по слухам, тайно поддерживали агенты прусского короля. Два или три раза к резиденции подступала с криками толпа, угрожая кулаками. Баварские жандармы разгоняли толпу, если только это можно было назвать толпой... Кроме того, молодежь с энтузиазмом приветствовала подготовку к войне с Францией, никто не сомневался в исходе боев, всюду пили за реванш, за гибель Наполеона, который сделал из Баварии королевство, а из Максимилиана I Иосифа, брата герцога Вильгельма,— короля.

Маршал ничего бы этого не знал, не будь у него преданного Антуана. Тот, само собой, рассказывал не все. Но по утрам, когда он приходил брить маршала, а Марии Елизаветы уже не было в спальне, оба переживали приятные минуты. Высунув кончик языка, Антуан склонялся над щекой его светлости, натянутой на серебряной ложке, которую он засовывал маршалу в рот, и на минуту замолкал... затем он брал на кисточку новую порцию мыла и принимался распевать — не петь было свыше его сил — те песни, что пели у него на родине, он был из Берри и не отделался от тамошнего говора. Бертье, которого прежде это очень раздражало, теперь стал замечать, какой у Антуана красивый голос, какой приятный тембр, как верно он поет. И даже каждый день с нетерпением ждал, когда наступит время бритья. Он сразу переносился на родину...

Обдумывая очередной шахматный ход, Бертье вел долгие беседы с тестем. Большой разницы лет между ними не было. Герцог баварский, человек весьма деликатный, понимал чувства зятя, его беспокойство за родину, он сообщал ему новости в возможно менее обидной для его слуха редакции. Он интересовался несколькими знаменитыми шахматистами, с которыми Бертье в молодости был лично знаком и встречался в «Кафе де ля Режанс».

— Не говоря уже о вашем Наполеоне — он, как я слышал, не ударит в грязь лицом перед профессионалами... А что вы скажете об этом гамбите, голубчик, не ожидали?

Такие сценки происходили в очаровательном кабинете стиля рококо, с окнами в сад. Но даже здесь настигали их Генрих и Кунигунда.

В конце апреля Бертье решил отправить своих в Гро-Буа, и на этот раз граф Монжела не счел себя обязанным докладывать по начальству, так как сам маршал не уезжал из Бамберга. Итак, Мария Елизавета с детьми и мадемуазель Гальен сели в берлину, намереваясь добраться до Франции через Швейцарию, но в Штокахе генерал принц Гогенцоллерн приказал задержать карету, потому что у них не было визы штаб-квартиры Союзных армий. Вы-

нужденное возвращение жены дало почувствовать маршалу, как крепка его клетка. Он написал дяде Максу, баварскому королю. Безрезультатно. Здоровье Бертье пошатнулось: он воспользовался этим предлогом и отправил в Гент его величеству Людовику XVIII письмо, в котором покорнейше просил в дальнейшем не рассчитывать на его услуги... Его величество как раз рассчитывал на услуги Бертье в качестве командира небольшого корпуса, который должен был представлять монархию при союзниках, уже начавших стягивать войска в Бельгию. Война была неминуема. Война против Франции. И Бертье в почтительном письме к Людовику XVIII снова отказался служить ему.

Двадцать девятого мая граф Барклай де Толли, главнокомандующий русских войск, расположился в замке Зеегоф, словно герцог Вильгельм переделал это очаровательное здание специально для него. Вместе с ним прибыл корпус генерала Сакена, который расквартировали в Бамберге и его окрестностях. В их честь давались празднества. В Гофмановском театре во время представления, музыку к которому написал директор театра, князь Ваграмский встретился в герцогской ложе с генералом Сакеном. В чрезвычайно любезной беседе русский генерал без труда убедил своего собеседника в неминуемом успехе выработанного союзниками плана. В Париже они будут самое позднее через месяц, и маршал сможет вернуться на родину, поехать в свои владенья, заняться охотой. На следующее утро у Бертье был приступ удушья. Доктор Циглер, которого снова призвали, сказал, что это пустяки. Разгулялись нервы.

Разгулявшиеся нервы, вероятно, побудили Бертье всю неделю под разными предлогами искать случая поговорить с Сакеном. В среду на следующей неделе он узнал от генерала Сакена, что русские лейб-кирасиры пройдут завтра около двенадцати дня по городу. Весь Бамберг говорил об этом. Во дворце за обедом только о кирасирах и шла речь. Мария Елизавета, правда, видела, что с ее мужем творится что-то неладное. В спальне она попыталась заговорить с ним о скором возвращении в Париж. Он промолчал. Она сказала:

— Я буду счастлива свидеться с Джузеппой... меня беспокоит ее здоровье...

Он промолчал, и они легли спать. Мария Елизавета всю ночь чувствовала, что муж ворочается в постели. Ей хотелось заговорить с ним, но она не могла, она до смерти устала. А потом — что сказать? Последнее время ничто ему не мило. Все, что ни говорится для его успокоения, только раздражает его. Накануне вечером, когда он раздевался и она опять увидела у него на шее цепочку с двумя ключиками — один подлиннее, а другой совсем ма-

ленький,— которую он не снимал с тех пор, как приехал в Бамберг, княгиня Ваграмская, до того ни разу его об этом не спрашивавшая не столько из деликатности, сколько просто по свойству характера (вопросы были не в ее стиле), княгиня Ваграмская вдруг спросила:

— Что это за ключики у вас на шее, мой друг?

В сущности, ей это было безразлично. А потом она знала: тот, что подлиннее, от запертого стенного шкафа, незачем было и спрашивать. И спросила-то она просто так, чтобы что-нибудь сказать, прервать ставшее невыносимым молчание, отвлечь мужа от мрачных, тревожных дум. И какая же это оказалась неудачная мысль!

— Почему вы спрашиваете именно сегодня? Я всегда их ношу, вы не раз эти ключики видели... Впрочем, вы следите за мной, я это знаю... Не успею я подняться к детям, как уже слышу на лестнице ваши шаги! — И так далее, и так далее. Но ответить он не ответил.

Итак, в то утро русский лейб-гвардии кирасирский полк, отправлявшийся в Бельгию, чтобы сражаться против французов, должен был продефилировать по Бамбергу, и все население города было охвачено тем возбуждением, которое Мария Елизавета называла «немецкой горячкой». Она собиралась в город, но ей посоветовали убедить мужа не покидать резиденции. Утром он несколько раз подымался в детскую, откуда в подзорную трубу было видно поле, где строились русские войска. Мария Елизавета опасалась, что ее советы рассердят мужа, однако, когда она сказала, что ему лучше не выезжать сегодня, он не вспылил, не стал кричать, что он уже не мальчишка, что это невыносимо... Он не сказал ни слова. Он был мрачен и подавлен.

— Погода, правда, очень хорошая, так или иначе вам, мой друг, остается сад.

Этого говорить не следовало, она прикусила язык. Но нет, ничего. Александр в это утро был очень спокоен. Может быть, немного грустен, но очень спокоен.

Ему остается сад. Ничего больше. Он провел часть утра в саду, как ему посоветовали. Антуан следил за ним из окна. Его светлость князь Ваграмский ходил по саду — вот и все. Потом дети, то есть двое старших, вышли погулять. Мадемуазель Гальен, у которой были дела в доме, привела их в сад, обменялась двумятремя фразами с маршалом, присела в реверансе и ушла. Во что играли дети? Девочка бегала за братом и не могла его догнать. Потом ее отвлекла бабочка. Мальчик что-то крикнул, и она заплакала. Мысли его светлости, верно, были далеко. Вместо того чтобы утешить девочку и пожурить мальчика, как следовало ожи-

дать, он вдруг направился к крыльцу с видом человека, которого поразила неожиданно возникшая мысль. На крыльце он минутку постоял в нерешительности, затем устремился во дворец. Соборные колокола звонили во всю мочь, но даже сквозь этот звон слышны были звуки приближающегося военного оркестра. Несомненно, в Бамберг входили вышеупомянутые кирасиры.

В спальне, во втором этаже, было распахнуто окно в сад, откуда доносился чудесный свежий аромат. Маршал расстегнул воротник и вытащил золотую цепочку с двумя ключиками, которую носил на шее, перетянул ее наперед и с трудом открыл ногтем довольно сложный замочек. Он достал из шкафа шкатулку и поставил ее на кровать. Комнату только что убрали, аккуратно постеленное покрывало смялось под тяжестью шкатулки. Бертье вставил маленький ключик в замок шкатулки,— разгулявшиеся нервы, не что иное, побуждали его еще раз взглянуть на драгоценности. Но колокола, медь и барабаны на улице остановили его, и он изменил свое решение: он бросил все как было — шкатулку, ключи, цепочку,— а сам быстро подошел к тому окну, что выходит на улицу, поставил ногу, как на ступеньку, на подоконник, чтобы увидеть кирасирский полк, который еще не вышел из-за угла на площадь.

Так его застала мадемуазель Гальен, и, должно быть, он сконфузился, потому что снял ногу с края окна. Мадемуазель Гальен принесла в спальню белье княгини, которое чинила после стирки — пришивала: тут — оторвавшуюся перламутровую пуговичку, там — шелковую ленточку. Она не ожидала, что встретит маршала в спальне и пробормотала что-то в свое оправдание, хотя сорочки, которые она принесла, вполне объясняли ее появление. Бертье посмотрел на нее. Она была уже не так молода, красотой никогда не отличалась, но он представил себе ее девочкой, там, в древнем городе на берегу Соны, куда в IX веке вместе со св. Стефаном пришли венгры... почему он вспомнил об этом как раз сейчас? Военный оркестр гремел под окном.

— Отсюда ничего не видно,— сказал он.— Я хотел посмотреть на этот прославленный полк...

Мадемуазель Гальен положила белье на кровать, около шкатулки. Ее несколько удивили его слова. Маршал должен бы знать, что окрестности, что дорога от Зеегофа в Бамберг видны только с третьего этажа. Ведь он еще сегодня смотрел оттуда в подзорную трубу. Однако она сказала:

— Если бы вы, ваше превосходительство, поднялись в детскую... оттуда, из углового окна, все очень хорошо видно...

И он как будто послушался, направился к дверям, приказав ей одеть поскорей детей для прогулки,— коляска уже ждет внизу,

ступайте в сад, мадемуазель Гальен... дети там... Это ее опять-таки удивило: дети были уже одеты, не хватало только перчаток. Тут князь Ваграмский сделал нечто совсем уж неожиданное: проходя мимо мадемуазель Гальен, он взял ее руку и поцеловал. Генрих и Кунигунда надрывались от усердия.

Мадемуазель Гальен не успела прийти в себя, как Бертье уже вышел, а она застыла на месте, держа ту руку, которой коснулся губами его превосходительство, в другой руке; она ничего не понимала, нельзя сказать, чтобы она смутилась, но она была очень, очень удивлена... Даже позабыла о княгинином белье и о том, зачем она здесь. Потом она тоже вышла на площадку лестницы. Вероятно, дверь наверху, в детскую, не заперли, так и прохватывало сквозняком. Мадемуазель Гальен пошла наверх, чтобы закрыть дверь, колокола замолкли, и тут она услышала тяжелые вздохи,— вздыхал мужчина, вздыхал так, что сердце разрывалось от жалости,— и голос маршала, сказавшего совершенно явственно: «Бедная моя родина!» Она остановилась за дверью, боясь быть навязчивой. Потом раздался шум, словно на пол свалилось кресло, и тогда она все же решилась войти в детскую.

Маленькая Елизавета спала в своей колыбельке, засунув в рот палец. Двое старших все еще играли в саду. Но комната была пуста, я хочу сказать, что маршала там не было или уже не было. На невысокую приступочку перед окном было поставлено кресло, а рядом на полу лежала подзорная труба. Через открытое окно с улицы врывались крики толпы, гром духового оркестра и оглушительный трезвон Генриха и Кунигунды, ретивее прежнего принявшихся за свое.

Когда тело маршала, ударившегося головой о мостовую, внесли в дом, все, естественно, подумали, что у него закружилась голова. Антуан плакал и все время твердил, что сегодня утром, когда он брил герцога, его светлость казался таким веселым, таким счастливым. Только когда Мария Елизавета, вернувшись домой, спросила мадемуазель Гальен, что это за шкатулка у нее на кровати, возле белья, обе они поняли, что произошло. И вдруг княгиня обняла няню, и они вместе заплакали, а затем шепнула ей на ухо, что никто не должен этого знать.

Всю жизнь в ушах мадемуазель Гальен будут звучать вздохи, доносившиеся из детской, в которой, когда она туда вошла, никого уже не было. Двадцать раз допрашивали ее об этих последних минутах. Особенно после того, как по Бамбергу распространился идиотский слух об убийстве: говорили, будто утром, когда русская гвардия проходила по городу, немецкие патриоты — пять или шесть человек — проникли во дворец и выбросили из окна маршала Бертье, мстя за казненных тугендбундовцев. Как они прошли,

почему никто их не видел... но слух держался упорно, и, чтоб его опровергнуть, пришлось разрешить допросы. Конечно, обсуждалась и версия самоубийства. Но какой отец выберет спальню своих детей, чтобы выброситься из окна? И в конце концов вернулись к первой версии — потеря сознания; все знали, что маршал был подвержен ужасным сердцебиениям, к тому же вскрытие показало, что у него был не в порядке желудок, а это вызывает головокружение.

Всю жизнь мадемуазель Гальен будет слышать эти тяжелые вздохи и голос, говорящий: «Бедная моя родина!» Никто не знает, откуда у нее появилась привычка поглаживать левой рукой правую, как только в разговоре с ней коснутся некоторых вопросов. Не знают также, почему она плачет, когда весной в доме бывает сквозняк.

* * *

В начале восьмого к маршалу вошел Антуан с горячей водой и подносиком для бритвенных принадлежностей, он раздвинул занавеси и в комнату заглянул дождливый день. Бертье никак не мог очнуться, прийти в себя после нелепых снов, которые преследовали его под утро. На улице громко хлопали ставни.

— Дьявольский ветер, ваша светлость,— сказал Антуан, отходя от окна.— Кажется, сейчас сорвет все лилльские крыши и бросит их на прохожих... Вашей светлости ветер не мешал спать?

Бертье сел в кровати и провел рукой по волосам. Спустившись на шею, рука нащупала цепочку, на которой висел ключик, один, не два.

— Как видно, мы остаемся в Лилле, ваша светлость, но пока нам ничего не говорили. Только я узнал от лакеев, что его величество приказали позвать к себе его высочество герцога Орлеанского и господина герцога Тревизского, и осмелился разбудить вашу светлость...

А немного спустя, когда Антуан засунул серебряную ложку за щеку его светлости и, проводя вверх по щеке бритвой, чтобы снять лишнее мыло, запел народную песенку, маршал сделал нетерпеливое движение, за что и поплатился небольшим порезом.

— Дурак,— крикнул он,— ты меня порезал, а квасцов у нас нет! Сто раз тебе, скотипе, приказывал не петь, когда ты меня бреешь... Твои песни мне на нервы действуют!

XIV

ДЕНЬ ВЕЛИКОГО ВЕТРА

В 1815 году утро чистого четверга занялось под знаком суда и гнева божия. Из Дьеппа, где господин де Кастри напрасно собирал уже ненужные корабли, налетел ураган, он пронесся над Сен-Валери, звонким от крика чаек, и Абвилем, откуда еще затемно выехала королевская гвардия, прошумел над долиной Соммы и глинобитной хижиной под соломенной кровлей, где этой ночью пришел в себя Марк-Антуан д'Обиньи, как раз когда Элуа Карон собрался идти за повитухой, и домчался до границы, которую только что миновал мрачного вида всадник; судя по изодранному мундиру и необычного покроя старой шубе с вылезающим из всех дыр грязным бараньим мехом,— военный, возвращающийся из русского плена. Деревья гнутся чуть не до земли, крыши трещат, ветер кружит листья и сломанные ветки, облака такие же рваные, как тулуп всадника, однако солнце не может прорваться сквозь них. В поле бегает испуганная скотина, ищет, где бы укрыться. В церквах старухи в черных платках распростерлись ниц. В Лилле господин де Блакас д'Оп озабочен одним: конфисковать «Монитёр», где напечатан состав императорского правительства. А на почтовой станции бойкие разносчики расхватали пачки с другими газетами, конфисковать которые никому не пришло в голову, и вот уже прохожие останавливаются в воротах, развертывают газеты и читают: «Фуше, Коленкур, Карно!» Спешно печатают афишу — десятидневной давности декларацию держав, собравшихся в Вене, но в Лилле текст получен только сейчас. Двери стучат, ставни хлопают. Ветер измывается над обезумевшими людьми, как ему хочется: опрокидывает заборы в деревнях, срывает сено с возов, разметывает стога. В стороне Монтрейля полыхает пламя, слышен набат — горит целое селение, а ветер раздувает огонь, перебрасывает его то вправо, то влево, с одного дома на другой, люди повыскакивали из постелей в чем были, еще не очнувшись от предрассветного сна... В Дуллане лейтенант Дьедонне докладывает о положении дел полковнику Симоно, занявшему под свою канцелярию контору нотариуса.

— Да закройте же наконец эти чертовы двери!

Порыв ветра разбросал по всей комнате купчие и акты гражданского состояния.

Продрогший до костей верховой, перебравшийся через границу неподалеку от Армантьера, вошел в харчевню. На него смотрят с подозрением — что это за оборванец в потерявшей цвет шубе, лоснящейся от грязи, дырявой, с клочьями меха, торчащими из прорех? Только убедившись, что у него хватит, чем запла-

тить, ему подали есть. Человек неопределенного возраста, изможденный, давно не бритый, обросший черной с проседью щетиной, отчего он кажется еще мрачнее... Он возвращается, возвращается во Францию, когда другие оттуда бегут. Он не знает, не понимает того, что здесь происходит. Чего только не наслышался он по пути в бельгийских городах. Ему — капитану Симону Ришару — все кажется возможным. И все ему безразлично. О падении Наполеона он узнал с опозданием на несколько месяцев. А вот теперь говорят, что император вернулся, а король неизвестно где, спасается бегством. Симон не расспрашивал. Для него важно одно: растянуть наличные деньги, получить чашку горячего бульона и кусок хлеба. Этот рослый и сумрачный мужчина в лохмотьях сидит в седле так, словно под ним не разбитая рабочая кляча, за которую он заплатил в Пруссии своим трудом, а породистый конь; не замечая взглядов встречных, проехал он проселочными дорогами чуть не пол-Европы, стремясь к единственной еще возможной для него участи: к дому на Сомме, который принадлежал его семье; там его, еще ребенка, обучал фехтованию Селест де Дюрфор, который был старше него на семь лет, а в Вильне он, Симон, так жестоко отвернулся от Селеста, тогда, в свалке, среди полумертвых людей... и неизвестно еще, признают ли в нем... в таком, каков он сейчас, с бумагами на имя какого-то Симона Ришара, признают ли в нем крестьяне своего молодого сеньора, того Оливье, что играл с ними еще тогда, до Революции. Что сталось с ними — с его сверстниками, теперь, как и он, уже взрослыми, прошедшими долгий жизненный путь... потому что в тридцать шесть лет уже пройден долгий жизненный путь, раз он пройден за эти тридцать шесть лет. Когда он, Оливье, покинул высший свет... двор императора, Компьен и все то, о чем он не позволяет себе вспоминать... десять лет, нет, чуть побольше, чем десять лет тому назад... В двадцать шесть лет он уже занимал в Империи высокий пост. В ту пору в тридцать лет можно было стать генералом... Но в армию он вступил так, как принимают постриг, под именем Симона Ришара, простым солдатом, все имущество которого — патронная сумка да трубка. Да, как принимают постриг. Есть такие счастливые люди, что верят в бога. Они вступают в монашеский орден, выбривают тонзуру, носят рясу. Оливье очень хотелось бы верить в бога. Он даже попытался внушить себе, что верит. Но очень уж смешной вид, если посмотришься в зеркало... Итак — армия. Муштра. Унизительная дисциплина. Если бы это зависело только от него, он так и остался бы простым солдатом, терпел бы измывательства. Но, на беду, на каждом этапе встречались люди, которые догадывались, что здесь не все ладно. То капрал, то сержант... А так как он устремлялся навстречу опасностям, так как во вре-

мя этих безумных войн его отчаянная смелость не раз расценивалась как беззаветная отвага, а желание умереть — как героизм, то он получил крест, вернее, крест получил Симон Ришар; в 1810 году его произвели в офицеры, в сублейтенанты егерского полка. И уже гусарским капитаном, после восьми лет походной жизни он попал в Вильне в плен к русским.

Два раза он был узнан. В Испании — младшим братом при случайной встрече (Филипп был тогда уже полковником). В Вильне — Селестом. И два раза ему удалось скрыться, снова сгинуть. В последний раз это было нетрудно: взяли в плен. Под конвоем угнали на край света, в Азию. Мостил там дороги. В дождь и вьюгу... Надзиратель с кнутом, еда такая, что в рот не возьмешь, каторжная работа — за два года состаришься на двадцать. И там у него была женщина, несчастная крепостная, он просто сошелся с ней. Ничего не поделаешь, мужчина всегда остается мужчиной. И вот постепенно, мало-помалу, по мере того как падала разделяющая их завеса языка, свершалось чудо — эта Дуняша стала для него человеческим существом, вошла в его жизнь. Он ее не любил. И не притворялся, что любит. Разве он мог еще любить? Но он уважал ее. Да. Он уважал эту солдатскую девку с Ишимской каторги, которая привязалась к нему и, как это ни смешно, была ему верна. Верна! Есть слова издевательские, как удар хлыста. Как дождь и ветер, опять безумствующие вокруг. Это Дуняша дала ему тулуп, что на нем... когда он собрался в путь,— чтобы не замерз зимой. Сейчас в нем жарко: он тяжелый не по погоде, но раз нечего больше надеть...

Около десяти утра Симон Ришар добрался до Лилля. Ветер все еще был такой, что быка с ног валило.

Путник смотрел на необыкновенную панораму первого французского города, куда он добрался после долгих лет изгнания. Если бы не краски, то отсюда, то есть с дороги, ведущей к воротам св. Магдалины, этот город мог бы сойти за тосканский — плоский, ощетинившийся церквами и памятниками, опоясанный затейливой цепью редутов и бастионов, он растянулся вдоль всего крепостного вала и рва, поблескивающего водой. Справа от Симона был приход св. Магдалины с собором и зданиями в итальянском вкусе, с высоким амбаром для зерна под двухцветной крышей, выложенной черепицей в шахматном порядке; дальше — квартал св. Андрея с церковью того же святого; а налево в громаде св. Петра и высокой квадратной башне св. Екатерины чувствовалась фламандская суровость. Город простирался далеко на восток, он был виден до самых Фивских ворот. Оригинальность пейзажу придавали воздвигнутые Вобаном перед городскими стенами гласисы крепостного вала,— каменные сооружения, своей структурой по-

вторявшие греческий орнамент. Город со всех сторон обступила монотонная плоская равнина, прорезанная дорогами, ведущими к городским воротам; казалось, что вокруг раскинулись не вспаханные поля с бороздами, проложенными во всевозможных направлениях, а огромное бархатное покрывало, сшитое из лоскутов с ворсом в разные стороны. На стене стоял часовой, ворота св. Магдалины были заперты. Симон попробовал окликнуть часового, объяснить ему. Тот махнул ружьем: иди, мол, своей дорогой. Что делать? Почему нельзя в Лилль? К счастью, крестьянин, шагавший по дороге за тележкой, запряженной ослом, объяснил, что ворота бывают открыты по очереди и что часовой махнул в сторону тех, что открыты сейчас,— восточных. Симон отправился за крестьянином, тот был не из разговорчивых и ограничился сообщением, что в городе король, потому и приняты такие полицейские меры. Король? Чего ради он здесь? Не прошли они и через Гентские ворота и продолжали свой путь, сокращая дорогу, срезая, чтобы не давать крюку, полями; так они наконец добрались до ворот св. Маврикия, которые оказались открытыми. Крестьянина пропустили сразу: его, верно, знали. А вот Симон показался часовому подозрительным: странная одежда, нелепая шапка на голове. Пока проверяли его документы, он слез с лошади. Ветер, крутя, гнал мимо развернутую газету. Это была не конфискованная газета, не «Монитёр». Не важно — Симон подобрал ее и прочитал сообщения без особого интереса. За исключением одного: граф Лазар Карно назначен министром внутренних дел. «Вот как, оказывается он уже граф...» — подумал Симон. Ему возвратили документы.

Ураган все еще бушует в пламени охваченных пожаром деревень, проносится над опустевшими полями, над дорогами, на которых вязнут в грязи люди, лошади, экипажи. Над Дулланом, Бетюном, Сен-Полем и Эденом. Все, что может быть сорвано,— сорвано, все летит — юбки, черепицы, дым. Ветер обследует все плохо законопаченные отверстия в домах, все щелочки в человеческой жизни, проникает во все тайны сердца, выведывает все сокровенные мысли. Кажется, что пришел конец света, с такой силой обрушивается на землю ветер. Солдаты, направляющиеся на север, не могут ни о чем думать,— только о резком холодном ветре, который пронизывает до костей, подхватывает, оглушает, валит с ног. Все мысли, все мучительные вопросы выдул закрутивший их ураган. Разметал все слова — Император, Король, Родина. Им кажется, будто ветер несет их по стране, которую они совсем не знают, мимо чужого, таинственного, непонятного народа, который глядит на них из окон, мимо наглухо запертых домов, запертых неизвестно от чего — то ли от непогоды, то ли от них.

Армия... да разве они всё еще армия? Армия должна быть чьей-то. Они уже не армия того народа, который покидают. Они ничего больше не защищают, они защищают себя от ветра, ветер забирается внутрь, продувает насквозь, гуляет, как сквозняк в лестничной клетке... уже с рассвета. Еще до рассвета.

Еще до рассвета начал терзаться сомнениями, упрекать себя в легкомыслии Тони де Рейзе, написавший из Бовэ своей супруге, чтобы она прислала ему все золото, которое сможет достать. Куда попадет это золото? Как он получит его? А ведь Амели лишит последнего себя... детей... Покинув Абвиль, они долго месили грязь на дороге, пропускали переформированные отряды. Роте герцога Граммона было поручено прикрывать арьергард. Надо было видеть эту толкотню в чуть брезжущем свете: доверху нагруженные кареты, штатские и военные вперемежку, слуги, ведущие лошадей, экипажи принцев, а ветер рвет одежду, дождь сечет лицо... Непонятные остановки, вопросы, люди в смятении, с безумным страхом оглядываются назад, им уже мерещится, что проскакавшие мимо, обдав их грязью, кавалеристы — солдаты Эксельманса. Три утомительных дня и четыре бессонные ночи, а тут еще страх, который все возрастает, сводит с ума, не дает закрыть глаза, расстраивает нервы. Когда продвигались вдоль леса и кто-то сказал, что это лес Кресси, это название вдруг облетело гвардейцев, призрак Столетней войны придавил их своей мрачной тенью. Они проходят по местам прежних боев, исторических поражений, им чудится, что они ступают по костям, по разбитым панцирям, по славным трупам прошлого — праху королевской Франции,— по трупам предков этих, теперешних, гренадеров и мушкетеров, наемников и принцев, по всему тому, что огромной тенью окружило короля-подагрика, удирающего неведомо куда. Тони де Рейзе не запомнит такой непогоды со времени... со времени... с того времени, когда Клебер был влюблен в его сестру, а у него самого трепетало сердце при мысли о славе. А такой усталости, такого упадка сил он не помнит с того августа 1804 года, когда за полтора суток отмахал восемьдесят пять лье из Суассона в Пломбьер, чтобы предупредить Бланш о свалившейся на них беде — об анонимном письме, о том, что ее муж, узнав про их любовь, покинул Париж, что он хочет ее убить... Они своротили с дороги на черные вспаханные поля и дожидаются, пока будет восстановлен порядок, нарушенный из-за перевернувшихся экипажей. Бледные, продрогшие от гнилой весенней погоды люди спешились, поставили лошадей вдоль откоса дороги и вязнут в грязи, черной, мягкой и липкой. Одни ругаются, другие топочут ногами, тщетно пытаясь согреться.

А человек, в несчастье которого повинен Тони,— граф Оливье, теперь попросту Симон Ришар, проезжает по Лиллю, где улицы — вечные рассадники слухов и фантастических рассказов — запружены народом, офицерами, солдатами, женщинами и детьми, где люди собираются кучками, что-то кричат. Ветер, и не думавший утихать, разогнал тучи, по крайней мере, на время. Симон вмешался в толпу, что-то с жаром обсуждавшую. Он никак не возьмет в толк, что происходит. Спрашивает соседей. Говорят, в Лилль идет королевская гвардия под началом графа Артуа, по одним слухам три, по другим — пять тысяч человек, король призывает сюда свою гвардию для соединения с иностранными армиями, стоящими на границе. Герцог Орлеанский обманул нас, всего два дня тому назад он клятвенно заверил войско, что король никогда не обратится за помощью к иностранцам... Слухи подтвердились: вчера у ворот города видели офицера из армии принца Оранского... И крестьяне, вот сейчас, у Бетюнских ворот, говорили, будто подходит герцог Беррийский с двумя тысячами швейцарцев, что он уже в двух-трех лье от Лилля, не дальше... Симон прерывает рассказчика, расспрашивает тех, что, заинтересовавшись его нелепым видом, внимательно его разглядывают. Вот так история! Проделать путь из киргизских степей в Лилль, во Фландрию, и попасть в возмущенную толпу солдат, которые грозятся убить королевских гвардейцев, если только те посмеют войти в город... На улицах — возбуждение. Белые кокарды срывают, заменяют трехцветными. Военная форма не была изменена при реставрации Бурбонов: кирасиры по-прежнему в касках с черным хвостом и черным мехом по козырьку. Красный плюмаж, белая портупея и белые перчатки с раструбами; на зеленых мундирах с розовой выпушкой и серебряными пуговицами с изображением орла — алые эполеты и отвороты. Как будто ничего не произошло. На мгновение в голове у Симона Ришара мелькнула мысль объявить, кто он, попроситься на службу. Но к кому? К тем, что ждут Наполеона, или к тем, что бегут от него? Кого выбрать? Вернуться в императорскую армию — это значит занять свое место в свете, от которого он бежал; последовать за королем — это значит покинуть страну, в которую он пробирался в течение долгих месяцев, нанимаясь на фермах, иногда неделями живя на одном месте, чтобы заработать себе на дорогу... Все для него одинаково: суета сует. Пожалуй, только слово «убьем!», которое злобно выкрикнул офицер 12-го кирасирского полка, на минуту напомнило ему о мести, мысль о ней пробуждает его порой среди ночи. Но разве в нем все еще жива ненависть к тому, кто одиннадцать — двенадцать лет назад отнял у него жену, отнял ради забавы, а потом бросил? К самоуверенному фату Тони. К этому ничтожеству. Горячей же

любовью он воспылал к Бланш! Прошло семь месяцев, и он посватался к молоденькой провинциалочке, дочери захолустной дворянки, на которую заглядывался уже год или больше! Верно, его теперь и не узнаешь.

Рынок — не тот большой, что бывает по средам на Главной площади, а уличный рыночек; шум и суетня, на столах первые овощи и фрукты. Торговцы громко зазывают покупателей; порывы ветра срывают намокшие парусиновые навесы, крестьяне в испуге шарахаются в сторону... Симон Ришар, капитан, оборванец, в стоптанной обуви, проезжает мимо, он ищет постоялый двор подешевле, по своим средствам... не столько для себя, сколько для лошади... Эта буланая рабочая кляча сейчас его единственный товарищ, его главная забота. Ему пришлось долго работать за нее, все, что он скопил, пошло на покупку лошади там, в Пруссии. Сколько времени, месяц за месяцем, шел он из жалкой сибирской деревушки, которую покинул в разгар июля. Какая Дуняша заботливая, какая любящая! Что бы он делал зимой без ее тулупа! А как это казалось нелепо тогда, в тайге, под палящим солнцем. Он все шел, все шел. Уставал до смерти, а силы были нужны, ночевал в сараях... Летом еще легко найти работу... но когда пришла осень, а с ней холода... Почему не остался он в Петропавловске, как тот солдат из армии Конде, что приехал туда в конце века с господином де Вьомениль, женился там и жил с детьми, пользуясь трудом других людей? Нет. Это так же невозможно, как и все остальное. Невозможно превратиться в поселенца где-то в сибирской глуши. Идти дальше — зачем? Остаться — зачем? И на каждом шагу тот же вопрос. Можно было остаться в Польше или в Германии. Просто сесть на землю и ждать, когда придет смерть...

Он сосчитал деньги в кармане, посмотрел на постоялый двор. Что этот, что другой — все равно. По его ли средствам? Во всяком случае, Буланого он поставит; может быть, тут укажут, к кому можно наняться. Кровать ему не нужна, переночует и на полу, в конюшне или на чердаке.

По-видимому, его пожалели. Он спросил, где можно найти работу.

— Попробуй наняться на рынке. Крестьянам иногда нужно бывает подсобить. Только смотри, как бы тебя не прогнали носильщики, они чужаков не любят!

Ему так хотелось выспаться на соломе. Но надо заработать на жизнь.

— Может быть, от постояльцев что узнаю...— сказала высокая, как жердь, костлявая женщина, на которой, видимо, лежала здесь вся работа.

И вот он опять на улице, надо заработать на жизнь. На жизнь! Жить или умереть! Все равно что идти или оставаться. Он отлично знает, что будет жить, так же как все время идет и идет. Что это — трусость? Иногда ему кажется, что трусость. Но кончить самоубийством — ведь это же значит придавать большое значение жизни. И в 1804 году он тоже не покончил с собой. Он живет так же, как идет. Следующий шаг никуда его не приводит. Вот сейчас он на Главной площади. Там толпится народ. Военные, штатские собираются группами. Кирасиры и штаб-квартира герцога Тревизского помещаются в гостинице «Гран Гард» с двумя боковыми лестницами, соединенными на втором этаже балконом.

От нечего делать Симон остановился перед свежей прокламацией. Длинный парень за его спиной насмешливо хмыкнул:

— Верите тому, что написано?

Симон обернулся, посмотрел. Похож на кучера, нет, не угадал — хозяин двухколесной тележки для седоков, так называемой «винегретки», и экипаж его тут, стоит, опустив оглобли. Верю ли? Чтобы поверить, мало прочитать слова. Хорошо, попытаюсь. И Симон старается вникнуть в текст, который он пробежал машинально: «Державы, подписавшие Парижский договор и собравшиеся на Конгресс в Вену, узнав о побеге Наполеона Буонапарте и о его вторжении во Францию, считают, что их собственное достоинство и общественный порядок требуют...» и так далее. Ну и что же?

Долговязый парень показал на объявление:

— Нет, эта бумажонка не помешает ему спать в Лувре! — Ну, это само собой... И парень прибавил: — А потом все тут враки! Хотят нас запугать!

Симон пожал плечами.

— Почем я знаю?

Парень обозлился.

— Как, ты, оборванец несчастный, и вдруг за принцев? За этого вшивого толстобрюха, что хочет подставить нас под пули пруссаков?

Симону стало смешно. Разве он за принцев? За каких это принцев? За какого вшивого толстобрюха? Он ушел, ничего не ответив. Что еще бубнит ему вслед этот парень? Ишь ты, впрягся в тележку, и впрямь добрая рабочая лошадь. «Буонапарте поставил себя вне гражданских и общественных законов, как враг всего мира и возмутитель порядка он сам обрек себя на преследование и всеобщее осуждение...» Но если эта прокламация действительно что-то значит, так ведь это же война. Возможно, тогда снова придется поступить на военную службу. Несмотря на уста-

лость, на безумную душевную усталость. И тут и там будут формироваться армии. Начнутся парады, музыка, прощания. А затем марши из города в город. Бесконечные обозы с провиантом и военным довольствием. Займутся военной игрой: передвижением на карте различных войсковых частей — маленькие прямоугольнички, а в них Андреевский крест. Пока не заговорят пушки. А пушки обязательно заговорят...

Симон почувствовал смертельную усталость. Он как раз стоял перед церковью. Хорошо бы войти. Ведь в церкви можно посидеть. Но надо искать работу, а сейчас на рынке можно наняться таскать грузы.

* * *

Теперь Теодора особенно поражали разговоры его товарищей по бегству, хотя бы наивная болтовня молодого Монкора. И не только Монкора, таких, как он, на Сеппольской дороге много. Можно подумать, что мысли их заняты только одним: устали, устали, разбиты, дождь, ветер, хочется есть (когда будем отдыхать? где поедим?), и что все это нисколько не связано с остальным, с вопросами, которые они задавали себе прежде, чем уехать, и с новыми, которые возникают теперь в связи с поступающими сообщениями. Но неужели возможно, чтобы три тысячи человек рассуждали, как волонтеры Школы правоведения, принимали на веру штампованные мысли, общие места, неужели возможно, чтобы эти три тысячи человек проделали, покинув Париж, около пятидесяти лье среди полного хаоса, видели колебания принцев королевского дома, которые действовали без всякого плана, хуже того — непрестанно меняли свои планы, неужели возможно, что эти люди, мучимые сомнениями, окруженные действительными опасностями и воображаемыми призраками, не знающие, где враг — впереди или позади, кто их соотечественники — друзья им или недруги, что эти люди, просыпающиеся ночью от малейшего шороха, словно они боятся, не убьют ли их в темноте... Неужели возможно? Они занимают друг друга охотничьими рассказами, говорят о полковых балах, рассуждают о гербах, родословных, о своих поместьях, о мундирах, о лошадях. Что скрыто за такой непомерной пустотой? Ведь нельзя же поверить, что они действительно настолько пусты. Параллельно словам у них, конечно, возникают и мысли, которые они стараются скрыть за словами. Ведь он, Жерико, тоже не расскажет им о том, что его мучит, правда? Он так не уверен в себе. Едет куда-то, неизвестно зачем. Но он весь во власти воспоминаний о той ночи в Пуа, во власти открытого им нового, незнакомого мира, показавшего ему всю

глубину его неведения. С кем из этих людей может он поговорить о народе? В ответ на такой вопрос остается только плечами пожать.

Теперь он на все смотрит другими глазами. На каждую жалкую лачугу, на каждого пахаря в поле, на каждого батрака, на каждую женщину в чепце, убегающую, завидев солдат; и при этом у него такое ощущение, словно он трогает пальцем незнакомую, открытую им действительность. Для него уже нет просто прохожих, толпы, всякое человеческое существо приобретает свой смысл, живет своей собственной жизнью. Он даже с каким-то гневом думает о тех пейзажистах, которые поручают кому угодно пририсовать чисто условных человечков для оживления ландшафта. Он понимает, что́ представляет собою самый маленький силуэт, а от тех, кто напрактиковался на подобных «оживлениях», это ускользает. Ведь это такие же люди, как и он сам, из плоти и крови. И почему столь простая мысль не приходила ему раньше? Конечно, теоретически он это знал. Если бы его спросили, он бы сказал, что водонос и маркиз слеплены из одного и того же теста, что кровь у них одинаковая и кровообращение совершается по тем же законам. И еще многое в том же роде. И все-таки... Он это знал, но не осмысливал до конца, знал, как выученный, затверженный урок и в то же время как изначальное ощущение, из которого все вытекает. Он никогда не задавал себе вопроса, как добывают люди то, что едят, ни что́ они едят. Теодор знал: раз они живы, значит, они едят, и, разумеется, знал, что они трудом зарабатывают себе на пропитание. Но непосредственно он себе этого не представлял, ведь не возникает непосредственного представления, когда говорят, что земля круглая или что между Европой и Америкой столько-то лье. А теперь он смотрел другими глазами на каждого мужчину, на каждую женщину, он рисовал себе условия их жизни, по одежде определял богатство и бедность, видел, что одни ограничены в своих возможностях, а другие попросту с жиру бесятся. Ну, скажите на милость, может ли он говорить об этом с Монкором? О том, что богатство — своего рода лак, который накладывает на мужчин и на женщин какой-то общий глянец, что залатанная одежда или худоба от недоедания делают людей человечнее, и пришедшие в ветхость башмаки тоже, и даже их темнота — глаза, что многое видят впервые, уши, что с трудом воспринимают слова, которые я употребляю в своей речи... Ну, скажите на милость, можно ли говорить об этом с Монкором? Хотя бы с Монкором. Он ведь не глупее других. Пожалуй, немножко наивен.

О чем они все-таки думают? Не в характере Теодора презирать своих ближних. Поэтому он считает, что даже самые пустые,

самые ограниченные из его товарищей по бегству ничуть не хуже него, что у них в мозгу, в мыслях есть еще что-то, не только то, что на языке. Ему хочется чувствовать глубокое уважение к себе подобным. Потому что они, несомненно, подобны ему. Так же, как подобны ему и жалкие бедняки. По правде говоря, ему очень нужно укрепиться в этой мысли, до такой степени нужно, что он произносит вслух:

— Они мне подобны.

— Что? — переспросил Монкор, не расслышав как следует. Они остановились на повороте дороги: пушки Казимира де Мортемар опять завязли, их вытаскивают лошадьми, люди кричат.

— Ничего,— ответил Теодор.— Это я так, задумался.

Ветер, который было утих, задул с новой силой. Воротники плащей накрывают головы, гривы на касках развеваются, подымаются стоймя. Нет, сейчас совсем не то, что тогда на заре, в вербное воскресенье, в Пантемонской казарме, сейчас они совсем не похожи на хищных птиц, ни гренадеры в медвежьих шапках, ни мушкетеры в касках или треуголках,— ветер растрепал, взъерошил их, словно стаю скворцов. На соседнем поле обломало сучки на старых, не ухоженных, не подрезанных фруктовых деревьях, и теперь они стоят, как марионетки, которых уже не дергают за веревочку.

Теодор задумался, это верно. Он все еще думает. Уважать себе подобных. Ведь это так ужасно — объяснять поступки людей низменными побуждениями. Низкие люди есть, это ясно. Но лучше ошибиться на их счет, чем приписать такие же побуждения другим, только потому, что эти другие думают не так, как мы. Вот, например, когда в Пуа он слушал речи заговорщиков, он мог бы счесть их за интриганов, честолюбцев, завистников или решить, что даже заикаться о хлебе стыдно, когда речь идет о высоких материях... и сейчас не слишком ли смело с его стороны истолковывать верность государю, удирающему из своей страны, личными интересами? Личные интересы, конечно, тоже играют известную роль. Но ведь есть же среди тех, кто остался верен его величеству Людовику XVIII, такие — может быть, как раз вот эти промокшие до костей люди, на усталых, неуверенно ступающих лошадях,— которые искренне убеждены, что, защищая короля, защищают религию, разве не так? И хоть Теодор и неверующий, все же он пытается представить себе, что творится в уме людей, верящих в бога, верящих не по невежеству, не по неумению логически мыслить, не из-за выгоды, а из добрых побуждений, самых благородных, самых высоких. Хоть он, Жерико, и неверующий христианин, но великие идеи христианства — какая-то особая доброта, земная сущность его нравственного учения — близки ему, он

не может пренебрежительно отвернуться от них. Он охотно бы принял идеалы христианства, но без религии. Есть бог или нет бога — ему это безразлично. Его даже трогает красота некоторых мифов римско-католической церкви, только с одним условием — что это мифы. Он не разделяет того насмешливо-пренебрежительного отношения не к самой религии, а к ее обрядам, которое часто встречается у вольтерьянцев; оно шокировало его, например, у Ораса Вернэ, потому что для верующих это не маскарад, а воплощение высоких идеалов. Он не любит духовенства. Но при виде духовного лица, даже если в том было что-то карикатурное, он думал не о духовенстве вообще, а именно о данном человеке, который пошел в священники и, значит, глубоко верил в святость сана и своего служения, в святость самопожертвования. И наоборот: всякий раз, как он разочаровывался в каком-нибудь недостойном пастыре с мелкой душонкой, он обвинял именно его, а не духовенство вообще. Религиозное чувство он считал признаком известной высоты духа и уважал его даже у мальчишек, например у молодого де Виньи. Он ни одним словом не оскорбил бы религиозных чувств Монкора, хотя ему и показалось смешным, когда на стоянке в Эдене сей юнец побежал в церковь. И это — проделавши девять лье верхом... Правда, был великий четверг... Тайная вечеря для Теодора — только сюжет, к которому часто обращались великие живописцы. Его она интересовала с точки зрения композиции, и до сегодняшнего дня он, пожалуй, не задумывался над ее значением — над значением этой вечери, объединившей апостолов, среди которых был Иуда... «Вскоре вы не увидите меня... и опять вскоре увидите меня...» Глупая мысль отождествить Христа с Людовиком XVIII вызвала в нем возмущение. Возмущение против удирающего короля. И по этому возмущению он понял, что, не будучи верующим, высоко ставит Христа. Да, его дядюшка-цареубийца был бы очень удивлен! Дядюшка был скорее деист-филантроп... Он был против изображения бога. Ну как может согласиться с этим художник? Хотя сам Теодор и не чувствует склонности изображать Христа и все такое прочее, хотя он предпочитает писать обычных людей, таких, какие они есть, ну, скажем, солдат с их простодушным взглядом и незамысловатым жизнепониманием. Или еще возчиков, нищих. И тут он подумал, что эти люди, вероятно, больше похожи на святых, чем богатые и знатные. А это в конечном счете значит, что он уважает святых, не отрицает понятия «святости». Как он открыл в себе чувство, роднящее его с народом, так он открыл и это. Оба чувства росли в нем, как два цветка — одновременно, одно объясняя другое. У него не было выработанного миросозерцания, он даже любил хвалиться, что ему отлично живется и так. Но, возможно, сейчас,

когда они медленно тащились от стоянки к стоянке по унылой, грязной дороге, приноравливаясь к шагу пеших, которых взяли в середку, возможно, сейчас в нем зарождалось, складывалось новое видение мира. Сближая нищих со святыми, он, возможно, делал первый шаг, пытался обобщать... И Теодор мысленно повторял те слова о Караваджо, которые в Пале-Ройяле говорил молодому Тьерри. В сущности, ничего нового. Все зависит от восприятия мира самим Караваджо, которого он, Теодор, до сих пор рассматривал исключительно с эстетической точки зрения: ненависть к искусственной композиции, драпировкам, колоннам... вообще ко всякой красивости... переливы бархата и шелка ради красочного эффекта, ради светового пятна. И вдруг он понял, что тут совсем не в этом дело: главное у Караваджо — его гуманизм, разумеется, выраженный средствами живописи, но гуманизм прежде всего, понимание *тех, других,* того, что открылось ему, Теодору, ночью в Пуа. Закон контрастов, конечно, остается секретом искусства, но каких контрастов? Ведь игра светотени не цель, а средство.

Обрывки мыслей. Вперемежку с беспокойством о коне: как-никак конь устал, вот уже пятые сутки не знает отдыха. И конь тоже своего рода святой... Жерико вспоминает, что сказал ему в Бовэ Марк-Антуан третьего дня, когда пал его конь. Это наводит его на мысль о том, что он слышал в Абвиле из уст того гренадера, который как будто был с Марк-Антуаном, из уст Артура де Г.: Марк-Антуан ранен, он упал с лошади, с того коня, которого он, Теодор, присмотрел для него... вороной со звездой во лбу, какой там святой — истый дьявол... ветеран Испанской кампании был прав: таким лошадям доверять нельзя. Жив ли еще д'Обиньи, оставленный при смерти где-то на Сомме? После стычки с кавалерией Эксельманса. Иногда Теодору приходила мысль, что с Марк-Антуаном у них, в сущности, мало общего, разве только любовь к лошадям, и что интересует его Марк-Антуан лишь как прекрасно сложенный натурщик... Всегда одно и то же. Красота. Искусство превыше всего. Однако сейчас художник уже не думал о Марк-Антуане, как о добавлении, «оживляющем» пейзаж. Человек не только сюжет. Даже этот надменный виконт, у которого, кажется, нет души, а одно тело. Человек. Человек может разбиться. Истечь кровью. Стонать. И тогда видишь его душу. Может быть, чтобы говорить о человеке, чтобы писать человека, надо прежде всего показать, что он подвержен страданию?

И лошадь тоже. Время от времени, невзирая на грязь, Теодор слезает с седла и идет часть дороги пешком, ведя Трика в поводу. Он разговаривает с ним. Говорит такие вещи, что сам удивляется. Ведь лошадь, кто она? Тварь неразумная.

И человек тоже. Вот хотя бы этот болван Удето. На остановке в Эдене, когда Конш, вздувшись от дождей, мрачным потоком устремился по улицам города, между домами, стоявшими в воде, во взгляде Удето была та же растерянность, что и у выбившихся из сил лошадей. А в тот день они еще далеко не испили всю чашу страданий. Было только десять утра. Офицеры, которые там, в Париже, были похожи на заводных кукол: мундиры с иголочки, шаркают ножкой, кланяются, вполне соответствуя принятому представлению о джентльмене,— по мере того как они удалялись от благоустроенного мира, от особняков, салонов, дам, кофеен, ну, словом, от своей обычной жизни, под влиянием усталости, страха, растерянности становились более человечными. Может быть, именно поэтому Жерико казалось невозможным сделать то, что ему так хотелось: сесть на откос, пропустить солдат, обозы... а потом повернуть обратно и, ночуя на фермах, добраться до Парижа, возвратиться к нормальной жизни, к работе, женщинам, искусству... Нет, невозможно. Еще невозможнее, чем тогда на площади Карусель, когда уезжали. С каждой минутой все невозможнее. Дезертировать... Его не пугало ни слово, ни самый факт, но все дело в том, кого ты бросаешь, дезертируя. И по мере того как он чувствовал себя все более далеким своим товарищам по оружию, все больше осуждал их с социальной точки зрения, в нем росло чувство солидарности с ними, ничего общего не имеющее с верностью армии, королю, присяге... человеческое чувство, запрещавшее ему покинуть не свою кавалерийскую часть, не свой эскадрон, с которыми он связан известными обязательствами,— этими обязательствами он легко может пренебречь,— но именно их, этих людей, по отношению к которым у него нет никакого долга, к которым он завтра может воспылать враждой, и все же он не может покинуть именно этих людей, потому что с каждым шагом они все сильнее — и физически и морально — ощущают тяжесть постигшего их несчастья...

Да. Удето. Почему Удето по-особенному относится к нему? Из-за своего кузена, который пишет стихи. А для его пустой башки что живопись, что поэзия — все едино. Да, так вот в Эдене он проявил особое доверие к мушкетеру Теодору Жерико: он дал ему газету, тайком увезенную из Абвиля,— «Монитёр». Интересна она была потому, что в ней был напечатан список наполеоновских министров. А также декрет, возводящий Лазара Карно в графское достоинство за оборону Антверпена в 1814 году.

Теодор нашел, что это забавно, и только. Значения этого акта он не понял. Что он мог сказать? Несколько слов о Карно как о личности и о том, как отнесутся другие министры к этому новому министру внутренних дел — и почему именно внутренних? Не мог

же он рассказать Удето, что слышал в Пуа, как говорил о Лазаре Карно господин Жубер...

— Вы не понимаете? Да это, дорогой мой, и слепому ясно: оба постановления датированы одним и тем же числом. Наполеон, включив в свое правительство цареубийцу, пожелал тут же приобщить его к знати Империи.

— Ну и что же? Я не понимаю...

— Вы ребенок. Чего можно было опасаться с возвращением Бонапарта? Что чернь отыграется. Она готова была его поддержать. А он от ее поддержки отказывается, так-то, дорогой мой... Наполеон не желает быть императором всякого сброда...

Странные речи для лейтенанта королевского мушкетерского полка! В свое время Удето был пажом императора и, вероятно, видел в том обороте, какой принимали дела, надежду для аристократии вообще, а для себя лично — возможность примкнуть... В конце концов, если император...

Но Жерико затронули не наивные расчеты Удето, в словах лейтенанта его потрясло другое: «Наполеон не желает быть императором всякого сброда...» Какой удар для несчастных людей, которых он слышал прошлой ночью, для того, чей отец был расстрелян, для ткача, для поденщика, для всех остальных... для тех надежд, что жили в них,— пока еще противоречивые, но светившие им, как огромное солнце, в которое всей душой хочется верить. Жерико вспомнил, что сам чувствовал там, на откосе, в зарослях кустарника: как он боялся, что они упустят случай, упустят, как считал Теодор, свое счастье, не окажут доверия императору, и совсем это не значит, что он за Наполеона... просто ему казалось, что логично, естественно... прогнать аристократов... Такая мысль владела всеми этими людьми, пусть их разделяли традиции, верования, но все они одинаково радовались, что бегут графы и маркизы. Так вот: возвращается император, их император, и что делает новое правительство? Пишет на лбу человека, которому народ верил: ты будешь графом... Да, между Удето и им, Теодором, есть расхождения, навряд ли они могут понять друг друга. Что делать, тем хуже.

Когда они подходили к Сен-Полю, все тот же Удето вернулся к хвосту колонны и сказал Теодору:

— Знаете, кто здесь, говорят, живет? Сестра Супостата.

Можно было подумать, что он говорил об одной из сестер Бонапарта, но нет. «Супостатом» оказался Робеспьер. Теодору было абсолютно все равно, проживает или нет здесь Шарлотта. Но Сен-Поль был как раз одним из тех районов, где еще не позабылп о терроре. Удето хотелось бы посмотреть на сестру Супостата. Он

говорил о ней так, словно она зверь из зверинца или местная достопримечательность.

— Но, вероятно, она скрывается, живет под вымышленным именем... А может быть, это просто выдумка, из тех, что любят рассказывать... Представляете себе эту женщину среди семей, у которых еще не зажили раны, нанесенные преступлениями Максимилиана!

Ну, а Теодору это абсолютно безразлично. В Сен-Поле его прежде всего интересует хорошая конюшня и охапка сена, чтобы около Трика можно было поспать и ему. Хотя бы часок. Потому что основная масса войска, которую еще только ожидали в Сен-Поле, должна была остаться здесь на ночевку, а им, отборной кавалерии, как говорил Удето, дадут передохнуть и часа в два, в половине третьего погонят дальше,— они будут ночевать в Бетюне. Ну и что же. До Бетюна не будет и восьми лье.

Так-то оно так. Но сколько это составит лье за день? Двадцать, двадцать одно. В конце концов привыкаешь к большим перегонам. Одиннадцать, двенадцать часов подряд в седле... На этой стоянке они встретились с королевскими жандармами. Граф Этьен де Дюрфор подошел поздороваться к господину де Лористон. Монкор встретился со своим другом Альфредом. Юный Альфред де Виньи бодрился, но выглядел очень утомленным. Его огорчало, что в такой день, как великий четверг, они ни за что не поспеют в Бетюн к вечерней службе.

Он сам не думал, что окажется пророком. Дело в том, что, когда выходили из Сен-Поля, Альфред отстал. Соскочила подкова! И вот остальные ехали рысью в Бетюн, а он один плелся шагом в хвосте. Он пел, чтобы поддержать в товарищах бодрость духа. Как называется эта деревня, где он потерял столько времени, потому что пришлось подковать лошадь? Дорога после деревни была невеселая. Шел дождь. Альфред по-прежнему пел. Арию из «Джоконды»... Хоть он и пустил лошадь рысью, он отлично знал, что придется заночевать в дороге... Ни о какой вечерней службе и думать нечего. И тогда он предался высоконравственным размышлениям на тему о том, как легко отказаться от привычных вещей...

Время от времени он оглядывался, и ему чудилось, что за его спиной на горизонте маячат трехцветные флажки бонапартовских улан, чего никак не могло быть, потому что на этой дороге, кроме роты герцога Рагузского, которая ушла вперед вместе с мушкетерами, от самого Абвиля до Сен-Поля растянулся королевский конвой и гренадеры Ларошжаклена. А кавалерия Эксельманса шла на Бетюн совсем другой дорогой. Но Альфред де Виньи был не лишен воображения.

* * *

Король, правда, отдал приказ разобрать телеграф также и в Лилле. Но герцог Орлеанский желал знать новости, и на башне св. Екатерины, где в 1793 году республиканское правительство устроило первый телеграф, продолжали принимать сигналы. Депеши держали в тайне. Они поступали к маршалу герцогу Тревизскому, и он передавал их Луи-Филиппу. Во всяком случае, те, которые считал нужным передать.

Для некоторых людей Карно заслонил всех членов нового правительства Бонапарта. А другие только и говорили что о Фуше. Бассано, Коленкур, Мольен, Камбасэрес, Даву — эти никого не удивляли. Но Карно — министр внутренних дел, а Фуше — министр полиции! Луи-Филиппу не давали покоя два желания: он жаждал, чтобы король поскорей убрался из Франции, и мечтал наладить связь с Фуше. Полиция снова была в руках орлеанской партии, и ему не терпелось поговорить об этом с Макдональдом и Бернонвилем, то есть видными членами масонского ордена, которые, пожалуй, могли дать добрый совет. Надо ли покинуть Францию, последовать за королем? Или, может быть, лучше не уезжать, столковаться с Наполеоном? Это, разумеется, будет не легко. Конечно, лучше всего было бы где-нибудь отсидеться, отмежеваться от старшей ветви; пусть опозорится, призвав во Францию союзников. Но где? Только в Англии, где его уже ждала герцогиня. Однако Луи-Филипп опасался открыть свои карты маршалам, несмотря на круговую поруку масонов, среди которых орлеанисты играли видную роль. Дело в том, что можно быть масоном и масоном; многие военные вступили в масонские ложи в эпоху Брюмера, и Первый консул опирался на общество вольных каменщиков, которому даровал большие привилегии. Но было немало и таких генералов, что стали масонами главным образом с целью узнать направление умов в том или ином городе или чтобы держать в поле зрения чересчур рьяных, которые могли использовать ложи для каких-нибудь крамольных действий. Хотя Макдональд и Бернонвиль председатели масонских лож — это еще не гарантия, что на них можно вполне положиться. Да, надо, оставаясь претендентом на трон, не показывать этого, не показывать своего нетерпения... И так уже сегодня утром он пережил большое разочарование, когда вместе с Мортье был позван к королю. Правда, принятое Людовиком XVIII около восьми утра решение остаться в Лилле нельзя считать окончательным, ведь накануне в двенадцать ночи он решил покинуть Лилль, а в половине первого уже изменил свое намерение. На планы короля не могло не повлиять настроение, царившее на улицах и площадях, страх, что войска откажутся повиноваться при вести

о вступлении в город герцога Беррийского. И действительно, около полудня три маршала и герцог Орлеанский, призванные в бригодовский дом, услышали из уст монарха, что отъезд из Лилля королевского эскорта назначен на три часа пополудни. Людовик XVIII не сказал куда. Только после того как Луи-Филипп задал ему этот вопрос, король признался, что решил покинуть Францию. Почему тогда не в Дюнкерк, как он собирался раньше? Король боялся, что ему преградят дорогу солдаты Эксельманса или взбунтовавшиеся войска, он, как и прошлой ночью, сослался на присутствие в Касселе генерала Вандамма.

— А затем, ежели я найду нужным, я всегда успею добраться до Дюнкерка и после того, как перееду границу,— прибавил он.

Словом, следующим этапом было намечено Остенде.

Вот тут-то и хлопнула крышка. Когда закрываешь ящик, каждый раз невольно удивляешься тому громкому звуку, с каким захлопывается крышка. Такое же удивление вызвала небольшая ответная речь Макдональда Людовику XVIII, в которой он сказал, что до конца был верен королю, так же как в 1814 году был верен Наполеону, но что сейчас он покорнейше просит разрешить ему не переходить границы, которую его величество через три месяца заведомо перейдет обратно. Он, Макдональд, будет ждать возвращения государя в своем Курсельском имении. Нельзя сказать, чтобы Людовик XVIII обрадовался: по выражению его лица было видно, что его величеству это очень неприятно. Но не в таком он сейчас положении, чтобы это показывать. Во всяком случае, лучше думать, что оставляешь тут во Франции сообщника...

Луи-Филипп внимательно смотрел на своего царственного кузена: от ответа короля герцогу Тарентскому зависело то, что скажет он сам, рисковать зря не стоило. Но крышка хлопнула.

— Господин маршал,— сказал Людовик XVIII с той же добродушной улыбкой, с какой он подписал хартию,— я всегда высоко ценил вашу искренность и считал главной чертой вашего характера — преданность. Лучшее доказательство этому то, что мы разрешаем вам остаться во французском королевстве!

Затем он выжидающе посмотрел на Мортье. Ответ маршала, ничуть не похожего на дамского любезника — типичный военный, видный мужчина с квадратным подбородком, длинным носом и миниатюрным ртом,— прозвучал как ответ всей армии. Мортье начал с того, чем кончил Макдональд. Он решил удалиться в свое поместье. Он просит об отставке, но надеется, что король даст ему указания, как действовать в дальнейшем, после отъезда его величества.

На этот раз Людовик XVIII и бровью не повел. Этот государь отличался быстротой соображения, столь же поразительной, как и неустойчивость его решений. Ах, так? Хорошо, он включится в игру. Важно, чтобы действия Мортье нельзя было истолковать как неподчинение. Не надо особой сообразительности, чтобы понять, к чему это может привести: лучше заранее выдать ему вексель, а затем сказать, что маршал действовал согласно его, короля, приказу. Надо же подготовить себе возвращение. Историки, утверждающие, что Людовик XVIII был великим королем, возможно, в этом смысле не так уж далеки от истины.

— Если обстоятельствами вы будете *вынуждены*,— сказал король, напирая на последнее слово и сопровождая его улыбкой,— приколоть к вашей шляпе другую кокарду, пожалуйста, но в сердце своем вы навсегда сохраните мою кокарду и, я уверен, при случае опять приколете ее...

Примечательно, что Людовик XVIII, казалось, интересовался только поведением маршалов. Бертье был в таком явном волнении, что у короля на миг явилось искушение спросить его: «А как вы, ваше сиятельство, тоже покидаете нас?» Но, в сущности, это не так уж важно. Лучше не подавать виду, будто думаешь, что измена двух маршалов наводит на мысль о неизбежной измене третьего. Если Бертье собирается его покинуть, ну что же, там видно будет... Итак, король предоставил ему грызть, по обыкновению, ногти и хотел уже закончить аудиенцию. На своего кузена он даже не взглянул. Король не скрывал недовольства Луи-Филиппом: он сердился, что тот не оставил полки в Перонне́ском лагере, как должен был сделать, а вернул их в Лилль, они-то и внесли в город крамольный дух. Сердился и на то, что Луи-Филипп от его, короля, имени необдуманно заверил население Лилля, что иностранные армии ни в коем случае не будут призваны на помощь. Откуда он мог это знать?

Итак, герцог Орлеанский, вопреки этикету, решил сам обратиться к королю с вопросом:

— А я, ваше величество? Как вам угодно, чтобы поступил я?

Озабоченный и смиренный тон не мог обмануть Людовика XVIII. На этот раз наступил его черед хлопнуть крышкой. Король повернулся к герцогу Орлеанскому и сказал ему с тем царственным пренебрежением, с каким разговаривал только с ним да еще со своим братом Карлом:

— Поступайте, как вам угодно, ей-богу, мне это безразлично.

Все три маршала были слишком озабочены своими личными делами, поэтому ни один из них не мог оценить брошенной королем фразы, чреватой последствиями. Они не обратили внимания на ответ Луи-Филиппа, заявившего, что он останется в Лилле и

будет защищать дело его величества до тех пор, пока не утратит надежды на успех, если же убедится в бесполезности своих усилий, он отправится в Англию к своей супруге.

«А не к королю»,— подумал Мортье, который вдруг понял, что герцог свяжет его по рукам и ногам. Ну, нет, спасибо! Это уж дудки... Он примет меры... Но что такое с Бертье? Зачем он подошел к Макдональду?

Действительно, возлюбленный Джузеппы намеревался что-то сказать Макдональду и, как только они вышли в соседний зал, заговорил с ним. Он хотел, чтобы Макдональд объяснил в Париже... (В Париже? Кому в Париже? Макдональд смотрел на него с удивлением...) Словом, чтобы Макдональд объяснил, что он, Бертье, не собирался эмигрировать... что пост помощника командира королевского конвоя обязывает его эскортировать государя... я хотел сказать короля... Но по прибытии в Нидерланды он сразу подаст в отставку и поедет за женой и детьми, которые сейчас в Бамберге, чтобы перевезти их во Францию... Поручение явно предназначалось для Джузеппы. Надо было успокоить госпожу Висконти.

— Господи боже мой, я надеюсь, что она здорова...— Тут Бертье запнулся. Он посмотрел вокруг, не может ли их кто услышать, и, покраснев, быстро прибавил: — Я полагаю, что вас не затруднит сообщить это также вашему зятю, господину Перрего? Мне бы очень хотелось, чтобы господин Перрего был в курсе... Он, видите ли, мой банкир...

Макдональд улыбнулся. Он отлично знал, что муж Адели, его второй дочери, и господин Лаффит, его компаньон, будут пользоваться доверием императора. Бертье не так глуп, как кажется.

Значит, выступают в три часа. Король, Бертье, до границы в сопровождении герцога Тревизского и отряда 12-го кирасирского полка, если в нем окажется достаточно белых кокард, а также свита, министры, герцоги и принцы, генералы, отец Элизе...

— Бедный Бернонвиль,— сказал Мортье Луи-Филиппу,— у него нет выбора, он внесен императором в список изгнанников...

Мортье в первый раз назвал Бонапарта *императором.* Луи-Филипп отметил это, хоть и не подал вида, и словно в задумчивости сказал маршалу:

— Бернонвиль... Погодите... Почему вы не посоветуете ему написать Бассано? Но он и сам додумается: они вместе были в австрийском плену... я помню, когда мы, Дюмурье и я, его арестовали... их обоих обменяли на принцессу Елизавету... Директория... такие вещи не забываются... *Император* прислушается к мнению Бассано, ведь он же его министр...

Мортье, в свою очередь, был поражен, что герцог Орлеанский сказал *император*. И про себя подумал: «Погоди, я еще сыграю с тобой шутку!» Он никому не хотел уступить право провозгласить в Лилле Империю. И ни в коем случае не хотел допустить, чтобы в город вошли армии иностранных держав. А от Луи-Филиппа можно было всего ожидать. Мортье знал его еще по армии Дюмурье.

* * *

Симон Ришар с утра бродил по Лиллю. Он мог сколько душе угодно любоваться архитектурой зданий, украшениями во вкусе барокко, лепными пилястрами, кариатидами, амурами на фронтонах, раковинами, крылатыми херувимами, целыми кондитерскими сооружениями из камня, где в орнаменты были вплетены человеческие лица... Особенно поразили его характерные узкие галереи, которые шли по фасаду до самого верха. Несмотря на чрезвычайное разнообразие стилей, на причудливость украшений, во всем чувствовался общий дух, которым, несомненно, были проникнуты здешние зодчие на протяжении двух веков, не меньше. Но капитан Ришар отнесся к местной архитектуре несколько иронически. На рынках он напрасно набивался с работой — всюду были свои носильщики, имеющие бляхи с номером и патент на тележку. Только когда прошло время завтрака, которого он не съел, ему удалось наняться, и то потому, что в этот час все молодцы с бляхами были заняты: помогали перевозить непроданное зерно с площади св. Мартина в огромный амбар около ворот св. Андрея, в то возвышавшееся над крепостной стеной здание, которое он видел, подъезжая к городу. Такая перевозка обычно практиковалась здесь с целью помешать перекупщикам спекулировать зерном. Крестьянин, нанявший его перенести тяжелый груз, дал ему четыре су и кусок хлеба далеко не высшего качества — из отсева, оставшегося после помола. От амбара он побрел на постоялый двор, не выбирая дороги, и вдруг наткнулся на большое скопление народа. Посреди улицы стояли гуськом экипажи — их задерживала запряженная шестеркой лошадей берлина: у нее оборвались постромки и их тут же приводили в порядок. Толпа казалась в большом волнении. Слово «король» с тревогой передавалось из уст в уста. Действительно, в карете сидел Людовик XVIII, уезжавший из города; жители спрашивали сопровождавших его лиц, куда он едет и вернется ли обратно. Те не отвечали, и от этого волнение в толпе возрастало.

Симон не разделял общей тревоги: не все ли ему равно, куда удирает его величество — в Дюнкерк или в Остенде? Он медленно

жевал полученный за труды кусок хлеба, стараясь продлить удовольствие, и шел своей дорогой в направлении, обратном тому, куда ехали экипажи, эскортируемые кирасирами на крупных лошадях. Он перешел через канал, побрел по длинной прямой улице, в этот час совсем безлюдной, свернул налево. Ветер и дождь не стихали. Симон почувствовал ужасную усталость. Несколько раз доставал он из кармана заработанные четыре су, потом выругался, обозвав зерноторговца всеми нелестными словами, которым выучился в Испании, Австрии и России, и, подняв глаза, узнал ту четырехугольную башню, что видел издали утром. Машинально обошел он дома, которые закрывали от него вход в церковь с узкой абсидой, зажатой между двумя крыльями здания, на котором уже начали крошиться камни. Это была церковь св. Екатерины, где на башне был установлен оптический телеграф. На этот раз овладевшая Ришаром усталость была слишком велика, он не мог устоять перед соблазном отдохнуть в храме. Он подумал, спросят ли с него деньги за стул, и вошел в церковь через боковую готическую дверцу, непропорционально маленькую по сравнению с башней и такую узкую, что в нее только кошкам впору лазить.

Церковь св. Екатерины особенной красотой не отличается. Правда, это очень старинный храм, но в XVI веке его перестроили, а через сто лет опять подновили. Замечательны только темные деревянные своды, покоящиеся на огромных поперечных балках, да большая картина, перед которой остановился Симон. Несмотря на плохое освещение, он узнал Рубенса. Симон усмехнулся, представив себе, какой у него сейчас, должно быть, вид: нечего сказать, оригинальный знаток искусства... Любовь к живописи осталась у него еще с молодых лет, теперь таких уже далеких. На Ишиме о живописи не разговаривали, зато на Ишиме оценили бы мускулистого палача, наложившего уже свою мощную лапу на приговоренную к казни святую. Но не надо поддаваться жалости, воображать, что женщина в дорогом шелковом платье — это Бланш, что это она сейчас умрет...

Насмотревшись на «Мучения св. Екатерины» (надо сказать, ему неожиданно больше понравилась другая картина, узкая и длинная, висевшая рядом: на темном фоне Христос в виде узника со связанными руками и полуобнаженный тюремщик, который, пятясь, тащит его из мрака), Симон прошел в главный неф и сел около колонны, зачарованный бесконечно жалобными звуками органа. В полутьме мерцали красные стеклянные лампады. Симон глядел на колеблющееся пламя свечей, которые окружали задрапированный лиловым бархатом главный престол с двумя летящими над ним ангелами, совсем мирскими, с маленькими крылышка-

ми. Прислонясь к колонне, Симон дожевывал последний кусочек хлеба, он чувствовал, что глаза у него смыкаются, слабость овладевает всем телом. Он расстегнул тулуп,— от тяжелой работы и дневного зноя Симон вспотел, и ему казалось, что он сейчас задохнется.

Сквозь полусомкнутые веки ему виделись, словно тени, женщины, преклонившие колени на скамеечках,— а одна, миниатюрная и худенькая, предпочла ради умерщвления плоти голый пол, холодные черные плиты,— мальчики в стихарях на клиросе, пожилые мужчины, перебирающие четки под бормотание молитв. Орган рыдал. Симон с удивлением подумал, или, вернее, это Оливье с трудом вспомнил: «Странно, а ведь мне казалось, что в великий четверг орган молчит...» И церковная обстановка, так же как и «Мучения св. Екатерины», вернула его к дням детства. Кто бы узнал в оборванце, искавшем приюта в церкви, молодого графа Оливье, подростка, которого Селест де Дюрфор обучал владеть шпагой? Он снова переживал те счастливые годы, и более поздние, когда убегал с деревенскими ребятами, подманивал на дудочку птиц; вспоминал долину Соммы, где они играли в войну, прячась в высоком тростнике на болоте, или выпрашивали у торфяников стоявшие в протоках плоскодонки. Он был такой же, как и деревенские ребята, он дружил с сыном одного торфяника — Жан-Батистом Кароном и его старшим братом Элуа, которому иногда помогал добывать торф. А осенью у них над головой пролетали дикие утки. Странно думать, что об этом счастливом времени говорили с таким ужасом. В общем, Оливье и его семьи, несмотря на знатность рода, революция почти не коснулась, если не считать того, что у них отобрали имения. Он жил вне Франции только то время, что отец его был послом в России, а когда Людовик XVI отправил отца в Рим, Оливье остался в Лонпрэ, куда наезжал его дядя, присматривавший за племянником в отсутствие родителей. Должно быть, под влиянием дяди-вольнодумца он и потерял веру, которую в детстве внушила ему мать. Уже смолоду считал он вкус к писательству отличительной чертой незаурядных натур. В его семье все писали: дед писал мемуары, дядя — легкомысленного содержания романы в письмах, а отец — исторические книги и театральные пьесы. Они не пожелали эмигрировать и, конечно, чуть не поплатились за это головой: в I год Республики они были взяты под подозрение и отправлены в тюрьму Форс, к счастью когда волна террора уже спала, так что все обошлось, и в конечном счете появился рассказ, написанный дядей и напечатанный в III году. Книги, которые писал отец Оливье, и его комедии, водевили и оперы, которые шли на сцене, кормили семью до эпохи Консульства. Оливье к тому времени исполнилось двадцать лет. Он рас-

стался с Лонпрэ и товарищами своих детских игр и блестяще выдержал экзамен в Политехнический институт. Вернувшись на Сомму, он, к своему великому огорчению, узнал, что его приятель Жан-Батист исчез: попал в рекрутский набор и, как говорили, дезертировал. Его так больше и не видели. Куда он мог деться? Непонятно. Элуа ходил хмурый и печальный. Для Оливье жизнь складывалась просто: призвания к военной службе, как у Филиппа, его младшего брата, который в VIII году воевал под началом Макдональда, у него не было. Само собой разумеется, Оливье втайне пописывал, но главным образом, следуя английской моде, переводил романы мисс Эджворт, «Письма о ботанике»... Все это окружало его ореолом в глазах его кузины Бланш, с которой он обвенчался в тот год, когда облек в литературную форму лекции по химии преподавателей Политехнического института. И его отец, которого Первый консул приблизил к себе, выхлопотал сыну по случаю женитьбы должность Суассонского супрефекта. Какая легкая, приятная жизнь, да и сам он был таким очаровательным молодым человеком: благовоспитанный, образованный, похожий на своего вольнодумца дядюшку, который и после пятидесяти продолжал быть кумиром женщин. Почему его жизнь должна была сложиться иначе? Вот сейчас я держу в руках биографический словарь, вышедший через двадцать лет после того дня, когда Оливье в рваном тулупе слушал в церкви св. Екатерины жалобы органа. Там сказано, что он, по-видимому, «занимался только литературой» и умер 16 августа 1818 года. Потому что его подлинная жизнь, трагическая и бурная, в разлуке с семьей, жизнь под вымышленным именем на полях сражений в Европе и в Сибири, в русской тюрьме,— в тюрьме, как Христос Филиппа де Шампень в церкви св. Екатерины,— все это не укладывается ни в какие рамки, об этом стыдливо умалчивают так же, как и о легкомыслии Бланш; все что осталось,— это его сочинения и две даты: рождение и смерть. К тому же о смерти не сказано ничего...

И пока Оливье, в тридцать шесть лет уже состарившийся под бременем несчастий и сверхчеловеческой усталости от войны, плена и обратной дороги, спит, убаюканный органом и своими воспоминаниями, его воображением снова завладевает смутный образ молодой женщины с бархатными глазами, женщины-ребенка, пожалуй, сошедшей не с картины Рубенса «Мучения св. Екатерины», а с английского портрета, женщины с такой нежной белой кожей, что, кажется, просвечивает кровь на легко вспыхивающих румянцем щеках, впрочем так же легко бледнеющих... Материнство придало ее хрупкой красоте мягкую женственность, и влюбленный муж трепетал от одного прикосновения к пальцам Бланш...

Господи, да не коснется ее, да не коснется этой женщины в шелковом платье рука палача! Ах, довольно о Бланш... Вот и сейчас, опять при свете недалекого будущего, мне легче найти правдивые краски для изображения его, Оливье, человеческой судьбы. Он умер, сказано в биографическом словаре, 16 августа 1818 года. В возрасте сорока лет... Разве в этом возрасте умирают те, чей организм закалился в стольких испытаниях? Его сердце, биение которого я слышу, было сердцем солдата, выносливым, вполне здоровым, он мог жить под открытым небом, он ничем не болел, его мучила только тайная душевная рана, о которой он не мог забыть. Отчего же он умер в это лето, жаркое и душное, как объятия красавицы? Я представляю себе такую сцену: где-то в долине Соммы, в одном из протоков скользит плоскодонка Элуа Карона... Элуа, которому подсобляет сын Жан-Батист, перегнулся через край лодки и пробует, работая черпаком, вытащить тело... Оливье снова сгинул со вчерашнего дня... а накануне он был в церкви Успения, чего никто не ожидал. Домашние расспрашивали, кого могли, расспрашивали крестьян... И Элуа, хотя за тридцать лет много воды утекло и дружба детских лет позабылась,— какая уж тут дружба: один — знатный барин, другой — бедный торфяник! — Элуа сейчас же решил, что случилась беда, и отправился на поиски господина Оливье, молодого графа, как его все еще звали, несмотря на серебряные нити в волосах... Для него, для Элуа, было непонятно, казалось безумством, что можно покончить с собой. Но ведь Оливье всегда был чудаковат. И вот у Элуа зародилось смутное предчувствие того, что произошло, и он направил свою плоскодонку к протоку, где около 1790 года уже покончила счеты с жизнью одна девушка, потому что не могла избавиться от ребенка; на молодого графа это произвело тогда сильное впечатление... вот и на прошлой неделе он опять заговорил об этом с ним, с Элуа: «Помнишь ту девушку, что обрюхатил парень из Шоссе-Тиранкура... когда ее вытащили из воды, какая она была распухшая, а в волосах запутались водоросли...» Тут Элуа Карон крикнул Жан-Батисту:

— Эй ты, постреленок, подмогни, что ли!

А когда тащили тело, лодка чуть не опрокинулась, потому что оба навалились на один борт.

Так суждено было кончить жизнь графу Оливье, который вывез из Сибири мрачное настроение, вызвавшее толки в Лонпрэ. Мрачное, как фон на картине Филиппа де Шампень. А также вывез оттуда идеи, не подходящие для людей его круга. Три года миновали, и только тогда его ипохондрия пришла к своему естественному завершению. Три года, за время которых два раза приезжала женщина с молочно-белой кожей, в шелковом платье, с двумя

детьми, уже ставшими разумными существами, но после ее посещений его мрачное настроение только усиливалось. Три года, за время которых жизнь в Сибири мало-помалу перестала вспоминаться, как адская мука. При всей своей ипохондрии он даже с каким-то сожалением думал о том единственно человечном, что было там и чего он не мог забыть всю свою жизнь. Дуняша... И вспоминал он не ночи, проведенные на потребу плоти с ней, простой девкой,— он вспоминал ее в числе тех немногих хороших и прямодушных людей, которых встретил там, в Сибири, людей темных, суеверных, необразованных, с грубыми нравами... вспоминал он еще и других людей, таких же, как он, арестантов, русских, которые тайком от тюремных надзирателей собирались и вели разговоры о жизни, о будущем, о том, что надо свергнуть тиранию... Они заронили в его душу великие, но смутные идеи, надежды, печальные, как траур. В тайниках души он донес из Сибири во Францию эти свои мечты, которыми ни с кем не мог поделиться. Ни с кем. Ему бы рассмеялись в лицо. Разве есть хоть малейшая вероятность, что они сбудутся? Все стало на свое место, жизнь шла как всегда, одни — наверху, другие — внизу... Даже Элуа покачал бы головой и с сожалением посмотрел бы на молодого графа, если бы тот рассказал ему, о чем говорилось там, на Ишиме, в тайге. Не было ни малейшей надежды, что жизнь изменится. Устои лжи, на которых покоилось общество, были очень крепки. Бланш воспитывала детей в принципах религии и хорошего тона. В Париже ее жалели и уважали. Она смотрела с портрета взглядом, проникающим в самое сердце. Безумцем, палачом был он, человек, который покинул ее, совершил ничем не оправданный, необдуманный поступок... ведь он занимал такое прекрасное положение! С тех пор как он сгинул, прошло ровно четырнадцать лет, день в день, это было 16 августа 1804 года. Тогда тоже обыскали все окрест, думая, что он где-нибудь здесь, и Элуа Карон обследовал своим черпаком все рукава, все протоки. Почему родные были уверены, что он утопился? Прошел слух, что тело нашли, но не в Сомме, а недалеко от Парижа, в пруду Медонского леса. Его брат, Филипп, и отец сейчас же поспешили туда. Им предъявили утопленника, совсем не похожего на Оливье... Это было в последних числах августа 1804 года. Отец цеплялся за малейшую надежду: в первых числах сентября он указал полиции на дом, где по ночам слышался шум. «Как будто там держат кого-то взаперти...» — сказал он. У него была надежда, что его сына похитили и держат в заточении. С наступлением темноты агенты Фуше оцепили дом — он стоял неподалеку от Ла Сель Сен-Клу,— но когда туда вошли, оказалось, что в доме пекарня и шум объясняется очень просто: там месят тесто. Говорили также, что пропавшего без вести видели в

Пломбьере 14 сентября; дело в том, что в августе Бланш была там с императрицей, но она уже месяц как уехала оттуда, так что это был явно нелепый слух. Почти два года каждого неопознанного покойника принимали за Оливье. Полиция вызывала семью всякий раз, как находили утопленника без удостоверяющих личность документов.

Почему семья решила, что он утопился? Сейчас все получилось так, словно предчувствие, правда с опозданием, но сбылось: Оливье лежал в лодке у Элуа, а маленький Жан-Батист в страхе смотрел на утопленника... на этот раз и вправду утопившегося.

Человек, в великий четверг заснувший от усталости на церковном стуле, может походить на утопленника, особенно при неверном свете красных лампад, дающем зеленоватые тени. Может походить и на Христа со связанными руками. Этому человеку нет дела до бескровной жертвы in Cena Domini [1], которая приносится в храме св. Екатерины господином Детомбом, кюре, вернувшимся из изгнания, после того как Наполеон был провозглашен императором; господин Детомб занят в ризнице, дверь которой возле правого придела приоткрыта, а в это время наверху, на башне, посланец маршала Мортье, герцога Тревизского, объясняет начальнику телеграфа, как надлежит составить телеграмму, дабы герцог Орлеанский, которому ее покажет маршал, поспешил убраться из города... Все как божеское, так и мирское одинаково далеко от погруженного в волны сна человека с застывшим лицом, который сидит на соломенном стуле, запрокинув голову, устремив невидящий взор к сводам храма.

Сейчас, в эту искусственную ночь проникло как раз то, о чем задремавший сидя Симон не позволяет себе думать, когда не спит. Он перешагнул через запретный порог, он в саду Армиды... Армида, Екатерина, как же ее зовут? Его сон не для церкви, в нем есть что-то кощунственное. Но разве изменить это во власти Оливье или в моей власти? Она лежит на боку, вытянув одну ногу, подогнув другую, совершенно обнаженная, укрытая только прекрасными черными волосами, которые она откидывает движением молодых плеч; она сбросила свое роскошное шелковое платье и, опираясь на упоительно хрупкие девичьи руки, смотрит на приближающегося мужчину, ее маленькие торчащие груди устремлены к нему. Какие у нее прекрасные зубы, словно созданные для манящей улыбки. В ее глазах под высокими дугами бровей можно прочесть, чего она ждет, чего ждет Бланш, или Екатерина, или как вы ее назвали? В ее глазах, которые она подняла на мужчину, до-

[1] На тайной вечере *(лат.)*.

верчивых и призывных... Где это? В Суассоне или в Париже, в нарядной спальне, обитой шелком и бархатом, устланной пушистым ковром... Кто научил тебя, девочка, такому самозабвенному упоению? Неужели я? Нежное трепещущее детское тело, чистое своей молодостью и в то же время такое соблазнительное. Неужели может наступить день, когда ты будешь такой для другого, когда твоя ветреная головка так же откинется под тяжестью упавших, словно завеса, на твои детские груди длинных распустившихся волос, разделенных пленительным косым пробором?.. Как ты тянешься ко мне, опираясь на трогательно округлые руки, ты до крови искусала себе губы, и твой приоткрытый рот зовет меня... Боже мой, боже мой, почему не могу я протянуть руку, коснуться тебя, мои пальцы хранят еще воспоминание о нежной упругости твоего тела; как ты обхватила меня за шею, тебе хочется еще ближе прильнуть, прижаться ко мне ногами... твоими ногами... и вдруг ты отстраняешься, ускользаешь от меня. Откуда у тебя это знание, как ты постигла науку вожделения, твоего и моего вожделения... даже те, для кого любовь — ремесло, не владеют этим удивительным искусством так, как ты, постигшая его с первого же мгновения...

Меж тем время подошло к пяти часам, и в храме св. Екатерины начались приготовления к вечерней службе. Дьякон постелил на престол три льняных покрова и антиминс, поставил на него дароносицу с облатками, которые предстояло освятить, покрыв ее, как положено в великий четверг, особым платом из белого шелка с ленточкой, вшитой в середину, чтобы он не соскользнул при выходе со святыми дарами. Дарохранительница — ее позолоченной створки с изображением Моисея перед Неопалимой купиной не было видно — стояла открытая и пустая, как это и полагается во время торжественной литургии в великий четверг, на которой вспоминается Тайная вечеря. Сегодня кюре Детомбу прислуживали не только мальчики, как обычно, а дьяконы и взрослые причетники. В ризнице дьяконы и причетники облачились в белые льняные стихари, доходившие им до пят, повязали вокруг пояса cingulum [1]. Дьяконы поверх стихаря надели спускавшиеся ниже колен белые далматики с короткими широкими рукавами. Причетникам,— тем полагались только стихари. В ризнице все были в смятении, перешептывались, потому что кюре Детомб, облаченный в в фиолетовую фелонь — символ умерщвления плоти, выказывал большое нетерпение.

— Ну как? Нашли? — спросил он одного из причетников.

---

[1] Набедренник *(лат.)*.

Двенадцати не набрали: заказанные для обряда омовения ног бедняки разбрелись из богадельни, им, верно, очень захотелось посмотреть на короля, их владыку. Господин Детомб проворчал, что, кроме владыки земного, есть еще и владыка небесный, и для христиан желание лицезреть его должно быть куда сильнее. Желание лицезреть распятого, который висит посреди главного нефа, спускаясь в пустоту со свода над головами молящихся... Так или иначе, а одного нищего по-прежнему не хватало.

Уже пресвитер и сослужащие с книгами церковных песнопений пошли вокруг храма, дабы затем по главному нефу приблизиться к алтарю. У всех через левое плечо был перекинут орарь. Кюре Детомб издали видел, как к двенадцати стульям перед алтарем, поставленным друг против друга в два ряда, по шести в каждом, подвели нищих, тех, что удалось разыскать; но один стул так и остался незанятым. Священник с причтом подходил к алтарю, уже пропели антифон, кюре Детомб прочел на ступенях алтаря молитву, и тут он увидел в нефе у последней перед органом колонны, с левой стороны, человека в странных лохмотьях, который спал с открытым ртом, сидя на стуле. Кюре шепнул несколько слов одному из причетников, тот поклонился и пошел.

Священник, надев епитрахиль, взошел на ступени, поклонился, приложился к престолу, затем взял кадило и стал кадить.

Симон Ришар не слышал Introit [1], но он проснулся, когда запели Kyrie eleison [2]. Причетник в стихаре тряс его за плечо. Симон подумал, что нарушил приличие, заснув в церкви, да еще так, как он, и стал извиняться. Нет, дело не в этом. Почему он сидит не там, где ему полагается? А где ему полагается? Тут зазвонили в колокола, орган заиграл Gloria [3]. Симон не понял в чем дело, но пошел за причетником, который усадил его на двенадцатый стул, рядом с прочими нищими. Он посмотрел на своих соседей — старики в приютской одежде, глядят, как загнанные звери, у одного на кончике носа повисла капля, у другого перекошено лицо. Чего хотят от него? Зачем посадили вместе с этими людьми?

Неожиданно орган и колокола замолкли, дабы пребывать в благоговейном безмолвии, замолкли до самой светлой заутрени, в память о страстях господних. И священник возгласил:

Deus, a quo et Judas reatus sui poenam, et confessionis suae latro praemium sumpsit... [4]

---

[1] Молитва, которой начинается католическая месса.— *Ред.*

[2] Господи помилуй *(греч.)*.

[3] Слава отцу и сыну... *(лат.)*

[4] Бог, от коего и Иуда кару за свою вину и разбойник награду за свое исповедание приял... *(лат.)*

Господи, как далек был Оливье от этой латинской молитвы! И все же первые слова напомнили ему об Иуде, загубившем его жизнь... Покарал ли его господь за преступление, покарал ли господь Тони де Рейзе, разрушившего его счастье? И сам Оливье, совершает ли он свой крестный путь, он, разбойник благоразумный, заслуживший награду за свою веру? Оливье не понимал, какую роль предназначали ему в этой священной комедии, он прослушал послание апостола Павла к коринфянам. На него вдруг нахлынула ненависть. Забытая, старая, но вечно живая ненависть... О чем это грегорианское пение?

Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem... [1]

Такая ненависть, что его перестало трогать и то, что совершалось вокруг, и то, что его явно принимают за кого-то другого, и потому посадили сюда. Что возглашает священник? Какое читают Евангелие? Оливье снова уловил имя Иуды Искариота, сына Симона...

Dicit ei Petrus: — «Non lavabis mihi pedes in aeternum». Respondit ei Jesus: «Si non lavero te non habebis partum meum». Dicit ei Simon Petrus... [2]

Симон Ришар плохо вникал в историю Симона Петра. Но когда пресвитер в сопровождении клира торжественно спустился со ступеней алтаря и приблизился к нищим, двенадцатым из которых был Симон, он вдруг понял, что происходит, и почувствовал желание воспротивиться, подобно Симону Петру: «Не умоете ног моих вовек...» Но что мог он сделать? На столе около нищих дьяконы поставили тазы и кувшины с водой. Кюре снял фелонь, и он и сослужащие с ним отложили орари, опустились на колени перед нищими, разули их... И тут Симон Ришар почувствовал такой стыд, как ни разу в жизни. Он не мог подняться и убежать. Скандал и кощунство были не в его натуре. Просто он измерил всю меру лжи, всю глубину бездны, в которую погрузился.

Орган молчал, и к сводам храма возносилось грегорианское пение — хор молодых голосов, странно женственных голосов мальчиков-певчих:

Postquam surrexit Dominus a cena, misit aquam in pelvim... [3]

---

[1] Ради нас Христос покорялся вплоть до смерти... *(лат.)*

[2] Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему... *(лат.)*

[3] Затем поднялся господь от вечери, налил воды в умывальницу... *(лат.)*

Дьякон, мывший ноги Симону, не мог удержаться и проворчал, что нищих полагается предварительно вымыть в богадельне, а потом уж присылать сюда. И Симон Ришар посмотрел на свои босые и грязные ноги и прошептал очень быстро и очень тихо: «Простите меня, отец...»

Ubi caritas et amor, Deus ibi est [1].

Пение крепло, теперь подпевал весь причт, верующие, заполнявшие храм, и дьяконы, которые не кончили еще омовения и не встали с колен. Первым поднялся кюре Детомб, он молча вымыл и вытер руки. Затем все взяли орари, перекинули их через левое плечо. Кюре снова надел фиолетовую фелонь, и во главе с ним все духовенство в прежнем порядке двинулось к алтарю.

Нищие надели свою жалкую обувь, но теперь уже сами. Симон чувствовал, как краска заливает ему лоб и щеки, а в алтаре меж тем кюре тихо читал молитву господню.

Затем раздались ответствия хора:

Domine exaudi orationem meam...
— Et clamor meus ad te veniat...[2].

Вдруг Симону стало невмоготу, он поднялся и пошел к выходу. По церкви словно волна прокатилась, верующие замерли, как громом пораженные, причетники оглянулись, церковный сторож ринулся к взбунтовавшемуся нищему, дабы водворить его на прежнее место, на котором ему полагалось послушно просидеть, пока не пропоют псалмы после причастия, пока верующие не приложатся к престолу, пока дароносицу снова не поставят на антиминс и священник не освятит святые дары... и еще дольше, пока дьяконы не снимут орарей, а кюре, сняв фиолетовую фелонь, не наденет белой ризы. Но и на этом роль нищих не кончается: они должны сопровождать покрытую платом великого четверга дароносицу с освященными облатками, которую, куря ладаном под пение Pange, lingua [3], несут в избранный для сего придел. С престолов, кроме главного, сняты все украшения, вокруг великое молчание в память страстей господних, алтарь опустел, все ушли в ризницу, и только тут отпускают наконец домой, в богадельню, нищих с напутственным словом и вымытыми ногами.

---

[1] Где милосердие и любовь, там и бог *(лат.)*.
[2] Господи, услышь молитву мою,
И вопль мой да коснется слуха твоего *(лат.)*.
[3] Возглашайте, уста *(лат.)*.

Симон, отстранив сторожа, вышел на улицу; все его чувства свелись к одному: он ощущал зверский голод, которого не заглушил запах ладана.

Было шесть часов вечера, но колокола уже не оповещали об этом.

Униженный человек вспомнил в эту минуту Суассон, где он был супрефектом, и стишки, нацарапанные на стене тюремного карцера, которые он разобрал в ту пору, когда еще был счастлив, когда ему было двадцать четыре года, когда у него были молодые глаза:

Увы, я охвачен скорбью.
Лучше бы мне умереть,
Чем пытку такую терпеть...

Какие муки вытерпел этот узник? Что называет он пыткой? Сейчас Оливье повторял стишок, нацарапанный на стене, и задавал себе вопрос — не лучше ли было ему умереть, чем вытерпеть то, что вытерпел он? Ему предстояло задавать себе этот вопрос еще в течение долгих трех лет и пяти месяцев или около того.

* * *

Когда он пришел на постоялый двор, сердобольная жердь, которая приняла участие в солдате, вернувшемся из русского плена (знаете, тут один такой же, как вы, не успел воротиться оттуда и сразу же во главе волонтеров отправился в Париж... Ума не приложу, что эта бедная молодежь будет теперь делать!), так вот эта самая жердь буквально накинулась на него: она дождаться не могла, чтоб сказать...

— Тут у одного гончара что-то случилось с лошадью... а ему надо товар отвезти за двенадцать с половиной лье отсюда, вот бы вашу животину и запрячь... а?

— Ну что ж, можно!

— Ехать надо на юго-запад, а два раза за это время вас уж покормят. Но отправляться, голубчик, надо сейчас же, поспать не придется.

Счастье еще, что он поспал в церкви.

* * *

Луи-Филипп не уехал дальше крепостных стен, так же, как и Мортье, предоставивший Макдональду сопровождать до пограничного поста его величество Людовика XVIII, вместе с эскортом кирасир, каретами, в которых ехали министры, чины свиты и отец

Элизе. Только вечером, около шести часов, когда Макдональд вернулся, герцог Орлеанский отправился в гостиницу «Гран Гард» для того, чтобы обсудить положение с маршалами и генералами, которые были в Лилле. По правде говоря, Мортье раньше уже успел посовещаться с ними, и решение было принято. Мортье предложил им сделать выбор между верностью королю и верностью родине. Можно не сомневаться, что раз король уехал, гарнизон никакими силами не удержать от присоединения к императору. Даже если предположить, что его присутствие...

Вот тут-то герцог Тревизский и показал Луи-Филиппу документ, со всем тщанием изготовленный согласно его указаниям в башне св. Екатерины. Это была депеша: приказ военного министра маршала Даву арестовать короля и прочих Бурбонов, находящихся в Лилле. Мортье уверял герцога, что ему нечего опасаться, и убеждал его пренебречь депешей и остаться в городе, но в то же время он позаботился сообщить ему всякие подробности, которые придавали означенной депеше еще больше правдоподобия. Например: депеша подана за пятнадцать лье от Лилля. Даже самый недогадливый понял бы, что в таком случае она подана из Арраса... И для пущего эффекта маршал прибавил, что Даву вскоре после отъезда его величества прислал своего адъютанта, которого он, Мортье, велел арестовать, когда тот показал ему приказ об аресте короля и — на этот раз Мортье уточнил — герцога Орлеанского лично. Правда, депешу Мортье показал, а вот привести из тюрьмы адъютанта и допросить его в присутствии Луи-Филиппа не предложил.

В сущности, Луи-Филипп только и ждал, чтобы его убедили бежать. Жена его была в Англии... Он не заставил себя уговаривать и тут же написал маршалу Мортье и комендантам гарнизонов Лилльской округи составленные в весьма осторожных выражениях официальные письма, в которых освобождал их от присяги и дипломатично рекомендовал перейти на службу к Узурпатору, возлагая, однако, всю ответственность на них, так чтобы эти письма ни при каких обстоятельствах нельзя было обратить против того, кто их подписал. Ему оставалось еще отдать распоряжения, касающиеся его свиты; действуя в духе орлеанской партии, одних придворных он оставлял, других брал с собой. Так или иначе принцесса, его сестра, и он смогут уехать только поздно ночью. Маршал герцог Тревизский, потупя взор и сложив губки бантиком, слушал Луи-Филиппа, который горячо благодарил его и всячески восхвалял за преданность, доказательства которой он видит уже не в первый раз...

— Ваше высочество, вы слишком добры,— повторял Мортье. Он поднял взор и посмотрел на герцога своими честными глаза-

ми: — Вы возводите в добродетель черту характера, свойственную мне от рождения...

Мортье принадлежал к тем людям, которые могут без улыбки произносить подобные фразы. Родители с юных лет предназначали его к коммерческой карьере. Если бы не военное ремесло, ставшее соблазнительным со времени Революции, он, как почтительный сын, несомненно, пошел бы по стопам отца, торговавшего молескином, и продолжал бы его дело. Он мог одинаково ловко соврать и насчет депеши, и насчет качества товара. Но в тот вечер он не знал, что двадцать лет спустя умрет на глазах у человека, которого так старательно выпроваживает сейчас из Лилля, пав жертвой покушения не на себя, а на него. В бытность Мортье военным министром Луи-Филиппа распространился слух, что на 14 июля, когда должен был состояться смотр войск на бульваре Тампль, назначено покушение на короля, и Мортье тем же, как в Лилле, голосом, с тем же смиренным и преданным, как в Лилле, видом, глядя теми же честными глазами, сказал: «Я мужчина крупный, я прикрою короля своим телом...» И вот, когда адская машина Фиески, брошенная из окна, убила перед Турецким садом пятьдесят человек и сколько-то лошадей, случилось так, что смерть, предназначавшаяся Луи-Филиппу, настигла Мортье, герцога Тревизского. Он был крупным мужчиной, он прикрыл короля своим телом... в его широко открытых глазах застыло выражение нечеловеческой преданности. На тело накинули кусок зеленого молескина, вроде того, что изготовляли в Като-Камбрези, на мануфактурной фабрике его уважаемого папаши...

На самом же деле в этот великий чертверг Даву писал из Парижа генералу Эксельмансу, чтобы его кавалеристы, буде Людовик окажется еще в Лилле, когда они придут туда, не препятствовали ему уехать в Бельгию вместе с принцами и всеми, кто захочет за ним последовать. И в том же письме он говорил: «Я точно знаю, что у маршала Мортье добрые намерения, о которых он не замедлит объявить при появлении императорской армии...»

Так оно и было на самом деле. Мортье с нетерпением ждал наполеоновских солдат. И пока Луи-Филипп строчил письма, в которых предоставлял свободу действия тем, кто по военной линии зависел от него, герцог Тревизский у себя в кабинете в «Гран Гард» сочинял рапорт его величеству императору; сложив губки бантиком, подняв перо и устремив в пространство взгляд своих честных глаз, он обдумывал, как бы лучше уверить императора, что благодаря твердости и принятым мерам ему, Мортье, удалось сохранить для его величества добрый город Лилль,— ведь принцы хотели призвать туда королевскую гвардию, но патриотизм, проявленный им, Мортье, а равно и гарнизоном, решившим не допус-

кать в Лилль войска, не приверженные императору... Герцог Тревизский остановился: он вспомнил вчерашние разговоры за столом у господина де Бригод, вспомнил, что ультрароялисты готовы были призвать в Лилль англичан и пруссаков. Он вздрогнул. Нет, лучше не упоминать об этом.

Макдональд, пришедший проститься с герцогом Орлеанским, потому что собирался уже лечь спать — ведь прошлую ночь он спал всего пять часов, а для него это очень мало,— вздумал спросить, послал ли его величество король кого-нибудь к графу Артуа, дабы сообщить, что он оставляет Лилль. Луи-Филипп со своей стороны не подумал об этом, а король и подавно не позаботился предупредить принцев, как не предупреждал их в течение всего того времени, что кружил по дорогам, покинув Париж. Такова была неизменная линия его поведения. Герцог попросил маршала, чтобы тот известил графа Артуа, и было решено отправить письмо в двух экземплярах, одно по Бетюнской, другое по Аррасской дороге, ибо королевская гвардия могла выбрать любую из этих дорог. Вслед за тем маршал лег спать в бригодовском доме, опустевшем и унылом. Мортье попросил его остаться еще на день в Лилле и пригласил к завтраку и обеду. И Макдональд, обрадованный этой передышкой, этим, как он мысленно выразился, «интермеццо», напевал песенку Моцарта. Завтра на досуге они с Мортье обсудят положение. Как лучше поступить? Макдональд с удовольствием подумал, что в таких деликатных обстоятельствах он будет не один, что у него есть добрый друг. И тут же крепко заснул.

Тем временем все солдаты гарнизона уже прикололи трехцветные кокарды; на улицах плясали при свете факелов, хотя ветер колебал, а временами и совсем задувал их пламя. Все кабачки были открыты, несмотря на приказ. В погребке под вывеской «Четыре молота», что на Театральной площади, не успевали подавать пышки из гречишной муки, а пиво пили целыми пинтами.

На Главной площади, перед штабом Мортье, уже жгли фейерверк... Шум взрывов привлек внимание маршала, он подошел к окну; поняв, в чем дело, он улыбнулся и пробормотал:

— И подумать только, что сегодня утром эти же люди кричали: «Да здравствует король!»

* * *

Ветер, дувший в великий четверг, прогнал дождь из Лилля в Бетюн, но в Сен-Поле и далеко вокруг ливень не прекращался. Черные мушкетеры Лагранжа стояли в Сен-Поле, куда к вечеру в полном беспорядке пришли гвардейские роты герцога Грам-

мона и князя Ваграмского, а также Ноайля вместе с Швейцарской сотней и артиллерией. Гренадеры Ларошжаклена, мушкетеры Лористона, королевские жандармы дошли до Бетюна. Принцы ночевали в Сен-Поле, под охраной легкой кавалерии господина де Дама́ и роты герцога Рагузского с Мармоном во главе — единственной части, сохранившей походный порядок. Шотландская рота господина де Круа, славная отборная рота, а также рота герцога Люксембургского, должно быть, затерялись в пути — они застряли в лучшем случае где-то около Эдена.

В действительности королевская гвардия растянулась в этот вечер от Бетюна до самого Эдена и дальше. Под проливным дождем месили солдаты желтую грязь на дорогах, где в рытвинах и колеях застревали экипажи всех видов, останавливая движение войсковых частей. За исключением роты герцога Рагузского, все гвардейские части донельзя перемешались,— что называется, кошка и та не могла бы разобрать, которые котята ее. Солдаты кое-как продвигались вперед, останавливались без команды, где кому вздумается. Усталость, хмурое небо, несчастные случаи, заторы сделали свое дело: три тысячи солдат уже не составляли армию — они превратились в беспорядочно бредущую толпу. Около двух тысяч больных, попортивших ноги, дезертиров отстали в пути. Случайно отбившиеся разыскивали свои части, затем, сморенные усталостью, засыпали в сараях, в деревнях, под брошенным экипажем. Пешие в этот вечер не добрались до Сен-Поля. Им всюду мерещатся солдаты Эксельманса. Пусть никто их не видел, но после Абвиля, после того как отряд гренадеров натолкнулся на императорских егерей, все чувствуют, что они где-то тут, где-то близко. Верно, они идут следом, но возможно, это просто отставшие части королевской гвардии. Экипажи, отдельные отряды кавалеристов сворачивают, гонимые страхом, на боковые дороги, думая, что там легче укрыться от наполеоновских солдат, и лишь напрасно удлиняют свой путь. Оси ломаются так, что только держись. Проселочную дорогу, куда вы свернули, считая, что там свободнее, вдруг преграждают повозки, в которые набились и молодые и старые; они еле тащатся, насколько позволяют силы случайно раздобытой клячи. Кормятся кто как может, отставшие с трудом достают хлеб, а те, кому удается разжиться куском сыра и кружкой густого тяжелого пива, почитают себя счастливцами. Деревни встречают недружелюбно. К тому же в этих краях деревни попадаются редко и на большом расстоянии одна от другой. Намокшие поля, бесконечная дорога, голые деревья, дождливое небо,— вот в какой обстановке совершается то, что для всех уже стало бессмысленным бегством. Солдаты, которые не думают о сражении, уже не солдаты, а беглецы. Волон-

теры остановились в Сен-Поле, так и не достав лошадей, чтобы сменить несчастных замученных кляч, которые не везли, а едва тащили фургон. Жители Сен-Поля еще говорили о чести, оказанной им его величеством королем, в карету которого впрягли свежих лошадей у ворот их города; простодушие горожан было безгранично; никому из них и в голову не приходило, что король может покинуть французскую землю. Как в представлении этих людей с птичьими мозгами должна была сложиться судьба Людовика XVIII и принцев и вообще как представляли они себе завершение беспорядочного бегства, свидетелями которого были? Правду сказать, никак. Монархи и генералы повелевают армиями, во главе которых проходят по нашей равнине, иногда с боем, иногда просто походным маршем, затем по прошествии некоторого времени узнаешь о победе или о поражении, иностранные армии, в свою очередь, тоже идут по дорогам, останавливаются на постой в городах... разве нас спрашивают? И зачем все это?

Но в Сен-Поле зажиточные горожане помнили о страшных днях террора, о Жозефе Лебоне — и в короле они видели защитника; допустить мысль, что король бежит, значило задуматься о собственной судьбе. Они дрожали и старались не думать. Впрочем, к югу от Лилля никто не знал, что Людовик XVIII после полудня уже переехал границу в Менене. Не знали ни в Бетюне, ни в Сен-Поле. Не знали и того, что нервы графа Артуа больше не выдерживали.

Теодор добрался туда, в Бетюн, полумертвым от усталости. Почти в темноте. Мушкетеры оставили позади болотистую местность, миновали предместье Сен-При с большим монастырем. Город, выросший перед ними, был сдавлен со всех сторон, зажат укреплениями с треугольными люнетами, воротами и контргардами, которым, хотя это были типичные вобановские сооружения, придавал средневековый облик полуразрушенный высокий замок; сам город чем-то напоминал причудливого ежа. Та часть, где жили шесть тысяч человек, казалась очень тесной, над ней возвышались дозорная башня и церковь св. Вааста. Трудно было разобраться в сложной системе опоясывавших часть города каналов с двумя мостами, по которым мушкетеры въехали в Бетюн. И вдруг они почувствовали себя в плену у домов. Слабое освещение редких фонарей, в которых горело ламповое масло, плохо мощенные улицы, с обеих сторон лавчонки, в этот час уже закрытые; нельзя сказать, чтобы город встретил их приветливо, хотя в окнах и хлопали на ветру мокрые белые флаги. С улицы видны были дворики, где стояли вонючие лужи, а на протянутых в окнах веревках сушилось белье. Привлеченные появлением кавалерии, из домов выходили наиболее бедные жители с оборванными

полуголыми ребятишками. Они хранили молчание, и только на углу улиц Виноградных лоз и Большеголовых из окон раздались первые крики: «Да здравствует король!»

— Как вы думаете, к литургии мы опоздали? — спросил Монкор.

Теодор пожал плечами. Его интересовало не богослужение, а хорошая постель. Где их расквартируют? Здесь тоже им было предоставлено устраиваться кто как может. На Главной площади, перед башней, торчавшей над домами, кавалеристы спешились. Сейчас здесь было больше места, чем в ту ночь, когда в городе останавливался король, потому что ярмарка кончилась и все разъехались. По слухам, около города видели императорские войска; во всяком случае, граф де Мольд, комендант города, тот самый, что был недоволен действительно сухим приемом, который оказал ему прошлым утром его старый друг господин де Блакас, распорядился запереть ворота; королевским жандармам и гренадерам, несмотря на усталость, пришлось выделить пикеты, которые ходили дозором вдоль крепостных стен и стояли на карауле в контргардах. Теодор был рад, что избежал наряда. Ведя в поводу Трика, он отправился на поиски дома, где была бы конюшня или сарай, и вдруг остановился в удивлении.

Перед ним, опираясь на трость, стоял человек с явно военной выправкой, хоть и в штатском, он держал за руку мальчика лет десяти, по всей вероятности напроказившего, и выговаривал ему. Теодор не сомневался, что узнал по голосу: это был тот седоусый майор в длинном сюртуке, который тогда ночью, в Пуа, требовал, чтобы вооружили народ, тот, чей сын пошел волонтером... Жерико поддался безрассудному порыву: а вдруг у этого отставного военного, подумал он, найдется, куда поставить коня, но нет, скорее он почувствовал, что в его жизни настала минута, когда ему необходимо поговорить именно с таким человеком, как тот, что стоял перед ним.

— Господин майор,— сказал он. И тотчас же понял, что путь к отступлению отрезан. Ну что ж, придется броситься очертя голову в бой!

Человек остановился и обернулся. По-видимому, форма мушкетера произвела на него то же впечатление, что и на Каролину Лаллеман,— он дернул мальчика за руку и пошел прочь, бормоча что-то себе под нос и хмуря брови, но тут Теодор сказал как раз то, что должно было остановить седоусого человека.

— Господин майор, мне надо поговорить с вами... Не смотрите на мой мундир... Мне нужно поговорить с вами, чтобы знать, что делать...

Майор снова остановился, он поколебался и посмотрел на мушкетера.

— Поговорить со мной? — переспросил он.— Но почему именно со мной, молодой человек? Я вас не знаю.

— Зато я вас знаю,— сказал Жерико,— и не поверю, чтобы бывший друг Лазара Гоша отказался в такой вечер, как сегодня, помочь мне своим советом...

— Вот как,— удивился тот,— а откуда вы меня знаете, сударь?

— Я знаю вас с прошлой ночи, господин майор. В лесу над кладбищем, там, в Пуа...

Старик офицер вздрогнул, потом поглядел по сторонам и неожиданно решил:

— Идемте ко мне, там нам будет удобнее...

Он жил совсем рядом, в той стороне, откуда пришли мушкетеры, в странном, по форме похожем на подкову переулке, который обегал нечто вроде амбара, построенного на развалинах капеллы св. Николая; назывался этот переулок Тесным и, надо сказать, с полным основанием.

— Лошадь вы можете поставить напротив, у господина Токенна, видите, вон какая у него большая кузня, там занято не меньше сотни рабочих. Он человек услужливый: мы сейчас его спросим, он живет на другом конце улицы, около «Братства милосердых». И воду не придется издалека носить, у нас хороший водоем... а нынче такие дожди! Вас я устрою на кровати сына, он уехал в воскресенье, а кровать, как мне кажется, вам куда нужнее разговора...

Кроме Жана, десятилетнего мальчика, и сына, отправившегося в Париж, у майора была еще двадцатидвухлетняя дочь Катрин, но она была больше похожа на свою мать, чем на святую Екатерину с картины Рубенса: и мать и дочь были блондинки, с гладко прилизанными волосами, начесанными на уши, обе были маленького роста и складные, хоть красивыми их и нельзя было назвать. Пока женщины хлопотали, приготавливая обед и устраивая ночлег для гостя, майор провел Жерико в именуемую кабинетом комнату с низким потолком, довольно убого обставленную, но на полках там было много книг, и среди них Теодор заметил сочинения Жан-Жака Руссо. Из кабинета дверь вела в большое помещение с закрытыми ставнями, поэтому сразу нельзя было догадаться, что это посудная лавка, вход в которую был с улицы Большеголовых. Майор объяснил:

— Альдегонда... я хотел сказать моя жена... держит эту небольшую торговлю... Надо как-то жить. Она получает посуду из Лиллера, где этим занимаются... а также из Эра, видите вон те рас-

крашенные тарелки... Но скажите, каким чудом королевский мушкетер мог оказаться членом «Организации»?

— С вами я обязан быть откровенным,— сказал Теодор, чувствуя, что краснеет.— Я не член того, что вы называете «Организацией», только прошу вас, господин майор, не гневайтесь, лучше выслушайте меня...

На улице свистел ветер и хлопали двери.

XV

СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА

Дождь вместе с четверговыми колоколами перекочевал в Рим. День Страстей господних еле брезжил сквозь пыльно-серую пелену неба, казалось, заря потускнела от слез, пролитых в Гефсиманском саду. Тем, кто шлепал по улицам городов, где булыжная мостовая — редкость, или по замощенным лишь кое-где пограничным дорогам между Артуа и Фландрией, не верилось, что дождь перестал надолго. Оттого что дождя нет, еще обиднее вязнуть в глине. В такой ранний час мало кто из обитателей Сен-Поля приотворяет ставни. В кабачках, открывающихся затемно, рабочие кожевенных мастерских и пивоварен наспех выпивают кружку цикорного кофе, боясь упустить хоть каплю дневного света. Расположенная между двумя рукавами мутной и грязной Тернуазы кармелитская церковь, самая большая в городе с тех пор, как при Директории разрушили собор, полна верующих, которые, перебирая четки, возносят положенные на сегодня молитвы перед пустым престолом, без распятия, без светильников, без покровов. Герцог Беррийский все в той же серой непромокаемой накидке, сопутствуемый неизменным Лаферронэ и своим любимцем графом де Нантуйе, шагал по площади, с нетерпением дожидаясь, пока отец закончит туалет. Он ответил на приветствие Сезара де Шастеллюкс, кавалеристы которого выстроились по обе стороны трактира, готовые тронуться в путь.

А на графа Артуа, пока его брили в отведенной ему комнате, предутренний сумрак навевал тревожные думы. Какие бы донесения ни поступали из разных мест о стычках с мятежными войсками, как бы ни маячил повсюду призрак Эксельманса, как ни возрастала холодность населения к королевской гвардии, все это были пустяки по сравнению с молчанием самого короля. Граф невольно сопоставлял отдельные знаменательные штрихи в поведении брата за последнюю неделю, начиная с того заседания парламента, когда Людовик поклялся умереть, но не покидать Парижа, и когда сам он, заразившись общим воодушевлением, от

своего имени и от имени сыновей неожиданно поклялся в верности королю и конституции... Никогда не забудет он, как посмотрел на него Людовик, как усмехнулся презрительно. Все пошло оттуда... и подозрения тоже. А затем неприятнейший разговор. На сцену выплыл господин де Шаретт... Да уж, Карл крепко запомнил проклятое письмо, которым августейший брат попрекал его в критические минуты! Письмо, которое Шаретт написал в ноябре 1795 года, когда узнал, что граф Артуа уехал в Англию с острова Йё, предоставив вандейцев их горькой участи. Каждое слово вновь вставало перед ним, пока камердинер намыливал ему кисточкой щеки, и под пеной не было видно, краснеет граф или бледнеет. «Сир, все погубила трусость Вашего брата. Его приезд на побережье мог либо погубить, либо спасти дело. Но он возвратился в Англию и тем решил нашу судьбу: мне остается лишь без всякой пользы сложить голову на Вашей службе». Нет, это немыслимо! Шаретт не мог написать такое! Эту фальшивку состряпали англичане, подлецы англичане... Лучше умереть, чем вернуться к ним. Но почему король перед самым отъездом в который раз напомнил ему о Франсуа Шаретт де Лаконтри? Что замышляет его величество? Какие козни строит в своей венценосной голове? Хочет покончить с младшей ветвью... Женив герцога Ангулемского на дочери Людовика XVI, Людовик тем самым с этой стороны закрыл все виды на будущее: знал же он, что принцесса не может родить наследника. Остается герцог Беррийский, и тут король со своей полицией является первоисточником всех компрометирующих герцога слухов: кто же иначе распространил по Парижу басню о его женитьбе на госпоже Браун, хотя та даже не католичка, а все затем, чтобы на Шарль-Фердинанда не возлагали династических упований. К чему он клонит, этот король-подагрик? А теперь бросил всех и скрылся... Принцы, прикрывающие его бегство, оставлены на съедение Эксельмансу... «Нет, дражайший братец, мы не из тех, кто без всякой пользы складывает голову на вашей службе! Надо как можно скорее нагнать короля, помешать его замыслам...»

Военный совет заседал в самом узком составе — граф Артуа, его сын и Мармон. Маршал был совсем сбит с толку. Раз авангард королевской гвардии в Бетюне, значит, выбора нет — надо отправляться туда на соединение с ним, а оттуда в Лилль через Ла-Бассэ, это самый прямой путь, достаточно посмотреть на карту. Граф Артуа против всякой очевидности доказывал, что до Лилля ближе через Перн, Лиллер, Робек, Мервиль, Эстер, Армантьер... Да ведь это значит, что надо тащиться проселочными дорогами, в обход, а люди с ног валятся. Герцога Беррийского больше всего беспокоило, что станется с их солдатами в Бетюне.

Графа это не трогало. Он ответил сыну, что в Бетюн надо отправить весь «хвост» — пехотинцев, волонтеров, тех что явились только к ночи, например, Шотландскую роту, и всю крупную кладь. А сами они под прикрытием этого маневра, с ротой герцога Рагузского, с мушкетерами Лагранжа, отборными гвардейцами князя Ваграмского, герцога Граммона и Ноайля, не преминув прихватить легкую кавалерию генерала Дамá, которая является, по сути дела, их личной охраной, достигнут Лилля с запада, так что, если его величество покинет город и возьмет направление на Дюнкерк, о чем поговаривали многие, помните, еще до отъезда из Парижа... можно будет присоединиться к его августейшей особе по пути...

— Зачем его величеству уезжать из Лилля? — спросил Мармон.— Ведь это единственный укрепленный город, в стенах которого государь может выждать, пока подоспеют союзники.— При этом он поостерегся высказать блеснувшую у него догадку, что граф стремится в Армантьер из-за близости границы, и вовсе не потому, что собирается оттуда в Лилль... Но тут же он вспомнил о поклаже: не стал бы граф Артуа посылать вещи в Бетюн, если бы сам думал переправиться через границу... Так или иначе, пусть это нелепо с военной точки зрения, в отсутствие его величества граф Артуа представляет монархию. Его желания равносильны приказам. Приходится покоряться.

Тем временем герцог Беррийский разглядывал карту — да ведь раз надо попасть в Эстер, самая короткая дорога — на Бетюн, а оттуда прямиком до Эстера вдоль канала Лав... словом, через Лестрем. Вот наивный младенец! Придется объяснить ему.

Для графа Артуа главное — вопрос безопасности, необходимо избегать тех городов, где гарнизоны могут примкнуть к мятежникам, и дорог, по которым передвигаются мятежные войска.

— Какие же тут города между Сен-Полем и Лиллем? О чем вы говорите, отец? — недоумевающе перебил герцог Беррийский.

Граф пропустил его вопрос мимо ушей. Вот Перн, Мервиль — это край, искони проникнутый монархическим духом. Неужели Шарль-Фердинанд забыл собственные восторженные рассказы о поездке по северу прошлым летом, в августе месяце? Он не мог наговориться о героических подвигах повстанцев в Перне в девяносто третьем году. Шутка сказать, они в самый разгар террора кричали: «Да здравствует король!» и «Долой патриотов!». Граф старался не вспоминать, как называли этот мятеж, вспыхнувший во время очередной ярмарки, ему неприятно было произносить слова «Малая Вандея»... и он быстро перескочил на Мервиль — там тоже они будут в настоящей монархической цитадели... однако он и тут умолчал, что Мервиль был одним из центров восстания, ко-

торое известно под названием «Северной Вандеи» (граф предпочитал именовать ее Лалейским краем, то есть подменял часть целым) и которое произошло в то время, когда Бонапарт увязал в русских снегах, да что там — не далее как вчера, за ужином, им тут же, в Сен-Поле, рассказывали историю замечательного мервильского юноши Луи Фрюшара, прозванного Людовиком XVII, потому что он был семнадцатым сыном в семье: приколов к шляпе кокарду из белой бумаги, на которой было написано его прозвище, и нацепив на синюю рабочую блузу желтые бумажные эполеты, он взял приступом супрефектуру Сен-Поль. Поистине Мервиль — центр восстаний! Фрюшар собрал в обоих департаментах около двадцати тысяч вооруженных людей, и в феврале 1814 года им оказал поддержку отряд казаков и гусар царской армии под командованием полковника барона Гейсмара...

— Взгляните на карту, любезный сын, и вы, господин маршал... вы сами убедитесь, что на девять миль в окружности нет ни одного селения, имя которого не было бы вписано в доблестный перечень монархических восстаний... Мы словно вступаем в густой лес верноподданнических чувств... Кстати, это и в самом деле край лесов...

— И болот!..— пробурчал герцог Беррийский.

Под конец граф Артуа заявил напрямик, что, если менее подвижная, зато более значительная часть королевской гвардии запрудит дороги, прикрывая с юга их отход к Лиллю, она создаст своего рода заслон и послужит для отвода глаз — на случай появления солдат Эксельманса...

Мармон посмотрел на него. Неужели граф готов бросить основное ядро своих войск и *даже поклажу,* лишь бы обеспечить собственную безопасность? А может, ему на все плевать, ведь карета с таинственными бочонками при нем... Мармону незачем было высказывать свою мысль вслух. Граф Артуа прочитал ее у него в глазах. С оттенком высокомерия и с подчеркнутым достоинством он произнес:

— Бурбонам, господин маршал, прежде всего надлежит помышлять о будущем. На какие бы жертвы мы ни шли добровольно, как ни тягостно нам очень многое, первая наша забота — спасти династию...— С этими словами он положил руку на плечо сына, того самого сына, который направо и налево зачинал детей.

Итак, строившиеся в Сен-Поле войска расчленились на две колонны. Та, что направлялась на Бетюн, получила в наследство пушки господина де Мортемар, плохо приспособленные для быстрых переходов и для тех дорог, по которым предстояло продвигаться второй колонне. Дорога между Бетюном и Ла-Бассэ была единственной мощеной в здешних краях. А кроме того, пушки

могут пригодиться в Бетюне на случай осады. Маршруты действительно хранились в тайне, командиры войсковых частей думали, что решено воспользоваться двумя дорогами, дабы ускорить передвижение, а в итоге обе колонны сойдутся в Бетюне, вторая повернет туда от Лиллера...

* * *

Во всяком случае, господин де Мортемар, включенный со своими пушками в бетюнскую колонну, высказал такое мнение своему кузену Леону де Рошешуар, который вместе с мушкетерами Лагранжа направлялся на Лиллер. А господин де Рошешуар, когда встретил на улице маркиза де Тустен, из гвардейцев герцога Ваграмского, с которым ехал в карете до Бовэ, старого своего знакомца времен ранней юности в Португалии, и когда узнал, что тот направляется по одному маршруту с черными мушкетерами, отнюдь не выболтал секрета, а лишь повторил то, что считал правдой: их посылают, сказал он, в Бетюн через Лиллер. Но упоминание о Лиллере взволновало маркиза. Ведь в Лиллере, в семье жены, обосновался после отставки Балтазар! Балтазар де Шермон — его шурин, брат госпожи де Тустен. Маркиз надумал опередить колонну, чтобы повидаться с родными, и уговорил приятеля, господина де Монбрэн, лейтенанта Швейцарской сотни, обладателя быстроходного экипажа (небольшого кабриолета, в который ему посчастливилось в Абвиле впрячь великолепного коня), доехать с ним до Лиллера: как же, кратчайший путь на Бетюн лежит через Лиллер, в этом он не сомневался,— ни у кого ведь не было карты, чтобы увидеть всю нелепость предположения, высказанного Леоном де Рошешуар. Выехав немедленно, они с таким рысаком на целый час опередят графа Артуа и по пути присоединятся к колонне.

На то, чтобы построить личный королевский конвой и мушкетеров, тоже требовалось время, что давало им полчаса лишних, и, хотя дороги размыло, не было и половины восьмого, когда они приехали в Лиллер. Балтазар, по-видимому, находился в Лилле, и госпожа де Шермон, которую они подняли с постели, была очень встревожена слухами, которые привез ночью гончар, приехавший оттуда в повозке,— слуги успели с утра сообщить ей эти неприятные новости. Быть не может? Лилльский гарнизон возмутился и поднял трехцветное знамя? А что ж с его величеством? Озадаченный граф де Монбрэн отправился на разведку, оставив Тустена в родственных объятиях. Гончара найти не удалось, видимо, он пошел спать, после того как целую ночь двенадцать с половиной миль тащился в фургоне со своим това-

ром, но кто-то сказал, будто с ним в Лиллер приехал возчик и сейчас, должно быть, пропускает стаканчик в кабачке на том конце площади Мэрии.

Тем временем та часть королевской гвардии, что была назначена сопровождать принцев и Мармона, двигалась по дороге от Сен-Поля на Лиллер через Перн. Местность тут резко отличалась от той, по которой войска проходили в четверг, чего за беседой не заметили ехавшие в экипаже господа де Тустен и де Монбрэн. Обсаженная деревьями дорога пролегала по холмам и низинам, рощицы сменялись лесами. То и дело попадались домики, хоть и крытые соломой, но непохожие на те, какие встречались в Пикардии; в этой части провинции Артуа, граничащей с Фландрией, не было ни зловонных луж, ни беспорядка, ни грязи, которые так огорчали графа в предшествующие дни. Здесь в приоткрытые двери выбеленных крестьянских домишек видно было внутреннее убранство, напоминающее интерьеры голландских живописцев тщательно наведенным блеском кухонной утвари, чисто вымытых плиточных полов и навощенной мебели... Деревни расположены среди зелени... Все это превосходно, только пресловутой приверженности к монархии, из-за которой граф Артуа выбрал именно этот маршрут, ни в чем не обнаруживается. Жителей не оповестили о следовании верных присяге войск, нигде не было видно белых флагов, крестьяне уже вышли в поле. Перн, где проливали кровь за короля, оказался всего лишь большим селом; центральная площадь, окруженная белыми домами, представляла собой выгон, где паслись овцы, вот, собственно, и все, что удалось здесь усмотреть. Герцог Беррийский с присущей ему нервозностью сновал взад-вперед вдоль колонны, но на сегодня он отбросил «стиль Маленького Капрала» и ни с кем не заговаривал запросто. Белые плащи гвардейцев конвоя напоминали ему пернских овец. В конце концов отец заразил его беспокойством, от которого до сих пор ему каким-то чудом удавалось оградить себя, хотя в войсках почти все чувствовали ненадежность своего положения. А то ли еще было бы, если бы кто-нибудь подслушал разговоры, которые вел граф Артуа с Арманом де Полиньяк и Франсуа Экаром в своей зеленой колымаге, украшенной королевским гербом!

Расстояние в шесть миль, отделяющее Сен-Поль от Лиллера, проделали всего за два с половиной часа, после этого можно позволить себе длительный привал. Лиллер расположен в равнине, усеянной большими купами деревьев, какие окружают, например, усадьбу Шермонов, и построен вокруг двух площадей, растянутых в длину и соединенных между собой тесным и коротким проулком. На первой площади — базарной — имеется довольно приличный с

виду трактир, где Мармон и предложил отдохнуть графу Артуа. Но не знаю, от кого граф услышал, что в дальнем конце второй площади находится часовня с образом божьей матери Утоли моя печали, который слывет чудотворным, а посему граф оставил свою карету под присмотром солдат легкой кавалерии и выразил желание пойти туда помолиться, как подобает в страстную пятницу. От снедавшей его тревоги в нем проснулись религиозные чувства. После того как госпожа де Поластро умерла в Англии, граф вообще проявлял сугубое благочестие. От мыслей же о кавалерии Эксельманса его утренняя тяга к молитве еще возросла. «Ладно,— решил Мармон,— хочет молиться, пускай молится»,— а сам вошел в трактир и спросил яичницу-глазунью с ветчиной.

— Это в день-то Страстей господних? — ужаснулась служанка.

Маршал объяснил, что папа разрешает военных от поста в походе и улыбнулся рослой ядреной девке — он таких любил.

Его высочество герцог Беррийский проводил отца до часовни. Но внутрь не вошел, заинтересовавшись домом как раз напротив, прелюбопытным домом из белого камня и кирпича; во всю ширину фасада была начертана дата: 1631 год, причем каждую цифру окружало что-то вроде венка. Помимо этого, в нижнем этаже помещался кабачок. Резной деревянный щипец над его крыльцом приходился на самый угол улицы, и герцогу вдруг неудержимо захотелось пива. Что-то здесь напомнило ему лондонские public houses [1], где он частенько околачивался в юные годы, когда престол был для него чем-то весьма отдаленным и химерическим.

— Пойти выпить, что ли? — обратился он к Лаферронэ; тот огорчился такой вульгарностью, но промолчал, раз навсегда взяв себе за правило перечить его высочеству только в крайних случаях. Нельзя же в самом деле препятствовать принцу общаться с простым народом!

Церковь во имя божьей матери Утоли моя печали очень невелика, но украшена со всею пышностью, присущей последнему веку королевской власти. Когда граф Артуа вошел, его поглотил сумрак притвора; от освещенной части храма, где на коленях молилось человек десять мужчин и женщин, притвор отделялся толстой деревянной решеткой, у которой толпились старухи и нищие. Графу вдруг показалось, что он не имеет права пройти за эту ограду: ведь он не исповедался, а значит, недостаточно очистился душой, чтобы переступить грань, отделяющую мрак от света небесного. Как он в этом году приобщится святых тайн?

[1] Трактиры *(англ.)*.

И где? Он втиснулся в толпу нищих и, ухватившись руками за деревянные перекладины, прижался к ним горячим лбом. А по ту сторону решетки священник, преклонив колена перед алтарем, бормотал невнятные слова, и верующие отвечали ему. Это не была месса. В страстную пятницу мессу служат днем. Граф не слышал слов молитвы. Он плохо различал живопись на боковых стенах: слева как будто изображено снятие со креста, но какое-то совсем необычное, или уж у него окончательно ослабело зрение. И он стал рыться в памяти, стараясь собрать все сохранившееся из того, что в давние времена учил об этом дне страданий и смерти спасителя нашего Иисуса Христа. Он вспомнил, что при этом читали кого-то из малых пророков, кого бишь? Кажется, Осию, там еще говорится: «Как сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше как утренний туман и как роса, скоро исчезающая. Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих...» Он застонал. И еще крепче прильнул лбом к деревянной решетке, не замечая, что бедняки отстраняются от него и жмутся по углам притвора, как будто им не дозволено быть вблизи этого вельможи, хотя они и не знают, что он брат французского короля. Впрочем, этот королевский брат теперь попросту беглец. И он снова застонал. «Господи, господи, прости нам, если вера наша была недолговечней утренней росы... но разве не восстановили мы твои алтари, не вернули статуи святых в опустевшие ниши на перекрестках и в заброшенные придорожные часовни? А ты попускаешь нечестивца взять над нами верх. Ты призываешь в мстители того, кто посмел свергнуть первосвященника в Риме... и нынче, в день своего распятия, неужто не видишь ты, как распинают нас? Прости мне, господи, я тут укоряю тебя, а между тем уже воздвигают крест и слышно, как молоток вколачивает гвозди...» И он вполголоса повторил начальные строки страстей господних по Иоанну: «Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его; знал же это место и Иуда, предатель Его...» И он, холодея от ужаса, представил себе кавалеристов Эксельманса. Знают ли и они это место? Где же Кедрон и где выйдут за него сыны французского королевского дома? «Господи, господи, прости мне, что я сравниваю несравнимое, то, что даже сравнивать — кощунство...»

Черные мушкетеры и гвардейцы конвоя со своими конями расположились на обеих площадях огромным лагерем, раскинувшимся куда шире происходивших здесь ярмарок. Они поили своих лошадей, что совсем не сложно в Лиллере, где повсюду бьют ключи и почти при каждом доме есть колодец. Местные жители гордились этим и с презрением говорили, что в Бетюне для

питья употребляют воду из цистерн... Один из каждого десятка кавалеристов стерег напоенных коней, а остальные девять шли в трактир, в кабачки, в частные дома, куда зазывали их обитатели, предлагая подкрепиться. Да, здешние жители питали явную слабость к королевской гвардии, сохранив недобрую память о тех временах, когда город был фактически оккупирован императорскими солдатами, посланными искоренять мятежный дух, господствовавший среди местной молодежи. Таким образом кабачок напротив церкви божьей матери Утоли моя печали оказался полон гвардейцев конвоя и мушкетеров, когда туда явился его высочество герцог Беррийский со своими двумя провожатыми. Его узнали и почтительно расступились, чтобы освободить ему место. Только один гвардеец из Швейцарской сотни повернулся спиной к вошедшим и, жестикулируя, в сильном возбуждении что-то говорил усатому, небритому и неопрятному мужчине в русской шапке со спущенными ушами и в рваном тулупе нараспашку, под которым виднелся странный балахон, а из прорех в залоснившейся овчине торчали клочья грязной шерсти. Его высочество собрался было одернуть наглеца, когда тот обернулся, и герцог узнал своего сверстника, господина де Монбрэн, которого не раз приглашал с собой на охоту, потому что у Монбрэна была недурненькая двоюродная сестра.

— Какого черта вы тут делаете, Монбрэн? — воскликнул он.— И в такой компании?

В самом деле, его собеседник был либо бродяга, либо разбойник. Отдав честь его высочеству, Монбрэн поспешил объяснить, что́ его так заинтересовало. Этот старик — «старик» усмехнулся весьма вызывающе: видно, не понял, кто перед ним,— итак, этот старик только что приехал из Лилля с фургоном глиняной посуды и рассказывает, будто тамошний гарнизон взбунтовался, надел трехцветные кокарды, и народ примкнул к солдатам. Герцога взорвало от таких вестей, накинувшись на пришельца, он стал трясти его за полы тулупа, выкрикивая:

— Лжешь, бессовестно лжешь, мужлан!

Высокомерным и резким движением мужлан попытался высвободиться, но тут Монбрэн поторопился объяснить ему, кто такой его высочество, что не произвело на него большого впечатления, однако удержало от дальнейших вполне естественных, но неуместных жестов. Глядя прямо в глаза принцу, он сказал охрипшим от усталости и сна голосом:

— Ваше высочество, я только отвечал на вопросы этого господина, который, по-видимому, состоит в ваших друзьях.

Какая наглость! Нантуйе шагнул вперед — необходимо арестовать, допросить этого негодяя, дознаться, кто он... Стоявшие

вокруг гвардейцы угрожающе надвинулись. Но герцог внезапно проявил широту, которая бывала ему свойственна, когда он успевал поразмыслить.

— Не троньте! — сказал он, жестом отстраняя всех.— Я сам его допрошу.— И обратился к странному оборванцу:— Послушайте, приятель! Прежде всего, кто вы? Можно ли вам верить?

Вопрошаемый стоял, скрестив на груди руки. Теперь он опустил их и ответил:

— Я не требую от вас доверия, ваше высочество. Хотите верьте мне, хотите нет, лилльский гарнизон надел трехцветные кокарды, и я уверен, что в этом городе найдутся тысячи людей, которые не могут без ярости говорить о вступлении королевской гвардии в Лилль... Я слышал, как один кирасир грозился, что, если гвардейцы посмеют подойти к городским воротам, их впустят, чтобы тут же перебить.

Вразрез со своим внешним обликом, незнакомец держался так надменно и в речи употреблял такие несвойственные простонародью обороты, что герцог Беррийский решил изменить тактику.

— Я оказываю вам честь, сударь, спрашивая, как ваше имя и откуда вы явились,— произнес он все еще величественно, но значительно сбавив тон.

Загадочное выражение мелькнуло на лице незнакомца.

— Имя мое, без сомнения, ничего не скажет вашему высочеству... А вот явился я... из Сибири... Из крепости Петропавловск на Ишиме.

Не успел герцог Беррийский, по своему обыкновению, возопить, что он, значит, из шайки бонапартовских разбойников, как один из вновь пришедших, презрев этикет, таким изумленным тоном воскликнул: «Петропавловск!» — что все взгляды обратились к нему.

Это был маркиз де Тустен, он узнал о прибытии королевской конницы и отправился на поиски Монбрэна, а название далекой крепости воскресило в его памяти давно прошедшие времена, конец прошлого века, когда царь Павел Первый сослал его туда вместе с дядей, господином де Вьомениль. Все это он поспешил изложить его высочеству в свое оправдание. И сразу же это как будто подтвердило правоту слов незнакомца. Раз существует какой-то Петропавловск, раз господин де Тустен свидетельствует о наличии в туманных далях этого самого Петропавловска, где маршал де Вьомениль обретался в 1798 году, значит, стоит приклонить слух к речам загадочного пришельца и даже в известной степени придать им веру... Пожалуй, следует отвести его к графу Артуа...

И уж во всяком случае, позаботиться, чтобы он не разглагольствовал о таких важных делах перед войсками.

— Господа? — вопросил герцог Беррийский и сделал паузу, поводя во все стороны своей массивной, ушедшей в воротник головой и окидывая присутствующих испытующим взором выпученных глаз.— Кто здесь за начальника? — И, увидев у большинства из окружающих зеленые кокарды, он добавил: — Очевидно, это солдаты герцога Граммона. Где ваш командир, господа?

Кто-то из толпы ринулся к двери, словно тот, кого звали, был в двух шагах; и правда, требуемый офицер, как по волшебству, показался на пороге — он прибежал прямо с улицы, его нашли возле часовни, где он дожидался графа Артуа, погруженного в благочестивое раздумье.

— А, это вы, Рейзе? — сказал герцог.— Препроводите этого человека в трактир, пусть мой отец...

На лице человека в тулупе выразилось изумление, впрочем, сразу же подавленное.

— Я пойду сам, ваше высочество,— шагнув к двери, промолвил он с притворным почтением, которому противоречили сверкнувшие глаза,— провожать меня незачем. Это трактир на соседней площади?

Все расступились перед ним. Герцог, не прекословя, крикнул ему вдогонку:

— Вы так и не назвали себя? Кто же вы?

— Я — майор второго гусарского полка Симон Ришар,— ответил незнакомец.— Только, господин де Рейзе,— если я верно расслышал ваше имя,— сделайте милость, не прикасайтесь ко мне. Я не выношу панибратства...— И он резким движением сбросил руку, которую Тони положил ему на плечо.

* * *

Допросив возвращавшегося из плена майора и оставшись в трактире одни, граф Артуа, его сын и маршал Мармон растерянно переглянулись. Верность показаний не подлежала сомнению, слишком уж подробно передана каждая мелочь, да и о самом рассказчике явно нельзя судить по одежде. Как же быть? Продолжать путь на Лилль, рискуя столкнуться с бандой мятежных солдат, численно превосходящей ту часть королевской гвардии, какая сопровождает их и не насчитывает даже полутора тысяч человек?.. Разумнее всего свернуть на Бетюн, хотя бы уж для того, чтобы отдать распоряжение остающимся, которых никоим образом нельзя увести с собой. А вдобавок поклажа, кареты, лошади! По правде сказать, богатства графа находились при нем, недаром вся его

карета была загромождена бочонками. Ибо он-то катил в карете. И лишь время от времени приказывал подать верховую лошадь, чтобы поразмяться и показать себя войску. Так или иначе в Бетюне легче будет разобраться, как обстоят дела. Возможно, в Бетюн пришли вести от его величества? Вот в этом граф сомневался. Словом, какое расстояние до Бетюна? Немногим больше трех миль... Верхом туда можно добраться к десяти. Будет время поразмыслить. Пожалуй, имеет смысл послать в Лилль небольшой авангард... или уж явиться туда с артиллерией Мортемара... А вдруг король еще там? Правда, этот самый майор Ришар считает, что король уехал. Но ведь он руководствуется базарными слухами. Сам-то он не видел, что называется воочию не видел, как его величество через потерну выбирается из города. Он что-то такое слышал якобы от очевидцев... а те, возможно, принимали желаемое за действительное.

— Может статься, король выехал на прогулку?

— Вы попросту глупы, любезный сын. Хорошее время для прогулок!

— Ну, тогда король мог наведаться в другой гарнизон в тайной надежде найти там поддержку против бунтовщиков-кирасир...

— Между нами, не понимаю я Мортье. Что же он, в самом деле, не способен поддержать дисциплину во вверенных ему частях? Ну, а если его величество все-таки уехал... так куда, спрашивается, он уехал из Лилля? Сами ж вы, господин маршал, нынче утром говорили, что трудно придумать лучшее место, где бы можно было выждать, пока подойдут союзнические войска. Ведь только один этот майор утверждает, будто Людовик XVIII уехал. А сказать, куда уехал, он не мог, вероятно, он и вообще ничего толком не знает...

— Так или иначе, ни слова, никому. Чем можно мотивировать отмену приказа, когда, как на грех, только что по всем частям разослано распоряжение следовать на Лилль и точно расписаны все этапы?

— Какая важность, попросту изменим направление, а если кто и удивится, беда не велика, благо перед выездом из Сен-Поля войсковым частям предусмотрительно было дано понять, что их ведут в Бетюн на соединение с Лористоном и Ларошжакленом... и насчет разговоров в кабачке тоже незачем беспокоиться, еще неизвестно, что́ все эти гвардейцы расслышали, что поняли и, наконец, чему поверили... Вот что — мне пришла хорошая мысль,— сколько ни думай, лучше не придумаешь. Надо под каким-нибудь предлогом вызвать господина де Рейзе и вскользь, как бы доверительно, однако не настаивая на соблюдении тайны, сообщить ему, что перемена маршрута вызвана полученным от короля посланием —

это вполне правдоподобно, столько времени от него ни звука... да, так его величество будто бы выражает желание, чтобы гвардия направилась не прямо в Лилль... Таково, мол, его желание... а раз в таком духе высказывается его величество... что ж, пусть лучше критикуют распоряжения его величества, чем наши, ведь командует-то здесь кто? Не кто иной, как вы, господин маршал. От моего имени, но, безусловно, вы.

Итак, пора трубить сбор.

— Что ж вы не отдаете распоряжений, господин маршал? Ну вот, отлично.

Граф Артуа расположился в своей зеленой берлине. Арман де Полиньяк подхватил бочонок, скатившийся с сиденья, и поставил возле себя. Франсуа д'Экар уселся напротив.

Когда человек в тулупе увидел, что кавалеристы садятся в седло, он усмехнулся и что-то пробормотал сквозь зубы. А затем отправился в сарай к гончару, куда поставил отдыхать Буланого. Оба уха его меховой шапки подпрыгивали на ходу. Теперь майор Симон Ришар был совершенно уверен в себе. Он мог спокойно возвратиться в долину Соммы. И даже снова стать там графом Оливье. Ибо он взглянул в лицо генерал-майору Антуану де Рейзе и ощутил руку этого самого Тони на своем плече без малейшей дрожи, без желания накинуться на него и убить, зверски убить собственными руками.

Значит, отныне ничего невозможного нет.

«А как же Бланш, хотелось бы мне знать,— неужто она тоже изменилась, отяжелела, расплылась? Сколько ж ей теперь лет? В тысяча восемьсот втором году ей минуло восемнадцать. Ну да, она родилась в восемьдесят четвертом. Восемнадцать и тринадцать... Невообразимо! Тридцать один год! Уже вполне зрелая женщина...» Раз он мог хладнокровно смотреть на Тони, на его двойной подбородок, на гусиные лапки у глаз, Бланш и подавно покажется ему чужой. «Тридцать один год... На Ишиме женщины в этом возрасте совсем старухи... О наших детях я не говорю. Ведь я их даже не знал».

* * *

— Я внимательно слушал вас. Вчера вечером вы открыли мне глаза на то, без чего я не мог до конца понять речи, которые произносились в Пуа,— сказал Теодор приютившему его майору.— Но это мало чем мне помогло, я по-прежнему не знаю, на чью же сторону встать.

После прогулки по городу они уселись под навесом офицерской кофейни, что возле башни, в непосредственно примыкающем

к ней здании. Перед ними как на ладони лежала Главная площадь, где расположились лагерем гвардейцы конвоя, жандармы, Швейцарская сотня... Мушкетеры в это утро несли сторожевую службу на крепостных стенах и у городских ворот. Перед ратушей были выставлены две пушки, их окружали гренадеры. Неразбериха царила полная, тут же толклись местные жители и стояли кареты, которые пришлось бросить, так как в Бетюне все ворота были заперты. На длинных дрогах, тащившихся в обозе от самого Бовэ, спали, подостлав солому, недавно подошедшие волонтеры, а из окон понуро свисали белые, в дождевых подтеках флаги. С половины девятого утра из Сен-Поля начали прибывать пешие беженцы, но в городские ворота их впускали только после долгих уговоров. Бетюнские ребятишки вприпрыжку, с гиканьем бежали рядом с обозом, провожали солдат, как на праздник, и тут же играли в чехарду.

— Если бы выбор был только между Наполеоном и Людовиком Восемнадцатым,— говорил мушкетер,— возможно, на мое решение повлияло бы уже одно то, что король бежит, а на стороне Бонапарта армия... Однако теперь мне ясно, что есть и третья сила. Но вот что нелепее всего: вы мне ее открыли, но вы сами не можете доказать, что́ более в интересах этой третьей силы, буде мне вздумалось бы примкнуть к ней. Ведь вы не в состоянии ответить на первый же вопрос, на вопрос, который поставил передо мной болван Удето,— зачем императору понадобилось, призвав Карно к власти, осчастливить его графским титулом?

Майор покуривал трубку и пожимал плечами. Разве в этом суть? Прикажете из-за этого меньше верить Карно — человеку, который ни разу не изменил республиканским идеалам? Ведь его присутствие подле императора знаменует союз армии и народа, а это главное.

— По словам Удето, Наполеон тем самым показывает, что ему не угодно быть императором черни... Удето смотрит на все глазами своей касты. Ну, а я... Из того, что вы говорили, я твердо понял одно: Франция может дать отпор аристократам и союзникам, отечественным заговорщикам и иностранным армиям, только если народ будет вооружен. Вряд ли Наполеон решится на это. Неужто вы не понимаете, что и он, в свою очередь, дарует стране хартию, только назовет ее конституцией, а дальше что? Дальше все пойдет по-прежнему — дворцы, празднества... А народ по-прежнему будет подыхать с голоду. И армия, если она окажется победительницей, будет служить для того, чтобы держать в страхе народ. Если же ее разгромят иноземцы, она примкнет к лагерю обездоленных, вот и все. Один день кричи: «Да здравствует король!», другой: «Да здравствует император!» Потом опять сначала. Благодарю покор-

но! Если меня отпустят, я, по всей вероятности, возвращусь к своему уважаемому батюшке. Опять возьмусь за кисти, это и есть моя работа, я живописец, а не пекарь, не возчик, не кузнец. Не знаю, при ком мне приятнее писать — при императоре ли, который желает, чтобы на картинах, где он изображен, не было других персонажей, могущих его затмить, и вдобавок эти картины проходят через цензуру барона Денона... или при короле Людовике — тот раздает награды за ученическую мазню во славу Генриха Четвертого и за полотна религиозного содержания, ибо это льет воду на монархическую мельницу. Неужто за наш век не произойдет никаких перемен? Как ускорить их? Или уж это такие авгиевы конюшни, где бессилен даже Геркулес...

Майор возразил, что перестроить мир, по-видимому, все-таки можно... Вспомните Революцию... и все, чему мы были свидетелями... Конечно, не всегда идешь прямым путем, бывают и отступления и срывы. Однако же...

— Революция — возможно. Ведь я знаю о ней лишь то, что мне внушали. Да, разумеется, отцы наши,— и Теодор покраснел при мысли о своем,— словом, люди вашего возраста, без сомнения, верили, что это действительно перевернет мир. Столько великих, благородных идей... а к чему они привели? К кровопролитию. К преступлениям без числа. Нет, не перебивайте меня! Не все же, что говорят,— сплошная ложь. Даже если Робеспьер был прав... у меня есть дядя, который подал голос за смертный приговор королю, он ни разу не попытался убедить меня в своей правоте. Одно преступление тянет за собой другое, и даже если это другое имеет целью исправить предыдущее, оно тем не менее остается преступлением. Но вся кровь, обагрившая руки якобинцев,— ничто по сравнению с тем, сколько ее пролито императором. Поверьте, мне наплевать на герцога Энгиенского, не в этом дело, но ведь Наполеон... Вы скажете, что королевская власть зиждилась на бесконечной цепи преступлений против народа, знаю, знаю! А Империя? Чего в конце концов желал народ? Почему он устал бороться, покорился произволу? Вместо покоя — двадцать лет непрерывных войн и полиция, какой еще не видал мир. Я понимаю, этого требовала логика событий: Бонапарт, чтобы укрепиться на престоле, конечно, должен был создать полицию, но ведь она заполонила у нас все, наложила лапу на всю нашу жизнь, она контролирует, провоцирует... Полиция в какой-то мере порождение свободы... Наполеон возвращается, чтобы защитить свободу и ограничить ее, победу торжествует не он и не народ, победу торжествует Фуше...

Теодор говорил машинально. Его внимание было поглощено пестрым скопищем мундиров, касок и медвежьих шапок, ребяческой мишурой золотого шитья, суташа, позумента, кичливой пыш-

ностью эполет, всей этой амуницией, напоминающей сбрую цирковых лошадей, с золотыми кисточками, аксельбантами, плюмажами. Этот поддельный блеск в свое время пленил и его самого...

— Нет,— вскипел вдруг майор,— Фуше олицетворяет не полицию вообще, а лишь полицию определенного направления... Не знаю, из каких политических соображений Карно взял его к себе в помощники... но кто-кто, а уж армия сейчас бесспорно в выигрыше. Даже и здесь, хотя в Бетюне стоят «белые» и «красные» роты, господин де Мольд счел необходимым держать гарнизон в цитадели из опасения, что... вы сами видели, как офицеры с трехцветной кокардой проезжали в экипаже по площади и никто не посмел остановить их!

— Трехцветная кокарда, белая кокарда — по-вашему, я могу выбирать только между ними! — воскликнул Теодор.— Допустим, императорские цвета служат в настоящее время скорее эмблемой армии, нежели полиции. Почему так получилось? Да потому, что это не народная армия, а та сила, которая поддерживает правительство, это орудие, с помощью которого правит генерал Бонапарт. Да, с площадей сняли гильотину, зато в войска забрали молодежь и послали исполнять роль жандармов по всей Европе, предпочтя гражданской войне просто войну. Значит, у меня один выбор: под каким предлогом проливать кровь... Либо смута, либо война — иного выхода нет! Господи, неужели так будет всегда? Любой человек, на которого я смотрю, представляется мне не иначе, как мертвым, окровавленным... К какой бы партии он ни принадлежал... Глядите: рот искривлен, глаза закатились, лицо потемнело, стало землистым... И я буду с теми, кто гибнет! А цвета, в которые окрашена ваша жизнь! Разве это цвета красоты? Нет, это цвета страдания, это покой смерти!

Майор пожал плечами. Ох, уж эти артистические натуры! Подавай им красоту, только красоту. Что это за точка зрения? И при чем тут смерть! Вот уж путаники и любители противоречий. Точь-в-точь буриданов осел. Вы слышали про буриданова осла?.. Он так же, как вы, не знал: то ли ему воду пить, то ли есть овес... и не двигался с места, колеблясь между тем и другим. Кстати, Буридан был родом из Бетюна...

В тоне собеседника Жерико почувствовал презрительный оттенок. На самом же деле перед ним стояла не та дилемма, что перед буридановым ослом,— его одинаково отталкивала и Империя и королевская власть, вот оно что. Можно подумать, что майор умел читать в мыслях. Как бы то ни было, он сказал:

— Неужели вы не понимаете, что в данном случае осел колеблется не между наследственным и вновь воздвигнутым престолом. Перед ним выбор — эмиграция или Франция...

Франция! Пожалуй, единственное слово, которое могло поколебать этого мушкетера — мушкетера только по мундиру, этого художника, оторванного от своих полотен, от самого себя. Он жил среди людей, для которых Франция перестает быть тем, что она есть, если ее покидает один человек, если из нее эмигрирует король. И Теодору вдруг представились дезертиры на площади Карусель, эти провинциальные дворянчики, у которых не хватило духу сопровождать короля к границе. Что, если правы были они?

— Этот век не по мне, я не нахожу для себя пути,— снова заговорил Жерико, ища взглядом на уходящих вдаль улицах что-то, чего не видно было отсюда.— Может быть, позже... когда люди покончат с распрями, которые никак не увлекают меня. Позже... я снова буду писать картины, да, писать — вот и все. А что — пока не знаю... Должно быть — народ, которому не осталось места на земле, его вытеснили герои, чья доблесть в том, чтобы убивать, убивать его. Я отведу ему место на своих картинах. Он будет царить на них таким, каков он есть, лишенный надежды и силы, растративший свою красоту.— Все это приходило Жерико в голову тут же, по ходу разговора. Что ж такого? Мысль всегда импровизация.— Мне хочется сочинять и рассказывать. Рассказывать с помощью красок и теней. Чтобы заглушить звон кандалов, которые мы влачим на нашей каторге. Рассказывать о том, что составляет наш удел,— о новых бедах. И я все предвижу заранее: мои картины будут смотреть, обсуждать, на какой-то срок они возбудят толки в газетах и журналах. Потом вкусы изменятся и живопись тоже. Меня перестанут понимать. То, что я выражал или хотел выразить, уже не найдет отклика, останется только моя «манера». Ведь у солдат восемьсот тринадцатого года теперь уже не те лица, их чувства отжили, уступили место новым... Разве можно угнаться за мыслями, когда они то и дело меняются. Давид, тот писал для вечности. Мне же хочется быть художником непрестанно меняющегося мгновения, ловить и запечатлевать его... Взгляните, перед вами Бетюн в страстную пятницу... Никто никогда не напишет этого... И пытаться нечего. Безнадежно. Когда-нибудь художники станут благоразумны, будут довольствоваться вазой с фруктами. Меня тогда уже не будет на свете. Черт побери, меня уже не будет.

— Не понимаю я вас,— вставил майор,— на вашем месте я пошел бы к старьевщику на Приречной улице и купил бы себе штатское платье.

Не успел он договорить, как раздались громкие крики. Люди засуетились, лошади у коновязи повернули головы и заржали, забили барабаны, чтобы взбодрить смертельно усталых солдат и коней, и с улицы св. Вааста на площадь вылетела легкая кавалерия господина де Дама́ с маршалом Мармоном и герцогом Беррийским

во главе, следом за ними — черные мушкетеры господина де Лагранж, а дальше целый сонм белых плащей,— королевский конвой... Карета графа Артуа, который высунулся из окошка... Опять солдаты конвоя... еще и еще кареты, желтые, зеленые, черные... с пожитками сановных господ и с чванной челядью.

* * *

Принцы следовали из Лиллера через Шок. Еще три с четвертью мили... Но главное не расстояние, а страх. Страх обуревал принцев, которые знали или догадывались... Страх обуревал тех, кто ничего не знал, но пугался перемены маршрутов и противоречивых приказов. Страх перед Эксельмансом, перед императорскими войсками. А при въезде в Бетюн беглецы, словно в зеркале, увидели свое подобие — та же растерянность, та же усталость, части королевской гвардии уже в полном разброде, нет ни решимости обороняться, ни сил двигаться дальше. И все это в городе, обнесенном стенами, с запертыми, согласно приказу, воротами, с контргардами, с часовыми на вышках и сторожевыми постами на передовых укреплениях. Что сказать о проделанном пути? От Лиллера дорога сперва идет лесами и пастбищами... В Шоке Сезару де Шастеллюкс захотелось пить, он спешился, чтобы напиться в кофейне пожарных... Там ему рассказали, что как раз на этих днях у одного из местных фермеров рыли колодец в восемьдесят восемь футов глубиной и вдруг в саду стал хлестать фонтан воды, да такой высокий, что при вчерашнем ветре, когда прямо быка с ног валило, струю отнесло на крышу дома. Представляете отчаяние хозяина! Бедняга рвал на себе волосы и причитал: «Видно, мой грех до меня дошел!» Но тут кто-то надумал, что надо сменить трубу, поставили другую, вдвое шире в поперечнике, водяной столб снизился, как миленький спустился ниже уровня крыши,— теперь придется рыть вокруг водоем... Не желаете ли поглядеть, господин офицер? Нет, офицер уже вскочил в седло. Он думает о Лабедуайере и с горечью повторяет красочное выражение, которое употребил незадачливый хозяин колодца: «Мой грех до меня дошел».

Ближе к Бетюну почва становится белой от мела, и вот уже развернулась панорама города — церковь св. Вааста, цитадель, дозорная башня. Отсюда ясно видно, что весь он громоздится на скале, этот город со ступенчатыми крепостными стенами и искусно возведенными укреплениями. А правее и севернее — рощицы с просветами между ними, еще дальше — холмы. Вся равнина уже зеленеет. О чем же замечтался Сезар де Шастеллюкс? Лошадь идет сама, а он едет с закрытыми глазами. Ему представляется

Шарль де Лабедуайер... Нас тоже дядюшка воспитывал на Жан-Жаке Руссо. Но самые красивые слова не оправдывают измены...

Давайте же и мы закроем глаза. Вот я подношу к ним усталую руку, одно за другим придавливаю оба века. И сквозь дрему наяву передо мной вырастает будущее. На сей раз будущее не отдельного человека. Оставьте меня, бога ради, в покое с вашим зятем, господин де Шастеллюкс, я знать не знаю, каков из себя этот Лабедуайер, которого впоследствии расстреляют. Это будет так, словно расстреляли вас самого. Нет, не ваше будущее. Будущее ландшафта, перед которым я закрыл глаза.

Переносясь в это будущее, я поворачиваюсь во все стороны — на юг к Марлю и к Брюэ-ан-Артуа, или еще дальше на запад, где Нё, а за ним смутно угадывается целый край... или в другую сторону от Гомама до Облигема, где Ванден, Анзен... Что там происходит, что за переворот в природе? Равнина вздыбилась черными конусами с какими-то странными стрелами на верхушках, вроде протянутой вбок руки, некоторые конусы уже вновь заполонила зелень — знак того, что они покинуты людьми. Повсюду непонятные строения прямоугольной или полукруглой формы и людские жилища — точно норы из темного кирпича, скучное однообразие убогих красных и черных домишек, ничто не напоминает прежние времена, даже и церкви,— столько раз все это разрушалось и восстанавливалось кое-как, лишь было бы где переночевать между одним рабочим днем и другим рабочим днем, не спасают и смешные крошечные палисаднички, дощатые навесы, возле самых домишек цветы и палки для будущего душистого горошка, рядом свалки для нечистот, а на стенах крупными яркими буквами — рекламы трикотажа, вина, минеральной воды... Случалось вам видеть, как муравьи, после того как спалят их муравейник, собираются и вновь восстанавливают его? Терпеливо перетаскивают на спине яички и непомерно большие былинки?

Здесь все черно. Чернота въелась в глаза, под ногти, в трещины в коже, пропитала легкие. Она наметена в гигантские кучи угольной пыли, которые называются терриконами. Эта чернота, эта жирная угольная грязь проступает из земли: кажется, будто дыхание преисподней вырывается из бескровных губ и накладывает свой отпечаток на слизистую оболочку, на руки, на дороги, на грезы отрочества и на немощи преждевременной старости. Ничего, ровно ничего не осталось от прежнего. Приручённые реки образуют излучины, по каналам плывут длинные плоские баржи, а чернота обосновалась и почивает в раздумье. От прежнего не осталось ничего. Вопросы, волнующие людей, изменились. Кроме усталости и голода. Люди выводят на стенах мелом или белой краской гигантские крамольные письмена — в защиту одного из своих, не по-

желавшего сражаться под начальством немецкого генерала, против депутатов, против войны, и за ту войну, что шла вдалеке, а вот самые последние знаки — одни призывают к власти генерала, другие провозглашают союз трех стрел с серпом и молотом... Кажется, все пошло с той находки в недрах земли — с угля, заполонившего целый край. Все, вплоть до огромных кузнечиков на колесах, вплоть до красных безлошадных телег, размерами под стать гигантскому размаху самого начинания. Будущее... Оно-то сделало выбор между Людовиком XVIII и Наполеоном? Кто владычествует в этом хаосе, сродни хаосу, что был после потопа? Народ? Кому принадлежат чернеющие на равнине холмы и сложные механизмы?

Прошло сто, сто сорок с лишним лет... Все стало иным. Отношения между людьми, их души, их жизни, окружающий ландшафт. Изменилось даже то, что казалось незыблемым. Все это можно написать. Живописцы для того и существуют. Для того, что живет и что умирает. Для отчаяния и гнева. Однако есть и такое, чего не запечатлеешь на картине. Нельзя живописать перемены. Перемены во чреве земли и в мозгу людей.

Сезар де Шастеллюкс открывает глаза и видит то, что есть. Равнину. Плоский земледельческий край с еще безлистыми рощами, где деревья перемежаются с кустами, и первые зеленые ростки на полях.

А впереди Бетюн, большущий серый артишок с ощипанными листьями... Сезар оборачивается и вглядывается вдаль, не видно ли кавалеристов Эксельманса. Подобно всем, решительно всем, ему еще страшнее оттого, что их не видно, и тем не менее он уверен, что они где-то тут поблизости, готовят какой-то дьявольский подвох и в любой миг могут наброситься на королевскую гвардию. Но позади Сезар видит только еле передвигающихся, измученных, запуганных королевских кавалеристов, видит только белые плащи, каски, красные доломаны. Кругом равнина. Плоская, как ладонь, если не считать оголенных перелесков. Что за фантазия? Равнина как равнина. Без конусообразных черных холмов со стрелой наподобие протянутой вбок руки... Да о чем вы толкуете? Равнина, помартовски зеленеющая, с меловыми пятнами. Такой она всегда была, такой всегда и будет.

Близ города навстречу попалась линейка, в каких ездят свадьбы, с верхом из суровой в красную полоску парусины, спускающейся фестонами. Внутри набито до отказа, весело, шумно. Все военные. На козлах, на подножках, на скамейках, между скамейками, стоя. За кучера — лейтенант, он настегивает четверку лошадей, запряженных в линейку, остальные тоже офицеры. Что с ними? Перепились, что ли? Они приближаются, и видно, что на всех трехцветные кокарды; вот они проезжают вдоль ошеломлен-

ной колонны с взрывами хохота, трезвоном колокольчиков и кликами: «Да здравствует император!» Куда они направляются? Кто знает...

Его высочество герцог Беррийский рванул поводья и чуть было не ринулся на линейку, но его образумил де Лаферронэ. Да, правда, неизвестно ни что впереди, ни что позади. И что происходит в Бетюне. А вдруг эти молодчики едут на соединение с Эксельмансом или еще с кем-то? Какой срам. Крупные слезы в который раз набегают на глаза принца, в чьих жилах — все будущее Бурбонов.

* * *

Принцы со своим отрядом въехали через Эрские ворота, миновали Льняной рынок, пересекли Главную площадь под зловещую дробь барабанов, под грохот карет по неровной булыжной мостовой, а на лицах всадников — бледность поражения и страха; усталые кони, усталые люди. Никаких объяснений не требовалось: обыватели, перемешавшиеся с солдатами, с пешими волонтерами, с гвардейцами конвоя, распустившимися за долгую стоянку, гренадеры на карауле у ратуши, посетители кофеен, внезапно вскочившие с мест,— все понимали, что катастрофа надвинулась. Да что же, собственно, происходит? Куда ведет своих солдат маршал Мармон, следующий верхом через площадь? Неужели он не остановится? Неужели он приехал сюда не для того, чтобы пресечь разброд в королевской гвардии, собрать воедино рассеявшиеся части и направить все верные войска в Лилль, к королю?

Но нет, отряд просто пересекает город, даже не собираясь делать остановку. Что это значит? Такой вопрос задают не только в толпе военных и штатских, на улице, у окон, в кофейнях — он точно кошмар навис над самим отрядом, над всадниками, которые топчутся на месте, сгрудившись в узких переулках, или протискиваются сквозь взволнованную толпу, над всадниками, которые с утра проделали уже около десяти миль, неизвестно зачем изменили маршрут, отклонились на Бетюн, считая, что это и есть цель их следования, но оказывается, что нет, их, по-видимому, гонят дальше, к Лиллю: ведь головная часть колонны уже вышла с площади на улицу Большеголовых и свернула на Аррасскую улицу... А в Лилле взбунтовался гарнизон...

Командир серых мушкетеров Лористон совещался в ратуше с супрефектом, мэром и господином де Мольд. Он увидел в окно, что творится, и совсем потерял голову. Постойте, надо предупредить графа Артуа, маршала! Им ничего не известно. Они не знают о письме герцога Тревизского! Супрефект Дюплакэ опрометью

сбежал с лестницы, другие чиновники — следом за ним. Они мчатся, расталкивая толпу, кидаются под ноги лошадям, и только на Аррасской улице напротив Тесного переулка догоняют карету графа Артуа. Господин Дюплакэ обнажает голову, а его высочество через дверцу подает знак кучеру. Скрипят удила, колеса скребут булыжник. Что случилось? Те, что впереди, продолжают двигаться дальше. Лошади задних наталкиваются на крупы, потому что всадники не успели натянуть поводья и вовремя остановить их машинальный бег. Граф подозвал солдата легкой кавалерии, и тот, с трудом пробираясь между домами и войсковой колонной, бежит по узкой улице предупредить головной отряд — маршала, герцога Беррийского... Что случилось? Карета графа Артуа не может повернуть. Сперва соскакивает Франсуа д'Экар, затем Арман де Полиньяк, последний помогает графу Артуа, который, сойдя с подножки, надевает треуголку с плюмажем.

Отрывистые слова команды, лошади подались назад, многие всадники спешились. Принцы, господин де Лагранж, маршал, целый синклит генералов, всех и не назовешь, а также господин Дюплакэ и его спутники, которые жестикулируют и отвешивают поклоны, гурьбой возвращаются на площадь и всходят на крыльцо ратуши, где их встречает господин де Лористон...

Сезар де Шастеллюкс стянул к ратуше отряд легкой кавалерии, гренадеры ретировались, отсалютовав саблей. Что происходит в ратуше? Всех сбил с толку самый последний приказ, согласно которому в Бетюне решено не останавливаться, соответствующая эстафета послана Мармоном коменданту крепости. Сезар ничего не понимает, а тесть не может дать ему разъяснения. Господин де Дама́ болен, его усадили в карету в самом хвосте колонны, он ничего не знает. Карета желтая, в нее сложили пожитки командира легкой кавалерии и его зятя; туда же Деман, казначей роты, отнес папку с делами, и она теперь валяется на ящике с серебром. Сезар смотрит на Главную площадь, где стало еще теснее оттого, что колонна повернула вспять. Он видит своего родственника Луи де Ларошжаклен, которого вызвали на совещание в ратуше, видит царящую вокруг неразбериху и растерянность, и вдруг глаза его застилает туман. Ему представились солдаты Эксельманса, которые рыщут где-то вокруг и непременно оцепят город, если не вывести войска сейчас же. А с кем доведется столкнуться по пути в Лилль? Гарнизоны снялись с мест и маршируют по всем дорогам. Кто же здесь командует? Кто?

Но вот перед ним, все заслоняя, встает образ Шарля де Лабедуайер, пленительного лукавца, которого, как ему казалось, он привлек на сторону монархии, образ торжествующего, улыбающегося Лабедуайера с горделивой осанкой и надменными речами...

Лабедуайера, которого расстреляют, когда настанет осень. Что, если Лабедуайер в числе преследователей? И они столкнутся лицом к лицу?

— Незачем сидеть здесь,— сказал майор Теодору.— Пойдемте ко мне, мы успеем добраться до лавки, пока войска не двинулись дальше. И лошадь будет у вас под рукой в случае чего...

С улицы Большеголовых через посудную лавку они вышли в Тесный переулок. Жерико хотел убедиться, что Трик ухожен и сыт. Но сюда тоже нахлынули гвардейцы конвоя, в заведении господина Токенна было полно лошадей, и мастеровые из кузницы угощали вином спешившихся кавалеристов. Это были гвардейцы Ноайля с голубой выпушкой на мундирах, и все радовались передышке, смеялись и по-братски выпивали вместе. Трику, как и коням новых постояльцев, принесли гарнец овса. Гости пили местное кисленькое вино за здоровье короля. Теодор наблюдал, кто поддерживает тост, оказалось, что и те и другие, и гвардейцы и бетюнские рабочие.

— Не выпьете, приятель? — Теодору протягивал стакан рослый молодой человек, русый, остроносый, с зачесанным наверх кудрявым вихром. Они назвались. Имя гвардейца ничего не сказало художнику: еще один провинциальный дворянчик, из тех, что щеголяют двойной фамилией. Этот был уроженец Макона, жизнерадостный юноша с заразительным смехом, даже странным в такие минуты. Зато ему фамилия Жерико была знакома.

— Вы родня художнику? — спросил он, и Теодор, краснея и отводя глаза, шепотом признался, что это он и есть.

— Вот как! — воскликнул гвардеец.— Выпьем же за искусство, сударь, в этом обиталище ремесел, среди этих славных малых, которые ничего в нем не смыслят. Вам знакома живопись графа де Форбэн? Помимо портретов его красавицы дочери, госпожи де Марселлю, он повинен еще в пейзажах, написанных в манере Клода Желле по прозвищу Лоррена, однако что-то в них есть и свое... Он друг нашей семьи... но я-то особенно его люблю за итальянский дух его живописи. Ах, Италия, вы никогда не станете настоящим художником, покуда не повидаете Италию. Вы не бывали там? Давайте выпьем за восторги, которые ждут вас по ту сторону Альп, в Италии!

Внезапно имя, которым назвался гвардеец, дошло до сознания Теодора,— правда, он не был уверен, что не ошибся, но ударение на слоге «Италия» что-то напомнило ему:

— Если я верно расслышал, вы прозываетесь господином де Пра? Простите, что я переспрашиваю...

— Ну да,— подтвердил гвардеец.— Альфонс де Пра де Ламартин. Но вы не ответили мне, господин Жерико: вы собираетесь побывать в Италии? — И, подумав, добавил: — Кстати, вам не случалось, сударь, читать мои стихи?

— Читать — нет,— ответил Теодор.— Но мне их декламировала одна юная девица...

— Вот как? Да, правда, мои стихи по большей части нравятся барышням.

Теодор подумал, что дело тут, пожалуй, не в стихах.

* * *

В большом зале ратуши происходило уже не совещание штаба, а совет всех начальствующих лиц во главе с графом Артуа, герцогом Беррийским и маршалом. Среди собравшихся были Лористон и Лагранж, герцог Мортемар, Луи де Ларошжаклен, Этьен де Дюрфор, граф де Верженн, командир дворцовой стражи, и полковник Дрюо, командир волонтеров, господин де Мольд и гражданские власти — господа Делало и Дюплакэ, маркиз де Бэйна... Никто не созывал этого собрания, оно возникло стихийно, и на нем царила величайшая растерянность. Граф Артуа призвал еще Шарля де Дама́, который счел за благо остаться в карете на площади — его лихорадило. Но теперь он поднялся в зал и присоединился к этому хору без регента.

Сейчас от командиров рот уже невозможно было утаивать истинное положение, в которое ставило королевскую гвардию известие об отъезде короля. Да, его величество покинул пределы Франции, не дожидаясь их. И даже никого не предупредив. Если же и мы уедем, известие это, конечно, нельзя будет скрыть от остающихся, не надо только, чтобы оно дошло до низших чинов в тех частях, которые будут сопровождать принцев.

— Как? Кто остается? — в один голос закричали господа де Лористон и де Лагранж. Значит, войска будут брошены на произвол судьбы?

Нет, нет, поспешил успокоить их маршал. Совершенно очевидно, что для обеспечения безопасности их высочеств необходимо, чтобы значительный отряд кавалеристов на крепких конях сопровождал принцев вплоть до границы... а там, ну, там видно будет, кто захочет — поедет дальше, кто захочет — останется. Это уже дело казначейства. Сами посудите, откуда в Бельгии взять средства, чтобы содержать три тысячи солдат под ружьем? Ротные кассы не бездонные...

Но какое взять направление? Единственная хорошая мощеная дорога на Лилль — через Ла-Бассэ, однако граф опасался

натолкнуться там на отряд, высланный из гарнизона им навстречу. Лучше обходить укрепленные города. Ибо отныне армия — это Буонапарте.

Его высочество герцог Беррийский опять выдвинул свой план, который предлагал еще утром в Сен-Поле: следовать вдоль канала Лав через Лестрем и Ла-Горг с тем, чтобы попасть в район между Байелем и Армантьером, где меньше всего пограничных постов. Только было принялись обсуждать его предложение, как снизу послышался глухой шум, и господин де Дама́, выглянув в окно, сообщил, что на площади происходит суматоха, близкая к панике. Солдаты бросаются к лошадям, офицеры выстраивают их, а сами обнажают сабли, раздаются крики: «К оружию! К оружию!» Пока генералы судили и рядили, господина де Мольд послали узнать, что случилось, а с ним вместе спустился и полковник Дрюо, обеспокоенный участью своих волонтеров правоведов.

На лестнице они столкнулись с гвардейцем из отряда легкой кавалерии, который, спросив, где найти принцев, бросился в зал заседания, узнал герцога Беррийского и крикнул:

— Ваше высочество! Мы пропали! Войска Эксельманса штурмуют город.

Тут поднялся страшный переполох, все повскакали с мест, граф Артуа закричал: «Коня мне, коня!»; все командиры, и маршал, и герцог, и супрефект Дюплакэ, и мэр с советниками ринулись к лестнице, подтягивая портупеи, пристегивая сабли и впопыхах надевая каски. Внизу сумятица еще усугубилась оттого, что отставшие от колонны, которая двигалась из Сен-Поля, пешие из разных войсковых соединений — гвардейцы конвоя и Швейцарской сотни — поодиночке, разношерстными группами продолжали прибывать через Сен-Прийские ворота и стекались на площадь с улицы Большеголовых и с улицы Оловянных горшков, так что построить войска почти не было возможности, и герцогу Беррийскому еле-еле удалось сперва отыскать верховых лошадей — свою и отцовскую, а затем собрать гренадеров и легкую кавалерию и направить их вместе с волонтерами и пешей Швейцарской сотней к Приречным воротам, куда, по слухам, заявились уланы с требованием впустить их в город. Горожане, не щадя сил, впряглись попарно в мортемаровские пушки, чтобы вкатить их на крепостной вал и оттуда стрелять по осаждающим.

Путь от Главной площади до Приречных ворот недолог, надо только пройти грязную улицу с мясными лавками, где набросаны кости и стоят лужи крови. Отряд проскакал по ней верхом; примчавшись к воротам, герцог Беррийский приказал открыть их.

* * *

И тут, как и везде, никаких солдат Эксельманса не было. Вместо них у ворот оказались два эскадрона 3-го уланского полка, которые во вторник 21-го марта прошли через Бетюн, следуя из своего гарнизона в Эре на Париж, в осуществление данного на предыдущей неделе приказа короля о переброске войск в столицу. Однако, дойдя до Арраса, они узнали о бегстве его величества и тут с благословения своего командира, генерала Теста, надели трехцветные кокарды. Возвращаясь к себе в гарнизон, они в это утро подошли к Аррасским воротам, оказавшимся запертыми, и тщетно добивались, чтобы их впустили в Бетюн. Несколько крепких слов, сказанных в пылу спора — и поднялась паника. Командир улан сгоряча выкрикнул воинственную и вполне безответственную угрозу: «Если не откроете, я возьму город штурмом!» После этого он приказал своим солдатам пройти по дороге, огибающей крепостной вал между Аррасскими и Приречными воротами, и построил эскадроны на лугу, который спускается от ворот к каналу и носит название Конного базара. Для столкновения не было ни малейшего повода, уланы преспокойно прошли бы учебным плацем и предместьем Каторив, потому что на Эр вела дорога, начинающаяся у Новых ворот. Но прибытие герцога и графа Артуа в сопровождении внушительного эскорта помешало уланам осуществить это намерение. Командир улан, в свою очередь, решил, что из Приречных ворот готовится па них нападение.

Не следует забывать, что в глазах графа и его сына скопление улан у Приречных ворот было стратегическим маневром, так как если бы они надумали податься на Эстер через Лестрем, им надо было бы выезжать именно из этих ворот. Потому-то они так ретиво бросились защищать выход к границе, вообразив, что уланы не иначе как по наитию угадали их намерение и хотят воспрепятствовать ему. У солдат Ноайля еще не выветрились пары молодого вина, выпитого в заведении кузнеца Токенна, когда они, повскакав на коней, помчались следом за принцами. Амуницию они оправляли на ходу, один невзначай зацепился за что-то пистолетом, и грянул выстрел. Дрожь прошла по крупам лошадей, притиснутых друг к дружке, а гарцевавший впереди конь графа Артуа чуть не выбросил его из седла, вместе с треуголкой и с белым плюмажем, и пустился вскачь. Граф, даже не помышлявший выезжать вперед, теперь поневоле сделал вид, будто поступает так нарочно, и подскакал почти к самому фронту улан, выстроившихся на Конном базаре. Франсуа д'Экар пришпорил свою лошадь, чтобы нагнать графа. Маршалу и герцогу неприлично было оставаться позади, а гренадеры во главе с Ларошжакленом не мог-

ли раздумывать, следовать ли им за принцами или нет — на них самих сзади напирали гвардейцы конвоя с криками: «Да здравствует король!» На что уланы, естественно, отвечали: «Да здравствует император!»

Хотя их насчитывалось не больше пятисот человек, у этих двух эскадронов на конях посреди вытоптанного луга, под оголенными еще деревьями был весьма угрожающий вид. Правду сказать, свита принцев остановилась между Приречными воротами, приземистыми и широкими, единственными старинными воротами в Бетюне, и выдвинутой вперед караульней с каменными пилястрами по бокам и с пушечным ядром на каждом. Герцог Беррийский подвигался навстречу уланам в сопровождении Лаферронэ, Нантуйе и нескольких солдат легкой кавалерии, всего с дюжину человек, а граф и маршал оказались теперь позади.

Герцог смотрел на улан, на их позолоченные каски с конскими хвостами, на расшитые желтым галуном зеленые рукава и штаны, на синие нагрудники с белыми кожаными полосами, на белые перчатки с раструбами, на сафьяновые седла. На пиках у них были трехцветные значки, и сабли бились о бока коней, которых уланы стискивали своими черными ботфортами. Герцог Беррийский дрожал от ярости — ведь он сам не так давно производил смотр этому полку и держал перед ним речь. Он направился прямо к командиру, которого знал лично, но его игра в благородство была подпорчена каким-то гренадером, который решил, что жизнь его высочества под угрозой, и, обернувшись лицом к городу, гаркнул: «Спасайте принца!» Тут как раз обыватели подкатили обе пушки, наставившие свои жерла на непокорных солдат, а из города вылетела кавалерия и окружила герцога, который думал выехать к бунтовщикам в сопровождении двенадцати — пятнадцати всадников, а вместо этого вокруг него очутилось целое скопище конных и пеших всех родов оружия, весь гарнизон поспешил ему на выручку, гвардейцы герцога Рагузского и мушкетеры выскочили из Аррасских ворот, за ними следом — пехота, королевские волонтеры, Швейцарская сотня, так что уланы были почти взяты в кольцо,— только в сторону учебного плаца им оставили выход, словно затем, чтобы они могли ретироваться к Эрским воротам.

На тесном лугу сгрудилось около тысячи человек пехоты и кавалерии, но вновь прибывшим волонтерам по неопытности померещилось, что королевских гвардейцев тут тысячи четыре. Увидав посреди этой сумятицы крест Людовика Святого на груди одного из эскадронных командиров, герцог подскакал к нему и крикнул:

— Кто разрешил вам сняться с места?

Дальнейшее рассказывают по-разному, по правде говоря, кро-

ме тех, кто был непосредственно около принца, никто не слышал подлинных его слов, а почти все историки повторяют россказни королевских волонтеров, которые с такого дальнего расстояния не могли расслышать ровно ничего. Так или иначе, все увидели улана, который выскочил из рядов и, потрясая пикой, крикнул:

— Да здравствует император!

Герцог Беррийский, весь побагровев, словно его, того и гляди, хватит удар, зарычал в ответ:

— Ступай на место, сукин сын, а не то я всажу тебе в брюхо саблю по самую рукоять!

Говорят, что в эту минуту какой-то уланский офицер узнал в одном из ларошжакленовских гренадеров своего близкого друга и произнес высокопарные слова на тему о том, что, хотя бы ему грозила смерть, он не поднимет руки на француза. По крайней мере, так послышалось Сезару де Шастеллюкс, не переставшему думать о Лабедуайере. Впрочем, все происходившее было донельзя сумбурно, включая и тот факт, что его высочество ткнул обнаженной саблей в грудь бригадира улан, который тем не менее выкрикнул: «Да здравствует император!» Однако же первоначальное озлобление смягчилось, и герцог обратился к командиру с требованием, чтобы тот отвел своих улан. Это подействовало куда лучше, чем угрозы, и пока командир перестраивал ряды и отдавал приказ отступить к учебному плацу, герцог без всякого смысла все еще приставал к уланам: «Кричите: «Да здравствует король!» — а в ответ уже с внушительного расстояния услышал: «Да здравствует император!»

Ничего не оставалось, как вернуться в город.

* * *

Причин тому, что принцы выступили из Бетюна около четырех часов пополудни, было много. Прежде всего, полнейшая неразбериха, неуверенность в том, отступили уланы на самом деле или нет, затем, были ли они единственным отрядом или только авангардом, а за ними, чего доброго, к городским воротам явятся другие войска, но, главное, королевские гвардейцы совсем измотались и выбились из сил, надо было дать им время прийти в себя, перекусить и построиться заново. Вдобавок Мармон не знал толком, каким путем следовать дальше, кого отобрать для эскорта. Затем исчез куда-то граф Артуа. Где же он? В ратуше всполошились, но господин де Полиньяк всех успокоил: граф Артуа в церкви св. Вааста — он исповедуется.

— Счастье, что мы находимся в городе, где все население за нас,— сказал герцог Беррийский своему другу Лаферронэ,— это

мне стало ясно еще в прошлом году, да вот взгляните — что ни окно, то белый флаг.

Правду говоря, немало флагов успело исчезнуть, и во многих домах женщины нашивали на них красные и синие полосы. Небо нахмурилось. С минуты на минуту мог возобновиться дождь, гвардейцы смотрели на тучи и на свои едва просохшие плащи. Что им предстоит? Выдерживать осаду города или уходить, и куда? Где сейчас король? Как ни странно, но секрет, который знали чуть ли не тридцать человек, на сей раз не был разглашен, и, например, Тони де Рейзе свято верил, что его величество дожидается их в Лилле. Ему отдали распоряжение, совершенно сбившее его с толку. Отобрать лучших кавалеристов... значит, тех, на соединение с кем ехали сюда, решено здесь и бросить? И во всех ротах та же музыка. Слышались слова команды, перемещали лошадей, пересчитывали солдат. Значит, надо бросать комнату, которую каждый, как всегда на свой риск, добыл себе с утра? Что говорить услужливым хозяевам, недоумевающим, стлать постели или нет?.. Да или нет. Эти три словечка выражали всеобщую растерянность. Позволят взять кареты с поклажей или нет. Все ли оставить здесь или отобрать из своих пожитков то, что можно захватить с собой. Гвардейцы конвоя, жандармы, мушкетеры, гренадеры поспешно отыскивали кареты — свои или тех друзей, которым доверили драгоценную кладь. А потом возвращались, нагруженные свыше меры; если придется ехать, разве мыслимо все это тащить с собой! И они вступали в переговоры с квартирными хозяевами, доверялись им, заклинали хранить как зеницу ока какой-нибудь ларец, сундучок, ящик.

И вдруг оказывалось, что именно они-то и остаются в Бетюне. Как? Значит, не едем? Нет, ехать-то едем, только не все. Да что это наконец — едем мы или нет?

Сумятица и растерянность были таковы, что, кроме отряда кавалеристов из роты герцога Рагузского перед входом в ратушу и гвардейских пикетов у городских ворот, ни одна из частей не была в сборе, роты всех родов оружия перемешались между собой, спешившиеся гвардейцы устроили на Главной площади что-то вроде веча, сходились кучками, спорили, расходились, сливались с другими такими же группами. Вокруг ораторов шушукались, сблизив свои медвежьи шапки, гренадеры, а также жандармы и гвардейцы конвоя — разношерстная толпа, у которой только и осталось военного, что мундиры. Штатские держались в стороне, но даже и в эти для всех решающие минуты случалось, что белые плащи и красные доломаны ныряли в дверь или в проулок следом за какой-нибудь юбкой. Впрочем, большинству было не до того. Одни обсуждали шепотком ходившие слухи, ужасаясь, другие — во весь голос,

с возмущением. Горластее всех были те, что помоложе. Они выспрашивали старших, не считаясь с чинами, впрочем, часто соотношение между возрастом и чином было обратное, и всем, почти без изъятия, казалось величайшим несчастьем не быть в числе тех, кто сопровождает принцев. Если уж умирать зазря, так лучше умирать вместе с ними... Но тут речь шла даже не о смерти. Не хотелось думать о позоре, который горше смерти.

Теодор от волнения не мог усидеть у своего хозяина. Он перекинулся несколькими словами с господином де Пра, который уходил со сверточком под мышкой в караул к Аррасским воротам. Сам Теодор отправился на Главную площадь повидать кого-нибудь из мушкетеров, но те, к кому он обращался, не более него знали, что им предстоит в ближайшем будущем. Монкором завладела кучка волонтеров, один — долговязый, как жердь, другой — маленький, чернявый, с девичьим голоском, третий — кудрявый, с подергивающейся губой. Больше всего эти молокососы боялись, чтобы их приверженность к королевской фамилии не была взята под сомнение. Они с негодованием говорили о сцене у Приречных ворот. И, захлебываясь от восторга, описывали геройское поведение его высочества герцога Беррийского. Им хотелось верить, что еще возможна вспышка верноподданнических чувств, что Франция, как один человек, еще поднимется на защиту своих законных властителей. Они не могли примириться с мыслью о переходе через границу, о том, чтобы отдать страну во власть Людоеду, но если так надо, они готовы и на это. «А вы тоже?» — спросил Жерико у Монкора. Монкор потупился. Жерико отошел прочь.

Он обладал удивительной способностью быть одному среди толпы. Его оттирали плечами, толкали в разных направлениях; отряд кавалерии, криками расчищавший себе дорогу, оттеснил его прямо на батарею пушек, потом он вынужден был остановиться, из-за того что солдаты Швейцарской сотни затеяли ссору с гренадерами, которые вздумали передразнивать их выговор, его отшвырнули вправо, потом влево, под самую башню, когда он стал переходить на ту сторону площади, к «Северной гостинице», где как будто мелькнул господин де Лористон верхом на лошади... а он в который раз задавал себе вопрос, какое ему до всего этого дело. Пусть не для чего жить среди этой своры, так знал бы он, за что умирать! Неудержимее, чем всегда, в нем перехлестывала через край буйная нестерпимая жажда расходовать избыток сил, которая, должно быть, и есть молодость и которую до сих пор он утолял бешеной скачкой верхом. Было бы хоть за что умирать... Какая горечь поднималась в нем, когда он вспоминал, что по недомыслию отказался участвовать в походах, где люди, по крайней мере, сражались. А он сделался солдатом под самый конец, только

чтобы бежать! В чем смысл всей этой авантюры? Оставив в стороне нескольких сопляков, которые клевали на любую приманку и вместо всяких убеждений довольствовались верностью Бурбонам,— о чем думало огромное большинство, о чем думали их командиры, перебежчики от Наполеона или эмигранты, снова уходившие в изгнание? О тысчонке-другой франков, которую им удалось захватить, о сундуке с парадными панталонами и дорожным несессером, который они взгромоздили на карету. Противно их слушать. Физиономии искажены страхом. Господи, чего им страшиться? Что их атакуют, окружат, будут держать в осаде... Ну и что же? На то и война, которую они избрали своим ремеслом. От Парижа до Бетюна они только и знали, что бежали. Им не довелось увидеть ни единого штыка, ни кончика усов наполеоновского пехотинца. Им было страшно. Что их ранят, что они свалятся в грязь, не найдут крова для ночлега, страшно неравного боя, колющего острия, пронизывающей пули, страшно умереть. И так же, как Теодор, они не знали — ради чего.

На площади выстроилась колонна кавалеристов, и вдруг поднялся крик: «Уезжают! Уезжают!» В самом деле: уезжают гвардейцы конвоя и мушкетеры. «А как же я?» — думает Жерико и пытается пробраться поближе, чтобы узнать у кого-нибудь из всадников хоть что-то. Им руководит тупое вкоренившееся чувство долга, страх не сделать того, что нужно, хотя в такую минуту и при его умонастроении этот страх — совершенная бессмыслица. Оказалось, что это эскорт их высочеств с Мармоном во главе, две тысячи лошадей при полутора тысячах всадников, остальные лошади запасные. А мушкетеров черных и серых было и вовсе сотни три — не больше, те и другие под начальством господина де Лористон: они составляли авангард, а за ними уж следовало основное ядро королевского конвоя. Экипаж графа Артуа, зеленую берлину с королевским гербом, окружал отряд легкой кавалерии под командованием Сезара де Шастеллюкс. Сразу следом за ним ехала желтая карета господина де Дама́. Вот уже с Приречной улицы, мимо мясников, по ухабистой мостовой выезжает герцог Беррийский в мундире легкой кавалерии, издали приметный из-за неизменного серого непромокаемого плаща. За ним следуют гренадеры, окружающие другую берлину с королевскими лилиями, но только желтую. Дальше две кареты, шесть-семь фургонов и две телеги с поклажей. Артиллерийские зарядные ящики, но пушек не видно. Опять кареты. Замыкал шествие королевский конвой. Как? Это все? Быть не может! Нас построят потом, мы тронемся позднее и будем прикрывать отступление их высочеств... Уход колонны был началом всеобщего бегства. Главная площадь опустела, все спешили — кто на отведенную ему квартиру, где задержался товарищ,

кто за лошадью или в ротную канцелярию, если таковая имелась,— на площади остались лишь те немногие, кто заночевал прямо в повозках, да еще походные кухни, отбившиеся от своих пехотинцы и, наконец, пушки.

* * *

С согласия графа Артуа Мармон поставил во главе войск, брошенных в Бетюне, господина де Лагранж, назначив комендантом крепости генерал-лейтенанта графа де Монморен, которому были приданы пушки Мортемара, вся пехота и большая часть кавалерии. Отряд, сопровождающий принцев, выступил из города через те самые Приречные ворота, у которых недавно очутились императорские уланы. Миновав потерну, выслали вперед дозорных, те проехали Конный базар, добрались до канала, переправились через него, произвели разведку окрестностей, пока не убедились, что никаких войск в поле зрения не имеется, и вернулись к своей колонне, которая построилась тем временем в маршевом порядке на Конном базаре.

Дорога в большей или меньшей степени следует за течением Лава и сперва пролегает между рощами, которые почти сразу закрывают вид на город. Но немного погодя ландшафт меняется коренным образом. Прежде всего и дорога-то вовсе не дорога, а немощеный проселок, она ведет через топь со стоячей водой, и на первой же полумиле от Бетюна повозки стали вязнуть в грязи, так что седокам приходилось вылезать и вместе с кучерами толкать их. После недавних дождей обочины совсем размыло, и лошади, ступая по целику, то и дело натыкались на крупные камни. На перекрестках, где от главной дороги отходили боковые, в поля, люди не знали, куда поворачивать, и часто конь какого-нибудь гвардейца увязал в грязи, а всадник, спешиваясь, тоже попадал прямо в воду.

Почти все окрестные поля стояли под водой. Но там, где вода сошла, видно было, что эти уже зазеленевшие поля разделены на большие прямоугольники наполненными водой канавами, вдоль которых близ уединенных ферм растет ивняк. Главное осложнение заключалось в том, что эти протоки, покрывающие всю равнину между Лисом и Лавом, начиная от Локона, омывают поля, а затем стекаются в придорожные канавы, и стоило экипажу или коню взять немножко в сторону, как они проваливались по ступицу или по грудь. Камни, проложенные между канавой и дорогой с промежутками в тридцать сантиметров и образующие пешеходную тропу в виде многоточия, создавали дополнительные препятствия, один из нагруженных фургонов опрокинулся, наткнувшись на них,

и к большому неудовольствию владельцев поклажи пришлось его бросить, а что поместилось — погрузить на другую повозку. Чем дальше, тем непроходимее становилась дорога. Лошади с трудом тащили повозки. Как только попадалось относительно сухое нетопкое местечко, всадники останавливались, чтобы кони могли перевести дух.

В итоге колонна очень скоро оказалась раздробленной, отдельные подразделения вырывались вперед, экипажи тащились совсем в хвосте. Все командиры войсковых частей ехали вместе с их высочествами: господин де Лористон как командир черных и серых мушкетеров, составлявших большинство колонны, а также господа де Вилье-Лафэй, де Рейзе, де Фурнель, де Лэото, барон Лакур, барон Фавье, стоявшие во главе гвардейцев, отобранных из разных рот. Господин де Дама́ ехал в карете, как и генерал-лейтенант де Бордесуль, который нагнал королевскую гвардию в Бетюне после того, как вырвался из Стенея, где его части взбунтовались. Господа де Верженн, де Мортемар и Этьен де Дюрфор взяли с собой во вторую королевскую берлину герцога де Ришелье, Луи де Ларошжаклен ехал верхом рядом со своим кузеном Шастеллюксом. Это был последний оплот королевской власти. Однако и люди и кони не знали отдыха от самого Парижа и выбились из сил. Вдобавок снова пошел дождь, мелкий вечерний дождик, от которого смеркается раньше времени. Все были на ногах больше чем полсуток, а из-за неопределенности положения не решались сделать хоть маленькую передышку в Бетюне. Маркиза де Фужер разлучили с его волонтерами из Школы правоведения, те пытались выйти из города вслед за всей колонной, но их затерло экипажами, а потом перед их носом захлопнули ворота, и он жаловался на эту незадачу Леону де Рошешуар, который ехал во главе колонны, сейчас же за господином де Лористон, с мушкетерами, составлявшими эскорт герцога Беррийского, более молчаливого, чем обычно. Их отряд успел добраться до Ла-Горга близ Эстера, где Лав встречается с Лисом и откуда начинается тот Лалейский край, о котором все время толковал граф Артуа. Но после того как эскорт растянулся на целую милю вперед, сам граф, не добравшись даже до Лестрема, остановился в двух с четвертью милях от Бетюна, да и это расстояние ему насилу удалось одолеть за два с лишним часа. Берлина его высочества увязла в грязи: пока ее вытаскивают, все равно придется выйти. Так уж лучше сделать здесь привал. Что это за местечко? Это деревня Ла-Фосс в окрестностях Лестрема. Дома и развалины церкви расположены вправо, в сторону Лава. Карета его высочества угодила колесом в канаву на скрещении дорог, но тут местный кюре, работавший под вечер у себя в саду, всполошился при виде всей этой суеты, поспешил

на дорогу, и он-то именно подал совет вышедшим из кареты господам Франсуа д'Экару и Арману де Полиньяк проводить графа Артуа вон в то высокое строение, прямо у дороги — до него всего пятьдесят туазов, не больше. Это лучшая ферма в округе, и фермер, господин Жуа,— человек гостеприимный и преданный монархии.

Здесь все, буквально все было покрыто водой. Большой канал вышел из берегов, и в канавах вода поднялась до уровня дороги. Граф Артуа в развевающемся плаще и в треуголке, на которой перья повисли и, казалось, сроду не были белыми, нес на руках бочонок, точно младенца. Оба его спутника тоже тащили по бочонку. Карета стояла в очень ненадежном месте, на самом перекрестке, и граф отнюдь не собирался бросать свое золото посреди большой дороги вместе с двумя-тремя зарядными ящиками.

Ферма называлась «Под тисами», по ветвистым деревьям, росшим вдоль северного берега большого канала. Она высилась посреди этого низинного края наподобие крепости с башнями по обеим сторонам тяжелых ворот, с подъемным мостом через глубокий и широкий ров, окружавший всю усадьбу. От ворот шла луговина, обсаженная тополями, вправо еще за одним рвом находилась сама ферма, обширное строение с оштукатуренными каменными степами и соломенной кровлей. Из-за дома виднелся сарай, выстроенный на краю заднего рва. Там поставили лошадей и устроили на ночлег гвардейцев из эскорта. Внутри сарай был необычайной высоты, вроде церкви, опорами служили деревья во весь рост, обточенные наподобие колонн. Стропила тоже были огромные. Здесь держали земледельческие орудия, а также рабочих лошадей и запасы сена.

Хозяин и его сыновья, обмирая от благоговения, встретили высоких гостей, которых сперва не узнали в сгущающихся сумерках, и не поняли, зачем им понадобилось странствовать по таким скверным дорогам. Нижняя зала, откуда каменная лестница вела в жилые комнаты, была таких размеров, что в ней смело размещались за обедом сорок жнецов. Тут собрались с женами и малолетними детьми эти бородачи крестьяне и стояли рослые, крепкие, как столпы неиссякаемой жизни, которая черпает свои богатства даже в этом безотрадном краю и в его неукрощенных водах. Вдруг оказалось, что хозяева — они, а все эти графы, герцоги, принцы приплелись к ним еле волоча ноги, точно цыгане, точно бродячие комедианты, которые заблудились между двумя отдаленными деревушками, где давали представление, и присвоили себе титулы, какие носили в высоких трагедиях. Фермер что-то шепнул одному из сыновей, и тот разжег гигантский очаг, который топили целыми, неразрубленными стволами. Вечер выдался сырой. И даже холодный.

Сколько времени они пробудут здесь? Жуа-старший из усердия пытался взять у графа увесистый бочонок, который тот укрывал плащом.

— Не надо! — изрек его высочество.— Нынче в страстную пятницу нам самим надлежит до конца нести свой крест...— И он сел на каменные ступени, облокотившись на бочонок. Огонь очага ярче свечей освещал всю сцену.

— Однако же, ваше высочество,— начал фермер, не зная толком, надо ли говорить высочество или превосходительство,— соблаговолите откушать с нами, если на то будет ваше желание... Мари, приготовь большую кровать для его высочества...

— Не затрудняйтесь, сударыня,— возразил граф Артуа, и видно было, что ему на самом деле невмоготу,— не надо мне ни спальни, ни кровати, я останусь здесь...

— Однако же вашему высочеству будет жестко на камне.

— Да, камень, твердый камень — больше ничего отныне не требуется мне, несчастному беглецу! — заявил Карл тоном развенчанного монарха.

И он настоял на своем. Даже еду ему пришлось приносить сюда, на лестницу, где он сидел, обняв свой бочонок, словно боялся воров. Зала была такая высокая и так далеко уходила в глубину, что от свечей повсюду скапливались тени. Отсветы очага бурым ковром расстилались до подножия лестницы. С полдесятка щеголей, вымокших до нитки, сняли ботфорты, повесили сушить плащи и вели разговоры, суть которых сводилась к одному — каковы дороги за Эстером. А куда они направляются? Тут граф перестал наконец скрытничать, как все еще скрытничал с большинством своего эскорта, и спросил, где ближе всего граница; ответ, что граница проходит у Со, напротив Ньевкерка, решительно ничего ему не дал. Когда ему растолковали, что Ньевкерк это фламандское название Нев-Эглиз, положение стало для него яснее.

— Ваше высочество, благоволите согласиться, что в постели...

Но его высочество твердил, что он беглец, а беглецу довольно и каменных ступеней.

Такое упорство произвело сильное впечатление на обитателей фермы, недаром эти слова дошли до наших дней, и сейчас еще известны владельцам фермы «Под тисами», хотя и тисов-то никаких не уцелело, и ферма отстроена заново на другом прямоугольнике, намытом потоками, и сохранилось только одно из гигантских стропил сарая. Когда автор настоящей книги побывал там, он вновь услышал, что граф Артуа твердил: «Я беглец, беглец...» Три войны трижды разрушали ферму, а под сводами все еще сохранился отзвук голоса, который отказывался от постели и отстаивал право беглеца спать на твердом камне.

Граф вполне равнодушно отнесся к посещению господина Жюстена Маккара, самого видного лица в округе, который поспешил явиться, узнав о его прибытии в Ла-Фосс. Господин Маккар был сухощавый человечек, одетый по старинной моде, в длинном рединготе, с треуголкой и тростью, и сам какой-то старообразный, хотя ему еще не было сорока лет. Он коллекционировал насекомых, издал ученый труд о растительности департамента и, явившись засвидетельствовать свое почтение королевскому брату, проездом посетившему их коммуну, принялся излагать ему проект лесных посадок на местных болотах, ибо во времена римлян здесь был густой бор, но люди по жадности и невежеству свели его. Не обошлось, конечно, без ссылок на собственную родословную: господин Маккар был уроженцем Лилля и обосновался здесь всего пять лет назад, а происходил он от Жанны дю Лис, племянницы Жанны д'Арк...

— Неужто вы не видите, господин Маккар, что его высочеству страсть как хочется спать? — прервала его госпожа Жуа.

Карл и в самом деле зевал чисто по-королевски. Посетитель ретировался.

Господин де Полиньяк улегся на деревянной скамье: не будучи отпрыском французского королевского дома, он не имел права на камень. Господин д'Экар положил голову на мешок с мукой и удовлетворился голым полом. У дверей несли караул два солдата легкой кавалерии. Бочонки подкатили под огромный стол, за которым кормили жнецов. Дети с бабкой и невестками отправились спать наверх. Свечи задули, кроме одной, которую поставили за столбом, чтобы она не светила в лицо его высочеству. Господин де Дама́ остался сидеть, облокотившись на стол, точно школьник, который делает уроки, когда все в доме спят, и задремал, а ржавые блики света падали из скрытого источника на его парик с косичкой по старинной моде. Многие придворные бодрствовали еще долгое время и слышали, как вздыхает граф Артуа, облокотясь на свой бочонок. С его уст сорвалось даже имя Христово... Мало-помалу, несмотря на неудобства,— а как требовать лучшего, когда королевский брат довольствуется камнем? — глаза у всех сомкнулись, кто-то всхрапнул раз-другой...

А граф во сне отталкивал брата, который пытался отнять у него бочонок, и поминал господина де Шаретт. Карл отбивался, стоя на покрытой грязью ведущей на Голгофу дороге, и твердил: «Нет, нет, ни за что не поеду с вами в Англию! И не перейду через Кедрон, потому что на той стороне — Иуда». А Иуда был как две капли воды похож на отца Элизе и говорил: «Карл (возмутительная фамильярность!)... Карл, отдай мне бочонок, если не отдашь бочонка...» Карл хорошо помнил, что после Киберона задол-

жал огромную сумму этому мерзавцу Торлашону, но отдавать ему все свое золото не хотел, а Элизе Торлашон грозил ему пальцем и повторял: «Запомни, Карл, когда ты приедешь в Англию, господа Ллойд и Друммонд, которым ты со времен юношеских проказ должен тридцать тысяч фунтов стерлингов, подадут ко взысканию и засадят тебя в долговую тюрьму! Ты отлично знаешь, что, кроме меня, никто не может все это уладить... а если ты не отдашь мне свое золото... я все расскажу, и не только про денежные дела!.. Ибо у тебя, Карл, есть такие грехи, в которых ты не покаялся сегодня днем священнику у святого Вааста и никакому другому духовнику до него... и ты будешь проклят во веки веков за то, что утаил свои прегрешения перед судом божьим».

А Карл прижимает к груди бочонок, набитый золотом, и лепечет: «Ни за что, ни за что не поеду в Англию... лучше смерть... ни за что не перейду через Кедрон... Прочь, Иуда Искариот, с меня ты не получишь тридцати сребреников! Это ты, ты, окаянный мошенник, подделал письмо Шаретта и подсунул его англичанам! Ни за что, ни за что не поеду в эту проклятую страну! Прочь ступай, прочь, Торлашон».

В эту ночь в селении Ла-Фосс близ Лестрема, над каменной лестницей, к подножию которой скатилась треуголка с белым плюмажем, маячит навеянный чарами луны, никому не видимый и непонятный мираж города на трех холмах, что соединены висячими мостами,— города, где свирепствуют ветры, где горизонт загорожен холмами, где ощущаешь море, не видя его, вот цитадель высится посредине... а что это за дворец на старинной улице, перед которым стоят на страже солдаты в черных меховых шапках с множеством лент и тремя перьями, ниспадающими на плечо, в пунцовых суконных куртках, в зеленых с красными полосками юбочках, из-под которых видны голые колени и чулки в красную и белую клетку, с кожаными сумками у пояса и серебряными пряжками на башмаках? Здесь витает тень Марии Стюарт, здесь у нее на глазах убили ее любовника Риччо... Здесь ты будешь доживать свой век, Карл, граф Артуа, здесь, в замке Холируд, в Шотландии. Сейчас ты спишь, опершись на бочонок с золотом, но впредь во Франции для тебя не найдется, чтобы прикорнуть, даже каменных ступеней на ферме «Под тисами» близ Лестрема, где и камень — что пух для беглеца.

* * *

В Бетюне дождя не было и во всех окнах горел свет, когда маршал Макдональд добрался туда в полной темноте, около восьми часов вечера. Ехал он в той самой карете, которую починили

в Бомоне, но лошади в эти дни были нарасхват, и при выезде из Лилля ему впрягли первых попавшихся кляч, так что, проделав всего шесть миль до Ла-Бассэ, он пожелал их переменить. Однако в Ла-Бассэ лошадей не оказалось. Поневоле приходилось сделать передышку. Маршал выбрал этот путь, а не другой — на Аррас, так как рассчитывал попасть в Париж через Амьен, минуя запруженные войсками дороги, где, пожалуй, не всякий проявил бы снисходительность к маршалу, еще не успевшему скинуть мундир королевской гвардии.

В трактире Жак-Этьен заказал легкий обед — суп и овощи, к рыбе он относился с опаской... А ведь он даже не позавтракал сегодня, и, возможно, потому у него так отчаянно болела голова, хотя спал он вполне достаточно. Как бы то ни было, лучше воздержаться от вина и пива. Он не мог забыть, как его подвел Мортье. Тот самый Мортье, с которым он думал провести весь день... которого считал надежным другом... и что же? Когда Макдональд послал записочку с просьбой извинить его за опоздание к завтраку,— он-де нынче заспался, а ему еще надо одеться,— Мортье недолго думая ответил, что не может ждать. Уже была провозглашена Империя, войска сменили знамена на трехцветные и по телеграфному распоряжению из Парижа командование было возложено на Друэ д'Эрлона, который неожиданно вынырнул из своего убежища, где скрывался с начала марта, после участия в восстании Лефевр-Денуэтта. Мортье с минуты на минуту должен был выехать в Париж по вызову военного министра, маршала Даву... да, там не мешкали. «А я-то так мечтал провести денек с другом Эдуардом...» Говоря по правде, Макдональд впервые называл Мортье Эдуардом, даже про себя. В салат налили слишком много уксуса. Он кликнул служанку и попросил приготовить другой, без приправы, он сам добавит что нужно из судка. «А ведь как подумаешь, что еще в конце января, когда Эксельманс самовольно покинул назначенное ему место жительства и его судил военный трибунал 6-й дивизии, стоящей в Лилле,— Мортье самым наглым образом вынес ему оправдательный приговор... Друэ д'Эрлона он тогда и не подумал разыскивать, зато нынче утром мигом столковался с ним».

Погруженный в такие размышления, Макдональд вдруг слышит, как в соседней комнате — в здешнем трактире было несколько смежных залов — молодой голос называет его имя. Он заглядывает туда, видит незнакомого юношу, вполне прилично одетого, который перебирает какие-то письма и показывает их сидящему напротив. Любопытство разобрало Жак-Этьена, он подходит поближе и узнает письма, которые отправил накануне перед сном

графу Артуа, с уведомлением об отъезде короля. А собутыльник молодого человека так и заливается и напевает:

Добрый путь вам, мосье Дюмолле!
В Сен-Мало вам пристать без помехи.
Добрый путь вам, мосье Дюмолле!
Ждем вас снова на нашей земле.

Надо назвать себя хотя бы для того, чтобы одернуть разошедшихся весельчаков. Кто такой этот гонец, которому дали оба письма, хотя их должны были отправить двумя путями — одно на Армантьер, другое для вручения графу в дороге?

Юноша покраснел, но виноватым себя не признал. Оба письма были вручены главному интенданту королевской гвардии, тому, что доставил его величеству депешу, посланную графом из Бовэ. Одно из них он должен был дать этому молодому человеку, а со вторым ехать сам. Но можете себе представить, у него объявились друзья в Маршьене, в шести милях от Лилля, только в другом направлении, вот он и сплавил оба пакета...

— Вы что же, голубчик? Вам вручили письма вчера с вечера, а вы доехали только до Ла-Бассэ.

— Мне сказали, что я повстречаю королевскую гвардию в дороге,— чистосердечно объяснил молодой человек,— а сюда я добрался порядком усталый и решил соснуть...

Итак, граф еще не знает об отъезде короля. Макдональд отобрал письма и весьма недовольный возвратился в свою карету. Езды до Бетюна было не больше часа, но попасть туда оказалось довольно мудрено. Самая настоящая осажденная крепость, хотя ни под его стенами, ни вокруг незаметно было скопления войск. Пришлось вести нескончаемые переговоры у Аррасских ворот, откуда идет дорога как на Аррас, так и на Лилль. Гвардейцы Ноайля, с синей кокардой, несшие караул в контргарде, не слушали никаких резонов. По счастью, с ними был офицер, который узнал маршала и сообщил ему, что граф Артуа, после известий, полученных из Лилля, отбыл с тремя сотнями гвардейцев. Каких известий? От кого? Ведь письма-то у меня в кармане!

Однако, когда маршал добрался до ратуши и прямо направился наверх к коменданту, генералу де Монморен, он застал там сборище офицеров, оставшихся в Бетюне под начальством господина де Лагранж. Кроме него, здесь были только либо генерал-майоры, либо полковники, все высшие чины королевской гвардии уехали с графом Артуа. Они понимали, что солдаты их почти не знают, и не решались выполнить оставленный им приказ — собрать войска на Главной площади и объявить во всеуслышание, что его величество отбыл в Бельгию, где не может содержать столько народу, а посему их просят отправляться по домам. Офи-

церы были в сильном замешательстве, они сами сомневались в отъезде короля и боялись, как бы полки не обвинили их в измене...

Среди прочих здесь находился генерал Дессоль, начальник Генерального штаба и командир парижской Национальной гвардии. Он недавно приехал в Бетюн по дороге в Лилль, чтобы в качестве королевского министра присоединиться к свите монарха. Он отвел Макдональда в сторону, желая узнать, правильны ли сведения об отъезде короля. Неужели он переправился в Бельгию? Это в корне меняло дело. Генерал Дессоль не собирался покидать родину...

— Да и вы, господин маршал, как будто повернули назад?..

Их давно уже сближала общность вкусов, любовь к музыке. Дессоль устраивал у себя домашние концерты, о которых говорили в свете, ибо участием в них не пренебрегали Керубини и виконт Марен.

В общем, ничего иного не оставалось, как собрать войска на площади и объявить им их участь. Маршал решительно настаивал на этом, и господину де Лагранж пришлось повиноваться.

Все равно до возвращения кавалерии никаких окончательных действий предпринимать нельзя, никто из присутствующих не имеет законных полномочий произвести расформирование. Вот разве что вы, господин генерал...

— Почему я, а не вы, полковник?

Макдональд видел, что они норовят свалить ответственность друг на друга. Дорога на Амьен идет через Дуллан, где, как он слышал в Лилле от Мортье, находится главная квартира Эксельманса. Э, рискнем!

— Вы едете со мной, Дессоль! Вот только удастся ли выбраться из Бетюна?

Хотя у Аррасских ворот не было ни тени кавалеристов Эксельманса, все здесь убеждали маршала, что они так и кишат вокруг города и ехать в Дуллан — чистое безумие, ведь это же дорога на Сен-Поль, идет она болотом от предместья Сен-При, а уж там-то выход блокирован наверняка! После рассказа о дневном инциденте с герцогом Беррийским у Приречных ворот никто не сомневался, что город окружен,— на расстоянии, но окружен.

Итак, Дессоль сел в карету с Жак-Этьеном. Он наблюдал вступление Наполеона в Париж, понятно, тайком, но захлебывался от впечатлений. Ладно. Когда их наконец выпустили через ворота Сен-При, они очутились в полном мраке на совершенно безлюдной дороге. Надо полагать, тем, кто сидел в Бетюне, Эксельманс попросту пригрезился. Оба посмеялись над этими мнимоосажденными.

* * *

В память Теодора навсегда врезалось зрелище бетюнской Главной площади при свете факелов, загроможденной повозками, лафетами, запруженной не менее чем полутора тысячами человек, преимущественно молодыми людьми, которые не помнили себя от тревоги и нетерпения и невольно прислушивались к тому, что им нашептывали насчет их начальников. Имена назывались с опаской, но если первый произносил их шепотом, десятеро повторяли эти имена во весь голос. Кто, кто? Да господин де Лагранж взял на себя эту незавидную обязанность, а господин де Лористон смылся вместе с принцами... Все это только слушки... Но в этот трагический час все на этих улицах под пасмурным небом, куда уходит шпиль башни, создает картину какого-то притворного оживления, распахнутые и по большей части освещенные окна, откуда обыватели с женами, стоя спиной к свету, смотрят на происходящее внизу, и кофейни, где горят низко спущенные лампы, и уличные фонари, которые бледнеют рядом с ручными факелами, и фонари карет с выпряженными лошадьми и стоящими на козлах кучерами, и лихорадочно блестящие глаза.. В этот трагический час для молодых людей, начинающих понимать, что им давно уже лгут, что против них что-то умышляют, что их обрекают на ненавистную долю, вполне естественно взвалить вину на тех, кто ими командует, подвергнуть сомнению намерения начальников, припомнить их прошлое; все бывшие бонапартовские офицеры сейчас им подозрительны... Кем был Лагранж, кем был Лористон, кем были и остались маршалы? Ничего удивительного, если они вернутся к прежнему хозяину... и слово «измена» переходит из уст в уста...

Все эти молодые люди толпятся здесь, собираются кучками, созванные с разных концов города барабанным боем. Некоторым пришедшим с опозданием повторяют все заново, и они в ярости швыряют наземь каски, кивера, шапки и плачут, как малые дети. Сторожевые посты послали сюда представителей, чтобы те по возвращении осведомили их.

И вдруг Теодор, который послушался было своего хозяина и даже завернул на Приречную улицу, где мясники убирали с полок товар и где он намеревался взглянуть, что представляет собой лавка пресловутого старьевщика, будто бы особенно бойко торгующего теперь... вдруг Теодор чувствует, что у него не хватает духу уехать. Он словно заразился всеобщим отчаянием, порывами ярости: те чувства, которые, надо полагать, таились под спудом, сейчас проявляют себя открыто и необузданно. Казалось, он знает этих легкомысленных франтов, этих балованных сынков, которым

папенька купил офицерский чин, этих юнцов, способных только орать и пить, и что же? Именно они полны отчаяния и страха перед бесчестьем, и надо полагать, не сегодня родилась в них преданность и вера, пускай во что-то невразумительное, но все-таки вера и преданность...

— Нет, нет! — выкрикивает какой-то гренадер, и всем понятно, к чему относится его негодующий возглас.

Королевские жандармы, все как один, выхватили сабли и размахивают ими при свете факелов. И даже несчастные мальчишки-волонтеры,— вместо башмаков у них на ногах холщовые обмотки, а взгляните, какое выражение лица хотя бы у этого долговязого... А швейцарцы, они-то почему бьют себя в грудь и всем пожимают руки?..

Где Монкор? Где Удето? Где юный Виньи? Посреди этой давки, в которой отдельные группы сливаются, распадаются, передвигаются в причудливом свете, а привязанные лошади ни с того ни с сего начинают бить копытом, толпа вдруг раздается, из нее выволакивают раненого гвардейца конвоя, ни от кого не добьешься толку, ни одного знакомого лица. Главное, солдаты не построены по роду оружия, все бегут с разных сторон, перед ратушей стоят гренадеры, на балкон выходит незнакомый генерал, а вокруг него офицеры, набранные откуда попало, образчики всех мундиров королевской гвардии... «Как вы назвали того, что говорил сейчас?» — «Генерал-лейтенант де Монморен».— «Откуда он взялся? Из ваших, что ли?» — «Да нет же...» Теодор потрясен: он слышит слова, удивительно похожие на те, которые уже слышал тогда ночью, в Пуа, их произносили совсем другие уста, но слова были те же. Здесь тоже говорят о родине, о мире. Из домов выходят женщины, обнимают содрогающихся от рыданий мальчуганов и плачут вместе с ними. Они думали, что на их стороне сила, количество, на их стороне право и отчизна. И вдруг оказывается, что их предали, теперь ясно, их предали той призрачной армии, которая давно уже, как им чудится, окружает, преследует, подстерегает их, она где-то здесь, хотя пока что не показывается, из всей этой неуловимой армии они видели сегодня только улан, нарушивших присягу своему королю, но еще носящих на груди ордена, полученные из рук его высочества, герцога Беррийского... Всех их заманили в Бетюн, и они простодушно вошли в его стены, считая, что это очередной этап, оказалось же, что это ловушка, быть может подготовленная заранее, капкан, который захлопнулся за ними. Теперь они пленники, пленники! К чему им это оружие? Пушки, которые они тащили за собой от самого Парижа и которые не выстрелили ни разу, не выпустили ни единого ядра, да, впрочем, в кого? Неприятеля нет, есть грандиозный заговор, в ко-

торый их втянули бесчестные командиры, а они-то, несчастные дурачки, верили во все — в знамя, в бурбонские лилии, в династию...

— Что такое? — кричит гвардеец-кавалерист волонтеру, который только что говорил.— Не веришь больше?

Ответа никто не слышал, все это напоминало танец призраков, они менялись местами, как будто раскланивались, сходились, расходились... Все больше и больше разбивались на группы, расталкивали друг друга, чтобы услышать, что говорит их товарищ там, в центре кружка, наваливались один на другого, кричали: «Мы будем драться! Не сдадимся!»

Да и правда, как поверить тому, что им сейчас сказали?.. «Королю пришлось выехать из Лилля, так как его величество не мог положиться на верность войск, составляющих гарнизон лилльской крепости, и ныне с великим прискорбием принужден покинуть Францию...» Когда эти слова прозвучали с балкона, они долетели отнюдь не до всех, многие решили, что не поняли, ослышались. Никому не известный генерал вынужден был все повторить: «Королю пришлось выехать из Лилля...» Каждый пересказывал другому все с начала и до конца... «...и искать прибежища в Бельгии». Когда это произошло? Одни утверждали, что два дня назад, другие, что накануне. Пока что от них это скрывали. Всю вину за умолчание они возлагали на единственного известного им военачальника, на Лагранжа. Принцы уехали, взяв с собой только свою свиту, меж тем как сопровождать их хотели все, решительно все. «Государь выражает благодарность всем тем, кто остался ему верен, и в ожидании лучших времен предлагает всем вернуться к домашнему очагу». Что для большинства означают эти слова? Для тех, кто всю жизнь служил бросавшему их ныне на произвол судьбы королю, кто изведал изгнание, унизительность подчинения иноземным офицерам, кто мыкался по всей Европе, там, где им, отверженным, Узурпатор оставлял еще немного места в стороне от движения своих армий. Вернуться к домашнему очагу! Где он — их домашний очаг? Не меньшей насмешкой звучит это и для юношей, которые взялись за оружие, надеясь, как их отцы в войсках Конде или Наполеона, положить начало славной эпопее, прожить увлекательную жизнь: «Государь поручает военачальникам расформировать те части, кои не могут вступить неразоруженными в чужую страну...» Невообразимо! Немыслимо! Не мог король сказать подобные слова! Где это написано его рукой? Кто нам докажет, что нас не обманывают? Это придумал Лагранж! Вы сами свертываете знамена! Вы разобщаете преданные сердца!

Теодор сроду не слыхал таких речей. Значит, неправда, что головы у них пусты и ничто не заставляет биться их сердца... нет, все эти мушкетеры, солдаты конвоя, гренадеры верят, твердо ве-

рят в своего короля, хотя король в эту самую минуту бросает их на произвол судьбы. Поистине душераздирающая картина,— так человек безмятежно возвращается домой и видит, что гнездо его опустело, а жены и след простыл... Сердце разрывается у него в груди, и он твердит: «Чего ей недоставало, почему она ушла от меня...»

* * *

Когда к офицерам приступали с расспросами, они по-своему толковали королевское послание, считая, что тут явно видна рука графа Артуа. Ведь сказал же господин де Монморен, что ничего не будет предпринято, пока не возвратится кавалерия. Кавалерия, ну, во всяком случае, та ее часть, которая сопровождает принцев. Да ведь достаточно кавалерии осталось и здесь! Так к чему же медлить? Раз есть приказ государя... В том-то и дело, что это вовсе не приказ: король освобождает нас от присяги, и теперь мы вольны либо расходиться по домам, либо следовать за королем за границу. Кто это сказал? Может быть, это говорится в угоду общественному мнению, чтобы отмежеваться от лагранжей и лористонов, чьи имена стали синонимами перебежчиков к Бонапарту? Теперь группы формировались более отчетливо, потому что почти в каждой объявлялся свой оратор. Его перебивали, спрашивали, как его зовут, особенно молодежь, простые солдаты, которым дела нет до чинов... «А сам ты кто такой?» Сам он был виконт Рикэ де Карамон или маркиз Дюбокаж, граф де Сен-Мори или барон Потр де Ламот... Или еще господин де Мондор, господин Лаббе де Шангран. Им кричали: «Вы служили Буонапарте?» Они отрицали; тех, кто был в армии принцев, награждали рукоплесканиями. Таким путем Теодор узнал фамилию волонтера, на которого обратил внимание еще в Бовэ, очень уж это была приметная фигура, вездесущий, длинный, как жердь, болтун, а руки точно крылья ветряной мельницы! Тот самый, что ехал от Пуа до Абвиля в фургоне приказчика, который тут же на козлах пустил себе пулю в лоб.

Сейчас, например, у подножия башни собралось не меньше двухсот человек, и Теодор не преминул вмешаться в их толпу. Здесь была не только зеленая молодежь, но и люди постарше и даже штатские, привлеченные пылкостью речей, кучера с кнутом в руках, слезшие с козел, ребятишки, не желавшие идти спать. Но большей частью это были сверстники оратора, юнца лет восемнадцати. Сразу видно, что он готовится в адвокаты, язык у него неплохо подвешен! Правду сказать, он чувствовал, что слушатели на его стороне, и подкреплял свое красноречие широкими жеста-

ми. Впрочем, будем справедливы, говорил он хорошо. В словах оратора слышался шум ветра, развевающего знамена, когда он, держа в руках ружье, говорил:

— Конечно, принцы не могли официально приказать нам, чтобы мы разделили их изгнание, посмотрите же, как великодушно они освободили нас от присяги! А знаете, чего они втайне ждут от нас? Разве сердце француза способно на капитуляцию? От нас самих зависит пойти на жертву, избрать горькую долю изгнанников, примем же, примем достойно выпавший нам удел, безрадостный и высокий, суровый и трудный.

Кто-то не разобрал, каким именем назвался вначале долговязый, и теперь перебил его:

— Как тебя зовут, товарищ? Уж очень ты хорошо говоришь!

Оратор остановился, несколько уязвленный тем, что его имя не запомнили с первого раза, и повторил:

— Руайе-Коллар Поль, студент-правовед, я сын доктора...

Это имя звучало как пароль отнюдь не из-за отца доктора, а из-за дяди, знаменитого Руайе-Коллара, который во время изгнания был членом королевского совета. Теодор переводил взгляд с оратора на обращенные к нему взволнованные молодые лица. Ему хлопали, но некоторые гвардейцы конвоя и мушкетеры перешептывались и подталкивали друг друга локтем. Вдруг вперед вытолкнули рослого, статного кавалериста, который был виден Теодору только со спины. Тот отнекивался и отбивался. Когда он очутился в центре круга и какой-то королевский жандарм осветил его лицо факелом, Жерико с удивлением узнал его, а все слушатели, по крайней мере, те, кто мог что-то разобрать, были захвачены с первых же слов. Те, что стояли подальше, кричали:

— Громче, не слышно!

Тогда господин де Пра взобрался на колесо зарядного ящика и, оказавшись рядом с пушкой, сызнова начал свою речь со всем жаром двадцати пяти лет и тем желанием нравиться, которое так сильно чувствовалось в нем и редко бывало обмануто:

— Моя фамилия Ламартин, я родился в Маконе, семья моя ни разу не покидала родной земли, ибо верила в священные права отчизны, как наши предки верили в права престола.— Помимо звучности и красоты голоса, некоторое смущение, проистекавшее оттого, что молодой человек впервые выступал публично, придавало особое обаяние его речи. Глядя на него при вечернем освещении, Теодор охотно признал про себя, что господин де Пра в самом деле хорош собой и нечего удивляться, что юная Дениза любила сидеть у него на постели и слушать, как он рассказывает про Италию.

Молодой оратор долго распространялся о жизни провинциального дворянства, из среды которого он вышел и которое, презирая развращенность двора, вместе с тем осуждало «преступления революции», хотя и было «неизменным и умеренным сторонником ее принципов»... Тут поднялся шум, фанатики-роялисты прервали его.

— Не мешайте! Дайте ему говорить! — кричали другие.

Он продолжал:

— В глазах моего отца и братьев Кобленц был безумием и ошибкой. Они предпочли быть жертвами революции, нежели пособниками врагов родины. Я воспитан на этих принципах — они вошли мне в плоть и кровь! Политиком надо родиться!

«Предпочли быть жертвами...» Дальнейшего Теодор почти не слушал. Многое из сказанного поразило его. Этот молодой человек размышляет вслух. Да. И то, что он говорит,— верно. Жерико знавал таких аристократов, которым отчизна была важнее их рода, они дорого заплатили за то, что остались во Франции, и ни разу не пожалели об этом. Но что он еще там рассказывает — этот гвардеец из роты Ноайля? Защита свободы и защита Бурбонов ныне слиты воедино... что-то он пересаливает. Ага! Хартия...

— Наша сила в том, что душою мы с республиканцами и либералами, нами движет та же ненависть к Бонапарту...

Господи, что это? Теодору вдруг показалось, будто это продолжение сцены в лесу, среди кустов, на откосе в Пуа — только теперь выступает монархист, надо сказать довольно своеобразного толка; он говорит, что стоит республиканцам и роялистам восстановить против Бонапарта общественное мнение, как часы его царствования будут сочтены. Нужно, чтобы все французы сплотились против тирании.

— Неужто вам не понятно, что сейчас они готовы с нами объединиться на основе конституционных свобод и восстановления принципов восемьдесят девятого года, однако они решительно порвут с нами, если увидят нас на чужой земле и убедятся, что мы отнюдь не отстаиваем независимость нашего отечества?

Трепет недоумения прошел по толпе этой молодежи — никто и никогда не говорил им таких слов. Большинство из них тоже не были эмигрантами, они выросли в тех полуразрушенных замках, разоренных поместьях, где родители, не пожелавшие бежать, с детства держали их взаперти. Теперь молодой Ламартин выражал опасение, что стоит сделать еще один шаг по стезе верности королю и чести, как они лишатся родины (последние слова он произнес, отчеканивая каждый слог)... и этот шаг не принесет им ничего, кроме сожаления, а в дальнейшем, быть может, и раскаяния.

— Эмигрировать — значит признать себя побежденным именно в том, ради чего стоит сражаться...

Чем больше он приводил доводов в пользу возвращения домой, под родное небо, где ждут их матери и невесты, тем ближе становился этим юношам. Сражаться? Нет, главное не покидать Франции и воспользоваться свободой мнений и свободой слова... Когда же он сказал: «Я не перейду через границу»,— стало ясно, что только этих слов все и ждали и что победа осталась за ним.

Группа раскололась на две, отстаивавшие противоположные решения, однако тех, что и теперь желали последовать за королем на чужую землю, оказалось очень немного. Это были по большей части волонтеры, вроде первого оратора... Его окружили семь-восемь юнцов и все вместе, яростно жестикулируя, удалились. Теодору хотелось поговорить с господином де Пра, но когда Ламартин спрыгнул с зарядного ящика, его обступила такая толпа, что добраться до него не было возможности. Теодор решил зайти к нему попозже, когда он вернется к кузнецу, господину Токенну, очень уж интересно задать ему кое-какие вопросы. Особенно взволновала художника политическая сторона дела: непонятно было, откуда у этого маконского дворянчика такое отношение к республиканцам.

По всей Главной площади виднелись такие же группы, они собирались, рассыпáлись, тут рукоплескали, там свистели, а случалось, доходило и до рукопашной. Вдруг Теодор заметил рядом мальчугана лет десяти, смотревшего на него восторженно и вместе с тем пытливо, как смотрят в детстве на старших. Это был Жан, младший сынишка его хозяина. Жерико ласково окликнул мальчика. Жан объяснил, что мать велела напомнить постояльцу про обед, они до сих пор его дожидаются, но не беда, сейчас тоже не поздно пообедать, сегодня пятница и к столу будут сбитые сливки, жаль только не с грушами, сейчас им не время, а с рисом — это совсем не так вкусно... Что ж, придется идти за мальчуганом. Теодор взял его за руку, и они поспешили прочь от света и речей, свернули на улицу Большеголовых, но, так как посудная лавка была заперта, пришлось обогнуть угол и пройти через узкий и мрачный проулок.

— Мы вас дожидались,— строго сказал майор.

Все сразу же сели за стол.

А когда Теодор после обеда отправился на другую сторону переулка к кузнецу, господина де Пра де Ламартин там не оказалось. Вместе со своим приятелем господином де Вожела он снова пошел нести караул у Аррасских ворот.

XVI

ЗАВТРА ПАСХА

«Я пролился как вода; все кости мои рассыпались...» Этот стих псалма, который пели в церкви св. Вааста, пока граф Артуа там исповедовался, преследует графа во сне... «Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прилипнул к гортани моей». Где он сейчас? Спит на твердом камне... «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня...» Золото, только золото осталось ему от величия и славы, и к бочонку прильнул он щекой... «А они смотрят и делают из меня зрелище; делят ризы мои между собой и об одежде моей бросают жребий...» Нет ничего ужаснее, чем страх во сне. Страхи тоже снятся разные: страх, что тебя увидят голым, страх, что упадешь, страх перед убийцами, откуда он берется? От той лжи, которая живет в нас, от всего того, что мы утаили, а еще от того, что я чем-то владею и это могут у меня отнять,— страх перед ворами. Правда, знаешь, что спишь, но мучительно стараешься проснуться хотя бы для того, чтобы доказать себе, что это все во сне. Раз я проснулся, значит, я спал. Пока стараешься проснуться, кажется, будто летишь в пропасть. Припоминаешь не всю жизнь, а весь сон, с чего это началось? Страхи в обратном порядке обуревают меня, снова тот же трепет, то же дыхание неведомого... умереть я не могу, раз я сплю... а правда, что я сплю? Что, если так умирают... «Избавь, господи, от меча душу мою и от псов жизнь мою».

Я слышу чьи-то шаги, кто-то шепчется, свечу опять зажгли, а может, вынесли из-за столба, почем я знаю? Люди, которые заснули, навалившись на стол, что-то бормочут, просыпаясь, вот отодвинули скамью, кто-то прошел, шаркая ногами, кто-то застонал. Ну да, ферма в Ла-Фоссе, близ Лестрема. Зала, где в пору жатвы кормятся сорок жнецов. Огромная зала и тени в ней тянутся ввысь, под стропила, к невидимому потолку и к каменной лестнице. Граф Артуа откидывает плащ и, убедившись, что бочонок цел, встает, ощупывает, все ли пуговицы застегнуты, порывается куда-то идти.

Что такое? Который час?

Ровно час ночи. Господь испустил дух. Наступает день субботний, долгий день без иных событий, кроме смерти. Чего хочет запыхавшийся гонец, меньше чем за час проскакавший от Бетюна до этой остановки на крестном пути? Впрочем, и расстояние-то здесь всего две с половиной мили. Обыденные ощущения вступают в свои права, в комнате стоит тяжелый жилой запах. Пахнет мокрой одеждой и шерстью.

Гонец — молодой востроносый гвардеец, он снял каску и отирает лоб, ружье он прислонил к столу, на котором дремлет кувшин рядом с караваем хлеба. У гонца зеленые выпушки роты герцога Граммона. Как знать? Вдруг это переодетый лазутчик? У него грубоватый бургундский выговор... Или предатель. Чего доброго, выдаст меня врагу. В свое время он вместе со всеми повторял клятву, сочиненную князем Пуа: «Клянитесь верно служить королю и, если до вашего сведения дойдет, что против него злоумышляют, клянитесь неукоснительно сообщить об этом вашему начальнику и начальнику штаба, клянитесь не брать ни пособия, ни жалования, ни вознаграждения ни от кого из иноземных государей, а только лишь от его величества...» Он запыхался, казалось, от него идет пар, как от коня, которого он оставил за дверью. В ответ на вопрос Армана де Полиньяк он объясняет:

— Я был в карауле у Новых ворот вместе с солдатами из разных частей под командой господина де Тустен из нашей роты. Новый генерал, который у нас теперь комендантом, поставил по триста солдат у каждых ворот, а их всего четыре — таких, через которые можно не только ходить, но и ездить, значит, в каждый караул надо отряжать тысячу двести человек. Нас прикрывали солдаты Швейцарской сотни, занимавшие люнет. Возле обеих пушек на валу тоже стояла охрана. Около полуночи нам из люнета дают знать, что к Новым воротам приближается отряд кавалеристов. Их окликают: «Кто идет?» В ответ взвод человек в десять подъевжает для переговоров. Оказалось, это один из генералов Узурпатора двигался от Азбрука, не знаю уж с каким войском. И теперь требовал, чтобы его впустили в Бетюн. Ему крикнули, чтобы он проваливал. Он уперся, да еще стал грозиться — подайте ему наши пушки, они ему, дескать, пригодятся. «Если вам угодно драться, сделайте одолжение, в крепости три тысячи солдат и население за нас». Три тысячи — это вдвое больше, чем на самом деле, но надо же застращать противника! Он замялся и принялся нас уговаривать, что драться нам незачем, все равно короля во Франции больше нет, а есть только император. Ему опять повторили, чтобы он проваливал. А он в ответ: «Если вы рассчитываете на принцев, так напрасно, да будет вам известно, что вторая половина Азбрукского гарнизона послана им вдогонку и ночью подстережет их где-нибудь возле Эстера...» Вот... Господин де Тустен сказал мне: «Садись на коня, голубчик, найди господина де Рейзе, он уехал с принцами, и предупреди его...» Как мне пройти к господину де Рейзе?

Сколько ни бились, никак не могли втолковать ему, что поручение выполнено и незачем искать господина де Рейзе,— гвардеец

конвоя стоял на своем: он поклялся сообщить своему начальнику, если узнает, что кто-то злоумышляет против короля.

Граф приказал препроводить его не к господину де Рейзе, а к маршалу Мармону, в Эстер. Однако, прежде чем его отпустить, граф задал ему вопрос:

— Новые ворота, это те, что называются также Эрскими? Так. А сам ты выбрался без труда? И нигде не наткнулся на мятежных кавалеристов?

Именно из этих соображений его послали не через Новые, а через Приречные ворота. Оттуда, кстати, и начинается дорога на Эстер.

— И ты ничего и никого не видел?

Ничего. Никого. Что же это за осажденный город, из которого выходишь, когда хочешь, и хоть бы раз паткнуться на осаждающих! Да и зачем было Азбрукскому гарнизону подаваться на Бетюн, если под его стенами уже находится кавалерия Эксельманса.

Откуда графу Артуа было знать, что появившийся в полночь у Новых ворот генерал был тот самый генерал Вандамм, которого король сослал в его поместья под Касселем. Одного имени этого генерала достаточно, чтобы его величество передумал ехать из Лилля в Дюнкерк, так как дорога туда лежит через Кассель. Откуда графу было знать, что, услышав о вступлении Наполеона в Париж, Вандамм покинул свою усадьбу с огромным парком, раскинувшимся по всему склону Мон-Касселя, с которого можно видеть море, Бельгию и тридцать два города, включая сюда как Бетюн и Эстер, так и Остенде, Лилль, Кале и Сент-Омер. Откуда было графу знать, что Вандамм стал во главе Азбрукского гарнизона, а в пятницу получил по телеграфу приказ явиться в Дуллан в распоряжение Эксельманса. Все остальное была чистая выдумка... После того как его не впустили в Бетюн, Вандамм обогнул город и, нимало не интересуясь принцами и королевской гвардией, ночью продолжал путь прямо на Сен-Поль.

Тем временем весть, что, того и гляди, нагрянет Эксельманс с целой колонной кавалеристов, молниеносно распространилась по Лестрему, Ла-Горгу, Эстеру. Били сбор, ходили из дома в дом будить офицеров, лил дождь, люди выбегали на улицу, не успев толком одеться, в неизвестных направлениях мчались конные, то и дело приходилось окликать мелькавшие в темноте тени или наталкиваться на группы солдат. Командиры конвоя попадали к гренадерам, командиры гренадеров — к мушкетерам.

Труднее всего было собрать кареты, паника постепенно охватила всю местность от Ла-Фосса, где застрял граф Артуа, до Эстера, городишка, растянувшегося в ширину на том берегу Лиса, где остановился на ночлег Мармон. Теперь уж больше нельзя было

скрывать правду. Открыть ее поручили герцогу Беррийскому, что он и выполнил под дождем, на эстерской площади, у подножия башни, откуда колокола, как выполняющие гражданские обязанности, не перекочевывают ежегодно в Рим от страстного четверга до воскресенья, а продолжают отзванивать часы и четверти; вот и сейчас механизм действовал исправно и, заглушая голос герцога, отзванивал мелодию, которую оратор сперва не узнал, но когда у него в голове возникли слова: *«Добрый путь вам, мосье Дюмолле. В Сен-Мало вам пристать без помехи...»* — он воспринял это как злейшую насмешку. Его высочество говорил, что с эстафетой только что получено послание государя, который вынужден покинуть Лилль и Францию, местом сбора назначен Ипр, по ту сторону границы. Кто хочет, может последовать за королем, однако командирам, чьи роты остались в Бетюне, надлежит вместе с теми, что не пожелают покинуть родную землю, вернуться ко вверенным им частям и приступить к расформированию войск.

Итак, мы держим путь уже не на Лилль, а на Байель или, вернее, в безыменный пункт между Байелем и Армантьером. Просто говоря — в северо-восточном направлении. Так как переход границы должен быть осуществлен в самом ближнем пункте, надо, елико возможно, идти по прямой... Но вот тут-то и начинаются трудности.

Уже и в сумерках было нелегко добираться сюда, а тем более темной ночью, когда небо все в тучах и льет дождь; правда, после переправы через Лис проводник вывел колонну на проселок, который отходит от Эстерского шоссе, оставляя вправо дорогу на Армантьер. Однако здесь сразу же началась полоса топей и торфяных болот, которая считалась непроходимой две трети года, и хотя колонна через каждые сто — полтораста туазов топталась на месте, дожидаясь, пока подтянутся отстающие, все равно на развилках никто не знал, куда поворачивать, а развилок было хоть отбавляй. Здешние дороги пересекаются на каждом шагу, их даже зовут улицами. Это словно большой неотстроенный город, в котором ничего не стоит заблудиться, особенно когда то и дело сбиваешься с пути, на повороте стараешься держаться прямой, идешь полем и вдруг, смотришь, угодил в камыши. Да это же канава, куда вас к черту понесло! Дело в том, что здесь тоже поля разделены канавами на прямоугольники — большое удобство для путешествия в каретах...

— Кстати, велено идти все прямо...

— А вам не кажется, что мы кружим на месте? И те, кто нас ведет, как и мы, ни черта не знают, понятия не имеют, куда идти!

— Кто это сказал?

— Ах, простите, господин маршал! Будь тут хоть какое-нибудь жилье, чтобы спросить дорогу...

— Да, но жилья-то не видно. Выселки редки и разбросаны. И какую дорогу спрашивать? На Байель?

— Нет, на Стенверк...

— В Эстере нам объясняли так: хочешь — иди через Пти-Мортье, хочешь — налево, через Дулье. Так или иначе непременно попадешь в Стенверк, только что через Дулье немножко подальше, ну да не беда.

— Не в том дело, нам уж столько приходилось выбирать между правой и левой; сомнительно, чтобы мы всякий раз попадали в Пти-Мортье или Дулье...

В Сен-Мало вам пристать без помехи...

Конечно, пешие могут днем перепрыгивать с камня на камень по придорожной тропке. Но конным, да еще ночью...

Фавье ехал рядом с Мармоном. И заговорил вдруг совершенно изменившимся голосом, так что в первое мгновение маршал рванул было лошадь в сторону, но речь была вполне в духе его адъютанта.

— Не повернуть ли нам назад? — так начал Фавье.— Засесть в Бетюне и выдержать осаду, сколько бы она ни продолжалась? По всему видно, что Бонапарт уклоняется от сражения между французами, потому что оно может послужить предлогом к иноземному вмешательству.

— Об этом не может быть и речи,— возразил Мармон.— Мы переправляемся в Нидерланды, король уже там.

Наступило молчание, которое нарушили крики и ругань. Опрокинулась карета. Чья? Лошади остановились, ничего, нас это не касается, раз мы во главе, надо ехать дальше. Во главе чего? Неизвестно, следует ли кто-нибудь за нами. Достаточно было передним свернуть не в ту сторону, как они потянули за собой остальных...

— Господин маршал,— сказал Фавье, и в его голосе слышалась тревога.— В Париже вы полностью одобрили мой план обороны Лувра. Король не дал согласия, пусть пеняет на себя. Теперь он обретается в Ипре или еще где-то. За это он отвечает перед историей. Но неужто вам непонятно, что для Наполеона важнее всего создать легенду, будто его призвала страна и все встретили с распростертыми объятиями... А вот если мы окажем сопротивление, если прольется кровь...

Мармон промолчал, он поднял воротник шинели — северный ветер пощипывал уши.

— Днем была настоящая теплынь, а тут смотрите, как похолодало к ночи.

Фавье из себя выходил. Зачем было иметь в своем распоряжении королевскую гвардию, зачем было собирать и вооружать молодежь, если не хочешь драться. Либо мы правы, либо нет. Если правы, надо драться, чтобы доказать свою правоту.

— Возможно, что Бетюн не самое удачное место,— снова заговорил он.— Я имею в виду близость к Лиллю и Аррасу, хотя укреплен он по-вобановски, но, пожалуй, все-таки умнее было бы отойти на Эден — он дальше от границы, а значит, представляет меньший соблазн для союзников...

— Не понимаю,— прервал его Мармон,— что вас больше смущает? Близость союзнических армий или солдат Эксельманса?

— Поймите, господин маршал,— принялся доказывать Фавье,— в случае несвоевременного вмешательства извне Бонапарт приобрел бы лишних сторонников, а нас бы стали считать приспешниками иностранцев.

Мармон приглушенно хихикнул. Не видно было, какое у него выражение лица. Но Эден явно устраивал его не больше, чем Бетюн. Ему лично не стоило задерживаться в стране, где хозяином был император. Еще в Канне Буонапарте вполне определенно высказывался в том смысле, что Мармона ждет стенка и двенадцать пуль. Оттого что маршал перейдет границу и присоединится к королю, вовсе не следует, что и остальные... Господи, как мы кружим! Ну вот, дождались, влезли в топь и увязаем все глубже. Куда мы угодили? В торфяное болото? Назад! Хлюп, хлюп, хлюп... Что с этой лошадью? Легла и лежит...

Надо остановиться, подождать остальных.

Кто это — остальные? Может быть, мы и есть остальные. Не иначе как сейчас очутимся в Армантьере, или в Эстере, или еще где-нибудь похуже. А вдруг в самом деле солдаты Эксельманса или Вандамма выступили нам навстречу из Азбрука и, зная, что мы в Эстере...

— Стой! Кто идет? Ах, это вы, Лористон.

— Господин маршал, графу Артуа пришлось выйти из берлины, потому что она свернула на какой-то проселок, откуда ее нельзя вызволить.

— Вот те на! А как же его бочонки?

Он роздал их гвардейцам, положась на волю божью! Вы вот шутите. А там ведь вся наша военная казна. Я решительно возражал против того, чтобы драгоценности короны были отправлены в Англию... Теперь что же,— прикажете побираться в Бельгии? Кто это там позади, верхом? Простите, господин герцог, я вас не узнал, как говорится, дал маху. Вот уж незадача так незадача. Господин герцог де Ришелье едет верхом, а где же его экипаж?

Да это не мой экипаж, это кабриолет Леона де Рошешуар. Не знаю, куда он запропастился, нет, не кабриолет, а наш юный Леон... Я был уверен, что он впереди, с вами.

— Куда девался Леон, я понятия не имею. Что до кабриолета...

Путники останавливались. Трогались дальше. Останавливались опять. Переговаривались между собой.

— Прошел слух, будто наши пушки, ну да, наши пушки отправлены в Армантьер, а оттуда они ни с места.

— Как? В Армантьер? Мы ведь еще не добрались до Армантьера...

Да нет же, их отправили другим путем. Подите растолкуйте им, что другим путем из Бетюна не доберешься иначе, как сделав крюк через Лилль. И никому в голову не приходило, что пушек попросту не взяли с собой. Да и на что они сдались, эти самые пушки? А тогда зачем тащить с собой зарядные ящики?

Кабриолет Леона де Рошешуар оказался на одной из проселочных дорог, позади гренадеров. А что делается впереди — вряд ли кто может сказать. Ясно одно, все увязают в грязи. Вот тут еще какая-то карета и фургон. Фургоном по непонятной причине правил штатский из местных жителей. Никто не мог догадаться, что такое он лопочет. И для местного жителя он удивительно плохо знал местность. В фургоне помещались три сундука и трое человек. В кабриолете с пожитками герцога де Ришелье и рошешуаровским дорожным мешком для платья лакею Леона было очень тесно, при каждом толчке он, растопырив руки, старался удержать баулы, и кучер, глядя на него, покатывался со смеху. Кучер был новый, но поневоле познакомишься за пять дней и пять ночей пути, нет, кажется, выходит пять ночей и четыре дня? Говор у него тоже был чудной, только по-иному, звали его Бертен, был он парижанин, и понять его жаргон, вернее некоторые словечки, мог разве что уроженец Бельвиля, а слуга господина де Рошешуар как сын лакея из Версаля употреблял изысканные обороты и не терпел жаргонных выражений. На руке, ближе к плечу, у Бертена была татуировка, которую он не любил показывать. Но когда он умывался в Абвиле, лакей обнаружил, что у синей змеи, обвившейся вокруг его левой руки, голова доходила до правого соска, и кучер, или как он сам называл себя — «кучерявый», намекнул, что эта диковинка не очень-то пристойного происхождения, и с тех пор не переставал издеваться над лакеем, а тот конфузился. Кто знает, может, тут и в самом деле есть такой душок. В эту ночь «кучерявый» был злой-презлой и затеял со своим попутчиком разговор об императоре. Это слово в устах кучера и при таких обстоятельствах!

— Ты что, всю жизнь думаешь расшибаться в лепешку? Тебе, видно, нравится быть холуем? Ты вот что обмозгуй...

Этот глагол не был в обиходе лакея, а последующее, что ему предложили обмозговать, еще меньше подходило для его мозгов и ушей. Либо ты честный человек, либо нет. Истинное несчастье ночью, посреди болота, имея на своем попечении драгоценный позолоченный несессер его спятельства, очутиться в обществе подобного субъекта! Потому-то ему и показался истинным посланцем небес гвардеец, который добрался до них, перепрыгивая с камня на камень и прижав к груди большой сверток: он объяснил, что конь у него попал в трясину, и попросился к ним третьим... Кучер огрызнулся. Места нет, но лакей жеманным тоном возразил, что можно потесниться.

— Ладно, полезай! — крикнул Бертен.— Вы, сударь, добрый малый, только смотрите! У этого типа подозрительная рожа...

Под дождем время тянулось бесконечно. Из Эстера выехали часов около двух, а теперь вряд ли больше четырех. Внезапно откуда ни возьмись — отряд кавалерии. Стой! Кто идет? Это оказались мушкетеры, значит, либо они, либо мы сбились с дороги, и как это выходит, что все время встречаешься со своими? А в какую сторону подаваться теперь?

* * *

Эту ночь в Бетюне, в караулах у городских ворот, на укреплениях или на постое, королевские гвардейцы спали мало и тревожно. После того как сторожевые отряды разошлись по своим постам, на квартирах у местных жителей осталось человек четыреста, не больше. У Теодора произошел длинный разговор с его хозяевами, в котором принял участие некий капитан де Беллоне, командир инженерного полка в Бетюне, окончивший Политехнический институт и разделявший образ мыслей майора. В девятнадцать лет он за участие в Ваграмской битве получил крест Почетного легиона. И когда Теодор повторил то, о чем думал весь день, а именно, что ради этой королевской авантюры и умирать-то не стоит, капитан удивленно посмотрел на него и вдруг произнес с каким-то даже вызовом: «Раз не стоит умирать, значит, сударь, стоит жить». Эти слова произвели сильное впечатление на нашего кавалериста, однако не убедили его. Хозяйская дочь больше молчала и явно симпатизировала Теодору. Маленький Жан выпросил разрешение посидеть подольше и жадно слушал разговоры взрослых, но около полуночи он стал клевать носом, и мать отправила его спать.

— Ах ты мой новичок-простачок,— сказал майор,— глазки слипаются, пора идти «шлафен».

Это словечко ввели пруссаки, стоявшие во главе с генералом фон Юргасом в Бетюне с половины апреля до половины мая прошлого года. Единственное, что осталось приятного от их пребывания. Родственник господина де Беллоне отказался поставить их коней в конюшню гостиницы на Аррасской улице, за что прусские солдаты гнали его ударами сабель через весь город, пока он не упал мертвым.

— Не хватает, чтобы это повторилось! А сейчас, друзья, пора и нам идти «шлафен»!

Но о «шлафен» не могло быть и речи. В комнате Фреда, хозяйского сына, уехавшего в Париж, была лампа под зеленым абажуром, но масла в ней не оказалось, и Теодору поставили свечу в стеклянном подсвечнике. Он уселся на край кровати. Кровать была светло-желтая, немецкого дуба, широкая и с колонками, а над ней — балдахин с фестонами и занавесками из зеленой саржи.

— Эту кровать оставил в наследство Фреду наш дядя Машю... Он был священник, принявший Революцию, за что его в свое время сживали со свету...— вот и все объяснения, какие, показывая комнату, дала ему хозяйская дочь. Любопытная девушка эта юная Катрин. Некрасивая, но прелюбопытная. Да, кровать в самом деле такая, какие бывают у деревенских кюре. Катрин всячески старалась оправдать свое пребывание в комнате, как будто оно могло показаться мушкетеру предосудительным. Она заглянула в пузатый кувшин на умывальнике — не забыли ли налить туда воды. В этом городе только и думают, как бы хватило воды. Предположим, я бы удержал эту девушку за руку и поцеловал ее... Дурацкое предположение. Мне и самому этого не хотелось, да и принимая во внимание майора... Предположение, конечно, дурацкое, но оно, возможно, означало, что если бы я удержал Катрин за руку и завязался бы роман, у меня бы оказалось для чего жить. Если нет смысла умирать, это еще не значит, что есть смысл жить. Где этого инженера научили так рассуждать, в Политехническом институте, что ли?

Все дело в том, что давеча, когда мы вдруг очутились одни — я хочу сказать, без начальников, потому что они поехали за графом Артуа,— когда мы все сразу, не сговариваясь, поняли, что судьба наша в наших руках, и начали по-демократически... да, по-демократически... обсуждать, как нам поступить, вот тут что-то и переменилось в жизни. Мы перестали быть людьми, за которых решают другие, а им самим остается только повиноваться и идти, куда прикажут. И невольно мне припомнилось собрание в Пуа! Может быть, это и есть свобода, а жизнь, где господствует свобо-

да, стоит того, чтобы ее прожить. Может быть. Для молодого Руайе-Коллара главное слушаться. И как ему не быть потрясенным, когда для того, чтобы слушаться прежних начальников, неизбежно не нынче так завтра придется *ослушаться* их. Солдат не думает, не судит, не решает. Иначе он бунтовщик. Меня неудержимо влечет ремесло бунтовщика и, судя по всему, ни в малейшей мере — ремесло солдата. Однако же этот капитан инженерных войск — он ведь солдат, и когда он во что бы то ни стало хочет, чтобы я нашел смысл жизни, может он себе представить, что для меня имеет смысл только жизнь бунтовщика, иначе говоря, полное отрицание его нравственного идеала. Вот что! В жизни бунт — это как контрасты в живописи: спрашивается, контрасты между чем и чем, бунт против чего?

Теодор разулся и тер одну ногу о другую, чтобы, не нагибаясь, снять носки. Ощущение, что ноги наконец дышат, было удивительно приятно. Любопытно, на кого похож этот Фред, в чью кровать, или, вернее, в кровать дядюшки кюре, я заберусь точно вор? Ему всего восемнадцать лет, а он уже сражался и знает, чего хочет, он шагает навстречу будущему, которое ясно себе представляет. Он намерен помочь рождению этого будущего, помочь изменить лицо мира... Он солдат и бунтовщик. Да. Но как же сочетается одно с другим? Быть солдатом, сражающимся не ради короля или генерала, а ради идей? Может быть, это и есть свобода. Недурной сюжет для соискания римской премии! Быть священником, принявшим Революцию, это ведь значит быть священником-бунтовщиком. Каков из себя был дядюшка Машю, когда спал тут за зеленым пологом? Должно быть, он-то и венчал майора с его Альдегондой? Впрочем, в те времена церковный брак был необязателен... Говорят, Фред похож на мать, а значит, и на сестру... Однако пора «шлафен»... По-моему, у майора сегодня вечером был очень неважный вид... А если бы я удержал за руку Каролину Лаллеман, все пошло бы иначе, я ни за что бы не уехал.

Во всем городе и на сторожевых постах одно и то же: никто не решается вздремнуть даже на миг. Хороши мы будем завтра. Вернее, сегодня... И все переговариваются, советуются по двое, по нескольку человек, вслух, шепотом. Неужто это король так задумал? Как быть? Дожидаться возвращения кавалерии... а там будет слишком поздно... Все равно, надо охранять город, не допустить в него противника, если понадобится — сражаться у городских ворот, на стенах, даже на улицах, во дворах. Тоже своего рода доблесть — погибнуть под развалинами Бетюна...

— Да ты бредишь, друг! Погибнуть под развалинами! Не видал ты, что ли, местных жителей...

— Ну, а товарищи... ты заметил, Поль, когда он говорил по-

сле тебя, тот офицер конвоя... у кого это голубые выпушки, у люксембуржцев? Нет, кажется у роты Ноайля... так вот, все были согласны с ним: служить королю речами, не покидая Франции! И это, по-твоему, солдаты!

Другие складывали в сверточек то, что можно унести с собой. А еще другие... Однако же если у старьевщика на Приречной улице торговля идет столь бойко, значит уже немало таких молодых людей, которые... не дожидаясь королевского послания... Так что же они — дезертиры? Очевидно, но ведь и приказ-то был дезертировать.

* * *

День занимался сквозь тот же мелкий дождик, точно сквозь тюлевый платочек. С трех часов утра отряд блуждал на пространстве в три мили, терял своих, находил, возвращался, останавливался, пугаясь, что кто-то идет, или наоборот — никто не идет. От четырехчасового топтания по болотам, трясинам и грязи некоторые начали выкидывать странные штуки — они шли, держа пистолеты в руке, и ни за что ни про что готовы были пристрелить первого встречного. Тем не менее, когда небо стало светлеть, у всех немного отлегло от сердца. Хоть бы узнать, где можно по-настоящему выспаться.

— Ну, ну, не надо падать духом: как-никак отсюда, из Стенверка, меньше мили до границы. А в Бельгии — там тебе и постель и все, что надобно.

— В Бельгии. Значит, Бельгия тут, совсем рядом, под носом? И ты, стало быть, думаешь уйти в Бельгию?

Один из говорящих ведет в поводу двух лошадей. Их расседлали, чтобы зря не утомлять. Это генеральские кони.

— А у тебя ноги не генеральские, оседлал их и шагай себе, да?

— Ну, раз уж дошли досюда, нельзя же сбежать напоследок...

Кавалерию кое-как собрали, но повозок почти не оказалось налицо. У одних ось сломалась, многие увязли в болоте, а остальные подевались неизвестно куда. Люди были в грязи по колено, а некоторые и того хуже, кое у кого было измазано даже лицо. Участники перехода через Березину, например, Леон де Рошешуар, вспоминали, сравнивали. Растиньяк все твердил:

— Не понимаю, отчего не едет мой кучер, вы не видали зеленой кареты?

— Говорят, большинство повозок опрокинулось в болота или протоки. Некоторые кавалеристы шагают пешком, а с вами как быть? Вот-вот будет граница. Вам уж лучше податься на Арманьер.

— А где это — Армантьер?

Граф Артуа выехал из деревни верхом. При нем Арман де Полиньяк и Франсуа д'Экар. Сколько ему, собственно, лет? Нынче утром он с виду прямо старик. Господин де Дама́ больше не жалуется на лихорадку, из этого не следует, что она прошла. Маршал один из немногих, у кого уцелела карета. Кто же находится в этой невообразимо измазанной берлине? Мармон успел убедиться, что касса его роты по-прежнему там. Но сам он не может поступить иначе, чем граф Артуа, и хотя ему очень хочется еще соснуть, он должен браво держаться в седле, ибо на него обращены многие взоры. Господин де Ришелье спрашивает Леона де Рошешуар, где же пресловутый кабриолет.

— Надо надеяться, он догонит нас здесь или в ближайшем местечке — как бишь оно называется?

— Ла-Креш.

— Так, значит, в Ла-Креше. Монпеза!

— Что прикажете, господин генерал?

— Взгляните-ка, нет ли кабриолета где-нибудь позади...

— Слушаюсь.

Как я говорил,— что напоминает этот дождик? Это какое-то воловье дыханье, мерзкая мокредь. Все предыдущие дни хлестал ливень. А это напасть другого рода — это непрерывно и несносно раздражает кожу. Ага, вот оно что — мухи, водяные мухи. Что, если на тех же лошадях придется возвращаться вспять, снова переходить болота? Тогда лучше не дожидаться вечера. Да нет, ведь мы же направляемся в Бельгию. Бельгия — это тайный пароль надежды. Пока что дождь щекочет, как тысячи мушиных лапок. Дорога здесь не такая уж скверная, только она совсем не приспособлена для кавалерии, для королевской конницы, едущей по ней сомкнутым строем. Вдобавок она скользкая, ступаешь, как в кисель. Опять остановка. На сей раз это гвардейцы герцога Люксембургского, которым взбрело на ум рысью догонять остальных. Кто ими командует? Ясно, что отпетый дурак.

Вот она, дорога. Стой! Опять? Никто не позволит кавалерии перейти на дорогу, параллельную границе, пока разведка не установит, что там все спокойно. Обратите внимание: некоторые гвардейцы уже перебрались через нее и расположились на лугу по ту сторону дороги. Все равно. Разведку посылают. Идет дождь. Надо ждать, чтобы вернулась разведка. Здешние жители встали до зари и вышли посмотреть, как дефилирует кавалерия. Пока что эта самая кавалерия топчется на месте. Леон де Рошешуар занимает разговором господина де Ришелье. Монпеза вернулся, ничего не обнаружив. Дверца забрызганной грязью берлины распахивается, из нее вылезает поразмяться генерал де Бордесуль. Фавье оставил

Мармона и направляется к ближней ферме. Там во дворе копошатся поросята, а дети выбежали на дорогу поглазеть на военных, потом им это надоело. Идет дождик, но такой мелкий, что он никого не смущает. Только позднее убеждаешься, что он пронизывает насквозь. Бывают такие коварные болезни. Дети потеряли к войску всякий интерес и затеяли игру, ни на что не обращая внимания. Даже на дождь. Их десятеро малышей и одна девушка-подросток, они водят хоровод и поют:

Жил-был сардинский король,
Детей он привык баловать,
Вздумал наш добрый король
Злого султана прогнать...

У Фавье горло перехватывает от этих слов. Вдобавок там есть девчурка, похожая на дочку Марии Ангелицы, тоже толстушка... Пропев куплет, дети останавливаются и хлопают в ладоши, приговаривая:

Эй, топ, топ, хлоп, хлоп, берегись!
Эй, топ, топ, хлоп, хлоп, в оба гляди!

Дождь мелкий, мелкий, словно кто-то сжал губы и поплевывает. Пфф, пфф, пфф! Хоровод снова закружился.

Он армию двинул в поход,
А было вояк — двадцать пять,
И велено было всем им
Из пушек чугунных стрелять.

Дети остановились и выкрикивают, ударяя в ладошки:

Эй, топ, топ, хлоп, хлоп, берегись!
Эй, топ, топ, хлоп, хлоп, в оба гляди!

И опять кружатся в хороводе, встряхивая кудрями, словно хотят смахнуть дождевую паутину:

Он репой осла нагрузил,
Чтоб был провиант для солдат.

Фавье уже не смотрит на хоровод. Он вдыхает утреннюю свежесть. Запах просыревшего дымка... Вспоминается что-то бесконечно далекое, солнечный жаркий день близ Понт-а-Муссона. Тогда сам он был вроде этих ребятишек. Пусть себе взрослые устраивают революцию, сражаются, умирают... Хороводы всегда хороводы, а дети — короли...

Увидели речку они,
Почудился им океан,
Мухи за ними неслись,
Почудился всем великан...

Эй, топ, топ, хлоп, хлоп, берегись!..

Дождь словно полчища мух, дождь заполонил жизнь. Где сейчас Мария Ангелица? Где Понт-а-Муссон?

Вот вышли в широкую степь:
«Боже, как мир наш прекрасен!»
Сказали они: «Близок враг,
Скорее, бежим — он опасен!»

Дождь припустил, и дети, окончив припев, бросились врассыпную, выкрикивая: «Скорее, бежим!» Между тем вдалеке у околицы труба сзывала кавалеристов, которые разбрелись кто куда. Отряд тронулся. Крестьяне выпрямлялись и смотрели, опершись на заступ. Дети попрятались. От деревни всадники свернули в сторону, на северо-восток, навстречу дождю, оседающему на белых плащах, на касках, на гривах, на шапках. Вдалеке высится стена деревьев, должно быть там дорога, тропа плавно спускается к ней, а напротив, по ту сторону дороги, гряда холмов, это, верно, и есть Бельгия. *Боже, как мир наш прекрасен!*

* * *

Ровно в восемь часов утра в миле с небольшим от Байеля граф Артуа в треуголке с плюмажем, герцог Беррийский в серой непромокаемой накидке и маршал Мармон в широком белом плаще с черным воротником вынырнули с Лакрешской дороги на шоссе между Лиллем и Дюнкерком в сопровождении не меньше чем полуторатысячного отряда кавалерии, хотя многие отсеялись по пути: одни наутро после краткой речи герцога Беррийского в Эстере сделали в мэрии заявление, что возвращаются к домашним очагам, ибо не желают переходить на чужую землю, другие, трусы и дезертиры, под покровом ночи улизнули в направлении Армантьера или Флербэ, а нашлись и такие непутевые, или попросту воры, которые испарились, соблазнившись доверенными им бочонками с золотом. И в обозе не оказалось ни единого зарядного ящика, а кареты почти все либо поломались, либо завязли в грязи.

Позднее были обнаружены три кареты, из них две с гербами, одна желтая двухместная, две простые телеги, три коляски, шесть фургонов, четыре тележки, четыре лошади в сбруе, множество разбитых зарядных ящиков, а в них всякая кладь, серебряная утварь и серебро, семнадцать блюд, три дюжины тарелок, четырнадцать колпаков — накрывать кушанья,— все из чистого серебра и с королевским гербом. Еще четыре седла, из них два форейторских, две сабли, одна шпага, две каски, пара пистолетов, а также различные предметы туалета, упряжки и кухонного обихода. Да, я забыл оседланного эскадронного коня, которого господин де

Каньяр из отряда легкой кавалерии по собственному почину сдал в эстерскую мэрию. А сколько чепраков, попон! Шляпа с белым плюмажем. Портупея из золотого и серебряного галуна. Три пары ботфорт. Четыре седла. Пятьдесят недоуздков. Десять трензельных уздечек. Двадцать верхних подпруг. Два седельных чехла. Плохенький несессер, совершенно пустой. Шесть холщовых дорожных мешков, тоже пустых... И ни намека на кабриолет.

Принцы и Мармон только пересекли большую дорогу, вернее, проехали по этому мощеному шоссе туазов двести назад, к Арментьеру, а затем вместе с кавалерией спустились низом в ту долину, которая, собственно, уже и есть граница. Тут, увидев единственную во всей местности большую ферму, граф Артуа объявил, что желает сделать привал, нельзя же показаться за границей в таком виде — надо привести себя в порядок, побриться... И вот, пока принцы и те свитские, кому назначено было сопрождать их, наводили красоту, остальные спешились, всадники и кони расположились вокруг фермы, кто успел, проник внутрь и занял обширный двор в виде большого мощеного прямоугольника, огороженного со всех сторон, где был свален навоз и копошились куры, в глубине, напротив ворот,— жилые строения, а по трем сторонам — хлева, где помещались свиньи, коровы, лошади; из-под железных дверей текла жижа. Крестьяне сбежались было с вилами, но, увидев такой парад войск, мигом присмирели, и теперь все гудело, как в улье, среди этих каменных стен, крытых черепицей. Впрочем, зачем мне описывать наново? Едва я вошел, как узнал здешние места.

В ночь с 26-го на 27-е мая 1940 года, проехав через пылающий Арментьер, где нечем было дышать от ужасающей жары, где машины осыпало горящими ветками и раскаленным пеплом, мы, то есть части 3-й легкой мотодивизии, ввалились сюда. Неподалеку был сбит самолет, бомбивший ферму. Я уже как-то описывал это, незачем повторяться.

«...Странная была эта ферма: квадратный двор, по всем четырем сторонам — строения. В столовой служащие административно-хозяйственной части, повара, писаря, лениво позевывая, играли в карты, болтали с санинструкторами и санитарами. Капитуляция Бельгии для этих людей, видящих своими глазами из окон вот этой фермы бельгийскую границу, была равносильна кораблекрушению в спокойных водах. Палуба корабля казалась надежной, как сама земля, и вдруг во все отсеки хлынула вода. На дворе фермы стояли санитарные автомобили — все, что осталось от их колонны. Шоферы дремали, прикорнув в уголке машины. Куда ни оглянись, повсюду клубы дыма, пламя пожаров. К хозяйке фермы приехала погостить невестка из Азбрука, и теперь гостья

не могла вернуться к себе домой, потому что немцы отрезали дорогу на Азбрук. Каково же было этим женщинам узнать о бельгийской капитуляции! Ведь у обеих мужья на фронте в Бельгии,— по крайней мере, они были убеждены в этом. Целый день обе бродили по дому и жалостно вздыхали. Не видать им больше мужей. Всему конец приходит. Скоро и сюда явятся боши. Лучше уж сейчас умереть: пусть все пропадает пропадом...»

Вот что было сказано в романе, написанном восемь лет назад, в романе незавершенном, как жизнь, как моя жизнь. Но в действительной жизни здесь, на самом краю Франции, где в 1815 году брился граф Артуа, чтобы свежим, как огурчик, прибыть в Ипр, и где в 1940 году мы дожидались, чтобы после прохода англичан нам очистили дорогу к морю... здесь произошла сцена, которую я не стал тогда описывать. Припоминаете, господин лейтенант? Вы давно уже возненавидели меня, а теперь решили, что пришло время свести счеты. Вы повернулись ко мне спиной и что-то нашептывали обезумевшим женщинам. Я увидел у них на лицах выражение ужаса. Глаза их спрашивали: кто? который? А вы через плечо кивнули на меня. Вы назвали им мое имя, которое оказалось не столь знаменитым, как вы рассчитывали, вы постарались втолковать им, кто виновник этой войны, этой катастрофы, вы разъяснили им, что́ представляет собой партия, к которой я принадлежу. И они вместе с детьми накинулись на меня, собираясь вцепиться ногтями, одна, бедняжка, даже схватилась за нож. Но вы упустили из виду солдат, моих солдат, которые не дали меня в обиду. Кем вы стали потом? Мне как будто рассказывали, что петеновским офицером. Я не очень этим интересовался. Но в романе говорится другое:

«...Люди, участники и свидетели этой пляски смерти, вдруг все как-то распоясались. Жан де Монсэ с удивлением слушал речи солдат, своих товарищей. Он никогда не знал, что́ они, в сущности, думают... Поток оскорблений, проклятий захлестнул все, захлестнул в одну секунду. В одну секунду оказалось, что и тот, и другой, и третий, и десятый — все пораженцы. В одну секунду люди поддались самому черному неверию, самой злой горечи. Ненавидели своих командиров. Пользовались неслыханным лексиконом, который может присниться разве что в дурном сне. Умирать, а ради кого умирать? И тут же трое-четверо заговорили разом, задыхаясь от ярости. Кто-то произнес: Франция. Нет уж, увольте, хватит! Мы эту песенку слышали, довольно с нас!

Ален побледнел как мертвец. Он шепнул Жану:

— Понимаешь ты, что это значит? Ведь это самое страшное!

Жан был согласен с Аленом. Можно потерпеть военное поражение. Можно быть отрезанным от своих, гонимым, преследуемым

неприятелем; можно пасть в бою, погибнуть физически. Но такое вот поражение подсекает, как ножом, и тело и душу. Неужели же это действительно конец?»

О, злосчастное место, где сталкиваются противоположные крестные пути, арена унижений, место, где перерождаются души, зияющая рана на краю отчизны... Не может быть сравнения между той и этой каруселью, между тем, как рвались к морю остатки армии 1940 года и как спасались бегством принцы в канун пасхи 1815 года. Только что оба раза это был день, когда умирали боги. О чем думали молодые люди, не так уж непохожие на других молодых людей, которыми командовал я, о чем они думали после того, как их нарядные мундиры промокли до нитки, кони выбились из сил, а высокие идеалы обернулись фарсом? Ферма та же, те же животные, кругом поля. Мирная картина, которую опровергает только воинственная архитектура фермы, толстой глухой стеной столько веков встречает она вражеские нашествия, и все никак не может привыкнуть к бранным грозам. Впереди ложбина с перелесками, и дальше — пролегающая по холмам дорога чужой страны, дымок скрытого от глаз дома, Бельгия...

Гвардейцы, которых оставили сторожить дорогу, привели заблудившегося, обезумевшего, оборванного человека. Весь дрожа, он бормотал что-то невнятное, только требовал, чтобы его проводили к генерал-майору Рошешуару... Леон вышел из дома вместе с Монпеза. На осклизлой топкой дороге навстречу хозяину ринулась жалкая тварь, отребье, уже недоступное страху, и, целуя ему руки, лепетало какие-то бессвязные слова. Это был слуга Рошешуара.

— Они меня избили, сбросили наземь, хотели утопить, закидали камнями...

— Да кто они, каким образом? Главное, где кабриолет, мой кабриолет? Куда ты его дел? А Бертен, где Бертен?

При этом имени бедняга совсем вышел из себя. Бертен.

— Кучер? Ох, уж этот «кучерявый»!

— Да что ты городишь? Пьян ты, что ли?

Возможно, пьян, только от усталости, от лихорадки... Если бы его вываляли в навозе, вид у него был бы не хуже. Весь ужас ночной сцены ограбления, бегство по болотам, когда он проваливался в торфяные ямы, а спина и руки горели от ударов бича... все это менее страшно, чем унижение, чем растоптанное достоинство человека, пусть всего лишь лакея, но у него тоже есть свое лакейское достоинство... Сперва они хотели сделать его сообщником.

— Да кто они?

— Ну, «кучерявый» и тот гвардеец, которому я по глупости позволил сесть в кабриолет...

— Мыслимое ли дело? Ведь все гвардейцы конвоя — люди хорошего рода, офицеры, и вдруг...

— Чего только они не набрали! Когда они стали шарить в поклаже, я их сперва не пускал, так они надавали мне пощечин, а слышали бы вы, как они меня обзывали! И графский несессер... весь золоченый, и вещи его светлости герцога... и деньги...

Что делать? Ограблены, дочиста ограблены. Но в это пасмурное утро, когда мелкий косой дождик пробирал, как частым гребнем, как граблями, и, точно песок, сыпался с неба в лужи, Леон де Рошешуар увидел в этой раздавленной несчастьем жалкой фигуре что-то невыразимо смешное, он и вообще, будь то здесь, или в Киргизии, или в Португалии, воспринимал с комической точки зрения потерю человеком облика человеческого. Но нет, надо держать себя в узде. Смех в такую минуту был бы ни с чем не сообразен. И чересчур жесток... «А я-то еще разглагольствовал о Березине... Чем мне лучше теперь... Ни гроша за душой... Только что на себе надето и в кармане кинжал. А! Вот удача — три золотых монеты,— все, что уцелело от пятисот франков, которые я захватил с собой. Да еще пара лошадей. Ну, ничего! Зато какую физиономию скорчит мой добрейший дядюшка!» Забавней всего, что Арман-Эммануэль де Ришелье был в мундире русского генерала, и поскольку у него и у его племянника Леона украли все, вплоть до носильного платья, он не мог вернуть себе даже обличье француза...

Господину де Растиньяк тоже не суждено больше увидеть зеленую коляску, свою гордость, с такой чудесной сафьяновой обивкой в тон. Должно быть, это именно она и попала в Лилль в самом плачевном состоянии, вся разломанная, кожа срезана, стекла перебиты, без поклажи, без фонарей. И господину де Дама́ не видать своей желтой двухместной кареты. Вот он выезжает верхом из ворот фермы следом за графом Артуа, вернее, между графом и Франсуа д'Экаром, для прощания с войском. Его трясет лихорадка, глаза застилает туман. О чем это ему толковал Сезар де Шастеллюкс? Экипаж, пожитки... Когда все рушится, одной неприятностью больше или меньше!.. Единственное, чего ему жаль, по-настоящему жаль — это синего бархатного футляра с миниатюрным портретом внука, Жоржа де Лабедуайер, малютки Жожо; без этой миниатюры ему будет очень тоскливо в изгнании. Да еще, надо признаться, без серебряных английских часов с будильником... Они так удобны... и к тому же дороги как память! Отряд легкой кавалерии, проникший вместе со своим командиром во двор, едет в качестве эскорта за принцами и Мармоном. Гвардейцы конвоя, начинающие терять терпение, уставшие шагать все

последние дни и последнюю ночь то вперед, то назад, сбитые с толку непрерывной переменой направлений, мушкетеры, гренадеры, впервые за долгое время построенные по родам оружия, казалось, с дрожью ждут посреди зеленой просыревшей луговины известного заранее приговора, который им упорно хочется считать не окончательным.

Группа, состоящая из обоих принцев, маршала, господ де Дама́, де Полиньяк, д'Экар и герцога де Ришелье в иноземном мундире, подвигается вперед. За ними следуют господин де Верженн, господин де Мортемар, Сезар де Шастеллюкс, Лористон. Войска выстроены напротив вместе с офицерами, сменившими командиров, которые все до единого, кроме Мармона, уехали с его величеством. Дождь перестал. В воздухе потеплело. Погода серенькая, сырая, безнадежно унылая. Господи, как томительно долго длилось ожидание этой страшной минуты. На шоссе выехали в восемь утра, а сейчас уже одиннадцать. Что они там, на ферме, делали битых три часа? Для бритья столько времени не требуется. Говорят, совещались. О чем? Дело как будто ясное, сюда прибыли, чтобы переправиться в Бельгию... понятно, не все... но неужто надо столько часов торговаться, кого брать, кого оставлять? Каждый смотрит на соседа и мысленно задает себе вопрос, в какую сторону того направят. Почти все они, точно дети... да многие в самом деле еще дети. Они боятся, что их покинут, и с ужасом смотрят в сторону Франции — один бог ведает, что их ждет... и вместе с тем их бросает в жар при мысли, что сейчас придется сделать решительный шаг, порвать со всем, перейти на чужую землю. То и другое страшно в равной мере. И неизвестно, какой кому назначен жребий. Вот граф Артуа выехал вперед. Поднял саблю, отсалютовал верным войскам...

Обращаться под открытым небом с речью к двум тысячам всадников — дело не простое и не легкое. Особенно, когда голос уже старческий, надтреснутый. И когда одолевает усталость от долгой бессонницы. Никто не заметил, что, прежде чем начать речь, граф Артуа украдкой перекрестился. Потом потрогал в кармане перламутровые четки, которые святой отец прислал ему из Рима вместе со своим папским благословением. И только после этого отсалютовал саблей.

Сначала речь графа слышна была вполне отчетливо, может быть, ее донес ветер. Это было краткое слово прощания и благодарности, но вдруг оратора перестали слышать дальше первого ряда; к тому же забеспокоились лошади. Видно, что его высочеству трудно совладать с волнением. Он прощается с войсками, которые не могут неразоруженными перейти в Бельгию. Старая песня.

— На что мы вас будем там содержать? Мы едем туда, где находится король. А вы, вместе с командирами, которым мы поручаем вас, возвратитесь в Бетюн к вашим товарищам...

Дальше ничего не слышно, голос ослабел, ветер переменился и уносит слова в Бельгию, к дороге, пролегающей по холму, к далеким дымкам. Каждого из всадников пронизывает леденящий холод. Они замыкаются в себе и больше не слушают. Теперь у них своя судьба, а у принцев — своя. Произошло кораблекрушение, шлюпка одна, остальных потерпевших несет по течению на плоту.

Как? И это все? Для нас — да. А командиров созвали к крыльцу фермы, куда направились принцы. Серый непромокаемый плащ герцога Беррийского раздувался на ветру. Те, кто стоял поближе, в последний раз увидели на глазах Шарль-Фердинанда слезы — слезы Анны Австрийской. Во дворе происходит настоящее прощание с каждым в отдельности. Командир мушкетеров Лористон умоляет, чтобы ему дозволили сопровождать принцев к королю. Вполне ли он искренен? Ему уже известно, что на него возложена обязанность распустить королевскую гвардию в Бетюне, совместно с Лагранжем. Всем, кто поставлен во главе рот, приказано остаться. Если в дальнейшем они пожелают последовать за королем... Командующим королевской гвардией вплоть до ее расформирования назначен господин де Лористон. Нет, больше граф Артуа не в силах сдерживаться. Он содрогается от рыданий. Ведь им сейчас предстоит покинуть Францию,— от эмиграции их отделяет всего лишь узенькая ленточка земли, узенькая ленточка слов. Выстраивают последний эскорт. Триста гвардейцев конвоя и мушкетеров во главе с полковником Фавье, которому, как видно, суждено проводить Мармона до конца. Они доедут до Нев-Эглиз, первого селения по ту сторону границы. А там — опять расставание. Только те, кто захочет — Ришелье, Бордесуль, Мармон, Бернонвиль, Лаферронэ, Нантуйе, Франсуа д'Экар, Арман де Полиньяк,— будут сопровождать членов французского королевского дома в Ипр, в изгнание...

Три сотни гвардейцев конвоя и мушкетеров — последнее войско. Господин де Лористон уже отправился в Ньепп, в трех четвертях мили от фермы. Там назначен сбор возвращающихся в Бетюн. И надо же наконец отдохнуть до утра. Набраться сил. Как-нибудь дотянуть этот скорбный день, когда господь умер, а Франция лишилась короля и принцев... Завтра, как знать?.. Может быть, прояснится. Завтра пасхальное воскресенье, снова зазвонят колокола, и все взоры с настойчивым вопросом обратятся к Франции. Триста гвардейцев конвоя и мушкетеров доехали до Нев-Эглиз, откуда возвратилось двести. Принцы взяли с собой в чу-

жую страну только сотню кавалеристов и две уцелевшие кареты. В Ньеппе командиры рот нанесли визит новому командующему, господину Ло де Лористон. Но кое-кто поспешил улепетнуть — очевидцы рассказывали, что по всей дороге, начиная от самой фермы, кавалеристы сворачивали на Байель и рысью мчались прочь. Не бежать же вдогонку за ними и теми, что, доехав до Ньеппа, продолжали путь на Лилль.

Так обстоит дело даже в королевской гвардии. И тут поторопятся изъявить покорность императору, чересчур поторопятся. Наденут трехцветные кокарды. Ну, все же таких меньшинство. Возможно...

Незадолго до полудня в Байель, изнемогая от усталости, добрались семь человек и попросили, чтобы им отвели квартиры; их послали в мэрию. Там они заявили, что им нужно охранное свидетельство, так как они намерены продолжать службу при новом правительстве. Это были семь гвардейцев из роты герцога Граммона, те, у которых зеленые выпушки. А позднее в Армантьер, в Эркингем явились гренадеры и мушкетеры. Даже в Ньеппе, в то время, когда там еще находилась королевская гвардия, в мэрию являлись с повинной солдаты легкой кавалерии. В особом положении оказались только гвардейцы герцога Рагузского и гвардейцы дворцовой стражи. Первым отдал ротную казну маршал Мармон, вторым — господин де Верженн. Это позволит их солдатам протянуть с месяц, не просясь на службу в императорскую армию. Восемьсот франков на брата. Вот во что ценится дополнительный срок верности...

Тем временем Бертен, «кучерявый», со своим сообщником ходят в Лилле по ростовщикам и торгуют позолоченными принадлежностями дорожного несессера. Но у них без того имеется на двоих кругленькая сумма — восемь тысяч франков в луидорах, есть на что разгуляться, а дальше видно будет.

Бочонок они закопали еще за городом. К чему лишняя огласка, уж очень он заметный, всегда успеем вырыть. Они исподтишка косятся друг на друга, и в глазах у них жажда крови.

* * *

Над Бетюном все то же серое небо. Дождь перестал с утра. Многие гвардейцы конвоя, гренадеры и мушкетеры еще спят, потому что ночь прошла в нескончаемых и страстных спорах. А между тем уже два часа дня. Проснувшись в этот неположенный час, они вместе с возвратом к жизни приобщаются и к лихорадке, снедающей бетюнский гарнизон. Теперь уж никто не сомневается в измене — ни те, что все еще порываются бежать и присоединиться

к королю в Бельгии, ни те, что решили все бросить, махнуть на все рукой и пойти на попятный. И первые и вторые видят себе оправдание в слове измена. Не щадят даже принцев. Как мог герцог Беррийский покинуть нас? А поминая графа Артуа, говорят о втором Кибероне... Люди собираются кучками и шушукаются, а когда к ним подходят, умолкают; обеспечить регулярную смену караулов почти невозможно, никто и так не уходит со сторожевых постов. Патрули на крепостном валу все глаза проглядели, выискивая кавалеристов Эксельманса на болотах, в «сведенных лесах» и на дорогах. Шагая, один от одних ворот, другой от других, патрули встречались на крепостной стене и, забыв долг службы и опасность, принимались обсуждать утренние новости. Господин де Лагранж велел объявить по войскам, что они получат свободу только при условии сдачи оружия... Город-то ведь закрыт на замки, на запоры, на засовы.

— Какая наглость! Говорил же я вам, что Лагранж изменник! Вы только подумайте: предложить нам, чтобы мы добровольно разоружились и этой ценой купили себе право разойтись по домам!

Ротные канцелярии уже выписывают увольнительные, а самые нетерпеливые поспешили явиться туда, чтобы им выправили пропуск... Оказалось, что не так-то просто отсюда выбраться! Нет. Надо дождаться кавалерии.

— Когда она вернется?

— Должно быть, нынче вечером. Прежде всего, никакие документы не действительны без подписи ротных командиров. Так что придется подождать до завтра...

Дозорный путь устроен очень замысловато. Форпосты в виде люнетов выступают из стен, как огромные шипы. Солдаты Швейцарской сотни, привалившись к пушкам, вглядываются в даль. Может быть затем, чтобы пальнуть еще разок от скуки, наугад. В город спускаются по узким лесенкам и сводчатым переходам. Вот и Приречная улица с мясными лавками, отбросами и зловонием от крови и тухлой говядины. У лавки старьевщика Теодор увидел Монкора, который ощупывал выложенную на прилавок кучерскую одежду — плисовые штаны, канифасовую куртку и широкополую войлочную шляпу; заметив своего старшего товарища, юноша сперва вспыхнул, затем побелел.

— Вот до чего докатились,— вымолвил он глухим голосом... А глаза как у затравленного! И тут же, боясь разговоров, бросил разложенную перед ним одежду и убежал. Неплохая одежонка, не слишком засаленная. Теодор прикинул на себя штаны — не по росту, а впрочем, на худой конец... Там видно будет.

Ближе к цитадели находится малый плац, где совершаются казни и где в конце января 1814 года были расстреляны Луи-Огюст Патернель и Изидор Лепретр из деревни Предфэн, убившие в недонском кабачке, во главе кучки крестьян, вольтижера недавно созданной императорской гвардии. Казнили их в присутствии родителей, братьев и сестер, перед лицом безмолвствующей толпы. Это место стало священным для тех, кто телом и душой предан королю. Потому-то здесь и собрались семеро волонтеров. Среди них длинный, как жердь, Поль Руайе-Коллар и кудрявый Александр Гиймен... Спасти знамя!.. Это главная их забота. Но надо дождаться вечера и попытаться бежать, когда для кого-нибудь спустят подъемный мост у Новых или у Приречных ворот.

Жерико не спеша проходит через Главную площадь, похожую на унылое становище кочевников, где другие волонтеры все еще спят под телегами, между колес, и позевывая бродят повара, писари, интендантские чиновники. И солдаты Швейцарской сотни, которые только и бубнят свое «Gott verdom» [1], а один ворчит, что знай он, как это обернется, он не стал бы сбривать усы в угоду королю. Водоносы катят на тачках полные бочонки. Но торговля идет вяло. Ни у кого нет охоты помыться.

— Я вас видела,— сказала Катрин, когда он возвратился в посудную лавку,— но я не такая нерешительная, как вы, господин Теодор... Зачем вы вздумали покупать у старьевщика заношенное, грязное тряпье? Я бы охотно дала вам платье Фреда... Только мой братец вам по плечо! Его куртка на вас даже не сошлась бы...— В ее словах слышится восхищение этим рослым красавцем, этим хватом, как говорят здесь. И вместе с тем слова служат ей, чтобы скрыть какие-то мысли. Теодор это чувствует. Девушка явно озабочена.

— Что с вами, мадемуазель? Вы говорите одно, а думаете совсем другое.

Ей было неприятно, что он разгадал ее настроение.

— Ничего, ничего, папе что-то неможется. Он просил не говорить вам.

— Однако же мне нужно с ним побеседовать.

— Не знаю, можно ли,— сказала она,— во всяком случае, не долго, его нельзя утомлять...

Когда вокруг совершаются события такого размаха, кажется, что ход отдельных жизней приостановился, что в такой день ничего произойти не может, а все-таки, оказывается, происходит. Должно быть, майор последнее время совсем не щадил себя. Правду сказать, он недомогал еще до поездки в Пуа. Но не обратил на

---

[1] Проклятье *(нем. диалект.)*.

это внимания. Ни за какие блага не пропустил бы он ту встречу в лесу. Возвращался он из Пуа через Дуллан и Сен-Поль. Верхом. А у него уже не было привычки к таким путешествиям. Что же с ним, собственно? Только что был врач и прописал лекарства, отвары.

Пока не увидишь человека в постели, его как следует не знаешь. Майор приподнялся, опершись локтем на подушки. Да он же старик! Прежде всего, без воротника видно, что шея вся дряблая. В комнате темновато, хотя на дворе день; на ночном столике красного дерева в виде колонки оставлена чашка с желто-зеленым снадобьем, тут же ложечка, к которой прилипло немножко белого порошка...

— От Фреда пришло письмо,— с натужной улыбкой произнес больной.— Удачно я выбрал время, чтобы расклеиться, не правда ли? Сынок мой опять поступил в армию...

Как? Письма из Парижа доходят сюда? Каким путем? Да попросту доставляются почтовым дилижансом. Сегодня утром его пропустили. Кто? Солдаты Эксельманса?

На губах майора промелькнула непонятная усмешка.

— Солдаты Эксельманса? Нет никаких солдат Эксельманса... это все россказни... я хотел сказать, что дилижанс пропустили часовые у Аррасских ворот! Ведь осаждаете-то город вы сами...

Старик заворочался на смятых простынях.

— Лежи спокойно! — крикнула из соседней комнаты его жена Альдегонда: она, по всей вероятности, увидела его в трюмо, единственном предмете роскоши, оставшемся от их итальянского процветания.— Лежи спокойно, Фредерик, доктор велел.

Майор закашлялся и наморщил нос.

— Если их слушать, этих лекарей...

И он заговорил о сыне.

Слушая его, Теодор думал о своем отце. От чего только господин Жерико не оберегал его — от погоды, женщин, лошадей, приятелей, болезней, вина... Не отец, а наседка. Этот же отец гордится своим отпрыском — тем, что он сорвиголова, озорной мальчишка, которому море по колено, хотя он и ростом невелик и довольно хлипкий. Еще в школе он дрался с балбесами вдвое выше его и однажды явился домой весь в крови, ухо болтается, пришлось зашивать...

— Вы только подумайте, ему не было семнадцати, когда он схватился с этими венграми... в Безансоне... впрочем, я заговариваюсь, я вам это рассказывал уже три раза! Он настоящий патриот, смею вас уверить. Вы бы никакими силами не удержали его в Бетюне, когда пришли вести о высадке Бонапарта. Он не мог оставаться в стороне... Видите ли, не вся нынешняя молодежь

похожа на тех юнцов, которые только и норовят улизнуть... разная бывает молодежь... есть и такие юноши, как Фред... раньше их называли солдатами Второго года. Что ж, это неплохо — солдаты Второго года! В наше время у молодежи были все основания для энтузиазма: народ восстал, король в тюрьме, в воздухе носятся новые идеи. Нынешние молодые люди слыли разочарованными, с узким кругозором — а вот подите же! Стоит где-нибудь загореться пожару, подняться заварухе, и они уже тут как тут, готовы ринуться в бой. Сколько всего должно быть заложено в них самих! Ведь в событиях внешнего мира и в той жизни, какую для них создали, им трудно позаимствовать пыл и жар... значит, все это идет изнутри, отсюда...— Он ударил себя кулаком в грудь, тут же закашлялся и долго не мог отдышаться.

— Вы не устали? — встревожился Теодор.

— Нет, нет, что вы,— запротестовал он.— Я никогда не устаю говорить о моем сыночке... Ведь из них, из этих птенцов, вырастает будущее...

Жерико спросил, как Фред... «Я говорю Фред, а сам даже не знаком с ним! Ну, не важно». Так вот, как Фред относится к Наполеону? Неужели с энтузиазмом? Его, Теодора, очень волнует, очень мучает, как это молодежь — его собственное поколение и даже самые юные — может питать восторженные чувства к возвращающемуся Бонапарту... То ли ей, молодежи, все равно, Наполеон или кто другой? То ли это в противовес толстяку Людовику? А то, может быть, как бывает с девушками, первая, которая подвернется,— лучше всех. Майор сел в постели и поглядел на свои высохшие руки.

— Что я могу вам ответить? Откуда мне знать, что творится в голове у Фреда? Но все это не так уж сложно. Возврат Наполеона означает уход королевской клики. И я уже сколько бьюсь, объясняя вам, что император будет тем, чем мы его сделаем.

Он говорил это в Пуа и больше не повторил ни разу. Мысли его снова унеслись к сыну.

— Славный мальчик, ей-богу... В таких детях — надежда народа. Народ, у которого такие сыны...

— Вы не думаете, что все это у него именно от молодости, а вырастет — образумится? — спросил Теодор.

Майору трудно было дышать, и он только замахал рукой. А хотелось ему сказать очень многое: что он полон веры в нынешнюю молодежь, что она даст замечательных людей, что их руками будет обновлен мир, что все это упрямцы, храбрецы, они не бросят дела на полдороге, а начнут с того, на чем остановилась Революция, и пойдут дальше... что в их руках знамя Франции...

Роговица его выцветших синих глаз была в красных точках, а зрачки лихорадочно блестели. Он приводил мелкие штришки из школьной жизни сына, его великодушные поступки, его...

— Фредерик,— мягко остановила мужа Альдегонда,— тебе нельзя так утомляться. К тому же господин Теодор не знает нашего мальчика... он подумает: родители всегда такие, в глазах отца...— и, обернувшись к постояльцу, добавила: — Нет, он на самом деле хороший мальчик! — Затем приложила палец к губам.

Майор действительно задремал, рот приоткрылся, веки сомкнулись, пальцы вытянулись на одеяле, морщинистые пальцы с утолщениями на суставах и плоскими ногтями...

Они на цыпочках вышли из комнаты.

— Послушайте, господин Теодор,— сказала жена майора,— кажется, я могу вам помочь... Катрин говорила мне... Словом, у нас есть родственник Машю, кучер дилижанса... По-моему, он почти вашего роста... и надо полагать, у него найдется какая-нибудь старая одежда... Да бросьте! Я не допущу, чтобы старьевщик обдирал вас!

Глаза под опущенными веками в темных пятнах обращены к будущему, к мечте, которую не вмещают слова. За песочным, в крупных цветах пологом майор плывет по течению прихотливой волны. В глубь годов, которые ему не суждено увидеть. Все морщины, проложенные на лице заботами прошлого, складываются в таинственные письмена того будущего, ради которого он жил. Отметинки на коже, шрам на нижней губе, щетина на небритом нынче утром подбородке, бородавка на конце правой брови, влажная ложбинка, идущая от носа к усам,— вы рассказываете длинную, полную всяких перипетий историю одной судьбы, подвергавшейся случайностям и неурядицам современной истории, историю жизни майора Дежоржа, какой она представляется мне. Но эта приходящая к концу жизнь, словно долгая утомительная дорога, не что иное, как зачин грядущего, тех упований, что завещаны ею, зачин другой жизни, которая зарождается вновь, юная, трепетная, полная тех же иллюзий, какие манили молодежь двадцать пять лет назад, только к ним прибавилось еще что-то, ибо ничто не завершается, хотя бы я уехал, отряхнул прах от ног своих, отрекся от себя, умер... Так сменяют друг друга времена года, и бесследно исчезнувшая трава вновь появляется с весной. Умер? Да что это значит — умереть? Человек не умирает, раз есть другие люди. И то, что он думал, во что верил, что любил так сильно, так страстно, зазеленеет вновь с теми, кто идет ему на смену, с детьми, которые растут телесно и духовно, и в свой черед становятся восприимчивы к весне, к добру, к прелести вечеров.

* * *

Прошлое, прошлое! Существует никем не оспариваемое убеждение, что в смертный миг перед человеком, как вспышка молнии, проносится прошлое, его прошлое, словно вдруг разматывается нить, которая терпеливо навивалась на катушку памяти. Да разве сам человек не есть отрицание прошлого, не есть то, что выходит из этого прошлого, чтобы никогда к нему не вернуться, разве память — не преображение прошлого, его образ, исправленный соответственно нашим заветным желаньям? Человек обращен не к прошлому, и хотя бы вы за это побили меня камнями, я хочу верить, что в последний миг, когда его плоть осознает, сколь неумолимо отмерен этот миг, душа смотрит вперед в жажде узнать как можно больше и, собрав все силы гаснущего ока, тщится увидеть, что будет впереди, за поворотом, куда пойдет дорога по ту сторону горизонта... в будущем.

Не знаю, может быть, эта книга — я пишу ее на шестьдесят первом году, в возрасте короля-подагрика, того Людовика XVIII с отекшими ногами, которого возят в кресле на колесах,— может быть, эта книга, обманчиво, с виду обращенная в прошлое, на самом деле выражает мое страстное стремление к будущему, может быть, это и есть последнее ви́дение мира, потребность выйти за пределы моей повседневной оболочки, из оболочки моей повседневности. И потому-то, может быть, по мере того как от вербного воскресенья я продвигаюсь к пасхе, в книге моей, словно подземные удары, словно отдаленный перекатывающийся гул, глухо звучит, все чаще и чаще повторяясь, одно слово — настойчиво, как дробь барабана, то скрытно, то открыто звучит одно слово: будущее.

Может быть, отчаиваясь и воодушевляясь, я потому и начал перебирать причудливую старинную ткань истории, потому и прослеживаю перекрещенные нити, сложный узор, где сплетены судьбы и цвета, может быть, для того я и окунулся в гущу канувшей в вечность эпохи, чтобы отрешиться от упрощенного, плоскостного восприятия мира, где я почти уже на излете, может быть, я для того и роюсь в архивной пыли, чтобы обнаружить многообразные зерна, из которых состою я, состоим мы, а главное, те, кто возникнет из нас, против нас, над нами, за пределами нас, ту весну на кладбищах, что зовется будущим.

Может быть, потому, что я отдаю себе сейчас отчет, как мало уже мне отпущено настоящего, я напряг все силы, всю волю и, заставляя моих близких сокрушенно качать головой, безрассудно положил бездну непомерного труда на то, чтобы повернуть все прошлое к будущему.

Сейчас я тот пожилой человек в Тесном переулке в Бетюне, где в окошко виднеется только краешек пасмурного неба, когда угасает свет дня,— дня или жизни? Я тот человек, в чье монотонное бытие ворвался неожиданный недуг, правда, неожиданный только для других, ибо свое сердце по-настоящему знаешь только сам и даже врачи своими приборами улавливают одни обманчивые симптомы, я тот человек, который, ворочаясь через силу в постели, устремленным вдаль взглядом пытается прозреть будущее...

Будущее — это продолжение его самого, эстафета его мысли, переданная другим, преображенная жизненная энергия его тела, зажженный в других свет, завещанный другим пыл. В мечтах своих человек не умирает никогда, человек все может понять, все постигнуть, кроме небытия, и пока в надвигающемся на него мраке мерцает крохотный огонек, проблеск сознания, именно в тот миг, когда, как вы думаете, он оглядывается на прошлое, он на самом деле взывает к своей юности, он призываст свою юность, еще насыщенную будущим, и по мере того как жизнь в нем иссякает, его юность становится юностью вообще, и она через него торжествует победу того, что обречено смерти, над тем, что несет смерть. В этот миг юность переживает человека, а в этом сейчас его будущее.

Юность... подрастающие поколения, в которых для тебя заключена надежда мира. Их, как и тебя, будут обманывать, осмеивать, подвергать искушениям, что ж, все равно. Они — это жизнь, это возрождение, пусть же они смеются даже над тобой, во имя жизни — смеются над тем, что было твоей, только твоей жизнью. Их смех мстит за твои срывы, неудачи, ошибки. Юность — это твое торжество, старик... старик из Тесного переулка в Бетюне, где спускается тьма.

Да, в подрастающих поколениях заключена надежда мира. И твой стекленеющий взор видит уже не тебя, не прошлое, уходящее в прошлое, а твоего сына, твоих сыновей, будущее. Раз и навсегда отбрось лживые легенды, утверждающие, будто прадед выше правнука. Здесь, в Бетюне, на смертном одре, какой внутренний свет загорается в тебе? Ведь не сияние же на лицах выродившихся отпрысков Революции и Империи способно осветить комнату, где становится все темней и темней? Нет, окно твоей души озарено иным светом, светом новых поколений, которые возносят тебя выше, чем дошел ты сам. Ты отказываешься произнести над ними приговор, какой тебе навязывают. Ты видишь в твоем сыне, в твоих сыновьях самого себя, возросшим, достигшим новых светил. Попытайся же проследить путь, который предстоит им пройти. Не слушай философов и историков следующего за тобой века, исполненных презрения и высокомерной жалости к поколе-

нию, которое идет тебе на смену, ибо им непонятна преемственность усилий и непонятно самопожертвование, для них величие — в шуме и громе, хотя бы то был гром пушек.

Вот они, твои сыновья, сыновья человека девяносто третьего года. Прочь тех, кто настолько низок душой, что судит их по результатам, по законам мошны, по дебету и кредиту, кто с высоты своего величия посмеивается над нескончаемыми заговорами, в которых пройдет вся их жизнь, увянет молодость, а многие на этом даже сложат головы. Долго они будут бросаться в авантюры, заведомо безнадежные в глазах истории. Однако же сами они настолько беззаветно уверуют в эти авантюры, что не задумаются поставить на карту и молодость, и покой преклонных лет. После сопровождавшей возвращение принцев бойни, почище всякого террора, каждый год будет приносить обильную жатву героизма и пролитой крови. Тут-то и сбудется пророчество майора — в самом деле, как только Наполеон был побежден, народ завладел им, преобразил его на свой лад, он стал тем, каким сделал его народ, уже не зятем австрийского императора, он существует милостью той самой черни, чьим пленником боялся стать, и лишь благодаря ей слывет пленником королей, у которых поспешил перенять придворный церемониал. Если он кумир отставного вояки, если им божится старый ветеран, если его лубочный портрет висит в крестьянской хибарке, если о нем песенка Беранже на устах бунтаря — так ведь это потому, что заговорщики по всей Франции, от Гренобля до Ла-Рошели, от Тулона до Лилля, до Парижа, по большей части республиканцы, выходцы из народа, они идут на смерть ради героического жеста, без всякой поддержки, без банковских субсидий, преданные высокопоставленными лицами, которые прикидывались их союзниками, и заговоры их порождены уже не интригами, а возмущением снизу. О, патриоты 1816 года! Толлерон, который кладет руку на плаху посреди Гревской площади и говорит палачу: «Рубите эту руку — она защищала отчизну!» Один из его товарищей по несчастью — дубильщик, другой — учитель чистописания. И если можно сомневаться в целях, которые в тот же год преследовал в Изере Жан-Поль Дидье, то его юный сообщник Морис Миар, пятнадцатилетний портновский подмастерье из Ла-Мюра, 15 мая погиб на площади Гренобля за свободу. А в следующем году Дебан, писарь того самого 2-го пехотного полка, в котором служил майор Дежорж и после Лейпцига — Фред, так вот Дебан, получивший крест из рук Наполеона, сгибает и проглатывает его на Гренельском плацу, под наведенными ружьями, лишь бы не расстаться с ним, и умирает двадцати четырех лет от роду вместе со своим товарищем Шайе, которому минуло двадцать два. Когда Фредерик Дежорж-младший приезжает в Париж в 1818 году

поступать в Школу правоведения, студенты юристы уже не похожи на волонтеров 1815 года. Только в этот год, стараниями Ришелье, иноземные армии ушли с французской территории. А уже в 1819 году твой сын, дорогой майор, попадет в тюрьму за брошюру, озаглавленную: «Что надо делать или что нам грозит». И в это же время его соученики потребуют возвращения своего профессора господина Баву, временно отстраненного деканом от должности, и против них пустят в ход штыки. Указом свыше школу закроют. В тот же год народ пошлет цареубийцу — аббата Грегуара, в Палату депутатов, а король отменит его избрание! На следующий год Фредерик будет стоять у решетки Тюильри, когда его однокашника, двадцатитрехлетнего студента, в канун праздника тела господня убьют высланные навстречу солдаты. Назавтра он присоединится к тем шести тысячам студентов, которые отправятся на штурм дворца, вооруженные тростями. На другой день он вместе с четырьмя тысячами молодых людей, одетых в траур, пойдет провожать прах товарища. В тот же вечер произойдут волнения на площади Людовика XV, на улице Риволи и вплоть до Сен-Антуанского предместья. Через день Фредерик примкнет к тем, кто выйдет на улицы между воротами Сен-Дени и воротами Сен-Мартен с криками «Да здравствует Республика!» При этом один будет убит и пятьдесят ранено. В 1821 году для усмирения студентов-юристов снова потребуется вооруженное вмешательство. Но Фредерик тем временем успеет вступить в ложу «Друзей свободы» и станет деятельным заговорщиком.

Приспела пора заговоров, и 1822 год открывает трагическую эпопею этого поколения: год бунтов, дуэлей, комплотов и казней... год восстаний в Туаре и Сомюре, когда был расстрелян генерал Бертон, когда четыре сержанта из Ла-Рошели взошли на эшафот, несмотря на попытки карбонариев отбить их по пути и подкупить коменданта тюрьмы Бисегр накануне казни. Деньги на это среди прочих дали полковник Фавье, Орас Вернэ и его друг Теодор Жерико. Снова бунтуют в Школе правоведения, приходится закрыть медицинский факультет... Такова была эта молодежь... Какими романтическими слепцами были те же Стендаль или Мюссе, утверждавшие, будто эта молодежь ни во что не верила, будто она умела только пить, курить, развращать девушек и стричь купоны! Чем она была ниже воинов Империи или кондотьеров Ренессанса? Ведь шла она на подвиг без оглядки, без расчета на личную выгоду, без уверенности в победе. Да, ты прав, старик, сыновья солдат II года не посрамили своих отцов. Среди них были не одни лишь щеголи с Гентского бульвара.

Майор Дежорж спит, только непохоже это на мирный сон, слишком тяжело он дышит и весь покрыт липким потом, и вдруг

начинает ловить ртом воздух, а потом подозрительно затихает. Ну же, приободрись, постарайся заглянуть вперед, смотри...

Вот сын твой, которым ты гордишься, которого, как и тебя, зовут Фредерик, отправился в Испанию, где республиканцы свергли королей. Разве можно было обойтись тут, на этой границе, без французов, когда парижские Бурбоны решили удушить свободу по ту сторону Пиренеев и армия, наша армия, в которой не вполне изгладилось воспоминание о Вальми, послана против Риего? Сколько их прошло вместе с Фавье от Сан-Себастьяна до Ируна? Не больше полутораста человек, но все они в прошлом участники того или иного заговора, как, например, юный Делон, однокашник Виктора Гюго, приговоренный к смерти по Сомюрскому делу, или Гошар, Помба и Коссен... и когда армия подступает к Бидасоа, они кричат ей: «Солдаты, куда вы идете? Неужто в этой молодой армии, под этим подлым знаменем шагают сыновья победителей при Маренго и Аустерлице? В авангарде у вас капуцины и воры, вас ведут эмигранты и предатели; в арьергарде шагают австрийцы. Вы убиваете свободу, которую отцы ваши утвердили ценою собственной крови, вы восстанавливаете во Франции изуверство и тиранию... То, что у вас зовется «честью» и «дисциплиной», на самом деле преследует гнусную цель растления и унижения нации...» Что могли поделать полтораста человек? Пушки, подвезенные из Франции, в упор расстреливали их. Честь и слава вам, первые защитники нового принципа, принципа солидарности народов, юные герои, о вас ничего не сказано в школьных учебниках, ваши имена будут начисто забыты, но здесь, на Беобийском мосту, вы положили начало той французской традиции, которая облетит весь мир! Спасибо вам за то, что вы во имя Аустерлица стерли с французского народа позор испанской кампании, это преступление Наполеона, пятно на нашем знамени!

Попытайся же, старик, хоть ты и задыхаешься, и стонешь, и тщетно поднимаешь веки, скрывающие уже незрячий взор, попытайся проследить путь твоего сына — вот он в Лондоне, на Денмаркстрит, тесной улочке квартала Сохо, где ютится гонимая Франция. Твой Фредерик был заочно приговорен к смерти. Посмотри на него в среде изгнанников. Вот он беседует с Фавье, который здесь проездом, с генералом Лаллеманом, отправляющимся в Америку, чья жена в 1815 году скрывалась во владениях Жерико. Вокруг него те, что уцелели после восстания в Туаре и Сомюре, и после Ларошельского, после Тулонского, Бельфорского заговоров, среди прочих здесь и Мартен-Майфер, который в 1834 году примет участие в восстании лионских ткачей... Да, это твой сын, тот самый, что сменил лицей на армию, узнав о пора-

жении при Лейпциге. А кто этот двадцатилетний юноша, который в один прекрасный день 1825 года переступил порог дома в Сохо и очутился в самой гуще эмигрантов? Вглядись внимательнее, неужто не узнаешь? Но ведь это твой меньшой, Жан, которого ты посылал спать, когда у него слипались глазки: он приехал повидаться с братом, а завтра он, второй твой сын, последует примеру старшего. Но тебе достаточно проследить путь одного только Фредерика; вот он, рискуя головой, вернулся во Францию и прячется у Армана Карреля... постой, кругом все бурлит, готовится что-то грандиозное, слышишь, как грохочут по улицам телеги, как при свете факелов уносят убитых. Это Париж, это баррикады, и Фредерик с оружием в руках, в крови и пыли стоит во весь рост на одной из них — на улице Роган — и ждет, по его словам, того, ради чего пошел на смерть,— чтобы сама нация создала свое национальное правительство...

Неужели борцы «Трех славных дней» менее велики от того, что их победу свели на нет? И хотя настало царство роберов макеров, твой сын неуклонно продолжал идти путем республиканца. Двадцать девять раз его при Луи-Филиппе привлекали к суду в Аррасе, который он избрал себе ареной борьбы. В ту пору в мире происходят перемены, и, быть может, там, где этого отнюдь не ожидали. В ту пору впервые в мире во французском городе Лионе поднимается рабочее знамя...

Ох, нелегко тебе, бедняга, с последними вздохами, последними угасающими искрами сознания прослеживать путь сына, а может, и лучше, что дальнейшее, самая трагедия, ускользает от тебя. Так спи же, а если это не сон... Я за тебя досмотрю участь твоего сына.

Самая трагедия. В одиночку переделать мир нельзя. Все силы, навалившиеся на рычаг, должны быть одновременно пущены в ход, чтобы разом встряхнуть старый общественный строй и опрокинуть его навсегда... Из Арраса Фредерик завязал сношения с одним политическим заключенным. Этот молодой человек покорил его своим республиканским пылом. И внушил к себе сугубое доверие тем, что он узник. Фредерик предоставил в его распоряжение столбцы газеты, которую основал в Аррасе. Как же, ведь этот узник сражался в Италии плечом к плечу с карбонариями! Сидя в Гамской крепости, он, сын королевы Гортензии, носящий имя Наполеона, в глазах Фредерика стал тем, чем его сделал народ, да ведь и сам он, Луи Бонапарт, щеголял социализмом и ратовал за права рабочих.

Пора такая, когда все меняется. Почему не измениться и этому молодому человеку?

Все меняется, даже облик страны. Наступил 1843 год, Викуанская компания получила концессию на рудники в Нё, между Бетюном и Лансом. Изыскатели проникают повсюду, в чужие поместья, копают, бурят землю в поисках каменного угля. Все заражены этой лихорадкой. Простаки, наслушавшись всяких басен, думают, что у них в садике скрыты несметные сокровища. Создаются промышленные компании. Вырастают терриконы. Крестьяне покидают поля и спускаются в глубь земли. Настало то время, когда все меняется. Ландшафты и люди.

Когда в ноябре 1847 года Фредерик приедет в окрестности Бетюна, в замок Анзен, на банкет, где соберутся Давид д'Анже, Эннекен, Кремье, Шарль Ледрю, Оскар Лафайет, всего четыреста пятьдесят гостей, он из окон замка не узнает привычного с детства пейзажа. Издалека ему покажется, что родной город уже не стоит на возвышенности, столько кругом выросло черных холмов. Скопления кирпичных домиков успели превратиться в новые поселки, ребятишки играют в палисадниках, выпачканных черным золотом. Спустя три месяца Фредерик возвратится сюда комиссаром Республики и назначит новый муниципалитет, среди советников которого я узнаю одного старика — это Беллоне, наш знакомый с 1815 года. Это он говорил Теодору Жерико в Тесном переулке, что если не видишь смысла умирать, значит, есть смысл жить... Твой сын, друг майор, представляет департамент Па-де-Кале в республиканской Палате. Он депутат от партии радикал-социалистов. Однако поспешность губит то, на что уповают люди. Рабочие ведут себя неблагоразумно, но к кому, кроме них, могу я примкнуть? Что и говорить, люди меняются... Республиканцам, друзьям и соратникам в течение тридцати лет, непонятна дружба Фредерика с узником Гамской крепости. Он же горой стоит за социалиста Луи-Наполеона. Он верит в него. И сам становится подозрителен своим товарищам.

Да клянусь же вам, я знаю, он не способен на дурной поступок, он честный человек, он таков, каким сделал его народ. Верьте мне, Луи-Наполеон согласился стать президентом лишь для того, говоря его словами, чтобы споспешествовать укреплению и процветанию Республики. Ну, послушайте, разве я пойду на сделки с совестью? Ведь не примкнул же я в июне к Кавеньяку! Мы можем по пальцам перечесть тех из нас, у кого руки не обагрены кровью народа...

Но 2-е декабря 1851 года показывает Фредерику, какие бездны таились в этом человеке. Осадное положение, разгон учредительного собрания, город во власти преторианцев, ночные аресты защитников Республики, убитые на парижских улицах, Ламбесса, Кайенна... Фредерика точно громом поразило. Он не мог опра-

виться от удара, пришлось поместить его в больницу для умалишенных. Но можно ли считать его безумным от того лишь, что каждый день из оставшихся двух с половиной лет жизни он проклинал душителей свободы? После его смерти в 1854 году приверженцами Республики были собраны по подписке деньги для надгробного памятника, сохранившегося по сей день. По слухам, император анонимно внес в этот фонд тысячу франков. И ныне бронзовый бюст на могиле — единственное, что осталось от Фредерика Дежоржа. Правда, его именем назвали улицу в Бетюне, которую проложили к вокзалу после того, как здесь прошла железная дорога, были снесены крепостные стены, и городские ворота распахнулись навстречу будущему. Но потом эту прямую как стрела магистраль перекрестили в бульвар Раймона Пуанкаре. И бетюнским детям, играющим на этой разрушенной и вновь отстроенной улице, где не сохранилось ни одного дома от того конца Тесного переулка, на котором жил майор, и где на месте заведения кузнеца Токенна теперь помещается аптека, бетюнским детям — их тоже посылают спать, когда слипаются глазки,— ничего не говорит имя мальчика Фредерика, который, выходя из школы, дрался с балбесами в три раза больше него. И никому оно ничего не говорит. Расспросите хотя бы торговцев. Все это теперь отошло в область преданий.

Но на Аррасском кладбище попечением социалистического муниципалитета поддерживается в порядке удивительный памятник. На колонне, заросшей плющом,— его подстригают, а кругом сажают несколько цветочков, к этому и сводится вся забота,— на колонне бюст изможденного человека с провалившимися глазами, с загнутым наподобие клюва носом, а так как в войну девятьсот четырнадцатого года осколки бомб или снарядов продырявили бюст насквозь, голова словно чудом держится на зияющей ране, которая идет через всю шею от левого плеча к правому уху, так что остается только бронзовый ободок на фоне неба, и сквозь пробитую шею видно, как проносятся птицы и ходят облака...

Скоро никто не вспомнит, кто такой он был. Забвение — тот же плющ, только его не подстригают ежегодно.

Врач пришел под вечер. Он посмотрел на больного, покачал головой, послушал, как свистит и хрипит у него в груди, посмотрел на перебирающие одеяло пальцы, на пустой взгляд и сказал, что, по его мнению, майор Дежорж не протянет до утра, разве что случится чудо.

* * *

Теодор снова пошел к Токенну — очень уж ему хотелось повидать господина де Пра, который умел так убедительно говорить,— и снова не застал его; гвардеец из роты Ноайля все время находился на карауле у Аррасских ворот. А его, Жерико, никто посреди царившей неразберихи даже не думал куда-то назначить, к чему-то определить. Сам он не собирался набиваться, он был счастлив, что может в этой сутолоке побыть наедине со своими думами.

Долгое время он просидел у постели умирающего, обе женщины сидели тут же, удрученные горем, плакали, не чувствуя своих слез, и молчали. Наконец Катрин тихонько промолвила:

— Подите подышите воздухом, господин Жерико,— а в тоне ее слышалось: «Оставьте нас одних с ним...»

Во всем Бетюне такое настроение, как у постели умирающего. Повсюду праздному фланеру кажется, что он лишний, чужой в семье. Он вспоминает то, что сам говорил вчера, и ему стыдно своих слов: «Я не вижу ради чего мне умирать...» — и говорил он это человеку, который сейчас лежит в агонии. А когда тот же майор спросил его, в чем, наконец, секрет его снисходительности к королевским гвардейцам, нельзя же объяснять все их молодостью и забывать, что они враги народа, от которого бегут, ибо бегут они не от Наполеона, а от народа, тогда Теодор, может быть, не очень обдуманно, ответил, что стоит заглянуть в глаза даже врагу, даже сумасшедшему или преступнику, как начинаешь представлять себе, что он чувствует, и видишь в нем прежде всего человека. А майор посмотрел на него так сурово, как смотрел иной раз, и сказал:

— Может, вы и не находите ничего, ради чего вам стоит жить или умирать, зато, видно, у вас находится много лишнего времени, чтобы заниматься преступниками и сумасшедшими!

В ту минуту Теодор объяснил его слова некоторой примитивностью, привычкой думать готовыми шаблонами. Но сегодня вечером эти слова приобретали совсем иной смысл; может быть, произнося их вчера, майор уже понимал, что у него самого не только нет лишнего времени, а остался один последний день...

Теодор почувствовал, что не имеет права принять подарок Альдегонды и лучше ему тоже пойти купить ношеное платье у старьевщика. Того, что он присмотрел вчера, уже не оказалось, и вообще кипа старой одежды разительно уменьшилась. Естественным образом, Жерико очутился возле Приречных ворот, где произошла стычка между уланами и гвардейцами. Часовой крикнул ему: «Стой!» Но, увидев, что это мушкетер, пропустил его на

укрепления. Нынче вечером сквозь тучи пробивалась луна, продлевая свет дня. В люнете Теодор поболтал с товарищами по оружию, серыми мушкетерами, предложившими ему сыграть в карты. Он отклонил предложение и постоял, вглядываясь в расстилавшийся перед ним ландшафт,— отсюда был виден весь канал, перелески, крепостные стены, тянувшиеся в обе стороны вплоть до оконечностей города, и всюду было тихо и спокойно. Неужто в самом деле майор прав? Никакое войско и не думает осаждать Бетюн?

Да, в вечер страстной субботы императорская армия была еще далеко от города. А полки, проходившие мимо по дороге из Арраса или Азбрука, очутились здесь в пятницу по чистой случайности, потому что передвижения войск еще не были полностью согласованы; и кольцо, которым Эксельманс охватывал Бетюн, чтобы поймать в западню королевскую гвардию, еще не сошлось, еще оставалась лазейка. Нужно было дождаться, чтобы король, а за ним и принцы успели проскользнуть в нее, навлечь на себя позор и в дальнейшем стать игрушками в руках иноземцев. Нужно было также дождаться, чтобы сопровождавший их до границы эскорт возвратился в западню, в Бетюн, и там капитулировал весь целиком. С какой стороны и каким образом возвратятся остатки королевской гвардии, нам по ходу нашего повествования уже совершенно не важно. За время пути от деревни близ Ньеппа, где Лористон провел всю субботу, до Главной площади в Бетюне, где должно осуществиться расформирование, командир серых мушкетеров, умудренный тем, что произошло в ночь со страстной пятницы, сделал только один вывод: переходы надо совершать исключительно днем. Поэтому он возвратится в Бетюн не ранее чем утром в пасхальное воскресенье. Это означает, что до тех пор город еще не был окружен. Где же находился Эксельманс в субботу вечером и в воскресенье утром? По-прежнему в Дуллане, в шестнадцати милях от Бетюна. За воскресный день два егерских полка пройдут эти шестнадцать миль. И Шмальц скажет Арнавону:

— Ничего не поделаешь, приходится возвращаться в свой гарнизон...

Опять бильярд в «Северной гостинице», опять башенные часы будут каждую четверть звонить динь-динь-динь...

Скоро барон Деннье, главный интендант королевской гвардии, получит приказ императора согнать всех лошадей «красных» и «белых» рот и отправить в Аррас. А пока за ночь с воскресенья на понедельник больше двухсот офицеров успеет сбежать из города в направлении Бельгии.

Почему план осуществляется с такой медлительностью и в то же время с такой четкостью? Неужели же Эксельманс, сидя у

себя в штабе в Дуллане, не был во всех подробностях осведомлен о передвижениях королевской гвардии и о состоянии умов? Мыши, попавшие в западню, свалят всю вину на Лористона, который в течение Ста дней не служил императору, и на Лагранжа, который, по слухам, через несколько дней обедал за одним столом с Наполеоном и, во всяком случае, был им утвержден в должности. Обо всем этом Жерико в ночь с субботы на воскресенье, разумеется, не имел ни малейшего понятия. Он только ощущал, как угрозу, это странное ночное безмолвие. Ничто не шевелилось вокруг Бетюна. Ничто.

Впрочем, откуда-то подъехал фургон. У передовых постов возница долго препирался с часовыми, пока наконец не спустили подъемный мост. Это привезли из окрестных деревень съестные припасы, и, рискуя пустить спрятанного под брезентом лазутчика, нельзя было, даже в столь поздний час, не принять фуры с такой кладью. Но в тот миг, когда мост опустили, на него вбежали семь человек пеших. Можно ли сказать, что они силой вырвались из ворот? Часовые на постах, те самые, которые совсем недавно намеревались поиграть в карты, пальцем не пошевелили, чтобы преградить им путь, а пять-шесть офицеров королевской гвардии, очутившиеся тут же, сами, видимо, собирались воспользоваться замешательством. Должно быть, они давно поджидали возможности улизнуть. Видя, что они колеблются, часовой обратился к ним: «Ну, вы-то, господа, не станете следовать примеру мальчишек-волонтеров». Тем самым он как бы хотел сказать, что лучше случая не дождешься, и так как они все еще не решались, начальник караула, делавший вид, будто волонтеры провели его, добавил вслед за часовым:

— Приказ приказом, но как мои четверо караульных справятся с вами...

Итак, при желании, выбраться из города было легче легкого. Теодор и сам готов был уехать, ничего не захватив с собой, даже Трика. Но он не мог уехать из-за того, что происходило в Тесном переулке. Он вернулся туда. Сперва он думал пройти еще дальше, до Аррасских ворот и повидать господина де Пра. Не знаю, что его удержало. Вероятно, не хотелось быть навязчивым. Между тем здесь, в Бетюне, это был сейчас единственный человек, с кем можно поговорить о живописи, об Италии.

Обе женщины по-прежнему сидели в спальне. Казалось, они с тех пор не пошевелились, хотя Катрин успела уложить младшего братца. Войдя, Теодор взял ее руку, но этот жест совсем не был тем, чем грозил стать вчера. Девушка сказала вполголоса: «Кончается...» В комнате не было ни священника, ни образов, на кровати не видно было распятия. Это показалось Теодору есте-

ственным, вернее естественным с его, Теодора, точки зрения. Но он был поражен тем, что и женщины относятся к этому так же. Значит, существуют люди, которые не нуждаются в боге, даже как в чем-то условном, как в своего рода отвлечении перед лицом смерти. Полное отсутствие потребности в религиозном самообмане в последний час показывает, насколько после Революции оскудела в стране вера.

— Позовите меня...— сказал он мадемуазель Дежорж, ушел к себе в комнату и уселся на кровать светлого дуба с зелеными саржевыми занавесками и стеганым одеялом в букетах. То, что за стеной умирал человек, удивительным образом гармонировало с последним днем страстной недели, с пасхальной заутреней неверующего. Теодор подумал о том, что доставленное из Парижа письмо от сына было как бы завершающим аккордом той жизни, которой старик жил до сих пор, до получения письма, как в театре актер ждет сценического эффекта, ведущего к развязке. Он думал о том, что долговязый малый в числе семи волонтеров на его глазах бежавший в Бельгию, был не кто иной, как Поль Руайе-Коллар, вчерашний оратор. Значит, Бетюн оказался водоразделом между людьми, собранными здесь по прихоти судьбы,— одни стремились к границе, другие — во Францию, третьи — в небытие. И вдруг он ощутил в себе неизведанную дотоле жажду узнать, что будет *после?* После чего? Право же, глупое желание! Весьма возможно, но что поделать, если оно есть. Если неудержимо тянет увидеть следующую страницу, завтрашний день. Заглянуть... узнать... понять... постичь причины того, что сейчас еще необъяснимо, вложить в происходящее новый логический смысл, сказать себе, ага, вот почему такой-то мужчина, такая-то женщина, такие-то люди очутились здесь, а казалось, это случайность, курьез, ничтожные события, завязавшиеся в сложный узел, совсем, как сочиняется повесть. Мы явились в Бетюн так, будто над городом вытряхнули огромный мешок и оттуда посыпались самые разнородные человеческие экземпляры — Монкор, Ламартин, Удето и генералы, и длинный, как жердь, Руайе-Коллар...

Поначалу был полный беспорядок, а потом вышло так, как бывает — проснется утром человек, подымет с подушки взлохмаченную голову, проведет гребнем, волосы лягут одни сюда, одни туда и получится пробор. Знать бы, что будет дальше... И жизнь перед Теодором представала в этот вечер, как перед художником — натянутый на раму холст: писать — значит осмысливать. А заодно и жить.

Сидя здесь наедине с самим собой, он признавался себе в том, в чем до сих пор не отдавал себе отчета: что ему неудержимо

хочется жить, все равно, есть ли ради чего или нет. Он дошел до того внутреннего рубежа, когда надо сделать выбор: либо перешагнуть рубеж и очутиться по ту сторону, за бортом жизни, либо вернуться к ней, окунуться в нее, и ему вдруг страстно захотелось действовать, творить. Хорошо бы встретиться с великим Давидом, почтительно побеседовать об искусстве, поучиться у него, высказаться самому... Хорошо бы отправиться странствовать, пожалуй даже пешком, по солнечным странам. По Италии, где можно поучиться у Микеланджело. Или в страну северных туманов, в Англию, где можно поучиться у Хогарта. И попросту в Париж, где все теперь ему покажется иным после того, как он побывал у пределов возможного и сделал столько неожиданных открытий. Надо, чтобы все это преломилось через сознание, через искусство... Надо переосмыслить все это. Париж уже не будет для него городом, где проезжаешь верхом. И жизнь предстанет в другом свете: мужчины и женщины, мимо которых он проходил не глядя, не обращая внимания, отныне займут совсем другое место, ничто не ускользнет от критики, чьим мерилом является человек. Он пойдет в мастерскую к Орасу и совсем по-иному будет обсуждать с ним прежние вопросы, теперь Орас и его искусство станут ему, Теодору, куда ближе и важнее, потому что Орас Вернэ — это живая связь с миром, таящимся в тени, без которого отныне жизнь потеряет для него смысл. Орас, Новые Афины... не те персонажи, с которыми сталкиваешься в квартале Лоретт, не кавалеры и дамы, выходящие из экипажей перед особняками вельмож королевского или императорского двора, а те, кому нечего терять, кто не может переметнуться на ту или другую сторону, те, что всегда будут жертвами, беззаветно отдавая свою жизнь, которая дается им нелегко, путники, замечтавшиеся на придорожном камне, те, что везут тачки из каменоломни в обжиговую печь, чистят скребницей лошадей, на которых ездят другие, носят воду, в которой купаются другие, те, у кого ребятишки всегда без присмотра, бегают куда не надо и попадают под колеса экипажей, те, что гибнут на войне или срываются с крыш, те, что при любом государственном строе живут бог весть как, но непременно плохо, в тесноте, вечно нуждаясь и надеясь избыть свою нужду...

И снова перед ним встают Новые Афины, кабачки, кукольник с марионетками, разбросанные домики, куры и кролики во дворах, палисадники, которые возделывают вечером, возвратясь с работы, густая аллея, а за ней павильон в виде греческого храма... Он подумал, что, вернувшись, может статься, поймет, почему нужно, непременно нужно было, чтобы до отъезда он встретил под сводом ворот на улице Святых Мучеников Каролину Лаллеман, женщину, которая была точно пушинка в его объятиях.

Он долго сидел и думал в ожидании, когда его позовут. Свеча вся истаяла, догорела и погасла, чадя,— он не стал зажигать новую. Но вдруг в мертвой тишине удрученного города раздался громкий и радостный перезвон. Настала полночь, колокола возвратились из Рима, и как только в пасхальную заутреню отзвучало Gloria, во всех церквах, под благовест перекликающихся колоколов, стали снимать покровы со статуй и образов в жажде приблизить воскресение из мертвых, не дожидаясь рассвета, когда Мария Магдалина и другая Мария пришли посмотреть гроб. Весь христианский мир уже в полночь отрешается от мучительного и долгого безмолвия, начавшегося с вечера страстного четверга. Колокола благовестят, жизнь возобновляется.

Я вложу новый смысл в древнюю легенду: не ангел господень сошел с небес, отчего сделалось великое землетрясение, отвалил камень и сидел на нем. Нет, тот, чей вид, как молния, а одежда отнюдь не бела, как снег,— это Человек, и пусть все, подъявшие меч, смотрят на него и трепещут! Человек воскрес, стерегущие его убежали, жизнь возобновляется, повседневная жизнь, в которой чудеса творятся без чьей-либо помощи, звон ножа о стакан звучит как хвалебное песнопение, а женской руке достаточно отодвинуть занавеску, чтобы был свет, и маленькие скрипачи бродят по сельским дорогам, срывая тутовые ягоды с живых изгородей.

Дверь открылась, на пороге появилась Катрин. Она не отирала слез и только промолвила:

— Войдите, он кончился...

* * *

Робер Дьедонне, которому полковник Симоно присвоил в Дуллане чин капитана, сделал со своим эскадроном дневной привал в пригороде Сен-Поля. Ружья составили в козлы, лошадей привязали к деревьям и обступили походную кухню. После ливня тускло светило солнце. Робер болтал с Рикэ и Буваром, когда рядовой Лангле пришел доложить, что задержан при попытке свернуть на проселок какой-то штатский, он выдает себя за возчика и говорит, что держит путь на Дуллан. Однако лошадь у него не ломовая, а сам он похож на возчика, как я на турецкого султана... Робер пошел сам выяснить, в чем дело. Лангле полагал, что это офицер королевской гвардии, сбежавший из Бетюна.

— А ежели так, господин капитан, наши ребята говорят — уж он у них попляшет!

Увидев издали лошадь, Робер так наморщил нос, что все веснушки слились в одну большущую. Да, это никак не ломовая лошадь. Самого пленника окружили стрелки и забрасывали вопро-

сами, на которые он не отвечал ни слова. Это был рослый малый в рыжей кожаной, довольно потертой куртке, войлочной шляпе и совсем не подходящих к заношенным штанам щегольских сапогах.

— Счастье твое, что ты попал ко мне,— сказал свежеиспеченный капитан,— а не к моим солдатам — тебе бы не поздоровилось...

И он собственноручно подписал пропуск господину Теодору Жерико, живописцу, направлявшемуся в департамент Манш к своему дяде, господину Симеону Бонсеру, адвокату в Мортэне. Въезд в Париж был воспрещен офицерам королевской гвардии. А одежда кузена Машю была недостаточной защитой.

— Да объясни ты мне,— допытывался озадаченный Дьедонне,— как тебя угораздило влезть в эту историю? Теодор — в роли королевского мушкетера! Есть чем похвалиться... А недурной тебе достался коняга... Как его кличут?.. Я его откуплю у тебя...

— Это Трик, мой конь...— ответил Жерико и потрепал его по шее.— Я ни за какие блага в мире не уступлю его.

В одной колонне с 1-м егерским полком были построены гусары. Их капитан, подъехав к привалу, не преминул поздороваться с товарищем по оружию. Он представился, его фамилия была Декривье. Хотелось бы знать, что происходит в Бетюне, у него есть среди королевских гвардейцев приятель, сосед по имению, которому он очень желал бы помочь. Узнав, что стоящий поодаль возчик — на самом деле мушкетер, бежавший из Бетюна, капитан спросил, не довелось ли ему встретиться там с гвардейцем по фамилии Ламартин?

— Господином де Пра? — переспросил Теодор.— Он квартировал у кузнеца Токенна, в Тесном переулке... но его легче сыскать на сторожевом посту у Аррасских ворот, он там бессменно несет караул.

Жерико собрался уезжать, Дьедонне обнял его. И, похлопав по плечу, сказал:

— Если ты на самом деле едешь в Мортэн, сердечно поклонись от меня цареубийце...

Удивительное дело, стоило проглянуть солнцу — и дорога стала совсем другой...

ПРИМЕЧАНИЯ

«Выбирать свойственно человеку» — таков девиз романа «Страстная неделя». Но необходимость выбора может стать и перед страной, большинством ее населения: в описанные Арагоном семь дней марта 1815 года его делала вся Франция. Приближавшиеся к Парижу крики «Да здравствует император!» и быстро удалявшиеся от него нестройные возгласы «Да здравствует король!» отмечали триумфальное шествие Наполеона, покинувшего остров Эльбу, и паническое бегство на север Людовика XVIII. Поход Наполеона по Франции и последовавшие за ним Сто дней остались в истории одним из последних ярких эпизодов удивительной биографии этого полководца и государственного деятеля. В свете внезапной вспышки былой славы Наполеона личность его противника представляется особенно тусклой и неприглядной. Однако этот внешний контраст — слава и бесчестие, героическая энергия и болезненная слабость — лишь маскирует равную исчерпанность исторической роли того и другого.

Напомним вкратце исторические факты.

После отречения Наполеона и отбытия его на остров Эльбу, предоставленный ему в пожизненное владение, во Франции волею держав-победительниц была восстановлена власть Бурбонов. 12 апреля 1814 года в Париж прибыл из эмиграции младший брат казненного Людовика XVI граф Артуа, объявивший себя наместником короля, а следом за ним и сам король Людовик XVIII. Под давлением сил, призвавших его к власти, король был вынужден принять конституционную хартию, формально закреплявшую некоторые завоевания революции — гражданское равенство, личную свободу, свободу совести. Законодательная власть разделялась между королем, палатой пэров и палатой депутатов, куда могли избираться лица не моложе сорока лет, платящие не менее тысячи франков прямого налога; исполнительная власть принадлежала королю. Политика Людовика XVIII была такой же двойственной, как его хартия. По видимости признавая необратимость свершившихся в стране социальных преобразований, режим Реставрации на деле пытался восстановить некоторые феодальные институты. Людовик XVIII узаконил владение

землей, приобретенной из «национального фонда», то есть конфискованной после революции у дворян и церкви, однако аристократы, вернувшиеся из эмиграции вместе с королем и принцами, вели себя в своих бывших поместьях как завоеватели,— сгоняли крестьян с земли, заставляя их работать на себя, что возбуждало ненависть крестьянства к режиму. Хартия сохраняла суд присяжных, но устанавливала несменяемость судей, назначаемых королем; суд вершили прежние королевские чиновники. Поправки к хартии урезали и без того куцее избирательное право и понемногу свели на нет дарованные ею гражданские свободы; создание особо привилегированной королевской гвардии, нерегулярная выплата пенсий наполеоновским ветеранам вызывали ропот в армии.

В феврале 1815 года недовольство режимом Людовика XVIII стало всеобщим и повсеместным и привело к организации широко разветвленного антироялистского заговора.

В то же время между европейскими монархами — их представителями на Венском конгрессе шли ожесточенные территориальные споры: решался вопрос о присоединении Саксонии к Пруссии, о создании в пределах империи Александра I Королевства Польского.

О неблагополучии во Франции и раздорах на Венском конгрессе стало известно Наполеону, который только и ждал благоприятного момента для задуманного им возвращения во Францию.

1 марта 1815 года, отплыв с небольшой флотилией с острова Эльбы, он высадился на юге страны, в бухте Жуан. С немногочисленным отрядом в тысячу сто человек Наполеон совершил трудный переход по заснеженным альпийским тропам из Канна в Гренобль — в обход городов, где ему угрожало столкновение с королевскими войсками. В своих прокламациях к народу и армии Наполеон сулил стране мир и благоденствие, свое поражение объяснял изменой маршалов,— в особенности Мармона, который в критический момент отвел свой корпус на линии австрийцев,— и призывал население оказывать ему поддержку. Его продвижение к Парижу совершалось «без единого выстрела»: солдаты королевской армии отказывались стрелять в прославленного полководца, своего бывшего вождя, и срывали с себя белые кокарды; крестьяне, вооруженные вилами, косами, преграждали путь войскам, посланным для задержания Узурпатора; войсковые части целиком переходили на его сторону. Седьмой линейный полк под командованием полковника Лабедуайера выступил из Гренобля и пошел на соединение с солдатами Наполеона (см. стр. 87 романа).

20 марта Наполеон прибыл в Париж, во дворец Тюильри.

Так бесславно, бегством короля и его присных, закончилась Первая реставрация Бурбонов.

В эти дни марта 1815 года Наполеон олицетворял для многих французов продолжение революционных традиций, надежды на демократическое устройство страны. Люди хотели верить, что он извлечет урок из прошлого, откажет-

ся от деспотической формы правления, будет способствовать экономическому процветанию Франции.

«Ведь теперь Бонапарт, свалivший Бурбонов, уже не тот Бонапарт, понимаешь? — говорит в романе Арагона господин Жубер.— ...Неужели ты не видишь, что вновь начинается революция?» (стр. 271—272).

22 апреля Наполеон подписал так называемый «Дополнительный акт», которым он якобы дополнял конституции революционных лет; в действительности этот акт воспроизводил, с небольшими изменениями, хартию Людовика XVIII.

Возвращение императора заставило европейские державы на время забыть свои разногласия и образовать новую — седьмую антинаполеоновскую коалицию. Дипломатические демарши Наполеона, направленные к тому, чтобы расколоть эту коалицию и в лице бывших своих врагов обрести союзников, не увенчались успехом. Над Францией, еще не забывшей неурожаи и голод 1811 года и урон, понесенный в русскую кампанию 1812 года, опять нависла угроза войны; начались наборы в армию.

Опьянение, вызванное романтическим бегством императора с острова Эльбы, постепенно проходило, а с ним рассеивались и иллюзорные надежды патриотов-республиканцев типа господина Жубера. Либеральные посулы, которыми изобиловали прокламации Наполеона и его «Дополнительный акт», остались на бумаге: в действительности режим Ста дней обернулся открытой военной диктатурой.

С падением Наполеона — его поражением в битве при Ватерлоо 18 июня 1815 года — окончательно завершился героический, революционный период становления буржуазного строя во Франции.

Однако участникам событий, описанных в романе Арагона, еще не ясны их причины и следствия. Стремясь избавиться от ненавистного режима Людовика XVIII, от угрозы восстановления дореволюционных порядков, лучшие люди страны готовы приветствовать возвращающегося императора и в его лице — надежду на революционный прогресс.

Роман Арагона «Страстная неделя» был опубликован в Париже издательством Галлимар в 1958 году (« La semaine sainte », Paris, Gallimard, 1958). Русский перевод романа, выполненный Н. Жарковой, Н. Касаткиной, Н. Немчиновой, И. Татариновой, был впервые издан в 1960 году издательством «Иностранная литература» и — в том же году — Государственным издательством художественной литературы (А р а г о н. Собр. соч. в 11-ти тт., т. 8).

Стр. 25. *...стариков из армии Конде...*— Луи-Жозеф, принц де Конде (1736—1818). В 1792 году он эмигрировал из Франции и создал в Кобленце и на берегах Рейна армию, называвшуюся армией Конде.

Стр. 26. *Серые мушкетеры.*— Серыми и черными мушкетерами назывались две их роты, сформированные во времена Людовика XIII и Ришелье и различавшиеся мастью коней.

Стр. 27. *...еще при Карле VII был Стюартом!*— Карл VII (1403—1461)— король Франции с 1422 года. В его царствование англичане, захватившие почти всю территорию Франции после битвы при Азинкуре (1415), были изгнаны, и в борьбе с ними прославилась Жанна д'Арк.

Стоит только Макдональду последовать примеру Нея...— Речь идет об измене знаменитого маршала Нея, князя Московского, сначала присоединившегося к Бурбонам, а затем, когда он был послан против шедшей на столицу армии императора, снова перешедшего на сторону Бонапарта.

Стр. 28. *Альфред... не решился бы... показать свои стихи...* — Речь идет о французском писателе Альфреде де Виньи (1797—1863), вступившем в армию в 1814 году, сопровождавшем короля в его бегстве и попавшем в плен в Бетюне.

Стр. 30. *Людовик Желанный.*— Этот эпитет был присвоен Людовику XVIII, хотя мало соответствовал действительности.

... здесь погиб в 1812 году генерал Лагори.— Речь идет о расстрелянном в связи с заговором Мале (см. прим. к стр. 37) генерале Лагори.

... вернувшихся во Францию в период Консульства и присоединившихся к Бонапарту после 18 брюмера...— Переворот 18 брюмера VIII года (9 ноября 1799 г.) знаменовал новый этап контрреволюции во Франции и утверждение буржуазного строя. Активное участие в нем принимал Бонапарт, ставший в установившемся режиме Консульства (9 ноября 1799 г.— 18 мая 1804 г.) одним из трех консулов, а затем (в 1802 г.) получивший это звание пожизненно. В 1804 году Наполеон стал императором Франции.

Стр. 32. *До лета 1814 года, когда в столице стояли союзные войска...*— войска коалиции держав-победительниц, оккупировавшие Францию весной 1814 года.

Стр. 33. *Или Орас.*— Имеется в виду Орас Вернэ (1789—1863), художник, по преимуществу баталист.

Стр. 35. *Кусту* Гильом (1677—1746) — представитель знаменитой французской династии скульпторов, автор так называемых «Коней Марли» — мраморной скульптуры, установленной при въезде на Елисейские поля.

Куазевокс (Койзевокс) Антуан (1640—1720) — французский скульптор, создатель декоративных панно во дворце Версаля, парковых скульптур, портретных бюстов. Ему принадлежит скульптура «Крылатые кони», украшающая сад Тюильри.

Стр. 36. *...когда стало известно, что Друэ д'Эрлон, Лефевр-Денуэтт, братья Лаллеман...*— Жан-Батист Друэ д'Эрлон (1765—1844) — маршал Франции, и Шарль Лефевр-Денуэтт (1773—1822),— генерал, приняли участие в антироялистском заговоре зимой 1815 года.

Стр. 37. *«Желтый карлик»* — сатирическая газета левого, антимонархического направления, основанная в 1814 году Кошуа-Лемером. В 1815 году была запрещена. Кошуа-Лемер эмигрировал в Бельгию, где в течение нескольких месяцев 1816 года выпускал газету «Желтый карлик в эмиграции».

«Кафе фельянов».— Фельянами в эпоху французской буржуазной революции конца XVIII века назывались члены политического клуба, собиравшегося в бывшем монастыре фельянов. (Полное название клуба — «Общество друзей конституции, заседающее у фельянов».) Фельяны были сторонниками конституционной монархии и представляли интересы крупной буржуазии.

...генералы Мале и Лагори устроили заговор.— Речь идет о событиях 23 октября 1812 года, когда генерал Мале, известный своими республиканскими взглядами, за что он долго содержался режимом в доме умалишенных, сумел осуществить государственный переворот, арестовав ряд высших должностных лиц. Однако это выступление было быстро подавлено и сам Мале с сообщниками расстрелян. Этот заговор был одним из первых открытых проявлений кризиса режима Империи.

Стр. 43. *Кобленц-то, он в другой стороне!* — Кобленц — город у слияния Рейна и Мозеля в Германии, место сбора французских эмигрантов-аристократов, где в 1792 году создавалась армия Конде.

Стр. 46. *Сторонники Бабёфа...*— Франсуа-Ноель Бабёф, псевдоним Гракх (1760—1797) — сторонник взглядов утопического социализма, возглавил заговор против Директории (так называемый Заговор Равных), был арестован и, прежде чем взойти на эшафот, закололся кинжалом. Его учение называется «бабувизмом».

Стр. 47. *...бои под Люценом... смерть Дюрока, смерть Бессьера... в октябре Лейпциг.*— Люцен — город в восточной Германии, где в 1813 году Наполеон разбил войска России и Пруссии. Жерар-Кристоф-Мишель Дюрок (1772—1813) — герцог Фриульский, один из ближайших сподвижников Наполеона, был убит в 1813 году под Баутценом. Жан-Батист Бессьер — герцог Истрийский (1768—1813), маршал, один из лучших военачальников Наполеона, был убит накануне битвы при Люцене. Лейпциг — имеется в виду знаменитая битва, так называемая «Битва народов» (1813 г.), в которой войска Наполеона потерпели поражение от войск Коалиции.

Стр. 54. *...ты не читал статьи Бенжамена Констана...*— Бенжамен Констан де Ребек (1767—1830) — крупнейший французский политический деятель и писатель, влиятельное лицо в либеральных кругах эпохи Реставрации. «Журналь де Деба», основанный в 1789 году, в течение своего более чем полуторавекового существования придерживался умеренно-либеральной позиции и в то время предоставлял свои страницы Констану.

Стр. 55. *Говорят, что Фуше...*— Жозеф Фуше (1759—1820) — французский политический деятель, отличавшийся хитростью и двуличием, был министром полиции при Наполеоне, затем предал его и сохранил свой пост во времена Реставрации.

Стр. 56. *...принадлежавший ранее Жозефине Богарнэ...*— Мари-Жозефа Ташер де ла Пажери, в замужестве Богарнэ, стала в 1796 году женой Бонапарта, в 1804 году императрицей Франции. Была покинута Наполеоном в 1809 году.

Стр. 67. *Как мог он, Мармон, без дрожи произносить слово Эссон?* — В 1814 году, после капитуляции Парижа, подписанной им вместе с маршалом Мортье, Мармон отвел свои войска в Эссон, в расположение австрийцев, чтобы они не могли быть использованы для продолжения войны.

Стр. 68. *...актом недоверия в отношении сына Филиппа-Эгалите.*— Луи-Филипп-Жозеф, принц Орлеанского дома (1747—1793), сыграл заметную роль в событиях Революции, на сторону которой он не замедлил встать. Голосовал за казнь своего кузена Людовика XVI. В свою очередь погиб на эшафоте. Его прозвище «Эгалите» — значит «равенство».

Стр. 71. *Ришар-Ленуар.*— Франсуа Ришар, принявший после смерти своего компаньона Ленуар-Дюфрена двойное имя Ришар-Ленуар (1765—1839),— известный французский промышленник, который первым во Франции ввел английские льнопрядильные машины.

«*Брак в Кане Галилейской*» — полотно знаменитого художника венецианской школы Паоло Калиари, прозванного Веронезе (1528—1588).

Стр. 72. *Битва при Фонтенуа* — одно из решающих сражений в войне за Австрийское наследство (1741—1748), происшедшее 11 мая 1745 года около бельгийского местечка Фонтенуа. В ходе этого сражения французами под командованием Морица Саксонского была одержана победа над английскими и голландскими войсками. Этому событию посвятил одно из своих полотен

французский художник-баталист Орас Верне («Битва при Фонтенуа», 1836).

Стр. 73. *...за улицей Сен-Никэз, где взорвалась знаменитая адская машина.*— Речь идет о предпринятом 24 декабря 1800 года покушении на Наполеона, инициаторами которого были роялисты, пытавшиеся убить Наполеона с помощью изготовленного Сен-Режаном и установленного на улице Сен-Никэз взрывного устройства.

Стр. 83. *...романов господина Сен-Пьера...*— Имеется в виду Жак-Анри Бернарден де Сен-Пьер (1737—1814), известный писатель, автор «Поля и Виргинии». Его произведения, отличавшиеся подчас несколько сентиментальным дидактизмом, проникнуты интересом к природе, стремлением к занимательному и экзотическому.

Стр. 91. *...запечатлела кисть Гро, Жерара, Давида...*— Жан-Антуан Гро (1771—1835) — известный французский художник, крупнейший баталист эпохи Империи. Франсуа Жерар (1770—1837) — известный художник, в основном писавший на исторические сюжеты. Луи Давид (1748—1825) — французский художник, принимал участие в событиях Революции, был членом Конвента, а затем стал официальным живописцем Наполеона. Глава так называемого неоклассического направления. Оказывал до своей смерти в изгнании решающее влияние на общее направление французской живописи.

Стр. 92. *...своими баррасами в качестве советников...*— Речь идет о Поле, виконте де Баррасе (1755—1829), политическом деятеле и члене Директории. Баррас был известен хитростью и двуличием, власть и почет были его главными ставками в политической игре. Сосредоточив власть в своих руках, Бонапарт на несколько лет удалил Барраса из столицы в его имение под надзор полиции. После возвращения Бурбонов Баррасу удалось снова всплыть на поверхность.

Стр. 94. *...для Жироде и для Прюдона.*— Имеются в виду Анн-Луи Жироде де Руси (1767—1824), известный французский живописец, по стилю примыкавший к неоклассицизму, и Пьер-Поль Прюдон (1758—1823), тонкий и поэтичный художник.

...на кладбище под Эйлау... и при Фермопилах.— В знаменитой битве при Эйлау Наполеон победил в 1807 году войска Пруссии и России. Фермопилы в Фессалии стали местом героической битвы между царем Леонидом с его тремястами спартанцев — и войсками Ксеркса (480 г. до н. э.).

...он приказал стрелять в народ из пушек с паперти собора святого Рока...— Речь идет о подавлении роялистского мятежа 5 октября 1795 года, когда Баррас прибег к помощи Бонапарта (см. стр. 102).

Стр. 95. *Эпаминонд* — полководец и государственный деятель древних Фив (ок. 418—362 до н. э.).

...из жизни Генриха IV — то есть французского короля Генриха IV (царствовал 1589—1610).

Стр. 96. *...господин Дроллинг, и господин Жерар, и господин Шинар...*— Мартин Дроллинг (1752—1817) — французский художник, писал преимущественно жанровые сцены. Жерар — см. прим. к стр. 91. Жозеф Шинар (1756—1813) — знаменитый французский скульптор. Ему принадлежит известный бюст мадам Рекамье.

Стр. 98. *Ученик Сен-Симона.*— Клод-Анри граф де Сен-Симон (1760—1825) — французский философ и экономист, один из крупнейших представителей утопического социализма.

...больший республиканец, нежели Кромвель...— Оливер Кромвель (1599—1658) — один из главных деятелей английской буржуазной революции, несколько лет управлявший страной с титулом Лорда Протектора. Тема Кромвеля была крайне популярна во Франции (драмы В. Гюго и А. Дюма-отца) как попытка осмыслить перерождение республиканской власти в диктатуру одного человека и взаимоотношения правителя с народом. Она явно отражала наполеоновскую проблематику, которая до 1830 года не могла решаться открыто.

Стр. 102. *...вы стали Кассандрой...*— Кассандра — персонаж древнегреческих преданий, дочь Приама и Гекубы. В обмен на обещание принадлежать ему бог Аполлон наделил ее даром пророчества. Когда же Кассандра не сдержала своего слова, Аполлон отомстил ей, лишив всех веры в ее предсказания. Так, троянцы не поверили пророчеству о гибели их города и впустили в него деревянного коня греков с таившимися в нем воинами.

Стр. 104. *...стариком Рамо...*— Жан-Филипп Рамо (1683—1764) — один из крупнейших французских композиторов-классиков. Среди его сочинений также фигурирует «Кастор и Поллукс».

Стр. 106. *...брат Мари-Жозефа Шенье...*— Братом Мари-Жозефа был Андре Шенье (1762—1794), известный лирический поэт. Сначала был связан с революционным движением, а затем протестовал против излишней жестокости террора. Кончил жизнь на эшафоте. Мари-Жозеф (1764—1811), также будучи поэтом, занимался политической деятельностью и был членом Конвента, голосовал за казнь Людовика XVI.

Стр. 107. *...помещать картину Караваджо...*— Микеланджело Америги, прозванный Караваджо (1573—1610),— известный итальянский живописец, противопоставлявший реалистическое начало своей живописи господствующему маньеризму; оказал значительное влияние на развитие позднейшего реалистического направления.

...или трианонские идиллии...— Большим и Малым Трианоном называются два замка в Версале, построенные соответственно при Людовике XIV (1687 г.) и Людовике XV (1755 г.). Имеется в виду изображение галантного общества той эпохи.

Стр. 109. *...он встретил мальчика Рибейру...*— Хосе Рибейра (1588—1652) — художник-испанец, работавший в основном в Неаполе. Вокруг него группировалась школа художников реалистического направления.

Стр. 112. *...в Хартуэллском дворце...*— Имеется в виду период эмиграции, проведенный Людовиком XVIII в Англии.

Стр. 116. *...нельзя же корчить из себя Карла Великого!*— Карл I Великий (742—814) — король франков (771—814), император Запада (800—814), знаменит своей военной и государственной деятельностью. Покровительствовал культуре и образованию.

Стр. 117. «*Чадо Людовика Святого, возрадуйся!*» — Людовик IX Святой (король Франции с 1226 по 1270 г.). Умер во время восьмого крестового похода.

Стр. 122. *Шевалье д'Эон.*— Шарль де Бомон д'Эон (1728—1810), политический агент Людовика XV. Переодетый в женское платье, он появился при дворе царицы Елизаветы Петровны и стал ее «приближенной».

...в близких отношениях с Люсьеном Бонапартом.— Люсьен Бонапарт (1775—1840), брат императора.

Стр. 124. «*Свадьба Гамаша*».— Гамаш — персонаж «Дон-Кихота» Сервантеса, богатый крестьянин. Его свадьба стала синонимом обильного угощения.

Стр. 127. *...как госпожу Дюбарри...*— Жанна Бекю, графиня Дюбарри (1743—1793) — фаворитка Людовика XV. Была гильотинирована во времена террора.

Стр. 132. *Изобретение Никола Леблана.*— Никола Леблан — французский химик (1742—1806), изобрел способ производства искусственной соды.

Стр. 136. *...истории библейской Юдифи... его Олоферном будет...*— Юдифь — библейский персонаж; спасая свой родной город, соблазнила и убила во сне вражеского военачальника Олоферна.

Стр. 144. *Господина Шатобриана.*— Имеется в виду Франсуа-Рене де Шатобриан (1768—1848) — крупнейший писатель и общественный деятель, оказавший значительное влияние на романтическое направление во французской литературе. Автор «Атала», «Рене» и многих других сочинений.

Стр. 145. *Не случайно Дюмурье состоял в заговоре... против легитимистов...*— Шарль-Франсуа Дюмурье (1739—1823) — французский генерал, сыграл решающую роль в победах при Вальми, Жемаппе. Будучи смещен с командования Конвентом, перешел на сторону противника. Легитимисты — сторонники законной династии Бурбонов.

Стр. 146. *...картина эта напомнила ему Варенн...*— Речь идет о попытке бегства Людовика XVI 20 июня 1791 года и его аресте в городе Варенн.

Стр. 149. *...считавший себя этаким Макиавелли...*— Николо Макиавелли (1469—1527) — итальянский политический деятель, выдвинувший теорию превосходства политической цели над средствами к ее осуществлению и связанными с ними моральными нормами.

Стр. 151. *...всеми этими Агамемнонами, всеми этими Леонидами Спартанскими...*— Агамемнон, сын Атрея,— легендарный персонаж греческой истории, предводитель греков в Троянской войне. Леонид I, правитель Спарты

с 490 до 480 г. до н. э., стал героем сражения при Фермопилах, где с тремястами спартанцев оборонял ущелье против персов. Погиб в результате предательства.

Стр. 154. *Кельский Вольтер.*— Первое полное собрание сочинений Вольтера в 70-ти томах было издано в 1785—1789 годах в городе Келе.

Стр. 155. *...день рождения волчонка...*— 20 марта 1811 года родился сын Наполеона (см. прим. к стр. 245).

Стр. 157. *...высится Дом Почетного Легиона...*— Речь идет об ордене Почетного Легиона, основанном Бонапартом в 1802 году для награды за военные и гражданские заслуги. В зависимости от степени отличия награжденные относились к одной из пяти иерархических степеней ордена.

Стр. 158. *...послом Цизальпинской республики.*— Так называлось созданное Бонапартом на севере Италии государство (июль 1797 г.). Затем оно стало Итальянской республикой (1802 г.), а с 1804 по 1814 год именовалось Королевством Италии. Столица — Милан.

Стр. 159. *Полина Бонапарт.*— Имеется в виду сестра императора Мария-Полина (1780—1825).

Стр. 167. *...один из комиссаров Конвента.*— Национальный Конвент сменил в сентябре 1792 года Законодательное собрание и, провозгласив Республику, управлял до 1795 года.

...достаточно одного Неервиндена, чтобы никто не вспомнил больше ни о Вальми, ни о Жемаппе.— При Жемаппе Дюмурье в 1792 году победил австрийцев, при Вальми — Дюмурье и Келлерман — пруссаков (1792 г.). При Неервиндене (Бельгия, провинция Брабант) принц Кобургский в 1793 году нанес поражение войскам Дюмурье.

Стр. 179. *Жанна Ашетт.*— Жанна Ленэ, по прозванию Ашетт,— французская героиня, прославившаяся мужественной защитой своего родного города Бовэ во время осады его войсками Карла Смелого в 1472 году. По преданию, ударив секирой вражеского знаменосца, выхватила у него знамя, отсюда и ее прозвище (hachette по-французски — секира). В память этого подвига в городе Бовэ до 1906 года ежегодно устраивалось торжественное шествие со знаменем Жанны Ашетт.

Стр. 189. *...смело уподобить десяти тысячам Ксенофонта...*— Ксенофонт — знаменитый греческий историк, философ и военачальник (430—355 до н. э.). Здесь речь идет о героическом отступлении десяти тысяч греков под его началом через Малую Азию после участия в битве при Кунакса (401 г. до н. э.) на стороне Кира Младшего.

Стр. 190. *...выбор между Сциллой и Харибдой!* — Сцилла и Харибда — две скалы в Мессинском проливе. По античным преданиям, у каждой из них скрывалось чудовище, губившее моряков, которые отваживались проходить в этих водах.

Стр. 192. *...из «Благородной пасторали» Буше...*— Речь идет о Франсуа Буше (1703—1770), художнике галантного стиля, писавшем преимущественно пасторали и мифологические сюжеты.

Стр. 193. ...*постигнет судьба герцога Энгиенского.*— Луи-Антуан герцог Энгиенский (1772—1804) — последний представитель мужской линии рода Конде. Один из младших отпрысков королевского дома. Речь идет о его похищении из соседнего с Францией герцогства Баденского, осуществленном Коленкуром по приказу Бонапарта. Ему было предъявлено ложное обвинение в инспирации антиправительственного заговора и в связи с заговорщиками (Кадудалем, Пишегрю и др.). Через несколько дней после похищения по приговору военного суда он был расстрелян в Венсенском замке.

Стр. 207. ...*какую-нибудь Эвридику...*— Нимфа Эвридика — персонаж древнегреческой мифологии. По преданию, ее любил Орфей, который после смерти Эвридики от укуса змеи отправился за ней в преисподнюю. Звуки его лиры и страдания Орфея склонили Плутона к возвращению Эвридики на землю, однако с одним условием: Орфей должен идти впереди и, пока они не окажутся на Земле, ни разу не оглядываться на Эвридику. Орфей не мог устоять против желания взглянуть на свою возлюбленную и потерял ее навеки.

Стр. 221. ...*страстного почитателя Фенелона...*— Фенелон (Франсуа де Салиньяк де ла Мот — 1651—1715) — известный французский писатель и церковный деятель, автор «Приключений Телемака», «Басен» и т. д., а также трудов по теологии.

...*на берегах Понта Эвксинского, с царством Идоменея...*— Понт Эвксинский — древнегреческое название Черного моря. Идоменей — правитель Крита, внук Миноса, один из героев Троянской войны.

Стр. 245. ...*в честь Римского короля!* — Речь идет о сыне Наполеона и Марии-Луизы Франсуа-Шарле-Жозефе Бонапарте (1811—1832). При рождении он был провозглашен Римским королем. Впоследствии жил в Австрии под именем герцога Рейхштадского.

Стр. 260. ...*в связи с Жерминальским восстанием...*— Имеется в виду восстание парижских предместий против Конвента 1 апреля 1795 года.

Стр. 262. ...*добрым дядюшкой Франклином...*— Бенжамен Франклин — американский государственный деятель, философ и публицист (1706—1790).

Стр. 263. ...*привязать к своей колеснице «Организатора победы».*— Имеется в виду Лазар Карно (1753—1823) — ученый, бывший членом Комитета общественного спасения и руководивший созданием четырнадцати армий Республики, а также разработкой стратегических планов. В связи с этой деятельностью его прозвали «Организатором победы».

Стр. 288. ...*хромоногому Вулкану.*— Вулкан — в древнегреческой мифологии бог огня и металла. Его кузница, по преданию, находилась под вулканом Этна.

Стр. 290. ...*больше уже нет Ленэнов...*— Имеются в виду три брата Ленэн — Антуан (1588—1648), Луи (1593—1648), Матье (1607—1677), бывшие все художниками. Первый из них, а также второй, наиболее талантливый, писали жанровые картины и сцены из крестьянской жизни.

Стр. 313. *...чтобы Тит мог жениться на Беренике...*— Береника (род. 28 г.) была иудейской принцессой, и римский император Тит, хотя и желал сделать ее своей женой, отказался от этого, чтобы не вызвать недовольства своего народа. На этот сюжет существуют трагедии Расина и Корнеля.

Стр. 316. *Немецкий роман «Голем».*— Роман австрийского писателя Густава Мейринка (1868—1932) «Голем», изданный в 1915 году, изображал некое мистическое существо — Голем, которое живет среди людей и является им в образе хромого старика, похищая у них часть души. В романе Мейринка, который вскоре после своего появления приобрел широкую известность, проявились черты, присущие творчеству этого писателя: интерес к болезненным состояниям человеческой психики, соединение гротескно-фантастического начала с мистическим.

Стр. 361. *...после чтения Оссиана...*— Имеются в виду «Поэмы Оссиана», опубликованные в 1760 году Джеймсом Макферсоном, выдававшим их за подлинные произведения Оссиана (III в. н. э.), сына Фингала, переведенные им с галльского. На самом деле он сам являлся их автором, однако долгое время подлинность поэм не оспаривалась.

Стр. 380. *...владением Священной Римской Империи.*— Так называлась империя, основанная Оттоном I в 962 году. Изначально включала королевства Германии, Италии и Бургундии. Формально существовала до 1806 года.

Стр. 407. *Жюль Мишле* (1798—1874) — французский историк либерального направления, автор «Истории Франции» и «Истории французской революции».

Стр. 410. *Три славных дня* (Les trois Glorieuses).— Три решающих дня Июльской революции 1830 года во Франции — 27, 28 и 29 июля, когда восставшие парижане свергли реакционное правительство Полиньяка и покончили с монархией Бурбонов.

Стр. 418. «*Герман и Доротея*» — идиллия Гете (1797), воспевающая радости патриархальной сельской жизни.

Стр. 419. *...где жил Эрнст Теодор Амадей.*— Имеется в виду крупнейший немецкий писатель-романтик Гофман (1776—1882).

Стр. 420. *...современный Геркуланум...*— Геркуланум — древнеримский город у подножия Везувия, наряду с Помпеями погребенный при извержении в 79 году.

Стр. 424. *...названными Генрихом и Кунигундой...*— Генрих II (род. в 973 г.) — император Запада (1002—1024) и Кунигунда Люксембургская — его супруга (ум. ок. 1033—1039 г.).

Тильман Рименшнейдер (ок. 1460—1531) — немецкий скульптор и резчик по дереву, представитель искусства поздней готики. Создал несколько замечательных резных алтарей, а также множество церковных статуй и надгробий.

Стр. 424. *...членов Тугендбунда.*— Тугендбунд — сложившаяся в 1808 году среди немецкого студенчества патриотическая ассоциация, стремившаяся избавить страну от французского господства.

Стр. 458. *...с изображением Моисея перед Неопалимой Купиной...*— Моисей — один из главных персонажей Ветхого завета. Он был военным, законодателем и государственным деятелем. Однажды, когда Моисей был вынужден бежать в пустыню, бог явился ему в виде Неопалимой Купины и повелел увести его народ из египетского рабства. Это привело к началу Исхода.

Стр. 464. *...настигла Мортье, герцога Тревизского.*— Имеется в виду покушение корсиканца Джузеппе Фиески на Луи-Филиппа (1835 г.), во время которого погиб Мортье.

Стр. 493. *Альфонс де Пра де Ламартин* — знаменитый французский поэт-романтик (1790—1869).

С. Шкунаев

СОДЕРЖАНИЕ

Т. Балашова. История глазами художника 5

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ

I. Утро вербного воскресенья 23
II. Четыре взгляда на Париж 59
III. Пале-Ройяль при вечернем освещении 89
IV. Прощание в полночь 111
V. Сен-Дени 130
VI. Бовэ двадцатого марта 174
VII. Первые предвесенние сны 200
VIII. Весна 236
IX. Свидание в Пуа 261
X. Ночь в лесу 287
XI. На дорогах 333
XII. Долина Соммы 369
XIII. Зерна будущего 397
XIV. День великого ветра 431
XV. Страстная пятница 470
XVI. Завтра пасха 517

Примечания *С. Шкунаева* 561

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ТРЕТЬЯ
Том 132

Луи Арагон

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ

*

Редактор С. Шлапоберская
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
С. Ефимова
Корректоры
М. Муромцева и И. Филатова

*

Сдано в набор 21/III 1975 г. Подписано к печати 26/VIII 1975 г. Бумага типограф. № 1. Формат 60×84 1/16. 36 печ. л. 33,588 усл. печ. л. 37,503 + 1 вкл. + +6 нак.= 38,304 уч.-изд. л. Заказ № 2671. Тираж 303 000 экз. Цена 1 р. 95 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

*

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома
при Государственном комитете Совета
Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28.